Федоръ Сологубъ.

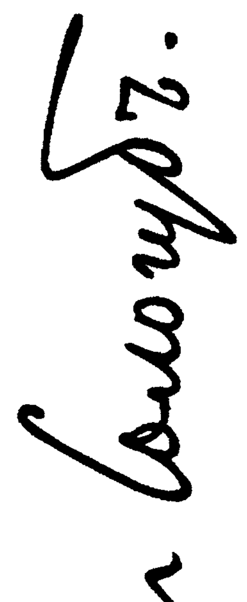
ФЕДОР СОЛОГУБ

3

Федоръ Сологубъ.

СЛАЩЕ ЯДА

ИВ



Собрание сочинений в шести томах

том третий



Москва
НПК «Интелвак»
2001

УДК 882 Сологуб 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
С 60

Составитель и автор примечаний *Т.Ф. Прокопов*

Художник *В.М. Мельников*

Руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-022-7
ISBN 5-93264-024-3 (т. 3)

СЛАЩЕ ЯДА

Роман



Посвящаю Анастасии Николаевне Чеботаревской

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Два гимназиста шли домой по аллее Летнего сада дремотного уездного города Сарыни и равнодушно посматривали на величавые дубы. Мальчикам не жаль было желтых листиков, которые начали падать на сыроватый после утреннего дождя песок. Они были заняты разговором, особенно один из них, лет семнадцати, в потертом мундире, порыжелой фуражке, тусклых и морщинистых сапогах. Руки его велики и грубоваты, угреватое лицо добродушно, серые маленькие глаза смотрят иногда восторженно и умно. Имя его — Владимир Гарволин. Другой, Евгений Хмаров, — щеголь. Мундирчик на нем новенький, сшит превосходно. Лицо и руки Хмарова белые, с нежною кожею. Он высок для своих шестнадцати лет, — выше Гарволина на полголовы, — строен и красив. Его лицо портит высокомерная усмешка, которая не идет к мягким очертаниям рта и подбородка.

Гарволин горячился и пылко говорил:

— Связи, карьера — вот ты о чем мечтаешь. А все это — ужасная чепуха! Миллионы людей обходятся без связей и не помышляют ни о какой карьере. А мы, черствые эгоисты, воспитанные на народные трудовые деньги, вместо того чтоб помнить свой долг перед народом, думаем о том, как бы получше устроиться.

Хмаров шел немного впереди и насмешливо улыбался.

— Идеалист! — сказал он наконец. — Что мне за дело до народа? Он сильнее меня, и тебя, — и всех нас, — пусть сам о себе позаботится. Любовь — штука хорошая, что и говорить, — только ею сыт не будешь. Любить можно по-настоящему только тогда, когда обеспечен.

— Да пойми, что любовь прочнее всего обеспечивает жизнь! — энергично воскликнул Гарволин.

— Как бы не так! — возразил Хмаров. — Вот я, например, люблю сигары. А без денег какие сигары?

— Экий ты циник! — с кротким негодованием сказал Гарволин.

Смуглые щеки его покрылись румянцем. Хмаров говорил:

— Ничего не циник. И женщины денег стоят. К ним, брат, без подарков лучше и не суйся.

— Ты клевещешь на женщин! — сказал Гарволин.

— Ну нет, брат, уж это-то я по опыту говорю, — хвастливо возразил Хмаров и молодцевато огляделся вокруг бойкими, серыми глазами, в которых было что-то блудливое.

«А в самом деле, — подумал он, — надо подарить что-нибудь Шанечке. Дитя! ее и это еще позабавит».

— Вот только безденежье наше! — сказал он вслух, и по его лицу пробежала гримаска озабоченности.

— Вы богато живете, — заметил Гарволин. — Чай, здорово денег просаживаете.

— Что делать! Нельзя же нам жить как-нибудь. Ведь мы не какие-нибудь... мещане.

— Эх вы, барская спесь!

Хмаров надменно усмехнулся.

— Однако прощай, — сказал он. — Мне тут подождать надо.

Гимназисты остановились на площадке сада. Гарволин вздохнул и угрюмо глянул в сторону.

— Шаньку Самсонову ждешь? — спросил он искусственным басом.

— А ты почем знаешь?

— Секрет-то не того... не велик.

— Да, брат, жду: просила здесь подождать, когда пойдет из гимназии.

— Что ж, ты с ней всерьез или так? — сумрачно спросил Гарволин.

— Шутить чужими чувствами — не в моих принципах, — внушительно ответил Хмаров.

— Ишь ты!

— Да. Вот видишь, почему я думаю о карьере: на моих руках не одна моя судьба. Не для себя самого я хочу сделать карьеру, а для любимой девушки.

— Девчонка еще она, да и ты, брат, зелен.

— За свои чувства я ручаюсь, — пылко ответил Хмаров, краснея, — а она, — она, брат, лучше всех женщин, какие когда-нибудь жили.

Голос его зазвенел юношеским восторгом, и холодные глаза тускло блеснули.

— Ну давай вам Бог! — безнадежно сказал Гарволин.

Хмаров внимательно посмотрел на него и спросил насмешливо:

— Ты что ж, тоже влюбился?

Гарволин махнул рукою, пожал руку Хмарова и торопливо пошел прочь.

«Бедняга! — подумал Хмаров. — Что делать, женщины ценят внешность, уважают самоуверенность, смелость».

Он смахнул со скамейки пыль тонким платком и сел. Лениво снял он фуражку и провел рукою по светлым, коротко остриженным волосам. Гарволин отошел несколько шагов, понурив голову и широко махая красными руками. Внезапно он остановился, круто повернулся к Хмарову и крикнул:

— Я пойду к Степанову, не зайти ли за тобой?

— Ах да, — встрепенулся Хмаров, — он все еще валяется?

— Не встает.

Хмаров подвигался на скамейке, уселся поудобнее, протянул ноги и сказал:

— Экий бедняга! Я бы пошел, да ведь ты знаешь, мои дамы такие мнительные.

— Махни по секрету! — посоветовал Гарволин.

— Неудобно, — кто-нибудь увидит, — они от одной мнительности, пожалуй, захворают. Уж я лучше после.

— Как знаешь, — сказал Гарволин и повернулся было уходить.

— Послушай! — окликнул его Хмаров.

— Ну? — диким голосом спросил Гарволин и наклонил к Хмарову правое ухо.

«Экий медведь», — подумал Хмаров, улыбнулся и сказал:

— Я хотел тебя спросить, не нуждается ли он в чем.

— Да уж в нас с тобой не нуждается, не беспокойся, — грубо отрезал Гарволин и пошагал дальше.

По тому, как он пошевеливал плечами и размахивал руками, видно было, что он сердится.

Хмаров прислонился к спинке скамейки и закрыл глаза. Черноглазая девочка представилась ему, — смуглое личико с бойкою улыбкою и веселыми глазами. Он плотнее сжал глаза, всматривался и улыбался. Милые очертания смеялись, жили, сочные губы шевелились неслышными словами. А тепловатый ветерок веял, увядающие листья изредка падали с грустным, еле слышным шорохом.

Вдруг услышал он скрип песчинок, шелест юбочек и говор девочек. Гимназистки, — судя по голосам, их было пять или шесть, — прощались. Знакомый голос звенел задорно. Вот они разошлись, знакомые шаги направились к Хмарову.

— Шаня! — воскликнул он и открыл глаза.

Перед ним стояла красивая девочка лет четырнадцати, рослая и крепкая. Несколько дикая веселость брызгала из каждой черточки смуглого лица, по которому беспрестанно пробегали смешные, милые гримаски. Загорелые щеки говорили об избытке здоровья. Большие черные глаза дерзко глядели из-под длинных ресниц. Полусросшиеся густые брови казались на первый взгляд слишком тяжелыми для веселого лица, но они соответствовали его твердым очертаниям. Шаня смеялась и хлопала руками.

— Какой ты милый, Женечка! — говорила она звенящим голосом. — Вот-то не ожидала тебя встретить.

— Ведь я сказал, Шанечка, что подожду: ты должна была верить, — сказал Хмаров с ласковым упреком.

— Ну а я так и думала, что ты улепетнешь к своим дамам, ан ты тут как тут.

Женя засмеялся, но сейчас же спохватился, нахмурился и строго сказал:

— У тебя, Шаня, прескверные манеры.

Шаня притихла, присела на скамью, сделала испуганные глаза и сказала слегка дрогнувшим голосом:

— У меня, Женя, прескверные дела, вот что лучше скажи.

— Да? — участливо спросил Женя и сел рядом с нею. — Провалилась-таки?

— Провалилась, — плачевно сказала Шаня и грустно опустила голову, хмуря брови.

— Как же ты так?

— Вот поди ж ты. Боюсь, что-то дома будет.

— Старик рассердится?

— Задаст он мне трепака, — печально сказала Шаня и вдруг засмеялась неудержимо и звонко.

— Ну да, трепака! — утешил Женя. — С чего так строго? Ах ты, легкомысленная головушка! Ты ленивая, если даже переэкзаменовки не могла выдержать.

— Вот еще новости — летом учиться! На то зима. И зимой-то зубрежка надоест.

— Ведь если так будет продолжаться, — усовещивал Женя тоном старшего, — то тебе и диплома не дадут.

— Не дадут, и не надо, — вот еще.

— Да, — согласился Женя, вздыхая, — вам, девочкам, диплом не важен. А вот нам приходится биться, — без диплома не пойдешь.

— Да я почти все сказала, — вдруг стала оправдываться Шаня, — а он так и норовит сбить. Что ж, дивья ему, он больше меня знает. Злючка, противный козел.

Шаня раскраснелась, нахмурилась; ее бойкие глаза зажглись гневом.

— Да, — задумчиво говорил Женя, — эти господа слишком много берут на себя. В прошлом году наш латинист тоже повадился лепить мне двойки. А разве я виноват, что он не умеет преподавать? И дома у меня все удивляются, как такого болвана держат в гимназии.

— И у нас тоже все такие мумии, — недовольным тоном сказала Шаня, — совсем мало симпатичных личностей. Однако пойдем, что тут сидеть.

Женя проворно вскочил, ловко взял ее книги и пошел по аллее рядом с Шанею. Шаня посматривала на него и любовалась его бодрою, красивою походкою.

— Зайдем в наш сад, Женечка, погуляем, — просительно сказала она.

— Право, Шанечка, — нерешительно начал Женя.

— Ну, хоть на полчасика! — нежно говорила Шаня и заглядывала в его лицо молящими глазами.

— Шанечка, мне домой пора.

— Боишься маменьки? — лукаво спросила Шаня, нагибаясь совсем близко к лицу Жени.

Женя обидчиво покраснел, а румяные Шанины губы дразнили его милою усмешечкою.

— Вовсе не боюсь, а будут беспокоиться.

— Ну, как хочешь, — грустно сказала Шаня и отвернулась.

— Ты, Шанечка, такая прелесть, что тебе ни в чем нельзя отказать, — нежно сказал Женя.

— Ну вот и спасибо, милый Женечка, — воскликнула Шаня, поворачиваясь к нему с радостною улыбкою, — а то некогда! тюфяк!

Она хлопнула его по пальцам загорелою рукою и с мальчишескими ухватками запрыгала по дорожке.

— За тобой, Шанечка, я готов идти на край света, — только как бы тебе самой не влетело.

— Ну вот, очень я боюсь. Волка бояться, — в лес не ходить.

— Видишь, Шанечка, как я тебя слушаюсь: мне бы надо было еще в одно место, а я с тобою иду.

— Какое место? — живо спросила Шаня.

— Да тут гимназист есть больной, из нашего класса, Степанов. Он — бедный. Положим, у меня самого в кармане сегодня не густо, но все-таки... Может быть, он нуждается, не могу же я не помочь!

— Какой ты добрый, Женечка!

Женя самодовольно улыбнулся, но постарался принять равнодушный вид и с медленною важностью промолвил:

— Ну, пожалуйста, — я не люблю комплиментов.

— Но, — робко сказала Шаня, — ведь к нему можно после.

— Это уж решено, Шанечка, — великодушно ответил Женя, — к нему — вечером, теперь — к тебе. Я не умею тебе отказывать. Вообще я не люблю подчиняться чьим-нибудь капризам, но ты, Шанечка, другое дело.

— Я — другое дело! — крикнула Шаня, запрыгала и завертела Женю.

— Тише, тише, безумная, ведь здесь люди ходят, — унимал Женя, отбиваясь.

Шаня вытянула руки по швам и замаршировала по-военному. Женя укоризненно сказал:

— Ах, Шаня, когда ты отстанешь от этих манер.

Шаня повернулась к нему с покорною улыбкою.

— Ну, ну, не сердись, не буду. Никогда больше не буду, Евгений Модестович, — шаловливо шепнула она и нежно прижалась к Жене.

Женя быстро огляделся, — никого не видно, — охватил Шаню и неловко, по-детски, чмокнул ее в смуглую, горячую щеку. Глаза его засверкали. Шаня отодвинулась.

— Что за вольности! — стыдливо шепнула она, поправляя под шляпкою разбившуюся косу, и вдруг весело, но слишком нервно рассмеялась.

Им приходилось видеться крадучись: мать Хмарова считала неприличным для Жени общество мещанской девочки, дочери не очень богатого купца; она приказала сыну прекратить это знакомство. Но необходимость скрывать встречи подстрекала детей, — было им жутко и весело.

Шагов за пять до деревянных в будто бы русском стиле ворот сада Шаня остановилась и потянула назад, за кусты, Женю.

— Что ты? — спросил он.

— Твоя сестра! — шепнула Шаня.

Сквозь кусты виднелся через улицу забор небольшого сада, над забором — навес пристроенной к нему террасы, а под навесом стояла беленькая девочка лет тринадцати, с капризным, скучающим лицом и слегка вздернутым носом. Она пристально всматривалась в деревья Летнего сада.

— Как тут быть? — говорила Шаня. — С чего это она здесь торчит?

— Ревнует, — объяснил Женя.

Оба они заговорили шепотом.

— Ревнует? Что ты? — недоверчиво переспросила Шаня.

— Очень просто. Мы с ней были дружны; разница лет, конечно, сказывалась, но я все-таки любил ее позабавить. Ты знаешь, я иногда, когда в духе...

— О да, ты остроумный и любезный.

Женя самодовольно улыбнулся.

— Но теперь, ты понимаешь, я думаю только о тебе. Конечно, я иногда захожу к ней, но она мне, признаться, надоедает. Вот она и злится, и высматривает. Она еще совершенный ребенок.

— Мы вот как сделаем, — решила Шаня.

Ее глаза засверкали и засмеялись. Она зашептала таинственно, с видом заговорщицы:

— Я пойду мимо вас. Она увидит, что я одна, и успокоится: она же увидит, что я прошла, а тебя еще нет. А ты обеги кругом.

— Ты, Шанька, гений! — восторженно крикнул Женя.

— Ш-ш! зеворот! услышит! — унимала его Шаня, махая на него руками.

— Молчу, молчу, — зашептал Женя. — Ну, я бегу.

Мальчик юркнул в кусты. Шаня прислушалась, постояла, хмуря брови, пока не затих шорох ветвей за ним, и пошла из-за кустов через ворота на улицу.

Глава вторая

Маша стояла на своей вышке.

— Послушайте, девочка! — надменно окликнула она Шаню.

Шаня подняла голову и весело засмеялась.

— А! — воскликнула она. — А я думала, это — целая барышня. Ну, слушаю, девочка, — что надо?

— Скажите, пожалуйста, — спросила Маша, обидчиво краснея, — куда пошел мой брат?

— Ваш брат? А кто такой ваш брат? — смеющимся голосом спрашивала Шаня.

— Пожалуйста, не притворяйтесь, — сердито сказала Маша. — Вы с ним были сейчас в саду, а он скрылся.

— Ишь ты, глазастая какая! — запальчиво закричала Шаня, покачивая головою. — Прыгала бы через забор, да и бежала бы за своим братом, а мне как знать, где он.

— Экая мужичка, — уронила Маша, стараясь выразить большое презрение.

— Миликтриса Кирбитьевна! — ответила Шаня и сделала кислую гримасу.

— Как ты смеешь так со мною разговаривать, уличная девчонка! — крикнула Маша.

Шаня прыгала и кривлялась.

— А коли ты такая важная, так и не связывайся с уличной девчонкой! — кричала она. — Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты!

— Вот папа скажет твоему отцу, чтоб тебя высекли.

— Ну ты еще и не посмеешь ничего своему отцу сказать, — тебе самой достанется: зачем на улице базаришь! фря курносая!

— Вот погоди, дворник с метлой придет, — сказала Маша, стараясь принять равнодушно-презрительный тон.

— Ай, ай, как страшно! — крикнула Шаня, отбегая. — Фискалишка презренная, забралась на вышку шпионить.

У конца забора Шаня остановилась, сделала Маше нос и крикнула:

— Жди себе братца.

Маша отвернулась, досадливо покусывая тонкие губы. Шаня убежала было за угол, но вдруг вернулась.

— Пока ты собачилась, — крикнула она, — твой брат домой пришел.

В самом деле, кто-то прошел по двору, но кто, Маша не успела заметить: дверь на крыльце уже затворялась. Маша обрадовалась и побежала домой. Но это был только почтальон, а Женя еще не возвращался.

На перекрестке двух улиц, безнадежно пустынных и грязных, Женя и Шаня сошлись, улыбаясь еще издали друг дружке и остановились посреди луж. Шаня передала мальчику разговор с Машею.

— Нажалуется, — пробормотал Женя, нахмурившись.

— Не посмеет, — решительно сказала Шаня.

— Ну да, не посмеет. Она про себя не скажет, не беспокойся, а наболтает, что видела нас вместе. Мать опять молебен отслужит.

— Молебен? — переспросила Шаня и звонко засмеялась.

— Это мы с отцом так называем, — начал объяснять Хмаров, и приунывшее было лицо его опять заняло горделивым сознанием своего остроумия. — Она, видишь ли, начнет сцену: нервы и все такое. Будет пилить, пилить, точно все это нужно. Ну отец и говорит: начала молебен петь.

— Молебен петь, — смеясь, повторяла Шаня.

— Пожалейте, говорит, мои бедные нервы, — с внезапною злостью заговорил Женя, — а сама всем нервы надрывает. И тут еще дядюшка и тетушка.

Они пробирались по грязной улице. Женя терся новеньким мундирчиком о рогатые изгороди, слаженные из осиновых жердей, и шлепался модными сапожками в мутные лужи. Шаня выбирала сухие местечки по другой стороне улицы.

— Экая трущоба! — раздражительно сказал Женя. — Точно не может твой отец мостков набросать.

— Иди сюда, — звала его Шаня, — там сапоги загваздаешь.

— Везде одинаково мерзко, — брюзгливо отвечал Женя.

Он видел отлично, что там, куда зовет его Шаня, гораздо лучше, — но продолжал идти по своему пути с тем упрямством, которое заменяло у него характер.

На выезде из Сарыни стоял двухэтажный дом нелепой архитектуры, с разбросанными вокруг хозяйственными постройками. Прежде это была помещичья усадьба, к которой принадлежала подгородная деревня Ручейки. Во время дворянского упадка усадьба досталась Самсонову. На ту улицу, где шли Женя и Шаня, выходил фруктовый сад, огороженный тыном, а дальше парк с прудами, протоками, мостиками, беседками, цепкими кустами давно не подстригаемых акаций. Дорожки заросли травою, но пруды были расчищены, — Шаня любила кататься на лодке. Были для нее и качели, была горка, которую зимой приспособляли для Шанькиных салазок.

Шаня и Женя дошли до низенькой изгороди парка.

— До калитки далеко, — сказала Шаня, осторожно перебираясь через улицу, — перелезем: здесь невысоко.

— Полезем, — согласился Женя и повернулся к изгороди, выбирая место поудобнее.

Но едва он поставил ногу на перекладину, а другую занес поверх изгороди, как вдруг в парке послышался неистовый лай: два свирепых пса бросились на Женю. Женя вскрикнул и соскочил прямо в лужу. Брызги обдали его. Сделавши прыжка два по лужам, он остановился: ноги подкашивались. Сквозь лай еле слышал он крик Шани, унимавшей собак, и ее серебристый смех. Собаки угомонились. Женя сообразил, что опасность миновала. Он взглянул на свою забрызганную одежду: на колене зияла прореха, — должно быть, зацепился, соскакивая с изгороди. Сердито хмурясь, он полез в парк, где уже поджидала его Шаня.

— Глупая привычка — вечно скалить зубы, — сделал он выговор Шане.

Шаня перестала смеяться.

— Боже мой! — воскликнула она. — Ты весь перепачкался. Новый мундир, — а его так залюхал. И разорвал.

Она бросилась было обтирать его мундирчик рукавами своей кофточки, но Женя хмуро отстранил ее и проворчал сердито:

— Ну, большая беда! Ведь я — не Гарволин, у меня не одна перемена.

— Это все я виновата, — горестно говорила Шаня, — мне бы надо было вперед пойти. Экая я дура!

— Оставь ты, пожалуйста, мужицкую манеру бранить себя! — крикнул Женя.

Шаня с удивлением посмотрела на него.

— Чего ты? ведь я не тебя!

— Гораздо естественнее других ругать, чем себя.

— Ты испугался, Женечка?

— Вовсе не испугался, — я вздрогнул от неожиданности. У меня нервы не из канатов. Твои собаки дождутся, что я их задушу руками.

— Ну да, задушишь, — а сам убежал.

— Да ведь они могли быть бешеными. Глупо драться с собаками, их на дуэль не вызовешь.

Шаня захохотала и долго потешалась, представляя, как Женя стреляется с Барбосом. Женя натянуто улыбался. Шаня повела его к яблоням, во фруктовый сад.

— Вот у вас свои яблоки, а мы должны покупать, — сказал он Шане притворно-беспечным голосом.

Но он чувствовал, что голос его вздрагивает, и это было ему досадно.

— А у вас варят варенье? — спросила Шаня.

— Ну кто же в городе варит варенье! — пренебрежительно сказал Женя. — Это в деревне еще ничего, да и то, в сущности, это мещанство.

— А вот моя мама варит.

— Ну, у вас совсем другие нравы, — объяснил Женя.

— Ну конечно, — согласилась Шаня, — мы не по-вашему живем, — мы попросту, без затей.

Женя никак не мог отделаться от подозрения, что Шанька смеется над ним. Подсолнечники огорода, который был разведен Самсоновым за фруктовым садом, глупо пялились на него и говорили, казалось:

— Сплоховал, брат.

— Знаешь, — начал он объяснять, — я потому вздрогнул, что у меня нервы расстроены.

— Чем расстроены? — спросила Шаня.

— Ах, Шанечка, как ты не понимаешь! Я не девочка. Мне надо подумать о будущем, — в моих руках лежит и твоя судьба.

— Думают-то только знаешь кто? — спросила Шаня со смехом. — Индейские петухи да дураки.

Женя нахохлился.

— Все у тебя глупые шутки. Что ж, я — дурак, по-твоему?

— Ах, Господи, уж и рассердился! — воскликнула Шаня, кокетливо повертываясь к нему. — И вовсе не нервы, а просто ты — барчук изнеженный. Вот у тебя какая кожица тонкая. А вот я — толстокожая, у меня нет нервов.

— Ты думаешь, это хорошо? — спросил Женя. — Современный человек должен иметь тонкую нервную организацию.

— Так ведь откуда ее взять? — смиренно возразила Шаня. — На это надо уж так и родиться в дворянской семье.

— Да, конечно. Но тоже и дворяне, — бывают такие слоны!

Дети уселись под яблонею и ели яблоки. Узкая серенькая скамейка, длинная, на двух тумбочках, гнулась и поскрипывала под ними.

— Что я тебе расскажу, Женечка, — заговорила вдруг Шаня. — У нас рядом девушка повесилась.

Шаня сделала паузу и посмотрела на Женю широко раскрытыми глазами.

— С чего? — спросил Женя, жуя сочную мякоть яблока.

— У нее был... дружок. Писарь полковой. Ну и обещал жениться, а сам женился на другой, а она от него уж...

— Понимаю, — сказал Женя. — Это всегда так бывает.

— Вот девушка ночью взяла да и повесилась в сарае.

— Ну, и что же?

— Ну, утром нашли ее, а только уж она вся мертвая, синяя такая, — так и умерла.

— Ну и дура! — решительно сказал Женя.

— Чем это дура? — обидчиво спросила Шаня.

— Чем дура? А вот чем: раз, что не надо было связываться с писарьком, — она должна была знать, что у этого народа не может быть благородных чувств.

— Только у вас, дворян, благородные чувства!

— Конечно. А второе: все же не к чему убивать себя.

— У тебя не спросилась, жаль.

— Вот и вышла дура. Что она этим выиграла?

— Что? — с недоумением переспросила Шаня.

— Да, что выиграла? Вот то-то, она должна была бороться за себя. А не могла, значит, она слабая натура, значит, туда ей и дорога.

— Ах, Женя, как ты говоришь. Теперь уж не нам судить ее.

— Все это вздор. Это уж теперь доказано, что жизнь — борьба за существование. Он воспользовался ее любовью, хорошо, — а она о чем думала? Ведь это с ее согласия было. Стало быть, он и прав. Кто умеет добиться своего, тот и прав, а ротозею не к чему и жить. Таков закон.

— Ну, закон. Кто его написал?

— Закон природы, открытый Дарвином. Он доказал, что мы все от обезьян происходим. Которые обезьяны были поумнее, те сделались мало-помалу людьми, а остальные так скотами и остались. То же и у людей: каждый заботится сам о себе, а кто не умеет, того затолкают. Выживают только субъекты, приспособленные к жизни, — слабые и себе, и людям в тягость.

Шаня посидела минутку молча и задумчиво, потом засмеялась, соскочила со скамейки, подпрыгнула, ухватилась за толстый сук яблони и подтянулась на руках. У нее были сильные руки, да и вся она была сильная и ловкая, — ей никакого Дарвина не страшно. Радость охватила ее и заставила звонко взвизгнуть. Ну а Женя, конечно, нахмурился.

— Что за манеры! — проворчал он. — Ты ведешь себя, как мальчишка.

— Тебе, небось, завидно, — сказала Шаня, продолжая смеяться и прыгать.

— Что за слово «небось»!

— Чем же не слово?

— Вообще у тебя ухватки грубые и слова мещанские. Можно бы вести себя поприличнее.

Шаня обиделась и угомонилась.

— Мои слова не нравятся, так нечего со мной и говорить. Известно, я невоспитанная, ну так иди к барышням.

Шанины губы дрогнули, и на глазах заблестели слезинки. Женя почувствовал раскаяние.

— Шанечка, дорогая, — закричал он, бросаясь к ней, — не сердись: я — грубый, а ты — божественная, добрая.

Шаня и Женя забрались в самый дальний угол сада. Из-за изгороди видны были поля и вдали лес. Шаня прислонилась грудью к невысокому забору, счастливо вздохнула и тихонько промолвила:

— Как красиво!

Женя принял усиленно-равнодушный вид.

— Ну, — сказал он, — это веселит тебя потому, что ты еще мало что видела. Вот если бы ты побывала за границей, — так там есть местечки, в Швейцарии, например, на Рейне. Я во всех этих местах был, и в Италии, и во Франции, словом, везде.

— А в Америке был? — спросила Шаня.

— Нет, еще не был.

— Ну значит, не везде был.

— Ну кто же ездит в Америку! А ты была в Москве?

— Нет, меня никуда не возили, я только в Рубани была, а дальше и не бывала.

— Что Рубань! Только слава, что губернский город, — городишка самый захолустный. Ты, значит, ничего хорошего не видела.

Шаня завистливо вздохнула.

— Когда я буду большая, — сказала она, — я везде, везде выезжу, — во всех городах побываю.

— Во всех городах нельзя побывать, — важно сказал Женя, — их очень много.

— Что ж, что много! А вы отчего нынче никуда не уехали?

— Ну мы порастрясли денежки, — досадливо сказал Женя, — мой папа умеет это делать. А заграница кусается. Вот здесь и киснули все лето.

— И ты жалеешь? — кокетливо спросила Шаня.

— Зато я с тобой, Шанечка, познакомился.

— Но ведь это не так интересно, как заграница!

— Милая Шанечка, ведь ты знаешь, что я тебя люблю.

— Ты сам-то давно ли это знаешь?

— Да ведь мы еще недавно знакомы, Шанечка.

— А ведь признайся, ты бы так и не догадался, что ты меня любишь, если б я сама тебя не навела на эту мысль?

— Конечно, — важно сказал Женя, — вы, женщины, больше нас понимаете в делах любви, — это — ваша специальность.

Глава третья

Сегодня Самсоновы обедали позже обыкновенного: Шанин отец только что вернулся из своей поездки в уезд. Он был не в духе. Шанька боязливо посматривала на него и старалась за обедом не обратить на

себя его внимания. Но суровая фигура отца притягивала к себе Шанины взоры.

Полувосточный склад лица обличает в нем не чисто русскую кровь. Черные, густые, невьющиеся волосы начинают седеть. Черные глаза с желтыми белками мрачно блестят. Невысокий, узкий лоб, изборожденный глубокими прямыми морщинами, сжат у висков. Загорелое лицо имеет красновато-желтый оттенок. Плотный стан слегка сутуловат. От отца Шаня переводит глаза на мать: это — черноволосая и черноглазая женщина южнорусского типа, лет тридцати, еще совсем молодая на вид и красивая, — Шаня похожа больше на мать, чем на отца.

Марья Николаевна предчувствовала, что Шане достанется от отца, и была недовольна: хоть она и сама иногда колотит Шаньку, но не любит, чтоб отец это делал. А отец угрюмо молчал. Наконец он пристально посмотрел на Шаню. Она зарделась под его взорами. Отец угрюмо спросил:

— Ну что, перевели?

— Оставили, — робко ответила Шаня.

— Хорошее дело! Что ж, у меня шальные деньги за тебя платить? Вот как возьму веник...

— Вы только и знаете, — шепнула Шаня, ярко краснея.

Она знала, что отец может исколотить ее до полусмерти, но в ней сидит злобный дьяволенок, который подсказывает ей дерзкие ответы. Ей страшно, но дерзкие слова словно сами срываются с языка.

— Молчи, пока... — внушительно и грозно говорит отец.

А мать смотрит на нее с упреком и делает ей, незаметно для отца, знаки, чтоб она молчала. Но Шаня не унимается и ворчит:

— Никто так не обращается. Я — большая.

— А вот поговори у меня. Зачем сапоги в глине?

— Не успела снять, сейчас только пришла.

— А где была до этаких пор?

— Известно где, — в гимназии. Где ж мне быть!

— Врешь, негодная! — крикнул отец. — Говори сейчас, где шлялась!

— Что ж, дома все сидеть, что ли! Уж и по улице нельзя пройти, и в саду нельзя погулять.

— Погруби еще! — грозил отец, и суровое лицо его бледнело.

— Чего мне грубить! Я дело говорю.

— Ну, чего отцу огрызаешься! — вступилась мать.

— Вовсе я не огрызаюсь. И вы еще на меня нападаете, чтой-то такое!

— Вот огрызок-то анафемский! — негодовала мать. — Ты ей слово, она тебе десять.

— Знаю, матушка, — заговорил отец, — ты все еще с мальчишкой Хмаровым хороводишься. Не пара он тебе. Форсу у них только много, а сами гольтепа такая! Вот они у меня в лавке товару набрали на столько, чего и все-то они сами не стоят, а платить не платят.

— Не украдут ваших денег! — запальчиво крикнула Шанька.

— Зачем красть! — с презрительною усмешкою возразил отец. — Не отдадут, — и вся недолга. Вот, слышно, переведут их отсюда, уедут из Сарыни, а там судись с ними.

— Вы обо всех по себе судите, так и думаете, что все обманывают.

— Что такое? — закричал отец, багровея. — Ах ты, мразь ты этакая, кому ты говоришь! Да я тебе голову оторву. Пошла вон из-за стола!

— Чтой-то, и поесть не дадут, — захныкала Шаня.

— Вот я тебя накормлю ужо березовой кашей. Вон, вон пошла!

— Да дай ты ребенку поесть, — сказала Марья Николаевна. — Успеешь еще накуражиться.

— Вон! — бешено закричал отец и стукнул кулаком по столу.

Посуда задребезжала. Шаня выскочила из-за стола, побледневшая, испуганная, уронила стул, метнулась было к матери, но, увидев, что отец тяжело подымается со стула, тихонько взвизгнула и бросилась к двери.

— Куда? — остановил ее отец свирепым криком. — В угол! На колени!

Шаня, дрожа, повиновалась. С расширенными от испуга глазами сунулась она в угол, неловко выдвинула из угла тяжелый стул, быстро опустилась на колени и уткнулась в угол побледневшим лицом. Отец опять сел.

«Изобьет! нет, авось не будет бить!» — боязливо соображала Шаня и чутко прислушивалась к тому, что делалось за ее спиною, — а сердце ее до боли сильно стучало в груди.

Отец и мать молча кончали обед. Шаня чувствовала на своей спине сочувственные взгляды служанки, приносившей и уносившей кушанье. Ей было стыдно стоять здесь и ждать, — чего? прощенья? расправы? Чем ближе подходил обед к концу, как слышала это Шаня по стуку ножей и посуды, тем боязливее и трепетнее замирало ее сердце. Ей вдруг вспомнилось, как мать перед обедом, когда они ждали отца, сказала ей:

— Иссечет он тебя, как кошку за сметану.

Эти слова настойчиво повторялись в ее мыслях. Нетерпеливый, расслабляющий страх пробегал холодною дрожью по всему ее телу.

Обед кончился. Отец молча подошел к Шане, тяжело ступая по паркету грубыми сапогами, и ухватил Шаню за ее толстую, круто сплетенную косу. Шаня отчаянно взвизгнула, откинулась назад, подняла было руки к голове и забилась беспомощно у ног отца, который тащил ее по полу.

— Да что ты, Степан Петрович! — закричала мать, бросаясь к мужу и отымая от него девочку. — Побойся Бога, что ты делаешь с девочкой!

— Прочь! — бешено крикнул Самсонов, отталкивая жену.

Сильная и цепкая, она не поддалась. Толкаясь и осыпая друг друга ударами, возились они над Шанею, которая ползала по полу на коленях: коса ее была в руке отца, и она подавалась головою туда, куда тянул отец. Наконец, почувствовав, что отец держит ее слабее, она схватилась обеими руками за его руку, в которой была зажата ее коса. Он сильно тряхнул рукою, выпустил Шанины волосы, — Шаня отлетела по полу в сторону, ударилась об стул, быстро вскочила и убежала к себе. За нею неслись неистовые крики отца и матери. Марья Николаевна, обозлясь за Шаню на мужа, страстными криками изливала все, что накипало в ней злобы против него.

— Плут всесветный! — яростно кричала она, наступая на мужа. — Людей обманываешь, рабочих обсчитываешь, коршун! Разразит тебя Господь за твои темные дела, — попомни мое слово.

Самсонов сердито отмахнулся от нее и отошел к другому концу комнаты.

— Мели, мельница! — злобно сказал он, стараясь сдержать гневную дрожь голоса. — Какие такие темные дела?

— Много за тобой грехов! — кричала Марья Николаевна, опять приступая к нему. — Завел полюбницу, ослезил меня, — греха не боишься, и стыда в тебе нет, — дочь-то ведь у тебя не маленькая, хоть бы пред ней постеснялся, греховодник старый!

— Тьфу, дура поганая! Говорить с тобой, — только черта тешить.

Он ушел в свой кабинет, яростно захлопнул дверь и заперся на ключ. Марья Николаевна продолжала кричать у его двери еще долго, — он не отвечал.

Шаня робко притаилась в уголке за своею кроватью и уселась, вся скорчившись, на тот старый, расшатанный стул, на который всегда усаживалась она, когда чувствовала себя обиженною.

Косые лучи вечернего солнца неподвижно и печально озаряли знакомые, милые для Шани предметы ее тихого убежища. Издали доносились до нее бешеные отголоски ругани, но Шаня не прислушивалась к ним, не хотела прислушиваться. Ей было еще обидно, но слез уже не было на испуганно и гневно горевших глазах. Мечты зачинались в ее голове, ласковые и грустные. И чем больше вслушивалась она в них, тем дальше и глуше казались ей отголоски свирепой брани. Обиженным сердцем понемногу овладевало кроткое, ласковое настроение. Мечта кружилась около одного дорогого образа.

Красивый мальчик с гордою улыбкою, самоуверенный, умный, благородный. Ему доступны вершины почестей, — он — дворянин, он отважен. Она перед ним такая ничтожная и глупенькая. И он любит ее.

Ах, если б у нее вдруг сделалось прозрачное, эфирное тело! Сбросила б тесное платье, полетела бы к милому, легкая, воздушная. Не задержали бы ни высокие заборы, ни крепкие запоры. Сквозь стены проникла бы, как влажное дыхание, отклоняющее пламя пристенной свечи. Прилетела бы голубою тенью, никем не видимая, прильнула бы к нему, — нагие руки ему на плечи, нежные губы к его губам, — тихонько шепнула б ему: «Здесь я, милый мой!» — и тайными поцелуями опьянила бы, очаровала бы его!

Скрипнула дверь, разбились мечты, вошла старуха нянька, вынянчившая еще Шанину мать. Теперь, хоть Шанька и подросла, а нянька

все жила, уже четвертый десяток лет, при Марье Николаевне: она была «свой человек» в доме, хозяева ей доверяли, и она зорко охраняла хозяйское добро.

— Притулилась, ясочка ненаглядная, — нежным шепотом заговорила нянька, гладя Шаню по голове.

Шаня почувствовала боль в корнях волос, — память отцовской таски, — нетерпеливо тряхнула головою и опустила ее на деревянное изголовье. Ей стало досадно, зачем помешали мечтать, и она не хотела повернуть к няне недовольного лица. А нянька стояла над Шанькою, глядела на нее добрыми старушечьими глазами и утешала ее простыми, глупыми словечками. В странном беспорядке теснились в Шанином слухе и голуби, и генералы, и светики ненаглядные, — какая-то ласковая чепуха, — и Шаня поддавалась ее льстивому обаянию.

— Скажи, няня, сказку, — молвила она, глянув на няньку одним глазом.

Няня присела рядом с Шанею и заговорила сказку про какого-то вольного казака. Шаня не вслушивалась и мечтала себе о своем. Вдруг няня замолчала. Шаня открыла глаза и приподняла голову. Мать стояла перед нею.

— Мой-то сокол улетел! — сказала она няне.

Няня завздыхала и заохала.

— К сударушке своей! — злобно сказала Марья Николаевна. — Ну а ты, Шанька, что сиротой сидишь? Подь к матери, — хоть я тебя приласкаю.

Марья Николаевна села на Шанину кровать и притянула к себе дочку. Шаня прильнула щекою к ее груди, — мать посадила ее к себе на колени.

— Ох, горюшко мне с тобой, — говорила она, поглаживая и похлопывая дочь по спине. — Все-то ты отцу досаждаешь. Вот сапоги-то все не переменила, так в глине и щеголяешь.

Шаня соскочила с колен матери, села на пол и принялась стаскивать ботинки.

— Надень туфли, — сказала мать.

— Я лучше так, мамуня, — тихонько ответила Шаня, сняла чулки и опять забралась на колени к матери.

— И с ним-то горе, — говорила меж тем Марья Николаевна няне. — Я ли его, злодея моего, не любила, не лелеяла! А он, натко-сь, завел себе мамоху, старый черт!

— И на что позарился, — подхватила няня, — сменял тебя, мою кралечку, на экое чучело огородное.

— Что уж он в ней, в змее, нашел! — досадливо говорила Марья Николаевна. — Чем она его обошла! Только что молодая, да жирная, что твоя корова. Так ведь и я не старуха, слава Тебе Господи.

— И, касатка! — убедительно сказала няня. — Недаром говорится: полюбится сатана пуще ясного сокола.

— Она — белая, — вдруг сказала Шаня, приподнимая голову.

— Ах ты! — прикрикнула мать, — с тобой ли это говорят! Не слушай, чего не надо, не слушай!

И мать сильно нашлепала Шаньку по спине, но Шанька не обиделась, а только плотнее прижалась к матери.

— И я-то дура! — сказала Марья Николаевна, — говорю при девке о такой срамоте.

— Ох, грехи наши! — вздохнула няня.

— Что, Шанька, оттаскал тебя отец за волосья? И за дело, милая, — не балахрысничай.

— Чего ж заступалась? — шепнула Шаня.

— Так, что уж только жалко. И что из тебя выйдет, Шанька, уж и не знаю, — вольная ты такая. Только мне с тобой и радости было, пока ты маленькая была.

— Я, мамушка, опять маленькая, — еще тише шепнула Шаня и закрыла глаза.

Марья Николаевна вздохнула, прижала к себе дочку и, слегка покачивая ее на коленях, запела тихую колыбельную песенку:

Ходит бай по стене, —
Охти мне, охти мне.
Что мне с дочкою начать, —
Бросить на пол иль качать?
Уж я доченьку мою
Баю старому даю.

Баю-баюшки-баю,
Баю Шанечку мою.

Шане было грустно и весело, — душа ее трепетала от жалости к матери.

Вечерело. Вокруг дома пусто и глухо. Только изредка слышна трещотка городского сторожа: это — двенадцатилетний мальчик, которого послал за себя ленивый отец; слышен изредка протяжный крик мальчугана. Доносится лай собак, их злобное ворчанье и глухое звяканье их цепей. В самом доме — неопределенные шорохи старого жилья. Строго смотрят иконы в тяжелых ризах, в больших киотах. Угрюма неуклюжая мебель, в строгом порядке расставленная у стен. В холодном паркете тускло отражаются затянутые тафтою люстры. Скучно и хмуро. От лампад, готовых затеплиться, струится елейный, смиренный запах. Марья Николаевна опять жалуется няньке, а Шанька опять слушает, тихонько сидя в уголке, и молчит.

Хоть и не бедны Самсоновы, а все-таки жизнь в их доме имеет определенный мещанский уклад: просты отношения между обитателями дома и наивно-откровенны; прост сытный обед и плотный ужин; просты наивно-плоские беседы и бесцеремонны домашние одежды.

В такой-то обстановке вырастает Шанька, шалунья и своевольница, которую то балуют, то жестоко наказывают. Родители словно дерутся девочкою: когда отец бьет Шаньку, мать ее ласкает; когда отец ласкает дочку, мать к ней придирается и сечет ее иногда за такие пустяки, на которые в другое время и внимания не обратила бы. Но Шаня изловчается; она часто успевает-таки ладить и с отцом, и с матерью. И теперь в ее предприимчивой голове сквозь жалость и сочувствие к матери уже выясняется план, как бы и с отцом помириться.

Шаня — девочка быстрых, бойких настроений, счастливая, как радость, одним тем, что живет. Не может она долго печалиться, хоть бы и после того, как ее побили.

Глава четвертая

Спать ложились рано. В десять часов Шаня уже лежала в постели. Но она не спала. Окна ее комнаты были плотно занавешены, двери крепко заперты, и под дверями лежал скатанный половичок, чтобы не просвечивало наружу от свечки на столике около кровати. Шаня читала книжку, одну из тех, которые она тайком приносила домой для ночных чтений. Это были романы. Ими снабжали ее или Женя, или, чаще, Шанина подруга по гимназии, Дунечка Таурова.

Но сегодня Шаня читала недолго. Скоро она отложила книжку, замечталась, — о Женечке. Встречи с ним вспоминала.

Вспомнилась одна встреча, в первые недели их близкого знакомства, их милой дружбы. Познакомились-то они еще на Святках, но сдружились тесно только в начале прошлого лета.

Был такой жаркий-жаркий день. Так одежда и липла к телу. Уж так жарко! Хоть из речки не выходи, — благо близка речка и купанье удобное. Да вот только надобно постоять у калитки, подождать Женю, авось придет.

Женя, по сделанной уже им привычке, улучив свободный час, пробирался на своем велосипеде в сад к Шане. Шаня давно поджидала его у калитки. Но притворилась, что подошла только сейчас. Женя поклонился ей издали. Шаня пригласила:

— Зайдите, Женечка.

Женя, улыбаясь любезно и радостно, соскочил с велосипеда и сказал:

— Благодарю вас. Я хотел было проехать в лес. Но, если позволите, я очень рад поболтать с вами часочек.

Шаня, улыбаясь, открыла ему калитку. Женя вкатил свой велосипед в сад, глянул на Шанины легко загорелые ноги, затаившиеся в траве, и покраснел. Шаня лукаво улыбнулась. Сказала:

— Извините, я совсем забыла, что босая, так сюда и вылетела.

— Но ведь вы можете уколоться или порезаться, — сказал Женя.

Шаня засмеялась.

— Большая беда! — беспечно сказала она.

— Да говорят, что и неприлично барышне босиком ходить, — срывающимся, неверным тоном говорил Женя, пристраивая свой велосипед в закрытой беседочке близ калитки.

— А я так часто босичком бегаю, — простодушно говорила Шаня. — Веселее. Это у меня — бальные башмачки.

— Шалунья вы, Шанечка, — смущенно говорил Женя.

— Право, — говорила Шаня, — я люблю летом босиком ходить. Что ж такое!

— Разве вам позволяют? — спросил Женя.

— Конечно, позволяют. Что ж вы такое кислое лицо делаете? Неженка какой!

Шаня весело прыгала по песчаной дорожке, смеясь, дразня Женины взоры своими легко загорелыми ножками.

— Вы бы, Шанечка, обулись, — досадливо сказал Женя.

— Зачем это? — с удивлением спросила Шаня.

Тем наставительным тоном, который Женя так рано перенял от своих родителей, он сказал:

— Гостей встречать надо в полном наряде. А я — ваш гость.

Шаня громко засмеялась.

— Гость! Ах вы, цирлих-манирлих! — говорила она весело. — Просто вам стыдно, что я босиком. Вы — такой барич, и вдруг вас увидят с босою девчонкою.

— Ну, это вы напрасно! — обиженным голосом сказал Женя.

— Напрасно? — насмешливо спросила Шаня. — А признайтесь, Женечка, ведь вы подглядывали, когда я купалась?

Женя вспыхнул. Шаня угадала верно. Он бормотал смущенно:

— С чего это вы взяли, Шанечка! Разве это можно! Как это вы могли подумать!

Шаня смеялась:

— Да вы не бойтесь, — сказала она. — Я не сержусь. Я — не урод. Конечно, стыдно. Но я знаю, что вы любовались.

Женя приободрился и сказал увереннее:

— Шанечка, это — другое дело. У меня эстетически развитый вкус.

— То-то! — посмеиваясь, сказала Шаня.

Женя говорил все увереннее:

— Знаете, Шанечка, нагое человеческое тело — прекрасно, и смотреть на него — наслаждение.

— Что ж вы меня заставляете обуться? — спросила Шаня.

— Вовсе не заставляю, — возражал Женя. — У вас прелестные ножки. На ковре в комнате очаровательно. А здесь вы их в глине пачкаете. Кожа грубеет.

— Хорошо, — согласилась Шаня, — ну я сейчас надену туфельцы. Подождите минутку.

Она убежала. Женя смотрел на ее легкий, быстрый бег.

Минуты через две Шаня вернулась уже в черных чулках и белых туфлях. И вдруг Жене стало досадно, что он не видит ее милых ножек. Шаня весело говорила:

— Ну вот, теперь хоть в Летний сад.

Потом все-таки Шаня нередко была босая при Жене. Ей хотелось, чтобы он полюбовался ее ножками. Уж если хвалит!

Улыбается Шаня, припоминает, как мать рассказывала ей про свой разговор с Евгением о том же. Евгений встретил на улице Марью Николаевну. Поздоровался. Сказал несколько слов. А потом вдруг:

— Что это у вас Шанечка босиком в саду бегает? Еще порежется.

Марья Николаевна спокойно отвечала:

— А что ж, коли ей хочется! Она еще небольшая, да и пускай себе ходит как хочет. По мне бы, я и в гимназию бы ее босую отпускала в теплые-то дни.

— Зачем же? — спросил с удивлением Женя.

— А проще-то лучше, батюшка, — говорила Марья Николаевна. — Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там нет ни одного. Глянька на иконы, — сколь много святых босыми ходили. Сама Богородица земли нашей не гнушалась, — столь, видно, простота Господу угодна.

Евгению этот мотив совсем показался неприемлемым. Он сказал с привычною для него относительно известных предметов насмешливостью:

— Шанечка у вас не святая еще пока, а вот ножки занозить может.

Марья Николаевна засмеялась и говорила:

— Уж очень ты нежный, батюшка, а она привыкла. Живое тело, — наколется, заживет.

Вспоминает Шанечка, улыбается.

Вдруг она услышала неясный шум открывающихся дверей и тяжелой отцовой поступи. Она мгновенно задумала смелое дело, — идти к отцу просить прощения. Тут был риск: или отколотит еще раз, может быть, выстегает, или приласкает, — и тогда она обеспечена от будущих неприятностей за то, что осталась на второй год в классе.

Шаня загадала, — идти или не идти: она будет считать до ста, и если в это время нигде ничего не услышит, то не пойдет, а если услышит, то пойдет. Она начала счет. Ей стало жутко, и она ускоряла счет, чтобы поскорее кончить, до первого шума. Она считала уже шестой десяток, как вдруг где-то далеко в городе раздался невнятный, глухой крик. Шаня вздрогнула, с разбега просчитала еще несколько и остановилась. Делать нечего, надо идти.

Шаня проворно вскочила с постели, набросила на себя платье, спрятала книгу, потушила свечу и тихохонько вышла босая в коридор. Придерживая рукою дверь своей комнаты, она остановилась и слушала, — везде в доме было тихо.

Тихо-тихо ступая, пошла она по неосвещенной лестнице, по темным комнатам. Вот и дверь отцова кабинета. Внизу ее светится щель, — значит, отец еще сидит.

Шаня прижалась ухом к двери. Ее сердце шибко колотилось. Неясный шелест еле слышался ей за дверью.

Внезапно решившись, Шаня стремительно открыла дверь, быстро подбежала к отцу и охватила руками его шею. Самсонов сидел у письменного стола и просматривал счеты. На нем был засаленный халат, старый, много раз заплатанный, из которого в некоторых местах лезла вата.

— Ты чего, оглашенная? — закричал Самсонов на дочку. — Чего тебя носит?

Шанька прижалась к нему и уселась на его колени.

— Да ты чего вольничаешь? — уже потише говорил Самсонов. — Аль забыла...

— Прости, папочка милый, не буду лениться, — вкрадчиво заговорила Шанька, ласкаясь к отцу и целуя его жесткую щеку.

— То-то, не буду. Разве у меня шальные деньги?

— Ты — богатый.

— Ну, ну, не так богатый. Положим, грех роптать. А — дело-то всяко бывает: вот маюсь, пока мышь голову не отъела, а завтра что еще будет. Посечь бы тебя надо, Шанька, — бормотал он, ласково поглядывая на красивое лицо девочки.

Он прижал к себе дочку, покачивая ее на коленях и подбрасывая кверху ее голые ноги. Шанька тихонько смеялась.

— Отлощить бы тебя хорошенько. Слышишь, Шанька, а? Хочешь, задам баню?

— Другой раз, голубчик папочка, — отвечала Шаня, вытаскивая кусочки ваты из отцова халата.

— То-то, другой раз, смотри ты у меня, разбойница. Еще как надо бы!

Глава пятая

Евгений, подходя к дому, озабоченно осмотрел испачканную, изорванную одежду. Ему стало досадно. Он думал: «Она не может и представить себе, легкомысленная Шанька, как это у нас неудобно и неприятно. Увидят, и сейчас начнутся жалостные разговоры. Надобно постараться проскользнуть незаметно».

Разговоры, на которые мог навести этот беспорядок одежды, особенно неприятны были теперь Евгению потому, что у них гостили приехавшие из Крутогорска брат его отца, Аполлинарий Григорьевич Хмаров, с женою. Дядю своего Евгений считал за человека очень умного и насмешливого и побаивался его язычка.

Проскользнуть незаметно не удалось. В передней случайно его встретила мать, Варвара Кирилловна, высокая, худощавая дама с величественным видом и с длинным носом. Она заметила и грязь, и прореху и пришла, по обыкновению, в ужас.

— Женя! Боже мой! — воскликнула она. — Но в каком ты виде! Посмотрите, ради Бога, на кого он похож!

С этими словами она повела его в гостиную, где собралась вся семья. Евгений имел сконфуженный вид: он не привык видеть себя в таком беспорядке. Сестрица Маша смеялась. Отец окинул Евгения удивленными глазами и сделал самую ледяную из своих улыбок, которая так шла к его видной, внушительной наружности.

— Хорош! — сказал дядя, высокий господин с длинными седыми усами, с бритым подбородком и с лукавым выражением лица.

А дядина жена, Софья Яковлевна, полная дама с блестящими глазами и нервно-быстрыми движениями, оглядывала его с выражением брезгливости и ужаса и восклицала:

— Испачкан, изорван! Но его поколотили уличные мальчишки.

Машина гувернантка, Елена Никитишна Сбойлева, угрюмо-кислая девица с длинным лицом, смотрела на Евгения злыми глазами и улыбалась язвительно.

— Где это ты? — спрашивала мать.

— Не лучше ли ему сначала переодеться? — обратился к ней Модест Григорьевич.

Евгений взглянул на отца с благодарностью и поспешил уйти. За ним звенел Машин смех.

«Один только отец умеет вести себя, — думал Женя, переодеваясь. — Только в нем есть эта холодная корректность, которая отличает».

Варвара Кирилловна не намерена была забыть про это неприличное происшествие. За обедом она опять спросила Евгения:

— Скажи, пожалуйста, где ты так перепачкался. И где ты изволишь прогуливаться?

Евгений успел сочинить подходящее объяснение и небрежно ответил:

— Я был у этого... Степанова. Потому и поздно.

— Это что за Степанов? — спросил Модест Григорьевич.

— Но я вам вчера говорил, — это наш гимназист больной.

Варвара Кирилловна встревожилась.

— Чем больной? — с обидою и со страхом в голосе спрашивала она. — И когда ты рассказывал? Я ничего не помню.

— Ты еще нас всех заразишь! — воскликнула Софья Яковлевна, брезгливо поводя своими пышными плечами.

— Ах, мама! — досадливо сказал Женя. — Я не пошел бы, если б это было прилипчиво. Надо ж навестить: они — бедные, может быть, я мог бы немножко помочь.

— Какая филантропия, скажите пожалуйста! — насмешливо говорила Софья Яковлевна. — А кто тебя там прибил?

— Никто не бил. Но, знаете, в этих захолустьях такая грязь, что надо иметь привычку там ходить. Мостки поломанные, — я ногу чуть не сломал.

— Потому, должно быть, тебя и провожала эта девчонка! — вмешалась Маша.

— Нельзя говорить «девчонка», — остановила ее Елена Никитишна, — надо сказать «девочка».

— Какая девчонка, Женечка? — спросил дядя, улыбаясь и слегка прищуривая веселые, лукавые глаза.

Евгений покраснел. Елена Никитишна сделала обиженное лицо. Она сочла оскорбительным для себя, что никто не обратил внимания на ее замечание и что Аполлинарий Григорьевич повторил то самое слово «девчонка», за которое она остановила Машу.

— Не знаю, о чем она говорит, — сказал Евгений, пожимая плечами, — я один ходил.

— А краснеешь зачем? — спрашивал дядя.

— Нет, не один, — горячо возражала Маша. — С тобою была черномазая девочка, гимназистка. Ты в кусты спрятался, а она мимо нашего дома прошла.

— Вот и неправда, — уверенно сказал Евгений, — ничего такого не было.

— Да ведь я видела, как вы с ней шли в Летнем саду, — говорила Маша.

Елена Никитишна опять остановила ее:

— Вы, Маша, совершенно напрасно смотрели на эту неприличную прогулку.

— Это, должно быть, опять та же Самсонова, — недовольным тоном сказал отец.

— Опять, Боже мой! — патетически воскликнула мать.

— Но я с ней только случайно встретился в саду! — невинным тоном объяснял Евгений. — И не мог же я убежать от нее!

— Какие скороспелые нежности! — воскликнула Софья Яковлевна, сверкая глазами и покрываясь румянцем негодования.

— Мы только немного прошли вместе и расстались. И я вовсе не думал прятаться. Я даже не сразу вспомнил. Что ж тут такого?

— Ах, это все та же мещаночка! — вспомнил и дядя. — Браво, Женечка, у тебя появляется постоянство во вкусах: не на шутку влюбился в свою сандрильону.

— Что ж, что мещаночка? — возразил Евгений. — У нее приданое есть.

— Много ли? — насмешливо спросила мать.

— Тридцать тысяч! — с весом сказал Евгений.

Мать пренебрежительно пожала плечами.

— Ну все же деньга... если только отец даст, — вступился дядя, лукаво усмехаясь.

— Не рано ли думать? — спросил отец.

— Это у нее собственные, — сказал Евгений, отвечая дяде.

— Да? — с некоторым вниманием спросила мать.

— Я все это у нее разузнал...

— Вот как! практично! — насмешливо сказал отец.

— Да что это такое! — засмеялась Софья Яковлевна. — Разузнал!

— Дело в том, — объяснял Евгений, — что эти деньги завещал ей дядя, ее крестный отец, и они хранятся в Крутогорске в конторе у другого дяди, нотариуса Жглова.

— Непрочное помещение! — заметил дядя с тою же лукавою усмешкою.

— Вообще, — решила Варвара Кирилловна, — тебе, Женя, о таких вещах рано еще думать.

— Конечно, — подтвердил отец.

— Решительно прошу, — продолжала Варвара Кирилловна, — туда не ходить. Раз навсегда. Я не могу этого выносить, — пожалей мои нервы.

Когда Евгений после обеда ушел к себе, Варвара Кирилловна сказала:

— Женя у меня такой впечатлительный, а эта девчонка отчаянно его ловит. Нынче нет детей. Четырнадцатилетняя дрянь уже думает о женихах, — возмутительно!

— В их мещанской среде это так понятно! — говорила Софья Яковлевна. — Да и вообще нынешние дети... И зачем вы отдали его в гимназию, — не понимаю. Там такое общество!

— Ах, куда же отдать! Здесь хоть на наших глазах.

Евгений прошел после обеда в свою комнату, в мезонине. Вспоминал разговоры за столом. Из всего, что говорилось за обедом, особенное впечатление на Евгения произвели и уязвили его дядины слова.

«Мещанка! — думал он, перебирая книги. — И все-таки она премилая. Конечно, она дурно воспитана, действительно по-мещански, — какие манеры и словечки! Но я ее перевоспитаю: она рада мне подчиняться, она меня так любит, бедняжка, — мне ее не трудно будет обломать. Любовь ко мне переродит ее».

Евгению вспомнилось, как они с Шанею пили «на ты», когда поближе познакомились и сдружились. То было в самую жаркую пору лета, в межень, как говорят у нас. День был ясный, тихий, знойный. Шаниных родителей не было дома. Шаня тихонько принесла в сад вино. Они забрались в баньку, которая стояла в глухом уголке сада: нельзя нести вино в парк, — далеко, а в баньке никто не увидит.

Евгению ясно вспомнились его тогдашние жуткие, томные впечатления: полусветлая банька с открытыми окнами, куда вливался из сада жаркий, душистый воздух сквозь ветви кустов, тесно лепившихся у стен, — бревенчатые стены, скамейки по стенам, вся странная для беседы обстановка места, где обыкновенно только моются, — сладкое, крепкое вино, — тишина, уединение, — Шанин нежный полушепот, — ее быстрое, теплое дыхание и аромат вина, — отуманенные взоры, — взволнованная кровь и ярко зардевшиеся щеки, — жаркие руки, блуждающие, — вздрагивающие прикосновения, — ласковые Шанины улыбки, — долгие, смущенные поцелуи. За стеною смеются миллионы тихих и звонких голосов и шелестов, слышится задорный птичий писк по кустам, далекое жужжание пчел...

Евгений размечтался. Сладко и томно стало ему.

— Барин, чай пить пожалуйте, — услышал он за собою голос горничной.

Евгений посмотрел на смазливую девушку.

— Гости пришли, — сказала она.

— Ах, милая, ты сегодня преинтересная, — скучающим голосом проговорил Евгений и лениво провел рукою по ее плечу.

Она лукаво усмехнулась.

Глава шестая

Евгений сошел вниз. Его охватили привычные, бодрящие впечатления: свет ламп, красиво отраженный на обоях, на красивых одеждах, на лицах дам и барышень, — тихое позвякивание чайной посуды и еле различаемый аромат душистого чая, смешанный с тонким благоуханием духов, — оживленный, но негромкий разговор, приправленный и забавною сплетнею, и легким злословием по адресу отсутствующих, — приветливые улыбки и любезные слова. Приятно было сознавать, что здесь собралось «лучшее» общество Сарыни.

Здесь были: уездный предводитель дворянства Ваулин, из отставных военных, господин очень вежливый, нарумяненный, затянутый в корсет, от которого его стан казался деревянным, — его дочь, девушка лет шестнадцати, со скучающим, бледным лицом, которое казалось немного припухлым, — директор гимназии Кошурин, длинный, веселый господин, недавно переведенный сюда из Петербурга и забавлявший дам не очень свежими столичными анекдотами, — его сын Павел, гимназист седьмого класса, румяный красивый мальчик, плотный, упитанный, выхоленный, хотя уже с некоторою раннею блеклостью кожи под глазами, большими, но несколько тусклыми, — седой полковник, — тучный судебный следователь, — и еще несколько офицеров, девиц и дам.

Павел Кошурин что-то доказывал в кругу молодых людей и барышень. Евгений подошел к ним.

— Все это так условно, — говорил Кошурин слегка дребезжащим, неустановившимся голосом переходного возраста, — нравственность, долг: что у нас нравственно, то в другом месте или в другое время безнравственно, и наоборот. А потому мы нисколько не обязаны следовать тому, что кто-нибудь считает нравственным или хорошим.

— Конечно, — подтвердил Евгений.

— Надо стоять выше буржуазной морали, — пискнул молоденький офицерик с румяным и красивым лицом.

— Позвольте, — вмешался седой полковник, вслушавшись с своего места, — вот я вас спрошу, если бы вам представился случай украсть, вы бы ведь не украли?

— Разумеется, не украл бы, — ответил Евгений, пожимая плечьми.

— Ну вот видите, значит, не все так условно...

— Но позвольте, — горячо возразил Кошурин, — ведь я и каждый из нас почему не украли бы? Вовсе не потому, что считаем это безнравственным. Не воруем, в сущности, мы только потому, что боимся, как бы нас не поймали.

— Нет, извините, — возразил полковник слегка обидчивым тоном, — это не о всех можно сказать.

— Или потому не воруем, — пояснил Евгений, — что боимся того, что нельзя будет воспользоваться краденым, а риск велик. Воруют только дураки, и почти всегда попадаются, а умный человек не пойдет красть, но вовсе не потому, что это безнравственно, а потому только, что это невыгодно.

— Ну нет-с, позвольте не согласиться. Вы это изволите рассуждать так, вам нравится, может быть, смелые слова произносить, а из своего жизненного опыта могу вас уверить: есть люди, которые не воруют именно только потому, что гнушаются такой низостью.

В других местах тоже прислушивались к спору, и слова полковника вызвали сочувственные отклики.

— Вдруг бы мы пошли воровать! можно ли это себе представить! — восклицала Софья Яковлевна.

— Да, трудно представить кого-нибудь из нас в роли грабителя или мошенника! — с холодною усмешкою сказал Модест Григорьевич.

— Нет, молодой человек, — внушительно сказал седой полковник, обращаясь к Кошурину, — люди нашего старого поколения твердо знают, что воровать — постыдно.

— Всякие бывают люди, — с усмешкою ответил Павел Кошурин, — а мы о себе только говорим: если б можно было украсть красиво и безопасно большой куш, я бы украл и не задумался бы ни на минуту.

— Ну, это так только говорится, для красного словца, — решил полковник и повернулся к тучному следователю продолжать с ним прерванную беседу.

— Этим господам нас не понять, — говорил Павел Кошурин барышням, — у нас совсем разные натуры. У людей прежних поколений все застыло в определенных формах. Они просто не смеют выйти из своих рамок. У нас развивается тонкая нервная организация: нам доступен такой мир, который им недоступен.

— Может быть, этот мир и им был доступен в молодости, — сказала Катя Ваулина.

— О нет: мы — совсем иное дело. Ведь они о чем в молодости мечтали? о славе, о любви, о благе народа, — какая чепуха, не правда ли? Вдруг ходили в народ. К этим пьяным, грязным дикарям. Зачем! Как это глупо! Нет, для нас в жизни существует только изящное, прекрасное. Мужики — скотоподобные. Мы их ненавидим. Жизнь должна давать нам наслаждения, иначе не стоит и жить.

— Да ведь и старички тоже наслаждались жизнью, — пыталась спорить Катя.

— Да, но наивно, грубо; они не выходили из рамок условного. Я вам приведу пример в цветах: им нравились яркие цвета, — красное, голубое, зеленое, — нам нравятся нежные, еле уловимые оттенки.

— О да! — согласилась Катя.

— То же и во всех чувствах. Мы улавливаем тонкие, неопределенные ощущения, которые им непонятны. То же и в искусстве: им нравится Пушкин, мы упиваемся туманными дымками фетовских стихов.

— Ах, стихи! Прочтите нам какое-нибудь свое стихотворение! — просительным голосом воскликнула молоденькая барышня в розовом платье и с наивным лицом.

— Да, да, пожалуйста! — просили и другие барышни.

Павел Кошурин улыбнулся небрежно и самоуверенно.

— Мне удалось на днях создать очень замечательное и оригинальное стихотворение. Я его прочту вам, если угодно, но в пояснение вам надо сказать несколько слов. Собственно, стихи и не следует объяснять, но я иду совсем особою дорогой, — я не подражаю никому, и потому вам мои стихи и могут на первый взгляд показаться не совсем ясными: в них надо вчитываться. Я, видите ли, довел свои нервы до такой чуткости, что начинаю видеть голубые вещи.

— Голубые вещи? что это такое? — восклицала розовая барышня.

— Это что-нибудь страшное? — опасливо спросила Катя Ваулина.

Кошурин снисходительно улыбнулся.

— Это, как бы вам сказать... Да это, впрочем, все видели, только не понимали. Помните, случается, что вам иногда что-нибудь покажется в углу комнаты, или на стуле, или на диване, какая-нибудь голубая тень. Вы подходите и приискиваете естественное объяснение: платье висит, или стоит зонтик, или что-нибудь лежит на стуле, — и вы успокаиваетесь. Вы уж привыкли находить такие объяснения и верите им.

— А если там ничего нет? — спросил розовый подпоручик.

— Ну, вы уверите себя, что вам только показалось. Но это и на самом деле прошла голубая тень, душа какого-нибудь умершего существа, — они всегда проходят мимо нас, только мы не хотим видеть.

Глаза барышень широко раскрылись.

— Но зачем же они ходят? — спросила барышня в розовом.

— Зачем? Может быть, они хотят к нам обратиться, сообщить нам что-то, а мы не обращаем внимания. Это, собственно, еще не самые души: когда человек умирает, его душа выходит, и она в голубой оболочке, которая легче всякой земной материи, — и эта оболочка еще долго живет на земле, пока душа от нее не освободится.

— Но, значит, их очень много? — боязливо сказала Катя.

— Ну не так много, — усмехаясь, ответил Павел Кошурин. — Ведь одни только дворяне бессмертны. Мужики издыхают, как скоты.

— Неужели? — воскликнула розовая барышня.

— Уверяю вас. Кстати, вы знаете, что мы ведем свой род от времен Ивана Грозного? Но я начал о голубых вещах. Голубых ясно можно видеть, если изощрить внимание.

— То есть если расстроить нервы, — опять вмешался полковник.

— Почему же расстроить, а не настроить? — спросил Кошурин, пожимая плечами. — Я начинаю достигать этого. Вчера в сумерках я сидел один у себя. Задумался. Было тихо. Сижу вот так, откинувшись на спинку кресла, руки протянуты на коленях, — и вот я вижу, подошла ко мне, тихо-тихо, голубая тень и стала близко... все ближе, — ближе, — наконец я чувствую на руках кончики ее крыльев.

Гимназист остановился и значительно смотрел на слушателей.

— Тень крылатая! — заметил Аполлинарий Григорьевич, который, вместе с другими, снова начал вслушиваться в речи румяного гимназиста.

— Прямо из высших сфер, — с веселым смехом сказал Кошурин-отец.

— Что же она говорила? — спросила Катя, доверчиво и испуганно глядя на гимназиста.

— Пока еще я ничего не слышал. Но вот слушайте мои стихи.

— Господа, — сказал Аполлинарий Григорьевич, — прошу внимания. Юный поэт прочтет свои стихи.

Все стали слушать. Кошурин-младший принял мечтательно-горделивую позу и торжественно продекламировал:

Вдохновенные руки бессильно томятся
на грустных коленях...
Замечаю внимательным взором движенье
в таинственных тенях...
Вдохновенье ль желанных сношений,
немая ли это забава, —
Голубая, прозрачная, тихо
ко мне опускается пава.
Голубое крыло над рукою моею
колышется зыбко,
А на клюве прозрачном дрожит
незнакомая миру улыбка.

Катя в восторге смотрела на поэта. Седой полковник откровенно засмеялся, а Аполлинарий Григорьевич сказал, лукаво усмехаясь:

— Славные стихи. В наше время таких не писали. Только не понимаю я, о чем грустят колени.

— Это, видите ли, передается впечатление, — небрежным тоном пояснил гимназист. — Всякая вещь имеет свою физиономию, и члены человеческого тела тоже.

— Позвольте спросить, — обратился к Кошурину Ваулин, — почему именно вы изволите упоминать в ваших стихах паву, а не другую птицу, — орла бы, например?

— Извините, этого я не могу объяснить. Это надо почувствовать.

— Пава — это символ, — сказал Евгений.

— Символ чего, позвольте спросить? — продолжал любопытствовать Ваулин, устремляя на гимназистов серые, проницательные глаза.

— Символ чего-то такого... я не могу это выразить.

— Если хотите, — снисходительно объяснил наконец Кошурин, — символ гордого стремления к неизвестному. Я, по крайней мере, так объясняю себе. Но я должен сказать, что когда я создаю стихи, я не понимаю, что пишу.

— О да, это заметно, — очень любезно согласился Ваулин.

— Я на него уж и рукой махнул, — с веселым смехом заявил Кошурин-отец.

Павел Кошурин и Катя Ваулина сидели, уединившись, в уголке. Гимназист в чем-то настойчиво убеждал девушку, которая неопределенно улыбалась и покрывалась слабым румянцем.

— Позвольте же, — воскликнул наконец гимназист, — прочесть мои стихи, посвященные вам. То, что я должен вам сказать, прозой не выходит убедительно, — стало быть, это надо сказать стихами. Надеюсь, вы поймете или почувствуете. Слушайте.

Катя закрыла глаза и откинулась на спинку стула. Гимназист, близко наклонясь к ней, продекламировал страстным полушепотом:

Отодвинул я завесы плотные, —
Запечатана тайная дверь.

Беззаботные, безотчетные, —
Отчего не теперь?
Облелеял бы лаской блуждающей
Я твою заповедную дверь.
Утомляющей, утоляющей, —
О, не бойся, поверь!

Кошурин кончил. Катя сидела с закрытыми глазами и словно ждала еще чего-то. Наконец она открыла глаза. В них было блудливое и желающее выражение.

— Все? — спросила она очень тихо.

— Все. Поняли?

— Может быть. Только...

— Что только?

— Положим, верю, — а дальше что?

— Дальше после, — ответил гимназист, радостно улыбаясь.

Катя отошла от него.

— Что, — спросил Евгений, подходя к Кошурину, — у тебя, кажется, была интересная беседа с Катей Ваулиной?

— Да, — дурочка, такая боязливая, не может понять, что можно и невинность соблюсти, и насладиться во все свое удовольствие. Впрочем, я, кажется, обратил ее в свою веру стихами. Хочешь, прочту тебе?

— Прочти.

Кошурин повторил свое произведение.

Глава седьмая

Владимир Гарволин жил со своею матерью недалеко от Самсоновых. Он с детства водил дружбу с Шанею и частенько катал ее на салазках с той горки, что стояла в самсоновском парке. Давно уже обольстила его сердце пленительно-веселая девочка, но, застенчивый и неловкий, он не умел выразить своего чувства и казался грубым и суровым. По праву старой детской дружбы он говорил Шане «ты». Шаня была с ним доверчива, Шаня любила поболтать с ним

о своем милом Женечке, — жестокая Шаня! И чем больнее бичевала Шаня Володино сердце речами о Хмарове, тем милее и дороже становилась она для него, — радостная, недостижимая.

А дома была у Гарволина грусть. Неонила Петровна, его мать, вдова здешнего чиновника, получала небольшую пенсию, давала за ничтожную плату уроки девочкам, которые ходили к ней готовиться в гимназию, а по вечерам отправлялась читать романы престарелой, полуглухой барыне, которая платила ей скудно и неаккуратно, задерживала ее почти каждый раз до поздней ночи, нестерпимо капризничала, да и считала себя благодетельницею, потому что иногда приглашала Неонилу Петровну с Володею обедать.

В последнее время Володя тяготился этими обедами и раза два пробовал увернуться от них. Но это было неудобно: капризная старуха жестоко обижалась, что пренебрегают ее приглашениями, и не хотела слушать никаких резонов. Ей нравилось видеть Володю, — он был застенчив и неловок, и она за обедом всласть шпыняла его благожелательными наставлениями.

— Для твоей же пользы, батюшка, — приговаривала она, — мальчик ты хороший, а в жизни и полировка нужна. Неотесанным дубиной только тын подпирать.

Хоть очень неприятны Володе были эти обеды, но приходилось-таки ходить: мать просила, — а то еще место потеряет.

Не легко достаются деньги, трудна жизнь. Утро до трех часов уходило на занятия с девочками. В это же время надо было готовить обед: постоянную прислугу держать было не на что, а ходила находом баба, мещанка, которая жила недалеко. Эта баба придет утром, натаскает дров, наносит воды, приберет кой-что и уходит до следующего утра; в назначенные дни придет вымыть полы, выстирать белье. Девочки уйдут, — еще много дома заботы и работы: сшить, починить, заштопать. Придет вечер, — надо идти на другой край города, добывать гроши чтением. Каждый день, во всякую погоду, в дождь, в снежную мятель, в морозы, тащиться в стареньком пальтишке, которое плохо греет стареющее тело, — это было трудно.

Неонила Петровна была женщина болезненная, нервная. Девочки раздражали ее, но с ними надобно было ладить. Надобно было приноравли-

ваться и к капризам богатой старухи. У Неонилы Петровны болела грудь, она все чаще и чаще кашляла, все более и более высыхала и сморщивалась. К сорока пяти годам она казалась уже совсем старухою. Чтение сильно утомляло ее, но его нельзя было оставлять: деньги нужны.

Когда Володя подрос, он стал искать для себя какой-нибудь работы, каких-нибудь уроков, — все это оплачивалось дешево, и денег с трудом хватало. Володя подумывал бросить гимназию, идти в чиновники, — мать не соглашалась.

— Дотяни как-нибудь, — без диплома век нищим будешь.

Был у Володи в Сызрани дядя, брат его покойного отца, но тому помогать было не из чего: он служил в казначействе на маленьком жалованье и имел полдюжины детей, которым иногда не на что было и башмаков купить.

Бывало, вечером Неонила Петровна собирается идти к своей старухе, одевается, укутывается в какие-то тряпки и кашляет, мучительно кашляет.

— Ты бы, мама, сегодня дома посидела, — говорит Володя, помогая ей одеваться, — слышишь, ветер так и воет, — еще больше простудишься.

— А вот закутаюсь хорошенько, и ничего мне не будет.

— Хоть бы один вечер отдохнула.

— Я отдыхать буду, а деньги сами к нам придут! — раздражительно говорит Неонила Петровна.

— Проживем как-нибудь, мама, — побереги здоровье.

— Раз умирать надо!

У Володи сжимается сердце, когда мама говорит о смерти. Он принимается мечтать, как он кончит курс в университете, получит хорошее место и успокоит маму, — усиленно старается представить себе подробности будущего житья-бытья, но все чаще повторяется настойчивая мысль: «Не дотянет, умрет».

Мать кашляет мучительно и покорно говорит:

— Видно, помирать пора.

Володино сердце мучительно ноет. «Как же другие живут?» — спрашивает он себя и представляет себе людей богатых и бедных,

и счастливых и обездоленных... Старухи, хилые, бесприютные, надорвавшиеся в непосильной работе... Но жалость к одной из этих старух, близкой, милой, перевешивает в его сердце слабую, надуманную для утешения жалость к миллионам еще более несчастных существ.

В воскресенье у обедни Марья Николаевна встретила Неонилу Петровну с Володею и зазвала их к себе обедать.

— Вот, снимались у приезжего фотографа, — рассказывала дома Марья Николаевна. — Шанька, подари, что ль, Володеньке свой портрет.

Шаня побежала к себе; за нею пошел и Володя.

— Слушай, Шаня, — угрюмо заговорил он, когда они остались одни в ее комнате, — ты думаешь, Хмаров на тебе когда-нибудь женится?

Шаня покраснела и от раскрытого еще комода, где она искала свои карточки, повернулась к Володе.

— С чего ты это? — спросила она. — Да я и не думаю. Что я за невеста? Я еще в куклы играю.

Она весело засмеялась и опять принялась шарить в комоде, торопясь и не находя.

— Ну, положим, думать-то ты думаешь! — сказал Гарволин. — А только напрасно: маменька ему не позволит.

— Да тебе-то что за печаль? — рассердилась Шаня. — Выискался какой!

— Тебя жалко: обманет он тебя.

— Он — честный! — запальчиво крикнула Шаня.

Она нашла свои карточки и держала их, не вынимая из конверта, гневно сверкая на Володю черными глазами.

— Ну честный насчет другого чего, может быть, — угрюмо сказал Володя, — а на эти дела все они... Скажет: маменька не велит.

— Неправда! Ты — злой, злючка, ты со злости так говоришь, а сам знаешь, что неправда. Он — честный, он никогда не обманет, он милый, хороший!

Шаня притопывала ногами, и щеки ее пышно рдели. Володя вздохнул.

— Ну, давай тебе Бог. Только все ж держи ухо востро.

— И слушать не хочу, и молчи, пожалуйста. И никогда вперед не смей так говорить. На вот лучше карточку, хоть и не стоишь ты за такие слова. Самую хорошую тебе выбрала.

— Эх, Шанечка!

Шаня призадумалась на минутку и вдруг весело и лукаво улыбнулась.

— Слушай-ка ты лучше, что я тебе скажу, — сказала она Володе. — Скажи мне, синий или красный? Ну, живей.

— Ну что такое? — с удивлением спросил Гарволин.

— Скорей, скорей! — торопила Шаня. — Я задумала кое-что. Ну, говори же, синий или красный.

— Красный! — угрюмо сказал Володя. — Чепуха какая-нибудь.

Шаня звонко и радостно засмеялась.

— Не обманет, не обманет! — закричала она, прыгая и хлопая в ладоши. — Знаешь, что я сейчас загадала?

— Ну?

— Если синий, так он меня бросит, если красный, — не бросит. Ну что, чья выходит правда? Вот видишь, какой ты злой. Видишь, вышло, что не бросит, а ты на него врешь такие вещи.

— Эх ты, стрекоза! — уныло сказал Володя. — Задаст он тебе такого красного!

— Слушай, Володя, — заговорила вдруг Шаня, лукаво улыбаясь и заглядывая ему в глаза, — ведь ты все это из ревности?

Володя вспыхнул и угрюмо отвернулся.

— Из ревности, да? Ведь да? признайся, — шептала Шаня.

— Эх, Шанька, брось его, право, брось! — горячо и убедительно заговорил Володя и взял Шаню за руки.

Шаня засмеялась, вырвалась от него, запрыгала и закричала:

— Не обманет! Не обманет! Красный! Красный! Красный!

Володя безнадежно махнул рукою. Ему стало еще грустнее, чем прежде. Он увидел, что Шаня заглянула в его сердце и смеется, жестокая, беззаботно.

Заглянула в его сердце, — и ей радостно, что ее любят: это льстит ей. Она никому не откроет Володина секрета, — зачем? Он — милый. Но ей сладко, что у нее есть такие секреты. Она знает, что Во-

лодя будет хранить ее карточку как святыню, — но она не знает, как трудно Володе.

В понедельник, часа в три, Шаня встретилась с Женею в Летнем саду.

— Хочешь, Женечка, я подарю тебе свой портрет? — спросила она, кокетливо и наивно улыбаясь.

— Подари, Шанечка.

Шаня вынула из кармана фотографическую карточку.

— У приезжего снимались? — спросил Женя, рассматривая портрет.

— Да.

— Впрочем, здесь у кого же еще.

— Еле выпросила у отца, — не к чему, говорит, мы тебя и так видим.

— Резон! — насмешливо сказал Женя.

— Ну вот, я тебя и осчастливила, — сказала Шаня и весело глянула сбоку, слегка нагнувшись, в Женино лицо.

— Осчастливила, Шанечка, спасибо! — сказал Женя.

— А только если ее у тебя увидят, тебе достанется, пожалуй?

— Ну вот, — я спрячу подальше и буду хранить. Никто не увидит.

— Да, да, спрячь подальше.

Шане стало обидно, что Женя должен спрятать ее карточку, но она постаралась скрыть от Жени свое чувство. Вечером, в своей постели, она вспомнила опять, что Женя будет прятать от родных ее карточку, как запрещенную вещь, как непристойное или краденое, — и заплакала от обиды.

Шане не вспомнился в эти минуты Володя Гарволин. А он рассматривал ее карточку вместе с матерью и ни от кого не прятал ее.

Глава восьмая

Несмотря на то, что мать запретила Евгению ходить к Шане, он все-таки улучал иногда свободные минуты и забегал к ней. Давно уже собирался он сделать ей какой-нибудь подарочек, да не было у него лишних денег. Евгений всегда имел карманные деньги в весьма приличном количестве, да не находилось у него таких денег, кото-

рые не были бы назначены на его собственные прихоти. Просить лишних денег у матери или отца было бесполезно: Хмаровы и так жили не по средствам. Именье было заложено и давало так мало дохода, что Хмаровым уже года два приходилось отказываться от заграничных поездок, к которым они привыкли. Жалованье, которое получал Модест Григорьевич по своей судебной должности, проживалось без остатка, и много было долгов. Понятно, что Евгений не мог рассчитывать на лишнее.

Наконец случайно скопилась в его кошельке некоторая сумма, которую он решил употребить на подарок Шане. Он отправился в лавки, приценялся к разным вещицам, сравнивал, выбирал и кончил, совсем неожиданно для себя самого, тем, что купил для себя хорошенький портсигар: уж очень любезен был приказчик и очень изящною показалась Евгению вещица. Выходя из магазина, он утешил себя соображением, что у Шани и так всего много: она не нуждается так, как он. Притом, если подарить ей что-нибудь, она, пожалуй, не сумеет утаить этого от родителей, и те, пожалуй, еще поколотят, — что хорошего!

«Лучше я так приду, — она и без подарков мне рада! — соображал он. — После тех дикарей, которые окружают ее дома, я должен показаться ей человеком с луны».

Подходя к парку Самсоновых, Женя услышал голос Шани, которая заунывно напевала:

Если б, сердце, ты лежало
На руках моих,
Все качала бы, качала
Я тебя на них.

Женя поморщился. «Этакая пошлость!» — подумал он.

Шаня увидела его и покраснела: ей стало стыдно, что он слышал ее пение. Но она не любила быть долго сконфуженною, весело засмеялась и спросила Женю:

— Ну что, хорошо я пою?

— Поешь-то ты хорошо...

— Да где-то сядешь? — докончила Шаня. — Ну хорошо, хочешь, я тебе спою?

— Спой, только, пожалуйста, не эту пошлость, что я слышал.

Шаня сорвала ветку рябины и молча стала ее ощипывать.

— Что ж ты не поешь? — спросил Женя. — Или ты обиделась?

— Ничуть не обиделась, а не хочу.

— Сейчас же хотела!

— А сейчас и отхотела. У меня это скоро. Пойдем-ка лучше на качели.

— Пойдем. Только ты, может быть, обиделась?

— Ну да, вот еще.

Шаня и Женя забрались на качели. Тяжелая доска, подвешенная на четырех толстых брусьях, раскачивается с легким скрипом все выше и выше. Шаня сильно работает руками и ногами: ей нравится подбрасывать доску высоко-высоко, — и она радостно, звонко смеется. Доска взлетает выше и выше. Сначала Женя старается не отставать от девочки и, в отместку ей, подкидывает ее конец с каждым разом все выше. Потом ему приходится только держаться. Он начинает бояться и бледнеет. Он держится руками, упирается из всех сил ногами в доску, — ноги его как-то странно и страшно начинают отставать от доски при каждом взлете, и ему каждый раз кажется, что вот-вот он сорвется. А Шанька все поддает доску, поддает без конца.

— Довольно, — говорит он наконец глухим от волнения голосом.

Шанька не унимается: она работает так, что пот струится по ее лицу, — ей хочется сделать, чтобы доска стала вертикально.

— Довольно, Шанька, упадешь, — говорит Женя, задыхаясь.

Шанька отчаянно стиснула зубы. Еще один неистовый взмах, — и доска стала вертикально. На одно мгновение Женя видит прямо под собою напряженно-вытянутую фигуру девочки. Женя замирает от ужаса и беспомощно корчится, — и стремится за доскою вниз, безнадежно уцепившись оцепенелыми руками за брусья, — и вот Шанька уже опять над ним и упруго приседает, чтобы повторить ужасный взмах качелей.

— Перестань, Шанька, говорят тебе! — кричит Женя бешеным голосом.

Качели взлетают по-прежнему высоко, но Шаня видит, что Женя побледнел, и перестает поддавать. Раскачавшиеся качели тяжко колышутся, Шанька тяжело дышит, черные глаза ее мерцают торжеством победы.

Не дожидаясь, когда качели остановятся, улучив благоприятный момент, Женя соскочил с доски и быстро отошел в сторону, подальше от качелей. Ему не хочется и смотреть на них: у него кружится голова.

— Ну, чего ты боишься? — спросила Шаня, спрыгнула с качелей и побежала за ним.

— Я за тебя боюсь, ты могла ушибиться.

— Привыкла! — беспечно ответила Шаня.

— Ты могла бы до смерти убиться, пойми, пожалуйста.

— До смерти! Большая беда. Раз умирать надо, а все трусить, так и жить не стоит, — скучно очень.

— А обо мне ты не думаешь? — убеждал Женя, досадливо краснея. — Что бы со мною было, если бы ты умерла?

Шаня звонко засмеялась и повернула Женю за плечи кругом.

— Ах ты, философ! — крикнула она. — Уж очень ты цирлих-манирлих, как я погляжу, — уж я даже и не понимаю.

После праздничной обедни народ толпами выходил из собора. Варвара Кирилловна остановилась на паперти.

— Охота связываться! — недовольным тоном сказал Модест Григорьевич.

— Иди, пожалуйста, домой! — с раздражением ответила Варвара Кирилловна, — и не беспокойся, я все самым приличным образом улажу.

— Как знаешь, только я тебя предупреждал.

— Хорошо, хорошо, знаю.

Модест Григорьевич пожал плечами и отправился домой. В это время из церкви показалась Марья Николаевна с Шанею. Варвара Кирилловна подошла к ним.

— Я, моя милая, хочу сказать вам кое-что, — величественно обратилась она к Марье Николаевне.

— Сделайте ваше одолжение, послушаю, — отвечала Марья Николаевна спокойно. — Беги, Шанька, домой, нечего тебе тут.

Шаня весело побежала вперед. Варвара Кирилловна и Марья Николаевна сошли с паперти и медленно двигались в толпе горожан. Варвара Кирилловна немного помолчала, потом начала:

— Я хочу вас просить, чтобы вы запретили вашей дочери вести знакомство с моим сыном.

— А вы бы, сударыня, лучше вашему сыну запретили: я и так свою Шаньку в ваш сад не пускаю, а ваш-то сынок частенько около наших яблонь околачивается.

— Дело не в яблонях, моя милая, — вы должны понимать, что ваша дочь моему сыну не пара.

— Отлично понимаем, сударыня, — мы вашего сына в свой дом и не пустим, а только чего ж он к Шаньке вяжется?

— Уж я не знаю, моя милая, кто к кому вяжется, как вы выражаетесь.

— Да что, сударыня, я вам такая милая сделалась? Будто бы и не было моего желания так уж вам угодить.

— Послушайте, — сказала Варвара Кирилловна, краснея от негодования, — я, наконец, решительно требую, чтоб это безобразие было прекращено.

— Не знаю, про какое такое безобразие изволите говорить, а только что уж очень много у вас форсу, сударыня.

— Как ты смеешь со мной так разговаривать, дерзкая баба! — внезапно вспылила Хмарова. — Да знаешь ли ты...

— Да ты-то что ершишься! — закричала Марья Николаевна, так же внезапно выходя из себя. — Что муж-то твой генералом будет! Так еще пока будет, да и то он, а не ты. А у нас, у баб, звезды-то у всех одинаковы.

Марья Николаевна все более и более повышала голос. В толпе стали прислушиваться и оглядываться. Варвара Кирилловна поторопилась отойти подальше.

— Нахальная баба! — проворчала она, больше для своего удовольствия.

— Что, — кричала вслед ей Самсонова, — не нравится небось?

Дома Шаньке досталось от матери, зачем она водится с Хмаровым: Марья Николаевна сорвала остаток злобы на Шаньке и больно высекла ее. Шаня поплакала и принялась вышивать в подарок Жене кошелек: была бы ему память, если б не дали повидаться.

Однако встречи повторялись. Евгения тянуло к Шане. Его родители были очень озабочены своими делами, — им было не до Жени: Модест Григорьевич хлопотал о переводе в Крутогорск на более видную должность. Место, которого желал он, было еще занято, на него было много других кандидатов, и Хмаровы сильно волновались.

Осенний ясный день. Холодноватый ветерок. Невысокое солнце лихорадочно жарко. Листва ярка и разноцветна. Дорожки старого парка журчат опавшими листьями; опавшие, блеклые листья заволакивают у берегов воду в пруде, рябят поверхность узких протоков. Женя и Шаня сидят в беседке в конце парка у низкой изгороди и смотрят на унылое поле, на мелкую речку.

— А помнишь, — спросила Шаня, — как мы с тобой летом в этой речке ловили раков руками?

Женя краснеет. Как подумаешь, каких глупостей ни наделаешь, если влюблен!

Шаня приготовила Жене подарочек, — шитый бисером и шелками кошелек, — и держит его в кармане. Она мечтает, как он будет рад подарочку, — ей приятно мечтать об этом, и она оттягивает ту минуту, когда отдаст ему кошелек. Она знает, что он и кошелек должен будет спрятать, как ее портрет, но пусть! пусть! зато он сам порадуется. Наконец она опускает руку в карман, нащупывает там кошелек и веселыми глазами, посмеиваясь, посматривает на Женю.

— Ну, в чем дело? — спрашивает Женя и улыбается.

— Женечка, — внезапно смущаясь, говорит Шаня, — вот я тебе подарочек приготовила на память. Сама вышивала.

Она достала кошелек и подала его Жене. Женя покраснел и смешался: он вспомнил вдруг, как он покупал подарок Шане и не купил, — и ему стало стыдно и досадно.

— Спасибо, — пробормотал он, неловко поворачивая кошелек в пальцах, — очень мило. Но зачем ты это? Ах, Шаня, это неудобно.

— Неудобно? — спросила Шаня, и на лице ее отразилось недоумение и обида.

— Ну да, конечно, как ты не понимаешь!

— Где ж мне понимать! Я думала, тебе приятно.

— Вот ты мне даришь, точно намекаешь, чтоб и я тебе дарил, — недовольным, обиженным тоном объяснял Женя.

— Ничего я не намекаю, — сердито сказала Шаня, постукивая носком башмака по песку дорожки.

Женя не обратил внимания на перерыв: он слишком занят был своим негодованием.

— А почему я тебе не дарю? Ну, положим, я подарю...

— Ничего мне от тебя не надо.

— А твой отец увидит, тебе же достанется. Я не хочу подводить тебя под неприятности. А не могу же я принимать от тебя подарки, если сам ничего тебе не буду дарить.

— Ничего мне не надо, — шепнула Шаня и заплакала. — Разве я для подарков? — крикнула она стесненным от слез голосом, всхлипывая.

— С тобой совсем нельзя говорить, Шаня, ты нисколько не жалеешь моих нервов, — говорил Женя дрожащими от ярости губами. — Ты просто психопатка какая-то.

Он побледнел и вздрагивал от злости.

— Психопатка! — повторила Шаня, плача. — Ишь ты, такое слово выдумал, — психопатка! Поди ж ты как! А ты — куропатка! Противный, — тебе же хотела угодить, а ты ругаешься.

Женя почувствовал наконец, что говорит несправедливые глупости. Ему стало жаль, что Шаня плачет.

— Ну, чего ж ты плачешь? — заговорил он примирительно. — Ведь я не хотел тебя обидеть.

— А зачем ругаешься?

— Ну извини, Шанечка, больше не буду.

Женя отымал Шанины руки от ее лица и целовал ее мокрые от слез глаза. Шаня слабо отбивалась.

— Уж очень у тебя скоро, — говорила она, — сейчас ругался, а сейчас и нежности, — ловкий какой! Коли я — психопатка, так ты меня и не тронь. Ишь, слово какое!

— Ну полно, Шанечка, — уговаривал Женя, целуя мокрые пальцы Шаниных рук, — не ворчи, ты — не старушка.

Шаня вдруг засмеялась, вскочила со скамейки и крикнула:

— А кошелек возьмешь?

— Возьму, Шанечка, — спасибо, милая.

— И спрячешь?

— И спрячу.

— И будешь хранить?

— И буду хранить.

— Ах ты, куропатка! Беги, догоняй меня, — не догонишь.

Шаня со звонким смехом побежала по дорожкам, на бегу стирая руками со щек остатки слез. Женя догонял ее.

Глава девятая

Зима в том году была снежная и холодная. Шаня и Женя продолжали встречаться, — то в Летнем саду, — то на общем катке, на речке. Но на катке мешали Маша и родители Хмарова.

Чаще и охотнее дети сходились по-прежнему в саду и в парке Самсонова. Теперь, когда в саду нечего было караулить, попадать в него было легче: Шаня заботилась, чтоб всегда днем была не замкнута калиточка в высоком частоколе сада. Чтобы не дрогнуть в саду на морозе, порою забирались они в баньку, по тем дням, когда ее не топили: хоть и там было холодно, а все же в стенах хоть ветер не тревожил. Короткие свидания проходили в невинных поцелуях, в наивных разговорах.

Иногда Шаня и Женя украдкой пробегали мимо дома в парк и катались с горы на салазках.

Впрочем, Шане не было надобности много прятаться: ее родителям тоже было не до нее. Самсонов все чаще уходил к своей любовнице, пышнотелой, белолицей мещанской девице, для которой он нанял небольшую квартиру. Марья Николаевна бешено ругалась с мужем. Ее страстные крики иногда будили в нем прежнюю страсть к ней, — но возвраты его нежности только больше раздражали и томили ее.

Наконец и она нашла себе утешителя, скромного телеграфиста Кириллова, которого взяла сама и который очень робел перед нею. Любви к нему Марья Николаевна не чувствовала, а ходила к нему из злости к мужу. Но открыть это мужу она не смела, — боялась побоев, — и только темными намеками дразнила его. Самсонов, может быть, догадывался, но был доволен, что жена стала меньше ругаться с ним.

Бывало, зимним вечером, закутавшись и закрыв лицо, Марья Николаевна пробирается по задним улицам, по снежным сугробам, к дому, где живет Кириллов. В ночной темноте светится и светит только снег. Глухие места, задворки, — редко, редко где в окне виден огонь, еще реже встретится прохожий.

Вот и огород, и нарочно не закрытая калитка.

Марья Николаевна идет протоптанною в снегу тропинкою мимо заваленных снегом грядок, очертания которых еле заметно волнисты. Она подходит к домику, два окошечка которого глядят в огород. Окна освещены, и шторы не спущены.

«Дурак!» — досадливо думает Марья Николаевна и заглядывает в окно.

Кириллов, молодой человек с бесцветными бровями и с льняными волосами, стоит без сюртука посреди комнаты и усердно пилит смычком дрянную скрипчонку, извлекая жалостные, дребезжащие звуки. Марья Николаевна легонько стучит пальцами в стекло, — Кириллов мечется по комнате, торопливо напяливает на себя форменный сюртук и бежит отворять двери.

Он робеет перед своею гостьею, суетится около нее, неловко помогая ей раздеваться, но она недовольно отстраняет его.

— Завесь окно сначала, — говорит она, — сам-то, батюшка, и об этом не умеешь догадаться.

Кириллов бросается к окошкам. Марья Николаевна садится на жесткий диван и недовольными глазами окидывает тщедушную фигуру хозяина и бедную обстановку маленькой комнаты. Кириллов становится перед нею, потирает руки и не знает, что сказать. Марья Николаевна кажется ему слишком велика для его комнатки.

— Ну, что ж стоишь, садись, что ли, занимай гостью, — говорит Марья Николаевна.

Кириллов садится на диван и осторожно подвигается к Марье Николаевне; ее огненные глаза начинают зажигать его вялую, боязливую страстность.

— Ты о себе, однако, много не мечтай, — говорит Марья Николаевна. — Ты воображаешь, очень ты мне люб.

— Коли не погнушались прийти, — лепечет Кириллов, дотрагиваясь слегка пальцами до талии своей гостьи так же осторожно, как до раскаленной печки, — то, стало быть...

— Как бы не так, — перебивает Марья Николаевна, сердито отодвигаясь. — Своему черту назло, — так и знай. Изболела моя душа, на его такие качества глядючи. На отместку ему тебя завела.

— Очень мне обидно от вас такие жестокие слова выслушивать, — говорит Кириллов, смелее охватывая рукою талью Самсоновой.

Она уже не отодвигается дальше и отвечает:

— Обидно! Большая мне печаль! Эх ты, сухопарый! Ты и целоваться не умеешь так, как он.

— Помилуйте, Марья Николаевна, уж я ли, кажется, не стараюсь.

— Дурак и больше ничего. Мой-то сокол, пока еще я была ему люба... Эх, да что тут и вспоминать. Вот бросил, — а узнает, что я у тебя была, на месте убьет. А ты, слюнтяй ты этакий, и окошек занавесить вовремя не умеешь.

— Что тебя давно не видать у нас? — спросила Шаня, встретив Гарволина по дороге из гимназии.

— Мать шибко нездорова, — угрюмо ответил Володя.

Неонила Петровна сильно простудилась в один из ненастных зимних вечеров, пробираясь к своей старухе читать романы. Думала сначала, что это пройдет, перемогалась и наконец слегла. С каждым днем она заметно слабела. Володе страшно было думать, что мать умрет, но он не мог не думать об этом, — и напрасно старался утешить себя надеждою на выздоровление матери. Лекарь добросовестно и внимательно выстукивал и выслушивал ее грудь, присаживался к столу и мучительно выжимал из себя какие-то рецепты, — но помочь не мог. Он видел, что человек умирает, — но, может быть, и отлежится.

Ему тоже неприятно было думать, что больная, которую он лечит, умрет, и он утешал Володю:

— Пока нет ничего опасного.

Но по лицу его Володя видел, что он говорит не то, что думает.

Дни, которые тянулись в боязливом и томительном ожидании, и тревожные ночи казались Володе случайным, нелепым кошмаром.

«Зачем, зачем? — спрашивал он себя. — Трудиться весь век, жить зачем-то без радости, без света, умереть в нищете. А еще несколько лет, — ведь она еще не старая, — я бы стал зарабатывать, — хоть бы покойная старость. Умереть, как умирает на мостовой кляча, заморенная работою!»

Дядины дочери, Катя и Люба, девушки по восемнадцатому и семнадцатому году, поселились у Неонилы Петровны, ухаживали за нею и занялись хозяйством. В доме было мало денег. Девушки озабоченно шептались и боязливо вели счет, сколько стоят лекарства.

Суетливая забота, неумолимая нужда, беспощадная смерть...

Кате и Любе жаль было тетю. Они плакали и разговаривали о своих приметах, которые, по их глубокому убеждению, предвещали смерть. Володя слушал их с досадою, но сжимал его сердце их наивный предвещательный лепет.

Смерть стояла над постелью больной и обвеивала ее холодным равнодушием, тупою покорностью. Недоумевающее выражение пробегало иногда в глазах больной, — перед нею мелькали смутные, серые тени, на лицо садилась откуда-то тонкая, липкая паутина.

Было ясное зимнее утро. Володя уже несколько дней не ходил в гимназию. Неонила Петровна третьи сутки не приходила в себя. Она лежала неподвижно, с полуоткрытыми, тусклыми глазами, в углах которых накоплялась какая-то странная пена, — и дышала торопливо, жадно. В тихой комнате, где мерно колотился маятник, страшно было слушать это бурное дыхание. Через короткие промежутки быстрые вдыхания и выдыхания сменялись глубоким вздохом. Эти промежутки становились все короче. Володя следил за ними по часам, — они уменьшались с поразительною

правильностью. Настанет минута, когда грудь устанет дышать, сердце биться.

«В одиннадцать часов все кончится», — высчитал Володя и тупо ждал.

В начале двенадцатого быстрые дыхания прекратились. Долгий стонущий вздох... другой... третий... Лицо, уже давно начавшее становиться мертвенно-неподвижным, подернулось пепельною тусклостью, которая быстро набегала от висков к губам, — жили еще только губы... Но вот губы вытягиваются, — беспомощное, детское выражение ложится на старческое лицо, — губы вытягиваются, словно просят, — восковеют, смыкаются... Опять разошлись, — нижняя губа мертвенно отодвинулась вместе с челюстью, продержалась так с полсекунды, и снова, как-то механически и быстро, рот закрылся, — движение ужасное и нелепое... Еще раз то же движение... и еще раз... повосковелые губы сомкнулись навеки.

С тупым ужасом и любопытством смотрел Володя на грубый процесс умирания...

Тихая суматоха вокруг... чей-то плач... Слезы на глазах... ее глаза еще не закрылись. Володя закрыл глаза матери и придерживает мягкие веки пальцами, пока веки не застывают, сомкнутые...

Потом возня над трупом... Ясный, равнодушный, злой день... Белый снег подернут разноцветными звездами. Яркое, мертвое солнце... Труп на столе, — хоронить надо... Забота, проклятая забота о деньгах. Идти к людям, просить.

Труп на столе, жизнь все та же, неумолимая, чуждая...

Володя мрачно шагал по улицам и злобно смотрел на прохожих. Болезненная баба с ребенком встретилась ему.

«Умрешь, умрешь и ты! — со свирепою злобою подумал Володя. — Так повосковеют и твои бледные губы».

И вдруг он заметил, что мимовольно повторяет смыкание и размыкание рта, — ужасное, механическое движение умирающей матери.

Потом — опять дома: монотонное чтение Псалтыри, панихида, ладан, свечи, чужие люди, мертвый обряд.

Старик священник заметил мрачное молчание и убитый вид Володи и начал его утешать.

— Грех отчаиваться, — говорил он неторопливо. — Господь все к лучшему устрояет. Ваша матушка пожила, — ну что ж делать, Господь знает, когда своевременно кого отозвать из этого мира в лучший.

— А зачем дети умирают? — внезапно спрашивает Володя.

— Бог знает что делает, а мы должны покоряться Его святой воле. Безгрешному младенцу и умирать легко.

— А зачем мертвые дети рождаются?

— Грешно, грешно, — говорит священник. — В смирении переносите испытания. Помыслите, — что мы и что Он!

Вот наконец и похороны.

Шаня пришла с матерью. Она утешает Володю. Но ему становится еще грустнее: мать умерла, Шаня недоступна, — для кого, для чего жить?

— Как же ты теперь, Володенька, будешь жить? — ласково спрашивает на поминках Марья Николаевна. — У дяди, что ли?

— У дяди, коли пустит, — уныло отвечает Володя.

— Что ты, что ты! — бормочет старик-дядя. — Как же не пустить! Ты нас не стеснишь: ты, брат, — молодец, ты сам деньгу зашибаешь.

Глава десятая

Так и прошла зима. Были последние дни февраля. Снег уже подтаивал и зернился мельчайшими льдинками.

Хмаровы со дня на день ждали перевода в Крутогорск, но еще Женя не говорил об этом Шане: он помнил, как Шаня опечалилась, когда он первый раз рассказал ей, что отец хлопочет о переводе, — как она жаловалась, что он ее забудет, и как он должен был утешать ее и уверять, что всегда будет помнить и приедет за ней, когда кончит учиться.

Шаня после обеда выбежала в сад. Еще издали увидела она Женю, подошла к калитке и поджидала его, весело улыбаясь. Женина походка была радостно оживленная. Его ликующая улыбка издали радовала Шаню, и девочка качалась на скрипучей калитке, отталкиваясь от земли ногою, уцепившись руками за перекладины калитки.

— Славная погода! — крикнул Женя, вбегая в калитку. — Шанечка, не шали, — ручки прищемишь.

Он схватил ее за талию и стащил с калитки. Шаня смеялась, и глаза ее блестели: Женя редко бывал такой веселый и живой, такой радостный.

— А у нас радость, Шанечка, — оживленно начал он и вдруг смутился.

— Какая радость? — беззаботно спросила Шаня.

— То есть мои радуются, а для меня, Шанечка, большая печаль. Вот видишь, отец получил место в Крутогорске, и мы переезжаем скоро.

Шаня побледнела, и в расширившихся глазах ее блеснули слезы.

— Как же так! — пролепетала она, бессильно опускаясь на скамейку, запорошенную оледенелым снегом.

Женя смущенно стоял перед нею.

— Что ж делать, Шанечка! Мы еще поживем здесь немного.

— До лета? — оживилась было Шаня.

— Нет, Шанечка, — на будущей неделе едем. У нас все уж готово. Давно ждали.

— А как же твоя гимназия?

Женя весело засмеялся.

— Ну, в Крутогорске не одна гимназия.

— Ах, Женечка, я так и знала, что что-нибудь будет. Я нынче новый месяц с левой руки увидела. Вот так и вышло.

Женя видел, что Шане хочется плакать. Ему было жаль ее. Он сел рядом с нею, обнял ее и принялся утешать.

— Я тебе, Шанечка, писать буду, а ты мне. Потом я за тобой приеду и женюсь на тебе.

— Еще пойду ли я за тебя! — сердито ответила Шаня, отворачиваясь.

— А чего же ты плачешь, Шанечка?

— Кто плачет? Вовсе нет. Сор в глазах...

— А на щечках что?

— Ну ладно, нечего смеяться. Так приедешь за мной?

— Приеду, Шанечка, приеду.

— Смотри, я буду ждать, все буду ждать, долго ждать, много лет, — говорит Шаня и плачет.

— Ну, ну, Шанечка, — и так всему свету известно, что у вас, женщин, глаза на мокром месте.

— Ничего, Женечка, было бы сердце на месте.

Жене становится грустно. Он нетерпеливо посматривает на плачущую Шаню и постукивает каблуками по снегу. Шане кажется, что Женя рассердился, и она старается перестать плакать. Кое-как это ей удается.

— Вот-то вы заживете теперь! — говорит она, завистливо вздыхая.

— Да, — говорит Женя, оживляясь, — отца скоро произведут в генералы и дадут ему ленту и звезду. У него уж есть Владимир на шее. Это очень большой орден. Кто его получит, тот делается дворянином.

— Ишь ты! — наивно восклицает Шаня.

— Но он и без того дворянин, — потомственный. И я дворянин. Мы — столбовые. Меня никто не имеет права бить.

— Ну а если кто поколотит?

— Я того могу убить на месте, и мне за это ничего не будет.

— Врешь, поди?

— Я — дворянин, а дворяне не лгут, — обиженно говорит Женя. — У нас там будут свои лошади, мы будем давать балы. Это будет очень весело. Но потом я за тобой приеду, ты не беспокойся.

— Влюбишься в красавицу какую-нибудь.

— Ты, Шанька, самая первая красавица на свете, — восторженно восклицает Женя. — Вот погоди, как мы с тобой заживем. Я сделаю себе блестящую карьеру: у меня есть очень влиятельные родственники.

— Ты будешь как твой отец.

— Что отец! Конечно, папа мог бы сделать себе карьеру, — но он был в молодости шестидесятником; у него были, знаешь, эти ложные взгляды, — тогда это было в моде. Ну, он и запустил некоторые связи. И, представь себе, чуть даже бунтовщиком не сделался. А, каково! Это мой папаша-то, солидный человек, джентльмен, «не нынче-завтра генерал», — и вдруг был почти бунтовщиком! Впрочем, такое было время.

— Вот ты бунтовать не будешь, — неопределенным тоном говорит Шаня.

— Конечно, не буду! — с презрительною самоуверенностью говорит Женя.

— По всему видно.

— Я — не дурак.

Холодные струйки враждебности пробегали между детьми.

— Я тебе буду писать каждую неделю, — говорил Женя, прощаясь с Шанею у калитки и растроганно глядя на заплаканное Шанино лицо.

— Только ты мне на дом не пиши, — плачевно говорила Шаня, — а то мне будет таска с выволочкой, а я тебе адрес дам моей подруги одной, ты на нее и пиши, на Дунечку Таурову.

— Ну а ей ничего не будет такого? — осторожно осведомился Женя.

— Кому? Дунечке-то? Нет, у нее маменька старенькая и души в ней не чает.

— Хорошо, Шанечка. А теперь пока до свиданья, пора мне домой.

Шаня охватила руками Женину шею и осыпала его долгими поцелуями. Ее слезы падали на Женины щеки.

— Ну полно, Шанечка, — унимал он девочку. — Ведь мы еще будем видеться на этой неделе.

Женя возвращался домой. Ему жаль было Шанечки. Но погода была такая хорошая, холодноватый воздух веял таким предвесенним задором, что ему становилось, как-то против воли, радостно. Печаль о предстоящей разлуке с Шанечкою перевешивалась представлением шумных улиц Крутогорска, больших домов и зеркальных стекол в магазинах.

Радостно представилась ему дорога на лошадях. Весело зазвенят колокольчики, бойко побегут лошадки. Ямщик будет протяжно покрикивать и помахивать кнутом. Кругом — поля под снегом, деревни, оснеженные леса. Веселые остановки на станциях. Так верст шестьдесят, а там немного по железной дороге, — и вот он, веселый Крутогорск.

А Шанечке грустно, — хорошая погода ее не утешает, веселое солнце дразнит ее, весенний снег ярко режет ей глаза, — и затуманивают их слезы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава одиннадцатая

Весенняя ночь пришла и заглянула в Шанино окошко, — говорит:

— Шаня, спи, не плачь.

А Шанечка одна. В доме тихо, — все спят, рано ложатся, чтобы рано встать. Шаня сидит у открытого окошка. Холодноватый воздух обнимает ее голые круглые плечики, ласкает ее голые полные руки. Шаня вздыхает легонько. Вздохнет и осудит себя, — не надо вздыхать, этого не любит Женечка.

— Да как же не вздохнуть-то, милый! О тебе же, о тебе мои вздохи, — тихонько шепчет она, луне и тихой прохладе ночной поверяя свою тоску.

Отошла Шаня от окна, достала из комода Женин портрет. Еще не вынула его из конверта, — и уже расплакалась, стоя в темноте у комода. Ревниво думала: «Гуляет, поди, Женечка там, в Крутогорске, по шумным, людным улицам. Веселится. В театры ходит, за барышнями ухаживает».

Так ревность мучит!

Город большой, богатый. Сколько там барышень! Да все красивые, нарядные, умные. Не такие, как она, черномазая, простая девочка, захолустная Шанька. Уж не забыл ли Женечка Шаньку? Не влюбился ли в другую? Другой ласковые слова говорит, белые руки целует, в бойкие глаза ласково смотрит.

Так больно, так ревниво заныло Шанино сердце, — точно в самое сердце вонзилось жестокое пчелиное жало. Яд, сладкий, но огненно-жгучий, побежал по всему телу, по всем жилкам. Жжет, жжет...

Замирает боль понемногу, — в печаль переходит, тихую, томную. Хочется Шане утешиться, придумывает она утешные мысли о Женечке.

Не может этого быть, — не влюбится он ни в кого. Не забыть ему Шани. Он будет ей верен. Он — благородный, как рыцарь.

«Хочу, чтобы он не забыл меня, хочу, хочу!» — настойчиво шепчет Шаня и хмурит темные брови.

Ведь он же сказал, что никогда ее не забудет. Он не обманет. Надо верить ему и ждать. Если не верить, то и счастия ей не будет.

Размечталась Шаня. Осыпала Женечкин портрет поцелуями. И так ясно видится ей Женя, точно здесь же он стоит, в темноте перед Шанею, и говорит ей что-то. Видится, слышится, — да нет его...

Роняя тихие из черных глаз слезы, на легкое белое платье матово-серебристые тяжелые слезы, Шаня подошла к окну, тихо переступая по холодному под голыми стопами полу. К окну опять подошла, где ясный холод и свет.

Такая далекая, но такая милая на небе луна, ясная, спокойная, быстро скользит по небу за медленно проплывающими серебристыми полупрозрачными тучками. И на портрете, на Женином лице, лежит спокойное сияние, — холодная, ясная луна разливает свой неживой, свой дивный свет. Восхищение родится и восходит в разнеженной Шаниной душе. Шаня смотрит на луну, на звезды. Думает: «Отчего такая печальная, такая тихая луна? Точно больная царевна, и умирает тихо, грустно, безропотно».

Умирая, не плачет,
И уносится вдаль,
И за тучею прячет
Красоту и печаль.

И звезды дрожат так печально, так тихо. Тоскуют о ней, о небесной царевне, о невесте, заждавшейся жениха, и об ее безнадежности, зачарованной навеки.

Но вдруг шаловливое, смешливое настроение охватило Шаню. Точно вдруг она стала другая. Сама на себя подивилась. Отчего? То

ли смешно стало, что на луну смотрит? Завыть бы, как собаки на луну воют! Вот бы смешно-то!

Но если бы поднять голову и завыть, то собачья тоска сдавила бы горло. Внезапный, мгновенный страх охватил Шаню, — и сменил его тихий, серебристый смех.

Или оттого так смешно Шане, что над нею на крыше кот мяукает? Настойчиво так, и жалостно, и скверно. Васька зовет свою Машку фальшивым, резким тенором. Любовь, — поди-ка, и у кошек любовь!

Шаня засмеялась. Замяукала. Сначала тихонечко, — спят ведь в доме, — потом погромче. Забавно ей, весело. Далеко где-то сердито и тоскливо залаяла собака, — и не удержалась Шаня, передразнила собаку. Дальше — больше. Собачий лай и вой, кошачье фырканье и мяуканье, — целое представление в окне. Шум подняла Шаня на весь дом. Разбудила всех.

Догадались, что это Шаня. Старая нянька торопилась унять, чтобы не досталось Шаньке. Но пока кряхтела старая, одеваясь, Шанин отец опередил ее. Очень был рассержен тем, что пришлось проснуться. Вскочил, как молодой, надел свой пестрый бухарский халат и красные кожаные туфли и быстро пошел наверх. За ним и Марья Николаевна поднялась.

А Шаня так увлеклась своею забавою, что и не слышала шагов и голосов. Пришли отец и мать, на месте поймали. Только заслышав отцов свирепый окрик, Шаня очнулась. С окна схватилась, стоит, дрожит, ничего сказать не может. Отец раскричался, нахлопал Шаню по щекам, велел сейчас же спать ложиться. И мать ворчала.

Улеглась Шанечка побитая, побраненная. Сама и плачет, и смеется, горячею щекою к подушкам прижимаясь. Щеки горят, — но уже забыты побои. Шаня утешается, мечтает о Жене. И радостно ей лежать, укрывшись снежно-белым, нежно-мягким одеялом: никто не помешает мечтать о Жене. Так и заснула, мечтая о нем. Все о нем.

Весеннее только что проснулось солнце и встало, обманчиво-радостное, лживо-ласковое. Веселые упали его лучи в окно, в Шанину спальню. Небесный Змий, разнеженный земною утреннею прохладою

и росным дольным дымом, улыбался и таил под розовым смехом первых лучей свой жгучий, свой сладкий яд. Навстречу ему поднимался от земли легкий пар, — медленные вздохи рек и болот, излучающих Дракону свою влажную, свежую кротость. На небе облака розовели и нежно таяли, как легкие льдинки в светлом океане высот. Чирикали птицы в саду, еще неуверенно и робко, колебля ветки на деревьях своими суетливыми, тихими перелетами.

Тогда, с мечтою об Евгении, проснулась Шаня. Разом вспомнила она, что Евгения здесь нет. Он далек. Далек, как этот Змий, горящий ярко, — и недостижимый. Но, в ответ Драконову коварному смеху, пламенно-гордая засверкала уверенность, как солнце иного бытия. Далек Женя, но что же из того! Он вернется, он приедет за Шанею.

Но так долго ждать! Такая досада! Целых пять лет. Сколько дней, ненужных, томительных, скучных! Как их избыть?

Снова трепетная, жадная радость мечты окунулась в огненную улыбку злого Дракона и сплелась с тоскою, с тоскою печального, суетного дня, долгого дня без Евгения. Как много, как нестерпимо-много будет этих пустынных, томительных для Шани дней!

А в небе, безмятежном, беспощадно-ясном, розовая улыбка пламенеющего Змия становилась все ярче, все белее, и все радостнее смеялись и умирали, тая, розовые облачка. Улыбка Змия сулила долгий, ясный день. Она издевалась над Шанею. Она говорила: «Предстоит жизнь ненужная, безрадостная, — томление в тягостном плену, алчная тоска долгих ожиданий и трепетных надежд. Знай, что ты — пленница, что воздвигли над тобою свою власть твои владыки».

Вздохнула Шаня. Словно радость вдохнула она — и улыбнулась, потянулась радостно и разнеженно, села на постели, колени охватила руками. Хочется ей еще бы о Женечке увидеть во сне что-нибудь, хоть бы немножечко.

Но уж сон отлетел, — последний раз над Шаниными черными глазами взмахнул он своими прозрачными, истаивающими в солнцевых лучах крылами, мелькнул в розово-озаренном окне и скрылся за зеленым садом, в радостной лазури. Все перед Шанею предстало ясное, дневное! Вдруг в Шаниной груди зажглось дневное, пламенное серд-

це, — дар коварного Змия. Шаня вскочила, засмеялась, босая побежала к окну, — поглядеть, что деется там, в широком мире.

Солнце там, за деревьями, низко, близко, улыбается, переливается дивными, призывными светами, смехами. Солнце, солнце, вечный чародей, неистощимо-щедрый!

Свежий воздух вольною волною ворвался в распахнувшееся с быстрым стуком от толчка голых рук окно. Свежий, вольный ветер перелетный, гость, везде родной, ласкающий Шанину грусть!

Какая радость на земле, и на небе, и в Шанином сердце! Утро! Роса! Птицы! Лазурь!

Села Шанечка на окошко. Дрожит, — свежо еще поутру, — под тонкою своею сорочкою. Свежо, холодно, весело во всем теле. Легла Шаня на подоконник, локтями оперлась, ладонями жаркие щеки сжала, голые ноги вытянула, болтает ногами, смеется, — солнцу, птицам, ветру. Запела что-то, — тихонечко, сначала без слов, потом слова сложились. Сама не замечала и не думала Шаня, что поет. Потом прислушалась сама к себе, — поет: «Женечка мой милый, солнышко мое. Женя — светик, Женя — цветик, Женя — ветер перелетный, Женя — птенчик беззаботный».

Прислушалась Шаня к своему пению, засмеялась. И опять запела, зачирикала, как птица, как ранняя тихая пташка.

Вдруг быстрая пугливость кольнула в сердце. Шаня дрогнула. Вон там, за тем забором, кто-то идет. Чужой. Голову поднял и смотрит, прямо в Шанино окошко. Вгляделась быстро зоркая Шаня. Ну баба какая-то. Засмеялась Шаня. Смотри себе!

Вот бы Жене пройти там. Да нет Женечки. Нет милого. Нет да и нет. Хоть плачь.

Но он же придет! Вот если бы он сейчас пришел.

Посмотрела на себя Шанечка и засмеялась. Вот пришел бы, вошел бы в эту дверь прямо к ней, а она-то, глупая, совсем неодетая, да еще в окошко с глупа разума высунулась.

Шаня убежала к комоду. Хотела было одеваться, да опять о другом вспомнила. Достала синюю тетрадочку, свой календарик, — тот, что сама завела, сама расчислила на пять лет вперед, сколько дней

ждать ей Женечку. Вчерашний день зачеркнула. Что ж, все еще много. Так много дней осталось!

Вся жаркая стала Шаня, вся трепетная. Только что было свежо, — и уже вдруг стало жарко. Тонкая одна на ней рубашка, да и та лишняя. Знойно, душно в горнице, — обнимает лютый Змий, шепчет знойную речь, напоминает своим ярким, своим жгучим обликом, что близко-близко есть милое изображение далекого лица.

Шаня выдвинула другой ящик комода. Так торопилась, что ушибла палец. Досадливо помахала рукою в воздухе. Да некогда думать об этом. Сунула руку в ящик, пошарила. Достала Женин по́ртрет. Не вынула, — так, сквозь тонкий конверт посмотреть. Еще так и лучше. Слегка затуманенное тонкою, прозрачною оболочкою, глянуло на Шанечку милое лицо ее далекого рыцаря. Волна восторга подхватила Шаню, закружила по белым половицам в быстрой пляске. Бурными поцелуями осыпала Шаня Женин портрет. Остановилась, залюбовалась им опять, — и вдруг засмеялась, — и вдруг заплакала.

Заговорила с Женею, — и чудилось Шане, что он отвечает. И опять, как вчера, ясно-ясно видит его Шаня, слышит его голос, — милый, желанный Женечка! И лицо на портрете улыбается Шане. Правда, так гораздо лучше Женина улыбка, под легкою дымкою оболочки. И нежнее лицо, — не видна капризная складочка около губ.

— Милый, милый Женечка, желанный, ненаглядный! — заговорила-защебетала Шаня.

Вихрь ласковых слов поднялся, понесся от ее трепетных губ. И к себе обратились Шанины мысли, и вылились в ураган самоопределений:

— Я — твоя, вся твоя, твоя раба, твоя вещь, твоя собачка, твоя игрушка. Мои руки — тебе работать, мои ноги — за тобой ходить, мой язык — тебе говорить, мои губы — тебя целовать.

Вдруг вспомнила Шаня, — помолиться надо. Порывисто бросилась перед образом на колени, Женин портрет к жаркой груди прижимая, и настойчиво зашептала:

— Господи, помилуй моего Женю! Господи, сохрани моего Женю!

Потом тут же, перед образом, села на пол с Жениным портретом, лепечет нежные, страстные речи, ласки, обеты, признания. Все внеш-

нее забылось. Лютый Змий погас, смирил свою небесную ярость, смирился, затмился ярый чародей. Весь мир отошел, померк. Шаня одна с Женею. В сладостном кипении грез Шаня одна. И с нею Женя. Одни. Никто их не видит. Никто им не мешает. Тишина и восторг!

Глава двенадцатая

Вошла нянька. Хитрая, подкралась в своих мягких туфлях. Слышен ее тягучий, ласковый и лукавый голос:

— Слышу, гулюкает с кем-то Шанечка, думаю: с кем это она язычком-то тилитилит? Нешто Дунечка, думаю, забралась ни свет ни заря. А это моя Шанечка одна сам-друг с патретиком ухмыльно занимается.

Проснулась Шанечка от грез. Тихонько воскликнула:

— Ах, няня!

Портрет к груди прижала. Самой стыдно чего-то. Няня ворчала:

— Не евши, не пивши, Богу не моливши, в одной сорочонке на полундрах расширилась.

Шане стыдно. И страшно чего-то. Вскочила, нахмурилась, крикнула:

— Не ворчи, пожалуйста! Я уже помолилась.

Самой на себя досадно Шане стало. Вперед уж она не будет так глупа. Дверь-то можно и на задвижку заложить.

Сердито смотрела Шаня на няню. Побежала к своему комоду, — прятать портрет. А няня словно и не видит портрета, — ворчит себе под нос, по комнате ходит, прибирает. Сказала построже:

— Одеваться, Шанечка. Пора.

Одевается Шаня. Поглядывает на няню. «Няня добренькая», — думает Шаня. Не утерпела, заговорила с нянею о Жене. Спросила:

— Нянечка, как ты думаешь, не забудет меня Женечка Хмаров?

— Уж где забыть ему такую красавицу! — утешала няня. — Весь свет пройди, другой такой не найдешь.

Шаня засмеялась, весело сказала:

— Он за мною приедет, нянечка.

— Приедет, приедет, Шанечка, — поддакивала старая.

— Он возьмет меня, нянечка? — спросила Шаня.

И няня опять утешала ее:

— Возьмет, возьмет, Шанечка.

Думала: «Носится, глупая, со своим Женечкой, а там, глядишь, и сама его позабудет, найдет себе другого красавчика».

— Хорошо нам будет, нянечка! — говорила Шаня.

— Хорошо, хорошо, Шанечка, — опять поддакивала няня, — барыней будешь, Шанечка, в стракулиновых платьях щеголять будешь голубушкой, в полированных ландах поедешь павушкой, в магазин войдешь, скиримонишься, никому не поклонишься. Все приказчики бегом забегают, сам хозяин с толстым пузом к тебе выкатится, спросит: «Что прикажете, барыня?» Подадут тебе шляпку перловую в сто целковых. Тут ты шибко раскапризничаешься, ножкою топнешь, кулачком по прилавку стукнешь, грозно крикнешь: «Мне плев сто рублев, — подавайте мне в тысячу!»

Шаня весело хохотала, и полузаплетенная черная коса ее билась на спине в лад ее смеху. Хохотала весело и звонко. И вдруг нахмурилась. Крикнула:

— Очень мне надо быть барыней! По лавкам-то ездить, деньги транжирить, — очень мне это надо!

— Да уж надо не надо, — сказала няня, — а дорога тебе прямая в барыни. Такую вертушку, как ты, купец ни за что замуж не возьмет, — идти тебе за офицера пешеконного.

— Я за мужика в деревню замуж пойду, — капризно сказала Шаня.

— Мужик тебя еще и не возьмет, цыганку этакую, — спокойно возразила няня.

Шаня засмеялась.

— Почему не возьмет, нянечка? — лукаво спросила она.

— Мужику разве такая спиголица вертучая нужна? — говорила няня. — Мужицкий вкус, известно, — телеса пространные, ручищи богатырские, а рожа румяная да толстая, хоть бы и корявая, да с румяными разводами. Известно, мужицкий вкус.

— А у тебя какой вкус, нянечка? — посмеиваясь, спросила Шаня.

— У меня вкус облагороженный, — отвечала няня, — я люблю тельце субтильное, лицо отонченное, и чтобы лик был без всякого тебе харувимства вербного.

— А я, няня, разве не похожа на херувима? — спросила Шаня и засмеялась.

— Ну, ты — черномазая, черноглазая, брови, как у ведьмы сросшись, лицо худое, тело нервенное, согнуть можно тебя в колечко, и вся ты телом желтенькая. Очень, Шанечка, твоя маменька на меня тобою потрафила, как на заказ.

Шаня радостно покраснела. Засмеялась.

Как-то лениво и неохотно одевалась сегодня Шанечка. Боялась она, что за утренним чаем опять забранят за вчерашнее, и потому не торопилась. Плескалась долго, моясь. Долго причесывала и заплетала свои густые, черные косы. С ленточкою в косичке возилась долго, — все не завязывалась. Взялась было за чулки, бросила их и туфли раскидала по горнице. К зеркалу шифоньерки подошла, сделала себе гримасу, засмеялась. Присела на кровать. Призадумалась. Потом вдруг:

— Скажи, няня, сказочку.

Няня заворчала:

— Какие тебе утром сказочки! Надо папашу с мамашей с добрым утром и с праздником проздравить и чай пить идти, а то отец-то опять забранит. Поди-ка, еще вчерашние пощечины не простыли.

Шаня досадливо поморщилась:

— Ах, какая ты, няня, право! Ведь еще рано, — куда же я пойду! Еще и самовара не ставили.

Няня глянула на часы, которые гулко тикали на стене меж окон.

— И то правда, — сказала она уступчиво, — стрелюдились мы с тобою, Шанечка, спозаранку, пока еще черти на кулачках не бились. Вот уж что говорится-то, старый да малый! Ну, слушай сказку, так и быть.

Шаня смеется радостно и прыгает.

Няня села у окна. Откуда-то в руках у нее взялся чулок. Стальные спицы быстро задвигались, тихонечко звякая. Заговорила старая неторопливым, тягучим голосом:

— Будет тебе сказка об генерале Журавлеве и обмиральше Лисицыной.

— Захудалый генерал, из отставных? — осведомилась Шаня деловым тоном.

— Зачем нам захудалый? Самый настоящий генерал-фалалей с опалетами, и через плечо у него бланжевая лента, а на шее золотая медаль в тридцать фунтов за междоусобную отвагу, — мужиков за бунт шибко порол.

Шаня засмеялась. Спросила:

— Ну, а адмиральша-то — салопница, сплетница?

— Ничего не салопница, не сплетница, самая знатная листокрадка. И родня у нее все самая тебе знатная: братья при дворе служат, один обер-вскоком, а другой люб-кофищейкой. Ну и вот какое тебе пришествие тут случилось: жили-были они в столичной разведенции оба, и генерал-фалалей Журавлев, и обмиральша Лисицына. По некоторому великатному случаю привелось им быть вместе у сенатвора Волкова из козаконного департамента, — дите роженое крестили и таким манером приятно покумились.

— А дитя чье? — спросила Шаня.

— Чье? известно чье, — сенатворское дите, козаконное. Ну и вот, покумившись, генерал с обмиральшей честь честью друг дружку в гости пригласили, везиты отвозить. С первою везитою поехал генерал Журавлев.

— Отчего же не адмиральша? — спросила Шаня.

— А уж такое, — объяснила няня, — в столичных разведенциях обхождение, что кавалер даме завсегда первый уважит и кумплимент всякий делает, а дама ему потом усердные преферансы отдает. Пришедши генерал Журавлев в полной полупарадной реформе к обмиральше Лисицыной с везитою, и подносит он ей большой пукет очаровательных розанов из самой первеющей транжиреи.

— А кто же его пустил в оранжерею? — спросила Шаня.

— Генералу везде свободная дорога, — серьезно объяснила няня. — Ну и поцеловавши обмиральшину ручку, поднес ей генерал обворожительный пукет. А барыня обмиральша, Лисицына госпожа, субтильно его отблагодаривши, скричала в тот же монумент свою девку Палашку и велела ей скорым манером подать генералу закусить и выпить.

Генерал первым долгом распоясался, думал, будет ему харч банкетный по геройскому положению. На то место девка Палашка принесла ему наперсточек сладкой чихчириховой наливочки и на крохотной тарелочке горсточку сладких бананасиков. Генерал, военная косточка, понюхал, а только сладкого есть и пить ему никак было неспособно, так как от сладкого шибко у него все желудочки расстраивались. Поехал генерал домой несолоно хлебавши и думает про себя в сердцах: «Подожди, — думает, — анафема морская, я тебе удружу навстречу шибко достаточно со всем моим почтением». Много ли, мало ли послив того времени проходит, вот и садится обмиральша, госпожа Лисицына, в свою золотую карету на глазетовые подушки и едет отдавать генералу везиту. А на запятках стоят еврейные лакеи в папуасовых штанах. Принявши ее генерал честь честью и посадивши поперек бархатного дивана, скричал зычным голосом денщика своего полуверного Прошку. И принес денщик полуверный Прошка по генеральскому приказу жбан сивухи самой непреоборимой, всероссийского сильвупле, чем заборы подпирают, да на тарелке астраханскую селедку с зеленым луком. Ну, известно, обмиральша — дама нежная, морского субтильного воспитания, на лук да на селедку только посмотрела, и у нее в голове сделался вертиж, а в животиках колики и режики поднялись. Ну вот, с того самого монумента и дружба у генерала с обмиральшею врозь.

Шанечка слушала глупую сказку и смеялась.

Глава тринадцатая

Пришлось-таки идти вниз. Уже слышно стало из столовой, как там звенели посудою. И вдруг послышался голос отца, как всегда угрюмый и ворчливый. Отец шел по коридору в столовую мимо лестницы в Шанькины комнаты и сердито спрашивал:

— А Шанька еще не встала?

Няня зашептала:

— Беги, что ли, Шанька, вниз. Слышь, сам-то встал невесел.

Шаня заторопилась, наскоро надела платье и побежала вниз босиком.

В столовой отец и мать уже сидели за круглым столом, друг против друга, и молча пили чай. И у отца, и у матери были угрюмые лица. Они за что-то еще вчерашнее сердились друг на друга и сурово молчали. И странно, что в этом суровом молчании оба они казались величественно красивыми.

«Монументы», — подумала Шаня.

Опасливо и насмешливо глянула она на родителей, потупилась, как скромная, поздоровалась молча, поцеловала руки обоим и села на свое место, спиною к окну. Мать молча налила ей чашку чаю и подвинула резким движением, — сунула. Принагнулась Шаня, пила тихохонько, — ложечкою не брякнет.

Отца позвали, — у амбаров на дворе с утра толклись мужики. Он наскоро, громко хлебая и сопя, допил третий стакан чаю и торопливо ушел. Шаня осталась одна с матерью. Мать поживее стала, на Шаню лукаво глянула и вдруг спросила:

— Ну что, Шанька, о Женьке скучаешь?

Зарделась Шанька, нахмурилась, капризно бросила матери:

— Очень мне надо скучать! Вот еще!

— Надо не надо, а видно, не скоро забудешь, — тихо сказала мать.

Видно было, что ей хочется сказать дочери что-то ласковое и откровенное, — глаза ее стали веселы, и на лицо легли искренние, мягкие отблески какой-то сладкой думы. Но за дверьми опять раздались тяжелые шаги Самсонова. Он вошел и сказал весело-бодрым тоном, уже захваченный деловым настроением:

— Налей-ка мне, Маша, еще стаканчик. Поживее. Выпью, да и отправлюсь.

Мать опять замкнулась в неприступную холодность.

Отец вспомнил ночную проказу. Забранил Шаню за вчерашнее. И мать бранила. Оба!

Отец издевался над Шаниными томлениями.

— На луну мечтаешь! Барышня с фасонами! Училась бы лучше!

Ну, кончилось! Отпустили из-за стола.

Шанечка приоделась наскоро и побежала к Дунечке Тауровой, своей подруге и наперснице, справиться, нет ли письма от Женечки, ответа на ее письмо. Каждый день Шаня рассчитывала, когда Женино письмо прийти может. Сосчитала, — завтра может прийти, если он написал сразу, как ее письмо получил. Неужели же он не сразу ответит? Не может быть. Завтра придет, а то и сегодня.

Шаня бежала по дорожкам в саду, все быстрее, быстрее. Думала: «Вот если бы так все бежать, бежать, — добежать до Женечки».

Сердце заколотилось так сладко, так больно. Пришлось остановиться. Глупое, — чего бьется? Ведь еще рано быть Женечкину письму. А впрочем, как знать? вдруг он как-нибудь исхитрится послать рано, с дороги, и уже письмо теперь у Дунечки?

И бежит Шаня по улице. Ее радует веселая весенняя улица, и на ней тающие остатки снега, и такие забавные лужи, — с краями то черными, где земля, то белыми, где еще снег и льдинки.

Шаня шалит, — вбегает в лужи, брызгает водою. Знакомых мальчишек встретила, заболталась, зашалилась с ними. И о письме на минуту забыла. Да и как не забыть, когда вешним утром все плачет и все сияет от счастия, от радости жить.

Белоголовый мальчуган стоит на углу и таращит глаза. Маленький, лет восьми. Что он думает? Шаня кричит ему:

— Кирюшка, знаешь песню про месяц май?

— Не знаю, — отвечает Кирюшка и подозрительно смотрит на Шаню.

— Слушай, — говорит Шаня, подходя к нему поближе:

Наступает месяц май,
Прилетает птичка...

— Ай, — крикнул Кирюшка, потому что Шаня дернула его сзади за волосенки.

— Птичка ай, — дразнит Шаня и убегает.

Кирюшка гонится за нею и хохочет. Не догнал, отстал.

Звонят к обедне. Веселый звон, праздничный. Шаня бежит, торопится, — не ушла бы до нее Дунечка к обедне. Дунечка богомольная, службы не пропустит. Жди тогда письма до после-обедни.

Дунечкиной матери дом такой милый. Маленький, — три окошка на улицу, — и тонкая рябинка над серым забором. Крылечко серенькое, со двора, ступеньки шатаются. Над крылечком мезонин в одно окошко, — там Дунина комната.

В маленькой гостиной с устланным чистыми половиками полом Шаню встретила старенькая Дунина мать, Федосья Ивановна, простая и добрая старушка. Она и Дунечка нежно любят одна другую. Дунечка — шалунья, а Дунечкина мать — добрая, ни в чем Дунечку не стесняет. Дунечка иногда и надерзит ей, но всегда скоро кается. Мать на нее не умеет сердиться. Она знает, что Дунечка — добрая.

Федосья Ивановна смотрит на Шаню добрыми, веселыми глазами. Зовет:

— Войди, Шанечка, в горенку, посиди, отдохни.

Но Шаня стоит у порога, — половички такие чистые, что уж как ты по ним с улицы пойдешь! Еще наследишь, обидится старенькая. Шаня спрашивает:

— А Дунечка дома?

— Дома, дома. В церковь собирается.

— Я к ней пройду наверх, — говорит Шанечка.

Но Дуня уже слышит Шанин голос. На ступеньках слышны легкие и быстрые Дунечкины шаги, — и вот Дунечка целует Шаню, — веселая девочка, светловолосая, с приподнятыми наивными бровками.

Сладостная нежность к Дунечке наполняет Шанино сердце. Шаня любит Дунечку за то, что ни с кем так, как с Дунечкою, нельзя говорить о Жене. И Шаня неутомимо говорит Дунечке о Жене, а Дуня не устает слушать. Только иногда примется поддразнивать. Ну да ничего, — Шаня это прощает Дунечке.

— Пойдем, Шанечка, ко мне, — говорит Дуня.

В Дунечкиной комнате, крохотной, чистенькой и невинной, Шанька тревожным шепотом спросила:

— Есть письмо?

— Нет еще, — говорит Дунечка.

И смеется. Дунечка рада, что увидит Томицкого. А Шаня думает, что над нею смеется Дунечка.

— Врешь! — кричит Шанечка.

Еще надежда в ней теплится.

— Да правда же нет, — говорит Дунечка.

Она становится такою серьезною и смущенною, что наконец Шаня верит. Плачет и сердится. Сама не знает, на кого сердиться, и сердится на Дунечку.

— У, противная! — плача, говорит Шаня.

Ревма ревет, — сама глазком одним на дверь посматривает, не услыхала бы старая.

— Шанечка, разве же я виновата? — с упреком говорит Дуня.

И кажется, что она сама готова заплакать.

— Ну прости, Дунечка, — горестно говорит Шаня.

Видит, — и вправду письма еще нет, и не на кого сердиться. Шаня плачет тихонько и жалуется:

— Ждать писем! Какая скука! Все сердце изныло. И целых пять лет надо ждать, томиться!

Дунечка утешает, как умеет. Говорит:

— Зато потом хорошо будет, когда он за тобою приедет.

Шаня говорит повеселее:

— Да, потом мы будем жить вместе. Всегда вместе, всю жизнь до самой смерти. И умрем вместе.

— Потерпи, Шанечка, уж как-нибудь потерпи, — говорит Дуня.

Она ласкает Шаню, — целует, волосы гладит.

— Как много надо лишнего жить! — говорит Шаня тоскливо. — Вот-то, все эти годы несносные взяла бы да и бросила к черту в пасть! На что мне они!

— Повенчаетесь, — утешает Дуня. — Страшно шикарная свадьба будет!

Покраснела Шаня, — досадно ей на то, что от каких-то чужих людей зависит признанность ее счастия. Она говорит гневно:

— Какие досадные попы! Везде суются. А какое им дело!

Пошли в церковь вдвоем, Шаня и Дуня. Федосья Ивановна ушла раньше. Девочки торопились.

Дунечка высматривала кого-то на улице.

Издали от церкви веселые звоны несутся, вблизи становится скучно. Опять будет то же, — на клиросе смешной дьячок, под клиросом надутые спесью уездные господа начальники и важные их дамы, неуклюжие в своих нарядных, но все же некрасивых платьях. Только певчие споют хорошо, и будет несколько минут восторга и молитвы.

По дороге девочки встретили гимназиста Томицкого. Он — очень милый, высокий, веселый, простой, деятельный. Все товарищи говорят, что у него сильный характер и что он очень честен. По его милому лицу с ясными глазами и с благородным очерком лба видно, что товарищи не ошибаются. В него влюблялись гимназисточки не раз, влюбилась и Дунечка, и он любит ее преданно и верно, раз навсегда, как истинный рыцарь. Он ей не изменит и ее любви верит.

Встретились и шумно радостны. Радуются своей любви. Шаня смотрит на них покровительственно и снисходительно. Они оба такие юные, наивные, чистые. Но Шаня думает, что уж очень они просты.

В домовой гимназической церкви тревожно и уже не скучно Шане. Стоят милые подружки. Много знакомых гимназистов. И каждый чем-нибудь напоминает Женю. Но Шаня ни на кого не смотрит, молится за Женю. За других молятся священник и дьякон, — а Шанечка теми же словами за Женю молится.

Шаня старается как можно яснее представить себе Женю, вызвать его образ. Напрягает воображение — и видит Женю на один краткий миг. Быстро становится на колени и кланяется Жене.

Краткая минута восторга отгорела. Шаня поднимается и осматривается кругом. Видит, — все как всегда. Гимназисты и гимназистки переглядываются, перешептываются. Тут же учителя, классные дамы. Все больше мумии несносные. Шанечка их не любит, и они ее, — взаимная неприязнь между живою душою и мертвыми душами.

Запели опять, — разнежили сердце. И вдруг, как ветер, веющий из Эдема, приникла к сердцу молитва, пламенная, — и все забылось, —

скучные лица обставших и темные стены, и милый засиял лик. Плачет Шаня и молится. В дымном ладане видится ей Женино лицо. Так рыдает Шаня, что ее унимает Дунечка.

Вышел дьякон. Читает Евангелие. Шаня вслушивается, припоминает Женины слова. Мятежные мысли зажигаются в ней, и ей страшно.

«Грешница, грешница!» — думает она о себе и кается.

Глава четырнадцатая

Вышли из церкви. После дымного ладана воздух сладостно душист, и так молодо, вешним зеленоватым пухом, оживают деревья и кусты.

К девочкам подошли Гарволин и Томицкий. Шаня вздохнула, — подходил прежде и Хмаров.

— В такие дни хорошо любить, — весело говорит Томицкий и нежно смотрит на Дунечку.

Дунечка смеется и краснеет.

Разговор, когда коснется любви, становится Шане интересным. Иные разговоры скучны. И она сама не замечает, как заговаривает о Жене. Томицкий смотрит на нее с ласковым упреком, словно жалеет ее, и говорит:

— Охота вам, Шанечка, думать о Хмарове! Он — самый пошлый фатишка.

Шаня покраснела, засверкала глазами.

— Неправда, неправда! — страстно заговорила она. — Зачем вы так про него говорите! Вы его, наверное, совсем не знали.

Томицкий сказал уклончиво:

— Да, я его правда мало знал. Надо пуд соли с человеком съесть, чтобы его узнать, а где ж мне, Шанечка? я соли не люблю.

Томицкий ласково заглядывает в Шанины глаза и пожимает ее руку. Шаня уже не сердится на него, но ей грустно. Она прощается с Дунею и с Томицким и говорит Гарволину:

— Проводи меня, Володя.

Володя рад идти с нею. Они идут по набережной.

Какая прелесть — ранняя весна! Только что река вскрылась, и струйки так блестят и звенят, — и все, все на земле так свежо, так первоначально. Во всем на земле разлита радость, и смешана с радостью странная грусть.

Гарволин опять уговаривает Шаню забыть Евгения. Да где там!

— Забудь ты его! Не станет он тебя долго помнить. Полюбит другую.

Засверкала Шанечка глазами. Страстно заговорила:

— Никогда не разлюблю его! Никогда, никогда! Пусть он даже меня бросит, я его все-таки не разлюблю, никогда, никогда. Никого никогда не полюблю другого.

Она повторяла эти слова тихо и мечтательно. Но в тихости и разнеженности ее голоса чувствовалось то женское упрямство, которое не сламывается ничем.

И краснеет Шаня. И глаза ее горят.

Гарволин понял, что это — правда. Он грустно и долго вгляделся в Шанины глаза. И Шаня смотрела на него, не отводя взора. В Шаниных глазах горел мрачный огонь тайны и восторга. Гарволин вздохнул. Покраснел. Тихо сказал дрогнувшим голосом:

— Шанечка, ты несправедлива!

Шанечка тряхнула косами и задорно крикнула:

— Вот еще! Кому-то она нужна, эта справедливость!

— А как же! Нельзя жить без справедливости, — сказал Гарволин.

Какой-то темный страх звучал в его голосе, словно в ответ на его слова кто-то равнодушный говорил ему беззвучно, но внятно:

— Нельзя, так и не надо. И не живи.

А Шаня говорила глубоким, странно-звучным от восторга голосом:

— Что там справедливость! Смотри-ка, — небо синее, воздух сладкий, в небе ласточки летают, в земле кроты роются... Да уж не умею тебе сказать, а только все длинные слова — глупость.

— Несбыточны твои мечты, Шаня! — сказал Гарволин. — Будет он тебя помнить столько лет!

— Несбыточны! Вот испугал-то! — с пылким задором крикнула Шаня. — Сбыточное-то мне и здесь надоело, — сбыточного-то мне и даром не надо. Знаешь, — мечтательно проговорила она, — бывает несбыточное! А если и не бывало раньше, так пусть для меня будет!

Шаня призадумалась. Потом решительно сказала:

— Все будет по-моему. Как захочу, так и будет. Он меня не возьмет, — я его возьму.

— Возьмешь! — уныло возразил Гарволин.

— Возьму, я сильная! Только очень захотеть надо, — и чтобы это не было глупость, как я раз о розетке молилась.

Шаня засмеялась.

— Я тебе не рассказывала? Вот смех-то!

Гарволин уныло молчал.

— Я розетку, шаля, разбила и боялась, что бить будут. Вот и стала молиться. Уж как я молилась, чтобы она срослась! Да только не вышло. Не было чуда. Как на грех, отец злой пришел, — узнал, отстегал.

Гарволин оживился.

— Не было чуда, говоришь?

— Да ведь глупость была, — весело сказала Шаня.

— А ты верила? — спрашивал Гарволин. — Сильно верила? И все-таки чуда не было?

Он жадно смотрел в Шанины глаза. Видно было, что ее рассказ о розетке странно волнует его. А Шаня мечтательно смотрела вдаль и говорила:

— Я в Женю верю, в Женечку моего.

Гарволин давно уже понял, что Шаня может говорить только о Жене. Когда он приходил к ней, говорили только о нем. И теперь упал разговор о несбывшемся чуде, — Шаня думала о Жене, говорила о нем.

Вдруг ей совестно стало: поняла, что этим разговором она мучит Гарволина. Но ничего, он не рассердится, он — милый. Забыв минутное ощущение неловкости, Шаня сказала с восторгом:

— Надобно влюбиться! Только в этом счастье и правда жизни, — влюбиться!

Гарволин сказал с досадою:

— Мерзкое слово! Надо любить, жертвовать.

Шаня улыбалась и повторяла настойчиво:

— Влюбиться. Втюриться. Так всей и влезть в него, и овладеть, и не отпускать.

— Зачем? — сурово спросил Гарволин.

— Как зачем? Как ты этого не понимаешь? Ну если ты один, ну это хорошо, положим, — вот, и река, и жаворонки, и поле, и пахнет так. Так бы вся и вникла в землю. Ну так что же? Так и умереть? Пойми, один — это умереть. Два — жить. Глаза в глаза, и сказать друг другу самое последнее.

Шаня побледнела, замерла от восторга, замолчала. Как Шаня, бледнея, Гарволин бормотал:

— Это стыдно.

— Ах, Володя, ничего ты не понимаешь. Сахарная у тебя душа! Знаешь, иногда мне так хочется его видеть, так хочется, — сказать нельзя! Ну и вот, знаешь, иногда он вдруг проходит мимо. Не он сам, а голубое, — понимаешь? Все тело голубое. А всмотришься, — и нет ничего. Такая досада!

Гарволин слушал уныло. Шаня смутилась, замолчала опять. Больше им не о чем говорить. Молчанием все сказано. Обоим неловко. Шаня торопливо простилась с Гарволиным и убежала. Опять одна. Что-то подхватывает и несет.

Пришла домой. На чердак забралась. В слуховое окно смотрит. А потом и на крышу вылезла. Широко, далеко видно. Но одна милая сторона, — где Крутогорск, где живет ее Женя.

Подняться бы выше, выше, до неба, до солнца, которое смотрит на всех, и любовнее, чем на других, смотрит на Женю и целует его, целует горячо, жарко, страстно, как Шаня.

Кто-то смотрит вверх, говорит:

— А вон Шанька самсоновская на крышу стрелюдилась.

— Озорная девка! — отвечает чей-то суровый женский голос.

Видела Марья Николаевна, что Шаня томится. Сама томимая темною страстностью, она особенно сочувствовала теперь дочери. Думала: «Приворожил Шаньку скверный мальчишка Хмаров. Сглазил дуру. Что мне с нею делать? Еще делов натворит сдуру!»

Когда отца не было дома, Марья Николаевна позвала дочь в свою укромную горницу за спальнею, где пахло яблоками, лавандою и лампадным маслом, в ту горницу, куда Шаня входила всегда со смешанным чувством страха и радостного ожидания, — то ли достанется от матери, то ли мать приласкает.

Марья Николаевна сказала дочери:

— Что ты, Шанька, все мечешься, как угорелая кошка? Места себе не находишь, отцу грубишь, меня не слушаешься, дура неоколоченная!

Грубые слова звучали, как ласковые. Шаня крепко прижалась к матери и заплакала. Было ей тоскливо и сладко. Мать ласкала Шаню. И жаль ее было, и досадно на нее. Сказать хотелось что-то верное, убедительное, да слова не подбирались, и не было в душе достаточной уверенности для твердых и ясных слов.

— Дура Шанька, чего ты ревешь-то? — с грубоватою нежностью спрашивала мать. — Забыла бы ты его, соколика своего, право! Сахар-то этот не больно сладимый, смотри, горчить скоро станет.

Шаня вдруг взглянула на мать внимательно, засмеялась сквозь слезы и спросила:

— Мамуня, а ты часто влюблялась, когда молодая была?

Смущенно и сердито отвечала мать:

— Дура! Я и теперь не старая, слава Тебе Господи.

— Нет, когда совсем молоденькая была? Вот как я теперь? — спрашивала Шаня.

Марья Николаевна сказала с тихою усмешечкою:

— Волочились за мной хахали, да только я строгая была, никого к себе близко не подпускала.

Шаня спрашивала:

— Мамуня, а ты в папочку сильно втюрившись была? Ходила, как оглашенная, полоротая, на него, друга милого, глядючи?

Марья Николаевна говорила со смущенною улыбкою:

— Экая ты дурища, Шанька! О чем спрашиваешь-то мать, дурища! Как тебе не стыдно! Как язык-то у тебя поворачивается?

Шаня продолжала спрашивать:

— По ночам не спала? ревела небось, друга милого вспоминаючи?

— Дурочка! — разнеженно улыбаясь, сказала мать.

Шанька опять спрашивала:

— Целовала ты его в прикусочку?

— Это еще как? — спросила Марья Николаевна.

Она засмеялась, зарумянилась и стала совсем молодая и красивая.

Шаня говорила:

— А вот так: поцелуешь, посмотришь, — на щеке у него или на руке красный следочек от зубов увидишь, — и опять поцелуешь в то же самое местечко. Целовала так, мамунечка, дружка своего ненаглядного?

— Глупенькая! — сказала мать.

Смеялась, а у самой на глазах светлые слезинки блестели.

И опять спрашивала Шаня:

— Мамунечка, а ты коленки свои целовала в том месте, где милый твой коленом своим к твоему колену прижался ненароком?

Мать смеялась, и плакала, и говорила:

— Ах, Шанька, все-то мы — дуры набитые, все наше женское сословие.

Шаня прижималась горячею, мокрою от слез щекою к плечу Марьи Николаевны и говорила:

— Знаешь, мамуня, ночью, когда луна глядит, вдруг о нем вспомнишь, — плясать захочется. Встанешь, попляшешь тихонечко перед окном, чтобы тень по полу бегала, и опять уляжешься. А в окно луна смотрит, такая белая!

Глава пятнадцатая

Полюбила Шанька говорить с матерью о любви своей. Странные то были беседы! Мать зажигалась нежным участием к Шаньке, ста-

новилась ей как сестра или подруга, любопытствовала, спрашивала, утешала, бранила, — нежная и в грубом ласка родной матери!

Иногда мирно беседовали мать с дочерью, — посмеются, поплачут. А иногда зла бывала Марья Николаевна, — на мужа, на Кириллова, на судьбу свою. Тогда она принималась яростно бранить Евгения, а за него и Шаню. Шаня вступалась за своего милого, ссорилась с матерью. Была почему-то всегда уверена, что за эти споры мать ее не поколотит.

Шаня всегда стремилась к людям, любила быть с ними, не таилась от них. И люди, которые не совсем закоснели в жизни и в ее неистовствах нечистых, раскрывали перед Шанею лучшие стороны своей натуры.

Теперь хотелось Шане говорить с людьми о нем, о милом Женечке. А с кем говорить, кроме как с матерью?

Дуня слушает охотно, да еще глупа она, сама ничего не понимает. Томицкий избегает разговоров о Хмарове, — не любит его, а резко говорить о нем не хочет, чтобы Шаню не обидеть. Заговорит с ним Шаня об Евгении, — он или промолчит, или о другом начнет, или уйдет, или отвечает скучно и равнодушно. Володе эти разговоры мучительны, и он говорит Шане горькие слова. Не убедит, конечно, Шаню, а всегда расстроит. С отцом не заговоришь об этом, — уж очень он груб и суров и только издевается. С няней? Ласкова няня и любит Шаньку, а только...

Нянька видела, что Шанька все скучает о своем Евгении. Думала няня: «Дитя, глупая еще, забудет, как подрастет. Новый дружок найдется».

Старалась утешить Шаню, ласкала ее. Сама затевала разговоры о Жене, чтобы к Шане подольститься. И все о предметном, о грубом: какой он будет богатый, как Шаню наряжать станет. Шане это было неприятно. Шаня чувствовала что-то пошлое и потому страшное в няниных словах: благородный ее Женечка, и рядом с ним такие торгашеские представления.

— Молчи, пожалуйста! — кричала Шанька на няню. — Совсем он мне не надобен!

Нянька обидится, заворчит. Шаня бросится ее утешать.

— Только о нем ты со мной не говори, — просит она старую, целуя морщинистые нянькины щеки. — Не хочу я про его богатство думать, не надобно мне его денег.

Скучно Шане, ничто ее долго не радует. Были заботы о Жене, — теперь их нет. Есть одна забота, как-то он там, но бесполезная: не узнаешь, не побежишь.

В эти первые дни так сильна была боль, почти телесная, от разрыва привычных представлений, сьязанных с Евгением! Эти связи представлений были так обильны, и так они захватывали всю Шанину душу! Ни о чем не могла она подумать, не соединив своей мысли с образом Евгения. Да и о чем же ином ей думать, как не о милом его облике! Что же иное вспоминать ей, как не его свычаи и обычаи!

Как в языческой душе (а у кого из нас душа — не язычница!) легко и радостно зарождается культ недавно отошедшего от жизни героя, так и в Шаниной душе зарождался культ солнечно-светлого Евгения, ушедшего на время в страну далекую, на запад солнца, на крутые берега широкой реки! Создание этого культа стало ее главным и почти единственным делом, а все остальное, весь обряд жизни, — все это между прочим, так, пока. Празднуют люди или постятся, — а у Шаньки свои праздники, свои посты, — годовщины встреч, бесед, приятных событий и бед, — все помнит Шанька, все отмечено в ее синем календаре.

В гимназию ходила Шаня охотно, чтобы уйти из дому, но училась кое-как. И учителя, и учительницы были ей неприятны и не любили шалунью Шаню, непослушную, дерзкую, насмешливую.

Иногда совсем забросит Шаня учебники. Тогда начальница гимназии шлет за родителями. Шаньке дома достанется, да не это страшно, а то, чем отец грозит:

— Не будешь учиться, сниму тебя с гимназии, сиди дома, вышивай в пяльцах.

«Нет, уж лучше географию зубрить!» И опять примется Шаня за книжки.

В весенний ясный день Шаня возвращалась из гимназии.

— Так ко мне и придирается, — говорила она Дуне про начальницу гимназии. — Зеленолицая, злая тварь! И Шептун, и Козел, — все с нею заодно.

Дунечка смеялась. Ей что! Она — прилежная.

— Ничего, поворчит да отстанет, — утешала она Шаню.

— Да уж ты, ласковая! — отвечала Шаня. — К тебе-то небось не придерутся.

У Летнего сада Шаня привычно замешкалась. Нежно простилась с Дунечкою. Села на той самой скамейке, где, бывало, поджидала Женю, и книжки рядом с собою положила. Было вешне-весело, и в душе было радостно-ожидающее по привычке чувство.

Вспомнила вдруг, что уже не придет Евгений проводить ее до дому. Вдруг тяжелая грусть упала на сердце. Захотелось плакать, — но стыдно проливать слезы на улице. Схватила книжки, побежала. Досадливо подумала сама про себя: «Нечего дорожки слезами поливать, — спасиба никто не скажет!»

Остановилась у калитки против дома, где жили Хмаровы, и долго смотрела на забор, на крышу дома, в котором никогда не была. Вон мезонин, — там он спал.

После обеда Шаня побежала в сад. Было предчувствие радости, и была ясная радость в небе.

Шаня стояла у калитки. Смотрела на дорогу, щурясь от солнца. Припоминала. Много есть, что припомнить. Сколько раз тут встречались!

Станет иной раз Шаня у калитки и думает: «Что бы припомнить? Вот это? или то?»

Припомнить, как Женя собак испугался? или об яблонях? или о туфельках? Все было забавное и радостное. И так приятно вспомнить по порядку, со всеми подробностями.

Вспоминает Шаня, улыбается.

А Женечки-то нет! Поневоле приходилось углубляться в себя, сравнивать себя нынешнюю и прежнюю. До Жени — пустыня. От Жени — жизнь.

Шибко сердце заколотилось, — Шаня увидела Дунечку. У Дунечки был таинственный и взволнованный вид. Ее светлые бровки озабоченно хмурились.

— Ну что? — спросила Шаня.

— Письмо, — громким шепотом отвечала Дунечка.

Шаня опасливо поглядела на окна дома. Никто не смотрел из окон, но все-таки девочки побежали подальше, через мостик, за беседку, в укромное местечко, из дому не видное.

И вот в Шаниных руках первое письмо от Евгения! Шаня в восторге, и страшно, как бы не увидели дома, не отняли. Прочла с трепетною радостью эти четыре странички милого, нежного письма.

Дома перечитывала украдкою и хранила как тайную святыню. На груди носила, целовала часто и так часто перечитывала, что наизусть запомнила. Впитывала в себя Шаня яд этих вкрадчивых строк, где что ни слово, то ложь, — впитывала сложный яд, где смешивались и стремление к успеху, к богатству, и человеконенавистничество, и узкий эгоизм, и наивное самооправдание, и грубый материализм.

Было это письмо как святыня, легшая в основу зарождающегося культа. Теперь, когда Евгения с нею не было, это письмо, его рукою написанное, было тем радостным предметом, к которому страстно и благоговейно устремилось ее почитание и поклонение. И сам Евгений был как некое таящееся вдали дивное существо.

Ответ на Женино письмо Шаня писала у Дунечки. Дома писать было страшно, — как бы не поймали. Целый вечер собиралась писать, да так и не решилась. На другой день из гимназии пошла с этою целью с Дунечкою к ней. Марку еще утром купила, в почтовой конторе.

Девочки заперлись наверху, в Дунечкиной комнате, и долго там шептались, смеялись и плакали. Дунечка принимала самое живое участие в составлении письма и волновалась не меньше, чем Шаня.

Шаня писала: «Только одного хочу, — донести к тебе мою любовь целою, — и берегу ее. Хочу к тебе приблизиться, быть достойною тебя, понимать все, о чем ты думаешь, на весь мир смотреть твоими глазами».

И много писала Евгению Шаня слов нежных и верных. А Дунечка таращила светлые бровки, всплескивала звонкими ладошками и говорила:

— Да ты, Шанечка, не очень-то перед ним распинайся, а то он зазнается.

— Не зазнается! — улыбаясь, говорила Шаня. — Он — рыцарь.

— Ну, — спорила Дунечка, — если бы я своему Алексею таких слов насказала, так он бы меня совсем в руки забрал. Он и то командовать любит.

— Дунечка, тебя твоя мама избаловала, ты и думаешь, что ты во всем первая. А я ему, другу моему, верю и у ног его лечь не боюсь, — не наступит мне на грудь, не раздавит моего сердца.

Федосья Ивановна внизу похаживала мимо лестницы наверх и ворчала. Она догадывалась, что за секреты у девочек, но не мешала, хоть иногда и разбирало ее желание взойти к девочкам тихохонько, накрыть и шугнуть.

Потом девочки с видом заговорщиц сбегали к почтовому ящику. Улучили минуту, когда ни близко, ни далеко не было ни души, и Шаня трепетными пальчиками толкнула письмо в узкую щель зеленого ящика. Дунечка, стоя рядом, смотрела на Шаню с восхищением, слегка приоткрыв рот, приподнявши светлые бровки. Потом бросилась на шею Шане и крепко поцеловала ее.

Шаня с бурным нетерпением ожидала Женина ответа. Уже совсем ни о чем ином не могла думать в эти дни Шаня. Она ходила каждый день на места своих встреч с Женею, — в свой сад, на берег реки, в Летний сад. Все места встреч и свиданий исходила, следов своего милого искала. На качелях качалась, Женю вспоминая.

Вспоминались Шане разговоры с Женею о голубых телах.

«Неужели это — правда? — думала Шаня. — Увидеть бы хоть разик! Вот Женя, — у него тонкая натура, он видел. А я — мужичка грубая. Но я хочу их увидеть! Увижу!»

Так сильно верила в Женины слова, что иногда и видела.

Глава шестнадцатая

Утром на заре приснилось Шане, — стоит перед нею сияющая голубая тень и говорит: «Приедет за тобою милый твой на белом коне, станет перед тобою в блистающей одежде, на твои волосы на-

денет золотой венчик, уведет тебя с собою на веселый пир, — а и будет пир на весь мир».

Проснулась Шаня, увидела, как в окно мелькнула голубая тень. Схватилась Шаня с постели, побежала в сад в одной рубашке. Няня вдогонку ей крикнула:

— Ну, чего русалимкой бегаешь, в одной рубашонке! Вернись, Шанька, бесстыжие твои глазья!

Бежит Шаня по дорожкам, раскраснелось лицо, на губах безумно-радостная улыбка. Перед нею мелькает что-то голубое между деревьями, — ясный воздух голубеет перед Шанею, голубеет над нею тихое небо.

Шаня обежала весь сад кругом, — да не догнать голубой тени, — и вернулась домой, не знает, плакать ей или радоваться.

Няня забранила, заворчала на Шаню:

— Какава шаршавая!

Смеется Шанечка над собою. Думает: «Экая я глупая, — за голубою тенью погналась! Да ведь ее не поймаешь».

Няня смеется и ворчит:

— Русалимка голоногая! Пляшет, как голерина на театрах.

Потом видит няня, что Шаня нахмурилась, плакать собирается. Подошла к ней старая, приласкала, смешливым голосом песенку спела:

Погоди, приедет прынец,
Привезет тебе гостинец,
Филимончик скапельцынный,
Бананасец мандаринный.

Шаня развеселилась. Не может же быть, чтобы голубая тень предвещала ей злое! Но на всякий случай спросила няню:

— А что значит, нянечка, белый конь?

— Во сне, что ли, видела? — опасливо спросила нянька.

— Не видела, а слышала, говорил кто-то про белого коня, — сказала Шаня.

Няня успокоилась.

— Ну, не беда. Вот если бы увидела, нехорошо.

— А что, нянечка?

— Белый конь смерть вещает, — строго сказала старая няня.

Сжалось тоскою Шанино сердце. Но скоро оказалось, что то не смерть ей возвещалась, а радость, — письмо от милого.

Второе письмо Евгений прислал очень скоро. Шаня и надеяться не смела. Зашла после гимназии к Дуне, — и вдруг, — восторг! — там уже письмо лежит, дожидается.

Вот, недаром показалась голубая тень, милая предвещательница радости!

С того утра не раз видела Шаня голубые тени. Эти милые тени окутывали ее душу таинственным страхом, жутким ужасом, но и влекли к себе неодолимо. Голубоватые, вешние тона воздуха и неба манили Шаню постоянным напоминанием о голубых. Каждый предмет неопределенных очертаний, — облачко, дымок, колыхание веток по ветру, пыль, ветром взвеянная, в траве пробежавший зверек, — все было для нее поводом увидеть в этом мимолетном явлении быстрое мелькание проносящейся мимо голубой тени.

Иногда Шаня боялась этих голубых. Думала: «Вдруг промчится предо мною на белом коне!»

Но бояться долго не умела бойкая Шанька.

После обеда Шаня вышла погулять в своем саду. Она любила застаиваться у той калитки на улицу, где встречала она Евгения. А теперь вдруг встретила она там Володю Гарволина. Его тянуло к Шане, хотя он знал, что каждое свидание только тоскою опять измучит его сердце.

После смерти своей матери Володя поселился у дяди. Унылое было житье! Володин дядя был угрюмый, тихий старик чиновник, служил он в уездном казначействе и получал немного. Детей у него было три сына да три дочери. Жена умерла давно, а вместо нее в бедном доме, в невзрачном флигеле во дворе, таясь в углах, злые и серые, поселились две безликие бабы, Нужда да Забота. Хозяйничали, как умели, серебряными монетами дырки затыкали, медные копейки через по-

рог катили. Смотрели, чтобы дети лишнего куска не съели, крошки со стола не уронили, платья подольше бережно носили, башмаки на улице поменьше топтали. За разбитую чашку подымали свару, шипели, злились, требовали детских слез.

Хозяин побаивался злых баб. И был он забитый судьбою, робкий. Худенький, седенький, чуть жив. Не говорил, а бормотал. Не дышал, а покашливал.

Володя не обременял собою дядиной семьи, — сам зарабатывал кое-что уроками. Конечно, мало. В таком городе, как Сарынь, много уроками не заработаешь.

Шептались злые старухи за печкою:

— Ну что ж, кое-какие дырки его деньжишками заткнем. Пусть только на себя поменьше тратит.

Слабеет по времени грусть по умершим. А у Володи Гарволина что дальше время шло, то сильнее грусть о матери овладевала сердцем.

Замер ужас перед этим зрелищем умирания, грубого торжества мертвых сил над живою душою человека, и то, что было кратким страхом перед смертью, растворясь в томительности переживаний, стало тихим ужасом перед жизнью. Грусть сживалась понемногу с тоскующим сердцем. Так все ясно, — Шаня для Володи недостижима, другой ему не надобно, — бедное сердце навеки верно, — личное счастье невозможно.

Как же ему жить, для кого и для чего, — пока еще не знает Володя. Готовых ответов есть много, — но не верит им Володя, потому что бедное сердце перестает верить в чудо.

Скучный, унылый вид Володи Гарволина делал его в Шаниных глазах жалким, неприятным и отчасти даже смешным. Но Шаню и влекло к нему. Влекло волнующее, жуткое сознание того, что это она — причина его тоски неизбывной. Была жалость к нему, но и немножко презрения. Сравнивая Володю с собою, Шаня думала: «Я — девочка, да и то нос так не вешаю. Ну да я — сильная».

Радостно сознавая свою силу, Шаня утешала Володю, как большая маленького. Иногда так ей станет жалко Володю, что она даже поплачет о нем, оставшись одна.

Мучительна Гарволину Шанина жалость. И хочется, чтобы Шаня его пожалела, и стыдно.

Володя почему-то все вспоминал Шанин рассказ о разбитой розетке и о не свершившемся по ее молитве чуде. В Володиной душе, уже потрясенной жестоко, этот случай был как тот легкий толчок или шум, который опрокидывает подтаявший айсберг, — так рушилась в его душе старая, простодушная с детства вера.

— А я, Шанька, все про твою розетку вспоминаю, — сказал он.

— Какую розетку? — спросила Шаня.

— А вот что ты разбила и молилась, чтобы она срослась. Не срослась розетка, не было чуда, вместо чуда была тебе мука. А что, Шанька, если и всегда так на этой земле? Что, если чуда не было никогда и не будет? Ведь тогда и жить нельзя. Как же нам всем жить без чуда!

Шаня засмеялась.

— Володенька, да ведь это — детское! Разве же статочное дело из-за шалости чуда просить! Этак бы все ребятишки избаловались.

Шаня смеялась, забыв свои те детские слезы. Володя прислушивался к ее словам, с неловким видом склонив к ней правое ухо. Подумал над Шанькиными словами, но не утешился ими. Сказал:

— Детское, говоришь? Так что же! Для Бога все мы — дети, все маленькие да слабенькие.

— Чудо будет, стоит только захотеть, — решительно сказала Шаня.

Володя усмехнулся, вздохнул.

— Ну, вот ты захотела чуда, а что из этого выйдет?

Призадумалась Шаня, — и как всегда, мысли ее обратились к Евгению.

— И не хочу, да вспоминаю милого, — говорила она. — Иногда так ясно его вспомню, точно он тут стоит. Только он не голубой, а отдельно. И тогда хорошо мне, и весь город здешний как большой памятник милого моего. Хожу по улицам, по дорожкам, а сама точно в храме стою. Для меня теперь каждая яблонька, с которой Женя брал яблочки, как часовенка зелененькая. И каждая вещь, которая о нем напомнит, такая милая станет, что целовать ее хочется.

— Нашла себе кумира, — сказал Володя. — Как бурятка дикая, своему идолу салом губы мажешь. Погоди, не пришлось бы тебе своего идола палкой смазать.

Шаня быстро глянула на Володю и сказала:

— Мне хочется понять Евгения хорошенько.

— Сама себя расстраиваешь, — сказал Володя. — Понять его — штука не хитрая. Мне он сначала тоже показался симпатичным, а потом я его раскусил.

Шаня призадумалась. Не слышала, что говорит Володя. Вдруг повернулась к нему и, прервав его на полслове, сказала радостно:

— У меня скоро будет праздник.

— Какой такой праздник? — невесело спросил Володя.

— Годовщинка, — с лукавою усмешкою говорила Шаня. — Год с того дня, — ну, одним словом, такая милая встреча с ним была. И сейчас, как вспомню, сердце зарадуется.

— Есть чему радоваться! — хмуро молвил Володя.

Шаня вздохнула. Сказала:

— А вот поди ж ты, — и больно, и радостно. Мне, Володенька, больно, точно кто-то ножиком из сердца самую радостную половинку вырезал. Вот было, и вот нет. Просто делать ничего не хочется. И глаза бы мои не глядели на все эти вещи! Учебники пожгла бы, пошла бы к нему в прачки. Да не пустят.

— Ты — ленивая, Шанька, — сказал Володя.

Вдруг побледнев, чувствуя приступ странной злобы, он хрипло сказал:

— Иногда мне кажется, Шанька, что ты — злая.

— О, злая! — воскликнула Шаня. — Ну и пусть, и пусть злая!

— Что хорошего-то? — тихо спросил Володя.

Шаня говорила:

— Если я злая, пусть я пострадаю. Пусть, пусть меня Бог накажет. А я все-таки сегодня голубенькую тень видала.

Володя сумрачно сказал:

— Никаких нет голубеньких.

— Это вот ты — злой! — сердито сказала Шаня. — Как же это так, — нет голубых? Что ж ты говоришь о том, чего не знаешь? Вот

видишь, утром голубого видела, а днем от Жени письмо получила. Ну как же ты говоришь, что голубых нет? Этак ты скажешь, что и ничего нет, ни земли, ни неба? Эх ты, философ! А вот будет скоро моя годовщинка, — я эту калитку всю цветами уберу.

Володя усмехнулся и попросил:

— Покажи письмо.

— А смеяться не будешь? — спросила Шаня.

Показать Женины письма ей самой хотелось. Володя сказал угрюмо:

— Нашла зубоскала! Когда же я над тобою смеялся?

Шаня повела Володю в баньку. Сбегала за письмами. Володя прочитал оба письма. Усмехнулся. Сказал:

— Мастер улещать. Хоть бы одно слово верное написал.

— Какое же верное? — обидчиво спросила Шаня.

— А вот такое, — отвечал Володя с досадою. — «Ты обо мне, Александра, не думай, да и я тебя скоро забуду. У тебя одна дорога, у меня другая, а за прошлое спасибо, провели время не скучно».

— Ну, и злой, и злой, и злой! — закричала на него Шанечка, постукивая кулачком по ладони. — А вот буду о нем думать, буду, и он меня не забудет, не забудет, и мы будем вместе.

Володя махнул рукою:

— Ну, до свиданья, Шанечка.

Шаня поцеловала его в щеку и сказала:

— Знаю, куда ты пойдешь. К матери на могилку.

И уж не сердилась на него, опять растроганная его грустью.

Простился Володя с Шанею. Шаня пошла было проводить его до калитки, да мать крикнула ее зачем-то домой. Шаня убежала. Володя долго смотрел вслед за нею. Вздохнул и пошел. У калитки стояла нянька.

— Что, Володенька, голову повесил? — спросила старая.

— Веселого мало, няня, — сказал Володя. — Стрекоза твоя о Хмарове думает, а он ей нос натянет.

— А ты, Володенька, не возьми моего слова в досаду, ты будь смелее, — говорила няня, — держи себя с полным своим достоин-

ством, через кураж найдешь и марьяж. Брал бы пример с Женьки Хмарова. Барственно себя вел молодчик, — придет себе вальяжно или на лосипеде подкатит таким шкапидаром, яблоков, ягоды нашей налопается, Шаньку по румяным щечкам белыми ладошками звонко отблагодарит, да и был таков. А Шанька-то круг него каруселится, а Шанька-то к нему губарабится.

— Неужели он ее бил? — спросил Володя.

— Бить не бил по-настоящему, — отвечала старая, — а памятку задавал. Шанька-то у нас своевольница да пересмешница, любит подразнить, а ему не нравилось, потому гонор велик и гордая шишка на затылке.

От Шани Гарволин пошел на кладбище. Это была его любимая прогулка. Часто сюда приходил, почти всегда не в праздник, когда мало народу. Тайком от своих. На могилу к матери.

Пришел — и почувствовал какую-то странную усталость, точно издалека пришел.

Весною на кладбище хорошо, — это позже будет, знойным летом, что земля порою трескается и смрад могил поднимается к небесам, к золотой колеснице мертвого Дракона, влекомого незримыми конями, подобно тому, как в день великого поднятия вод по гулким улицам Древнего Города медленно влекся на торжественной колеснице мертвый деспот, разрумяненный, но зловонный, последний царь Атлантиды. А теперь нежно и легко льется в грудь воздух вешнего кладбища, и Дракон еще жив. И такая окрест отрада!

Как всегда здесь, обступили унылые думы. Володя снял шапку, сел на скамейку. Сидел, сгорбясь, как старый. Холодноватый, пустынный ветер порою приподнимал прядку волос на его лбу. В воздухе, еще пахнувшем снегом, было пусто и тихо. В сердце тупо и странно. Между могилами темнела полуобнаженная весенняя земля. По небу тихо проходили ясные тучки и словно подсматривали, что он тут делает, на могиле. Бледное небо казалось низким и тяжелым.

— Где же ты, жизнь бесконечная!

Глава семнадцатая

Вот и лето настало, знойное, яркое, страстное. Около заборов в городе буйно выросла высокая крапива. На грудах мусора зазеленели, зацвели сорные, но все же небу милые травы: чистотел, осот, марь и лебеда. Между травами созревала сочная земляника. За Шаниным садом, на тихом озере, обросшем камышом, распустились поразительные цветы желтого касатика и таинственно колебались при порывах ветра.

Няня радовалась теплу, старая, и говорила:

— Благотворение воздуха в наших садукеях.

Шаню кое-как перевели в следующий класс. Ей уж не хотелось опять, по-прошлогоднему, получить переэкзаменовку и все лето быть под страхом, — налегла на учебники, подзубрила.

Лето, свобода, — все хорошо, только Жени нет. Земля и небо, весь мир обвеян крыльями голубых, а Женя далек. Земной рай — пустыня без Жени!

Летние дни так медленны и длинны, особенно если они не отмечены в Шанином календаре каким-нибудь милым воспоминанием. Ползут, ползут без конца, обливая душу томлением.

Иногда Шаня думала: «Скорее бы ночь наступала!»

Ночь, когда мечтается сладко!

Мечта об Евгении странно менялась, отходила от первоначального образа, претворялась в сладостную легенду. Образ Евгения голубел, истончался, восходил по лестнице совершенств. Привычные связи представлений разрывались, — завязывались новые.

Письма от Евгения приходили уже не так скоро. Сначала Евгений оправдывался тем, что у него экзамены, потом уже ничем не оправдывался. Но его письма, хотя и редкие, были так же нежны, как и первые. Шаня перечитывала их каждый день. Наизусть запомнила. Эти письма становились ее Кораном и понемногу отравляли ее душу.

Шане особенно нравились в этих письмах те места, где Евгений, тоном наставника, снисходящего к малому пониманию внимательной почитательницы, излагал свои взгляды на жизнь. Большое место в Жениных письмах занимали описания Крутогорска, его улиц, домов и те-

атров, Жениных встреч и знакомств. Все это было чрезвычайно интересно, но все-таки несколько далеко от Шаниных настроений, и не эти описания и рассказы могли помочь ей приблизиться к Евгению, научиться у него, понять его, стать достойною его.

Шане захотелось отделить от этих рассказов и описаний поучительную сторону Жениных писем, чтобы иметь всегда под руками надежное руководство на все случаи жизни. Любовь делала легкомысленную Шаньку рассудительным и мелочным педантом.

Шаня отправилась в Гостиный двор, — неуклюжее белое каменное здание, под грузными аркадами которого помещались лучшие в городе лавки и магазины, и там купила красивый альбом. На заглавном листке альбома Шаня сделала крупную надпись: «Женины заветы».

На первой странице написала она сама: «Хочу быть достойною моего возлюбленного. Хочу все делать и о всем думать по мысли и по душе господина моего. Хочу вся жить в нем и из воли его не выйду. Помоги мне, Господи, быть верною ему!»

А со второй страницы начались Женины заветы.

— Уважай самого себя, — говорит Женя, — если не хочешь стать в ряды презренных рабов.

— Ставь себя на самое высокое место, и тебе поклонятся.

— Не жди оценки от других, хвали сам себя; не верь тем, кто говорит, что это — жалкое самохвальство.

— Свою хвалу себе я поддержу всею своею жизнью.

— Прекрасны люди, рожденные для господства. Презренны рожденные для низкой корысти.

— Хорошо иметь предков, делами которых можно гордиться.

Женины заветы иногда слишком больно ранили Шанину душу. Иногда кое-что в них было ей непонятно. Тогда она писала Евгению и просила объяснений. Евгений отвечал ей нежно, но очень свысока. Иногда ее вопросы казались ему просто глупыми, и тогда он отвечал ей не без раздражения. Но так как раздражение — плохой советчик, то Евгений порою и сам запутывался в своих отве-

тах. Иногда Шаню даже обижало, что он не хочет понять ее сомнений.

Раза два Шаня пыталась поговорить с матерью о Жениных заветах. Но Марья Николаевна этих странностей не понимала и посмеивалась над дочкою. Шаня обиделась и уже перестала говорить об этом с матерью. А с отцом заговаривать об этом Шаня и не пыталась.

Если нельзя говорить об этом, то лучше молчать и быть почаще наедине со своими думами и мечтами. И вот потому Шаня старалась пореже бывать дома. Притом же раздор между отцом и матерью больно мучил Шаньку; не хотелось на все это глядеть.

Мать говорила иногда:

— Уж очень ты непоседлива, Шанька. Только тебя и видишь, что за столом. Смотри, как бы отец тебе хвост не пришпилил.

А Шаня отвечала:

— Я же ведь, мамочка, все экзамены выдержала, как же мне теперь не погулять!

Уходила из дому, — вспоминать, мечтать. Думала о том, какая она была раньше, какая стала теперь. Дивилась той перемене, которую в себе замечала.

До Евгения содержанием Шаниной души были ее еще не приведенные к одному центру стремления, яркие, капризные, буйные, но случайные. Шаня смутно вспоминала об этом доисторическом времени. А вот теперь прихотливая власть случая заменилась суровою властью рока. Теперь Шаня казалась себе совсем-совсем иною. Ей трудно было осмыслить это впечатление отчужденности от того раннего времени и все-таки настойчиво хотелось понять эту перемену. Она думала: «Я была тогда совсем глупая. Может быть, я и теперь глупая, но по-иному. А тогда, до Жени, как же я жила? Теперь мне все ясно, — я вся в нем, вся для него, — а тогда я была здесь и там, везде и нигде, как рассыпанные бусы».

Мечта об Евгении спаяла Шанину душу, огненным обручем связала ее, и такая теперь была в ее душе цельность, какой не было никогда раньше.

Казалось Шане, что ее прежняя душа ушла из нее и живет отдельно. И старалась Шаня представить себе, какая же была эта прежняя Шанька. Вспоминала, сравнивала. Образ прежней Шаньки дробился, разбивался, как течение медленной речки дробится на многие протоки. Шаня олицетворяла себя прежнюю в милых нежитях.

На речку ли она пойдет, — кажется ей, что где-то за кустами, разметав черные волосы по плечам, по спине, плещется в прохладной, прозрачной водице речица-Шанька, прежняя, глупая, веселая. Вода для речицы-Шаньки — просто вода, в которой весело, и песок — только песок, по которому забавно побегать. Ей, речице-Шаньке, не томно, не жутко, не стыдно. Пучина ее не манит, лебедь не пугает, золотой змей не обнимет. А и обнимет, ничего не поймет речица-Шанька, только засмеется, играя.

В баньку ли пойдет Шанька, — не спряталась ли под полок прежняя она, банница-Шанька? Моется усердно банница-Шанька в теплой и в холодной водице, трет себя губкою и мягкою мочалкою, ничего не знает о том, сколько жуткого и сладкого в этом обычном обряде; смотрит на свою детскую грудь, и щеки ее не вспыхнут, и глаза ее не зажгутся.

В лес ли пойдет, — вон за деревьями она прежняя идет, лесовица-Шанька; только то и знает, что по грибы нельзя босиком ходить, ничего не найдешь, а по ягоды можно; а не знает, как отрадны и жутки лесные тени, как сладки лесные поцелуи.

По полям ли идет Шаня, — прежняя она, полевица-Шанька, поодаль бежит, васильки да кашки рвет, сама того не знает, что каждый цветок вырос для милого; венки сплетает, сама того не знает, что венок на голове, чтобы милый целовал слаще.

По дороге ли столбовой идет Шаня, — а прежняя она, дорожница-Шанька колокольчику тройки рада, не знает призывной тоски дорожной, не знает, как хочется в далекий-далекий путь.

Что забавило прежнюю Шаньку, — прежних Шанек, — домовицу, садовицу, качельницу, уличницу, школьницу? Игры, забавы, буйное молодечество, быстрый бег санок, скрип весел, визг по льду коньков, холод вод и зной полдневный летом. Все это мило и теперь,

потому что во все это вплелась мечта об Евгении, нежная жизнь любви.

В жизни других людей привлекает Шаню теперь только то, что так или иначе сплетается с любовью. В книгах интересны ей только страницы любви. Мечтает она только о любви. И к родителям стала присматриваться Шаня внимательнее, потому что их сладко и больно жалила любовь.

Присматривалась к ним внимательно, а все-таки бегло. Торопилась уйти. Пойдет будто бы к какой-нибудь подруге в город, а сама пробежит окольными улицами, на шоссе, идет за город, к Четверговому полю, на тот пустынный перекресток двух дорог, до которого доходили с Женею, гуляя за городом.

Небо над нею туманится. День тускнеет, догорая. Дорога широкою лентою вьется вдаль. Носятся высоко стаи птиц. Город только что кончился. Плетень, полуразвалившийся, ограждает унылую избу. Березы вдоль дороги длинным рядом говорят о чем-то унылом и безнадежном. И верстовой столб торчит некстати, ни к чему, уныло и нелепо.

Печально Шане. Хочется идти далеко, далеко, по трудной, жесткой дороге, как ходят богомолки, чтобы заслужить у кого-то милость. Снимет Шаня ботинки. Вот и жестка дорога под ее ногами, и камешки остры. Но Шаня идет упрямо, помахивая снятыми ботинками.

«Пусть, пусть», — думает она, околачивая ноги о щебень.

Или идет Шаня одна на берег, — сад подходил прямо к реке. Река летом сильно обмелела, и Шаня переходит ее вброд, к лесу. Знойный день ярок и злобно-тих. Жарко и светло. Далеко вокруг никого не видно. Шаня одна садится в лодку. На Шане только легкое платье, на голове соломенная шляпа. Ноги ее уже успели загореть.

Легко двигая весла, Шаня плывет по реке и вспоминает, как она с Женею каталась в лодке прошлым летом, в такой же знойный, тихий день. Евгений изнемогал от зноя, а Шане в ее легком платьице, под ее широкополою легкою шляпкою ничего, ей весело и легко. Она опускает то одну, то другую руку в воду и потом принимается шалить, — качает лодку, брызгает водою на Евгения. Евгений боится и злится. Он кричит:

— Шаня, не шали, лодку опрокинешь!

— Что за беда! — с обычною беспечностью отвечает Шаня.

— Но мы упадем в воду! — кричит Евгений, неловко махая веслами.

— Ну что ж такое! Здесь мелко.

— Утонуть и в луже можно.

— Ничего, здесь нельзя утонуть.

— Но мы совсем перемочимся!

— Ничего, речка вымочит, солнце высушит.

Евгений злится и гребет к берегу.

Вспоминала Шаня и думала: «И чего это он сердился на всякий пустяк! Ну да он — еще мальчик. Вырастет, будет веселый и всегда любезный».

До берега добрались, у Шани новая затея.

— Женечка, наловим раков.

— Чем ловить? — спрашивает Евгений.

— Чем? Да просто руками. Вон под этими камешками уж наверное раки водятся.

Шаня входит в воду, шарит под камнями, вытаскивает рака и бросает на берег. Зовет Евгения:

— Женечка, иди сюда, мне одной скучно.

— Глупости, — ворчит Евгений.

Но не может отказать Шанечке, — и через минуту влезает в воду.

Залезли оба в воду. Толкаются, возятся, смеются. Вода им выше колен. Шаня любуется Жениными ногами, белыми и стройными. В воде они кажутся тогда очень красивыми, когда порозовеют от холода. Курточку Женя снял, рукава засучил, — до плеч открытые, стройные, розовеют его руки.

Рдели их щеки, и глаза блестели. И теперь, вспоминая, чувствует Шаня, как рдяны ее щеки, как алы ее губы, как блестят ее глаза. Легкий и сладостный стыд заставляет ее закрывать лицо руками и смеяться.

На берегу реки нынче Шаня нашла то место, где они с Женею в прошлом году ловили раков, и полюбила приходить сюда. Песок, мокрый при

реке и мелкий, тот самый песок, на который ступали Женины ноги, казалось ей, еще хранил в себе теплоту его тела.

Ляжет иногда Шаня на берег, прижмется щекою к песчинкам и вся замирает.

А вот теперь Шаня одна ловит раков руками. Празднует годовщину того дня, когда они здесь вместе с Женею возились у прибрежных камней, брызгая друг на друга водою.

Шаня купалась в речке, близ своего сада. Место было безлюдное, но очень открытое. Вода ласковая была и влюбленная в Шанино тело. Она влекла, и выбрасывала, играя, и обнимала прохладно и звучно. И влажные поцелуи звучали на Шанином теле.

Шане казалось, что ее кто-то обнимает. Жгучее летнее томление охватывало ее. Первое девичье сладострастие пылало в ее теле.

Стало вдруг стыдно, — воздуха и неба. Шаня боязливо подумала: «А что если сойдет ко мне демон полуденный, — золотой змей или лебедь? И обнимет? Так всю голую и возьмет. Ай, страшно!»

Шаня взвизгнула тихонько, бросилась одеваться. Кое-как надела рубашку, юбку и побежала домой.

Банька в саду — один из Шаниных памятников. Здесь не раз встречалась она с Женею. Сидели здесь на скамеечке. Тихонько говорили.

Вспоминает Шаня разговор, тихий, полушепотом, когда прошлым летом, в знойный день, перед грозою, она привела Евгения в баньку, где было прохладно и тихо. Он говорил о красоте, любовался ее ножками и ласкал ее так нежно и ласково.

Прикосновение Жениных рук, его нежные поцелуи словно еще горели на Шаниных щеках, на ее плечах и руках. А в ушах еще звучали его загадочные слова о запечатанных вратах, — странные намеки, возбуждающие жгучее любопытство.

Нынче летом часто Шаня придет в баньку, вспоминает. То ляжет на скамейку, то опять встанет, тяжко и томно взволнованная.

В знойный день одна туда заберется. Скинет платье. В одной сорочке станет на колени перед окном. Небо голубеет. Шанька молит-

ся. Тайна, светлая, светлее, чем всякая на земле явь, обнимает ее. Страстная молитва радостна. Тайна таится в углах. Вся горит Шаня страстью. Тяжко бьется сердце, и кровь пламенно стремится в жилах...

Вечерело. Мать собралась в баню. Зовет:

— В баньку, Шанька!

Шанино сердце замерло и забилось. Шаня нарочно долго медлит, чтобы потом остаться в баньке одной. И няня ушла, и мать, а Шанька все дома. Уже мать и няня собрались уходить из баньки, когда Шаня туда пошла, тихая, в благоговейном настроении. И в руках у нее роза.

— Шевелись, Шанька! — кричит мать.

Бранится мать, ворчит няня. Шаня скромно и молча входит в сумрак баньки, и радостно ей, что в вечереющих лучах солнечных румяно светятся маленькие окна и наклонные лучи пронизывают оба тесные покойчика, — первый, где раздеться, и второй, где мыться.

— Ждать, что ли, тебя! — сердито говорит мать. — Мойся одна, коли не страшно.

— Чего ж мне бояться, мамушка? — тихо отвечает Шаня.

— Зачем цветок принесла? — спрашивает мать.

— Для запаха, — говорит Шаня и краснеет.

Мать смеется.

— Баловница!

— Коли чего испугаешься, скричи, — говорит нянька, — я тут в огороде посижу недалеко.

Вот Шаня одна. Раздевается медленно и строго, — и чудится ей, что она облачается в ризы белой красоты. В окна свет вечерний падает, и тишина, и ясность закатная. Вошла Шаня обнаженная в теплый покойчик, где печь натоплена жарко, где в двух чанах еще много воды холодной и горячей, где влажен полок и пахнет распаренным веником так мило и весело.

Распустила косы. На скамью положила розу, — это знак памяти о Жене, символ его благоуханной души. Наливает воду. Вода шумит, колышется. И Шане вдруг становится страшно. Но она вспоминает Женю, и исчезает страх. И чудится ей, что шепчет ей Женя:

— Что же ты боишься? Разве ты не знаешь, что красота побеждает страх и стыд?

И думает Шаня, что она прекрасна. Любуется собою. Шепчет:

— Я прекрасна, прекрасна! И надо быть мне такою для милого моего.

Оставила воду. Стала опять на колени перед окном, лицом к заходящему солнцу. Видит, — вдали, за яблонями, мелькает темное нянькино платье. Но не хочет думать о старой. Прижимает руки к груди и молится:

— Алым цветом дай мне радостно расцвести, Господи, для возлюбленного моего, для утехи и радости его.

— Как наливное яблоко, налей мое тело, силою, светом и радостью налей его, Господи!

— Очи мои зажги огнем зовущим и радостным, огнем любви Твоей, Господи!

— Рабою смиренною, утехою тайного часа поставь меня, Господи, в чертог господина и возлюбленного моего!

— Чарами обаяния неотразимого обвей меня, Господи. Невестою радостною и радующею возведи меня к господину моему Евгению.

— Пламенем, пламенем разумения Твоего, Господи, озари смиренную душу мою, да войду я к господину моему рабою утешною в минуты раздумий его.

— Тело мое повергни к стопам господина моего, а душу мою зажги пламенем, восходящим даже до неба.

Отошла от окна, идет к скамье, где вода приготовленная оставлена и роза. На коленях стоя, целует розу и говорит:

— Женя, я — твоя рабыня, я тебе в жертву пришла себя принести.

— Именем Евгения, возлюбленного моего, заклинаю тебя, вода, будь водою живою.

Потом медленно стала лить на себя воду, — и живая вода бежала по живому телу.

А где-то в углу зыбко смеется над Шанею банник, — серая, паутинная нежить, что любит плеск воды на голых телах и соблазн наготы.

Шаня в страхе заклинает банника. А он льнет к ее нагим ногам и зыбко смеется.

Заклинает всеми силами земли и неба. Не боится серый, смеется.

Заклинает именем Евгения. Смеется серый пуще.

Заклинает собою. И тогда серый исчез.

И опять молится Шаня:

— Господи, Господи, счастия, мира, радости, утешений излей полную чашу на господина моего, совершеннейшего из рабов Твоих Евгения, — и мои радости все возьми, все отдай ему, Боже мой, Боже мой.

— И страдания мои умножь, и из мук моих создай, Господи, утеху и веселие господина моего.

— Господи, рабою пляшущею и поющею перед господином моим поставь меня, — и смех мой, и воздыхания мои, и слезы мои да будут утехами господина моего.

Глава восемнадцатая

Самсонову иногда надоедала его любовница, Аннушка Липина, тупое создание с голубыми неподвижными глазами, жирная молодая женщина, добродушная, однако себе на уме. Тогда он возвращался к своей жене.

Привычная красота еще молодой женщины опять сладким чадом дурманила его голову. Вспоминались и оживали в сердце тысячи милых мелочей, связывающих людей, проживших долго вместе. Тогда он вдруг становился нежен и ласков с женою. Как-то неумело заискивал. Даже подарки приносил иногда. Порою даже у дочери спрашивал:

— Шанька, что бы мне твоей матери подарить?

И Шанька советовала, гордясь и краснея. Марья Николаевна отталкивала его; подарок сначала откажется взять, потом соблазнится, засмеется, возьмет.

Изливалась в упреках. Вспоминала все его обиды. Плакала. А как только заплачет, — так и конец настанет ее ожесточению.

Чем она дольше сопротивлялась ласкам своего мужа, тем более Самсонов разжигался. Слезы особенно распаляли его и разнеживали, и он умножал свои ласки и настояния. И наконец Марья Николаевна отдавалась ему с прежнею молодою страстностью.

А случалось и так, что не заплачет Марья Николаевна, долго мужа от себя гонит, от ласк его отбивается. Злыми укорами сама сердце свое ожесточает. Тогда вдруг обозлится Самсонов, накричит яростно, надает жене пощечин и гневно уходит. Но Марья Николаевна, обливаясь слезами, бежит за ним, обнимает его, целует. Гнев мужа вдруг выбивает из ее души всю злость, и ей кажется, что он опять, как в первые дни, любит ее, — потому так и злится на ее упрямство. Самсонов опять идет к жене; она целует его руки, в очи его ясные не наглядится, суровым лицом его не налюбуется, смеется и радуется.

Но на другой день оба они возвращались к своим привязанностям.

Один раз вечером в садовой беседке над рекою Марья Николаевна сидела, разнеженная какою-то далекою мечтою. Шаня долго смотрела на нее издали, потом тихо вошла, села на скамеечку рядом с матерью и заговорила. Сначала о чем-то случайном, потом осторожными подходами завела разговор о любовнице отца. Выведала, выспросила все, что мать знала.

Мать сначала побранила ее. Можно было подумать, что сердится. Но Шаня видела, что можно продолжать, — и мало-помалу Марья Николаевна втянулась-таки в разговор.

Поговорили мать с дочкою, обнялись, поплакали. Вздохнула мать, сказала:

— Своевольница ты, Шанька! Избаловала я тебя. Поди-ка, о чем с девчонкою говорю!

— Ничего, мамунечка, — шептала Шаня, — я сама скоро совсем большая буду.

В тот же вечер, поздно, Шаня тихохонько, чтобы мать не услышала, босая прошла в кабинет к отцу.

Сердце ее билось от страха. Но она храбро заговорила, смуглыми пальчиками теребя обшивку отцова халата:

— Папочка, что я у тебя спрошу?

— Ну, спрашивай, — сумрачно сказал отец.

Думал, что Шанька подарка или денег будет выпрашивать. Думал: «На всех не напасешься. Им дай волю, — разорят».

— Только ты меня не побей, — робко сказала Шаня.

— Говори, не бойся. Без дела бить не стану,— не зверь, отец тебе родной.

Шаня собралась с духом и храбро заговорила:

— За что, папочка, ты эту Липину полюбил? Аль уж так она очень бела? Аль уж очень она мила, что тебе так люба? Мамочке ведь обидно, — мамочка еще не старуха. Почто мамочку обижаешь?

Понурилась Шанечка, зарделась, заплакала беззвучно, но горько, — слезы в три ручья.

Отец свирепо закричал:

— Ах ты, дрянь ты этакая! Да как ты смеешь! Забыла ты, с кем говоришь? Отцу такие слова произносишь?

Он был очень удивлен Шанькиною дерзостью. Хотел исколотить ее, за косу было схватил, да почему-то удержался. Даже кричать вдруг перестал, — почему-то не хотел, чтобы Марья Николаевна слышала.

— Ну и девка дерзкая! — говорил он с изумлением. — И набаловали мы тебя! И в кого ты дерзкая такая уродилася? И в роду у нас того не было, и слыхом не слыхано, чтобы отцу такие слова смела девчонка говорить!

Однако Шанька не пугалась, — к отцу ласкалась, руки его целовала, тихими словами уговаривала. Видела, что отец смущен и бить не станет. А и поколотит, — ну что ж, потерпит Шанька, не впервой! На то и шла! На колени перед отцом стала, снизу в его глаза глядела, с вкрадчивою ласкою говорила:

— Ведь я, папочка, не за тем, чтобы упрекать. Сама эти дела понимаю, сама втюрилась. Знаю, — сердцу не прикажешь, уж кого раз полюбишь, из сердца не вынешь, а разлюбишь, обратно в сердце

не вставишь. Ну, миленький, родненький, поговори ты со мною о своей любушке, — я мамушке ничего не скажу.

Разнежилось, тая, суровое сердце, — железо воском стало, — чародейка Шанька! — и, сам не зная как, заговорил с нею отец о Липиной.

— Она, Шанька, не злая. От нее твоей матери худа не будет. У меня на обеих хватит, а ей много и не надо, — она простая. Аннушка мне песни поет, весело передо мною ходит, пляшет, да еще как! Ты бы ее увидела, сама бы ее похвалила.

— А где увидеть ее, папочка? — спросила Шаня. — Аль к ней сходить, поглядеть, поспросить?

Эти Шанины слова испугали Самсонова. Он подумал: «Пожалуй, с глупа ума и впрямь пойдет своевольная девчонка к моей Аннушке. Хорошего ничего не выйдет, скорее худое. Да и люди что скажут? Свел дочь с полюбовницей!»

Он прикрикнул на дочь:

— Нечего тебе там делать! И думать не смей туда ходить, — беда тебе будет. Да и что я тут с тобою болтаю! Пошла вон, бесстыдница!

Шанька проворно вскочила, наскоро поцеловала его жесткую, давно не бритую щеку и поспешно выбежала. Самсонов сам на себя досадовал. Ворчал: «Грех какой! С девчонкою разболтался. Вот уж не мимо-то говорится: захочет Бог наказать, разум отнимет».

«Какая же она? — думала Шаня про отцову любовницу. — Не сходить ли к ней, не посмотреть ли?»

Не долго думала Шанька, решилась идти. Дождалась, когда мать была в духе, выпросилась в город сходить к подругам и отправилась, принарядившись, — чтоб не сказала злая разлучница, что мать за дочкою не смотрит, об ее одежде не заботится. Где живет Аннушка Липина, Шаня еще раньше вызнала, — Дунечка Таурова и в этом помогла через своего Алешу.

Предстоящее свидание волновало Шаню. Было страшно, жутко — и тянуло, как тянет броситься под поезд, когда он проходит очень близко мимо. От этого тревожного смешения чувств злость

в душе поднялась. Думала Шаня, что это — злость за мать. Быстро бежала Шаня по улицам, разжигая в себе злость, — за мать браниться.

Вот и дом, где живет Липина, — деревянный, маленький, три окна на улицу, крыльцо со двора, за домом сад. На окнах — кисейные занавесочки, горшки герани, бальзамина и фуксий, клетка с канарейкою.

Позвонила Шанечка. Открыла ей дверь молодая румяная баба с лукавыми глазами. Сразу догадалась Шаня, что это — сама Аннушка Липина. На всякий случай спросила:

— Здесь живет Анна Григорьевна Липина?

— Я сама она и есть, — ответила румяная.

Покраснела, застыдилась, слегка испугалась, — тоже догадалась, что ее гостья — дочь ее дружка: так же гневные брови хмурит, глазами сверкает, сердитые губы кривит; да и на мать уж очень похожа, а Марью Николаевну Липина встречала. Чтобы скрыть стыд и страх, Аннушка захихикала и сказала развязно:

— Ай по какому делу пришли, потрудились, барышня? Чтой-то я как будто вас не признаю.

— По делу, поговорить, — волнуясь, отрывисто сказала Шаня.

— Пожалуйте в горенку, — сказала Аннушка, вспыхнула и поправилась с гордостью, — в гостиную. Пожалуйте, сядьте.

Шаня вошла в гостиную, как в тумане. Ничего не видела отчетливо, только с досадливым чувством смутно заметила, что все в комнате аляповато, бело и розово, очень опрятно, но зато и очень безвкусно. Заливалась канарейка. Шаня сердито заговорила, — прямо к делу:

— Вы зачем обижаете мою маму? Что она вам сделала?

Липина притворилась, что не знает Шаньку. Спросила, посмеиваясь лукаво:

— А кто вы такая будете, бойкая барышня? И кого же это я обидела? Я — человек маленький, меня самое всяк обидеть может.

— Пожалуйста, не притворяйтесь, — запальчиво сказала Шаня, — я — Шаня Самсонова, а вам очень стыдно от живой жены мужа отбивать.

Много наговорила Шаня резких слов. Среди опрятной горенки на гладком, чисто вымытом полу стояла в своем коротком белом

платьице девочки-подростка, в белых туфельках с черными бантами и в черных, гладко натянутых на стройные ноги чулках, помахивала белым зонтиком, постукивала каблучками, говорила дерзкие слова и ждала, когда же рассердится Аннушка. А лукавая баба посмеивалась. Спрашивала с видом невинной:

— Да чтой-то вы, барышня милая, на меня взъелись так неласково? Еще очень вы молоды, чтобы такие строгие слова говорить.

Потом вдруг Аннушка притворилась растроганною, стала сыпать ласковые слова:

— Ах ты, голубушка моя! Ягодка моя душистая! Как за мать-то заступаешься, Шанечка милая!

Заплакала, на судьбу свою стала жаловаться.

— Сирота я горемычная. Родня бедная, — чем бы мне помочь, с меня тянут. Он-то, мой соколик, щедрый да ласковый, а только уж очень нравен. Так иной раз напылит, что не знай, куда деваться. Чуть что не по нем, — жди беды.

Разжалобила Шаню. Примолкла Шаня, заслушалась:

— В глаза-то все ласковы, за глаза смеются да бранят. Содержанка, говорят, — грош ей цена. И соколик-то мой меня много ниже твоей маменьки ставит. Рассердится иной раз, — ты, говорит, недостойна того, чтобы ей башмаки надевать.

— И верно, — сердито сказала Шаня, — конечно, недостойна.

Аннушка засмеялась сквозь слезы.

— Сама знаю, Шанечка, что не стою. Да ведь я и не набиваюсь башмаки-то вашей маменьке надевать.

И опять заплакала пуще.

— Что же делать-то мне, Шанечка, голубушка, коли полюбила я его, моего ненаглядного? И не хочу, да люблю, — такое уж наше дело бабье.

— Как же вы познакомились с моим папочкой? — спросила Шаня. — Зачем стали его приманивать?

Улыбаясь лукаво и ласково, говорила Аннушка:

— Да вы сядьте, Шанечка, не погнушайтесь, моя голубушка, уж я вам все расскажу, ясочка моя. Да кофейку не прикажете ли?

От угощения Шаня отказалась, а рассказ выслушала. Потом, слово за слово, разговорились мирно. Шаня с любопытством разглядывала и выспрашивала Аннушку.

Потом Шаня повадилась ходить к Липиной. По времени они даже подружились. Сладко было Шане поговорить с Липиною о любви. И жутко ей было дружить с врагом ее матери. Приходила Шаня к Липиной не прямою дорогою, как первый раз, а закоулками да задворками, чтобы не увидели, не сказали родителям. Один раз Шаня чуть не попалась отцу.

Она сидела у Липиной, — чай с вишневым вареньем пили, разговаривали. Вдруг Аннушка прислушалась. Пугливо глянула в окно. Испуганно зашептала:

— Шанька, прячься скорей. Беда! отец идет. Другого-то у нас нет хода, — выйти некуда.

— Я из окна выпрыгну, когда отец во двор войдет, — шептала Шаня.

— Нельзя, — отвечала Аннушка, — люди увидят, невесть что скажут. Да и до него дойдет. А во двор спрыгнешь, сам увидеть может. Уж иди в чулан, посиди пока.

А в передней уже заливался резкий звонок, — Самсонов ждать не любил. Липина поспешно толкнула Шаню в чулан, дверь Самсонову открыла.

— Ну что, Аннушка, не ждала гостя? — послышался его голос.

Слушала Шанька, чего и не надобно было ей слушать: чулан был рядом с горенкою, и все было слышно. Самсонов приставал к Аннушке с любезностями. Но Аннушка помнила, что в чулане девчонка сидит и все слышит, и выпроводила своего дружка вскоре ни с чем, — притворилась, хитрая, что уж очень ей недужится.

Глава девятнадцатая

Спросит отец:

— Где Шанька?

— В гостях у подруги, — говорит мать или няня.

И другой раз то же, и третий. Хмурится отец, говорит вечером Шаньке:

— Что за подруги такие? Ты что за проживалка по чужим домам хвосты трепать! Чай, родители у тебя не хуже других. В гости ходишь, так и к себе зови, а мы посмотрим, что за подруги такие. Коли озорницы, — запрещу с ними водиться.

Дивится Шаня. Что-то раньше не любил отец ее гостей; только и звала, когда он из города уедет, — мать и прежде позволяла. Спешила Шаня воспользоваться отцовыми словами, да и подвела себя невзначай, сгоряча, под неприятность.

Один раз под вечер у Шани в гостях были подруги. Она угощала их в своей горнице наверху. Хоть Самсонов был скуп, но ему льстило, чтобы Шанька принимала подруг богато.

Девочки выпили немного мадеры и расшалились, возню подняли, шум на весь дом. Благоразумная Дунечка унимала:

— Достанется из-за нас Шанечке.

Шаня бойко говорила:

— Ну, я не очень-то даю моим старикам куражиться над собою. Я с ними зуб за зуб.

Отец, привлеченный шумом, как раз в это время поднимался по лестнице к дверям Шаниной комнаты. Он услышал ее слова и побагровел от злости. Распахнул дверь, вошел в комнату, крикнул:

— Ай да дочка! Хорошо родителей честит!

Шаня помертвела от страха и от стыда. Ей представилось, что отец тут же на месте изобьет ее. Девочки притихли, испуганные внезапным окриком. С жутким любопытством смотрели на побледневшую Шаню и на раскрасневшегося в гневе Самсонова.

Он оглядел девичьи лица. Подумал: «Ишь, беленькие какие! Столпились, как овечки испуганные, одна за другую хоронятся, точно волка почуяли».

Любопытные, взволнованные, испуганные детские глаза, разрумянившиеся детские щеки, улыбающиеся детские губы и все это собрание многих чужих, бойких, но невинных, расшалившихся, но все-таки скромных девочек и девушек, — все это усмиряло злость

Самсонова. Он поглядел на Шаню, усмехнулся, погрозил ей пальцем. Сказал:

— Здравствуйте, милые барышни. Что вы так вдруг притихли? Меня не бойтесь, я не кусаюсь.

Девочки засмеялись, задвигались, подходили одна за другою к Самсонову сделать реверанс, как их учили в гимназии. Потом Самсонов сказал:

— А моей Шаньке, что она тут наболтала, вы ей, девочки, не верьте, — со мною не больно-то заспоришь, я крутенек. Ну, веселитесь, я вам не мешаю. Только пола каблучками не пробейте, а то падать невесело будет.

Ушел. Смеялись подружки над побледневшею Шанькою. Спрашивали:

— Ну что, достанется? Поплачешь, Шанечка? Боишься?

Шаня храбрилась.

— Авось не шибко влетит. И ничего я не боюсь.

Когда гостьи ушли, Шаня ждала жестокой расправы. Ее позвали к отцу в кабинет. Отец и мать ее сильно разбранили.

День длится за днем, быстро бегут над Шанею недели, месяцы. Прошла скучная дождливая осень, — и вот опять бодрая, веселая зима. Опять Шаня радуется морозу, покрасневшим на морозе щекам, морозному воздуху, которым так бодро дышится, белому снегу, у которого ясно-синие тени, и светло-синему льду.

Иногда, если Марья Николаевна весела и хочет побаловать Шаню, велит она запрячь лошадок в санки, и Шаня с матерью ясным вечером при луне едут по снежным дорогам за город. Санки ныряют в снежные сугробы, — весело! Звезды крупны и ярки, морозный ветер в лицо, колокольчики звенят, — хорошо!

Весело кататься по морозу на коньках у себя в саду на пруде или на городском катке на речке. Часто этою зимою собирались у Шани в саду Дунечка, Томицкий, еще кое-кто из подростков, — кататься на коньках, на салазках. Пруд был расчищен, а в саду устроили ледяную горку. Шаня с кем-нибудь из мальчиков катится с горки на салазках и

смеется. Смотрит на Дунечку, на Томицкого, видит забавно-милые проявления их простодушной любви, такой целомудренной, чистой и робкой. Сравнивает Шаня, — и в сердце словно уколы кинжала.

Пойдет вечером Шаня с матерью в жаркую баньку. Потом, вся горячая, нагая, из бани выбежит, в снегу поваляется, — хорошо! И ничего, не простудится Шаня, — здоровая, крепкая. Цветет на морозе, как роза. Мать не запрещает, — и сама станет на порог бани, охваченная радостным после жаркой влаги морозом, окутанная облаком пара, смотрит на Шаню и смеется.

Настали Святки. Шанька на Святках усердно гадала. У матери, у няни, у Дунечки спрашивала, как гадать. А какие гадания и сама знала.

Ночью пошла Шаня в баньку. Принесли ей туда столик, белой скатертью накрытый, и два стула. Поставила Шаня на столик зеркала и свечи. Сидит, дрожит, ждет. Тусклые видения плывут в зеркале. Шаня всматривается и видит, — два черные гроба.

Мгновенный ужас охватил Шаню, — и пронизала сердце острая боль, — и жестокая радость вдруг зажглась в душе. Плачет Шаня и думает: «Ну так что ж! Вместе умрем». И опять смотрит в зеркало, — и уже ничего нет в холодном стекле. Может быть, и не было?

Сидели вечером у Шани наверху Дунечка и няня. Гадали на тенях жженой бумаги. Все выходили Шане какие-то зловещие тени. Шаня хмурилась и говорила:

— Пусть, пусть! А все-таки он будет мой!

— Погадаем по-иному, Шанечка, — говорила Дунечка.

— Ничем кручиниться, гадай по-другому, — говорила и няня. — Много тебе есть всяких гадов и загадов.

Спрашивали девочки:

— Нянечка, скажи, ты какие еще гаданья знаешь?

Няня рассказывала:

— У нас вот как под Новый год гадают. Девушка, которая гадать хочет, печет накануне пирог.

— Зачем? — спрашивает Шаня.

Няня взглядывает на нее сердито и говорит строго:

— А ты слушай. Зачем да почему, — этого нам знать не дано, а ты примечай, что к чему. Вот, в самую тебе полночь выходит девушка на улицу, подойдет к чьему-нибудь дому и под окошком слушает, что ей там выпадет на долю. И какое она первое имя услышит, то ее суженый.

— Это у прохожего имя спрашивают, — говорит Шаня. — Как у Пушкина сказано:

Смотрит он
И отвечает: — Агафон

— Нет, — говорит Дунечка, — и под окошком можно.

— Ну а если не имя, а просто разговор какой-нибудь услышишь под окошком? — спрашивает Шаня.

Нянька говорит:

— Услышишь разговор, тут ты и примечай. Скажут — иди, — быть тебе замужем. Скажут — сиди, — в девках засидишься. А хуже всего, коли скажут — ляжь, — значит, смерть тебе предвещают.

— Нет, нянечка, — говорит Шаня, — это очень страшно. Подойдешь, а там ребят укладывают спать. Из-за того, что они расшалились, спать долго не ложатся, мне про смерть свою думать, — невесело!

— А то еще слушают, как собаки ночью лают, — говорит няня.

— Страшно, нянечка!

— Откуда собаки лают, оттуда жених приедет.

— Я это и сама знаю, — говорит Шаня.

— А то считают в плетне колья: три раза по девяти отсчитают и смотрят, какой последний кол. Такой тебе и жених будет.

— Как же, нянечка?

— А так, — сучковатый кол, — сердитый будет жених; без коры — бедный; в коре — богатый.

— Ну, это как-то невесело! — повторяет Шаня.

Дунечка говорила:

— Под подушку портрет кладут, чтобы во сне увидеть.

Няня поправила:

— Не портрет, кирпич из бани.

— Ну, кирпич! Портрет лучше, — сказала Шаня.

— Ну, там кирпич или портрет, — говорила равнодушно няня, — не в том главная причина: хоть прядочку его волос положь, а только перед сном не молись и крест с шеи сними.

«Да, конечно, — думала Шаня, — не хочет Бог, чтобы знали будущее люди. Гаданье — дело врага. Но что же делать, если хочется знать!»

Так Шаня и сделала. Положила под подушку Женечкин портрет. Всю ночь Женя снился, веселый и ласковый. А иногда вдруг он отходил и шептался с какою-то девушкою. Она стройная, а лица не видно.

«Кто же она, эта чужая? — утром боязливо думала Шаня. — Манька или барышня, в которую он влюбится?»

Не лучше ли и вправду положить банный кирпич? И вот на следующий вечер из бани Шаня кирпич принесла. Положила его под подушку. И опять те же сны!

Был морозный вечер. Полная луна ясно и любопытно смотрела на далекую, недоступную ей землю. Из ясных звезд складывался все тот же дивный и непонятный узор.

Началось опять гаданье, по старому обряду. Шаня платок накинула на голову, выбежала на улицу. Снег хрустел и блестел. Улица была пуста и холодна. Домишки, заборы, обледенелые деревья, — все было явственно-полуночным, таким, чего днем не увидишь. Седой Мороз в белой шубе сидел вдали на скамейке у чьего-то дома, спиною к Шане, и постукивал палочкою по мосткам, по стенам. Потом встал и завернул за угол. Где-то залаяла собака. На белом снегу стали страшны черные тени. И вдруг стало очень тихо. Шаня ждала и слушала.

Вот раздался скрип шагов по снегу. Шаня вздрогнула. По мосткам идет кто-то. Чужой.

Шане стало страшно. Сердце забилось. Все в ее глазах кружилось и прыгало. Едва различая тихо идущего человека, она подбежала к нему робко. Спросила:

— Как ваше имя?

Он покачнулся. Тут только Шаня увидела, что это — черный, мрачный, пьяный мужик. От него противно и слащаво пахло водкою. Он уставился на Шаню. Она повторила вопрос. Мужик зарычал:

— Черт с рогами.

Хрипло захохотал. Шанечке стало очень обидно.

— Дурак! — крикнула она.

Убежала. Мужик ворчал что-то сердитое. Шаня прибежала домой. Засмеялась, заплакала. Жалобно говорила:

— Вот судьба моя какая, — к черту на рога!

Дунечка утешала.

— Это гаданье не в счет, — уверяла Дунечка.— Гаданье в том, что тебе скажут имя, — а раз не сказали, надо опять идти.

— Опять идти? — послушно спросила Шаня.

— Иди, — говорит Дуня.

Шаня опять накинула платок и вышла снова. На этот раз Шаня была спокойнее. И уже все казалось ей обыкновенным и простым. Попался пьяненький писарек.

«Опять пьяный!» — с ужасом подумала Шаня.

И сейчас же утешила себя поговорочкою: «Пьян да умен, — два угодья в нем».

Подошла, спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, как ваше имя.

Писарек пошатывается, сладко улыбается и говорит:

— Коварный изменщик.

Делает Шане глазки и любезничает.

— Какой помпончик! Милашечка! Душечка, где вы живете? Позвольте вас проводить.

Шаня опять убежала. Дома рассказывала, смеясь, и сама себя бранила:

— Дура! Охота гадать! Ведь знаю имя, сама знаю, а спрашиваю. Вот за это меня и дразнят.

Глава двадцатая

День за днем, неделя за неделею.

Вот настал и печальный Шанин день, самый печальный, отмеченный черным, — годовщина разлуки. Шаня пост на себя наложила, ничего не ела, кроме хлеба и воды. Думала: «Не сама ли я виновата?»

Кается Шаня, плачет. Как на грех, погода хорошая, ясная, — последние морозные дни при ярком солнце. Днем развеселилась вдруг Шаня, — Дунечка уж очень забавна была с рассказами о своем Леше и так забавно серьезен был Володя. И вдруг вспомнила Шаня, что печальный нынче день. Заплакала, удивляя Дунечку.

— Что ты, Шанечка? — спрашивает Дуня.

— Ах, Дунечка, не знаешь, — годовщина разлуки.

Поняла Дунечка, утешала, сама плакала. Володины глаза с диким выражением устремились вдаль. И думал опять Володя: «Зачем, для чего жить?»

Володя решился умереть. Но так трудно! Преодолеть привычку жить, прервать недоспанный сон!

Весна прошла в сомнениях и колебаниях. Летом, как зреют ранние плоды, созрела решимость умереть. В сундуке, где хранились старые, оставшиеся от отца вещи, Володя нашел револьвер. Попробовал в лесу, — исправен. Достал патронов и пуль.

Прошло еще несколько дней в муках и в волнениях, в борьбе с животным страхом перед смертью.

Даже заметили дома. Спрашивали сестры:

— Что с тобою, Володя?

— Да так, ничего, — отвечал Володя. — Голова побаливает. Пройдет скоро. Пустяки.

Разговоры с товарищами не утешали. Все было страшно умирать. И вдруг настало холодное спокойствие.

В нежаркое, тихое утро Володя пришел к Шане. У Володи был растерянный и жалкий вид. Привычная, слабая жалость шевельнулась в Шанином сердце и затихла. Володя спросил:

— Все о Женьке думаешь?

— Думаю, — упрямо сказала Шаня.

Покраснела. Жалко Володю, да сердцу не прикажешь.

— Брось ты о нем думать, забудь его, — умолял Володя. — Я скоро умру, у меня предчувствие, но знай, что ничего хорошего не дождешься.

Шаня опустила палец в стакан.

— Смотри, — сказала она, показывая Володе дрожавшую на конце пальца каплю воды. Бросила ее на платье.

— Видишь, — сказала она с улыбкою странною и вдохновенною, — вобралась и не вернется в реку, пока не умрет паром. Так и я, — вся в нем, и только смерть оторвет меня от него. Без него — только в землю, на земле — всегда с ним.

Вот сидит Володя опять на могиле матери. Вся жизнь проходит в его памяти. Мать вспоминается и ее смерть. Так больно сердцу. Заплакать бы, — слез нет.

Ворона пролетела и закаркала. Володя посмотрел вслед за нею, улыбнулся и сказал громко и спокойно:

— Люблю безнадежно, потому и умираю.

Все окрест было спокойно, и ликовало ясное небо, и солнце смеялось, и травы и деревья радовались. Весь мир замкнулся от Володи в один сияющий и недоступный круг, — и Володя был среди этого ясного мира один, как в могиле.

Уходящему от жизни уже никто не поможет!

Подумал Володя: «Написать записку? Но о чем? И кому какое дело? Не надо открывать людям тайну любви, влекущей к могиле».

А что подумает Шаня?

Пусть думает, что хочет. Если она будет счастлива, она о нем забудет. А пока...

Володя усмехнулся и тихо проговорил слова из лермонтовского стихотворения:

Пускай она поплачет, —
Ей ничего не значит.

Вот последняя минута слабости. Володя один в лесу над рекою, на полянке. Лежит в траве. Плачет.

Володя пошел было один в лес, но уже за городом догнал его и увязался идти с ним двоюродный брат, — веселый босоногий мальчишка. Когда пришли в лес и добрались до берега реки, Володя отправил мальчика домой, за удочками. Хотел подождать, пока мальчик убежит подальше. Лег в траву. Полились слезы, — и потянуло к смерти. Торопливо вытащил Володя из кармана револьвер. Выстрелил себе в рот. Звук выстрела гулко прокатился под деревьями.

Мальчик услышал, испугался, вернулся. Увидел Володин труп и быстро побежал домой. Бежит и воет, никого не видит мальчишка. Наталкивается на встречных...

Пришли родные, растерянные, жалкие. Взяли труп, домой свезли, обмыли, уложили.

Мечтала Шаня о Жене. Сидела в саду в беседке, вся мечтою разнеженная. Вот птица пронеслась мимо, и Шанино сердце забилось.

То не простая птица, — то Финист — Ясен Сокол, цветные перышки. О землю ударился, обернулся Женею. Сидит с нею рядом, шепчет веселые слова. Сладко, сладко ноет Шанино сердце.

Дунечка прибежала к Шанечке. Светлые волосики растрепаны. Сама испуганная. Кричит:

— Володя застрелился!

Шаня, в страхе и в смятении, бледная, плохо понимая, что делает, надела шляпу и пошла из дому. Что-то ей говорят. Хотят остановить, — мать, няня. Убежала Шаня.

А Володя уже на столе. Шаня спрашивает, допытывается, — как это случилось. Гарволины смотрят на нее с тихим ужасом. И догады-

вается Шаня, что Володя застрелился из любви к ней. Это больно мучит ее совесть и радует ее самолюбие. И от этой гадкой радости ей еще больнее.

Володю хоронили, как следует. Хоть старый протоиерей законоучитель и говорил, что надо зарыть за оградою кладбища, да директор гимназии сумел добиться разрешения похоронить по-христиански.

Гимназисты пели стройно и красиво. Поп пришел чужой, молодой, — свой не захотел, отговорился нездоровьем.

Было много цветов. Много молодежи, учащейся, рабочей.

Шаня всем казалась интересною. Догадывались, что из-за нее застрелился Володя. На нее смотрели, шептались. Она плакала.

Дни идут за днями. Зарастает травою Володина могила.

Пришла Шаня на Володину могилу, молится, плачет. На колени стала, просила прощения с плачем, настойчиво:

— Прости, прости, Володя.

Почти увидела его голубое тело. Как бы осенение тени над ее склоненною головою. И почти успокоилась Шаня, — Володя простил. Он — добрый, он не может не простить.

Просит Шаня, чтобы он помог ее любви.

— Ты сам любил, сам знаешь, Володя. Прости меня: одно у меня сердце, одна любовь.

Шепчет, уткнувшись губами в свежий дерн могилы, стоя на коленях:

— Если правда, что вы ходите по земле, голубые, — Володя, помоги мне. Не отходи от него, напоминай ему обо мне, покажи ему меня во сне, такую же чистую и голубую, как ты.

Полюбила Шаня ходить на Володину тихую могилу. Носила Володе цветы. Мечтала Шанечка на Володиной могиле.

Дома, одна, достала Шаня Женин портрет, на колени перед ним стала. Горько плакала. Шептала:

— Володенька умер.

Ей казалось, что у Жени лицо — жестокое. Что он повелительно требует жертв.

Шане вдруг стало страшно перед этим портретом, как перед ликом беспощадного. Упала ничком. Шепчет отчаянные слова.

Великая жертва человеческой жизни принесена ее любви, — и уже теперь навеки крепка ее верность. Таинственный ужас смерти приковал Шанину душу к светлому, торжествующему образу Евгения, — и отныне союз их нерасторжим.

Глава двадцать первая

Однажды осенью Шаня у Липиной познакомилась с Марьею Осиповною Грушиною, молодою вдовою чиновника, которая жила не столько на пенсию после мужа, сколько на доходы от комиссионерства, гаданья, сводничества и других услуг; она ничем не брезгала, давали бы деньги.

Грушина хвасталась искусством гадать. Шаня просила погадать ей.

— А вы не испугаетесь? — хитро подмигивая, спросила Грушина.

— Я — смелая, — бойко сказала Шаня.

Грушина поломалась еще немного и согласилась. Назначила час и день, — завтра вечером в восемь часов. Шаня была в восторге.

— Только я с подругою приду, — сказала она, думая о Дунечке.

Нельзя же было не взять Дунечку, если идти к гадалке. Грушина притворилась испуганною, замахала руками:

— Ой, душенька, Шанечка, лучше вы одна. Вдвоем нельзя, ничего не выйдет, такое уж у меня гаданье.

— Нет, одной мне страшно, — настаивала Шаня. — Ни за что не пойду одна.

Грушина поохала, повздыхала и наконец согласилась:

— Ну уж так и быть. Только одну подругу приведите, не больше.

Сговорились и о плате, — Шаня принесет три рубля.

Был темный и пасмурный осенний вечер. Шаня с нетерпением ждала назначенного времени. Пришла Дунечка. Девочки отправились вместе к Марье Николаевне проситься. Дунечка говорила:

— Отпустите Шанечку к нам вечерок посидеть. Урок трудный, — вместе учить будем, Леша Томицкий помочь обещал.

Мать поворчала:

— Не можете без мальчишек. Пришла к нам, так и сидела бы, учила бы уроки с Шанькой. А ты, Шанька, так и норовишь улизнуть из дому.

Но отпустила.

Сеялся мелкий, холодный дождик. Шаня и Дунечка пробирались по темным, грязным улицам. Шаня прыгала по мокрым мосткам и напевала:

— Гадать, гадать!

Дунечка унимала ее:

— Молчи ты, оглашенная! Еще услышат.

— Слышать-то некому, — говорила Шаня беспечно.

Идут девочки все дальше. Ветер воет заунывно; дует в лицо девочкам. Вот и мостков нет. Слякоть. Ноги вязнут. Башмаки в грязи, и ногам неприятно от сырости.

— Дунечка, — говорит Шаня, — я скину башмаки, а то очень неприятно в сырой обуви.

— Будет холодно, — нерешительно говорит Дунечка.

Шаня останавливается у фонарного столба и, прислонясь к нему спиною, стаскивает башмаки и чулки. Дунечка за нею делает то же.

Идут дальше, шлепая голыми ногами по мокрой глиняной дорожке и по лужам, где вода приятно холодная. Вокруг уныло и темно. Ставни стучат. Редко когда в окне виден огонь. Да и домов немного, — больше заборы. Девочки подбадривали одна другую. Шаня была похрабрее. Хотя на душе ее было жутко, но она притворялась, что ей ни чуточки не страшно, и посмеивалась над Дунечкою. А сама нет-нет да и вздрогнет. Тогда Дунечка принималась дразнить ее:

— Ну что, пересмешница? Надо мною смеешься, а сама дрожишь!

— Ничуть не дрожу, — пытается спорить Шаня.

Дунечка уличает:

— Зубами стучишь, за три версты слышно.

Шаня смеется и оправдывается:

— Это я от холода.

Дунечка насмешливо говорит:

— Ой ли? Так ли? Что-то ты прежде холода не боялась, Шаня! Трусишь, милая!

— Сама больше трусишь, — отвечает Шаня. — А холодно, — поневоле задрожишь, коли босиком шлепаем.

Дунечке что дальше, то страшнее. Дунечка ноет жалобно:

— Боюсь я, Шанечка! И зачем мы идем такую даль!

Наконец Шаня сказала сердито:

— Ну, Дунечка, пойдем домой, коли ты так боишься.

Но на это Дунечка не согласилась:

— Нет уж, чего уж! Пошли, так чего тут! Столько шли, да ни с чем домой идти!

Вот и мрачное жилье шарлатанки, — старый дом. Из-за забора слышен лай собак. Девочки взошли на крыльцо, позвонили. Открыла сама Грушина.

Она усиленно старалась принять внушительный вид. К ней этот вид мало шел, но все-таки нагонял страху на простодушных девочек.

Ставни хлопали. Ветер выл в трубе. Черный кот ходил и фыркал, и казалось, что он знает что-то. Грушина взяла обувь девочек на кухню, — посушить. Девочки пошли за нею. Им было страшно остаться в этом доме одним. В кухне было много тараканов, — и это также наводило на девочек страх. Тараканы шевелили усами и шептали о чем-то.

Грушина вернулась в горницу и принялась рассказывать о чертях, называя их «они». Говорила таинственным полушепотом:

— Иногда ночью они вдруг приходят и требуют работы.

Шаня спрашивала боязливо:

— Кто «они»?

— Ну известно кто! — говорила Грушина, озиралась и поясняла шепотом: — Нечистые. Так вот и лезут, и пристают, и все надо придумывать им дело потруднее, чтобы отвязались. Не сумеешь придумать, — разорвут на мелкие кусочки.

Наконец Грушина ушла в соседнюю комнату, шепнув девочкам:

— Сидите смирно.

Там она принялась говорить вслух, и сама себе отвечала измененным голосом. Девочки дрожали от страха и почти не помнили себя.

Грушина приоткрыла дверь, выглянула и шепотом позвала:

— Идите, Шанечка.

У Шани отнялись ноги. На лице застыла бледная улыбка. Грушина взяла Шаню за руку, повела в соседнюю комнату.

— Иди и ты, Дунечка, — шепнула Шаня.

Дунечка к ней прижалась, пошла было за нею.

— Нельзя, — шепчет Грушина, — надо одной.

Дунечка дрожала всем телом и лепетала:

— Я боюсь остаться одна.

— Ничего, ничего, — шептала Грушина, — они сюда не придут. Я их всех заняла делом.

И ушли. Дунечка осталась одна. Сидела, прижавшись в уголке дивана, и с ужасом думала: «А вдруг они кончат раньше, вернутся и нападут на меня?»

В соседней комнате, куда Грушина ввела Шаню, стоял посередине стол, накрытый белою скатертью, и на нем, на большом листе бумаги, стакан, наполненный водою.

Грушина принесла кусок угля и, шепча невнятно, обвела углем черту на полу вокруг Шани и стола. Заставила Шаню несколько раз повертываться и бормотала непонятные слова. Потом сказала:

— Ну, теперь глядите.

Шаня, дрожа, наклонилась к стакану. Страшная рожа глянула на нее. Ужасом охолонуло Шанино сердце. Сама не помнила, как выбежала.

— Шанечка, на тебе лица нет, — говорила Дунечка.

И обрадована, что не одна, и испугана Шаниным испугом.

Шарлатанка бормотала что-то. Едва помнили девочки, как выбрались из дому. Побежали по улице молча.

После гаданья Шаня всю ночь грезила чертями. Володя приходил. Говорил что-то грустное. Слов не разобрать.

На другой день Шаня жаловалась Дунечке:

— Что мне обидно, Дунечка, — я так ждала, что Женечку там увижу, и вдруг вижу, глядит на меня мерзкая харя. Неужели уж моя судьба такая безобразная?

Глава двадцать вторая

День за днем, год за годом...

Шаня подрастала, из шаловливой и дерзкой девчонки превращалась в красивую смуглую девушку, то бойкую, то задумчивую, то капризную, то нежную.

Стали за Шанею ухаживать уже не только одни гимназисты, а и молодые купчики да чиновнички. Но где же им было вытеснить из Шаниных мыслей Евгения! Все они, сравнительно с ним, такие презренные, противные, пошлые! Думают о чем-то мелочном, и слова их так пусты!

А все-таки Шаня стала больше прежнего заботиться о своей одежде. Нарядится и думает, понравилось ли бы это Евгению. Если почему-нибудь покажется, что это — слишком грубо и безвкусно, то Шаня печалится, плачет и долго не знает, как поправить дело.

Обожание Евгения уже не было таким бурным и пламенным, как в первые годы. Володина смерть покрыла милый образ облаком грусти, и то, что Евгений писал все реже, вливало в Шанину душу томительную горечь. Но зато это умягченное чувство теснее сплелось со всем Шаниным существом.

Страстность, грусть, воспоминания, надежды, борьба желаний и страхов, боязливое суеверие, — все, скованное образом Евгения, срасталось в Шаниной душе в одно неразрывное целое, и вся Шаня была в те годы как олицетворенная мечта о далеком и солнечно-прекрасном герое.

Если бы о героях не мечтали юные девы, то и не было бы на земле героев, потому что творческий замысел раньше и выше жизни; герой возникает раньше, чем рождается ребенок.

Томления ожиданий в Шаниной душе постепенно замирали и обратились в твердую уверенность. Картины воспоминаний незаметно, мало-помалу изменялись, становились глубже и чище, и сама Шаня очень удивилась бы, если бы какая-нибудь дивная власть показала ей то, что было на самом деле, рядом с тем, что мечтательно и так сладостно вспоминалось, — такое бы увидела она странное несходство.

Может быть, слаще всего — вспоминать то, чего не было.

Письма от Евгения становились все реже, и короче, и даже суше.

Сначала Евгению нравилось писать письма Шане, нравилось рассказывать о том, что он видит, что узнает, нравилось наставлять и поучать. Потом мало-помалу эти письма становились ему скучны. Он принимался за них, как за неприятный урок. Откладывал со дня на день. На многие Шанины письма так и забывал ответить.

Под конец Шаня уже и не ждала писем от Евгения. Теперь его письма ей уже не были нужны, — культ Евгения определился в ее душе. Она получала их с вялою радостью и со смутным страхом, который ей самой был непонятен. Эти письма были почти неприятны ей. Они ломали рамки ее культа, видоизменяли и мутили ее Коран, — ведь Евгений так непостоянен, что говорит то одно, то другое об одном и том же предмете.

Шаня с улыбкою и с недоумением вспоминала свои былые ссоры с отцом и с матерью из-за Евгения. Иногда, по привычке, хотелось ей опять затеять ссору. Но уже не было повода. И отец, и мать были к этому холодны: Евгения же здесь нет, — пусть дурит девчонка. Все равно потом забудет.

Теперь Шаня уже ни с кем не говорила о Жене. Это казалось ей кощунством. Если кто заговаривал с нею о Евгении, она молчала.

Стали думать, что они поссорились. Дома были рады. Подруги смеялись. Шаня не спорила с ними.

Дунечка один раз даже упрекать стала:

— Забыла ты своего Евгения, — уж и не говоришь о нем.

Шаня улыбалась и спокойно ответила:

— Уж о чем-о чем, а уж о Женечке я никогда не забуду подумать. Проснусь, — первое вспомню его. Засыпаю, — о нем последняя мысль. Так уж и знаю, — если близко его глаза увижу, значит, засыпаю.

Шаня все больше увлекалась книгами. Сначала брала у знакомых, потом, когда отец стал давать ей побольше карманных денег, сама покупала. Прежде больше читала романы; теперь же, покупая и рассчитывая свои деньги, стала читать книги не столь легкого содержания.

Книги и разговоры многому ее научили. Уже она улыбалась над суевериями, которые в нее вжились, но не отвергала их. Духовнее и чище становились эти темные заветы давно умерших, и вырастало из них еще неясное чувство таинственной общности миров и душ. Ведь не по глупости же только придумали все это люди, жившие до нас. Они знали меньше нас, и их невежественная уверенность в своем знании была еще сильнее, чем у нас, — но глаза на мир и у них были раскрыты.

В один несчастный для Шани день Самсонов перехватил письмо Евгения. Жестоко досталось бедной Шанечке! На ее беду матери тогда не было дома, так что и заступиться некому было.

На другой день отец продиктовал ей письмо к Евгению с требованием больше не посылать писем. Шаня должна была написать, что ее высекли за эту тайную переписку и что она раскаивается и дала отцу обещание забыть Евгения. Отец сам запечатал это письмо и сам опустил его в почтовый ящик.

Шаня и свое письмо написала Евгению тайком, забежавши из гимназии к Дунечке. Писала, чтобы тому письму не верил, что она любит его по-прежнему и никогда не забудет. Просила, чтобы он продолжал переписку.

На оба эти письма Евгений ничего не ответил. Видно, обиделся.

Вот и четыре года прошло, как четыре минуты. И уже мечта об Евгении стала таинственно-зовущею. И будущее становилось страшным. Привычные мысли об Евгении оживлялись нетерпением свидеться с ним.

В этом году Шаня кончила кое-как гимназию. Еще в начале года родители стали поговаривать о том, не отправить ли Шаню после гимназии в Крутогорск. Оба они чувствовали, что в их беспорядочной жизни взрослая дочь стесняет их. Они думали, что там, у строгого дяди Жглова, Шане будет лучше. И там легче найти для нее жениха.

— Не наша Сарынь, большой город, слава Богу.

— Ведь не впрок ее солить.

Вот уже близка стала надежда скоро увидеть Евгения. Обожание Евгения вспыхнуло в Шане с новою, особою силою.

«А вдруг передумают?» — со страхом думала она и боялась даже говорить об этом.

Даже притворялась, что ей не очень хочется ехать в Крутогорск, что она боится строгого дядю Жглова. Да и на самом деле Шаня ехать в Крутогорск и хотела, и не хотела. Хотеньем хотела, а разум говорил, — не надо. Разумом она хотела бы лучше дожидаться Евгения в Сарыни. Ей было досадно, что он не приехал за нею. Но она гордо думала: «Ну что ж! Счастье не идет ко мне, — я пойду за счастьем!»

Перед тем, как отправлять Шаню в Крутогорск, понакупили, понашили ей всяких вещей, чтобы не осудили у дяди Жглова. На дорогу понапекли, понаварили всякой снеди. Отказывалась Шаня, смеялась:

— Не на голодные острова еду.

Да мать и няня и слушать не хотели Шаниных отговорок. Отец дал Шане денег на дорогу, не слишком щедро, да и не скупо.

Пришлось Шане везти с собою чемодан большой, чемодан маленький, саквояж, баульчик, корзинку и еще какие-то бесформенные узелки да пакетики.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава двадцать третья

По широкой, многоводной, красивой реке уносил Шаню быстрый, удобный пароход к тому городу, где жил Евгений. Шаня первый раз ехала на пароходе, и это радовало ее. Ей было немного страшно, весело и жутко.

Общество было пестрое, веселое, шумное. Кокетливый дичок привлекал на себя стрелы взоров, и так как Шаня ехала одна, то много находилось молодых людей, которые пытались с нею познакомиться. Но Шане все они очень мало нравились. Они казались ей слишком развязными, глупыми, наглыми, и она их избегала.

Познакомилась и разговорилась Шаня только с одною красивою дамою, одетою удивительно. Шаня впервые видела такое совершенное сочетание человека и одежды. Не только платье, но и все, — шляпа, зонтик, перчатки, ботинки, — было словно создано именно для этой дамы, и вот именно для этого освещения, и для того, чтобы вместе быть надетым. Каждая складочка при каждом движении ложилась точно так, как надобно.

Имя этой дамы, конечно, ничего не сказало Шане. Шаня ведь еще нигде не бывала, кроме Сарыни.

Шаня пыталась угадать, кто бы она могла быть, эта Ирина Алексеевна Манугина. Знатная дама? Или учительница?

На знатную даму она похожа тем, что одета с таким вкусом, и видно, что все на ней дорогое. С нею едет горничная, веселая, красивая, кокетливая, одетая, как барышня. На учительницу похожа Манугина потому, что так много знает, так умно говорит, так интересно рассказывает, так умело спрашивает и так внимательно слушает.

Шаня как-то невольно рассказывала ей о своей любви, о Евгении, о том, как жила и мечтала.

— Вот, — говорила Шаня, — не приехал за мною рыцарь мой, не пришло ко мне в мой городишко счастье, — так я сама пойду к милому, счастье возьму сама.

Манугина улыбалась так ласково и нежно, что вся Шанина душа раскрывалась перед нею. И говорила Манугина:

— Мне весело смотреть на вас, Шаня. Вы — вся светлая и страстная. Не знаю, будете ли вы счастливы, но вы достойны счастия. Но, милая Шаня, может быть прекрасною жизнь и без того счастия, которого вы теперь хотите.

И опять они говорили о жизни прекрасной, свободной и достойной, о радостях искусства и красоты, о восторгах жизни, творимой по воле нашей. Одна мечтала о жизни, еще не зная ее, другая говорила как умудренная и радостным, и горьким опытом.

Говорили о невинных стихиях, сурово-дружеских человеку, о прекрасном теле человека, созданном вместить в себя радости, и восторги, и темные муки. О пафосе освобождения, о радостной наготе, о свободной пляске.

Пароход шел глубоким фарватером близ берега. Шане казалось, что каждый из пассажиров нес в своей душе гордое сознание своей данности и значительности. Казалось ей, что здесь каждый думает: «Для меня эта громада так легко и свободно рассекает волны».

Кое-где мелькали утлые лодчонки. На берегу виднелись шумные ватаги нагих ребятишек. Некоторые ждали, когда пароход пройдет и взволнует воду. Тогда они с громкими криками бросались против волны. Плыли, — и брызги воды из-под их ног многоцветно сверкали на солнце. Другие бросались в воду, еще издали завидев пароход. Они плыли ему навстречу, уверенно и неторопливо, как веселые рыбы. Когда они, неспешно разгребая воду руками и отталкиваясь ногами, проплывали мимо борта, около их желтовато-алых тел, наклонно погруженных в воду, голубая вода казалась радостно прозрачною.

Как бы в связи с их прежним разговором, Манугина сказала:

— Для ребятишек пароход — только орудие чувственной игры. Видите, Шанечка, какие маленькие голые тела, и какая громада — наш пароход, и какие он разводит волны! Человек-то, выходит, сильнее машины, сильнее волны.

— Конечно, сильнее, — уверенно сказала Шаня. — Это я по себе знаю. Я уверена, что все будет так, как я захочу.

Манугина покачала головою и, словно сама с собою споря, сказала:

— А потом приходит усталость, и воля слабеет, и уже не хочется ничего хотеть.

Пароход подходил к пристани. Ждет ли кто? Получил ли дядя Жглов письмо? Сам встретит или свою дочь пришлет, Юлию?

Пусть уж лучше одна Юлия встречает. Дяди Жглова побаивалась Шаня.

В радостной суете приезда Шаня простилась с Манугиною.

— Приходите ко мне, Шанечка, — приглашала Манугина. — Рада буду вас видеть. Научу веселому танцу.

— Спасибо, непременно, — весело говорила Шаня.

Манугина дала ей свою карточку с адресом, сказала, когда можно застать, и отошла. Уже положили сходни, встречающие смешались с приехавшими, Шанечка вытащила из кошелька багажный билетик и стояла, ошеломленная толкотнею и шумом.

Наконец и она выбралась на пристань. Вот знакомое лицо и шляпа с розовыми цветками.

Встречала Шаню одна только Юлия, ее двоюродная сестра, девица лет двадцати пяти, очень милая, но некрасивая, косоватая, улыбчивая, немножко жеманная, полная, чем-то похожая на Шаню.

— Папа занят, — смущенно говорила она.

Уселись в двухконном фаэтоне. На переднем сиденье, в ногах у себя и у кучера на козлах разместили Шанины чемоданы и корзины. Извозчик, бойкий черноусый молодец, покатил лихо. Девушки болтали и смеялись.

Все удивляло Шаню, — мощеные, пыльные улицы, — трехэтажные каменные дома, — широкие бульвары, — красивые памятники, — подъемы и спуски улиц и набережных, — золотые

маковки белых церквей, — нарядные одежды и щегольские экипажи богатых, — лохмотья нищих, — брань пьяных, — нарядные городовые в белых перчатках, — желтые вагоны трамвая, бегущие на длинном пруте под стальною нитью.

Всю дорогу Юлия болтала. Шаня слушала вполуха. Думала о своем. Все хотелось спросить о Евгении, о Хмаровых, да не решалась говорить на этой шумной улице.

Ехали недолго. На широкой улице, обсаженной каштанами, небольшой двухэтажный дом, и на нем вывеска, на которой написано крупными золотыми буквами на темно-синем поле: «Нотариус Жглов».

Дядя, как всегда, был занят в своей конторе. Он пришел не сразу, — только к обеду. Встретил Шаню очень холодно. Жаловался, что все некогда, много работы.

Он был бритый, черный. Если, случалось, он не побреет бороду, то начинал буйно вылезать лес волосьев, которые из черных быстро становились рыжими. Он был похож на свою сестру, Шанину мать, но, — странно, — прекрасные черты лица Марьи Николаевны превращались у дяди Жглова в угрюмую, безобразную образину.

После обеда Юлия шепотом жаловалась на капризы отца:

— Все не по нем. Все-то ему мешают.

Вечером Юлия спела довольно приятным голосом несколько чувствительных романсов. Шаня открыла ей свою любовь. Юлия была в восторге.

От Юлии Шаня узнала, что отец Хмарова умер в начале прошлой зимы. Оставил приличную пенсию, небольшой капитал, большие долги. Семья не хочет платить долгов. Говорят:

— Это — ростовщические долги. Они давно и с процентами заплачены. Мы вас к суду притянем за ростовщичество.

Многие боялись суда и отступались от своих денег.

— Вот, — рассказывала Юлия, — пришла к ним раз вдова прачка за стирку получить, много ей задолжали. Пришла с сынишкою, — маленький такой мальчик, пугливый. Думала разжалобить господ. Думала, — увидят мальчика, пожалеют. Ведь все знают, что ребенок-то от покойника. Ну, только вышел Евгений на кухню, мальчика

увидел, на прачку ногами затопал, говорит: «Ты, — говорит, — отцу на шею вешалась».

Шаня ярко вспыхнула. Взволнованно заговорила:

— Не может быть. Евгений не стал бы так говорить. Он — благородный.

— Не знаю, так говорят, — отвечала Юлия. — За что купила, за то и продаю. Конечно, люди всегда прибавят. Ну, прачка в слезы, говорит: «Отольются, — говорит, — вам мои сиротские слезы».

Жили Хмаровы не по средствам. Пускали пыль в глаза, чтобы выдать замуж Марию и сделать хорошую партию для Евгения. У Марии уже был жених, — молодой инженер Нагольский, нахальный, фатоватый.

Ни для кого не было тайною, что Нагольский слишком беззастенчиво пользуется всяким случаем сорвать и украсть. Говорят об этом в обществе. Говорят, а иногда и возмущаются, рабочие. Были скандалы. Всплывали будто бы слишком крупные растраты.

Но мало ли что говорят! И скандалы Нагольский сбывал с рук благополучно. Он был очень ловок и знал, когда надо не жалеть денег, знал, кому и сколько дать.

Надо было Марию выдать замуж прилично. Нагольский знает, что Хмаровы не богаты, но все-таки без приданого не возьмет. Тысяч тридцать надобно ему дать и вообще не уронить себя перед ним: ведь его считают Хмаровы все же выскочкою. Когда Марии отдадут эти деньги, то Евгению останется очень мало. Поэтому искали для него богатую невесту и нашли.

Шаня ярко вспыхнула. Подумала: «Нет, никому его не отдам».

— Кто же это? — спросила она дрогнувшим голосом.

— Да ты не бойся, Шанечка, — утешала Юлия, — она еще очень молоденькая, ей теперь еще и шестнадцати лет нету, и ничего значительного она из себя не представляет, особенно если с тобою рядом поставить. Евгений как только тебя увидит, так потом о ней и думать не захочет.

Юлия продолжала рассказывать. Эта невеста для Евгения была пятнадцатилетняя Катя Рябова, богатая девушка, в него влюбленная.

И Рябовы, и Хмаровы одинаково были рады этой влюбленности. Рябовы, богатые землевладельцы, вышедшие в дворяне из купцов, рассчитывали на связи Хмаровых, Хмаровы знали, что Кате будет выделено очень много денег. Решили ждать четыре года, пока Евгений кончит курс. А пока и Рябовы, и Хмаровы всячески старались закрепить любовь молодых людей: устраивали прогулки, пикники, вечера, старались почаще оставлять их наедине, в наилучшем свете выставляли достоинства того и другой, поощряли маленькие нескромности.

Варвара Кирилловна постоянно твердила, иногда некстати, что Женечка нежно поглядывает на Катю.

— Они так дружны, — любила повторять Варвара Кирилловна про Евгения и Катю, — Женечка полюбил Катю тихою, но прочною любовью.

Евгений начинает этому верить. Ведь Катя — миленькая, простодушная, розовая, — и все краснеет, что ни скажи.

А Катя — довольно испорченная девочка. Потому и краснеет. Да и братья Кати Рябовой — испорченные мальчишки.

Хмаровы знали, что Катя — глупенькая, но в их глазах это придавало ей особый шик: наивная, милая, женственная, — что может быть лучше для невесты, жены, матери!

Евгений усвоил этот взгляд, как и все подобные взгляды. У Евгения ведь были только взгляды, — то, что люди называют убеждениями, он презирал. И самоуверенный Нагольский, к словам которого Евгений прислушивался очень внимательно, говорил:

— Что такое убеждения? Я этого не понимаю. По-моему — лишнее слово. Я даже не знаю, через «ѣ» или через «е» надо писать это слово. В словаре стоит, а в жизни его не надо. Быть консерватором, либералом или социалистом, — это определяется целою тучею разных обстоятельств и соображений. И, собственно говоря, не все ли равно! Надо быть наверху, — вот и все.

Этот усвоенный Евгением взгляд, что глупость не вредит женщине и что наивность ее украшает, позволял ему относиться к Кате свысока. Поэтому ему легко было с Катею. Ее маленькие капризы при-

ятно нарушали однообразие в их отношениях, — и яснее показывали все его блистательное мужское превосходство.

Сначала Евгений поступил было на медицинский факультет. Но карьера врача показалась ему непривлекательною. Он перешел на физико-математический факультет. Пример Нагольского подстрекал Хмарова идти в инженеры. Решено было: кончит университет и поедет в Петербург поступить в один из институтов.

— Верный кусок хлеба! — говорили дома.

А для знакомых велись красивые речи о преимуществах технических знаний.

День быстро ускользнул. Вечером дядя Жглов в торжественной процессии обошел весь дом. Перед ним шла Юлия со свечою, сзади кухарка. У самого Жглова в руках был заряженный револьвер. Заглядывали под диваны, под кровати, не спрятался ли вор. В строгом, раз навсегда определенном порядке осматривали все замки, запоры и задвижки у дверей и окон. Потом Жглов строго сказал:

— Пора спать. Свеч даром не жечь, — еще пожару наделаете. В своей спальне разговаривать не смейте, — я сплю недалеко, и мне завтра вставать рано. Я устал, весь день работал, мне покой нужен.

Девицы отправились спать. Шанину постель устроили в спальне Юлии. Комната, назначенная для Шани, была еще не готова, да и Шане хотелось еще поболтать с Юлиею, хоть шепотом.

Девицы улеглись, но продолжали разговаривать, — тихо, чтобы Жглов не услышал. Кровати потихоньку сдвинули рядом.

Юлия открыла Шане свои секреты. Она тоже влюблена. Ее возлюбленный — молодой провизор. Жглов его ненавидит и не соглашается на их брак. Молодой человек страшно боится Жглова. Уже пять лет он и Юлия любят друг друга. Скоро молодой человек накопит денег и откроет аптекарский магазин. Юлия думает, что Жглов тогда перестанет ненавидеть молодого провизора и выдаст за него Юлию.

В своих постелях девицы возились, обнимались, смеялись. Сначала старались быть тихими, но мало-помалу забывали о Жглове, заговорили, засмеялись погромче.

Жглов, шлепая туфлями, подошел к дверям их спальни и постучался. Послышался его грубый голос:

— Спать мне мешаете, девочки. Спите. Смотрите, чтобы мне второй раз не пришлось вас унимать.

Юлия сильно испугалась. Когда отец отошел, она, трусливо ухмыляясь, зашептала:

— Он у меня крутой. И поколотит, коли что не по нем.

Первое утро в Крутогорске — ясное, жаркое. Шаня, волнуясь, опять расспрашивала о Хмаровых. Решилась написать Евгению. Юлия деятельно участвовала в составлении письма. Она считала себя более опытною и потому давала советы:

— Нет, ты вот так напиши.

Шаня просила Евгения прийти в городской Летний сад к мостику над водопадом завтра в четыре часа. Подписалась: Шаня. Послала письмо в университет, чтобы дома у Хмаровых не знали.

Глава двадцать четвертая

В университетской шинельной Евгению подали письмо от Шани. Евгений сунул швейцару серебряную монету, мельком, продолжая разговаривать с товарищами, взглянул на письмо и покраснел, — узнал знакомый почерк.

Евгений думал в это время совсем о другом. Мысли о Шане давно уже не приходили к нему. Это письмо было для него совершенно неожиданным. Выражение неожиданности так ясно было на его лице, что кто-то из товарищей принялся подшучивать над Евгением.

От всего этого в душе его создалось резко-неприятное чувство. Он подумал с досадою: «Ребяческие сантиментальности. И нахальство».

Потом, в вагоне трамвая, по дороге домой, к Евгению пришли воспоминания. В нем пробудилось нежное чувство к Шане. Кстати, он вспомнил, что Катя ему надоела.

В это время Евгений уже начинал тяготиться Катею. Раньше он мало чувствовал это. Сегодня же, после Шанина письма, вдруг почувствовал это ярко и сильно, по противоположности между далекою и уже потому милою Шанею и слишком часто близкою Катею.

Евгения начинало утомлять и досадовать то, что Варвара Кирилловна говорила о предстоящем браке его с Катею слишком много и слишком уверенно. Евгений вспомнил, что его самого даже и не спросили ни разу, любит ли он Катю, хочет ли ней жениться. Как-то это устраивалось само собою, и теперь уже ему казалось, что Катю грубо обрушили на него как что-то неотвратимое. А Евгений, как многие слабохарактерные люди, любил воображать себя хозяином и господином своего положения и своих поступков. Да и сама Катя притом же слишком тяготила его в последнее время наивными выходками и простодушною уверенностью в том, что он принадлежит ей.

«Смотрит на меня как на свою собственность!» — досадливо думал Евгений.

Он решился идти на свидание с Шанею. Конечно, дома он никому об этом не сказал.

Дома ждали его неприятные разговоры о деньгах, о процентных бумагах, которые приходится закладывать, о заимодавцах. Варвара Кирилловна сердито говорила:

— Удивительно, откуда они налезли!

Все сегодня досадовало и раздражало Евгения, и на все сегодня вдруг захотелось ему смотреть по-иному. К чему эти лакеи, экипажи, эти постоянные гости то к обеду, то вечером! Конечно, никаких денег не хватит.

Вот и сегодня вечером собирается толпа совершенно ненужных людей, с которыми надобно любезно говорить о пустяках, о светских новостях, немного позлословить, кое-кому пустить пыль в глаза словечками, нахватанными из Нитше и откуда попало. Ах, этот легкий разговор! Приличные слова, — злой и колкий смысл, и так о всем и о всех. Пустая, пошлая болтовня!

Евгений чувствовал себя в этот вечер как-то нервно и неловко. Он ходил из комнаты в комнату, прислушивался к разговорам и старательно избегал случаев остаться наедине с Катею.

Бойкие, пустые барышни сегодня показались Евгению удивительно пресными. Никогда еще лица элегантных кавалеров не казались Евгению такими глупыми и пошлыми, как сегодня. А на пожилых ему даже страшно было смотреть, — он думал: «Неужели и я когда-нибудь стану таким же?»

Мечта о смуглолицей, веселой простушке Шаньке нежно овладевала душою Евгения, и в свете этой мечты так ясно видными стали все обманы и мишурности того, что перед ним.

Остановившись в дверях гостиной, он услышал, как Варвара Кирилловна говорила какой-то даме:

— Мой будущий зять, инженер Нагольский, скоро будет директором.

Фамильное хвастовство Хмаровых особенно проявлялось в Варваре Кирилловне. Прежде такие упоминания казались Евгению очень ловкими и умными и питали в нем горделивое сознание превосходства их семьи. Сегодня эти слова показались ему фальшивыми, неуместными.

Варвара Кирилловна продолжала разговор о своих будущих свойственниках. Заговорила о Рябовых. Кто-то сказал о Катином отце:

— Евдоким Степанович — превосходный человек, но у него простоватые манеры.

— Но он так богат! — возразила Варвара Кирилловна.

Заметив чью-то любезно-подавленную улыбку, Варвара Кирилловна спохватилась, что это вышло уж слишком наивно, и стала объяснять свои слова:

— Как у всякого человека, создавшего богатство в значительной степени своим собственным трудом, это у него просто оригинальность, сознание своей силы. Знаете, эта богатырская, черноземная, истинно-дворянская сила, прямота, смелость. Сознание, что ему многое позволено, что он многое может.

Евгений отошел со смутным чувством неловкости и неправды.

В другом месте говорили об искусстве и литературе. Приват-доцент, магистр зоологии Леснов, невысокий, тонкий, юркий, черноволосый молодой человек говорил:

— Декадентство-то долговечно? Э, полноте, все это ваше декадентство шумное кончится на днях.

— Неужели? — спросила с выражением привычной насмешливости Софья Яковлевна.

— Да, — уверенно говорил Леснов. — Ведь все это упадочничество происходит от неправильной нашей жизни, — от избытка комнатной жизни. Вот от этих стен, которые нас замыкают, и от от этих потолков, которые застят от нас дневной свет.

— Но и защищают кое от чего, — сказал молодой, румяный офицер.

— Слишком уж защищают, — отвечал Леснов. — Теплиц мы понастроили себе, сделали себе белое меловое небо и дощатую полированную землю. Вместо солнца и звезд создали электрические раскаленные проволоки, ветер заменили вентилятором, а вольный плеск реки — теснотою цинковой ванны. Позабываем вещи, знаем только слова, да и то книжные. Появилось декадентство. Но оно исчезнет, — и случится это очень просто и очень скоро, потому что люди все-таки не совсем уж глупы.

— Как же это случится? Какое об этом пророчество? — с насмешливою улыбкою спрашивал Аполлинарий Григорьевич, молодцевато крутя седые усы.

Леснов спокойно посмотрел на него, усмехнулся и сказал:

— А начнется это, пожалуй, с того, что наши дети станут ходить босые...

— Ну уж, пожалуйста! — сказала Софья Яковлевна.

Леснов продолжал:

— И станут по-детски простодушны, и не будут нервными и злыми, как теперь. Все внешние чувства разовьются у них нормально, как у дикарей.

— Это только потому, что они будут ходить босиком? — насмешливо спросила Варвара Кирилловна. — Не слишком ли это простой рецепт?

— Ах, это вы про опрощение, — с презрительною гримасою сказал Нагольский и нагло захохотал.

— Нет, — наставительно сказал Аполлинарий Григорьевич, — историю нельзя так легко повернуть.

Нагольский, увидев рядом с собою Евгения, тихо сказал ему:

— Разглагольствует чудак. Забавно.

В другое время Евгений ответил бы Нагольскому сочувственною улыбкою, но теперь улыбки не вышло, и Евгений опять ощущал какую-то смутную неловкость. Нагольский посмотрел на него с удивлением.

— Стремление к опрощению имеет достаточное основание, — сказал Леснов, — как реакция на чрезмерную рознь между классами, на пышность одних и нищету других, на ужасное невежество народа, в связи с чем стоит крайний недостаток образованных людей.

Нагольский сказал:

— А по-моему, перепроизводство.

Магистр с недоумением смотрел на него. Нагольский пояснил:

— У нас, в России, замечается перепроизводство людей с высшим образованием. Это не один я говорю.

Зоолог засмеялся.

— Я, признаться, не сразу вас понял, — сказал он. — Фабричный термин в применении к штудированию наук несколько неожиданен. Наука представляет слишком широкое для человечества поле для исследований, и работающих на этом поле никогда не будет достаточно много.

Нагольский с негодованием говорил:

— В высшие учебные заведения идут хамы и жиды!

— Непорядок! — сказал Аполлинарий Григорьевич.

И нельзя было понять, сочувствует он Нагольскому или смеется над ним.

— А по-моему, — говорил Нагольский, — следует возвысить плату за учение с недворян до пятисот и даже до тысячи рублей. Дворяне же должны учиться бесплатно. И давать еще больше прав: чин статского советника при окончании курса высшего учебного заведения.

Глава двадцать пятая

Чем ближе становился назначенный Шанею срок свидания, тем все нетерпеливее Евгений ждал его. Уже он все яснее чувствовал,

что опять влюблен в Шаню, влюблен нежно и радостно, как в те наивные дни, когда они встречались в Сарыни. Была, конечно, разница, — не в чувстве, а в мыслях об этом чувстве и об их отношениях. Теперь уже он не думал, что любовь обязывает к чему-то и что она связывает людей навсегда. Любовь — только приятная интермедия. Существо жизни — удачное прохождение курса, диплом, карьера, связи, деньги и, как узел всего этого, приличный и выгодный брак.

Собираясь идти в Летний сад, Евгений долго стоял перед зеркалом, охорашивался, причесывался волосок к волоску. Мундир сидел на нем превосходно, и он с удовольствием видел в зеркале изящного молодого человека с нервным и несколько бледным лицом. Даже креповая повязка на рукаве, — чувствовал он, — очень шла к нему. Он надушился немного более, чем следовало бы согласно хорошему тону; он думал, что простушка Шаня не осудит его за этот избыток сладкого аромата.

Шаня опоздала на десять минут. Ее в последнюю минуту задержал дома дядя скучным разговором. Он как раз в это время зачем-то поднялся из конторы в квартиру. Увидев Шаню и Юлию в передней, он сердито оглядел Шанину нарядную шляпку, перчатки, зонтик и подозрительно пригляделся к ее весело-взволнованному лицу. Спросил:

— Куда собралась?

— Гулять пойдем с Юлиею, — сказала Шаня, невольно робея под его суровым и тяжелым взором.

Дядя говорил угрюмо, и согласие звучало в его устах, как запрещение:

— Гуляй. Погода хорошая. Что тебе еще и делать! Да к обеду не опоздать! Да вот пуговку мне пришей к сюртуку, — на ниточке держится.

Шаня вспыхнула, — боялась опоздать, — и сказала, собравши всю свою смелость:

— Юлия потом пришьет.

— Нет, ты пришей, — настаивал дядя Жглов. — У нее все тяп да ляп, а у тебя руки золотые. Да сейчас.

Шаня торопливо пришила пуговку. Шить она еще дома научилась. Дядя потрогал, — прочно, — угрюмо поблагодарил и наконец отпустил. Девушки вышли на улицу. Шаня шла очень быстро, — Юлия едва успевала за нею.

Евгений пришел аккуратно в назначенное время. Он самодовольно думал, оправдывая перед самим собою свою торопливость: «Ждет меня, дурочка. Конечно, за час раньше прибежала, волнуется, боится, не знает, захочу ли я прийти. Боится, что я забыл ее. Не следует на первый раз томить ее ожиданием».

А сам все нетерпеливее ждал свидания.

И вот пришел в назначенное место, в укромный уголок сада. Там меланхолично журчал по каменистому руслу ручей, через который переброшен легкий белый мостик с тонкими березовыми стволиками вместо перил. На берегу ручья еще цвели белые, своеобразно-пахучие щитовидные метелки вязолистного лабазника, и шишковатый норичник, улыбаясь, гордился перед людьми тем, что у него разные губы: верхняя — буро-красная, а нижняя — зеленая. Пришел Евгений, а Шани еще нет.

Евгений ждал нетерпеливо. В душе возрастала гневная досада. Он теребил и чуть не разорвал перчатку. На часы посматривал. Прохаживался нетерпеливо и чувствовал себя в глупом положении. Думал: «Взбалмошная девчонка! Заставляет ждать! Какая дерзость! Что она о себе думает!»

Евгений уже собирался уйти. Дал сроку еще пять минут, но только что он вынул часы, как увидел наконец на повороте дорожки двух девушек. Он сразу признал Шаню, не столько по лицу, сколько по всему тому общему, ближе не определимому впечатлению, которое оставила в нем еще тогда, в Сарыни, Шаня и которое теперь вдруг опять ожило в нем.

Шаня шла к нему навстречу торопливо, раскрасневшаяся, радостно-взволнованная. Пришел! Ждет! Помнит ее! И, значит, любит!

Евгений сразу повеселел. Он забыл всю свою досаду. Пошел быстро навстречу Шане. Юлия, чтобы не мешать, свернула на боковую дорожку и села далеко в сторонке. Евгений и Шаня вер-

нулись к мостику. Говорили, смеясь друг другу, не успевая спрашивать и отвечать.

Шаня спросила:

— Женечка, по ком ты носишь траур?

Евгений сделал притворно-грустную мину и сказал:

— Отец у меня умер. Еще в ноябре прошлого года.

— Какое горе! — сказала Шаня с простодушным сочувствием.

Женя слегка поморщился и отвечал:

— Что делать! Старые всегда умирают раньше молодых. Закон природы.

«Открытый Дарвином», — припомнилось почему-то Шане.

Она улыбнулась. Она видела, что Евгений вырос, но не изменился, — это ее радовало и веселило.

— Все тот же барчук изнеженный, — с умиленною ласковостью сказала она.

Евгений смотрел на нее, любуясь ею. Шаня вела себя все так же причудливо, как и в Сарыни. Выросла, похорошела, — и все такая же бойкая, и такие же быстрые, резкие манеры. Это кружило голову Евгению. Многое в Шаниных манерах и теперь не нравилось ему. Но для него было несколько неожиданно, что Шаня одета с таким вкусом, и уже теперь он не решался делать ей замечаний. Это можно будет сказать потом, — думал он, — при следующих встречах. А пока все в Шане веселило его и как-то подбадривало.

Шаня глядела на него опьяненными радостью глазами и восклицала наивно и радостно:

— Господи, сколько времени мы не видались! Как ты похорошел, Женечка!

Евгений самодовольно улыбался. Шаня спокойно и уверенно говорила ему «ты». Он сначала сбивался, — то «вы», то «ты». Шаня сердилась, начинала тоже говорить «вы», — Евгению делалось весело, и он переходил на «ты».

Евгений почти все время говорил о себе. Это была одна из его давних привычек. Шаня слушала его и всматривалась в него с жадным восторгом.

Наконец Шаня решилась напомнить ему о их детской любви, — и он пассивно поддавался ее настроениям, отдавался ее воле, направленной к творению любви.

Шаня робко взглянула на Евгения, сильно покраснела и с волнением, которое ей трудно было скрыть, спросила:

— Помнишь, Женечка, ты обещал на мне жениться?

Евгений снисходительно улыбнулся и промолчал. Подумал: «Ну, еще это мы посмотрим».

Шаня говорила робко и нежно:

— Конечно, я готова отказаться, если ты не хочешь, если ты полюбил другую. Конечно, я тебя никогда не разлюблю и теперь люблю тебя глубже и чище, чем тогда, но ведь я же понимаю, что для тебя это было... что ты на это можешь смотреть как на детское.

Евгений почувствовал себя великодушным и благородным.

— Детское! — воскликнул он с гордою усмешкою. — Ну, положим, я уже не был тогда ребенком. Я полюбил тебя на всю жизнь и никогда не разлюблю. Я вообще рано развивался. Как Лермонтов или Байрон. Многие находят, что я головою выше всех моих сверстников.

Шаня смотрела на него с восторгом. Он продолжал:

— Ты-то, Шанечка, конечно, была тогда еще совсем девочкою...

— Ну, положим! — недовольным голосом протянула Шаня.

Евгений говорил:

— И я не осудил бы тебя, если бы ты увлеклась другим.

— Придумал тоже!

Даже засмеялась Шаня, — такою нелепою казалась ей мысль, что она может полюбить другого. Евгений продолжал, нежно пожимая Шанину руку:

— Но я могу любить только тебя, Шаня...

— Милый, милый! — воскликнула Шаня, целуя его щеку.

— И если бы ты мне изменила...

— О, я! Никогда!

— Я не знаю, способен ли бы я был перенести это горе. Я ждал тебя все эти годы. Как только я окончу курс, мы с тобою повенчаемся.

И в эту минуту Евгений совершенно искренно подумал: «К черту все расчеты! Живем только раз, а карьера и большие деньги не стоят того, чтобы на них променять любовь».

Помолчали, прижавшись друг к другу, нежно и сладко мечтая. По их счастливым глазам, устремленным одинаково в зеленую даль сада, можно было подумать, что они оба мечтают об одном и том же.

Шаня вздохнула тихонько, словно пробуждаясь от сладкого сна, и спросила:

— Женечка, отчего ты мне ничего не писал в последнее время?

На лице Евгения вдруг мелькнула неприятная, жесткая, сладострастная улыбка. Но он подавил ее и заговорил нежно:

— Шанечка, зачем же бы я стал лишний раз навлекать на тебя неприятности! Ты же такая неосторожная, а твой отец...

Евгений не кончил и пожал плечьми. Шаня ярко покраснела. Она сказала зазвеневшим от слез и от обиды голосом:

— Противный! Ведь ты же знаешь, что из-за тебя я все снесу охотно и даже радостно.

Евгений обнял ее за талию и нежно сказал:

— Я знаю, милая Шанечка, что ты у меня герой, но все же подводить тебя под побои, под розги я не мог. Твой отец такой антик, что тебе и так, и без моих писем, боюсь, попадало не мало.

— Как ты не понимаешь, — говорила раскрасневшаяся Шаня, — что за твое письмо помучиться — мне было бы большим счастием! Пусть бы, пусть бы колошматили сколько хотят, а все-таки я знала бы, что ты обо мне думаешь!

Евгений улыбался. Он нежно обнял ее и сказал:

— Милая деточка!

— Да, ты на меня смотришь как на ребенка, — сказала Шаня. — Ведь это мне обидно!

— Деточка, я же тебя люблю! — нежно говорил Евгений. — Ты должна была мне верить и ждать.

Опять помолчали.

— Как твое рисование, Женечка? — спросила Шаня.

Евгений поморщился, как при напоминании о чем-то неприятном, и заговорил скучающим голосом:

— Знаешь, Шанечка, оно уже мне надоело. Я думаю, что у меня нет к нему влечения. Конечно, если бы я захотел, я мог бы достигнуть отличных результатов, — но это меня уж не забавляет. Чтобы научиться действительно хорошо рисовать, надо корпеть. А я не из карпов.

Шаня весело хохотала.

— Я из рода бедных карпов! — шаловливо запела она.

Евгений, улыбаясь, говорил:

— Собственно говоря, в сущности, живопись — пустяки и ни на что не нужна.

— Ну как же? А портреты? — возразила Шаня.

— На то есть фотография, — говорил Евгений. — Собственно говоря, живопись — даже ложный вид искусства. Вдруг изображено движение, — и вдруг оно неподвижно. Даже нелепо.

— А я так люблю смотреть картинки, — простодушно сказала Шаня.

Евгений снисходительно улыбнулся.

— Детки все любят рисуночки да картиночки, — сказал он с покровительственною ласкою в голосе.

— Вовсе я не детка! — капризно сказала Шаня.

— Ты — очаровательное создание, — сказал Евгений.

— А ты, — знаешь, кто ты для меня? — спросила Шаня.

— Ну, кто?

Шаня сказала восторженно:

— Ты — мой бог!

Евгений самодовольно улыбнулся.

— Вам, женщинам, — сказал он, — надо перед кем-нибудь преклоняться. Вы без этого не можете.

Посидели с часок. Время, конечно, промчалось незаметно. Шаня сидела бы хоть до звонка к закрытию сада. Но Евгений взглянул на часы, Юлия покашливала, прохаживаясь поодаль. Шаня вздохнула, — пора уже расставаться. Она сказала грустно:

— Когда же мы еще увидимся? И где?

Евгений улыбнулся с видом превосходства и сказал:

— Я все придумал. Следующий раз мы встретимся в «Бристоле». Возьмем отдельный кабинет.

Говорят, что во всяком большом русском городе есть гостиница «Бристоль». Была такая гостиница и в Крутогорске.

Глава двадцать шестая

Раза два-три в неделю Шаня и Евгений стали встречаться в гостиницах, то в одной, то в другой. Выбирали гостиницы подальше от центра города. Не ходили в одну и ту же часто, чтобы не примелькаться слугам.

Сначала за вино и за фрукты платил один Евгений. Потом Шаня настояла, чтобы он позволил иногда ей платить. Евгений немного поспорил, но скоро согласился, и уже ему стало это нравиться. Он же любил тратить деньги только на себя. И вот Шане все чаще доставалась честь расплачиваться по счету. Это ее очень радовало. У нее были свои деньги, — то отец пришлет, то дядя Жглов выдаст часть процентов с ее капитала.

Встречи их в это время еще были совсем невинны. Посидят, поговорят, выпьют вина немного, обменяются десятками нежных, безгрешных поцелуев и разойдутся.

Недолго нравилась Шане таинственная обстановка этих свиданий, — таинственная, но грязная, пошлая, иногда томительная, как кошмар в ясный день, — эта потертая мебель и захватанные портьеры, — эти надоедливые звуки чужого пьяного разгула за стеною, — эти пытливые взоры нагло-услужливых лакеев. Иногда так гадко все это казалось, что, вернувшись домой, Шаня плакала украдкой.

Мало думала в эти дни Шаня о том, что будет с нею дальше. Ведь Евгений сказал ей:

— Как только кончу курс, так сейчас же повенчаюсь с тобою.

Чего же ей больше! Надобно верить и ждать.

Но хотелось видеться с Евгением чаще и дольше. Как же это устроить? У себя принимать Евгения нечего было и думать: у дяди Жглова — строгие порядки в доме. Общих знакомых в этом городе у них не было. Как тут быть?

И вдруг Шаня придумала. Однажды, когда уже срок их обычного свидания подходил к концу, Шаня спросила Евгения:

— Женечка, хочешь, я к вам буду ходить?

Евгений покраснел, замялся. Заговорил, смущенно глядя в сторону:

— Шанечка, ты сама понимаешь, что я был бы страшно рад этому. Но пока этого еще нельзя. Надо сначала подготовить почву. И я боюсь, что теперь это будет очень трудно. Мама вбила себе в голову Бог знает что. Ты знаешь, с нею спорить бесполезно. Она понимает только язык фактов. Она воображает, что я женюсь по ее выбору.

— На Кате Рябовой? — спросила Шаня, ревниво и досадливо краснея.

— Конечно, этого никогда не будет, — горячо говорил Евгений. — Но все-таки, ты, Шаня, сама понимаешь... Мама примирится только с совершившимся фактом, когда она узнает, что мы с тобою повенчались. До тех пор мы должны хранить наши отношения в самой строгой тайне. Это и тебе, и мне даст возможность эти годы жить спокойно и спокойно ждать.

Шаня выслушала его, улыбаясь, и весело сказала:

— Да уж я все-таки устроюсь. Мы, женщины, народ хитрый и умеем придумывать. Знаешь, что я придумала?

— Ну, что? — опасливо спросил Евгений.

Шаня весело засмеялась и сказала:

— Я к вам в белошвейки поступлю. Что, ловко придумано?

Евгений смотрел на нее с недоумением и страхом. Взбалмошная Шанька, чего только она ни придумает!

Шаня, положив руки на плечи Евгения и глядя в его глаза ласковыми, смеющимися глазами, говорила:

— Нет, ты подумай только, как это будет хорошо! Мы каждый день будем свободно видеться. Я знаю, — твоя мама ищет бело-

швейку шить приданое для твоей сестры. А я еще в Сарыни научилась шить. Лучше любой швейки это дело знаю.

Евгений видел, что Шаня не шутит. Ему стало страшно. Он пытался ее отговорить.

— Мама очень строгая и требовательная, — сказал он. — И она не станет много платить. Она скуповата и все норовит сделать подешевле.

Шаня засмеялась, сказала весело:

— Да мне много и не надо. Авось проживу и на маленькие денежки.

— Она может узнать тебя, — говорил Евгений, — скандал выйдет. Она такая несдержанная.

— Ну, где там узнать! — беспечно возражала Шаня. — А и узнает, так не велика беда. Уйду, и вся недолга.

Евгений поспорил еще немного.

— Право, Шанечка, это неудобно и опасно. Зачем подвергать себя такому риску!

— Да чего ты так боишься, Женя? — говорила Шаня. — Твоя мама меня только мельком видела в Сарыни, и твоя сестра тоже. Они обе обо мне и думать позабыли. А я с тех пор выросла, переменилась. Кроме того, я набелюсь и волосы водородом выкрашу, так что ни за что меня не узнать будет.

— Нет, ты этого не делай, Шанечка, — сказал Евгений. — К тебе это не пойдет.

И уже он начал сдаваться. Его зажигала Шанина дерзкая уверенность, и радостно было думать, что можно будет видеться с Шанею каждый день.

Шаня вернулась домой точно крылатая от радостных надежд. Она рассказала свой план Юлии. Юлия долго ахала и ужасалась, но понемногу и она увлеклась Шаниною затеею. Стали вместе обдумывать, как все это устроить. Придумали для Шани имя, — Лизавета Ивановна Любимова. Юлия написала ей на это имя аттестат, будто бы от генеральши Страховой.

Шаня опасливо спросила:

— А вдруг они с генеральшею Страховой знакомы?

Юлия радостно засмеялась:

— Никакой здесь нет генеральши Страховой, а только фамилия такая воинственная. Я подпишу — вдова генерал-майора. Вот увидишь, поверят. Можешь сказать, что генеральша за границу уехала.

Когда аттестат был готов, Шаня отправилась к Манугиной, — посоветоваться.

От Юлии еще в первый день Шаня узнала, что Манугина — первая актриса здешнего драматического театра. Актриса, значит, может посоветовать, как играть роль бедной девушки белошвейки. А что посоветует, Шаня была уверена, потому что к этому времени уже она хорошо сошлась с Манугиною и нередко захаживала к ней.

Манугина принимала Шаню очень радостно и приветливо: Шаня понравилась ей с первой встречи. Скоро Шаня хорошо была знакома с жизнью и с обстановкою Манугиной.

Манугина жила одна. Она занималась с большим увлечением драматическим искусством и танцем. Она была страстною поклонницею Айседоры Дункан и ее танцев. Портреты Айседоры Дункан висели у нее на стенах, лежали в альбомах.

Манугина дома носила тунику и сандалии. И выходные платья она шила часто в стиле античных одежд, и волосы причесывала, как у античных статуй. В пьесах современного репертуара она была одета с таким редким для провинции вкусом, что крутогорские дамы старались не пропустить ни одной пьесы с ее участием.

Об ее любовниках говорили мало, да и то, что все-таки, по привычке злословить, говорили, было, по-видимому, неверно. А ухаживали за Манугиною многие.

Все у Манугиной нравилось Шане очень и казалось чрезвычайно красивым. Даже горничная Марина, та самая, которую Шаня видела первый раз на пароходе, казалась совсем особенною, какую можно встретить только в этом красивом, приятном доме.

Марина, вывезенная Манугиною из Москвы, старалась подражать барыне в нарядах и в манерах. Марина была очень хорошенькая. Ее кавалеры уверяли ее, что она красивее барыни, но Марина так любила свою барыню, что этим комплиментам не верила.

Марина очень любила наряжаться в барынины платья. Когда Манугина уходила из дому, Марина наденет ее матине, или кимоно, или тунику, садится перед зеркалом ее туалета и закуривает папиросу. В кресле мягко и уютно, синий дымок вьется, в зеркале отражается миленькое, смугленькое личико лукаво улыбающейся черноглазой плутовки, — Марина мечтает о поклонниках, как у барыни, и так проводит иногда целые часы. Манугина знала все, но не сердилась.

— Я ее давно знаю, — говорила Манугина, — она честная, очень преданная мне, за меня готова в огонь и в воду. Услужлива очень и очень опрятна.

Все свои ношеные выходные платья она дарила, конечно, Марине. Продавать их Марина не любила и делала это в крайнем случае, хотя всегда эти платья были мало ношены и охотниц их купить было очень много.

Однажды вечером Шаня застала у Манугиной маленькую актриску из того театра, где служила Манугина. Смазливенькая, маленькая, тоненькая, сильно раскрашенная Зина Анилина, бойко работая злым язычком, поблескивая злыми глазками, сплетничала. На левой щеке под глазом у нее был синяк, почти не видный под слоями белил, румян и синьки. Зина была сегодня зла, потому что ее любовник, актер Крахмальчик, по сцене Марс-Райский, напившись пьян, избил ее зверски. Насплетничав на кого только было можно из товарищей, Зина принялась сплетничать на Марину:

— Она ваши платья носит, ваши папиросы курит, а вы ничего этого не знаете. Вообще вы ее ужасно избаловали.

Манугина спокойно возразила:

— Ну, она моих платьев не пачкает и меня без папирос не оставляет.

— Еще бы оставляла! — воскликнула Зина Анилина.

Манугина посмотрела на нее так спокойно, что актриска сконфузилась и принялась поправлять свои кудерьки. Манугина сказала:

— Зато она не раз мне на свои деньги обед готовила, жалованья ждала по полугоду и никогда не грубила.

Потом, обратившись к Шане, Манугина сказала:

— Наша актерская жизнь в провинции редко обходится без голодовки. Вот в такое время и оценишь достоинства моей Маришки.

— Разве вам случалось нуждаться в деньгах? — спросила удивленная Шаня.

И вдруг покраснела, потому что вопрос показался ей нескромным. Манугина заметила Шанино смущение, ласково улыбнулась ей, погладила ее своею нежною, белою ладонью и сказала:

— Всего бывало. Случалось, что и мои антрепренеры прогорали. А заложить не всегда что находилось. Выручала не раз Маришка. И уж не знаю, как она ухитрялась, откуда она добывала деньги, но только всегда провизии принесет, папирос купит, пудры достанет, квартирную хозяйку подождать упросит, — словом, как только может, скрасит безвыходное положение. Да, моя Маришка — клад.

Когда Манугина говорила об этом, лицо ее стало утомленным и немолодым. Шане стало грустно и страшно. Вспомнились нянькины слова:

— Нищета может завязаться и там, где ее совсем не ожидали.

Она сказала грустно:

— А я думала, что у вас, Ирина Алексеевна, всегда денег без счета. Вы — такая талантливая.

— Одного таланта, голубушка, мало, — спокойно сказала Манугина.

Зина Анилина улыбалась криво и злобно. Думала с завистливою радостью, что хоть и талантлива Манугина, да непрактична, и на казенную сцену никогда не попадет. Она посидела еще немного и, выпустив весь яд свой, ушла.

Глава двадцать седьмая

Манугина и Шаня много разговаривали о разном, но чаще всего об искусстве и о жизни, о красоте, спасающей мир, о телесной наготе, очищающей душу.

Шаня однажды рассказала Манугиной, как она представляла себе прежнюю себя в образе разных Шанек. Манугиной очень понравился этот рассказ. Она говорила:

— Душа ваша, милая Шанечка, меняла личины по своей прихотливой воле, меняла и будет менять. Не правда ли, какая это была радостная, легкая игра? Какое восхитительное созидание все новых и новых образов!

— Да, это меня очень радовало, — сказала Шаня. — Так утешало!

— Впрочем, — говорила Манугина, — и все мы всегда носим маску. У нас все условно и одинаково для всех, — условные жесты, слова, условное выражение лица, однообразие костюмов. Никто не видит нашего настоящего лица. Нашего лика мы никому не показываем и не можем показать.

— Да и не хотим, — сказала Шаня.

— Да, не хотим, — согласилась Манугина. — Да иногда и сами его не знаем. Но маски наши мы хотим носить так, чтобы они скрывали внешнее нашей души, всю случайную накипь настроений этого дня и в то же время обнажали то, что живет в душе, чего, может быть, я и сама не знаю. Маскарад — торжество откровенности настоящей, глубокой. Нагота человеческого тела — лучшая, самая таинственная из человеческих личин. Она вернее всего объясняет мою душу и другим, и мне.

— Разве тело не обманывает? — спрашивала Шаня. — Разве нет красивых змей?

— Нет, Шаня, — говорила Манугина, — нагое тело обманывать не станет. Порок души скажется и в теле. Нагое тело никогда не лжет тому, для кого внятен язык тела. Не лгут и другие личины, если человек умеет их выбирать и носить.

— Как же маска откроет мою душу, если она закрывает мое лицо? — спросила Шаня.

— В жесте и в танце, — отвечала Манугина, — и совершеннее всего в движениях нагого тела. Чистое движение — это и есть язык души. Движения тела, закутанного одеждою, — это все равно что речь того человека, у которого завязан рот. Душа выражается не в чертах лица, не в очертаниях всей фигуры, а только в движении. Черты лица — это геометрия, отвлеченная схема; это для души то же, что карта для страны. Пока вы знаете только карту Франции, вы еще не

знаете самой Франции. Если вы захотите узнать ее, вы должны познакомиться с ее динамикою, с ее голосами, цветами и запахами. Говор француженки вам даст лучшее представление о Франции, чем географическая карта.

Шаня призадумалась. Потом, когда Манугина замолчала, Шаня сказала:

— Вот вы, Ирина Алексеевна, говорите, — для кого внятен язык тела, тому этот язык не солжет. Я и прежде это чувствовала, но не понимала этого, пока от вас не услышала, а теперь как-то вдруг поняла. Теперь я поняла, что там, в Сарыни, когда мы с Евгением ловили раков в реке и потом он в моей лодке сидел с обнаженными ногами, его слишком белые и медленные ноги говорили мне, что он меня любит, но боится любви. А теперь я вижу беспокойные жесты его слишком мягких рук, и они мне говорят, что он слаб для деятельной любви и что я должна взять его сама.

Манугина выслушала ее, улыбаясь. И радостно, и печально было ей слушать эту девушку, для которой пока всякий язык говорит о любви. Она грустно думала: «А мы, уставшие любить? Уже не жадные к жизни? О чем нам говорит язык обнаженного тела? Не о совершенстве ли красоты, уводящем от жизни? Не об искусстве ли, которое подобно смерти? Не о том ли, что и самая жизнь дана всем нам только как материал для созидания высоких образов?»

Рассеянно говорила она:

— Да, Шаня, у тела есть свой язык и есть свой ритм. Бьется сердце, дышит грудь, — пока живу, вся в трепетном ритме.

Шаня посмотрела на нее внимательно, почувствовала ее грусть, но причины этой грусти не поняла. И спросила:

— Если вы, Ирина Алексеевна, так любите танец, то почему же вы не поступили в балет?

Манугина невесело засмеялась. Сказала:

— У меня больше способностей к драме. Я люблю говорить, люблю ритм речи моей сочетать с ритмом движений моих и чужих. А современного балета я не люблю. Все нелепо в нем, в этом ложном, неестественном виде искусства. Условность его далеко выходит за

пределы той условности, которая необходима для театрального искусства.

— Красиво, — нерешительно сказала Шаня.

— И лживо, — оживленно говорила Манугина. — Трико, юбочки, все выдает себя не за то, что есть. Трико дает видимость нагого тела, — гладкая, сладкая, розовая поверхность.

— Не похоже на скучную жизнь, — сказала Шаня, — и тем хорошо.

— Нет, Шаня, — возражала Манугина, — к сожалению, похоже. По существу похоже. То же лицемерие и тот же обман, как и в жизни. Как на жизни нашей, так и на современном балете лежит печать неизгладимой банальности. Если бы он был не похож на жизнь, это было бы хорошо. Но он не выше, не совершеннее жизни, а еще ниже ее.

— Как же танцевать? — спросила Шаня. — Разве только в театре мы хотим видеть танец? Ведь мы и сами хотим танцевать. Чтобы самой было весело и чтобы мой милый радовался. Как пляшут деревенские девицы в хороводе. Может быть, так, как эта милая плясунья, на этой гравюре.

Шаня смотрела на висевшее на стене изображение Айседоры Дункан. Тогда Манугина с одушевлением принялась рассказывать о ней Шане. Говорила с восторгом:

— Танцы Дункан — для меня откровение. Я обожаю Айседору Дункан.

Слушала Шаня, заражалась ее восторгом. Хотела приблизиться, понять больше, усвоить. Часто повторяла, целуя прекрасное лицо и тонкие руки Манугиной:

— Как радостно мне все то, что вы говорите!

Манугину трогала Шанина страстность и эта милая открытость Шаниной души всему, что говорила ей Манугина, всему, что Манугиной было дорого.

Манугина охотно учила Шаню танцам. Хотела давать ей уроки даром, но Шаня уверила ее, что ей будет удобнее платить. Шаня говорила:

— Иначе дядя будет подозревать что-то неладное и не отпустит, пожалуй, иной раз. А если я буду брать у него деньги на уроки, то

у меня будет возможность чаще уходить из дому и днем, как будто на урок. А вы знаете, как для меня все это важно.

Шаня уже с самого начала откровенно рассказывала Манугиной о своих отношениях к Евгению, делилась с нею всеми своими радостями и печалями, как бывало прежде с Дунечкою. Только на Дунечку она смотрела сверху вниз, подчиняла ее себе, а Манугина была первая в Шаниной жизни женщина, перед которою она искренно и свободно преклонилась.

Скоро Манугина стала для Шани советницею и руководительницею во всех ее делах, больших и малых. Манугина заботилась даже и о Шанином туалете. Под ее руководством Шаня сшила несколько стильных костюмов и туник; туники сшила сама, платья заказывала у той же портнихи, которая шила здесь для Манугиной.

Танцевала на ее уроках Шаня в тунике, но чаще нагая.

Шаня была не единственною ученицею Манугиной. На уроках Шаня часто встречала Марусю Каракову. Это была очень богатая купеческая девица, красивая, пышная, белотелая, со щеками, рдевшими, как пионы, вся напоенная знойным соблазном. На Марусю глядя, даже и женщины соблазнялись и начинали улыбаться и краснеть.

Маруся Каракова была воплощенным соблазном. Самые простые слова в Марусиных устах казались нескромными. Даже улыбки ее говорили о чем-то запрещенном и тайном. Несмотря на это, молва не могла связать с ее именем ни одного любовного приключения.

Маруся была красавица, и к ней шла ее полнота. Но она имела такие формы, что всякий, неосторожно посмотревший на ее бюст, приходил в остолбенение, потом повторял про себя:

— Ах, черт возьми!

И, подобно тому, как хмель забирает понемногу того, кто пьет, так и того, кто долго смотрел на Марусю, забирали простые, грубые желания телесной близости с этою румяною, здоровою девицею.

— Чудо природы! — называл ее местный остряк.

Молодые люди не осмеливались даже и так ее называть. Они благоговели. Она удивляла их не только своими формами, но и своими откровенными речами.

— Наша бабья добродетель — быть бесстыдницами, — говорила она нередко.

И о мужчинах:

— Им в нас только тело надобно, больше ничего.

У Маруси Караковой было множество ухаживателей. Каждому казалось, что Маруся поощряет его ухаживания, каждый сватался, и каждый получал отказ.

Маруся Каракова старательно холила свое белое тело. Оно было ей драгоценно. Потому и замуж не торопилась, — боялась увядания, утраты девственной чистоты форм. Кроме того, Маруся презирала мужчин, ухаживающих за богатыми девушками. В ленивом теле Маруси Караковой жил острый, мечтательный ум. Она была влюблена в пленительный образ, созданный ее мечтою, — образ, в котором сочетались яркие черты героев из прочитанных ею романов и разрозненные черты благородства и доблести, которые порою проносились перед ее глазами в жизни.

Танцами Маруся Каракова хотела спастись от излишней полноты и потому танцевала очень усердно.

Мать Маруси Караковой, Анна Осиповна, иногда приезжала вместе с нею к Манугиной посмотреть на Марусины танцы. Садилась поудобнее, смотрела и дремала.

Анна Осиповна была простоватая, но умная женщина. В молодости она была очень красива. У было много романов. Нагольский в свои студенческие годы был короткое время любовником Анны Осиповны Караковой. Где-то в театре она увидела красивого развязного студента. Ей понравилась его свежесть, сила и уверенная манера держаться. Она взяла его так же просто, как берут прислугу, и так же непринужденно платила ему, как платят куаферу. Только одного требовала, чтобы Нагольский не попадался на глаза ее мужу.

Эта связь для Нагольского была и приятна, и выгодна. Хотя иногда и бывало жутко. Муж Анны Осиповны был пьяница, буян, самодур. Жены он почему-то побаивался и не решался ее бить, но с любовником, если бы он попался, расправился бы круто.

Потом, когда Нагольский стал на ноги и начал ухаживать за Мариею Хмаровою, эта связь прекратилась понемногу, без сцен и упреков.

Недавно Караков умер. Нагольский готов был бросить Марию Хмарову. Он сватался к Анне Осиповне Караковой. Но слишком развязный молодой человек уже надоел ей, и она уже давно презирала его за его страсть к деньгам и за его жадную во всем натуру. Она ему отказала.

Нагольский выпросил позволение бывать.

— Если я лишился вашей любви, — говорил он, — то не лишайте меня вашей дружбы. Позвольте хоть изредка бывать у вас.

— Бывайте, — с равнодушно-презрительною гримаскою сказала Анна Осиповна.

Потом Нагольский вздумал ухаживать и за Марусею. Но уже мать заразила ее своим презрением к Нагольскому.

Маруся была дружна очень и очень нежна со своею матерью. Она не слушалась матери, но ее мысли о людях часто усваивала.

Шане она нравилась очень, и Шаня с нею скоро подружилась.

У Манугиной Шаня знакомилась и со многими здешними людьми, интересными иногда, а иногда и бесцветными.

— Не пренебрегайте и такими, — говорила ей Манугина, — «как солнце в малой капле вод», и в них отражается все та же наша жизнь.

Вообще в Крутогорске Шаня узнала немало людей и многому от многих научилась.

Вечером, после разговора с Евгением, Шаня пошла к Манугиной и рассказала ей свой замысел наняться швеею к Хмаровым. Она показала Манугиной написанный Юлиею аттестат. Манугина весело смеялась и подбадривала Шаню. Говорила:

— Скучная жизнь без авантюр и мистификаций. Так хочется раздвинуть ее установленные границы.

Она давала Шане советы, как держать себя в доме Хмаровых. Научила ее словечкам и манерам крутогорской швеи. Вместе с Шанею обдумала, как ей следует одеваться, чтобы смахивать на швейку, которая сама себе мастерит наряды. Все мелочи и подробности были тщательно соображены.

— Вообще-то, Шанечка, лгать и обманывать не следует, — говорила Манугина, — но в путях любви упраздняется мораль. С гением Рода не заспоришь. Воля его сильнее всех людских норм, а ложь, продиктованная любовью, правдивее всякой земной правды.

Глава двадцать восьмая

На другой же день Шаня утром пришла к Хмаровым наниматься. Ее заставили ждать очень долго в полутемной передней. Наконец позвали в гостиную.

Варвара Кирилловна, важно развалясь в кресле, осмотрела Шаню в лорнетку. Шаня почтительно стояла перед нею.

— Белошвейка? — коротко спросила Варвара Кирилловна.

— Да, барыня, я — белошвейка, — отвечала Шаня очень скромным тоном.

— Где училась?

— У мадам Аннет.

Варвара Кирилловна внимательно смотрела на Шаню и чувствовала почему-то смутное беспокойство. Она сказала:

— Что-то у тебя, моя милая, лицо как будто мне знакомое! Мне кажется, что я тебя где-то видела.

— Мы, бедные девушки, все на одно лицо, — скромно сказала Шаня.

— Ну, не скажи. Ты — очень хорошенькая, — сказала Варвара Кирилловна.

Но сейчас же она спохватилась, что уж слишком снисходит к Шане, и поправилась:

— Недурненькая!

Варвара Кирилловна все старалась припомнить, где она видела эту красивую девушку, и никак не могла вспомнить. Шаня на ее расспросы отвечала, что жила всегда только в Крутогорске и что нигде в других городах не случалось ей бывать. Варвара Кирилловна спросила:

— Как тебя зовут, милая?

— Меня зовут Лизой, — сказала Шаня, слегка краснея.

«Бедная Лиза», — припомнилось Шане почему-то и как-то неопределенно захотелось не то засмеяться, не то заплакать. От этого лицо ее приняло умильное выражение и стало совсем похоже на лицо бедной девушки, которая пришла наниматься и боится, что ее не возьмут.

— Рекомендация есть? — спросила Варвара Кирилловна.

Шаня вынула из сумочки лист бумаги, на котором Юлия вчера написала:

АТТЕСТАТ

Сим удостоверяю, что предъявительница сего, дочь крутогорского мещанина Елизавета Ивановна Любимова, жила у меня в качестве домашней портнихи и белошвейки в течение двух лет, обязанности свои исполняла весьма усердно и умело, вела себя безукоризненно, своею честностью, скромностью и услужливостью заслуживала полного доверия и была полезна в доме, отпущена мною сего сентября вследствие отъезда моего за границу.

Жена генерал-майора В Страхова

Варвара Кирилловна внимательно прочла эту бумажку и спросила:

— Что же ты хочешь получать?

— Что положите, — все с тою же скромностью отвечала Шаня. — Я очень нуждаюсь в работе, буду рада всякому заработку. У меня — больная мать на руках.

— Это мне все равно, — строго сказала Варвара Кирилловна. — У меня не благотворительное заведение. Я потребую хорошей работы. Лености и плохой работы я поощрять не могу и не считаю нужным.

— Надеюсь, что вы останетесь мною довольны, — сказала Шаня, — уж я постараюсь вам угодить.

Варвара Кирилловна подумала, еще раз внимательно и строго осмотрела Шаню с головы до ног и наконец решила:

— У тебя хорошая рекомендация. Я тебя беру. Смотри, постарайся оправдать рекомендацию твоей генеральши. Начнешь завтра утром, в десять часов.

На другой день ровно в десять часов Шаня уже была у Хмаровых. Ее посадили шить в маленькой проходной комнате между гостиною, столовою и буфетною, окнами на двор.

Варвара Кирилловна обращалась с Шанею высокомерно и грубо, как и со своими горничными, которые у нее часто менялись. Она говорила Шане «ты», называла ее Лизаветою, и только изредка, в виде особой милости и ласки, Лизою. Платила скаредно, да и то старалась обсчитать, затянуть платеж, недодать. Нередко кричала на Шаню, если работа ей не понравится или покажется, что Шаня работает медленно. При этом Варвара Кирилловна не стеснялась в выражениях, не избегала бранных слов, и даже иногда казалось Шане, что она готова поколотить ее. Но Шаня старалась изо всех сил и работала быстро и хорошо.

В те часы, когда Шаня работала, Варвара Кирилловна и Мария в гостиной и в столовой говорили по-французски, чтобы швея Лизавета не подслушивала барские разговоры. Но настолько-то Шаня знала этот язык, чтобы понимать их несложные фразы, — ведь говорили по большей части о пустяках.

Чтобы иметь возможность каждый день ходить к Хмаровым, Шаня записалась на драматические курсы и говорила дяде Жглову, что кроме того берет уроки живописи.

Хотя и подозрителен был дядя Жглов, но у него не было времени внимательно следить за девицами. Почти весь день он сидел в конторе, а иногда уезжал куда-то по делам. Да его даже и тяготило, что у него живет Шаня. Он думал, что она — сорванец, избалованная девчонка и что она может иметь нехорошее влияние на скромную Юлию. Чем меньше она остается дома и чем меньше бывает с Юлиею, тем, казалось ему, лучше.

Комната, где у Хмаровых шила Шаня, оказалась удобною для наблюдений: из нее видны были и гостиная, и столовая, и все было слышно, что там говорится. Тут Шаня видела и слышала родственников Хмаровых, Катю Рябову и ее отца, Нагольского и многих других. Слышала разговоры, довольно откровенные. В это время ей пришлось узнать много неожиданного.

Если бы она не была так ослеплена любовью к Евгению, она уже из этих разговоров поняла бы, что из такой семьи не может выйти порядочный человек. Евгений и сам иногда являлся ей с непривлекательной стороны в своих домашних разговорах и поступках и в разговорах о нем домашних.

Варвара Кирилловна очень часто жаловалась и домашним, и гостям на свои нервы, на мигрени и на прочие свои несчастия.

Когда не было гостей, из столовой нередко слышались яростные крики, — Варвара Кирилловна бранила прислугу. Иной раз Шане слышались даже звуки пощечин. Когда потом раскрасневшаяся, смущенная горничная торопливо, с виноватым или сердитым видом пробегала через комнату, где Шаня шила, Шане казалось, что на ее щеке еще видны беловатые на ярко-красном полоски.

Шаня ходила через черный ход и свое верхнее платье оставляла на кухне. Поэтому, хоть она избегала долгих разговоров с прислугою, все-таки ей нередко приходилось слушать ворчливые жалобы горничной и кухарки.

— Тридцать лет на свете живу, — говорила горничная, — из Ярославской губернии приехала, сколько городов проехала, а такого человека не видела ругательного. Изругала, как хотела, облаедка долгоносая.

Евгений разговаривал с прислугою небрежно-повелительным тоном, иногда покрикивал довольно грубо, и это тоже досадовало Шаню.

Но любовь все являет в райском осиянии.

Евгений старался почаще бывать около той комнаты, где шила Шаня, чтобы при случае поболтать с нею. Но говорить приходилось редко: Варвара Кирилловна думала, что за чужим человеком в доме надобно следить, — как бы чего не украла бедная швейка, — и потому старалась не оставлять Лизавету без присмотра. То она сама, то Мария почти постоянно сидели в гостиной или в столовой и поминутно заглядывали к Лизавете.

Но любовь хитра и смеется над помехами. Нередко при Варваре Кирилловне Шаня ухитрялась передать Евгению записочку. Всегда Евгений бывал смущен этим и потом упрекал Шаню за неосторожность, встретившись с нею в саду или в гостинице.

— Попадешься когда-нибудь, — говорил он.

— Не попадусь! — самоуверенно отвечала Шаня.

И продолжала свое, — передавала записочки дерзко и ловко, у всех на глазах. Передаст, — и рада. Засмеется тихонько, песенку замурлычет. Варвара Кирилловна и Мария с негодованием переглянутся. Их оскорбляет такая вольность, — не к лицу она бедной девушке. Сделают ей строгий выговор.

— Лизавета, как тебе не стыдно! — с возмущением говорит Варвара Кирилловна. — Ты забываешься! Вспомни, где ты находишься. В барских комнатах нельзя вести себя, как в харчевне.

Шаня смирно просит прощения и даже притворяется испуганною, — пригнется к своему шитью и сделается совсем маленькою. Потом, когда ее перестанут бранить, она говорит:

— Я хотела угодить барышне моей песенкой. Я думала, что им понравится. У меня — хороший голос, я в приюте в хоре пела. Наш регент меня очень хвалил.

Варвара Кирилловна величественно отвечает:

— Ты очень глупа, моя милая. Барышня слышала настоящих певиц, о которых ты и понятия не имеешь. Барышня за границей была в самых лучших театрах и всех знаменитых певцов и певиц слушала. Ей твой писк не может быть интересен.

Шаня вздыхает с видом завидующей и тихонько говорит:

— Счастливые господа! Везде-то побывают, все увидят, все услышат.

— Шей, шей, не ленись, — говорит Варвара Кирилловна. — Тебя не для разговоров нанимали, а для работы.

Но, раззадоренная притворною завистью бедной швеи Лизаветы, она принимается вспоминать о своих заграничных впечатлениях. Будто бы разговаривает с Мариею. Вдается в подробности, — как все там хорошо, изысканно, прекрасно. Шаня завистливо вздыхает и тихонько говорит:

— А мы-то весь век проживем, того никогда не увидим.

Все пышнее и пышнее распускается павлиний хвост, все необузданнее льется хвастливая, суетная ложь. К матери и дочь пристанет.

Идя однажды утром к Хмаровым, Шаня увидела в окне магазина очень красивые, вкусные на вид груши. Шаня зашла в магазин, выбрала одну крупную грушу, купила ее и положила в свою сумочку. Веселая, лукавая улыбка играла на ее румяных губах.

В комнате, где шила Шаня, стоял маленький, красивый буфет. Туда ставили только фрукты и печенье. Шаня любила фрукты и все сладкое. Ей всегда по-детски становилось завидно, когда при ней ели сладкое, а ей не давали. Шаня думала, что и сегодня, как всегда, у Хмаровых будут фрукты. Вдруг ей захотелось сошкольничать. Для того и купила грушу, — «пусть подумают, что у них стащила».

И в самом деле, фрукты были сегодня куплены. Варвара Кирилловна положила в две вазы яблоки, груши и виноград. Потом она и Мария тут же, у буфетика, съели по груше. Поговорили, на этот раз по-русски, чтобы слышала Лизавета, о том, какие это дорогие и очень вкусные груши. Потом Варвара Кирилловна ушла, а Мария съела еще одну грушу и тоже вышла.

Шаня вынула свою грушу и принялась не спеша есть ее. Как раз в это время вернулась Варвара Кирилловна. Взглянула на швею Лизавету, увидела, что она не шьет, что в ее руках начатая груша и остолбенела от ужаса. Едва веря своим глазам, она грозно глядела на дерзкую швею. Та не смутилась и продолжала есть.

Варвара Кирилловна крупными шагами подошла к буфетику и пересчитала груши. Трагически пожала плечьми. Проговорила негодующим голосом:

— Одной не хватает!

Подошла к Лизавете, устремила на нее сверкающий, грозный взор и закричала:

— Что за мерзость! Послушай, Лизавета, что же это такое?

— А что? — невинным голосом спросила Шаня.

Она вытерла влажные от груши пальцы носовым платком и сказала:

— Я только минуточку, я сейчас начну шить, только вот грушу доем.

Варвара Кирилловна дрожала от злости, топала ногами и кричала:

— Какая наглость! Таскать чужие груши только потому, что я не замкнула их на ключ! Я не обязана угощать всякую дрянь своими грушами!

Шаня улыбнулась.

— Вот вы что подумали! — спокойно сказала она. — Да это — моя собственная груша. Шла нынче утром мимо фруктового магазина, соблазнилась, дай, думаю, куплю грушу, хоть разок попробую, что за сладости богатые господа кушают.

— Как твоя собственная! — воскликнула Варвара Кирилловна. — Ты мне в глаза врешь! Здесь одной груши не хватает.

Она вся покраснела от негодования. О, недаром она всегда говорит, что в России — вор на воре, что русский простой народ весь сплошь изворовался и изолгался!

Шаня смотрела на нее, наслаждаясь ее бешенством. Она спокойно сказала:

— Когда вы ушли, барышня взяли еще одну грушу и скушали.

Варвара Кирилловна закричала так громко, что стекла в оконных рамах тихонько загудели:

— Ты врешь, скверная девчонка! Сожрала чужую грушу и сваливаешь на барышню вместо того, чтобы признаться и попросить прощения. Этакая негодяйка! Вот я сейчас же пошлю за твоею матерью, ты у меня узнаешь, как воровать в том доме, где работаешь!

Шаня засмеялась. Своим звучным голосом покрывая визг Варвары Кирилловны, она сказала:

— Да чтой-то вы, барыня, не разобравши дела, так сердитесь! Это мне даже смешно. Никогда воровкой не была, у родной матери куска сахару не стащила. Спросите у барышни, — вот и она идет, легка на помине.

Мария вошла. Ей было любопытно узнать, за что ее мать так разносит Лизавету. С удивлением она увидела, что мать, взбешенная, топает ногами на Лизавету, а та хоть и покраснела, но смеется. Шаня обратилась к Марии:

— Барышня, заступитесь, — барыня меня из-за вас обижают. Они одной груши недосчитались и думают, что это я взяла. А это — моя

груша, купленная. Скажите, пожалуйста, вашей маменьке, что это вы вторую грушу скушали.

Мария вспыхнула и призналась:

— Ну да, когда ты, мама, вышла, я съела еще одну грушу.

Варвара Кирилловна смутилась. Но постаралась сохранить гордый вид. Процедила сквозь зубы:

— Извини, пожалуйста, Лиза. Но ты могла бы выбрать другое время, чтобы есть груши. Ты можешь запачкать барышнино белье.

— Я руки вымою, — сказала Шаня.

Она быстро доела свою грушу, потом засмеялась и сказала с простодушным видом:

— Ну что ж, барыня, я не обидчива. Нам, бедным девушкам, на все обижаться не приходится. А уж если вы хотите меня приласкать за то, что воровкой меня без всякой моей вины поставили, так дайте мне одну вашу грушу.

Варвара Кирилловна сделала большие глаза.

— Это — очень дорогие груши, — внушительно сказала она.

— Ничего, — говорила Шаня, — я и дорогую съем. Дайте, право, уж будьте добренькая, а то ведь мне очень обидно, что за воровку меня сочли.

Шаня вытащила платок и притворилась, что собирается заплакать.

— Нахалка! — пробормотала Варвара Кирилловна.

— Она глупа, — сказала по-французски Мария.

Варвара Кирилловна порылась в вазе, выбрала грушу поплоше и поменьше и подала ее Лизавете, не глядя на швею. Мария стояла в стороне и строго смотрела на глупую Лизу.

Шаня ела грушу и говорила:

— Ой, кислая какая! Где это вы покупали? Моя была гораздо слаще и вкуснее.

Варвара Кирилловна сказала по-французски:

— Глупа до святости.

И вышла из комнаты. Мария постояла у буфетика, в замешательстве глядя на разрумянившуюся глупую Лизу, потом медленно подошла к ней и спросила:

— Лиза, отчего вы так покраснели?

Шаня быстро глянула на нее, усмехнулась, потупилась и сказала тихо:

— А вы думаете, барышня, весело слушать, как тебя воровкой честят?

— Но у вас такие красные щеки, — сказала Мария.

Она осторожно потрогала пальцами Шанину горячую щеку и, вся вдруг зардевшись, спросила дрогнувшим голосом:

— Надеюсь, что мама вас не тронула?

Шаня засмеялась.

— Нет, Мария Модестовна, вы вовремя подошли.

— У мамы очень нервы расстроены, — говорила Мария, — потому она такая вспыльчивая. Но она очень добрая.

Глава двадцать девятая

Разговоры в доме Хмаровых, которые Шане приходилось каждый день слышать, сначала были ей очень любопытны. Перед нею в этих разговорах раскрывались занятные подробности совершенно нового для нее быта. Потом, дома, она пересказывала их Юлии, и обеим девушкам многое казалось смешным и странным; чужое редко нравится.

Вскоре все, что у Хмаровых слышала Шаня, стало так досадно ей и так надоело и опротивело, что она старалась ни во что не вслушиваться. Но невольно слушала, и хоть отрывки западали в ее память, и каждый день вливал в ее душу злость и досаду.

Очень много сплетничали и злословили, говорили о чужих делах, свадьбах, похоронах, карьерах, деньгах. В каждом слове дышала твердая уверенность в том, что надобно приобретать связи и пользоваться ими.

Однажды Шаня услышала у Хмаровых имя Томицкого. Она стала прислушиваться.

Еще когда Шаня была в Сарыни, Томицкий, окончив гимназию, повенчался с Дунечкою. К общему изумлению и товарищей, и учите-

лей, он не пошел в университет. Он поселился верстах в десяти от Сарыни в своем небольшом именьице, доставшемся ему от недавно умершей матери. Там он намеревался жить просто и справедливо, работать и служить народу.

Письма, которые Шаня получала от Дунечки, дышали счастием и радостью. Правда, иногда Дунечка жаловалась в этих письмах на чрезмерную строгость своего Алеши, который в образе их жизни не допускает никаких отклонений от согласно принятых ими обоими принципов. Но и самые жалобы эти были светлы и веселы, они разрешались бодрыми выражениями уверенности в правоте избранного ими пути и горячими словами о готовности смело и весело идти по этому пути и творить жизнь свободную, чистую и справедливую. Получая эти письма, Шаня испытывала и большую радость, — за Дунечку, и горькую печаль, — за себя, по сравнению. Она еще не знала, что сравнивать никогда не следует.

В гостиной разговаривали недовольными, возмущенными голосами.

— Вот вам образец совершенно неприличного брака, — говорила Варвара Кирилловна, — молодой человек Томицкий, Женин товарищ по сарынской гимназии. Он, знаете, из очень хорошей семьи, и в Петербурге у него есть очень влиятельные родственники.

— Его мать — урожденная баронесса Пуппендорф, — пояснил Аполлинарий Григорьевич.

Варвара Кирилловна продолжала:

— И вот нам пишут о нем ужасные вещи. Можете себе представить, он женился на какой-то мещанке или даже, кажется, на крестьянке, словом, на девушке без всякого воспитания и без связей, и поселился с нею в деревне. Словом, нечто ужасное.

— У нее даже имя простонародное, Авдотья, кажется, — сказал Аполлинарий Григорьевич.

Тоном ко всем благожелательной барышни сказала Мария:

— Однако она все-таки кончила гимназию, там же, в Сарыни.

Леонид Иванович Варнавин, безукоризненно-корректный молодой чиновник на очень хорошей и видной служебной дороге, женатый на дочери Аполлинария Григорьевича, насмешливо спросил:

— И что же, он ухитряется быть счастлив?

Варвара Кирилловна говорила:

— Да, он пишет своим родным, что совершенно счастлив. Но это — чисто животное счастие. Отказаться от карьеры, пренебречь связями и служить народу, — какая глупость!

— Оба работают в поле, как простые люди, — с выражением благовоспитанного ужаса сказала Мария. — И даже, кажется, обходятся одною прислугою.

— Ну какая там прислуга! Им приходится обрезывать себя во всем, — вставил Аполлинарий Григорьевич.

Рябов грубо захохотал и сказал громко и уверенно:

— Это они, видите ли, опростились. Знаю я таких, достаточно насмотрелся. Как же, целые колонии устраивают. Одеваются, как простые мужики и бабы. А мужицкого дела по-настоящему не знают, и все у них идет вкривь и вкось. Что ж, эти ваши Томицкие снимают землю в аренду или у какого-нибудь хозяйственного мужичка батрачат?

Аполлинарий Григорьевич отвечал:

— Нет, у Томицкого есть около Сарыни именьице маленькое, по наследству. У его деда, барона Пуппендорфа, было одиннадцать дочерей, и он дал каждой из них в приданое по клочку земли.

— Это имение дает гроши, — сказала Варвара Кирилловна. — Этот молодой человек в десять раз больше мог бы иметь на службе.

— Еще бы! При его связях! — сказала Мария. — Барон, его дядя, очень многое может сделать. Он так влиятелен!

Шаня подумала: «Такая молоденькая, а о связях и протекциях до тонкости все понимает».

— Получают с имения какую-нибудь тысячу рублей в год, — говорила Варвара Кирилловна. — И они еще ухитряются тратить половину своих денег на этих ужасных мужиков!

Сердитым тоном оскорбленной добродетели сказала Наталья Александровна Рябова, Катина мать:

— Эта госпожа, Авдотья, или как там ее зовут, может быть, совершенно на месте в своей обстановке. Но я удивляюсь, что родственники несчастного молодого человека ничего не предпри-

мут для его спасения. Надо бы написать его дяде, барону Пуппендорфу.

Шанины мысли перескочили на почтенную семью Пуппендорфов. Ей казалось, что все одиннадцать баронесс пахли камфорою. Меж тем что-то длинное говорил приват-доцент Леснов.

— Вы, конечно, читали? — спросил он.

— Как вы сказали? — переспросил Нагольский. — Как имя автора?

— Рабле, — сказал Леснов.

— Нет, не читал, — говорил Нагольский. — Я современных французских беллетристов не читаю. Так безнравственно, что внушает величайшее отвращение.

Леснов засмеялся.

— Ну, это вы хватили совсем из другой оперы, — сказал он с своею обычною резкостью.

За эту резкость очень недолюбливали его в доме Хмаровых. А принимали его и даже ухаживали за ним потому, что Варваре Кирилловне казалось, что присутствие молодых ученых сообщает оттенок серьезности ее салону. И, кроме того, при случае он может быть полезен Евгению.

Шаня думала: «Да этот Нагольский меньше меня знает. Почему же такие люди, как он, считают себя образованными? Это — узкие специалисты, и за пределами своего маленького круга каждый из них ничего не видит».

Она задумалась и не слышала того, что говорили дальше. Потом ее внимание привлек гудящий голос Рябова:

— Мужик — каналья. На него нужен-с, я вам доложу, кнут. Вы мне поверьте-с. Я мужичью натуру досконально знаю. У меня мужик, доложу вам, вот где сидит.

Шаня, и не видя, представила живо, как грузный, краснолицый Рябов колотит себя громадным кулаком по толстой шее. Ей стало забавно. Засмеялась, вспомнила, что могут услышать, постаралась подавить смех и закашлялась. Варвара Кирилловна вышла из гостиной. Приблизясь к швее Лизавете, она сделала сердитое лицо и свирепо прошептала:

— Прошу потише. Кашлять, и сморкаться, и вообще проявлять себя можешь в кухне. А здесь гостиная рядом.

Потом, отвернувшись от Шани, мигом перекроила свое лицо на любезное и вышла к гостям, извиняясь за отлучку.

Послышался тоненький, притворно-наивный Катин голосок:

— Ведь уж, кажется, доказано Дарвином, что мужики происходят от обезьян.

Засмеялись и восклицали:

— Но это прелестно!

— Восхитительно!

— Она очаровательна!

Катя восклицала обиженным голосом:

— Неужели я опять сказала глупость? Но это Женечка меня подвел. Я не виновата.

— Катя, вы меня не совсем так поняли, — сконфуженным голосом сказал Евгений. — Я говорил вообще о происхождении человека. Генеалогиею мужиков я не особенно заинтересован.

Томным голосом произнес молодой поэт Кошурин:

— Мужик — собака, рыдающая о властелине.

Шаня живо представила изумительный галстук молодого Кошурина, его жирные, вихляющие бедра, оскар-уайльдовскую прическу, мягкие, бледноватые губы и большие порочные глаза, которыми Кошурин прельщал дам и пугал девиц.

Студент Сосницкий непрекаемым тоном самоуверенного, жирного пошляка говорил:

— Закон наследственности абсолютно доказывает наше превосходство над мужиками. Мы десятками поколений изощряли свои способности в области высших, духовных интересов, которые все это время оставались мужикам совершенно чуждыми.

Катина мать, Наталья Александровна, дама очень добродетельная, лимонно-желтая, с длинным лицом и кислыми собачьими глазами, томно говорила:

— От этих людей нельзя ждать благодарности. Что ни дай, им все мало. Благодетельствовать им — тяжкий подвиг.

— Земли мало, и знаний мало, — сказал Леснов. — При таких условиях трудно мужику развернуться. Поневоле единственная забота лишь о том, чтобы насытиться.

Сухим доктринерским тоном Леснову ответил Варнавин:

— Смею думать, что никто никому не мешает богатеть. Нищие, — значит, ленивые или умственно отсталые. А неравенство всегда было и должно быть в человеческом обществе. Иначе было бы совершенно немыслимо правильное распределение функций в какой бы то ни было общественной или государственной организации. Таково, по крайней мере, то мнение, которого я придерживаюсь.

— Совершенно с вами согласен, — сказал Аполлинарий Григорьевич.

Студент Сосницкий говорил:

— Только сильное, здоровое имеет право на существование. Нищета, как проказа, отвратительна.

Кошурин воскликнул:

— Пусть прокляты все неудачи, все мертвые и Сатана! Скалы же — вечные стражи.

Когда гости ушли, Варвара Кирилловна опять сделала выговор Шане за нарушение тишины в барских комнатах.

В ясный морозный день в начале зимы Шаня услышала, как Мария в гостиной говорила Варваре Кирилловне по-французски:

— Я забыла рассказать вам вчера, мама, об одной забавной встрече. Можете себе представить, мама, — на катке я встретила вчера вечером знаете кого? Нашу швею. Катается под звуки музыки.

— Не может быть! Вот эту дурочку? — с удивлением спросила Варвара Кирилловна.

И опять Шаня, и не видя, живо представила, как Варвара Кирилловна таращит в знак удивления свои тупые, злые глаза и какое у нее при этом становится глупое лицо. С жадным любопытством Шаня приготовилась слушать, что о ней будут говорить. Мария отвечала матери:

— Ну да, эту бедную девушку. Она катается очень недурно, одета, как барышня, — скромно, но очень хорошо. Если она сама на себя

шьет, то ее можно будет употребить как портниху для платьев попроще, тем более, что берет она сравнительно недорого. И коньки у нее очень хорошие, и очень изящная обувь. Не понимаю, откуда она берет на все это деньги!

— Все это ей совсем не к лицу, — с негодованием, по-русски, сказала Варвара Кирилловна.

Мария продолжала по-французски:

— Она увидела меня и нисколько не смутилась. Как будто это самая обыкновенная вещь. Улыбается и кланяется, точно знакомая. Удивительно развязная особа!

— Это необходимо прекратить, — решила Варвара Кирилловна. — От этих катаний для бедной девушки один только шаг к полному падению. Если она у меня работает, я обязана позаботиться об ее нравственности.

Варвара Кирилловна с величественным видом вошла в проходную комнату. Она строго сказала:

— Лизавета, я слышала, что тебя видели вчера вечером на катке в Летнем саду. Правда ли это?

— Да, — сказала Шаня, — я иногда хожу туда кататься, в свободное время.

— Во-первых, — еще строже сказала Варвара Кирилловна, — когда с тобою говорит барыня или барышня, ты должна встать.

Шаня послушно встала. Варвара Кирилловна говорила:

— А во-вторых, я считаю это совершенно неприличным.

— Но почему же, барыня? — с удивлением, слегка усмехаясь, спросила Шаня.

Варвара Кирилловна, мгновенно пришедшая в ярость от этого вопроса и от этой улыбки, которые показались ей дерзкими, закричала:

— Изволь молчать, когда с тобою говорят! И не улыбаться! Шутить с тобою я не намерена, и я без твоих дурацких вопросов скажу тебе, что считаю нужным. Ты кто? Я тебя спрашиваю, кто ты такая? Как ты смеешь молчать, негодная, когда тебя спрашивают?

Варвара Кирилловна затопала ногами.

— Я — белошвейка, — сказала Шаня.

Варвара Кирилловна запальчиво кричала:

— Ты — белошвейка, пока ты сидишь смирно и шьешь, а когда ты по каткам хвосты треплешь, ты — негодяйка!

Шаня покраснела и начала было:

— Барыня, что вы...

Варвара Кирилловна кричала:

— Молчать! Ты должна помнить, что ты — бедная девушка и тратить деньги на глупые забавы тебе не следует. А самое главное, лезть кататься туда, где катается барышня, — это с твоей стороны большая дерзость. Ты должна знать свое место и не забываться. Увидевши барышню, ты должна была немедленно уйти. На будущее время не смей ходить на этот каток. Ты слышишь, что я тебе говорю? Не смей ходить, не смей!

Варвара Кирилловна потрясала перед Шаниным лицом сжатыми кулаками, и на ее лице было такое яростное выражение, словно она собиралась поколотить Шаню.

— Вперед не буду, — сказала Шаня. — Я не знала, барыня...

Шане хотелось засмеяться. Она стояла раскрасневшаяся, потупив глаза, дергая белый полотняный поясок своего передника. Варвара Кирилловна кричала:

— Молчать! И кислой физиономии не корчить! Как руки держишь! Руки по швам держать! Стоять прямо! На полу искать нечего, — глядеть прямо на меня!

Шаня вытянулась, опустила руки, посмотрела прямо на Варвару Кирилловну. Теперь она была спокойна, и только любопытство было в ней, что еще придумает сказать эта странно-грубая, душевно распустившаяся женщина, с которой так легко соскакивала ее внешняя благовоспитанность, не основанная на твердых началах и потому столь непрочная.

Варвара Кирилловна продолжала кричать:

— Если твоя мать настолько глупа, что позволяет тебе транжирить свои гроши на катанье, так ты можешь отправляться на каток на реку, — там дешевле за вход берут и публика для тебя подходящая. И какая наглость, — какая-то ничтожная швейка, которой вся цена — грош, пря-

мо идет туда, где господа катаются! Для чего это тебе понадобилось? Богатым молодым людям глазки делать? Думаешь своею смазливою рожею прельстить кого-нибудь? И что ты на меня уставилась своими коровьими глазищами! Не умеешь стоять почтительно, когда тебя бранят! Глаза опусти, голову наклони, вот так!

Варвара Кирилловна сердито шлепнула ладонью по сложенным на затылке Шаниным косам и потянула Шанину голову вперед и вниз. Шаня покорно склонила голову. Вид швеи Лизаветы, стоящей с опущенными руками и склоненною головою, наконец удовлетворил Варвару Кирилловну. Она сказала строго:

— Вперед чтобы этого никогда не было! А не то я позову твою мать, и тогда мы с тобою поговорим иначе. Я тебя научу знать свое место и не забываться.

Не дожидаясь ответа, Варвара Кирилловна повернулась к Шане спиною и вышла. Шаня тихонько смеялась, уткнувшись носом в платок, — не из тех, обшитых тонкими кружевцами и надушенных изысканными парижскими эссенциями, что она брала, когда шла на свидание с Евгением, а из простых полотняных, приличных бедной швее Лизавете.

Глава тридцатая

Дома Шаня отводила душу болтовнею с Юлиею. Девушки с увлечением рассказывали одна другой о своих любовных делах и опасениях. Конечно, пока дяди Жглова не было дома. При нем громкие разговоры не допускались. Да и шептаться было небезопасно, — дядя Жглов не любил, чтобы от него что-нибудь в доме держали в секрете. Ведь в доме у Жглова все должно быть строго и чинно.

Впрочем, Шаня нередко нарушала все заведенные дядею порядки. За это от дяди ей нередко доставалось. Дядя Жглов не стеснялся в проявлениях своего гнева.

Иногда, выходя утром из подъезда дядиной квартиры, Шаня вдруг почувствует на себе чей-то тяжелый взор. Нахмурясь, взглядывала

она невольно в крайнее к подъезду окно дядиной конторы и видела там зеленое лицо, красные глаза и высокий воротничок молодого человека, который казался ей гнусным. Их взоры на минуту встречались, — влюбленный взор зеленолицего молодого человека и сердитый Шанин взор.

Сердитый, но не равнодушный. Это давало какую-то надежду гнусному юноше, и потому он улыбался, противно растягивая синие губы, показывая редкие зеленые зубы и длинными, тощими пальцами с желтыми широкими ногтями потрагивая поддельную жемчужину булавки, воткнутой в красный галстук.

Шаня всегда после этого досадовала на себя, зачем она поддалась очарованию змеиного взгляда этих слезящихся глаз с воспаленными веками. Мерзкий осадок весь день оставался в Шаниной душе. Ей даже казалось иногда, что эта встреча взоров предвещает ей какую-нибудь неприятность; и в самом деле, так случалось не раз. Случай любит играть душою человека.

Шане так противен был этот зеленолицый юноша, так даже страшно было вспоминать его появления в окне, что она долго не решалась спросить о нем Юлию.

Наконец однажды, когда Шаня и Юлия вместе вышли из квартиры, Шаня тихонько толкнула Юлию локтем, едва заметным движением головы показала ей на гнусного юношу и тихонько спросила:

— Кто это, урод красноглазый?

Юлия улыбнулась, значительно посмотрела на Шаню и ничего не ответила. Уже когда они отошли немного от дома, Юлия сказала:

— Это — конторщик, у папы служит. Очень усердный. Его фамилия Гнейс, а товарищи его Гнусом кличут.

— Вот-то по шерсти и кличка, — сказала Шаня и засмеялась.

— Выслужиться перед папою хочет, — говорила Юлия, — все на товарищей наушничает.

— Ужасно гадкий! — воскликнула Шаня. — И все на меня смотрит, свои гнилые глаза пялит. Пройти под окном нельзя без того, чтобы он не окатил своим скверным взором, как из поганого ведра.

— Влюбился, — смеясь, сказала Юлия. — Он очень влюбчив и всегда имеет предмет. Погоди, скоро письма получать станешь.

Шаня передернула плечами, словно по спине ее пробежала дрожь отвращения.

По вечерам Шаня часто ходила в театр, иногда с Юлиею, а иногда и дядя Жглов ехал с девицами. Но уже это было довольно скучно, потому что дядя Жглов бывал всем недоволен; пьесы он находил или неинтересными, или безнравственными, актеров и актрис — бездарными. Одна актриса Манугина удостаивалась иногда его похвал. Да и то он хвалил Манугину с таким снисходительным видом, что Шане становилось досадно и обидно за нее.

А Шаня была в восторге от крутогорских театров. Все ей было внове и в диковинку. Ей нравились и опера, и драма, и фарс, и даже цирк и кинематограф.

Раза два-три Шаня встречалась в театре с Евгением. Но Евгений не любил таких встреч: в театре бывает слишком много знакомых, и могут узнать дома, что он в театре встречается с какою-то молодою девицею. Случалось даже, что завидев издали Шаню, Евгений уходил из театра.

Да и Шане эти встречи мало нравились: приходилось разговаривать с Евгением, как с чужим.

Хотя работа у Хмаровых отнимала много времени, но все-таки Шаня дома, готовясь к урокам у Манугиной, находила время усердно танцевать. Танцевала в своей комнате, если дядя Жглов был дома, или в гостиной, когда он уходил в контору.

Шаня ничего не умела делать наполовину, и за что бралась, делала с увлечением. Юлии нравились эти ее танцы, и она подолгу смотрела на них, любуясь. Иногда принималась даже и сама танцевать, подражая Шане. Но делала это она только тогда, когда знала, что отец ушел совсем из дому.

Однажды дядя Жглов с удивлением услышал сквозь потолок в его конторе быстрые, ритмичные, мягкие шаги чьих-то легко пляшущих ног. Он поднялся в квартиру посмотреть, кто это пляшет. Но он так

уж и знал, что это Шаня шалит, — Юлия, конечно, не посмела бы прыгать над головою отца. И точно, войдя в гостиную, Жглов увидел пляшущую Шаню, в алой тунике, босую. Посмотрел угрюмо, подумал, усмехнулся и сказал:

— Экономно. Немного материи надо. И для здоровья не вредно.

Шаня так увлеклась своим танцем, что и не видела дяди, хотя испуганная Юлия усердно делала ей знаки. Только тогда, когда дядя Жглов заговорил, Шаня остановилась. Она засмеялась и сказала:

— Нет, дядя, это вовсе не для экономии.

— А для чего же? — спросил дядя Жглов.

Юлия, видя, что отец не сердится, осмелела и сказала:

— Это очень красиво, папочка.

— Почаще так ходи, Шанька, — решил дядя Жглов. — Да и Юлии такую сшей. Это мне будет выгоднее.

— Смотрите, дядя, мы и на таких костюмах сумеем разорить вас, — весело сказала Шаня.

На дворе дома дяди Жглова была своя баня. Это напоминало Шане Сарынь и радовало очень.

В декабре, в субботу, как всегда, топили баню. Как все в доме дяди Жглова, и банный обряд совершался торжественно и чинно.

Сначала, в седьмом часу вечера, отправился сам дядя Жглов. Пробыл в бане долго, — любил париться. Девицы ждали. Дядя Жглов вернулся и сел в столовой пить старый арбузный мед с гвоздикою и чай с имбирным вареньем и есть мак-сбоину для приятного сна и домашние оладьи. Красный и взъерошенный, он был угрюмо доволен и любовался мрачною, солидною обстановкою своей столовой.

Тогда Шаня и Юлия отправились в баню; как и осенью хаживали они в баню босые, так и пошли, снявши обувь дома. Так дядя Жглов с детства приучил Юлию. Он и сам купался в реке, пока она не замерзнет. А Шаня и дома любила побегать по снегу босиком.

Вечер был тихий, звездный, морозный. Снег на дворе лежал белый, такой хрупкий, забавно-холодный и нежный. Его леденящие прикосновения к быстро бегущим нагим стопам заставляли все тело

вздрагивать. Было весело и холодно, и так радостно и мило краснели бегущие по неширокому двору ноги.

С громким смехом вбежали девушки в переднюю баню. Проворно разделись. Им было беспричинно смешно. Радовал переход от сухого мороза к влажному теплу и уют этого замкнутого покоя.

Но вот заплескались о нагие тела теплые и холодные струи, и тогда в этом нагретом и грешном воздухе, где пахло влажными банными листьями, Шане стало томно и стыдно. Нагота их тел, эта полезная для омовения и стыдливо сокрытая от чужих взоров нагота, сегодня раздражала и соблазняла Шаню. Казалось почему-то, что из-под полка смотрит на нее кто-то серый, влюбленный, липкий, поганый: казалось, что в парной полумгле блестят красные глаза, смеются синие губы распяленного рта и лязгают зеленые зубы гнусной твари. Стыд, подымаясь от мокрого, скользкого дощатого пола, вился около заалевшихся Шаниных колен, томил, и дразнил, и был сладок. Жутко возрастало желание отдаться тому, кто придет и возьмет, кто бы он ни был, Евгений или гнусный юноша.

Миленькая Юлия была сегодня слишком весела, может быть, потому, что ее провизор, аккуратный и бережливый молодой человек, накопил уже порядочно денег и начал присматривать себе аптекарский магазин: те, которые передавались, были для него еще слишком дороги, но все-таки надежды возрастали. И вот Юлия неумолчно болтала о своем провизоре, плескалась водою на Шаню, похлопывала, пощипывала ее. И от этих шалостей, и от этой болтовни вожделения еще больнее и неотступнее мучили Шаню. Мечтался образ Евгения. Его глаза мерещились, — смеялись, дразнили и жгли. И рядом с ним по мокрому полу стлался гнусный образ зеленолицого, синегубого юноши.

Охваченная порывом внезапной страстности, Шаня обняла Юлию. Прижималась к ней. Дико хохотала. Щекотала и целовала Юлию, целовала ее миленькое лицо, и руки, и все ее тело, белое, стройное, сильное тело молодой, здоровой девушки.

Юлия сначала смеялась и весело отвечала на Шанины ласки. Потом их порывистость и страстность вдруг встревожили ее.

— Что ты, Шанечка? — испуганно спросила она.

Шаня опустилась на мокрые, теплые доски пола, обхватила колени Юлии, прильнула к ним головою, так что ее распущенные косы обвились вкруг них, и затихла.

— Что с тобою, Шанечка? — спрашивала Юлия, склонившись к ней.

Шаня вдруг заплакала. Говорила, горько плача:

— Ах, Юлия, все еще далек день моего счастия! Так тяжело, так трудно ждать!

Евгений и Шаня по-прежнему встречались и в гостиницах, но уже теперь, когда Шаня могла каждый день видеть Евгения, обстановка этих встреч ее менее раздражала.

Иногда в начале зимы встречались на катке в Летнем саду. Это было место, где зимою собиралась молодежь хорошего общества. Здесь играла музыка, по вечерам зажигалось электричество в разноцветных фонариках и время от времени устраивались состязания на призы. Сравнительно высокая входная и абонементная плата ограждала этот хорошо устроенный каток от вторжения демократического элемента: для людей победнее были катки подешевле и попроще.

Шане здесь очень нравилось: она даже познакомилась здесь кое с кем из молодежи. Но после разговора с Варварою Кирилловною Шаня перестала ходить на каток Летнего сада.

Шаня пришла в гостиницу «Неаполь», у Турьих ворот. Ее платье было очень красиво, — Манугина обдумала его покрой. Но этот наряд Евгению не понравился. Он сказал, презрительно оглядев Шаню с головы до ног:

— С чего это ты вздумала нарядиться так странно?

— Тебе разве не нравится? — с удивлением спросила Шаня.

— Совсем не нравится, — сердито сказал Евгений. — Уверяю тебя, что это никому не может понравиться.

У него было такое выражение лица, точно Шаня кровно обидела его.

— Почему, Женечка? — спрашивала Шаня.

Так обидно ей стало. Она так старалась, так любовались и она, и Манугина этим платьем, так шла его золотисто-желтая ткань к Шаниному лицу, — и вдруг Женечке не нравится!

Евгений досадливо говорил:

— Но это не в моде, — так не носят. Ты не имеешь ни малейшего понятия о том, какая теперь мода. Здесь не Сарынь, чтобы носить платья, которые уже лет пять как вышли из моды.

Мода! Вот противное слово, презирать которое научила Шаню Манугина. И Шаня бурно рассердилась. Кричала:

— Мне нет никакого дела до моды! Выдумки парижских портних мне вовсе не интересны! А ты ничего не понимаешь. Тебе нравится только банальное. У тебя совершенно нет вкуса.

Евгений побагровел от злости. Он свирепо закричал:

— Это у меня-то нет вкуса! Ну уж это слишком! Это просто дерзость. После этого я не желаю с тобою разговаривать. Оставайся со своим мещанским вкусом, а меня оставь в покое.

Евгений принялся натягивать перчатки, делая вид, что собирается уходить. Он был уверен, что Шаня испугается и станет просить прощения. И точно, Шаня испугалась. Начала ласкаться к Евгению. Кое-как нежными словами успокоила его. И потом начала осторожно и ласково:

— А это платье, Женечка, ты напрасно похаял. Право, напрасно. Ты в него не вгляделся хорошенько. Это платье Манугиной очень нравится.

— Манугиной? — спросил Евгений.

Евгению льстило, что Шаня знакома с известною в городе актрисою. Имя Манугиной было для него ручательством, что это хорошо. Теперь он внимательнее присмотрелся к Шанину платью и вдруг увидел его в новом свете. Ведь он привык менять свои мнения, когда этого требовал признаваемый им авторитет; актриса же Манугина была бесспорным авторитетом в области дамского наряда.

Евгений сказал нерешительно:

— Да, пожалуй, если позабыть, что это не модно, то, конечно, это недурно. К тебе, Шанечка, идет, — и это главное. Впрочем, ты, Шаня, такая красавица, что к тебе все идет.

Шаня вдруг вспомнила красные глаза и гнилые зубы гнусного конторщика, который сегодня утром опять сумел-таки приклеить Шанин взор к своему противному, змеиному сверканию гноящихся глаз. Вот, посмотрел Гнус, и она опять поддалась, взглянула, — и вот, так и вышло, — Женечке ее платье не понравилось, она сама не сдержалась, сказала Женечке дерзость, обидела его. Шане стало грустно. Она слегка побледнела, вздохнула легонько, сейчас же испугалась, — Евгений не любит вздохов и кислых физиономий, — и сказала:

— Слушай, Женя, — я сегодня видела сон.

— Весьма интересно! — иронически процедил сквозь зубы Евгений.

— Правда, точно пророческий, — говорила Шаня. — Вот я тебе расскажу.

— Глупости, — пробормотал Евгений.

Его уже начинала раздражать легкая тень печали на Шанином лице.

— Нет, ты послушай, — говорила Шаня. — Это очень интересно. Будто мы с тобою гуляем в таком большом, прекрасном саду. Везде цветы, цветы.

— Удивительно, в саду цветы, а не репа! — насмешливо говорил Евгений.

Шаня слегка покраснела, смущенно улыбнулась и продолжала:

— И мы целуемся так нежно и так сладко, как будто моя душа переливается в тебя и твоя в меня. И вдруг приходит царевна в золотой диадеме и в красной порфире. В руке у нее золотая лилия, на ногах у нее золотые башмаки, а на плече у нее сидит золотая змейка-скоропейка. Лицо у царевны белое, красивое, но страшное, злое, такое гордое, и глаза горят зеленым огнем. Мне сразу стало страшно. И вдруг ты отходишь к ней. И вы с нею ушли по какой-то длинной золотой дороге. А я бегу за тобою, и не догнать, запыхалась.

Шаня заплакала. Евгений, чем бы утешать Шаню, вдруг рассердился. И даже обиделся. Закричал:

— Как тебе не стыдно, Шаня, верить в сны! Ты бы хоть последила, сколько снов сбудется, и увидела бы, какой это вздор.

Шаня, плача, говорила:

— Что ж такое! Ну и пусть не всякий сон сбудется, пусть: я, может быть, Бога успею умолить или после хорошего сна нехорошее согрешу.

Евгений сердито ходил по комнате и ворчал:

— Невежество! Предрассудки! Набита глупостями и невежеством, как гранитный камень.

Эти слова рассмешили Шаню. Смеясь сквозь слезы и вытирая глаза тоненьким платочком, отороченным кружевцами и слегка надушенным убигановскою цветущею кобеею, она спросила:

— А ты что ж, никаким приметам не веришь? Ведь сны и все указания от Бога. И разве может в душе человека быть что-нибудь так, ни с того ни с чего? Вот, остаешься одна сама с собою, отделяешься от всего внешнего мира, и видишь сон, и так глубоко его переживаешь, просыпаешься взволнованная, и все это ни к чему, так, пустяки? Не может этого быть.

Злобно и насмешливо кривя губы и как-то тупо в эту минуту ненавидя Шанин голос, Евгений сказал:

— Доморощенная философия!

— Да как же ты живешь, если ты только в своего Дарвина веришь? — спросила Шаня.

— У меня есть умственные и общественные интересы, — высокомерно говорил Евгений. — Я не могу унизиться до языческих суеверий.

— Умственные и общественные интересы, — повторила Шаня задумчиво.

В раздумье она покачала головою, усмехнулась и спросила:

— В чем же они состоят, эти твои интересы?

Евгений взглянул на нее, презрительно усмехнулся и отвечал:

— Ну, этого ты не поймешь!

— А я хочу понять и пойму, — упрямо сказала Шаня. — Читать по-печатному и я умею.

— Ну, этого мало, — важно сказал Евгений. — Надо поучиться.

— И поучусь, — сказала Шаня. — И Дарвин, и Кант, и Маркс, поди-ка, человеческим языком писали, а не ангельским.

Евгению было досадно, что Шаня называет такие имена. Ему казалось даже странным, что Шаня о них что-то слышала. Он наставительно сказал:

— Шанечка, тебе рано такие книги читать. Ты в грамматике не очень сильна, иногда в букве «ѣ» ошибаешься.

Шаня возражала:

— Нешто в букве «ѣ» дело?

— Ну все-таки, знаешь ли... И что это за слова — нешто, поди-ка! Что это за лексикон, которым ты пользуешься?

Шаня покраснела и говорила:

— Это — вздор, твоя грамотность. Вот Нагольский в букве «ѣ», может быть, и не ошибается, а имени Рабле не слыхивал, думает, что это — наш современник.

— Он — не словесник, — досадливо говорил Евгений. — У него совсем другая специальность. Ты бы с ним в области физико-математических наук поговорила. Здесь он — широко образованный человек. Вообще у тебя обо всем ужасно наивные суждения.

— Да и совсем я не такая неграмотная, — обиженным тоном говорила Шаня. — Я кое-что читала и все-таки, хоть и с грехом пополам, гимназию кончила.

— То-то вот, с грехом пополам, — с презрительною гримасою сказал Евгений. — А читала ты что же? «Приключения Рокамболя»? или «Петербургские трущобы»?

Книги, которыми сам Евгений в гимназии зачитывался. Тон его слов показался Шане таким обидным, что она заплакала. Евгений с видом недоумения пожал плечьми. Не решил еще, что лучше сделать: прикрикнуть на Шаню построже или приласкать ее. Всхлипывая, Шаня говорила:

— И если хочешь знать, Женечка, я даже очень грамотна, — я тебе ни одного обидного слова не скажу. Всю эту грамматику я твердо знаю.

И тогда Евгению стало неловко. Лаская Шаню, он смущенно говорил:

— Ну, ну, Шанечка, не надо плакать!

Шаня вытерла слезы, стараясь не вздохнуть, и все-таки нечаянно вздохнула, точно всхлипнула, и сказала:

— А дело все-таки не в грамотности. А вот что думают все эти умные и ученые господа, вот что узнать надо. Ведь не о букве же «ѣ»?

Глава тридцать первая

Шаня решилась хоть отчасти усвоить себе эти умственные и общественные интересы, о которых говорил ей Евгений и которыми, по-видимому, он так дорожил. Она начала серьезно заниматься своим образованием. Опять набросилась на чтение. Говорила себе: «Я непременно должна стать рядом с моим Евгением. Иначе ему со мною будет скучно. Не все же нам говорить о любви да целоваться. В жизни все должно быть вместе: и радость, и горе, и труд».

Шаня искала встреч и разговоров с учащеюся молодежью, актерами, литераторами, молодыми учеными. Ласковая, живая, щедрая, она легко находила себе друзей и приятельниц; ее ценили и за то, что она была приятна в обхождении, и за то, что у нее всегда можно было перехватить денег.

Читала Шаня в эти дни очень много и очень разные книги: романы знаменитых писателей, стихи, книги исторические, философские и научные, книги об искусстве. Помогали ей в выборе книг Манугина и приват-доценты Леснов и Лунев, с которыми познакомила ее тоже Манугина. Как на качелях, Шаня качалась между мировоззрениями материалистическими, идеалистическими и скептическими.

Когда уж очень трудно было Шане разобраться в сумятице идей и образов, она шла в одну из многочисленных крутогорских церквей и там горячо молилась. Лампады и мерцающие свечи озаряли ее душу тихим светом нездешнего утешения, а кроткий взор Христа Распятого говорил ей, что любви надлежит быть униженною и распятою и что душа, пострадавшая до конца, спасется. В этой земной

области или в иных чертогах будет ликовать душа, страдающая ныне, — в дому Единого Сущего обителей много.

Уже предчувствовала Шаня, что путь любви ее — стезя тернистая. Все внимательнее присматривалась к Евгению. Все настойчивее хотела понять его.

Вот он говорит о своих умственных и общественных интересах. Но что же его интересует в особенности? И сам он, — что такое он? Что в нем от него самого, что следует принять и благословить, — и что наносного, чужого, что надо одолеть? И куда пойдет он, когда станет мужем и гражданином? Туда ли, где топает ногами, перекосив свирепое лицо, яростная барыня Варвара, или туда, где бедная швея Лиза исколола иглою пальцы золотых своих рук?

Казалось иногда Шане, что в Евгении живет двойная душа. Один Евгений — милый и любит ее. Другой, из породы Хмаровых, далек от нее. Все хмаровское в Евгении было ненавистно Шане, — его гордость, самоуважение, хвастовство, его презрительность и грубость с теми, кого он считает ниже себя, и его преувеличенная вежливость, почти подхалимство, перед сильными в его кругу людьми. И отчего же так сильно в Евгении это хмаровское?

Но любовь сделает чудо, — верила Шаня, — и преобразит его, изведет из его душевной глубины нового человека.

Вспоминая первые дни их любви в Сарыни, Шаня сравнивала тогдашнего Женю и теперешнего Евгения. Иногда удивлялась тому, что он так мало изменился, а иногда пыталась объяснить это тем, что он и тогда был выше своих сверстников.

Приходили к Шане и прежние Шаньки, — по ночам, во сне, а иногда и днем мечтались. Глупые Шаньки, беззаботные, веселее смейтесь, утешайте бедную Шаню!

Когда Евгений обижал Шаню, это было хмаровское, чужое, — и Шаня терпеливо сносила обиды. Думала, — вот проснется в хмаровской оболочке светлый Евгений, и опять Шане будет с ним хорошо. А теперь надобно потерпеть.

Шанино смирение, ласковые Шанины улыбки только придавали Евгению смелости. Он умножал свои грубости. Его раздражал гром-

кий, веселый Шанин голос, бесили ее простоватые словечки, ее слишком живые движения, ее простодушное мурлыканье чувствительных песенок. Он все резче обрывал Шаню, все язвительнее смеялся над нею. И вдруг Шаня вспыхивала гневом и начинала кричать на Евгения.

Евгений недоумевал. Пожимал плечами и спрашивал с удивлением, хорошо сделанным:

— Что ты, Шанечка? Из-за такого пустяка ты так сердишься!

— Тебе все пустяки, — с горьким упреком говорила Шаня. — Тебе и вся-то я пустяк. Ты меня не любишь! Скажи мне прямо, что ты меня разлюбил!

Евгений кое-как успокаивал ее и уверял в своей любви.

Потом Шаня, вспоминая, из-за чего они поссорились, что сердило Евгения, упрекала себя за свой громкий голос, за свои привычки. Давала себе самой обещания вести себя так, как нравится Евгению, говорить потише, избегать резких движений, не напевать простонародных песенок и не употреблять слов некнижной речи. И так настойчиво следила за собою, что мало-помалу ей удавалось переделывать свои манеры. Уроки Манугиной также очень помогали ей в этом.

Иногда Шаня принималась при Евгении издеваться над Катею Рябовою:

— Красавица, нечего сказать! Умница!

Это сердило Евгения. Его самолюбие бывало больно поражено, когда Шаня позволяла себе порицать то, что имеет отношение к нему, Евгению Хмарову. Ведь все, относящееся к Хмаровым, должно быть несомненно первого сорта. Евгений с досадою говорил:

— Ведь ты же знаешь сама, Шаня, что я к ней глубоко равнодушен и никогда на ней не женюсь.

И дома многое теперь сильно раздражало Евгения. Ведь он любил Шаню, хотя и со свойственною ему вялостью чувства, но все же искренно. Притом же он привык подчиняться чужому мнению, если оно высказывалось авторитетно. И потому Шанины суждения, которые она высказывала всегда резко и решительно, ложились в его душу, что-то колебали в ней. Точно снопы ясного света ложились на домашнее, и оно тогда казалось затхлым, душным, покрытым пылью

ветхих, неумных, недобрых предрассудков. Да и в университете, хотя Евгений держался больше товарищей побогаче, все же демократические идеи липли к нему, как взвеваемая ветром или носимая пчелами цветочная пыльца липнет к рыльцу дальнего цветка.

Когда уж очень становилось противно домашнее, Евгений иногда думал: «А ну ее к черту, карьеру проклятую! Была бы только Шанька!»

И тогда он казался себе необычайно благородным и великодушным, даже до смешного, почти Дон Кихотом. И потом, встречаясь с Шанею, он говорил ей:

— Для тебя я всем в жизни готов пожертвовать, — и семьей, и карьерой, и всем.

И все же они нередко ссорились, а иногда и расходились, не помирившись.

Евгений во время ссор то горячился, кричал, топал ногами, то принимал саркастический вид и говорил язвительные слова. Особенно он любил упрекать Шаню ее мещанским воспитанием. Случалось иногда, что он толкнет, щипнет Шаню. На эти толчки и щипки Шаня уж и не обижалась, даже почти радовалась им: после них Евгению было стыдно, и он становился очень нежен.

Шаня, оставшись после ссоры одна, иногда горько задумывалась. Спрашивала сама себя: «Любит ли он меня? Да и может ли он кого-нибудь любить? Какой-то он холодный и гордый, точно Печорин, — думала Шаня. — Володя, Володя, хоть бы ты научил его любить меня!»

Но, утешая, утешали мечты, создавая Шане великолепные романы.

Шаня каждый раз показывала Евгению выученные ею танцы. Для этого, отправляясь в гостиницу, брала с собою костюм. Иногда во время танца она сбрасывала тунику и танцевала нагая.

Евгений улыбался, и лицо у него было похотливое. Он старался скрыть свои вожделения и делал вид эстетически любующегося красотою тела и танца. Это ему плохо удавалось. В первый же раз Шаня заметила павианье выражение его лица, и это ее не столько смутило,

сколько испугало. Как будто мертвец показал ей вдруг свое лицо, распаленное гнусным тлением могилы. Шаня поспешила кончить танец. Бросилась за ширму и торопливо оделась.

Вздрагивающим от волнения голосом Евгений выражал свои эстетические восторги. Лицо его было смущенное, щеки раскраснелись, дрожащие пальцы неловко пощипывали черные усики. Шаня заторопилась домой.

Дома, вспоминая похотливое лицо Евгения, Шаня опять живо перечувствовала этот стыд и этот внезапный испуг. Чего она испугалась, этого она еще и сама ясно не понимала, но ей больно и стыдно было вспоминать об этом. Хотела приискать какое-нибудь объяснение или оправдание, но все мысли тонули в быстром, знобком ощущении стыда.

Рассказала об этом Манугиной, — уже привыкла все поверять ей. Манугина сказала:

— Не сама ли ты виновата, Шанечка?

Шаня покраснела, живо спросила:

— Но чем же, Ирина Алексеевна?

— Или совсем не надо было этого делать, — сказала Манугина, — или надобно было победить его скверные мысли радостью чистого танца. Танец может быть, — да и должен быть, — невинным, целомудренным, хотя бы и страстным, но может быть и соблазнительным. Будь же внимательна к тому впечатлению, которое ты хочешь произвести на зрителя.

Шаня призадумалась.

— Спасибо, — сказала она, — я понимаю. Я буду это очень помнить.

На следующий раз не хотела Шаня повторять танец. Даже туники не принесла. Надеялась, что Евгений не напомнит о танце, что язык его будет скован тем же ощущением стыда. Но Евгений напомнил.

Он так был взволнован Шаниным танцем, что несколько дней ходил сам не свой и с нетерпением ждал минуты, когда опять увидит Шаню. И вот однажды сделанное надобно было повторять. Евгений упросил. Да и сама Шаня вдруг подумала, что не повторить еще стыд-

нее, — выйдет, как будто она тогда сделала недолжное и теперь устыдилась. В Шаниной душе загоралась яркая жажда невозможной победы. Она проворно разделась, перевязала сорочку лентою и танцевала.

Потом Евгений каждый раз, когда Шане танцевать не хотелось, упрашивал ее, принимался сам раздевать ее и капризничал и злился, если она не соглашалась. Приходилось каждый раз уступать ему.

Глава тридцать вторая

Опять сон расстроил Шаню. Она была не в духе. Комната в отеле «Венеция» была сегодня ей особенно противна, и вино было кислое, и фрукты невкусные. Шаня думала сердито: «Гнусу бы в таких комнатах своих любовниц принимать».

Шаня слушала рассеянно, что говорил Евгений. А ему хотелось развлечь ее, чтобы она поскорее развеселилась и показала ему опять свой танец, — танец и себя. А чем же ее развлечь? Конечно, рассказами о себе, о своих делах и встречах.

Евгений рассказывал все это с очень большим количеством самых мелких подробностей: все, относящееся к нему самому, всегда казалось ему значительным и интересным. Он стал уже обижаться и сердиться на то, что Шаня проявляет очень мало интереса к его речам. Думал сердито: «Плохое воспитание сказывается. Даже со мною не умеет быть любезною».

Лицо его становилось обиженным, как у ребенка, и он уже нервно покручивал черные усики.

Наконец Евгений упомянул в разговоре имя Нагольского. Шаня вспыхнула, вскочила с места и горячо заговорила:

— О, этот ваш Нагольский! Видеть его наглую физиономию противно, слушать о нем гадко!

— Что с тобою? — с удивлением спросил Евгений.

Шаня продолжала, сверкая быстрыми глазами, хмуря черные брови:

— Нагольский! Рабочих обсчитывает, казну обворовывает, с подрядчиков берет взятки, строит непрочно и дорого. Разбогатеть поскорее хочет.

Евгений, досадливо краснея, говорил:

— Как можно это говорить! Никто этого не видел. Кого он там обсчитывал! Что за вздор! Этак и всякого можно оклеветать. Нельзя же подбирать всякую грязь на улице. Это недостойно порядочного человека. Да и что значит, — казну обворовывать?

— Казенные деньги в свой карман тайком таскать, вот что это значит, — пояснила Шаня и захохотала.

Евгений презрительно фыркнул. Развалясь в обитом красным, потертым, с грязными пятнами бархатом кресле, точь-в-точь, как Варвара Кирилловна, когда она нанимала швею Лизавету, Евгений говорил циничным тоном, заимствованным у того же Нагольского:

— Казна! Скажите пожалуйста! Кто же из нее не тащит! Она для того и существует, чтобы платить. Мы не в святые записались, чтобы благодетельствовать казне. И что такое казна? Там, если я не ошибаюсь, довольно много денег, на всех нас хватит.

Евгений самодовольно засмеялся.

— Деньги-то это чужие, — с тихою злостью сказала Шаня.

Тон Евгения, этот «хмаровский» наглый тон, больно поражал и сердил ее.

— Дурацкая философия, — уже раздражаясь, говорил Евгений. — Почему же эти деньги чужие, если они лежат в моем кармане? Ведь не из чужого кошелька они вытащены, — они выданы из казначейства с соблюдением всех законных формальностей. Попробуй-ка ты украсть, как ты выражаешься, сама увидишь, что это совсем не так просто.

— Что и говорить, — сказала Шаня, — воровать не всякий сумеет. Нагольского на это взять.

— И наконец, — досадливо краснея, говорил Евгений, — прошу тебя, Шаня, не забывать, что Нагольский, каков бы он ни был, наш будущий родственник, и я прошу тебя выражаться осторожнее. Это даже неделикатно с твоей стороны и не делает чести твоему воспи-

танию, если ты позволяешь себе так отзываться о нашем будущем родственнике.

— Жаль мне тебя, Женечка, — насмешливо сказала Шаня.

Бледнея от злости, но стараясь сдержаться, Евгений спросил голосом, который ему казался ледяным, но был просто злой:

— Почему же тебе меня жаль?

С тем внешним спокойствием, которое иногда овладевало Шанею, когда она была очень зла или когда ей было очень трудно, Шаня отвечала:

— Потому и жаль, что ты обзаводишься такою роднею.

— Ну, знаешь, — высокомерно сказал Евгений, — уж если мы, Хмаровы, принимаем Нагольского в нашу семью, то этим все сказано!

— Что сказано-то? — презрительно спросила Шаня.

— А то, что, значит, мы не верим всем этим гнусностям о нем.

— Напрасно не верите. Не хочется вам верить, — резко сказала Шаня.

Евгений покраснел. Он горячо говорил, волнуясь и дрожа:

— Да, не верим, потому что не имеем основания и не имеем права этим гнусностям верить.

Дрожащею рукою он налил в свой стакан белого вина и сразу выпил целый стакан. Шаня подумала: «Охота глотать такую кислятину!»

Она сказала сердито:

— Все знают об его делах. Все, кого ни спроси.

— Мы живем не в разбойничьем государстве, — говорил Евгений. — Если бы Нагольский был таким, как ты его изображаешь, то что же дремлет правосудие?

Он посмотрел на Шаню победоносно. Шаня спокойно ответила:

— Правосудие всегда дремлет. У него на глазах повязка. А вот почему люди не тянут этого господина в суд, это уж у них надобно спросить.

Евгений убеждающим тоном заговорил:

— Пойми, что никому из порядочного общества не льстило бы родство или даже простое знакомство с уличенным вором.

— То-то вот, с уличенным. А пока не пойман — не вор? Так, что ли? — спрашивала Шаня.

— Ну, это у тебя прямо психопатия какая-то, — сердито отмахнувшись от Шани рукою, сказал Евгений.

Он неровною походкою, притопывая каблуками, заходил по рыжему, пыльному ковру. Шаня стояла у окна, — ей противно было сесть на кресло или на диван, — и невесело смотрела на Евгения. Он остановился перед Шанею и заговорил тоном наставника:

— Человек, себя уважающий, никогда не позволит себе обвинять других без достаточных...

Шаня перебила его.

— Да разве можно себя уважать! — запальчиво крикнула она.

— Отчего же нельзя? — с удивлением спросил Евгений, пожимая плечами.

— Себя! — говорила Шаня. — Себя уважать! Да ведь себя так хорошо знаешь, и сколько нехорошего сделал, и уважать! Какие зеленые глупости!

Евгений возразил с достоинством:

— Ты забываешь, что не все способны поступать дурно.

— Ну, это надо под стеклянным колпаком жить, чтобы ничего худого не делать, — спокойно возразила Шаня. — Уважают только чужих, далеких.

— А отца, мать? — спросил Евгений с таким видом, как будто подловил Шаню на чем-то несомненном, на что она не сумеет возразить.

— Вздор какой! — решительно сказала Шаня. — Отца, мать нельзя уважать, их можно только почитать. Уважать их иногда и не за что, — обыкновенные, слабые люди, и все их недостатки у детей перед глазами, — а все-таки к ним совсем особенное чувство.

Евгений пожал плечьми, презрительно усмехнулся и высокомерно сказал:

— Я положительно не понимаю, как же можно не уважать себя. Это значит — совсем потерять чувство собственного достоинства! Только низкие люди себя не уважают, какие-нибудь хамы.

Шаня досадливо спросила:

— Да зачем это надобно — себя уважать? Жалованья, что ли, больше дадут?

— Да, и жалованья больше дадут, — упрямо и тупо спорил Евгений.

— Ну! — недоверчиво протянула Шаня, призадумалась было, да вдруг захохотала. — Вот разве что так! Ну вот ты себя и уважай, как на службу поступишь, а мне жалованья не надобно.

Евгений спросил с обидою в звуке голоса:

— Ты, Шаня, и меня не уважаешь?

Шаня пылко воскликнула:

— Ты — мой бог, я тебя обожаю. Я готова пожертвовать для тебя всем, отдать тебе всю мою жизнь, всю кровь мою по капельке для тебя из моего тела выточить. Ковриком под твоими ногами разостлаться готова, — наступи на мои плечи, топчи меня своими ногами.

В страстном порыве Шаня бросилась на колени перед Евгением и склонилась головою к его ногам. Евгений досадливо поморщился. Сказал:

— Ну зачем эти излишества! Было бы гораздо лучше, если бы ты со мною поменьше спорила и побольше верила мне.

— Я тебе верю, — говорила Шаня, прижимаясь к нему нежно, — но в тебе много чужого, во что ты сам не веришь, от чего ты сам откажешься. Ведь ты и сам видишь, что это за люди — Нагольские и Рябовы. Не равняешь же ты себя с каким-нибудь Нагольским!

Евгений самодовольно усмехнулся. Мысль, что он гораздо выше Нагольского, который всегда подавлял его своею развязностью и самоуверенностью, была приятна ему. Он сказал:

— Я с тобою отчасти согласен, Шаня, но живя в свете, надо кое на что закрывать глаза. Мария привыкла жить сравнительно широко. Нагольский ей нравится, у него всегда будут деньги, он очень ловок. А у нас так много расходов.

Шаня сказала с детскою важностью:

— Надобно сберегать что-нибудь на черный день.

Евгений возразил с гримасою презрения:

— Это — такое мещанство: копеечку к копеечке прикладывать. Пусть этим твой отец занимается, а мы, Хмаровы, к этому не привыкли.

Глава тридцать третья

Однажды вечером, после театра, Евгений с товарищами был в ресторане. Заняли отдельный кабинет. В ожидании заказанного ужина пили водку и закусывали.

В соседнем кабинете ужинали Манугина, Зина Анилина со своим Крахмальчиком, Маруся Каракова, несколько актеров и два местных литератора. Манугина сегодня играла в неприятной для нее пьесе, и хотя премьера и она сама имели большой успех у публики, все же настроение Манугиной было подавленное. Она говорила:

— Мне было бы приятнее, если бы меня освистали за участие в этом балагане. Но нашей ужасной публике вот именно это и надо.

Настроение Манугиной передавалось и ее собеседникам. Беседа плохо клеилась.

Разговор студентов за стеною становился все более шумным. Манугина вслушалась вдруг и сказала:

— Тихо! Будем подслушивать. Я слышала сейчас там за стеною знакомое имя и хочу послушать, в чем дело.

— Подло, — сказал молодой актер Крахмальчик. — Дурная русская привычка — подслушивать.

Он уже давно не был основательно пьян, не бил свою Зину и потому чувствовал себя необычайно благородным. Поглядывая украдкой в исчерченное множеством царапин зеркало, он думал, что сегодня он похож на молодого испанского гранда, и жалел, что не носит усов и эспаньолки.

Маруся Каракова поглядела на него, усмехнулась и сказала:

— Не благородно, но зато интересно.

Зина Анилина молчала, сидя на диване у той стены, за которою слышались голоса студентов, смеялась беззвучно и поблескивала злыми глазками. Она всегда подслушивала разговоры Крахмальчика с дамами и теперь уже начала подслушивать, не дожидаясь общего согласия.

Немножко, для вида, поспорили и согласились. Только актер Бенгальский, дюжий молодец, ворчал:

— Ничего нет хуже — чужого секрета. Знаешь, а сказать никому нельзя.

— Студентики собрались, — шептал Крахмальчик. — По тембру голоса слышно, что все отборные белоподкладочники, реакционный, несимпатичный элемент.

Актер Крахмальчик никогда не упускал случая показать, что он имеет вполне определенные убеждения.

Из-за дверей доносился чей-то сюсюкающий, хвастливый голос:

— Вчера мы здорово выпили с князем Борькой и с бароном Сашкой. И Фогельшнель с нами был. Очень было весело.

— Что это за птица — Фогельшнель? — спрашивал Нагольский.

— О, перед ним блестящая карьера! — завистливо отвечал чей-то молодой голос.

— А сегодня он будет? — спросил кто-то.

— Обещал, — отвечал тот же завистливый голос.

— А с кем он теперь в связи?

— У него теперь Дина Мит, из «Олимпии».

— Невредная девочка.

— С большим шиком.

Послышался хвастливый голос Евгения:

— Ну что Дина Мит! Вот моя Шаня, — отдай все, да и мало.

— Откуда?

— Мещаночка одна, из Сарыни. Влюблена в меня, как кошка, а хороша, — куда до нее Дине Мит! Масса природного вкуса, изящества, грации, сложена, как Венера, а танцует, как вакханка. У Манугиной уроки берет исключительно с тою целью, чтобы для меня танцевать.

И полился ликующий рассказ, прерываемый возгласами приятелей, то недоверчивыми, то завистливыми, то насмешливыми.

Евгений и теперь, как в гимназии, любил поговорить с товарищами о своих любовных похождениях. Он не стеснялся рассказывать и о Шане. Не мало привирал при этом. Не раз и прежде он, особенно за попойками в ресторанах, хвастался перед своими товарищами Шанею, ее красотою, оригинальностью, остротою всех ее восприя-

тий и проявлений, но более всего этого — стройностью и прелестью ее девственного тела. С каким-то скотским удовольствием рассказывал он своим пьяным собутыльникам об ее маленьких, интимных приметах. Не говорил прямо, но намекал на то, что их отношения зашли уж далеко.

Кто-то спросил пьяным голосом:

— Послушай, Евгений, ты ее очень любишь?

Евгений отвечал внушительно:

— Человек нашего века должен уделять любви меньше времени, чем надеванию перчаток.

Упившийся молодой человек тянул:

— Нет, я только хочу констатировать факт. Любишь или не любишь, и больше ничего.

— Ты, Евгений, нам ее, конечно, покажешь? — спросил кто-то наглым голосом. — Как она танцует-то?

Хохотали. Евгений говорил:

— Ну что ж, это можно устроить. Только я должен предупредить, что она пока очень стыдлива, дичок еще.

— Ничего, можно так, что она и не узнает, — посоветовал Нагольский.

— А по-моему, все или ничего! — провозгласил упившийся молодой человек.

— Бедная моя Шанечка, — тихо сказала Манугина, — нашла, в кого влюбиться! Она за него душу готова отдать, а он об ней говорит в пьяной компании. И как говорит, низкий человек!

— С пьяных глаз, — презрительно оттопыривая губу, сказал Крахмальчик, — похвастать захотелось мальчику. Ну что ж! делает ей рекламу. Впоследствии ей пригодится, — дорога известная.

— Нет, Марс-Райский, вы ошибаетесь, — сказала Манугина, — моей Шанечке такая реклама не нужна.

— Но почему же не нужна? — возразил Крахмальчик. — Свободная по убеждениям своим женщина в наши дни кем же еще может быть, как не гетерою?

— Она хочет любить одного, — сказала Манугина.

— Ну, этим все начинают! — пренебрежительно сказал Крахмальчик.

Зина Анилина молчала, блестела злыми глазками и с наслаждением прислушивалась к болтовне Евгения. Бенгальский становился все мрачнее.

— Прохвост! — сказал он сквозь зубы.

Тяжело поднялся и направился к заставленной столиком двери в соседний кабинет. Манугина смотрела на него, улыбаясь. Но видя, что он уже поднял кулак, чтобы стукнуть в дверь, она сказала:

— Бенгальский, лучше бы обойтись без скандала.

— Надо проучить молодчика, — сказал Бенгальский. — Но вы правы. Не надо вмешивать вас в эту историю. Я обойду из коридора.

Бенгальский вышел. Зина Анилина затрепетала от восторга, села на столик и прильнула ухом к двери, чтобы не пропустить ни одного звука. Крахмальчик пожимал плечами и ворчал:

— Чисто русский способ разрешения инцидентов.

Через минуту в соседнем кабинете стало вдруг тихо, и только слышался мерный, глубокий голос Бенгальского:

— Вы, господин студентик, поговорите лучше о чем-нибудь другом: ваши россказни слышны в соседних кабинетах, а ваши соседи не желают слушать гнусностей о вашей невесте, тем более, что некоторые из нашей компании с нею хорошо знакомы. Если я сегодня еще раз услышу здесь имя вашей невесты, то вы будете иметь дело со мною, а это для вас едва ли будет приятно.

Бенгальский повернулся и вышел. Он славился в городе своею колоссальною силою и решительностью своего характера, и потому никто не возразил ему ни слова. И уже только тогда, когда он ушел, молодые люди очнулись и зашипели.

— Ужасно несимпатичная физиономия, — сказал упившийся молодой человек.

— Об него не стоит пачкать рук, — сказал Евгений дрожащим голосом, но так, чтобы его слов не было слышно за стеною.

— Да, эта дрянь не стоит дворянского плевка, — сказал и Нагольский с такою же осторожностью.

— Нет, ему это надо припомнить, — сказал студент с птичьим лицом и пискливым голосом. — Он вообще слишком многое себе позволяет.

Поднялся Кошурин, взял бокал и заговорил:

— Господа дворяне, я говорю вдохновенную речь. Я понимаю князя, который лежит на диване, презирая лай хамского вторжения. Лай возникшего из ничтожества масс вменяется в небывшее, и ветром колебание — звук из гнусной пасти. Простые домашние дворяне, мы против девятнадцатого февраля и за восстановление центрящих и повелителей на местах. Слуги, рабы и лакеи заимствуют блеск ливрей от края высоких гербов. Просвещенное внимание наше разлито вокруг. У дверей наших пусть стоит зеленый тихий ангел, оберегающий. Скотоподобные мужики вращаются во внешних пространствах, имея вход в хлевы и конюшни. Поднимаю мое стекло за светлое восстановление господств!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава тридцать четвертая

Рябовы были талантливые сплетники и столь же талантливые собиратели сплетен. Притом же у них было большое знакомство в городе. Удивленные и обеспокоенные тем, что Евгений в последнее время стал как-то слишком нервен и беспокоен, бывал очень неровен с Катею и даже видимо избегал частых встреч и разговоров с нею, они принялись следить за ним. Скоро они узнали, что Евгений часто встречается с какою-то девицею в разных гостиницах.

Преждевременной тревоги Рябовы не подняли. Они выследили Шаню, узнали, кто она, где живет, как она ходит под чужим именем к Хмаровым и еще многие иные подробности, — и наконец решились открыть глаза Варваре Кирилловне.

Рябовы хотели было держать это в тайне от Кати, но дочка оказалась в родителей и узнала часть секрета. Тогда уж сказали ей все, но запретили говорить об этом с Евгением.

Однажды, когда у Рябовых был званый вечер, на котором были и Хмаровы, Наталья Александровна отозвала Варвару Кирилловну в кабинет к своему мужу. Там она и Евдоким Степанович Рябов, горячась, перебивая друг друга, рассказали ей, что швея Лизавета совсем не Лизавета, а та самая Александра Самсонова, которая была знакома с Евгением еще в Сарыни.

Варвара Кирилловна была ошеломлена этим открытием. Как всегда, свое огорчение она выразила в формах преувеличенных и неестественных. Рыдая театрально, закатывая глаза под лоб, она разыграла

патетическую сцену. Рябовы утешали ее и соболезновали. Но под их утешениями сквозило злорадство.

— Вы так добры и доверчивы! — говорила Наталья Александровна таким тоном, словно доброта и доверчивость — очень непохвальные качества.

— С этими людьми нельзя так! — наставительно говорил Евдоким Степанович. — Им нельзя верить ни на грош.

— Но она принесла мне аттестат от генеральши Страховой, — говорила Варвара Кирилловна.

— Надо было справиться у генеральши, — сказал Евдоким Степанович.

Варвара Кирилловна восклицала:

— Могла ли я думать, что за мою доброту и великодушие мне так отплатят! Такою низостью! Такою черною неблагодарностью!

Условились Евгению пока ничего не говорить. Только позвали Марию, чтобы дать ей необходимые указания относительно того, как держать себя пока с братом и с этою ужасною особою. А вместе с Мариею пришла и Катя: ведь она уже знала, о чем говорят в отцовом кабинете. Евгений был сегодня с нею любезен, но она чувствовала его скрытую холодность, и ей было больно, что во весь вечер он ни разу не пошутил с нею.

Увидя входящих барышень, Варвара Кирилловна ахнула, схватилась за сердце, вскочила с кресла, пошатнулась, опять села и, собрав такими штуками на себе общее внимание, воскликнула трагическим голосом:

— Бедные мои девочки! Если бы вы знали, какое горе, какой стыд!

— Я уже знаю, — тоненьким голоском сказала Катя и заплакала.

— Мама, ради Бога, что случилось? — спрашивала Мария с видом испуганной.

Рассказали и ей.

Мария, подражая матери, плакала, и ломала руки, и повторяла:

— Какой ужас! Какой ужас!

Потом она обняла Катю и нежно целовала ее. Катя плакала, закрывая лицо платочком в сложенных горсточкою руках и говорила:

— Я ему все прощу, все прощу, только бы он меня не оставил, только бы он ко мне вернулся, только бы он прогнал эту ужасную девушку.

Она ему не пара. Он с нею не будет счастлив. Если бы она была из нашего круга, я бы сама благословила их любовь и ушла бы в монастырь. Но я не хочу отдать его девушке низкого происхождения, обманщице.

— Ангел! Золотое сердце! — восклицали Варвара Кирилловна и Мария.

Наталья Александровна, тронутая словами дочери, заплакала, а Евдоким Степанович тяжело запыхтел и грузно отошел в сторону, показывая дамам покрасневшую толстую шею.

Варвара Кирилловна изливалась в жалобах и в плаксивых стенаниях.

— Это — горе всей семьи, — говорила она.

Потом, забывши все свои дворянские этикеты, она принималась бранить Шаню самыми грубыми словами. Рябовы папа и мама от нее не отставали. Катя стукнула кулачком по столу и воскликнула, рыдая:

— Я бы ее на кусочки разорвала, эту низкую обманщицу!

Наконец кое-как успокоились, обмыли заплаканные глаза и вышли к гостям, весело щебеча: ведь надобно было, чтобы Евгений пока ничего не знал, и тем более необходимо было скрывать это от посторонних.

На другой день утром Шаня вошла в комнату, где она шила. Там сидела у окна Варвара Кирилловна. Она ничего не делала и усиленно заботилась лишь о том, чтобы сохранить на своем угрюмом лице наиболее свирепое выражение. От того, что она сидела здесь, в этой и без того маленькой комнате стало тесно, душно и неудобно.

Шане вспомнился тяжелый сон, приснившийся ей нынче. Ей стало скучно и тоскливо. Вспомнилась почему-то Володина могила. Словно кто-то беспощадный сказал ей:

— Ведь я же умер!

И кто-то издевающийся прибавил:

— А ты что за барыня!

Горничная Дарья, проходя порою мимо барыни, трепетала; она служила недавно и еще не надумалась требовать расчета. Барынин гнев казался ей таким же закономерным явлением, как гроза в природе. Из гостиной слышался чей-то тихий говор, — Мария разговаривала

там со своим двоюродным братом Алексеем, пятнадцатилетним гимназистом, сыном Аполлинария Григорьевича.

Шаня взглянула на Варвару Кирилловну и сразу почувствовала что-то неладное. Если бы в кухне, — швее Лизавете велено было ходить по черному ходу, через кухню, — Шаня обратила внимание на язвительную улыбку горничной Дарьи и на презрительный взгляд, которым обдала ее толстая кухарка, она еще и тогда поняла бы, что готовится что-то. Но ничего этого она не заметила. Шаня же и всегда, приходя к Хмаровым, бывала немножко взволнована и смущена радостью возможного свидания с Евгением и успокаивалась, только усевшись за шитье.

Величественно и строго встретила ее Варвара Кирилловна, — встала, выпрямилась, как жрица перед торжественным жертвоприношением, закинула голову назад.

«Точно сглазить хочет!» — подумала Шаня.

Она поклонилась, — Варвара Кирилловна не ответила на ее поклон. Повернулась к Шане спиною с преувеличенною грубостью, увидела горничную Дарью, выглядывавшую из дверей буфетной, и спросила ее:

— Молодой барин дома?

— Ушли-с, с полчаса как ушли-с, — отвечала Дарья, делая вид, что убирает что-то в буфетной.

Шаня подошла к своему столику и собиралась было приняться за работу. Столик сегодня стоял не на месте, и полотно на нем было необычно тяжелое. Едва только Шаня взяла его в руки, как послышались тяжелые шаги. Шаня подняла голову, увидела надвигающуюся на нее грозную фигуру и невольно дрогнула от вдруг раздавшегося крика.

Варвара Кирилловна накинулась на Шаню, крича:

— Что это значит? Как ты осмелилась втереться в наш дом под чужим именем? Где у тебя стыд? Где совесть?

Шаня спросила, усмехаясь:

— В чем дело?

Ясно было, что ее настоящее имя открыто. Как всегда в трудные минуты, Шаня почувствовала себя спокойною. С холодным любопытством, как посторонняя зрительница, смотрела она на покрасневшее от злости лицо Варвары Кирилловны, на ее быстро двигавшиеся, кри-

вившиеся тонкие губы, в углах которых забавно вскакивали сероватые пузырьки пены.

Варвара Кирилловна кричала:

— И ты еще имеешь наглость спрашивать? Ты воображала, что без конца можешь очки мне втирать, что этот маскарад так и пройдет для тебя безнаказанным? Нет, голубушка, маска с тебя сорвана. Ты еще в Сарыни вешалась на шею к моему сыну. Ты и здесь хочешь повторить ту же историю. Ты думаешь воспользоваться его добротою и мягким характером, хочешь приворожить его к себе. Но ты ошибаешься. Тебе не удастся выйти замуж за молодого барина. Моему сыну не надо такой шлюхи! Евгений Модестович слишком горд для этого!

Шаня пыталась сказать что-нибудь, — Варвара Кирилловна кричала все громче, сыпала упреки и угрозы. Она кричала, наступая на Шаню:

— Кто я, а кто ты? да знаешь ли ты? Знаешь ли ты, что я с тобою могу сделать? Знаешь ты, как поступают с такими потаскушками? Да знаешь ли ты, что мне достаточно сказать одно слово генерал-губернатору, чтобы с тобою обошлись, как с самою последнею негодяйкою?

Сыпались язвительные, грубые слова.

Шаня крикнула:

— Отчего вы не скажете мне этого при вашем сыне?

— А, — завопила Варвара Кирилловна, — ты, тварь поганая, хочешь, чтобы молодой барин за тебя заступался, чтобы он пошел против матери! Ты хочешь поссорить Евгения Модестовича с матерью! От такой подлой хамки, как ты, только этого и можно было ждать!

— Спросите Евгения, он скажет вам, что я — его невеста, — сказала Шаня.

Варвара Кирилловна кричала:

— У Евгения Модестовича есть настоящая невеста. Он ее любит, и она его любит, а с тобою Евгений Модестович только забавляется, как с уличною тварью.

— Вы ошибаетесь, — спокойно сказала Шаня.

Но опять кричала Варвара Кирилловна:

— Молодой барин не станет портить свою карьеру, связавшись с такою дрянью, с таким ничтожеством! И как ты могла подумать, что та-

кой изящный, благовоспитанный молодой барин, генеральский сын, польстится на какую-то грубую мужичку, на дочь какого-то торгаша!

Шаня хотела было уйти, но Варвара Кирилловна загородила выход в буфетную. Шаня повернула в другую сторону, намереваясь пройти через столовую или через гостиную. Но Варвара Кирилловна с бешеными криками забежала вперед, ухватила Шаню цепкими руками за рукав и не выпускала ее, пока не излаяла до обиды и до слез.

Из дверей буфетной выглядывали лакей, кухарка, горничная. Они смеялись и вставляли грубые замечания. Сами не раз оскорбляемые этою взбалмошною женщиною, всячески злословящие ее в своих беседах, они теперь разжигали в себе бессмысленную жестокость и, верные чада бессмысленной толпы, искренно сочувствовали той, которая обижала.

В гостиной сидели и с удовольствием слушали Мария и Алексей. Они перешептывались и заглядывали украдкою в дверь. По их лицам было видно, что этот безобразный скандал доставляет им большое удовольствие. Когда Варвара Кирилловна загибала слишком крепкое выражение, щеки Марии слабо вспыхивали, губы складывались в жестокую усмешку и лицо становилось совсем некрасивым и злым; Алексей хихикал и смотрел глазами наблудившего щенка. Слова, которые нельзя произносить в порядочном обществе, потому что стыдно, тешили теперь их слух, потому что от них должно было быть больно чьей-то душе.

Наконец Шаня, выведенная из терпения, ярко раскрасневшаяся, обливаясь слезами, закричала, своим молодым, свежим голосом легко покрывая свирепый визг разъяренной старухи:

— Не смейте говорить мне таких слов! Вы своего сына не уважаете, если мне говорите слова, которые повторить стыдно. Вы — барыня, пожилая женщина, постыдитесь ваших слуг, которые слушают вас. Перестаньте глумиться надо мною. Отпустите меня сейчас же, а не то я разобью стекла в окнах вашей гостиной и позову прохожих на помощь.

Варвара Кирилловна, не ожидавшая такой внезапной вспышки, сначала старалась перекричать Шаню, прыгала перед нею, дергала ее за рукава, визгливо кричала, точно лаяла:

— Молчать, хамка! Как ты смеешь кричать в моем доме, хамка! Молчать! Хамка! Хамка! Хамка!

Но услышав Шанину угрозу выбить стекла и вынести скандал на улицу и всмотревшись наконец в засверкавшие от злости Шанины глаза, свирепая барыня испугалась. Ей показалось вдруг, что Шаня может ее ударить. Она выпустила Шаню из рук, отскочила от нее к дверям гостиной и, величественно показывая пальцем на дверь буфетной, закричала:

— Вон! Чтобы нога твоя никогда не переступала наш порог!

Потом, обернувшись к дверям буфетной, Варвара Кирилловна крикнула:

— Дарья!

Горничная выбежала вперед, угодливо и подло ухмыляясь. Варвара Кирилловна кричала ей уже хриплым от натуги голосом:

— Выведи эту нахалку! И вперед не пускать ее и на порог! Этакая хамка! Хамка подлая!

Горничная подошла, глупо ухмыляясь, к Шане и протянула руку, чтобы взять Шаню за рукав. Шаня оттолкнула Дарью и быстро побежала через буфетную и по коридору.

Приставленная в полутемном коридоре к стене половая щетка попалась Шане под ноги, длинною палкою ударила ее по плечу, и Шаня, споткнувшись, едва удержалась, чтобы не упасть. В это время Дарья шмыгнула мимо Шани, прижимаясь к другой стене, обогнала Шаню и побежала перед нею в кухню, громко топая по полу громадными в стоптанных туфлях ступнями. Она широко распахнула перед Шанею выходную дверь и закричала гнусно и весело:

— Пожалуйте вон! Милости просим о выходе.

Кухарка схватила кастрюлю и оглушительно-звонко забарабанила по ней разливательною ложкою. Вся челядь хмаровская высыпала на лестницу. Вслед за Шанею неслись наглые восклицания, улюлюканье, хохот грубых людей и грохот кастрюли.

Шаня выбежала через ворота на улицу. Ей было стыдно, и досадно, и как-то странно радостно, — после этого гама и грубой брани очутиться на улице, среди бодрого движения и шума, и вздохнуть холодным воздухом, в котором уже растворено предчувствие близкой вес-

ны. Шанины щеки пылали, и перед глазами с еще не обсохшими от слез ресницами все казалось плывущим в красном тумане. Вдруг Шане стало неудержимо смешно.

Шаня пошла к Манугиной и не застала ее дома: актриса была в театре на репетиции. Шаня поболтала немного с веселою Маришкою, и после дикого гама злой барыни и гнусного глумления развращенной барской челяди этот человеческий разговор был ей особенно отраден.

Домой возвращаться сейчас не хотелось, чтобы не попасться на глаза дяде; тогда пришлось бы объяснять, почему так рано возвращается с урока. Хотела было Шаня зайти к кому-нибудь из знакомых, да сообразила, что в этот ранний час вряд ли кого удастся ей застать. Шаня зашла в городской музей, в книжный магазин, сделала кое-какие покупки и наконец вернулась домой, даже не глядя на часы. Чувствовала, что надобно непременно рассказать кому-нибудь о том, что с нею случилось.

Она пришла домой необычно рано. Юлия удивилась. Шаня сказала растерянно:

— Можешь себе представить, Юлия, — выгнали!

Юлия всплеснула руками. Сделала испуганные глаза. Воскликнула:

— Шанечка, да что ты! Что ты говоришь!

Шаня начала рассказывать. Засмеялась, заплакала. Юлия бросилась обнимать ее, целовать и утешать, — но уже опять Шаня смеялась. Рассказала о своем изгнании весело, в лицах. Юлия слушала и ахала. А Шаня, рассказавши, уже была утешена.

Говорила:

— Знаешь, Юлия, я и рада. Что хорошего было! Точно ходила воровать. А теперь, по крайней мере, дело начистоту. Я все ж таки думала, что чаще можно будет его видеть, поболтать когда. А они обе так тут все время и торчали, как аргусы.

— Они теперь тебе мстить станут, — опасливо сказала Юлия. — Папе нажалуются или твоему отцу напишут.

— Боюсь я очень! — досадливо сказала Шаня. — Пускай говорят, кому хотят, им же хуже, над ними же смеяться все в городе будут.

— Достанется тебе, — говорила Юлия.

— И пусть достанется, — отвечала Шаня, упрямо хмуря свои тяжелые брови. — За каждую лишнюю минутку, чтобы на милого взглянуть, я все вынести готова.

Глава тридцать пятая

Евгений в этот день вернулся домой рано. Кабинет его был направо из передней, но он пошел налево, через зал и гостиную, заглянул по привычке в проходную комнату и удивился, что Шани нет на ее обычном месте. Горничная Дарья суетливо прошла мимо Евгения. У нее было какое-то странное выражение лица. Евгений подумал, что что-то случилось.

— Барыня и барышня дома? — спросил он.

Дарья отвечала ненатуральным тоном:

— Дома, у себя-с.

Она пытливо и быстро глянула на Евгения и поспешно ушла из гостиной.

Евгений прошел в столовую. Там сидел перед стаканом давно налитого чая Алексей. Было странно, что он сидит один, словно ждет чего-то. Поздоровались и вышли в гостиную.

— Разве у вас в гимназии сегодня нет уроков? — спросил Евгений.

Алексей отвечал с неприятною, насмешливою улыбкою:

— Исполняем христианские обязанности. Сегодня у нас исповедь назначена. А я пришел пока поболтать с кузиночкою и попал на семейную сцену.

— Что такое? Что за сцена? — живо спросил Евгений.

Алексей посмотрел на него с любопытством.

— А ты разве ничего не знаешь? — спросил он.

— Меня же не было дома, — сказал Евгений.

Понижая голос почти до шепота, Алексей заговорил:

— Дело, видишь ли, в том, что тетя каким-то способом, кажется, при помощи Рябовых, проникла в один твой секрет амурного свойства. Она узнала, что швейка Лиза вовсе не Лиза и что ты с нею был знаком еще в Сарыни.

Евгений воскликнул с досадою:

— Ах, черт возьми!

Алексей торопливо, вполголоса, принялся рассказывать о том, как Шаню выгнали. Он увлекся рассказом и забыл, что это — неприятная для Евгения история. Лицо у него приняло неприятно-блудливое выражение, и он говорил, радостно хихикая:

— Ушла, как оплеванная. Это надо было видеть. Все свои фасоны растеряла. На улицу из-под ворот вылетела, как ошпаренная кошка.

Евгений растерялся и долго слушал молча, не догадываясь, что тон Алексея неприличен. Наконец он сказал:

— Однако, Алексей, ты поосторожнее. Шаня — вполне порядочная девушка из почтенной купеческой семьи, и я люблю ее.

Алексей сделал большие глаза.

— Любить серьезно! — воскликнул он. — Но в наше время это смешно. Фа! любить! ерундища какая! Для чего это тебе понадобилось? Если тебе недостаточно Кати Рябовой и непременно хочется кого-то любить, так разве нельзя найти приличную даму из нашего круга?

Евгений сделал серьезное лицо и тоном старшего говорил Алексею:

— Эти взгляды у тебя теперь — явление наносное. Ты от них избавишься, когда станешь посерьезнее.

— Едва ли! Не считаю нужным, — возразил Алексей.

— Но если ты при них останешься, — сказал Евгений, — и с ними вырастешь, то ты будешь изрядным пошляком.

В эту минуту Евгений, словно покрытый лаком Шаниных мыслей и настроений, чувствовал себя человеком с широкими, светлыми взглядами и гордился своим превосходством над Алексеем.

Алексей презрительно улыбнулся и сказал:

— Всякий порядочный человек скажет тебе то же самое, что и я, можешь быть в этом уверен.

Евгений сказал сердито:

— Всякий пошляк — может быть!

— Да и ты сам со временем придешь к тому же, — говорил Алексей. — А теперь ты ослеплен любовью.

— Да, — сказал Евгений самодовольно, — любовь имеет свои права. Если бы ты знал, какая она красавица!

— Я ее видел сегодня, — сказал Алексей. — Вполне одобряю твой вкус. Правда, она очень хороша. Очаровательная цыганка. Кокетка, — ее бранят, а она и тут глазками стреляет.

Евгений говорил с восторгом, несколько преувеличивая его выражение:

— У нее глаза светлые, проницательные, как у орлицы. А волосы, — черные, длинные, локонами падают, когда она их распустит, закрывают ее щеки! А на щеках какой нежный румянец! А губы, полные, алые, как вишни! Увидеть ее и не прийти в восторг, — да это надо ничего, ничего не понимать!

Алексей, улыбаясь насмешливо, спросил:

— Что-то ты уж очень ее расхваливаешь! Уж не хочешь ли ты на ней жениться?

Алексей подражал отцу и потому любил иронические слова и насмешливые улыбки.

— Да, женюсь, — отвечал Евгений. — Она меня любит и будет ждать, пока я кончу свое ученье и устроюсь.

Алексей с удивлением посмотрел на него и спросил:

— Ну а как же тогда Катя Рябова?

Евгений пожал плечами. Сказал:

— Ну что ж Катя! Это — вкус моей мамы, а не мой. Не могу же я жениться по чужому выбору. Было бы нелепо в таком серьезном вопросе действовать по чужой указке.

— Что ж, она имеет что-нибудь, эта, твоя избранница? — спросил Алексей.

— Тридцать пять тысяч, — сказал Евгений.

Алексей захохотал и сказал откровенно-издевающимся тоном:

— Не густо! После Катиных капиталов это уж слишком мизерно.

Евгений покраснел. Сказал:

— Она небогата, да, но я сам пробьюсь.

— Очень приятно! — иронически воскликнул Алексей. — Это, что называется, променять кукушку на ястреба. Катя Рябова и богата, и мила.

— И глупа, — сказал Евгений.

— Да, и глупа, — согласился Алексей. — Умные люди говорят, что это — также немалое достоинство в жене. А главное, богата.

Евгений надменно выпрямился и гордо сказал:

— Я — Хмаров! Хмаровы никогда не торговали своею честью.

— Честь тут ни при чем, — отвечал Алексей. — Помни, что воспитание кладет резкие преграды между людьми. Воспитание и происхождение.

Евгений разговаривал с Алексеем, а сам тревожно прислушивался к тишине, царившей в квартире. Эта тишина угнетала его, напоминая о неизбежности неприятных объяснений.

Алексей скоро ушел. Евгений пошел к Варваре Кирилловне, — объясняться. Ему казалось, что его положение будет лучше, если он сам начнет этот разговор.

Он застал у матери Марию. Мать набросилась на Евгения с упреками. Мария сидела в стороне с притворно-кротким лицом и смотрела на Евгения упрекающими глазами. Варвара Кирилловна кричала:

— Это ни на что не похоже! У тебя сестра — невеста, а ты вводишь в дом какую-то потаскушку! Вводишь ее обманом.

Евгений сначала оправдывался:

— Я ее отговаривал. Она сама это придумала. Мне самому это не нравилось. Но ей хотелось почаще меня видеть.

— Ты бы у меня спросил, — кричала Варвара Кирилловна, — хочу ли я видеть в своем доме эту подлую шлюху!

Наконец Евгений разозлился и тоже начал кричать:

— Мама, я вас прошу не говорить о ней таких слов. Вы меня оскорбляете. Шаня — моя невеста.

Варвара Кирилловна трагически захохотала:

— Ха-ха-ха! Давно ли?

— Я — не маленький, — запальчиво кричал Евгений. — Я не хочу быть под вашею опекою до сорока лет.

Варвара Кирилловна застонала, заломила руки и с видом жестоко оскорбленной ушла в свою спальню, с силою захлопнув за собою дверь. Мария смотрела на Евгения с притворным ужасом. Она сказала пренебрежительно:

— Евгений, как тебе не стыдно! Ты кричишь, как мещанин. Ты от нее перенял эти манеры, от этой ужасной девицы.

Евгений сказал язвительно:

— Ну уж это с больной головы на здоровую. Кричу не я.

Мария встала, сделала чрезвычайно благородное лицо, что очень не шло к незначительным чертам недалекой барышни и оскорбленным тоном сказала:

— Прошу тебя, Евгений, в моем присутствии не осуждать нашу бедную мамочку. Злословить ее ты можешь с этою своею подругою. А я не хочу ни от кого слышать обидных слов о моей мамочке.

Евгений пожал плечами и сказал:

— Не понимаю, из чего ты заключила, что я хочу злословить. Я и вообще-то не хочу говорить с тобою на эту тему.

В этот же день перед обедом пришел Аполлинарий Григорьевич. Он узнал от Алексея о сегодняшнем событии, обеспокоился, — больше всего на свете он боялся скандала, — и захотел поговорить с Варварою Кирилловною. Прямо прошел к ней.

Выслушав рассказ Варвары Кирилловны об изгнании Шани, Аполлинарий Григорьевич неодобрительно покачал головою.

— Напрасно вы так резко поступили, — сказал он. — Этого не надо было делать.

Варвара Кирилловна вспыхнула. Такого отношения она не ожидала. Она очень гордилась своим подвигом и была уверена, что Аполлинарий Григорьевич ее одобрит. Она горячо заговорила:

— Нет, эту дерзкую тварь, эту негодную обманщицу надо было выгнать и надо было пробрать ее так, чтобы она хорошенько почувствовала, чтобы она это на всю жизнь запомнила.

— Зачем же это? — говорил Аполлинарий Григорьевич. — Не надо гнать никого и никогда. Это совершенно бесполезно, а иногда бывает вредно.

— А что же прикажете мне делать? терпеть? — насмешливым тоном спрашивала Варвара Кирилловна. — Разыгрывать из себя смиренную христианку, которая подставляет обе щеки, если ее хотят ударить по одной?

Сказать ей: делай, голубушка, что тебе угодно? Я так не могу, я — мать. Я знаю, что вы всегда против меня. У вас страсть спорить со мною. Что бы я ни сделала, ни сказала, по-вашему все не так.

Аполлинарий Григорьевич, досадливо хмурясь, покручивая длинные седые усы, сказал:

— Евгений сам прогнал бы ее, дайте срок, а вот вы только масла в огонь подлили. Теперь эта Шанечка вам должна быть глубоко благодарна. Евгений, конечно, полетит к ней утешать ее, и мы не можем теперь даже предвидеть, чего она от него потребует. Может быть, она заставит его завтра же повенчаться с нею.

Варвара Кирилловна посмотрела на Аполлинария Григорьевича растерянно и нерешительно сказала:

— Против этой мерзавки можно и другие меры принять. Я к генерал-губернатору поеду. Я добьюсь, что ее вышлют.

— Полноте! — досадливо сказал Аполлинарий Григорьевич. — Гонимая любовь! жертвы! Вообще не понимаю, к чему было разводить эту романтичность! Надо было только следить внимательно и ждать, что покажет время.

Варвара Кирилловна пылко возражала:

— Как можно так рисковать! Что вы мне говорите! Я лучше вас знаю сердце моего сына. Я — мать.

— И потому ослеплены, — сказал Аполлинарий Григорьевич. — Вы теперь поставили Евгения в такое положение, что он считал бы себя бесчестным, если бы бросил ее. Ведь он, наверное, считает, что вы ее обидели, и сочувствует, конечно, ей, а не вам.

Варвара Кирилловна заплакала, почти непритворно, и говорила:

— Евгений такой пылкий и благородный, это — правда, но он не захочет огорчить свою мать.

Аполлинарий Григорьевич насмешливо усмехнулся и махнул рукою. Сказал:

— Я Евгения тоже хорошо знаю. Одна только надежда на то, что на сильную любовь пороху не хватит и что на смелый поступок из-за любви он не решится. Еще раз говорю, — надо внимательно следить и ждать. А плакать пока еще не о чем.

— Да разве вы не боитесь, что она его оберет? — воскликнула Варвара Кирилловна. — Вспомните, из какой семьи она происходит! Ведь эти торгаши из-за денег на все готовы.

Аполлинарий Григорьевич беспомощно развел руками.

— Конечно, — сказал он, — об этом следует подумать. Но надо очень осторожно действовать.

Все Хмаровы были очень скупы, и Аполлинарий Григорьевич не составлял исключения. Последние слова Варвары Кирилловны заставили его призадуматься. Конечно, будет очень прискорбно, если эта авантюристка завладеет Жениным капиталом. Он и так невелик, да из него еще рассчитывали позаимствовать на приданое Марии.

Варвара Кирилловна говорила:

— Может быть, Евгений и не отдаст этой проходимке сразу всех денег, — он ведь так заботится о сестре и готов отдать Марии все, что может. Но эта тварь, конечно, вовлекает Евгения в расходы, требует подарков. Все эти люди — такие продажные и низкие твари! Ведь мы не знаем, каких он надавал ей подарков. До последнего времени все это было в тайне от нас. Мне даже трудно поверить, что Евгений мог быть со мною таким неискренним. Эта негодяйка его научила. Он раньше был такой доверчивый и чистый. Она его совершенно испортит, если дать ей волю.

— Да, надо постараться это прекратить, — задумчиво говорил Аполлинарий Григорьевич. — Чем скорее, тем лучше. Но ради Бога, осторожность.

И они еще долго и взволнованно беседовали, как заговорщики.

Глава тридцать шестая

Евгений стремился поскорее увидеть Шаню, — утешить ее. Аполлинарий Григорьевич был прав: Шанино изгнание повысило температуру страсти в Евгении. Кроме того, Евгений был раздражен тем, что Варвара Кирилловна так круто обошлась с Шанею, совершенно не считаясь с его самолюбием. Теперь уже ему захотелось поставить на своем.

Раньше, оставаясь наедине с собою, Евгений или совсем не думал о том, чем кончится его любовь к Шане, или думал мало, короткими, незначительными мыслями. Просто отдавался приятному и жуткому потоку любви и неопасных приключений. С самого детства у Евгения не было прочных, глубоких чувств. Даже вкусов устойчивых не было. Ему можно было внушить любой вкус и любое мнение.

Но теперь Евгений искренно решил жениться на Шане, как только кончит курс и получит место. Жениться, чтобы поставить на своем и переупрямить мать.

Евгений трусливо и капризно злился на мать. В нем все возрастала мелкая, бессильная злость против матери и против сестры. Это чувство обрадовало его. Он культивировал его в себе. Чувствовал, что иначе ему трудно будет бороться с семьею.

После изгнания Шани Евгений чувствовал себя виноватым перед нею. Но это было чувство, совершенно непривычное для него. Он всегда умел приискивать оправдания для всякого своего поступка. Теперь он жалел Шаню, но и заранее злился, — боялся, что и она сочтет его в чем-то виноватым и станет упрекать.

И боялся Евгений свидания с Шанею, и чувствовал, что необходимо с нею повидаться. Он написал ей, — назначил свидание в гостинице «Венеция». Написал, что он в отчаянии от того, что случилось; выражал надежду, что Шаня не станет винить его в происшедшем чрезвычайно неприятном событии; уверял, что он нежно и страстно любит ее, что она — его единственная радость.

В назначенный день он пришел в гостиницу рано. Сильно боялся, что сегодня Шаня не придет. И это уже заранее раздражало его: он не умел ждать.

Шаня на этот раз и в самом деле запоздала более, чем на час. Опять дядя Жглов задержал ее какими-то своими поручениями. Потом неприятный разговор на улиц с Гнусом.

Гнус уже не раз писал Шане любовные письма. Шаня ему не отвечала. Потом он несколько раз пытался заговаривать с нею и для этого подстерегал ее на улицах. Сначала он был робок и говорил о своем чувстве намеками.

На днях Гнус и на словах признался Шане в любви. Шаня выслушала его молча. Она быстро шла по улице, Гнус семенил за нею. Сердце ее сжималось от темного, предвещательного страха, и она думала: «Не к добру дался мне этот Гнус, ой не к добру!»

Когда Гнус кончил, Шаня сказала, стараясь говорить строго, но спокойно, чтобы не обозлить его:

— Простите, Гнейс, вы мне совсем не нравитесь. И, пожалуйста, прекратите ваши ухаживания. Они меня очень стесняют.

— Я все-таки буду надеяться, — сказал Гнус. — Я — преданный и честный человек, и если вы меня полюбите, я всю жизнь молиться на вас буду. Я вам докажу, что могу быть достойным вашей любви. Со мною вы будете счастливы во всех отношениях.

Шаня пошла быстрее, Гнус понемногу отстал.

Сегодня он опять догнал ее на улице, когда она шла в «Венецию». Он сказал, слегка задыхаясь от радости и от торопливости:

— Я все знаю.

Шаня досадливо спросила:

— Что вы знаете, господин Гнейс?

Гнус радостно улыбался, растягивая свой ужасный зеленозубый рот, и зеленое лицо его сегодня казалось Шане особенно противным. Он говорил, от радостного волнения брызгая слюною:

— Насчет того, что у вас неприятность была у Хмаровых.

— Вам-то что за дело! — крикнула Шаня.

Гнус говорил противно-скрипучим голосом:

— Полюбите меня, Александра Степановна. Господину Хмарову не позволят на вас жениться. Вы увидите, он не посмеет за вас заступиться; он покорится желаниям своей маменьки, которая нашла для него невесту с грандиозным приданым. Полюбите меня, я вас на руках носить буду.

У Гнуса было такое влюбленное и мерзкое лицо, что Шаня задрожала от невольного отвращения. Она презрительно сказала:

— Подите прочь! Вы мне противны с вашим гнусным шпионством!

Лицо Гнуса покрылось бурыми пятнами. Он оскалил неровные, желто-зеленые зубы и зашипел, свирепо моргая красными веками:

— Вашему дяденьке все расскажу, и как вы с господином Хмаровым встречаетесь, и как вы к ним в дом под чужим именем ходили, все расскажу.

Шаня остановилась перед Гнусом, засверкала глазами и с тихою злобою сказала:

— Если вы посмеете это сделать, мой жених убьет вас как собаку!

Гнус немного попятился, испуганный сверканием Шаниных глаз и гневным дрожанием ее губ, но, услышав ее слова, он погано ухмыльнулся и сказал очень тихо:

— Не убьют-с. Белоручка-с господин Хмаров и к героическим поступкам окончательно не склонен.

Шане вдруг почему-то стало страшно. Она отвернулась от Гнуса и бросилась бежать. Гнус крикнул ей вдогонку:

— Подумайте! Я подожду еще дня три.

Евгений сидел в пустом кабинете гостиницы «Венеция», пил холодное рейнское вино, томился скучным ожиданием, нервничал и злился.

Наконец он решил, что сегодня уже не придет Шаня. Он заплатил за вино и вышел из комнаты. Хмурый и злой, шел он по коридору, слабо освещенному далеким светом из окна.

И вдруг, когда уже он подходил к лестнице, по ковру лестницы послышались быстро взбегающие легкие, знакомые шаги, — и вот перед ним стояла Шаня, как нечаянная радость. Он воскликнул:

— Шанечка, наконец-то! Уж я думал, что не дождусь. Что ты так поздно?

Шаня была обижена тем, что Евгений не хочет ее подождать, хотя они еще не виделись с того времени, как ее выгнали. Она обрушилась на Евгения с гневными упреками:

— Вот как, Женечка, ты уж домой собрался! Торопишься! Со мною уж некогда посидеть! Катя ждет?

Евгений смущенно оправдывался:

— Да нет, Шанечка, как ты можешь это думать! Я думал, ты уж не придешь.

Он повел ее в кабинет и помог ей снять ее отороченную мехом кофточку. Шаня, все более раздражаясь, говорила:

— Ты знаешь, я у дяди точно канарейка в клетке живу. Мало ли что может меня задержать! Да и на улице мне, как зайцу, приходится петли делать. Я не могу минута в минуту, по хронометру!

Евгений бормотал что-то. Шаня, не слушая его, кричала:

— Я не могу! Я испытала, как это приятно, когда выгоняют, — я не хочу, чтобы меня еще и дядя из своего дома выгнал. Хорошего чуть.

Она заплакала. Смущенный Евгений лепетал какие-то жалкие объяснения.

— Это — ужасно неприятный инцидент, — говорил он. — Я в страшном отчаянии.

Шаня вдруг глянула на Евгения, засмеялась сквозь слезы и принялась бойко и зло высмеивать его. Смеялась и говорила:

— Ты, пожалуйста, не воображай, что уж я совсем погибаю от того, что меня от вас выгнали. Я на днях у Манугиной с князем Паучинским познакомилась. Хороший князь! Вот выйду за князя и буду княгинею. Может быть, последний раз с тобою разговариваю.

Евгений, обидчиво краснея, говорил:

— Мы и не князья, только Хмаровы, да наш род не хуже многих княжеских.

Но лицо у него было такое сконфуженное и весь он держался так неловко и виновато, что скоро Шане стало жаль его.

— Ну ладно, — сказала она, вытирая слезы, — я на тебя уж не сержусь. Ведь я же тебя люблю и всегда хочу быть с тобою. Но если бы ты видел, Женечка, в какую у вас переделку я попала!

Она весело принялась описывать торжественную сцену своего изгнания. Представила в лицах грозную позу Варвары Кирилловны и показала, какая она сама была испуганная, униженная, умоляющая.

Евгений чувствовал себя очень неловко. Он принужденно улыбался, хмурился, бормотал:

— Ну, это ты преувеличиваешь.

— Ну, этого не могло быть.

— Ну, это у нее нервы.

Ему было стыдно думать, что Шаня станет смеяться над его матерью. Насмешек над представителями великолепного рода Хмаровых Евгений не выносил.

Но Шаня и сама чувствовала, что насмешки над матерью обидят Евгения. И потому Шаня не осмеивала ее. Все смешное обратила на себя и на горничную Дарью. Тогда Евгению стало радостно, и он опять почувствовал жалость к Шане и нежность, и опять душа его признала над собою Шанино сладостное обладание.

Опасения Хмаровых, будто Шаня разорит Евгения, отберет его деньги, введет в расходы, потребует подарков, были, конечно, совершенно неосновательны. И потому, что Шаня ничего не требовала, а больше любила дарить, и потому, что Евгений не склонен был кому бы то ни было давать то, что можно истратить на себя.

Хотя Евгений часто думал о Шане, но только один раз в эту зиму ему пришло в голову, что надобно подарить что-нибудь Шане. Но опять повторилось то же, что с ним уже было в Сарыни. Он пошел покупать Шане браслет, но по дороге часть денег оставил в ресторане с товарищами, — никак нельзя было отказаться, — а на остальные совершенно невзначай купил себе жемчужную булавку в галстук.

А Шаня дарила Евгению охотно и часто. Любила дарить. Большое удовольствие доставляло ей трепетно и заботливо выбирать вещицы и книги для подарков и соображать, что может особенно понравиться Евгению.

Шанины деньги иногда бывали нужны Евгению. Случалось даже нередко, что Евгений сам просил у Шани:

— Шанечка, дай мне, пожалуйста, рублей сорок. В долг, до будущего вторника.

Иногда он отдавал Шане эти деньги. Чаще же он делал вид, что забыл. Он думал: «Это доставляет ей удовольствие. И стоит ли мне с нею считаться! Если у меня будут лишние, а ей понадобятся, я ей дам».

В первое время в Крутогорске Шаня деликатничала и боялась оскорбить Евгения своими подарками. Потом каждый раз она бывала рада, что он берет, рада до восторга тому, что он снисходит до ее

подарков. Потом бывала рада, что может подарками угодить ему. Потом уже немножко свысока стала смотреть на эти подачки.

Какое-то странное совершалось в ней понемногу передвижение чувства. Прежде ее радовало, что Евгений стоит над нею на недосягаемой вышине. Потом, приближаясь к нему, она все более и более убеждалась, что этой высоты нет. Но от этого ее любовь к маленькому Евгению становилась еще горячее, чем была ее детская любовь к солнечно-ясному, высокому герою.

Впрочем, ощущая в сердце своем эти приливы нежности, почти материнской, к Евгению, в эти дни Шаня еще не отдавала себе отчета в том, что она смотрит на Евгения сверху вниз и что многое в нем презирает. Простосердечно думала она, что все между ними остается по-прежнему. Ведь было же для нее несомненно, что любовь ее безмерна и что в этой любви, как и в самом внешнем мире, для нее раскрываются с каждым днем все новые и новые возможности. И разве не величайшее в мире счастие — быть хоть в чем-нибудь сильнее любимого и потому иметь возможность ему служить!

А Евгений чем больше брал у Шани денег, тем больше начинал ее ненавидеть. У Евгения очень рано в любовь к Шане вкрадывалась ненависть и постепенно нарастала.

И все-таки он ее любил. Ведь ненависть — только степень любви. Тот, кто, как Шаня, вовлекает в любовь, пламенея, горит во всех ее огнях; а тот, кто в любовь вовлекается, как Евгений, бессильно корчится на ее холодеющих гранях. Солнце не успевает стынуть, луна не успевает нагреваться.

Глава тридцать седьмая

Варваре Кирилловне сначала казалось, что все очень легко и просто устроится: стоит только Шаню выгнать, на Евгения воздействовать советами и изъявлениями гнева и горя, — Евгений опомнится, вернется к Кате, и эти неприятности забудутся, и все пойдет по-прежнему.

Но вышло не так просто. Более всего беспокоило Варвару Кирилловну то, что отношения к Рябовым стали очень холодны и никак не налаживались на прежний лад.

Рябовы, разоблачив Шанин секрет, с тех пор не приезжали к Хмаровым ни разу. Как будто выжидали чего-то. Варвара Кирилловна не решалась ехать к ним первая.

Правда, Хмаровы с Рябовыми встречались довольно часто у общих знакомых. Разговоры при этом велись безразличные.

Аполлинарий Григорьевич, встречаясь с Рябовым, порою пускал в ход разные дипломатические хитрости, но Рябов внушительно и строго отмалчивался или отделывался неопределенными фразами, самодовольно посматривая вокруг:

— Ну, там время покажет.

— Поживем, увидим, — над нами не каплет.

— Катя еще так молода.

И спешил прекратить разговор.

Хмаровых мучило сомнение, — окончательный ли это разрыв или только временное охлаждение.

Думать о том, что с Катею Рябовою все кончено, для Варвары Кирилловны и для Марии было даже страшно. Это казалось им скандалом, который ставит их всех в смешное, постыдное положение.

Варвара Кирилловна не раз при Евгении заводила разговор о Рябовых. Всегда при этом она принимала такой обиженный, несчастный вид, что Евгений начинал злиться.

— Рябовы у нас уже давно не были и все не едут, — с сокрушением говорила она.

И при этом значительно смотрела на Евгения.

Евгений иногда промолчит, иногда иронически спросит:

— Ну-с, так что же из того?

Варвара Кирилловна патетически говорила:

— Но ведь это скандал!

Евгений начинал злиться. Он кривил губы, пощипывал усы. Спрашивал насмешливо:

— Разве? Да неужели? Скажите пожалуйста, какая печаль!

Варвара Кирилловна, шагая по комнате крупными шагами, говорила:

— Все в городе знали, что у тебя с Катею вполне определенные отношения, все смотрели на вас как на жениха и невесту, — и вдруг что же такое происходит! Скандал!

Евгений принимался демонстративно посвистывать, напевал притворно-весело:

Тетушку Аглаю
Я не уважаю
За ее такие
Качества лихие.

И уходил небрежною походкою. А у себя в кабинете предавался злости, — с искаженным лицом свирепо мял и рвал какие-то бумажки и швырял книги на пол. Бумажки выбирал ненужные, а книги — дешевые или чужие.

Не только Варвара Кирилловна, но и Аполлинарий Григорьевич настойчиво внушали Евгению, что разрыв с Рябовыми был бы великим скандалом.

Аполлинарий Григорьевич говорил:

— Это страшно невыгодно! И кроме того, я не понимаю, как можно вооружать против себя таких влиятельных людей, как Рябовы!

Варвара Кирилловна вторила ему:

— Где в наше время можно найти такую хорошую невесту!

— Богата и влюблена, — говорила Мария. — И она такая милая, простодушная! Мы с нею так подружились!

От своих знакомых Хмаровы старались скрыть все эти неприятности. Делали вид, что все остается по-прежнему.

— Отстанет же он наконец от этой сволочи, — говорила Варвара Кирилловна Аполлинарию Григорьевичу.

— Конечно, — поддакивал Аполлинарий Григорьевич. — Следует надеяться, что Катя от него не уйдет. А сам Евгений к решительным поступкам вряд ли способен. В нем слишком много мягкости и деликатности.

И точно, встречаясь с Катею, Евгений разговаривал с нею попрежнему. Катя вспыхивала от радости. Но уже не смела, как прежде,

приставать к Евгению с разговорами. Дома внушили ей, что она должна быть с ним сдержанна и холодна. В семье Рябовых шла упорная борьба.

Рябов хотел прекратить знакомство с Хмаровыми. Так как большая часть его громадного состояния была нажита им самим и только меньшая часть досталась ему по наследству от отца, то он еще не привык к своему богатству и имел еще преувеличенное понятие о значении своих денег и о том почтении, которое должны воздавать ему люди за то, что у него большие средства. Поэтому охлаждение Евгения к Кате казалось ему непростительною дерзостью. И уже Евгений переставал казаться ему настоящим женихом для его дочери.

Катя плакала, уверяла, что не разлюбит Евгения никогда, что умрет от любви. Портрет Евгения, стоявший на ее письменном столе, она каждый день украшала свежими розами.

Евгения скоро начали тяготить те неловкие отношения со всею семьею и с родными, в которые он стал после Шанина изгнания.

Его слабой натуре было не под силу выносить эту напряженную атмосферу. Он стал искать примирения.

Варвара Кирилловна видела, что Евгению тягостно ее неудовольствие. Вследствие свойственной ей душевной распущенности она не сумела быстро и ловко использовать это настроение Евгения. Она грубо куражилась над ним и делала ряд бестактностей и глупостей.

Эти бестактности опять бросали Евгения к Шане.

Оставшись наедине с Евгением, Аполлинарий Григорьевич убеждал его:

— Жениться на какой-нибудь мещаночке тебе, Хмарову, можно разве только в том случае, если у невесты громадный капитал, не какие-нибудь жалкие тридцать тысяч, а что-нибудь вроде полумиллиона.

— Не все же думать только о деньгах, — говорил Евгений. — Я на это не способен. Я — Хмаров, а Хмаровы никогда не торговали своею честью.

Но Аполлинарий Григорьевич хорошо знал цену этих пышных слов. Он не смущался и говорил:

— Деньги — облагораживающая сила. В них скристаллизовались труд и гений. Говорят, что деньги не пахнут. Это неверно, — пахнут,

да еще как! Благоухают! В деньгах есть аромат изящества. Миллиардеры роднятся с самыми знатными родами.

— Не один же только у них расчет, — возражал Евгений, — ему сопутствует и любовь. Пока мне нравилась Катя, я был не прочь. Но жениться на деньгах!

— Во всяком случае, — отвечал Аполлинарий Григорьевич, — деньги притягивают к себе все, чем наша жизнь красна, все утехи и радости. Ведь ты не можешь не согласиться с тем, что достоинство человека только возвышается от гордого пользования благами жизни. Несчастные, бедняки, — это, мой друг, увы! канальи, и пренесносные, озлобленные на весь мир. Несчастие — первый анархист.

Как всегда, подчиняясь чужому, властно высказанному мнению, но в то же время все еще покорный Шанину влиянию, Евгений сказал:

— Это — верно, но я не собираюсь быть несчастным. Я достаточно горд для этого.

— Великая разрушающая сила скрыта в несчастии, — продолжал Аполлинарий Григорьевич. — Собственно говоря, всех неудачников следовало бы вешать... ну, или хоть ссылать бы, что ли. Это было бы и гуманно. Если их жизнь плоха, то смерть для них — благо. Надеюсь, это вполне ясно!

Евгений выпрямился и сказал с надменною усмешкою:

— Во всяком случае, я уверен, что и своими собственными силами сумею пробиться в свете и никогда не буду жалким неудачником. У меня есть незаурядные способности, и я умею работать, это тебе все скажут. И я сумею сделать себе карьеру.

Аполлинарий Григорьевич недоверчиво усмехнулся. Сказал:

— Своими собственными силами только выскочки пробиваются. А тебе это как будто бы и не к лицу. Ты — Хмаров.

Евгений, щеголяя своими новыми идеями, поверхностно прилипшими к нему, сказал:

— Ну, дядя, в наше демократическое время это имеет очень мало значения. Никому не интересно, что «наши предки Рим спасли». Я не хочу быть поликарпом, но не хочу быть и смешным гусем.

— Наши предки, — возразил Аполлинарий Григорьевич, — умели и хотели господствовать. Лучшее, что мы получили от них в наслед-

ство, это — воля к власти. Мы, потомки хороших родов, не должны забывать этого нашего наследства. Если дворянство вспомнит свои интересы и свое право и объединится, то оно будет представлять собою такую силу, с которою никто не справится.

Гнус все настойчивее преследовал Шаню. Теперь уже он каждый день встречался ей на улице. Все смелее и откровеннее говорил он ей о своей любви. Все чаще грозил доносом.

Однажды, встретив Шаню на улице, он долго шел за нею. В его длинной речи чередовались два мотива:

— Полюбите меня.

— Скажу вашему дяденьке.

Шаня не отвечала ему ни слова. Вдруг Гнус заговорил о другом. Сказал:

— Вы разбили мое сердце. Вы окончательно погубили меня и испортили всю мою жизнь. Теперь я — самый несчастный человек на свете. Если вы меня оттолкнете окончательно, что мне делать! Я не могу оставаться у вашего почтенного дяденьки на службе и принужден буду лишиться должности и куска хлеба, потому что иначе, видя вас ежедневно из окна проходящею мимо без малейшего внимания к моим страданиям и вздохам, я не выдержу таких мучений и в один ужасный день впаду в состояние невменяемого аффекта и убью себя или вас. Но я не хочу вас убивать, и как же я могу остаться без куска хлеба! У меня маменька больная, и сестер воспитывать надо. Я знаю, что вы — богатая особа и имеете собственный капитал, и для вас не составит большой разницы уделить часть этого капитала для обеспечения своего спокойствия.

Шаня остановилась и с удивлением смотрела на Гнуса. Лицо его приняло особенно отвратительное выражение откровенной, ничем не прикрытой жадности и страха, как у человека, делающего опасный шаг и опасающегося, как бы не сорвалось. Он дрожал, воспаленные ресницы его часто мигали, и на уголках синегубого рта закипала зеленоватая, противная пена. Дрожащим голосом, торопясь, он заканчивал свое требование:

— Дайте мне хоть шесть тысяч, и я оставлю это место и постараюсь забыть мою несчастную любовь. Вы видите, что я назначаю за мое молчание умеренное вознаграждение.

Он кончил и смотрел на Шаню трусливо и нагло. Шаня закричала:

— Слушайте, Гнейс, делайте, что хотите, жалуйтесь, кому вам угодно, но откупаться от вас деньгами я не стану. И даю вам честное слово, — если вы еще раз посмеете подойти ко мне на улице, я обломаю мой зонтик о вашу голову.

Она поспешно пошла прочь. Гнус стоял, подгибая колени, весь вдруг ослабевший и взмокший, и шипел что-то.

Шаня пришла к Манугиной красная и взволнованная.

— Что случилось, Шанечка? — спросила Манугина.

Шаня рассказала про встречу и про разговор с Гнусом, и было ей противно и смешно. Она говорила:

— Этот гнусный человек смотрел на меня как на выгодную для себя невесту, а теперь хочет заработать шантажом. Но это ему не удастся.

Манугина, улыбаясь грустно, сказала:

— Он тебя любит, Шаня. В гнусном сердце этого человека смешались любовь и жадность, и самая любовь стала страстью овладеть добычею. Из таких людей выходят семейные деспоты. Поверь, Шаня, что и многие мужчины любят не иначе. Овладеть, воспользоваться, — вот основа мужской любви.

— Мой Евгений любит меня иначе, — сказала Шаня.

Манугина недоверчиво покачала головою. Спросила Шаню:

— Шанечка, отчего же ты не скажешь своему Хмарову о том, что к тебе пристает этот конторщик? Хмаров его бы живо унял.

Шаня ярко покраснела. Вспомнила, что ответил ей Гнус на угрозу пожаловаться Евгению. Страстно, словно стараясь самое себя в чем-то убедить, воскликнула:

— Ни за что! Ни в жизнь!

— Почему, Шанечка? — улыбаясь, спросила Манугина.

— Да разве я могу допустить, — горячо говорила Шаня, — чтобы мой Евгений встретился с Гнусом?

— Отчего же им не встретиться? — спрашивала Манугина. — Раз навсегда положить этому конец.

— Ни за что, ни за что! — пылко повторяла Шаня. — Пусть уж я одна терплю. Меня в жар бросает от одной мысли, что этот Гнус своими смрадными глазами посмотрит на Евгения.

Манугина, улыбаясь, сказала:

— Ну, от этого Хмарову ничего не будет.

Шаня, чуть не плача, говорила:

— Чтоб об это подлое лицо опоганилась благородная рука Евгения. Чтобы потом мой Евгений пошел домой под обаянием смрадных взоров Гнуса! Ни за что!

Видя Шанино волнение, Манугина перестала спорить. Она покачала головою и тихо сказала:

— В старину удальцы рожались, а нам от них только сказочки остались.

— Неужели вы думаете, — обидчиво сказала Шаня, — что Евгений кого-нибудь боится? Он — благородный и храбрый. А бояться Гнуса — даже смешно сказать.

Манугина ласково погладила Шаню по раскрасневшейся щеке и спросила:

— Шанечка, скажи мне, что ты чувствуешь к Хмарову, страсть или любовь.

Шаня, ни на минуту не задумываясь, сказала:

— И то, и другое, и еще многое, чего я не умею назвать. Такое широкое, такое сложное чувство! Я страстно люблю Евгения, — да нет, это — только бледные слова, — страсть, любовь!

Манугина улыбнулась, покачала головою. Сказала:

— Шанечка, страсть и любовь — совсем не одно и то же.

— Какая же разница? — спросила Шаня.

Манугина говорила:

— Любовь хочет отдаваться без конца, жертвовать всем; страсть хочет взять. Любовь хочет для другого; страсть — для себя. Любовь может быть малою, к одному, и может быть большою, всемирною, соединяющею людей; страсть — всегда малая, узкая, отъединяющая.

Шаня призадумалась. Сказала:

— Любовь — голубая, страсть — красная. Да? — спросила она.

— Да, Шанечка, — улыбаясь, сказала Манугина. — Любовь — эфир, все обнимающий. Страсть — огонь, все пожирающий. Человек любит, зверь страстен. Любовь прощает. Страсть требует. Где ревность и угрозы, там страсть, а не любовь. Любви в наши дни, может быть, и не бывает вовсе.

Шаня мечтательно говорила:

— Володина любовь — голубая, эфирная. А любовь Евгения? Цветущая роза? Ах, какие злые шипы у этой розы! Вот полюбила ж именно его! Поди ж ты! Отчего не полюбила Володю? Он был бы жив, и я бы с ним была счастлива. Совсем по-иному, — в труде, в борьбе. Когда Володенька умер, так темно было, и только светились огонечки любви малой. Теперь светлее становится, любовь большая идет в мир опять. А мне еще долгий путь с моею малою любовью.

Подумала Шаня и решительно сказала:

— В любви есть творческая сила, хотя бы это и была малая любовь, любовь к одному. Я люблю, — и эта моя любовь миры подвинет. Его ли, милого моего, не зажжет, не преобразит! Любовь — кольцо, а у кольца нет конца.

Манугина подошла к роялю. Она рассеянно взяла несколько аккордов, потом подобрала мотив и запела, соединяя свои слова с куплетами старой песенки из чулковского сборника:

Любовь — кольцо. Найдите
Концы того кольца.
Сумейте, разомкните
Обвод его венца.
        Томлюся я, стеня.
        Ты любишь ли меня
        Хоть мало, дорогой?
        Или пленен другой?
Любви безмерной сила
Всю кровь во мне зажгла,

И дух мой возмутила,
И в плен меня взяла.
Ко мне словами льня,
Ты любишь ли меня
Хоть мало, милый мой?
Или пленен иной?
Твои, мой милый, очи
Нашли мне в сердце путь.
Мне нет ни дня, ни ночи
От вздохов отдохнуть.
Надеждами взманя,
Ты любишь ли меня
Хоть мало, дорогой?
Или пленен другой?
Что я ни начинаю,
Ни в чем отрады нет,
Тебя лишь вспомнинаю,
Тебя, мой ясный свет.
Ты мне милее дня,
Но любишь ли меня
Хоть мало, милый мой?
Или пленен иной?
Коль нет тебя со мною,
Мне белый свет не мил.
Боюсь я, что с иною
Уж ты меня забыл.
Меня навек пленя,
Ты любишь ли меня
Хоть мало, дорогой?
Иль сам пленен другой?
Развейся, сон туманный,
Гори, мое кольцо.
Приди ко мне, желанный,
Целуй мое лицо.
Зову тебя, стеня:
Люби, люби меня
Хоть мало, милый мой!
Не думай об иной!

Шаня подпевала и тихонько плакала. И от слез голос ее звенел трогательно и чисто.

Глава тридцать восьмая

Многое в жизни нашей делается не потому, что это приводит к какой-нибудь цели, а так, с размаха, по инерции, только потому, что дело начато. Вообще, жизнь наша мало разумна, да не особенно и хочет быть разумною. С нее достаточно того, что она заковала себя в ряды причинностей; роскошь целесообразности она всегда готова уступить мирам иным. Поэтому не всегда мы догадываемся вовремя, что вот этот ряд действий уже не нужен и что можно его наконец оставить.

Так было и с Шанею, когда она ходила к Хмаровым. Правда, она видела Евгения каждый день, но разговаривать с ним ей приходилось редко, да и то урывками, крадучись. Времени затрачивалось много, но почти бесполезно. Шаня видела это, видела, что ее расчеты не оправдываются, и все-таки не догадывалась, что лучше не тратить времени на ежедневные скучные посещения этого неприятного дома.

Потом, после того, как Шаню уличили, и когда она успокоилась от первых волнений и увидела, что Хмаровы, больше всего боящиеся скандальных толков среди знакомых, не пытаются ей мстить, она сама на себя дивилась, — как это она не сумела вовремя прекратить работу швеи Лизаветы. Уже в ее предприимчивой голове складывались, — жаль, что слишком поздно, — планы новых мистификаций, с помощью которых можно было забавно исчезнуть с горизонта Хмаровых.

Шаня сразу почувствовала, как теперь стало хорошо и удобно. Ходить шить не надобно, — времени сразу стало гораздо больше, и настроение сделалось гораздо более легким и спокойным.

Шаня жадно торопилась воспользоваться каждою свободною минутою. Делать что-нибудь, двигаться, узнавать, быть с людьми, не сидеть на месте, — в жизни так много неизвестного, любопытного, влекущего! Постоянно случается что-нибудь новое, о чем хочется говорить и думать. Дня не проходит застоялого, такого, который только повторил бы свое вчера. И так много волнующего в широком мире умственных и общественных интересов!

Шаня познакомилась с несколькими молодыми учеными и учителями. Часто беседовала с ними. С некоторыми она знакомилась у Манугиной, у Маруси Караковой, у других знакомых. К другим приходила сама, — побеседовать. Знакомилась с людьми Шаня легко, радостно и просто, и потому разве только уж очень угрюмые люди встречали ее неприветливо.

Всех неутомимо расспрашивала Шаня, жадно впивала в себя все эти обыкновенные слова и фразы, которые пока еще казались ей умными и новыми.

В это время Шаня особенно усердно читала исторические книги. На это чтение натолкнули ее разговоры с Евгением и разговоры в доме Хмаровых.

Шаню в это время более всего занимала роль сословий в истории. Ей хотелось понять основательно, чем именно гордятся Хмаровы, Кошурины и другие дворяне, насчитывающие много поколений предков. И вот она познакомилась с истинным смыслом дворянской чести и на Западе, и у нас.

Сила, превозносящаяся над правом, во все века европейской цивилизации творила тот особый вид насильственного права, который нам кажется порождением строгой справедливости. На самом же деле это право является только страхованием силы от ее случайных, временных изнеможений, страхованием сильных от слабых, стоящих наверху от копошащихся внизу. В обществе, основанном на этом праве, выше всего ценятся господа; второе по ценности место усваивается вещам, которые господам принадлежат; дешевле всего ценится неимущий люд. Странная иерархия предметов: господин, — его вещь, — человек! Так установили рыцари, и так хотели бы сохранить потомки рыцарей.

Теперь уже рыцарские подвиги и рыцарские доблести не казались Шане верховным благом жизни, лучшим ее украшением. Рыцарские хваленые доблести живут в легендах, и легенды эти прекрасны, а истинная основа рыцарских деяний жива и ныне, и теперь-то уже начинала Шаня это видеть.

Теперь Шаня перестала думать, что мещанство — низшее состояние людей сравнительно с рыцарским. Мещанин, строящий буржуазное государство, и рыцарь, цепляющийся за остатки обветшалого строя,

казалось ей теперь, стоили друг друга. Уже теперь начала Шаня понимать, что истинная правда жизни только там, где труд, где единение трудящихся, поднявшихся до сознания своих особенных интересов. Только в этой среде, — начала думать Шаня, — возникнет великое всемирное братство людей.

Шаня часто заговаривала с Евгением на тему о дворянских доблестях и заслугах и очень злила его своими рассуждениями и примерами. Евгений пытался спорить с нею, но довольно неудачно. Знаний в этой области у него было мало, а хитрая Шаня выбирала, конечно, те эпизоды, о которых она только что читала, и ошеломляла его подробностями пикантными, мало кому известными. Ей даже нравилось поддразнивать его тем, что вот она знает из книг кое-что, чего он не знает, читала то, чего он не читал. И нравилось самой для себя иметь ощутимую меру своего восхождения.

Познав на себе самой горечь хмаровских заветов, Шаня радовалась той широте знания, которая дает силу эти заветы презреть, страстно отвергнуть их. Надобно же и в душе милого эти заветы разрушить, — думала она.

Иногда Шаня спросит:

— Женечка, читал ты курс русской истории Ключевского?

Или о другой исторической книге. Евгений сердито отвечал:

— Ну, есть мне время это читать. Разве ты не знаешь, что я занимаюсь математикой? Это отнимает у меня так много времени, что об истории некогда думать.

— Как же я нахожу время читать? — спрашивала Шаня. — Ведь я тоже занимаюсь музыкою и танцами, и это берет очень много времени.

Евгений презрительно пожимал плечьми и цедил сквозь зубы:

— Нашла сравнить! Я занимаюсь серьезно и систематично и имею определенную цель, а ты занимаешься так, просто от скуки.

Евгений, правда, занимался усердно; но так как у него были хорошие способности, то все-таки времени-то у него хватило бы. Но он вообще мало что читал, кроме учебников, легких романов и очень модных книг, о которых говорят в гостиных.

Однажды Евгений преувеличенно-спокойным, небрежным тоном сказал Шане:

— Шанечка, я надеюсь, что ты не откажешься завтра поужинать с нами в ресторане.

Шаня с удивлением посмотрела на него.

— С кем это с вами? — спросила она.

Евгений, растягивая слова, чтобы замаскировать свое смущение, говорил:

— Ну кое-какие товарищи мои соберутся, — граф Лапчистый, Фогельшнель, Соснищев, а не из студентов будут Нагольский, Кошурин. Вообще, своя компания, и будет очень мило. Они все хотят с тобою познакомиться.

— А другие дамы будут? — спросила Шаня.

— Нет, — отвечал Евгений, — будет своя, студенческая компания. К чему же дамы! Мы с тобою встретимся, если хочешь, где-нибудь недалеко от твоего дома, и я тебя провожу.

Евгений говорил все увереннее. Ему казалось, что Шаня соглашается. Уже он обдумывал, как бы половчее сказать ей, чтобы она взяла с собою тунику для танца. Но Шаня отрицательно покачала головою и сказала:

— Нет, Женечка, мне не хочется туда идти. Ну что я там буду делать! Они выпьют, и мне будет неловко. Одна среди мужчин. Да и зачем же это?

— Ну вот, что за вздор! — возражал Евгений. — Все это славные малые и из самого хорошего общества. Ты увидишь, тебе будет очень весело. Ты, кстати, можешь протанцевать перед нами один из твоих очаровательных танцев. Мы все будем очень благодарны тебе.

Шаня покраснела и сказала:

— Ну, едва ли это будет кстати. Я так еще плохо танцую. И неужели ты, Женечка, думаешь, что кабинет ресторана и компания веселящихся юношей — подходящая обстановка для моего первого выступления?

— Но ты уже танцевала! — сказал Евгений с досадою. — И в таком же кабинете ресторана.

— Для тебя только, — возразила Шаня. — Вот выучусь как следует, тогда, если хочешь, буду и для других танцевать или в гостиной, или на сцене. Только все-таки не в ресторане и не в обществе подвыпивших мужчин.

Евгений сердито крикнул:

— Дурацкие предрассудки!

Но тотчас же он опять принял ласковый тон и стал всячески упрашивать Шаню прийти на завтрашний ужин.

— Если не хочешь танцевать, хоть так приди, — говорил он. — Ведь в обществе все показывают свои таланты. Кто что может. Кошурин стихи прочтет. Это очень интересно.

Евгений думал, что стоит только привести Шаню в ресторан, а уж там ее уговорят танцевать. Но Шаня решительно отказалась. Евгений был в жестокой досаде.

Он часто, выпивая с товарищами в ресторанах, хвастался Шанею. Многие из его друзей уже видели Шаню. Они хвалили ее наружность и, к большому удивлению Евгения, ее манеры и отменный вкус, с которым она одевалась.

Евгений говорил самодовольно:

— Если бы вы видели ее танцы, вы бы еще и не то сказали.

Товарищи приставали к Евгению с просьбами показать им Шанин танец.

Кошурин говорил:

— У меня дома есть черная комната. Стены, пол, потолок — все черное. Там стоит черный алтарь. На нем — черные свечи. Пусть она пляшет нагая в моей черной комнате. Это будет до необычайности, до непредвидимости чуждая струя. Это будет золотое мгновение в беспредельности черного. Потом ее можно будет помучить, бичевать, например. Или можно будет совершить над нею черную мессу. Ведь она — блудница?

Слово «блудница» в применении к Шане покоробило Евгения. Он сказал досадливо:

— Ну какая там блудница! Она — вполне порядочная барышня из очень почтенной семьи.

— Но с душою вакханки, — настаивал Кошурин. — Я вижу сквозь черные стены будущего, как тускло мерцают ее глаза, как глаза сказочной моголь-птицы, и как на ее теле кровь выступает алыми росинками.

— Она не согласится, — сказал Евгений. — Она еще очень скромная и никогда ни при ком не танцевала, кроме только меня и своей учительницы.

— Я ее склоню, — возразил Кошурин. — В вечном стремлении перехода я могу это сделать. Мне стоит только поговорить с нею и подвергнуть ее действию моего неотразимого взора.

Товарищи смеялись, но смотрели на Кошурина опасливо. Кошурин продолжал:

— Я уже склонил двух студентов лишить себя жизни.

— Зачем? — спросил Соснищев.

— Им незачем было жить, — объяснил Кошурин. — Души их опустели, потому что они утратили познание единой истинной реальности. Теперь одна барышня задумывается о том же.

Фогельшнель с наглым смехом спросил:

— У нее тоже душа опустела?

— Нет, напротив, — говорил Кошурин, — она обрела полноту истинного познания, и сухое течение вещей уже для нее скучно и не нужно. Только я еще не решил, что пойдет к ней больше, — застрелиться или отравиться. Сначала мне казалось, что красивее всего ей будет повеситься. Но потом я откинул эту мысль. Высунутый язык не пойдет к ней.

— Да и ни к кому не пойдет, — с глупым хохотом сказал Соснищев.

— Нет, — возражал Кошурин, — есть собаки, облеченные человеческою душою. Высунутый язык — неложный знак их вечной жажды.

Вести Шаню в квартиру Кошурина Евгений не захотел. Боялся чего-то или ревновал. А показал бы Шанин танец Евгений с великим удовольствием. Потому так огорчил его Шанин отказ.

Евгений решился перехитрить Шаню и показать ее своим друзьям так, чтобы она этого не знала. И друзья согласились.

— Что ж! — сказал Соснищев, — если нельзя смотреть, будем подсматривать. И то лакомо.

Граф Лапчистый, бледный, высокий молодой человек с водянистыми глазами и надменною усмешкою вялого рта, презрительно сказал:

— Я бы предпочел смотреть открыто. Подсматривать мне еще никогда не приходилось, за исключением одного случая, о котором я не хочу говорить в связи с вашею подругою.

Этот юноша смотрел сверху вниз почти на все человечество. Ему казалось, что графский титул действительно имеет возносящую силу.

Почти все окружающие его поддавались гипнозу его самоуверенной презрительности и смотрели на него как на стоящего выше.

Так смотрел на графа Лапчистого и Евгений. И потому он очень дорожил тем, чтобы граф пришел смотреть на Шаню. А то было бы обидно, — все пришли, одного только графа не было.

Евгений уговаривал графа:

— Я вас очень прошу прийти, граф. Потом, когда она привыкнет, в ней уже не будет этой грации стыдливой девушки, воображающей, что она одна. Вы увидите, что она вам очень понравится. Вы не будете жалеть потерянного времени.

Граф Лапчистый пожал плечьми и сказал, пренебрежительно выдвигая нижнюю губу:

— Если вы непременно хотите, хорошо, я приду.

Евгений расцвел и долго благодарил графа. Пока тот не отвернулся от Евгения и не заговорил с другими.

Шаня и Евгений вечером приехали в ресторан «Эрмитаж». Заняли номер, заранее заказанный Евгением. Были поданы устрицы и шампанское. Когда лакеи ушли, Евгений пристал к Шане с просьбами:

— Шанечка, милая, танцуй. Душа моя совсем высохла в этой ежедневной прозе. Я жажду восторга, который дают мне твои танцы.

Шаня выпила бокал холодного вина и принялась развертывать свою тунику. Евгений нетерпеливо, дрожащими пальцами расстегивал крючки ее платья.

В соседнем кабинете было тихо. Там таились приятели Евгения. Они ждали зрелища.

Кошурин тихо говорил:

— Сегодня, если хотите, мне близко безумие всего. Но грустно быть близко, действительно себя забывая, и горько проникнуть в сухое течение вещей. Миллиарды сверкающих светил, замирая, тонут в вечный кристальный холод, металлизируя могучую неподвижность вечности.

Из смежного кабинета послышались звуки музыки, — Евгений сел за пианино и играл для Шанина танца. Его приятели, ступая тихонько по коврам, поспешили к стене, — в ней и в дверях были заранее про-

верчены отверстия. Гнусно притаившаяся компания прильнула к этим щелям. Тот, кто вошел бы теперь в кабинет, увидел бы словно повешенную на стене гирлянду плоских затылков, однообразно причесанных на прямой пробор.

Все замерли и смотрели. Граф Лапчистый, очутившись носом к стене, уронил с лица скучающее, презрительное выражение, и губы его улыбались нежно и ласково, как губы милого ребенка, который смотрит на что-то приятное, близкое ему. Шаня танцевала с увлечением. Не очень искусное бренчанье Евгения преображалось ее стремительною мечтою, и ей казалось, что она слышит звуки дивной музыки, уносящей душу ее в блаженный рай. Тусклые стены кабинета исчезли, сожженные быстрым кружением танца. Море света струилось вокруг Шани, и, казалось ей, где-то невдали шумели, о пустынный берег плещась, морские широкие волны.

Шаня сбросила тунику. Ее обнаженное, слегка похудевшее и оттого еще более обольстительное тело казалось стремительным и воздушно-легким. От радостной работы танца Шанина кожа краснела, являя все разнообразие желтовато-розовых оттенков и алых, как будто изобилие лилий и роз расплавилось в одном пламени, кружащемся и упоительно-зыбком. Черные косы ее развились и прядали по спине и по плечам.

Побледневший от волнения Кошурин, томно мерцая большими от атропина глазами, шептал:

— Мы когда-то кружились в звездных вихрях. Мы когда-то молчали в мертворожденных камнях.

— Молчите и теперь, — презрительно сказал граф Лапчистый.

Сказал тихо, но не тише, чем всегда говорил, — не дал себе труда шептать.

Соснищев угодливо фыркнул. Трепет улыбки пробежал по всей гирлянде затылков и по всей цепи согнутых черных и синих плеч: нельзя же не улыбаться, когда шутит граф.

В это время Евгений взял неверную ноту. Шаня остановилась, как схваченная в стремительном беге чьею-то холодною рукою. Ее поразил странный шорох где-то близко, за стеною. Она еще не успела понять, что случилось, но словно померк тот свет, в колыхании которого она кружилась. Пыльные тяжелые портьеры словно только что упали между Шанею

и тем неведомым краем, куда она была восхищена очарованием танца, — и все предметы вокруг стали внезапно отвратительными и страшными.

Шаня метнула быстрый взгляд на Евгения и замерла в страхе. Ей показалось, что она видит отвратительное лицо Гнуса, опять затлевшееся похотью и жадностью.

Это длилось только секунду, — опять перед нею было восторженно улыбающееся лицо Евгения, — и Шаня подумала, что у нее закружилась голова от пляски и потому видится то, чего нет, и в глазах двоит.

А этот шорох? Послышался? Нет, она слышит его и теперь, — шорох за стеною, шепот, смех. Но все это тихое, не так, как бывает чужой разговор в соседней комнате. Что-то таящееся и потому страшное.

Шаня вдруг догадалась о чем-то. Она багрово покраснела. Задрожала.

— Там смотрят, — сказала она тихо. — Там кто-то есть.

Евгений сказал уверенно:

— Ну, вздор какой! Кому там быть! Ведь ты слышишь, что там совершенно тихо.

Шаня вдруг вспомнила, что она голая. Она бросилась за портьеру, отделяющую часть кабинета, и там поспешно одевалась, не слушая и не слыша, что говорит Евгений. Она вся утонула в одном широком, жутком ощущении стыда. Руки ее дрожали, но движения были привычно-ловкими и скорыми. Оделась и подошла к зеркалу поправить волосы и приколоть шляпу. Из зеркала глядело на нее пылающее лицо с испуганными и стыдящимися глазами.

Евгений уговаривал ее:

— Посиди хоть немного, Шанечка. Выпей вина.

Шаня тихо сказала:

— Голова болит. Нет, не удерживай, я не могу. Мне надо на воздух.

Евгений проводил Шаню до дому. Шаня шла быстро, почти бежала и почти ничего не говорила. На углу своей улицы обняла и поцеловала Евгения и побежала домой.

Евгений вернулся к товарищам. Друзья встретили его хором похвал, как будто бы он был автором этой очаровательной плясуньи. Евгений принимал эти похвалы с такою же скромною гордостью, с какою слушает комплименты автор очаровательной поэмы.

Особенно понравилась Шаня графу Лапчистому. Но граф Лапчистый не говорил Евгению комплиментов. Он молча смотрел на Евгения. В бесстрастном взгляде его водянистых глаз отражалось высокомерное презрение.

Наконец Евгений спросил его:

— Что вы скажете, граф, о моей Шане?

Надменный юноша едва усмехнулся и процедил сквозь зубы несколько слов:

— Что скажу? Этот самородок так хорош, что его надо было смотреть открыто. Вообще, женщин или уважают и тогда за ними не подсматривают, или... ну, или их просто заставляют.

— Но ее не заставишь, она упрямая, — оправдывался смущенный Евгений.

— На упрямых есть хлыст, — спокойно возразил граф Лапчистый и заговорил с Фогельшнелем.

Евгений хихикал и с очень глупым видом потирал руки.

Шаня вернулась домой, совершенно подавленная тем, что произошло. Боялась думать о том, что подсматривали за нею, по всей вероятности, товарищи Евгения. Но мысль ее упрямо возвращалась к тому же, все разговоры последних дней, все поведение Евгения убеждали ее, что это подсматриванье было с его ведома.

Юлия видела, что Шаня расстроена. Но на все ее вопросы Шаня отвечала:

— Да ничего, Юлечка, голова немножко болит. Лягу, пройдет.

Привыкла все рассказывать Юлии, а этого не могла рассказать.

Ночью Шаня бредила. Бормотала:

— Шанек-то сколько нашло!

Испугала Юлию, — та уже хотела было посылать за врачом. Да побоялась будить отца, решила подождать до утра.

А утром Шаня проснулась бледная, с испуганною душою. Вспоминала, не понимая, что именно случилось. Так страшно было именно то, что лицо Гнуса назойливо вставало в памяти вместе с лицом Евгения, и казалось, что оба эти лица похожи.

Пошла к Манугиной. Рассказала ей и долго плакала. Манугина утешала ее. Сказала:

— Шанечка, может быть, хоть у одного из этих шалопаев в душе было светло и невинно, когда он смотрел на твой танец, — и то уже победа.

Глава тридцать девятая

Хотя Хмаровы и старались держать в секрете от своих знакомых историю с Шанею, сильно задевавшую их семейную спесь, но скоро по городу стали ходить неприятные слухи о каком-то скандале в доме Хмаровых. Рассказывали, что Варвара Кирилловна застала своего сына в ту минуту, когда он целовался со швейкою в укромном уголке своей квартиры; говорили, что молодой человек, испуганный грозным видом и зычным голосом матери, убежал, оставив свою возлюбленную в руках возмущенной дамы; говорили, что барыня и швейка подрались, что на помощь к Хмаровой прибежали ее дочь и горничная и что они совместными силами избили швейку. Говорили и о том, что швейка — самозванка, что она — дочь богатого сарынского купца.

Дошли бы наконец эти слухи стороною и до дяди Жглова, хотя он и был очень занят своею конторою и редко где бывал, так что городские новости не всегда приходили к нему вовремя. Впрочем, на этот раз Гнус скоро осведомил его.

Гнус уже давно и усердно выслеживал Шаню, насколько это позволяла ему его служба, отнимавшая у него весь день. В последнее время он нередко и днем уходил из конторы под разными благовидными предлогами. Иногда и сам Жглов посылал его с каким-нибудь поручением: Гнус был очень исполнителен и усерден, и Жглов доверял ему более, чем другим, даже и больше его служившим в конторе.

Гнус заводил знакомство с коридорными в гостиницах, со швейцарами, с хмаровскою прислугою. В саду при городском народном доме он познакомился с горничною Дарьею. Несколько вечеров ухаживал за нею, водил ее в театр, поил пивом и медом и выспрашивал. Дарья подробно рассказала ему, как Шаню изгоняли от Хмаровых.

Улучив удобное время, передобеденный час, когда клиентов в конторе нотариуса Жглова не было, Гнус воровскою походкою, стараясь, чтобы товарищи не увидели, куда он идет, прокрался к дверям хозяйского кабинета. Там он постоял, прислушался, огляделся во все стороны, пригнулся к замочной скважине и уже после того робко стукнул. Из-за двери послышался угрюмый голос Жглова:

— Кто там? Что намно? Войдите!

Гнус медленно открыл дверь и втиснулся в комнату. Жглов глянул на него из-за газетного листа и опять спросил:

— Что намно?

Гнус затворил за собою дверь такими движениями, словно собирался приклеить ее. Потом он подошел к патрону, подобострастно изгибаясь, и сказал тихим, но все же гнусным голосом:

— Имею сообщить вам, Петр Николаевич, нечто очень важное. Прошу великодушно простить, что осмелился обеспокоить в краткие минуты отдохновения. Движимый личною преданностью к вашей особе и будучи вам глубоко и многим обязан, счел своим долгом довести до вашего сведения об очень прискорбных обстоятельствах, имеющих отношение к живущей в вашем почтенном доме и под вашим высоким покровительством молодой и прекрасной особе.

Дядя Жглов положил на стол газету и стал смотреть на гнусного конторщика, не говоря ни слова. Гнус, дрожа от страха и от злости, брызгаясь зеленоватою слюною, рассказал длинно и многословно, и таким заученным тоном, словно читал по книжке, как и зачем Шаня ходила к Хмаровым и как ее оттуда выгнали.

Жглов молчал. Когда Гнус кончил, Жглов молча взялся опять за газету, и по его, как всегда, угрюмому лицу нельзя было понять, как подействовал на него этот рассказ. Гнус, с чувством раздавленного и все-таки счастливо-злого червяка, подлыми движениями выбрался из кабинета.

В тот же день вечером дома произошла неприятная сцена. Пришлось Шане отвечать на суровые дядины расспросы.

— Что же это значит, Шанька? Правду ли я слышал? Тебя, дочь почтенного купца, мою племянницу, выгнали из дома каких-то захуда-

лых дворянишек? И выгнали за какие-то любовные шашни? Правда это или нет?

Шаня ярко покраснела.

— Кто это вам сказал? — спросила она.

— Ну уж это не твое дело, — отвечал дядя. — Да и не в том дело, кто сказал, а ты отвечай, правда ли.

— Это, конечно, вам Гнус наговорил, — сказала Шаня и заплакала. — Он меня давно своими любезностями преследует, воображает, что я могу его полюбить. А так как я его отшила, так он мне и мстит. Охота вам слушать такого низкого человека!

Дядя Жглов прикрикнул:

— Да ты мне зубы не заговаривай! Ты говори прямо, выгнали тебя или нет. Вертеться нечего, а то и за косы возьму. Я тебе, голубушка, сумею язык развязать.

Горестно вздохнув, плачущая Шаня сказала:

— Дядя, я вам все расскажу по порядку.

И принялась рассказывать, стараясь сказать побольше слов и как можно меньше подробностей, — только самое необходимое.

Дядя Жглов становился все более и более угрюмым и сердитым. Шане казалось, что волосы его топорщатся и потрескивают и что из черных глаз его сеются маленькие, острые искры. Он то бранил Шаню, то принимался издеваться над нею.

Шаня сначала храбрилась. Она говорила с видом нашалившей школьницы, которая дерзит инспектору и дивит своею смелостью подруг:

— Никому до моих знакомств нет дела. Я уж не маленькая. Не в куклы же мне играть.

Дядя Жглов сурово сказал:

— А вот я твоему отцу напишу. Он тебе покажет, какая ты не маленькая. Он тебе пропишет, так ты узнаешь, как такие дела делать.

— Я не боюсь, — сказала Шаня. — Я сама ему обо всем напишу.

Но дядина угроза заставила Шаню призадуматься. Положим, отец все равно узнает, — Сарынь не за горами, и слухом земля полнится, — но раздраженный дядя Жглов может представить все в таком ужасном свете, что отец придет в ярость.

Шаня стала смиренно оправдываться:

— Что ж такое, дядечка, мы с Женечкой еще в Сарыни были знакомы. Он еще тогда к нам ходил.

Дядя Жглов сказал с сердитым смехом:

— Знаю я, как он к вам ходил! В саду по кустам от родителей прятались, паданки подбирали под яблонями, а в дом его и на порог не пускали.

— Он — мой жених, — обидчиво краснея, говорила Шаня. — Он на мне женится, как только кончит курс.

— Ну еще бы! Нет у него других невест? — сердито говорил дядя Жглов. — Охота ему с тобою связываться!

— Других ему и не надобно, — отвечала Шаня.

— И очень даже намно, — возразил дядя Жглов. — Он на дочке Рябова женится, а за нею миллионы, не то что твои тридцать восемь тысяч.

— Однако сколько лет прошло, — говорила Шаня, — а он все меня любит. И никогда не разлюбит. Наша любовь до гроба.

Дядя Жглов сказал презрительно:

— Ах ты, полудурье ты этакое! Любовь до гроба, а из дому тебя, однако, выгнали.

Шаня говорила жалобным голосом:

— Так он же чем виноват, дядечка! Ведь это его мать сделала, не он. У него мать такая несдержанная и строптивая, — он и сам на нее жалуется.

— Мать выгнала, а сын, что же, не мог заступиться? не посмел? — насмешливо спрашивал дядя Жглов.

— Его дома не было, — досадливо сказала Шаня. — Он ни в чем не виноват.

Юлия стояла в сторонке, словно ожидая своей очереди, и уже заранее дрожала от страха. Дядя Жглов напустился и на нее.

— А ты, потворщица, все знала, по глазам вижу, что все знала. Недаром вы по ночам шептались, спать мне мешали. Хорошему тебя твой провизоришка учит, — от отца секреты заводить. Все знала, — зачем же мне не сказала? Зачем покрывала? Думаешь, доброе дело ей сделала? Срамиться ей на весь город помогала, только и всего.

Юлия трепетала и плакала. У нее было такое лицо, как у ребенка, который знает, что его собираются сечь. Только повторяла, совсем по-детски:

— Виновата, никогда больше не буду.

— Виновата! — злобно повторил Жглов. — А с виноватыми что делают, знаешь? Еще не позабыла?

— Наказывают, — покорно и жалобно отвечала Юлия.

Жглов говорил грозно:

— Дура! Этакая дылда выросла, а ума не вынесла!

Тогда и Шаня, зараженная испугом Юлии, совсем смирилась. Еще она не знала, что сделает с нею дядя Жглов, и не думала о том, но уже боялась грозы и беды и старалась умилостивить дядю миллионом ласк и поцелуев. На колени перед дядею стала, прощения просила. Говорила:

— Уж теперь я и сама вижу, что мне к Хмаровым не следовало обманом ходить. Вперед я не буду этого делать. Всегда буду поступать прямо и открыто.

Но дядю Жглова не тронула внезапная Шанина кротость.

— Нет, матушка, — сказал он, — уж я на тебя достаточно насмотрелся. Обманывай других, а я тебе не поверю. Знаю, что ты за зелье. Тебе здесь, вижу, ужасно весело, ну так я по-другому решил.

Дядя помолчал и сказал внушительно и строго:

— Поезжай-ка ты, матушка, к родителям в Сарынь. Мне за своею дурехою достаточно смотреть. Не моя печаль чужих детей качать. Ну, что на меня уставилась? Не нравится, что ли?

— Как же я поеду? — растерянно сказала Шаня?

— А так, на пароходе, — угрюмо отвечал дядя Жглов. — Как приехала, так и уедешь.

Вот уж этого Шаня никак не ожидала. Приказание ехать теперь домой показалось ей таким нелепым и неожиданно-жестоким. Как же теперь уехать из этого города, где так легко и приятно знать, что Евгений близко, что он ее любит, что вот завтра можно увидеть его и говорить с ним. Уехать? Ни за что!

Но уже привыкла Шаня к тому, что дядю Жглова не переспоришь. Она горько заплакала. Говорила:

— Дядечка, миленький, я не хочу ехать домой. Мне там делать нечего. Для чего же я теперь вдруг уеду! Еще если бы меня папа или мама звали! Позвольте мне у вас остаться. Я ничего худого не буду делать, поверьте мне.

Горько плакала Шаня, дядины руки целовала. Но как она ни просила, дядя Жглов был неумолим. Он говорил:

— Нет уж, голубушка, я тебя у себя ни за что не оставлю. Оставь тебя, так тут таких дел наделаешь, что мне потом твоя мать глаза выцарапает. Да и на людей глядеть стыдно будет, как по всему городу молва пойдет.

— Ничего я тут не наделаю, — горестно говорила Шаня.

— Да, не наделаешь, потому что домой поедешь, — с угрюмою насмешливостью ответил дядя. — Изволь-ка сейчас же домой писать, что возвращаешься.

Шаня сердито сказала:

— Мне стыдно ни с того ни с сего ехать домой! Что дома скажут!

— Да что скажут! — возразил дядя. — Скоро лето будет, что тут в городе делать! Все на дачи едут, и ты отправляйся проветриться. У нас летом в городе жарко будет, господа хорошие на дачи разъедутся, а кто на теплые воды или за границу. И твой Хмаров не останется в городе.

— Теперь еще рано на дачу ехать, — сказала Шаня, цепляясь за этот предлог, чтобы хоть отсрочить поездку.

Но дядя невозмутимо отвечал:

— Кому рано, а кому и пора. Состояние твоего здоровья требует немедленного отъезда. Собирайся, — и кончен разговор.

— У меня платья заказаны, как я уеду, — говорила Шаня.

— Поторопи портниху, — так же невозмутимо отвечал дядя Жглов. — Не успет кончить, — пришлем.

И уж как ни отговаривалась Шаня, а все-таки дядя Жглов заставил ее немедленно приготовляться к отъезду и собирать свои вещи. Нечего было делать Шанечке, — приходилось уезжать.

Проклятый Гнус! Из-за него приходится расставаться с Евгением. Как охотно Шаня отомстила бы Гнусу! Но что она могла сделать в эти немногие дни до отъезда?

Сказать бы Евгению! Изобьет его Евгений как собаку, а Гнус и жаловаться не посмеет.

Но почему-то все вспоминались Шане те слова, которыми ответил ей Гнус на ее угрозу сказать Евгению. Эти слова обезволивали Шаню, и было почему-то стыдно думать о них. Поэтому Шаня гнала от себя мысль о том, чтобы рассказать Евгению о подлых поступках Гнуса.

Шаня написала письма отцу и матери о своем возвращении в Сарынь. Так досадно было тратить сиреневые красивые конверты и бумагу с нарисованными головками на то, чтобы писать о таком неприятном. Но писала, выбирая веселые, беззаботные слова, чтобы не осмеяли дома Шанечкина горя.

Потом принялась убирать свои вещи. Сколько накуплено за зиму духов, платьев, шляп, перчаток, башмаков! Не везти же все это домой, — ведь для того и накупала, чтобы Евгений видел ее нарядную. А там для кого наряжаться? Но все-таки пришлось заняться этим, — что здесь оставить, что вновь на лето заказать и купить.

Время летело быстро. В городе ко многим надо было зайти перед отъездом. У Манугиной Шаня бывала часто, — редкий день не зайдет, — кто так сумеет утешить и успокоить, как Манугина!

Назначен был уже и день Шанина отъезда, с одним из первых пароходов, идущих вверх по реке.

Накануне отъезда Шаня пришла еще раз увидеться с Евгением в гостиницу «Неаполь» на какой-то захолустной улице с глупым, допотопным названием Мжейка. Шаня пришла, полная гнева и досады. Она говорила:

— Я вырвусь оттуда. Я натворю там таких чудес, что только держись. Проживу там только лето. Не больше как лето. Ах, Женечка, и на лето как мне грустно расставаться с тобою! Боюсь я, что тебя здесь заставят с твоею Катею жениха разыгрывать. Ведь ты — такой деликатный, не захочешь ее обидеть, а они этим и воспользуются.

Евгений вяло утешал Шаню. Он говорил:

— Конечно, Шанечка, мне и самому очень грустно, что я тебя несколько месяцев не увижу. И особенно досадно, что это приходится

на лето, когда у меня больше свободного времени. Но ты не бойся, — я люблю только тебя и ни о ком, кроме тебя, и думать не могу.

Евгения томило какое-то неопределенное, тягостное чувство. Он и сам не мог бы дать себе отчета в том, что именно чувствует.

Ему казалось, что кончается какая-то значительная полоса его жизни, и он не знал, печалиться ему или радоваться. И грустно было ему думать, что Шаня может и не вернуться, и как-то неловко радовало ощущение внезапной свободы. Эта сумятица в его чувствах даже радовала его и наполняла его странною, тщеславною гордостью, потому что казалась ему доказательством сложности, глубины и значительности его переживаний. Самая вялость его, с которою он относился к предстоящей разлуке, казалась ему признаком твердого характера и железного самообладания.

А Шаня, смущенная его принужденным видом, хмурым лицом и холодными речами, наконец спросила:

— Женечка, ты сердишься на меня?

— Ну вот, вздор какой! — отвечал Евгений. — За что же мне на тебя сердиться!

— Женечка, я, право, во всем этом не виновата, — говорила Шаня. — Я уж так просила дядю, чтобы он меня здесь оставил. Да ведь он у нас упрям, крут, с ним ничего не поделаешь. Уж коли что скажет, так ни за что от своего слова не отступится, лучше и не проси. Уж ты на меня не сердись, Женечка, — мне самой уж так-то грустно!

Евгению было приятно, что Шаня словно просит его о прощении, хоть он и понимал, что она ни в чем не виновата и просто смущена его холодностью. Он решился снизойти к Шаниным простым чувствам и проявить нежность и растроганнность. Он ласково обнял Шаню и сказал притворно-взволнованным голосом:

— Глупенькая, да разве я могу на тебя сердиться! Ведь ты же знаешь, как я тебя люблю! Правда, я тебя отговаривал от этой затеи выдать себя за швейку, а ты меня не послушалась, и из-за этого и вышли все эти неприятности. Но все-таки разве я подумаю когда-нибудь тебя в этом упрекать! Ведь я понимаю твои побуждения и очень ценю твою любовь.

Шаня досадливо говорила:

— Там, в этой затхлой Сарыни, и жить нельзя. Там почти нет живых людей. Купцы, чиновники, учителя, барыни кислые, барышни линючие — сплошь один ужас! Там люди как летучие мыши.

Евгений недоверчиво сказал:

— Ну! Почему же именно как летучие мыши?

Шаня, улыбаясь и хмурясь, говорила оживленно:

— Летучие мыши только одну сотую часть своей жизни пользуются ею, да и то затем только, чтобы ловить добычу, а остальное время висят вниз головою и спят. Так и в Сарыни почти все люди. Им только есть и спать, для того и живут. Людишки! Живых людей по пальцам перечесть.

Евгений засмеялся. Обнял Шаню и заговорил с нею нежно и ласково. И Шаня немножко утешилась.

Условились переписываться опять через Дунечку. Дунечка со своим мужем живет недалеко от города, и письма будут получаться скоро и верно.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава сороковая

Раннею весною Шаня вернулась от дяди Жглова в Сарынь.

Всю дорогу, сначала на пароходе, потом на лошадях, Шаня была как во сне. Потом в ее памяти почти не сохранилось никаких впечатлений от этой поездки. Только и грезился Шане Евгений, — в плеске темно-синих волн за бортом парохода, в шуме зеленеющих нежно деревьев вдоль дороги, в говорливом бренчании бубенцов только и слышался ей его голос. Вешне-сладкая боль томительно возрастала в Шанином сердце, усиливая жуткое ощущение блаженного и грустного сна наяву.

А проснется Шаня, — мерещится ей гнусное обличие молодого конторщика. Досадны и непраздничны кажутся ей лица ее случайных спутников, и разговоры их низменны и банальны. Мир, лишенный солнечно-ясного героя, являет ей свой будничный лик, один и тот же во множестве лживых обличий.

Не смотреть бы на все эти лица! Только бы впивать в себя утреннюю бодрую свежесть и вечернюю дремотную прохладу, радость рос и ясность зорь, нежность зелени и лазури, — все, чем красна милая жизнь нашей прекрасной, изумрудной земли, рождающей неустанно ароматы и мечтания!

А люди зачем-то пристают с разговорами. Нравится им красивая, смуглая, сильная девушка, так хорошо и к лицу одетая. Молодые люди и старички заговаривают с нею, оказывают ей какие-то ненужные услуги, — и Шаня со всеми равнодушно-любезна, привычно-вежливо отвечает, а сама в разговор не ввязывается, словно она с детства привыкла к светскому обществу.

Шаня приехала домой рано утром.

Отцовский дом в лиловых лучах еще невысокого солнца встал перед нею все тот же, — серый, громадный, неуклюжий и все-таки чем-то милый.

Шла Шаня по родному саду, под цветущими кленами, в безмолвии ранней душистой весны, и то же все томило ее темное, жуткое впечатление сна, и все так же казались бесследно сгорающими скучные минуты докучного бывания здесь, вдали от милого уже ей теперь Крутогорска.

Шанино письмо пришло только вчера, и Шаню так рано не ждали. Встретила ее няня, — увидела из окна, с громкими радостными криками на крыльцо выбежала.

— Шанечка, красавица моя! Похудела-то как, голубушка моя! А сама еще краше стала.

Целует Шаню, плачет и смеется. Говорит:

— Уж и не чаяла я, старая, свидеться с тобою. Так уж и думала, — подцепит тебя, голубушку мою, прынец маландский, увезет тебя в Хламерику, где царствует Паразитен Развед.

Потом и отец вышел. Обнял Шаню, поцеловал. Проворчал:

— Все такая же?

Весело отвечала Шаня:

— Такая же, папочка.

Прислушивалась чутко, не слышно ли шагов матери. Но в глубине дома все было тихо.

— Шалунья, — угрюмо говорил Самсонов. — Да вот баловать-то тебя уж некому здесь.

Он, видимо, был не рад приезду Шани и как будто бы чем-то смущен. Шаня спросила:

— Где же мама?

Уже какое-то смутное беспокойство начало томить ее, и что-то в обстановке столовой, где она теперь стояла перед отцом, казалось ей неуютно изменившимся.

Неловко отвернувшись от дочери, Самсонов сказал:

— У нас новости, — мать на хуторе живет, я здесь один.

Самсонов суетливо подошел к столу. На столе шумел большой пузатый самовар, отчетливо отражая в своей желтой глади искаженные фигуры. Отец взялся было за чайник, говоря:

— С дороги чайку выпей, Шаня.

Но опять поставил чайник на большой никелированный поднос и сказал:

— А то с дороги помыться, переодеться хочешь? Твои покойчики наверху как были, так и стоят.

Шаня пошла наверх. За нею побрела старая няня. Притворила покрепче дверь на лестницу, чтобы хозяин не слышал и, пока Шаня, проворно раздевшись в своей спаленке, умывалась, принялась громким шепотом рассказывать, что за этот год в доме случилось. И уже говорила с Шанею, как со взрослою, не тая неприглядных подробностей.

Жаловалась старая на Липину:

— Пуще прежнего разжирела на папашеньки твоего хлебах. Седалище трехмерное, груди шарохватовые, щеки чемоданистые, — толстотенная девчинища. И озорная стала, — водку хлещет, что твой мужик. Ведрами водку покупает, настойки, наливки делает, пьяную ораву к себе собирает, — пьют, песни орут, всю ночь пляшут, присягают. И наш греховодник, папашенька-то твой, с ними каруселится.

Марья Николаевна еще осенью уехала от мужа. Его связь с Липиною была так противна ей, что она только для дочери терпела его суровое, грубое обращение. Она поселилась на своем хуторе, верстах в шести от города. Теперь уж она не давала своих денег мужу, как прежде, и только на себя да на Шаню тратила проценты со своего капитала.

Шаня долго разговаривала с нянею, — выспрашивала, рассказывала, пока есть не захотелось. Спустилась вниз, в столовую, — отца уже не было дома. Пила Шаня чай и опять разговаривала с нянею.

Потом Шаня проворно обегала все памятные места, — в саду, на речке; в баньку заглянула, на качелях покачалась.

Прежний Женечка вспоминался ей повсюду, а рядом с ним теперешний. Эти два образа то стояли рядом, то сливались чудно в один,

и этот один сложный образ был настолько же ярче и живее каждого отдельного, насколько образ в стереоскопе живее тех двух картинок, из которых он слагается. Дивное слияние образов длилось лишь краткий миг и исчезало, разлагаясь, — но в этот миг Шаня как бы приобретала еще неведомую людям способность созерцать одновременно различные моменты времени. Тогда время становилось для нее как бы только четвертым измерением мира, и самый мир приобретал необычайную слитность, цельность и выпуклость.

Несколько раз в Сарыни испытала Шаня это удивительное состояние. И каждый раз, замирая от сладкого восторга, думала Шаня: «Любовь — кольцо, а у кольца нет конца».

И воистину, любовь есть связь времен и пространств, и совершенный в любви преодолевает все земные преграды.

Днем Шаня пошла в город. Зашла к Дунечкиной матери, к Гарволиным, еще кое к кому. Везде были рады приветливой, веселой Шанечке. Всем, кого любила, Шанечка подарков из Крутогорска привезла, никого не забыла одарить. Но каждому дороже подарков был Шанин милый привет.

Потом пошла Шаня на Володину могилу, — поплакать. К обеду вернулась домой. Отнесла отцу в кабинет свой подарок, — пестрый шелковый халат. Сказала:

— Уж очень у тебя старый халат, папочка, вот носи лучше этот.

— Ну, спасибо, дочка.

Поцеловал Шаню, по щеке похлопал, залюбовался.

— Ах, хороша у меня выросла дочка! Такая барышня нарядная, — и не узнаешь прежней шалуньи Шаньки.

Смеется Шаня, говорит:

— Я, папочка, все та же. Вот сарафанчик надену, в косу ленту алую вплету, башмаки сниму, буду прежняя Шанька.

— Прежнее не вернется, — говорит отец. — Замуж тебе пора. Погоди, жениха найду.

— Жених у меня есть, — отвечает Шаня.

Отец хмурится.

— Не забыла детской дури!

Стало скучно. Но не спорить же с отцом в первый же день!

Отец за столом расспрашивал, как жила Шаня в Крутогорске, виделась ли с Евгением Хмаровым. Пришлось Шане признаться, что виделась с Евгением часто.

— Он меня любит, — сказала Шаня. — Он на мне женится.

— Не на тебе, на твоих деньгах, — сказал отец.

— Нет, папочка, — возразила Шаня, — мать хочет навязать ему богатую невесту, дочь миллионера Рябова. Если бы он за деньгами гнался, он бы на той женился, — она гораздо меня богаче. А он меня любит, и я его люблю.

— Ну и дура, — решил отец. — Ты должна держаться своего круга, а ему нужна жена с важной родней, чтобы карьеру делать, к казенному пирогу присоседиться. Если его родители тебя не хотят, так у тебя должно самолюбие быть, чтобы не навязываться в ту семью, где тебя не хотят. Ведь ты не нищая проходимка, чтобы набиваться, на шею вешаться.

Длинные, скучные наставления, в которых нет ни слова живой правды. Весь обед прошел в этом. Всю душу вымотали у Шани эти затхлые слова. Но крепилась Шаня, старалась не спорить, — ведь не девочка, сама свою судьбу знает. Только о том весь обед и думала, как бы уйти поскорее из этого дома постылого!

После обеда Шаня попросилась к матери. Самсонов сказал было, сурово хмурясь:

— Нечего тебе там делать. Телеграфист там днюет и ночует.

Но сейчас же передумал. Махнул рукой.

— Ну, поезжай, — сказал он. — Да только долго там не гости, домой возвращайся. Матери не до тебя.

В тот же день к вечеру Шаня поехала на хутор к матери. Бойкие лошадки домчали меньше, чем в полчаса.

На своем хуторе Марья Николаевна занималась маленьким хозяйством, садом, огородом, коровами, птицами. Все было чисто, хозяйственно, уютно.

В саду было много цветов, фруктовых деревьев, ягодных кустов. За садом тянулись длинные гряды большого огорода, а там дальше,

около пруда, шипели гуси, и сонные бродили утки, и виднелись прочные сараи, амбары, коровник, конюшня.

У калитки сада мать встретила Шаню. Встретила нежно, радостно, но как-то смущенно.

— Шанечка! Вот-то не чаяла, что ты так рано приедешь.

Обняла, заплакала немножко.

— А я, видишь, ушла от моего аспида. Уж ты, Шанечка, меня не осуди. Ты уж девушка взрослая, сама все понимать можешь. Он с этою коровою гладкою вяжется, а я еще и сама не старуха. Кровь-то и во мне играет, хочется пожить в свое удовольствие. Нешто одни только мужчины такие господа, что все могут себе позволить.

Марья Николаевна переживала поздний расцвет любви. Лицо у нее было счастливое, помолодевшее и сегодня слишком румяное, и в глазах горели огоньки.

Она повела Шаню в дом. Усадила за стол, угощать начала, сама похвалялась:

— Все свое, домашнее. Хозяйство у меня, уж могу похвастаться, идет на славу.

— Спасибо, мамочка, — говорила Шаня, — ты не хлопочи. Я пока есть не хочу. Я с отцом пообедала. Ты мне лучше свое хозяйство покажи да расскажи, как ты тут живешь.

Марья Николаевна усмехнулась лукаво и сказала:

— Сначала ты, Шанечка, рассказывай. Дошел до меня слушок, встречалась ты с Женькою.

Покраснела Шаня, все, все матери рассказала подробно и откровенно, чтобы мать чего хуже не подумала. Слушала мать, разнеженно улыбаясь. Спросила:

— Так ты, Шанечка, и винцо пить привыкла, по ресторанам-то ходючи?

— Немножко, мамочка, — призналась Шаня.

Марья Николаевна угостила дочь домашнею вишневою наливкою, — хороша была наливочка, — и сама выпила несколько рюмок.

Сердце замирало, и сладкая истома овладевала Шанею. Вдруг почувствовала Шаня, что любовь требует от нее последней жертвы. И так сладко было нетерпение эту жертву принести.

К ночи явился Кириллов. Теперь у него был уверенный и спокойный вид. Держался он как дома, и Марья Николаевна уже не обрывала его, как прежде. Он пополнел, порозовел. Мундирчик на нем был новенький, щеголевато сшитый, воротнички и рукавчики ослепительно-белые. Пахло от него духами; он был тщательно причесан и припомажен.

Увидевши Шаню, Кириллов сначала смутился от неожиданности. Он долго расшаркивался перед Шанею, говорил неловкие любезности и несколько раз повторил:

— Я к вам, Марья Николаевна, на полчасика. Зашел проведать, как ваше драгоценное здоровьице. Очень приятная погода, и я прогулялся с большим удовольствием.

Марья Николаевна посмеивалась, поставив голые полные локти на белую скатерть стола и положив голову на ладони. Изжелта-смуглые щеки ее рдели ярко. Она, не отрываясь, смотрела на Кириллова откровенно-влюбленными, цыгански-веселыми глазами и говорила особенно глубоким, полнозвучно-звонким, счастливым голосом:

— А то заночуйте, Сергей Петрович. Вы Шанечке не помешаете, — места найдется. У меня в дому просторно, слава Тебе Господи! Что ж в город-то ехать на ночь глядючи. Да и отправить-то вас мне не с кем, — работникам завтра вставать рано. Так уж заночуйте, право.

Тогда Кириллов приободрился и скоро стал развязно-любезен. Марья Николаевна поддразнивала его:

— Ну что ж, Сергей Петрович, расскажите Шанечке, как вы пальто-то поносить дали.

Кириллов краснел и отмалчивался. Марья Николаевна рассказывала:

— Пришел к нему его сослуживец, пропойца ведомый, Яшка Смаркин. Дай, говорит, мне твое пальто до вечера, вечером принесу, а то холодно очень, и с Любочкою в одном пиджачке прогуливаться совестно. Я, говорит, за Любочкою ухаживаю, и она мне оказывает восхитительные знаки внимания. Сергей Петрович ему, как доброму, возьми, говорит. А тот возьми да пальто и пропей. А пальтецо-то новое, толь-

ко осенью справили. Сергею Петровичу говорят, — как же вы теперь будете? А он говорит: ничего, говорит, пледом завернусь, зонтиком покроюсь. А еще совсем холодно было, в марте было дело. То-то было смеху! Бессребренник!

Шанечка хохотала. Кириллов улыбался и говорил:

— Где наше не пропадало!

После плотного ужина с вином и с наливками, когда уже у Кириллова замаслились плутоватые глазки, Марья Николаевна сказала:

— Теперь вы нам сыграйте, Сергей Петрович.

Пошли в гостиную. Там уже была зажжена висячая лампа, и на столе уже лежал принесенный расторопною Наталкою футляр со скрипкою. Видно было, что Кириллов частый гость, — скрипка здесь оставалась.

Едва только Кириллов взял смычок, как тотчас же сладкое выражение сбежало с его лица, глаза проснулись, губы улыбнулись весело и вдохновенно, и такая сладостная, и такая томная, за душу хватающая полилась в полумраке с нежно-рокочущих струн мелодия, что Шанечка отвернулась к стене, голову низко опустила, глаза прикрыла стройною, смуглою рукою и заплакала от радости и от печали, вонзившихся сотнями тонких жал в разнеженное вешнее сердце.

Наплакавшись сладко, выглянула Шаня из-под локтя на мать, увидела ее влюбленные, полные слез глаза и распустившиеся улыбкою, как рдяная роза, губы, — и сама Шаня так же, как мать, губы распустила, засмеялась и заплакала пуще.

Мать подошла к Шане тихонько, обняла ее и шепнула:

— Хорошо, Шанечка! Сладко жить на этой земле! И слезы, и кровь, — все сладко.

Долго играл Кириллов. Потом Шаня спела, под аккомпанемент его скрипки, наивную песенку:

Если б, сердце, ты лежало
На руках моих,
Все качала бы, качала
Я тебя на них,
Словно мать дитя родное,

С тихою мольбой,
И затихло б, ретивое,
Ты передо мной.
Но в груди моей сокрыто,
Заперто в тюрьму,
Ты доступно, ты открыто
Одному ему.
Но не видит он печали.
Что мне делать? как мне быть?
Позабыть его? Едва ли
Сердце может позабыть.

Потом Шаня спела еще несколько «городских» романсов. Потом пели все трое, и Наталку позвали петь вместе. Разошлись ночью поздно.

Спать Шаню положили наверху, в мезонин. Но спалось ей плохо. Ночью нежный шепот долго слышался Шане и потом поцелуи. Шаня открыла окно. Сладкая вешняя ночь, шепот внизу. Как все это дразнит и томит!

Зачем ждать! Сладкие минуты проходят бесследно. Отдаться милому, отдаться ему при первой же встрече!

Глава сорок первая

Утром проснулась Шаня раньше солнца. Она почувствовала вдруг, что не в силах смотреть на счастливое лицо матери. Какая-то маленькая злость вдруг схватила ее сердце.

Шаня встала рано утром и тихонько обежала весь дом. Мать еще спала. В полутемной прихожей в глаза Шане метнулась чистенькая круглая кокарда на повешенной на деревянном гвоздике фуражке Кириллова. Шаня схватила эту фуражку и спрятала ее в чулан за корыто. Сама не знала, зачем это сделала.

Только вышла Шаня из чулана, — мимо, громко топая, пробежала Наталка, на Шаню метнула быстрый, лукавый взор. Шаня засмеялась и вышла в сад. На зеленых былинках росинки, как разноцветные

бусинки и бисеринки, трепетали, играли искорками и лучиками и смеялись переливными смешиками. Шаня побежала по невысокой травке, и весело сыпались прохладные росинки на ее слегка порозовелые от прохлады утренней ноги.

Мать вышла на крыльцо, весело окликнула Шаню:

— Веселишься, Шанечка? Иди-ка с нами кофе пить.

Кириллов собрался домой рано. Хватился шапки. Долго ходил, искал. Искали и Марья Николаевна, и Шаня, и веселая быстроглазая Наталка. Посмеивалась Наталка и в чулан ни разу не заглянула. Так и не нашли.

Один из работников дал свою праздничную, новую шапку. В ней Кириллов и уехал.

А Шаня собралась к Томицким. Мать удерживала было:

— Только приехала, с матерью ничуть не побыла.

— Да я, мамочка, ненадолго, — просительным голосом сказала Шаня.

Но видно было, что Марья Николаевна вся погружена в свои ощущения счастия и весны и что о дочери думает она теперь немного. Сказала:

— Ну уж поезжай. Вот только погоди, Василий отвезет Сергея Петровича, из города вернется, лошадь покормит, тогда и поедешь. Другие-то работники все в поле.

Но не терпелось Шане.

— А я пешком пойду, мамочка.

Расспросила про дорогу, — версты четыре с небольшим, полями, только в конце маленькою рощицею, — и собралась идти. Едва мать заставила ее завтрака подождать. За завтраком опять наливочкою угостила.

Дорога, как сон, легкий и крылатый. Долина еще мглилась порою, и кое-где внизу, в тени лежали еще последние остатки снега. Цвела сирень, и ландыши цвели. День был кроток, не жарок, не ярок. Кукушка в глухом перелеске кричала далеко и тоскливо.

— Сколько лет проживу? — спрашивала ее Шаня.

Считала и сбивалась в счете, — уж очень кругом хорошо было.

Ах, что долго жить! Хоть бы один год счастливый с Евгением! Или нет, — лучше восемь лет, столько же, сколько лет прожила Лилит с Адамом. И потом умереть в вечер самого счастливого дня, уже не беззаботного, уже насыщенного сознанием взятого от жизни счастия.

«И чтобы здесь похоронили, — думала Шаня, — вот на этом сельском погосте невдали от дороги, близ белой церковки с зеленою кровелькою».

Вот речка перебросила через дорогу свое гибкое тело, а вот за мостом, среди веселой зелени, за ранними цветами, виднеется дом с зеленою крышею, — начинается усадьба Томицких. Спустилась Шаня к речке, в воду ноги опустила, — веселая, холодная вода!

Пока синеглазая девочка бегала за хозяевами, Шаня отдыхала, сидя на открытой террасе.

И Алексей, и Дунечка были очень рады Шане.

И она была в восторге. Восклицала:

— Ах, как вы мило устроились!

Смотрела на них с любопытством. Алексей возмужал, загорел, стал такой широкоплечий, но все такой же был ровный, спокойный, уверенный, как будто слегка холодноватый. А у Дунечки все так же забавно разбегались высоко поднимающиеся, светлые бровки. Для Шани было как будто даже неожиданно, что Дунечка такая рослая и здоровая.

Счастие Томицких — невинная идиллия, соблазнительный сон. Счастие легкое, телесно-ощутимое, веселое, не стыдливое. Каким не бывает счастие в городах. И не ревнуют один другого, — некогда. День проходит в заботах, в работах, в близком общении с милыми стихиями, благостными под своею суровою подчас личиною к человеку, который знает их простодушные тайны, — насколько может знать.

Осмотрела Шаня все несложное хозяйство Томицких и наметавшимся с детства взглядом увидела, что дело здесь идет удачливо. Она сказала:

— Вы, Алексей, казались мне таким городским человеком. Все с книжками возились. Да и Дунечка, — откуда ей было знать, что

делается в поле? А у вас все в таком порядке, точно вы всегда были здесь, точно вас от самого детства земля полюбила.

Алексей усмехнулся и сказал:

— Земля только дураков не любит. Она хочет, чтобы ее знали и понимали, и тогда отвечает человеку приветом и лаской.

Шаня пожила здесь несколько дней. Дунечка сумела отвлечь ее мысли работою в саду и в поле. Шаня легко и радостно вошла в трудовой и милый обиход их жизни.

Здесь было просто и весело, как в том раю, который будет на земле, когда окончится владычество расчетливого, трусливого горожанина, строящего вавилонские башни, пока судьба не сотрет межей и граней. Радовали Шаню здесь нехитрые дары природы, — еще холодная река, в которую так весело окунуться, — ранние весенние цветы, белые, желтые, голубые, фиолетовые, — веселый труд. Еще нежаркое радовало Шаню солнце, — и сладостный вешний воздух, — и едва обсохшая земля, прикосновения которой к нагим стопам так нежны и суровы, — и часто перепадавшие быстрые вешние дождики, после которых воздух так весь насквозь сладостен становился, свеж и душист и все листья на березках испускали из себя такой теплый, влажный и милый дух, что хотелось смеяться беспричинно, смеяться до слез.

А ночью, — так звонко поет соловей в густых кустах черемухи и дикой малины над рекою, — спать не дает. Откроет Шаня окошко и слушает долго. Потом вылезет из окна, чтобы никого не разбудить, выберется из сада в поле, в рощицу, к реке. Зашумит под голыми ногами прошлогодняя опавшая листва, примолкнет соловей. Замрет Шаня на месте, — и опять соловей заливается, поет, низко опустив серые крылья.

Слушает Шаня во тьме соловья, пока сладкою тоскою не истомится сердце. Тогда бежит Шаня от песен соловьиных через поле по легким тропинкам далеко.

Но вот опять веет в Шанино лицо речною свежестью. Пахнет папоротником и водою. Далеко разносясь, раздается дружный хор лягушек. То затихнет, то опять поднимется кваканье громче прежнего. Зеленые пучеглазые твари славят вешнюю радость, как умеют. Торже-

ствующий их хор томит и дразнит Шаню. Все ближе, вот уже у самых ног, — по прибрежной влажной траве тихо-тихо идет Шаня, всматривается в темноту ночную черными, как ночь, глазами и осторожно ступает, чтобы голою ногою невзначай не наступить на зеленое, скользкое тело.

Утром Дунечка спросит:

— Хорош у нас соловей поет?

Шаня говорит, вздыхая счастливо и томно:

— Ах, хорош!

— Прошлогодний, — радостно говорит Дунечка. — К месту привык. На том же дереве гнездо свил, как и прошлый год.

— Хорошо у вас, Дунечка! — с легкою завистью говорит Шаня.

— У нас просто, — отвечает Дунечка. — Нет такой роскоши, как у вас.

Шаня вспоминает отцов дом, где уже нет милой мамы, и говорит с досадою:

— Ну какая роскошь! Грубые одры в чехлах стоят, да скользкий пол мастикой пахнет. А у вас, — такая веселая, такая крепкая сладость в вашей жизни! Ты так любишь своего Алексея, что смотреть завидно!

— Как же мне его не любить! — отвечает Дунечка. — И знаешь, я чувствую, что моя любовь растет с каждым днем. Мне иногда кажется, Шанечка, что она так растет, что в моей душе уже и места для нее мало. И вся жизнь — только любовь.

Улыбается Шаня. Вспоминает своего Евгения, и Володю вспоминает, и шепчет:

— Любовь — кольцо, а у кольца нет конца.

И светло радуется Дунечкину светлому счастию.

Но не вытерпеть долго этой крепкой сладости. Так томит жажда желаний, так больно глядеть на чужое счастье! В этом мире счастья достигнутого так сильна жажда счастья невозможного! Немолчный, темный шепот и предвещательный ропот природы волнует ее.

Шане кажется, — кто-то проходит мимо, грустно опуская глаза. И кто-то смотрит тяжелым взором на Шаню.

Тают облака. Небо вечереет. В небе смерть. Печально и легко.

Какие легкие, пронизанные вечернею зарею! Тают, тают...

Шаня через несколько дней уехала опять в город, к отцу. Но и там было ей томно. Места себе не находила Шаня. Она придумывала разные проказы, дома и в городе.

Ходила к Липиной, подразнить ее. Уже зараженная змеиным лукавством большого города, Шаня пыталась, улыбаясь безмятежно и говоря ласково, находить колкие, обидные слова. Говорила:

— Вы, Анна Григорьевна, как помолодели! Ничего, что со стареньким живете, а сами все молодеете.

Липина отвечала, простодушно улыбаясь:

— Что вы, Шанечка! Да я уж такая и есть, не старуха, молодеть мне некуда. Да и папашенька ваш какой же старик! Мужчина в полном соку, из тиража еще не вышел.

— Вы поправились, пополнели, похорошели, — говорила Шаня.

Смеялась Липина, смотрела на Шаню тупыми голубыми глазами. Отвечала спокойно:

— Да я и так не уродом уродилась, чего же мне еще хорошеть!

Шаня смотрела на чистенькие половички, на розовенькие занавесочки, на горшки с фуксиею и с геранью, на голубенькую клеточку с желтенькою канарейкою и говорила:

— Как у вас мило, Анна Григорьевна! Очень симпатичная обстановка.

— Обыкновенно, — лениво отвечала Аннушка, — уж это как полагается. Бога гневить не стану, хорошо живу, дай Бог всякому. За вашего папашеньку денно и нощно Богу молюсь.

Румяная улыбка дебелой бабы дразнила Шаню, как и тупая безмятежность ее невозмутимо-лазоревых глаз. И досадно было Шане, что эта баба улыбается так же весело и лукаво, как и Шанина мать, и тоже угощает ее вишневою наливкою, барбарисовым вареньем и черемуховым медом. Говорила Липина:

— Сама варила, Шанечка, уж не побрезгуйте на моем угощеньице, откушайте. Ведь уж вы теперь не маленькая, вам можно наливочки выпить сладенькой. Да вы и не бойтесь, — я папеньке вашему не скажу. Сама по себе знаю, что он у вас крутенек.

Не может почему-то Шаня отказаться от Аннушкина угощения. Манит Шаню это ощущение сладкого замирания сердечного, которое

у нее соединяется с вишневою наливкою, — и Шаня пьет рюмку за рюмкою и, сама над собою подсмеиваясь, напевает слова наивно-лукавой песенки:

Так и тянет, так и манит,
Оторваться сил не станет.

А лукавая баба посмеивается, говорит без умолку, рада, что подпоила Шанечку, что Шанины щеки пылают, и язык заплетается, и ноги плохо держат.

А Шанечке что ж без Евгения, отчего и не подпить иногда? Пусть отец узнает, — скорее в Крутогорск отошлет, к строгому дяде, чтобы здесь в городе не срамиться. А ей самой все равно, что о ней скажут. Она здесь как неживая, как сказочная девушка без сердца. А где ее сердце? — спроси, ответила бы Шаня, как в сказке:

— Есть широкая река, у реки есть крутой берег, на берегу стоит древний город, в городе — дом, в том дому мой милый, у моего милого мое сердце, у моего милого моя любовь, как колечко на пальце. Любовь — кольцо, а у кольца нет конца.

Тут же у Липиной познакомилась Шаня с учителями городского училища. Их было двое, оба были очень молоды и оба зверски пили. Были они оба люди одинокие и жили вместе. Оба они удачно играли в карты с местными молодыми купчиками; картежная игра давала им средства на выпивку. Один из них, постарше, носил в дружеском кружке кличку Гуак, был черен, угрюм и безобразен. Другой, совсем молоденький, с лицом вербного херувима, звался Нытиком. С ними постоянно водился начальник местной почтово-телеграфной конторы, рыжий, рябой молодой человек, по прозвищу Чума. Раз в год, съездивши проветриться и по начальству в губернский город, Чума вывозил оттуда неприличный анекдот и потом целый год рассказывал его друзьям. А те каждый раз заново гоготали.

Случалось нередко, что молвит Шаня за обедом отцу:

— Папочка, сегодня я к маме пойду, там и заночую.

— Поезжай, — скажет отец. — Лошади стоят, чего ж тебе пешком ходить. Что ты за богомолка!

Велит запрячь лошадку в кабриолет. Шаня промолчит, а когда отец уйдет, она прокатится до рощи подгородной и оттуда велит работнику ехать домой. Скажет:

— Пешком пройтись хочется, погода уж больно хороша.

Даст работнику полтину, и тот радостно едет в ближайший трактир. А Шаня бежит окольными переулками к учителям. Кутит с ними до поздней ночи. Они выпить всегда готовы и Чуму позовут. Если на выпивку не хватит денег, угощает Шанечка, — на ее деньги посылают за вином и закусками.

Иногда выпивают на квартире у Гуака и Нытика, иногда у Чумы, а чаще отправляются на лоно природы, — или в Рощу Любви, у городской границы, или в кусты над рекою Сарынкою слушать соловья. Коньяку с собою возьмут, сидят в кустах, выпивают, ломтиками лимона перемежая стаканчики ароматного и крепкого напитка. Примолкнут, чтобы не пугать соловья, — и поет соловей, заливается. А ночная роса на траве под кустами так свежа и радостна, как в саду первозданного рая.

Домой возвращается Шаня под хмельком, когда отец уже спит. Тихо постучится в окно людской, чтобы звонком не будить отца, и тихохонько пробирается к себе.

Вот в эти пьяные часы в угрюмо-веселой компании или потом дома в постели особенно ярки бывали минуты слияния в один образ Жени и Евгения, те минуты, когда в томном головокружении распадалась цепь времен и по иному закону великой цельности перестраивался для Шани освобожденный мир.

Отравы и отрады воспоминаний и здешних впечатлений, пронизанные сладостным безумием весны, все более усиливали Шанину готовность отдаться милому. Так жутко и сладостно нарастала юная страсть.

Отец, узнавши по слухам, что Шаня бывает по ночам у пьянствующих учителей, злился и ругался. Иногда и поколотит. Тогда Шаня спасалась к матери. Благо близко, верст шесть. Можно и пешком добежать.

Глава сорок вторая

Однажды днем Шаня ушла из дому и долго не возвращалась. Не сказалась отцу, куда идет, — ушла, когда отец был в своих амбарах.

Самсонов угрюмо ходил по всему дому. У него выдалось несколько свободных часов. Он досадливо думал, что Шанька теперь, может быть, гуляет где-нибудь с пьянствующими учителями. Накрыть бы ее с ними! Да как ее накроешь? Хитра стала Шанька, — на одноногом жеребенке ускачет. Да и непристойно ему гоняться за какими-то негодными мальчишками.

Притворяясь перед самим собою, Самсонов ходил, будто осматривал, все ли в порядке в доме. Он бормотал:

— Хозяйский глаз — алмаз.

А сам все кружил около двери наверх, в Шанины покойчики. Смотрел, нет ли где поблизости Шаниной няньки. Нигде ее не видел, а спросить у служанок почему-то не решался.

Наконец, проходя мимо прохладного чуланчика у заднего крыльца, Самсонов услышал там равномерное дыхание кого-то спящего. Он заглянул в чуланчик, — так и есть, Шанина няня, свернувшись на положенной на полу мягкой перине, спала.

Тогда Самсонов прямо и решительно пошел наверх, на Шанину половину. Прежде всего в Шанину спаленку, — там все было чисто и невинно прибрано. Потом он вернулся в ту комнату, где Шаня принимала своих гостей и писала письма, а в прежние годы учила уроки.

Самсонов внимательно осмотрел всю комнату. Подошел к письменному столу. Выдвинул один ящик, другой. Все ящики обшарил и наконец в одном из них нашел четыре письма. Он прочел, стоя и злобно усмехаясь, по нескольку строчек из первых попавшихся двух писем. Со злобою подумал: «Не забыла Женьку Хмарова, переписывается с ним и теперь».

Он понес письма в свой кабинет, сунув их в боковой карман пиджака. Там он сел за письменный стол и принялся читать их все по порядку.

Уже и письма Хмарова были ему досадны. Но одно письмо привело его в ярость. Это было письмо одного из пьянствующих учителей.

Милая Александра Степановна,

сегодня вечером жду Вас к себе. Будут Нытик и Чума. Раздавим несколько бутылочек, а специально для Вас припасен рогом. Кроме того, будет лимонад, — смешанный с коньячком, лимонад, как вы знаете, божественный напиток. Простите за излишне деловой тон сего письма, — башка трещит со вчерашнего, и треба опохмелиться. Что делать! мы — славяне, и Руси есть веселие пити, не можем без того быти. А пити с таким славным товарищем, как Вы, — один восторг.

Целую Ваши ручки.

Ваш непреоборимый Гуак.

Из этого письма Самсонов убедился, что городские темные слухи его не обманывают и что Шанька не только водится с этими людьми, но и пьет с ними.

Злой, мрачный, стоял Самсонов у открытого окна. Скоро он увидел, что Шаня идет по двору домой, напевая какую-то песенку. Самсонов услышал слова:

Против воли я влюбилась,
Но по воле я люблю,
И любви моей мученье
Я с охотою терплю.

Он крикнул в окно:

— Шанька, иди-ка сюда!

Он хотел притвориться ласковым, — поскорее заманить Шаню, но яростные ноты против его воли пробились в голосе.

Шаня увидела ясно, — зоркая была, — гневные морщины на отцовом суровом лице. Какое-то темное предчувствие больно сжало Шанино сердце.

Шаня проворно побежала к себе. Сердце ее билось. Брови невольно хмурились.

На всем увидела она следы осмотра. Ящики письменного стола были не совсем задвинуты. Шаня быстро выдвинула тот ящик, где лежали полученные ею на днях письма, — прежние она хранила в спаленке в комоде под замком, — и похолодела от внезапного испуга. Писем не было, — три письма от Евгения и одно письмо от Гуака.

Вместе с испугом в Шанином сердце забилась яркая злость.

«Этакая я дура, идиотка! — подумала она. — Не могла догадаться замкнуть ящики. Пусть бы ломал замок».

Шаня вспомнила, что поп сегодня утром попался ей, как только она вышла из ворот, — дурная встреча, напророчившая беду.

Шаня дрожащими руками отшпилила шляпу. Досадливо стащила с ног испачканные мокрою, серою глиною желтые башмаки и черные чулки. Налила в таз воды, опустила ноги в холодную воду, — холодная вода успокоила, утешила. Но вот снизу послышался яростный крик отца:

— Шанька, сейчас же иди сюда!

Шаня вздрогнула.

«Как ворон каркнул!» — сердито подумала она.

Не вытирая ног, оставляя на белых, некрашеных, гладко выструганных и плотно пригнанных досках пола влажные, красивые, медленно высыхающее следы, побежала к отцу, краснея от страха и от досады. Сердце шибко и больно колотилось в ее груди, так больно, что она невольно держалась руками за грудь. Островатые, белые с красными кончиками локти ее, с дугообразною свежею царапинкою около одного из них, трепетно прижимались к бокам.

Когда она прислушалась к дробному, мягкому топоту своих сбегающих по ступенькам ног, ей стало стыдно, что она так спешит. По столовой она прошла, не торопясь и не медля, уверенным, тяжелым шагом хозяйки. На желтых, мелких ромбах блестящего паркета следы ее были едва заметны и поспешили скрыться легким паром в нагретом солнцем за день воздухе чинной столовой.

Подойдя к двери отцова кабинета, Шаня коротко и страстно помолилась без слов, одним тоскливым устремлением души. В кабинет она вошла смущенная и остановилась у порога. Перед суровым отцом она стала вдруг маленькая и робкая.

— Час ждать! — сердито закричал Самсонов, неприятно и раздельно, противным голосом, словно протрубил в оловянную дудку. — За

смертью посылать тебя впору! Что копалась, когда отец зовет? Или на черную гору за живою водою ходила?

Его сердитый крик разбудил злость в Шанином сердце. Шаня резко ответила:

— Башмаки стаскивала. Хоть бы досок на двор настлали, — в глине так и вязнешь. Вы, папочка, гласный, так могли бы позаботиться, чтобы в городе ходить было можно, по грязи не люхая. Везде грязно, сыро. В какой двор в городе ни заглянешь, везде безобразие, мусор валяется, пахнет скверно.

Шаня говорила все это, разжигая в себе своими словами злость, чтобы этою злостью победить страх перед отцом.

Самсонов отвечал сурово и злобно:

— А ты бы, принцесса, в Крутогорске жила. Там небось тротуары. Чисто и весело. В ресторациях ученые собаки под музыку танцуют, а барышни винцо потягивают через соломинку. То-то и хорошо!

Самсонов вытащил из кармана измятое письмо и яростно спросил:

— Это что такое? Что за корреспонденция?

Шаня сразу же, по бумаге, узнала это письмо, — одно из писем от Евгения. Она бросилась к отцу вырывать его.

— Те-те-те! — насмешливо протянул Самсонов и поднял письмо кверху. — Не так прытко, — еще мы почитаем.

Он отвел Шаню сильными, горячими руками. От его домашней, ярко-красной кумачовой рубахи под затасканным пиджаком странно и неприятно пахнуло запахом, похожим на запах касторового масла.

Самсонов начал вслух читать письмо:

— Милая Шанечка.

Шаня заплакала и закричала:

— Отдайте мне это письмо!

Отец злобно издевался над нею.

— Истинно милая! — говорил он. — Уж милее и нельзя быть! Для Женьки Хмарова — милая, для пьяной учительской хари — милая. Со всякою сволочью готова дружбу свести. Пай-девочка! Умница! Вот только давно мы в Нидерланды не заглядывали.

Шаня вспыхнула, быстро бросилась к отцу и вырвала письмо из его рук. Самсонов не ожидал такого внезапного нападения. Хоть и знал он хорошо свою дочь, но ее вспышки всегда его удивляли. Он свирепо затопал на Шаню тяжелыми сапогами и закричал:

— Да ты что, дрянь ты этакая! Да как ты смеешь! Это уж я и не знаю что! Своевольница этакая!

Шаня плакала и кричала:

— Чужие письма нельзя читать! Так порядочные люди не делают!

— Да ты дерзить! — яростно завопил Самсонов. — Объедомы, что ли, натрескалась!

Он побагровел от злости. Они кричали друг на друга, оба красные, дрожащие, и глаза у обоих сверкали, как раскаленные гвоздики.

— Это подло — таскать чужие письма! — крикнула Шаня.

Самсонов кричал в яростном недоумении:

— Это ты отцу смеешь такие слова!

Он заметался по горнице. Опрокинул тяжелое кресло. Схватил Шаню за руку и так стиснул, что Шаня взвизгнула от боли.

— Вот тебе, негодяйка! Вот тебе! — кричал Самсонов.

Тяжело и звонко шлепаясь, посыпались на Шанькины щеки жаркие пощечины. Слезы разбрызгали, — на отцово лицо, на его руки.

Шаня металась, вырываясь, и кричала, забывши весь свой страх, взбешенная болью жестоких ударов:

— По чужим комнатам шарить, чужие письма читать, взрослую дочь по щекам бить, — мужицкое, варварское, дикое обхождение!

— Молчать! — закричал отец.

Шаня кричала:

— Как звери живете здесь в ваших берлогах!

Хрипло-рыдающим голосом Самсонов говорил:

— А, звери! Ну, подожди же, дочка! Я тебя проучу! Я тебе покажу, как с прохвостами пьянствовать, отцово имя на весь город срамить!

Он сел в кресло и тяжело дышал. Шаня рыдала и выкрикивала гневные слова.

Вечером, избитая отцом и уже помирившаяся с ним, Шаня говорила ему, плача:

— Я сама вижу, что он за человек. Но он честный, он женится.

Самсонов сказал угрюмо:

— Женится, да не на тебе. Сердца у него нет, у твоего Женечки. Так, комок мяса в груди бьется, с кровью, с жилами, а сердца нет, да и не было.

Шаня говорила:

— Он выше всего ставит честь. А я люблю его больше жизни. Он и легкомысленный, и тщеславный, и мот, но он — человек чести, истинный дворянин. Он — рыцарь, мой верный рыцарь. А я, — как кусок соли, растворенной в воде, так и я растворилась в любви к нему.

На другое утро Шаня опять уехала к матери на хутор. А что и там делать, как не проказничать, всем надоедая! Ведь не целый же день лежать в траве, глядеть на пустынное, жарко синеющее небо и слушать звуки жизни дивной, но такой скучной без милого!

Иногда мать на нее ворчала, иногда сердилась и бранила ее.

Глава сорок третья

Летом Хмаровы жили на даче близ Крутогорска. Собирались было они поехать за границу, да на эту поездку не было денег. И потому настроение у всех было невеселое. Особенно нехорошо чувствовал себя Евгений.

Никакой новой полосы в его жизни не начиналось. Сладкая заноза в его сердце все томила его. Отношения семейные были неприятны, натянуты. А Шаня была далеко, и не на кого было опереться Евгению.

Чем дальше, тем все сильнее скучал Евгений. Пытался он флиртовать с местными дачными барышнями, но ни одна из них не могла занять его надолго, и все они казались ему пресными. Его раздражала общая им всем низменность воображения и мысли и то, что они могли только болтать о ничтожных предметах и с невинным видом сплетничать.

Он писал Шане почти каждый день письма. Умолял ее вернуться поскорее.

Дома Евгений был раздражителен и капризен. Мать старалась угодить ему, чтобы отвлечь его от мыслей о Шане. Но она не могла воздержаться от того, чтобы иногда не позлословить насчет Шани, и этим раздражала Евгения. Он злился, но не умел прекратить этих злобных выходок сердитой дамы.

Родные всячески наводили Евгения на Катю. Нарочно и поселились на лето в полуверсте от имения Рябовых. Варвара Кирилловна неутомимо придумывала прогулки, пикники, вечера, домашние спектакли, вообще всякие предлоги для того, чтобы возможно чаще быть вместе с Рябовыми. И каждый раз заботилась о том, чтобы Евгений почаще оставался наедине с Катею.

Евгений, по своей бесхарактерности, не умел уклониться от этого. Но эта настойчивость Варвары Кирилловны раздражала его. Он переносил свое раздражение и на Катю. Оба капризничали, обменивались колкостями. Варвара Кирилловна старалась при этом мило улыбаться и говорила:

— Милые бранятся, только тешатся.

Дома она принималась пилить Евгения. Он иронически говорил:

— Лето, приятное во всех отношениях.

И скрывался из дому. Шел в парк, садился на скамейку на высоком берегу озера и предавался меланхолическим мечтаниям, за которые потом сам над собою смеялся.

Рябовы, распрощавшись нежно и ласково с Хмаровыми, возвращались домой не в духе. Евдоким Степанович ворчал:

— Прилипли. Надоели. Эта Варвара способна липнуть, как банный лист к голому телу. Одно остается: уехать поскорее за границу. Только бы и они за нами не увязались, — а то и заграничную поездку испортят.

Наталья Александровна возражала:

— Но она такая милая, такая светская дама. Правда, немножко надоедливая. Но что ж делать! Вот скоро уедем за границу. Они не поедут, — она мне проговорилась, что нет денег на поездку.

— И слава Богу, — говорил Евдоким Степанович.

Катя молчала, краснела, вздыхала; оставшись одна, плакала. С молодыми людьми, ухаживавшими за нею, она обращалась высокомерно, насмешливо, иногда просто даже дерзко.

Приближалась осень. Рябовы отправились за границу раньше, чем предполагали. И тогда совсем стало скучно, — Варваре Кирилловне не к чему стало что-нибудь устраивать, Евгению не с кем было вести хотя и досадовавшую, но все же развлекавшую его игру. И уже Евгений начал подумывать, не махнуть ли ему в Сарынь. Останавливало только опасение, что в маленьком городе трудно будет скрывать свидания с Шанею и что, пожалуй, придется иметь неприятный разговор с Шаниным отцом.

Нагольский, на правах жениха, часто бывал у Хмаровых. Поведение Евгения ему не нравилось. На это у него были свои причины. Войти через Хмаровых в более близкие отношения с Рябовыми казалось ему полезным для будущего, на всякий случай, а сближение Евгения с Шанею не обещало Нагольскому никаких выгод.

Евгений как-то проговорился Нагольскому, что хочет ехать к Шане в Сарынь, — держать свои намерения в секрете было для Евгения трудно. Нагольский встревожился и решился как можно скорее принять свои меры.

В тот же день он постарался остаться наедине с Варварою Кирилловною.

— Можно поговорить с вами откровенно? — спросил он.

— Пожалуйста, — отвечала она. — Вы так хорошо, тепло к нам относитесь, я так рада за Марию, которая будет, конечно, счастлива с вами.

Нагольский отвечал с самоуверенною усмешкою:

— Надеюсь! Я хочу поговорить с вами насчет Евгения. Он такой пылкий, увлекающийся. Можно было думать, что он скоро забудет эту свою ужасную Шанечку. Но вот уж сколько времени прошло, и я наконец начинаю опасаться.

Варвара Кирилловна прослезилась и, доставая платок из сумочки, сказала:

— Ах, эта ужасная девица! Она его околдовала. Вы бы видели, какие у нее глаза! Это — просто ведьма с Лысой горы.

— Околдовала, так надо расколдовать, — с тою же уверенностью говорил Нагольский. — По-моему, дело не столь уж хитрое. Мы его

живо оборудуем. Вы меня простите, Варвара Кирилловна, за мою навязчивость. Но вы сами понимаете, что наши отношения дают мне смелость дать вам дружеский совет.

— Пожалуйста. Я вам так благодарна! — говорила Варвара Кирилловна.

Нагольский помолчал значительно и сказал:

— Я бы вам посоветовал разрешить мне, простите, свести, то есть познакомить, Евгения с Марусею Караковою. Кстати, она с матерью теперь живет в своем имении, и это недалеко отсюда. Я бы мог его познакомить с ними. Они очень гостеприимны.

Варвара Кирилловна долго ломалась. Говорила:

— Из огня да в полымя. Ведь это — совершенно безнравственная особа, эта ваша Маруся. Я бы и вам самому не советовала к ней ездить. Хотя вы — человек сложившийся и я знаю ваши твердые нравственные принципы, но все же это — опасная особа.

Нагольский уговаривал ее долго. Он уверял, что ничего опасного в этом знакомстве нет, что Маруся холодна со всеми своими поклонниками, что роман с нею будет непродолжителен. Наконец Варвара Кирилловна согласилась. Она приняла, по своей привычке, вид женщины, приносящей себя в жертву за других, и сказала усталым голосом:

— Делайте как знаете. Я умываю руки.

И принялась нюхать какую-то соль из маленького граненого флакончика.

Нагольский говорил:

— И, наконец, в крайнем случае, если бы Маруся вздумала остановить свой выбор на Евгении, ничего трагического в этом не будет. Караковы очень богаты. Миллионами ворочают. И Маруся имеет совершенно самостоятельное состояние.

— Нет, — томно возражала Варвара Кирилловна, — я не хочу, чтобы в мой дом вошла эта безнравственная особа. Я не хочу для своего сына другой жены, кроме этого ангела Кати, которую я полюбила как родную дочь. А правда, — вдруг оживляясь, спросила она, — очень богаты Караковы?

— Да, очень, — сказал Нагольский. — Богаче даже Рябовых.

Варвара Кирилловна задумалась. Она нерешительно спросила:

— Так вы надеетесь, что она его отвлечет от той ужасной девицы?

Нагольский отвечал уверенно:

— Отвлечет наверное, за это я вам ручаюсь.

Он поцеловал руку Варвары Кирилловны и ушел, холодный, прямой и уверенный. Как всегда после разговора с Нагольским, Варвара Кирилловна чувствовала себя немного холодно и жутко. Думала опасливо: «Ему пальца в рот не клади».

Прямо от Варвары Кирилловны Нагольский прошел к Евгению, рассказал ему несколько новостей и свел разговор на любовь. Он говорил Евгению:

— Любовь, и даже страстную, я понимаю и допускаю как всякий другой эксцесс, но в известных пределах, указанных благоразумием. Любовь, мой милый, хороша только тогда, когда ею делишки обделывают.

— Посредством любви! Что за цинизм! — воскликнул Евгений, чувствуя себя на большой высоте сравнительно с Нагольским.

— Да и то, — говорил Нагольский, — держи ухо востро, как бы тебя самого не поддели. Это всегда — почва зыбкая.

Евгений надменно улыбнулся, пожал плечами и сказал:

— Все это для меня — слишком практичные взгляды. Обделывать делишки!

Нагольский посмотрел на Евгения свысока и сказал:

— Отчего же их не обделывать?

— Что такое делишки? — говорил Евгений. — Делишки для людишек.

Нагольский кисло сказал:

— Ну и мы с тобою не боги. Я, по крайней мере, чувствую себя человеком, твердо стоящим на практической почве.

Евгений напыщенным тоном говорил:

— Я ставлю себе в жизни высокие цели, и я чувствую в себе достаточно сил, чтобы поднять на свои плечи добавочный груз неравной любви. Я умею работать. А делишки обделывать предоставляю другим, кому это нравится.

Нагольский выслушал его, насмешливо усмехаясь.

— Ну, — возразил он, — я, брат, не философ, я — практик. Всех этих теоретических выспренностей я не понимаю. Я дедушке Крылову больше верю, как у него сказано: «А философ без огурцов». Советую и тебе не пренебрегать сими огурцами.

— Не любитель, — хмуро сказал Евгений. — Предпочитаю ананасы.

— Губа у тебя не дура, — возразил Нагольский. — И я тебе вот что скажу: женщины — драгоценнейшая вещь в смысле протекции. Они надежнее всего вывезут.

Евгений мычал себе что-то под нос.

Нагольский, улыбаясь, сказал:

— Хочешь, я познакомлю тебя с Марусею Караковою? Девица удивительная. И при том может угодить на разные вкусы. Если хочешь, поговорит с тобою о «науке страсти нежной».

— И так надоело, — угрюмо сказал Евгений. — С меня и Катиных разговоров было больше чем достаточно.

— Ну что ж, — сказал Нагольский, — если ты предпочитаешь умные разговоры, она и тут не спасует. Недаром к ней ваш приятель, приват-доцент Леснов, любит ездить. И он, и Лунев ее заряжают последними словами науки.

— Воображаю! — насмешливо сказал Евгений.

— Нет, ничего, — возразил Нагольский, — и на эти темы с нею можно поболтать без скуки. Девица не глупая. Можешь и по части благотворительности с нею побеседовать. В позапрошлом году голодающих кормила, столовых пооткрывала. Полиция запретила, — какие-то прокламации там нашлись или вообще какая-то ерунда. Или, кажется, она разрешения ни у кого не спрашивала. Подробностей не знаю, только с губернатором у нее крупный разговор вышел. Дерзкая девица, и язык подвешен ловко. Особенно по части любви хорошо понимает, а сама необыкновенно невинна. Даже до удивления при такой ее бойкости и ее капиталах, которые дают ей право на все.

Евгений что-то вспомнил. В глазах забегали чертенята. Он весело сказал:

— Что ж, поедем.

Евгений несколько раз встречался с Марусею Караковою в театре, в собраниях, но знаком с нею не был. Знал, что она знакома с Шанею. Теперь ее имя вызвало в нем ряд страстных, волнующих представлений.

Глава сорок четвертая

Был прекрасный, жаркий день в конце июля. Нагольский и Евгений вместе поехали в усадьбу Караковых.

В это время Маруся лежала нагая на мягкой скамейке в беседке у забора, за цветущими бледно-розово кустами сибирской герани, и смотрела, приоткрыв край занавески, на дорогу, совсем не заботясь о том, не увидит ли ее кто-нибудь. Маруся дремала, и мечтала, и улыбалась. Мечты ее были о чем-то несбыточном и невинном. Мать говорила ей:

— Ты бы, Маруся, хоть бедра свои прикрыла. А то нехорошо. Вдруг пройдет кто-нибудь из мужской прислуги.

Маруся отвечала, лениво улыбаясь и потягиваясь:

— Ах, маменька, ужасно жарко! И здесь совершенно некому на меня смотреть.

Накинув на голое тело белый халатик, она пошла купаться на речку за садом.

Евгений и Нагольский, одетые изысканно, точно они отправились кататься в Булонский лес, подъезжали садом к дому, разговаривая лениво и оба почему-то волнуясь. Евгений, по привычке, вяло жаловался на свои расстроенные нервы.

Вокруг было безлюдно и тихо. Между чинаролистными кленами и уже начинающими ярко желтеть березами мелькала белая одежда, — Маруся шла в стороне от дороги.

Они долго смотрели, как неторопливо идет Маруся, колыша складки одежды, из-под которой видны ее загорелые ноги.

Гостей провели в гостиную. Было там темновато, и после внешнего зноя казалось прохладно. Сначала гостям показалось, что в гостиной никого нет. Но кто-то зашевелился в углу, и они увидели сидевшего на

диване мальчика лет семнадцати в велосипедном костюме. У него были громадные глаза, и под глазами виднелись синевато-оранжевые полосы. Видно было, что юнец волнуется.

Горничная, дебелая, краснощекая девушка, сказала:

— Просят обождать. Сейчас барышня выйдут.

Гости сидели и ждали. Нервный завязывался и обрывался разговор. Нагольский пытался заговорить с юнцом. Тот едва отвечал и смотрел на вновь приехавших сердито, словно они могли в чем-то помешать ему.

В соседней комнате послышались тихие шаги, шорох платья, гости поднялись со своих мест, — вошла Маруся и на секунду приостановилась в дверях, улыбаясь и оглядывая гостей. Платье на ней было белое, легкое, красивое, сильно открытое. Руки обнажены, ноги босые.

Вошла Маруся, взглянула, — и Евгений вдруг почувствовал, что влюблен. В один миг Евгений забыл Шаню, и Катю, и все на свете. Он смотрел в эти бездонно-веселые глаза, словно опьяненные жизнью, в это обыкновенное, румяное лицо, обвеянное простодушною радостью жизни, и не знал, что сказать, что сделать. Но когда Маруся подошла к нему и заговорила просто, как с давним знакомым, он вдруг нашел слова отвечать. Казалось ему, что он всегда был знаком с Марусею, и казалось, что все на свете просто и легко разрешимо.

Маруся поздоровалась и села на стул около окна, и так улыбалась, что и без того взволнованного юношу бросило в жар и в холод. Ему было неудобно и неловко торчать на диване, и он хотел бы сесть на полу близ Марусиных ног, но не решался покинуть своего места и мучительно краснел.

— Вы знакомы? — спросила Маруся.

Назвала фамилии, — оказалось, что юнца зовут Львом, а по фамилии Находка.

Нагольский сказал:

— Вы все хорошеете, Марья Константиновна.

Она засмеялась. Говорила:

— Я живу, как во сне. Счастливый сон, — но иногда мне хочется проснуться. Я влюблена в того, кого не было. А может быть, он дав-

но умер. И мне снится иногда, что он приходит ко мне. О, какой он прекрасный! Сильный! И совсем не похож ни на кого из вас.

Лев Находка смотрел на Марусю засверкавшими глазами, точно это она о нем говорила.

Маруся помолчала и спросила:

— Лунева вы не встречали?

— Обогнали, — сказал Нагольский.

Маруся засмеялась.

— У нас каждый день то Леснов, то Лунев, — сказала она, — а то и оба вместе. От них я много узнаю интересного.

Два магистра, математик Лунев и зоолог Леснов, приезжали к Караковым то вместе, то отдельно. Оба они были рассеянные и близорукие. Математик был тупой, белый, высокий, наклонный к ожирению, медленный. Зоолог представлял ему полную противоположность: это был черный, невысокий, тонкий, быстрый, острый, язвительный человек.

— Кому же из них вы отдаете преферанс? — спросил Нагольский.

Маруся спокойно отвечала:

— Люди, почти все, довольно жалкие существа. На одну чету Рожера и Брадаманты — целые тьмы Пинабелей.

Евгений и Нагольский переглянулись. Они не знали этих имен.

«Меня зовут — Лев, — думал Находка, — но это не хуже Рожера».

Маруся говорила:

— Да и кому из вас, господа, можно отдать предпочтение? Ни один из вас его не заслужит.

Нагольский улыбнулся как-то уж очень сладко и спросил:

— Отчего же, Марья Константиновна? Вы не можете отрицать, что многие из нас имеют высокие достоинства.

— Не отрицаю, — сказала Маруся. — Но все ваши достоинства только для себя и рассчитаны на то, чтобы покорять. Вы знаете только две морали, мораль господ и мораль рабов, а мораль товарищей вы еще не успели создать. Вы, господа мужчины, создали весь современный строй и удерживаете в нем свое господство. Пусть будет так, как вы хотите. И все-таки ваша сила только до тех пор, пока мы,

слабые создания, хотим быть вашими госпожами или вашими рабынями.

— Насколько это от меня зависит, — сказал Нагольский, — я всегда хотел бы быть рабом прекрасной дамы и к ее ногам повергнуть весь свет.

Лев Находка задвигался в своем темном углу дивана и, преодолевая смущение, вмешался в разговор. Голосом, прерывающимся от волнения и от этого еще более звучным, он сказал:

— Рыцарем, а не рабом хотел бы я быть. Хотя бы и самым несчастным из рыцарей, умирающим у ног прекрасной Дульцинеи.

Его темные глаза светились восторгом. Маруся засмеялась и окинула мальчика таким нежным взглядом, что он замер от восторга, а Евгений почувствовал бешеный зуд ревности.

Маруся говорила:

— Быть вашими госпожами или вашими рабынями, в сущности, одно и то же. Крайности сходятся, совершенно противоположное тождественно, вершины радости и печали Бог срастил вместе, и так во всем, — как на качелях качаемся, — сами, или черт нас качает.

— Иногда этот черт принимает обольстительные формы прекрасной дамы или девицы, — сказал Нагольский.

Голос его звучал почти искренно, так что Евгений почему-то с удивлением посмотрел на него. Маруся кинула на Нагольского быстрый, горячий, слегка насмешливый взгляд и продолжала:

— Кто хочет и умеет порабощать других, тот слишком хорошо понимает психологию раба, — потому-то и умеет господствовать над рабами. А в душе он такой же раб. А тот, кто носит рабские цепи, очень живо чувствует сладость и прелесть власти. Дорвется до власти, так уж он покажет себя.

— Потому, что он — хам, — сказал Евгений.

— Нет, — возразила Маруся, — потому, что яд власти и яд рабства — один и тот же яд; колпак ли на попе, поп ли в колпаке — все едино. Альдонса носит воду, а Рыцарь Печального Образа зовет ее Дульцинеею, прекраснейшею из дам. Если бы эта Дульцинея попалась ему в руки, ей пришлось бы проявить перед ним оба свои лика, — мыть полы в его доме и колотить его туфлею по

плешивой голове. И то и другое она делала бы очень хорошо, потому что рабыня умеет быть госпожою, вы, господа мужчины, ее этому научили, «недаром лик ваш двуязычен».

— Я не понимаю, — сказал Евгений, — почему вы отрицаете существование морали товарищей? Ну ведь как же, — есть артели, община, школьное товарищество, корпорации. В каждой профессии есть свои товарищеские отношения, своя особенная этика. Даже мальчишки требуют от своих одноклассников доброго товарищества.

— Формы есть, — сказала Маруся, — а мораль товарищей только создается нами, женщинами. Искусству быть товарищами вам придется поучиться у нас, умеющих, отдавая, становиться богаче. Товарищеский дух воцарится над землею тогда, когда Альдонса и Дульцинея сольются в один еще неведомый нам образ.

— Когда рак свистнет, — сказал Нагольский. — Будущее никому не известно.

Улыбка его и тон его слов показались Евгению наглыми. Маруся сказала:

— Неизвестно тому, кто не хочет знать. Ведь можно и прошлого не знать. А мы, однако, многое в прошлом знаем, и в историческом прошлом, и в геологическом. Забвение прошлого и непонимание будущего — вот два зла, в которых вы, господа, усердно упражняетесь. Конечно, не все, — многие из вас.

Она улыбнулась. Нагольский сказал:

— Вы положили гнев на милость хоть для немногих из нас, и на том спасибо.

Нагольский посмотрел на Марусю, на Евгения. Ему показалось, что Маруся смотрит на Евгения нежно.

Особой нежности, конечно, не выражали упоенно-веселые Марусины глаза, — она просто рассматривала с любопытством этого изящного молодого человека, который бросал на нее такие пламенные взоры. Ее свойство влюблять всех в себя каждый раз опять удивляло Марусю, — ведь она же совсем об этом не заботилась. Евгений, как и большинство молодых людей, ей совсем не нравился, но она не могла не смотреть на него ласково и не изливать на него токи своего соблазна.

На Нагольского она смотрела меньше, — ведь он уже так надоел ей, — и потому внезапно ревность, точно какая-то горячая волна, ударила и подхватила его. Он подумал: «Неужели уступать? Ни за что! И во всяком случае еще попытаемся, посмотрим, чья возьмет».

Нагольский решительно встал, подошел к Марусе и сказал вполголоса:

— Марья Константиновна, на два слова.

Маруся взглянула на него с удивлением, засмеялась, словно догадываясь о чем-то, и сказала:

— Охота вам иметь секреты!

Но тотчас же встала. Она и Нагольский вышли через широкую террасу в сад. Нагольский увидел у ступеней террасы прислоненный к нижнему столбику перил велосипед. Догадался, что это — Льва Находки. Досадливо подумал: «Уж и этот мальчишка, чего доброго, метит попасть в число соперников-ухаживателей».

Непривычно волнуясь, он начал:

— Мне надо вам сказать, Маруся...

Перебивая его, Маруся сказала тихо:

— Знаю. Все одно и то же. Скучно. Как вы этого не поймете, все вы! Ведь это же ужасно надоедает, эта ваша общая мужская влюбчивость.

Нагольский вздрогнул, словно ощутил оскорбительный удар. Но уже поздно было отступать. Он сказал:

— Я вас люблю, Маруся. Люблю, как никого и никогда не любил.

Маруся засмеялась тихонько.

— Дальше? — спросила она.

— Будьте моею женою, — говорил Нагольский.

— А ваша невеста? — спрашивала Маруся. — Моя тезка, Мария?

Нагольский ярко покраснел. Страсть и злость слились в его сердце. Он сказал тихо:

— Она утешится.

— Вы думаете? — насмешливо спросила Маруся. — Разве она такая? Я бы не утешилась. О, я бы мстила!

Нагольский говорил:

— Что я для нее? Так, жених. А вас я люблю.

— Напрасно, — сказала Маруся, — я не люблю вас. Простите. Я совсем не хочу быть вашею женою.

Она спокойно вернулась в гостиную, оставив Нагольского на площадке у круглой клумбы. Он стоял как ошеломленный и тупо смотрел вслед за Марусею.

Глава сорок пятая

В гостиной уже сидел подъехавший в это время Лунев.

Рассеянный магистр чистой математики закружился около Маруси. Он приезжал почти каждый день и вел с Марусею длинные разговоры преимущественно на физико-математические темы.

Сегодня Лунев был рассеян больше обыкновенного, ни разу не ответил впопад и видимо волновался. Наконец он сказал Марусе:

— Марья Константиновна, я попросил бы вас выйти.

Ему казалось, что он говорит по секрету, и он даже наклонился к ее уху. Но он говорил громко.

Нагольский и Евгений сдержанно засмеялись. Лев Находка в ужасе смотрел на Марусю. Она улыбалась.

— Зачем выйти? — спросила она. — Разве я вам мешаю?

— Выйти в сад, — сказал Лунев. — Через две минуты и я туда приду. Мне надобно сказать вам по секрету.

— Так лучше пойдемте вместе, — сказала Маруся.

И, как с Нагольским, она вышла в сад с Луневым и привела его к той же скамейке перед клумбою, где сейчас только выслушала признание Нагольского. Она села, расправила складки платья и, с удовольствием ощущая под ногами мелкие песчинки садовой дорожки, посмотрела на побледневшее лицо взволнованного математика своими ясными, синими, опьяненно-веселыми глазами. Сказала:

— Ну-с, я слушаю. Все о том же?

— Нет, — сказал математик, — о другом. Прошлый раз мы с вами беседовали, если не ошибаюсь, о давлении света и о формуле...

— Я это помню, — перебила Маруся. — Но теперь вы увели меня от моих гостей, думаю, не для разговора о физике или о математике. Итак, перейдемте к делу.

Математик быстро пощипал несколько раз левою рукою свой начинающий жиреть бритый подбородок и сказал:

— Дело, видите ли, вот в чем. К моему величайшему удивлению, для меня на днях стало неопровержимо ясно, что я влюблен в вас. Сначала я был поражен этим и не мог найти для этого обстоятельства никакого разумного объяснения. Сегодня, когда я к вам ехал, я долго думал об этом и убедился, что любить вас — великое счастие, так как вы прекрасны и любите науку. Для полноты счастия необходимо и достаточно, чтобы и вы меня любили или полюбили, — только это и больше ничего. Я счел необходимым объяснить вам мои чувства. Теперь скажите, могу ли я надеяться, что вы меня любите или полюбите, и если да, то я буду иметь честь просить вашей руки.

Лунев замолчал, вынул платок и стал вытирать лицо. Руки его дрожали. Маруся смотрела на него нежно, как на большого ребенка. Ее синие глаза были все так же пьяны радостью жизни, но в них дрожали слезинки. Она не сразу смогла заговорить, — Маруся была сентиментальна, и декларация математика тронула ее до слез, как никогда раньше ничье признание. Ее румяные губы слегка дрожали, когда она заговорила:

— Нет, я не дам вам никакой надежды.

Веселые и звонкие послышались невдали звуки колокола, — призывной звонок к обеду. И уже Марусею сейчас же опять овладело насмешливое настроение. Она сказала:

— Я бы, пожалуй, и не прочь была выйти за вас. Но ведь вы женаты.

Магистр удивился, вспомнил что-то, покраснел и со смущенным видом постучал себя пальцем по голове, бормоча растерянно:

— Ах, виноват, совсем из ума вон. Забыл!

— Как же это вы могли забыть? — спросила Маруся и захохотала.

И уже весело-пьяные глаза ее, забыв свои слезинки, стали по-прежнему ласково-жестоки, опять стали глазами девочки, обрывающей у бабочки ее прозрачные крылышки.

Математик смущенно оправдывался:

— Но ведь я еще так недавно женат. Я совсем даже не привык к ней. Я ее сегодня даже и не видел, — она еще спала, когда я вышел из дому.

Маруся весело сказала:

— Так-то вот вы и меня забудете. Пойдемте лучше обедать.

Нагольский и Евгений вскоре после обеда уехали. Нагольский был зол и смущен, а Евгений чувствовал себя так, точно он плавал в каком-то чадном, необычайно приятном облаке. И потому они не понимали один другого. Нагольский всю дорогу говорил колкости, а Евгений еще более злил его веселыми и порою остроумными ответами.

Так как у Нагольского не было особенной причины нападать на Евгения, то он обрушил свою злость на черноглазого мальчишку. Он говорил:

— Это что еще за фрукт! Очень несимпатичный субъект! Вообще в этом идиотском доме можно иногда встретить черт знает кого. Этот мальчишка имеет вид положительно Альфонса какого-то. Учится музыке! Это мне нравится! Какой-то полуграмотный болван приготовляется прельщать психопаток дурацкою игрою. Воображает себя будущим Рубинштейном, а у самого рожа уже истасканная.

— Кажется, он нравится Марусе, — сказал Евгений.

— Ну, — злобно возразил Нагольский, — эта девица всем глазки делает и всех оставляет с носом.

Льва Находку оставили ночевать у Караковых.

Марусе очень понравились его иссиня-черные, необыкновенно длинные ресницы. Она думала, поглядывая на юнца все более и более упоенными глазами: «Каким прекрасным и таинственным должен казаться мир, если смотреть на него через полуопущенные ресницы, такие, как у этого мальчишки! И какая должна быть глубокая и значительная душа у человека с такими ресницами!»

Маруся долго разговаривала с чернооким мальчиком. Она расспрашивала о его жизни, о его взглядах, о его занятиях, — он учился в местной музыкальной школе. Лев Находка отвечал малословно,

незначительными фразами, но Маруся сама вкладывала в его слова смысл, который казался ей глубоким.

Вечером Льва Находку посадили за рояль, — и Находка играл охотно и долго. Свет ламп, смягченный полупрозрачными абажурами, звуки рояли и внешняя тихая, теплая, темная ночь с ароматами ночных цветов, — все это рождало меланхолические, прекрасные мечты, и в опьяненных веселостью Марусиных синих глазах порою скользила мечтательная, упоенно-нежная задумчивость.

Прощаясь со Львом Находкою на ночь, Маруся сказала ему:

— Если вы захотите гулять ночью, то не ходите по той дороге, которая ведет к реке.

Она замолчала и, посмеиваясь, смотрела на взволнованного ее близостью и музыкою мальчика.

— Почему не ходить? — спросил он.

— Мне нравится иногда купаться ночью, — сказала Маруся. — Может быть, я и сегодня вздумаю пойти купаться, и я боюсь, что вы примете меня за русалку и будете очень бояться. Ведь ночные русалки страшны для таких юных, и смотреть на них негоже.

Лев Находка с наивною и откровенною страстностью сказал:

— Я бы не стал бояться, — я умею смотреть. Только одного бы и боялся, — чтобы русалка от меня не убежала.

Маруся усмехнулась, голубя его глазами, и сказала:

— Одни смотрят, чтобы открывать тайное, другие смотрят, чтобы творить тайну. Второе мне больше нравится.

— И мне, — сказал Лев Находка.

— Да? — улыбаясь очень нежно, сказала Маруся. — Это хорошо.

В звуке ее слов было что-то, рождающее надежду, — и мальчику показалось вдруг, что светом радости и счастия озарен перед ним весь мир.

Он шел в отведенную для него комнату наверху, окнами в сад и на реку, и чувствовал, что не сможет заснуть. Сел у окна, глядеть и ждать. Свечу погасил.

Над мглисто-темными аллеями сада взошла луна. Она томительно и печально смотрела на прильнувшего к окошку мальчика. Он ждал

чего-то, и под белым очарованием луны темен и загадочен был широкий, старый сад. В открытое настежь окно лилась прохлада и едва различимые, но странные благоухания ночных цветов, смешанные с влажными запахами от недалекой, смутно за деревьями видной реки.

Вот на дорожках мелькнуло что-то светлое. Лев Находка вгляделся и не столько узнал, сколько догадался, что это прошла к реке Маруся. Он поспешно встал и спустился в сад. Сердце его сладко замирало предчувствием счастия.

Долго ходил он по аллеям, прислушиваясь к плеску воды в реке, к скрипу песчинок под башмаками. Русалка плескалась там, одна, откровенно таящаяся, а здесь он ходил, один, и чувствовал, что не смеет идти туда, где плещется русалка, где смеется она чему-то.

Он ждал. Голова его кружилась, колени дрожали. Предчувствие счастия все больнее, все ярче разгоралось в его сердце.

Он распутал узел своего галстука, так тщательно завязанного сегодня утром дома перед зеркалом, расстегнул ворот своей велосипедной легкой курточки, — он приехал сюда на велосипеде, — потом расстегнул ворот рубашки, пуговку на груди и приоткрыл грудь, желтовато-смуглую, обросшую редкими, тонкими черными волосками.

У него были очень длинные, сине-черные ресницы. Глаза его хотели видеть, и грудь дышала тяжело, — и надобно было ему обнажить тонкую с выдающимися хрупкими косточками шею и приоткрыть грудь, хотя и сам он не знал, зачем это надо.

Она придет! Придет, и жаждущие лобзаний губы его улыбнутся. Придет, и он склонит перед нею колени, поцелует ее ноги.

Сам не зная, зачем он это делает, он сел на скамейку, снял башмаки и длинные черные чулки и опять застегнул немного ниже колен пуговки внизу своих велосипедных панталон. Влажная ночная свежесть радостно ласкала его полные, сильные икры, и ощущение мелких сыроватых песчинок под ногами было радостно.

И вот он услышал на песочных дорожках Марусины тихие шаги.

Едва прикрытая легким белым покрывалом, Маруся шла от реки домой.

Лев Находка быстро пошел навстречу Марусе. Так больно билось сердце. И вот он увидел ее совсем близко. Он остановился. Опустил глаза, точно перед видением слишком ослепительным.

И услышал Марусины тихие слова:

— Милый юноша, смотри на меня, не поднимая глаз. Я люблю сладкую тень твоих ресниц. Сквозь преграду твоих ресниц, — не правда ли? — небо видится близко к земле. Не правда ли? его голубой покров касается вершины этих деревьев.

Маруся сняла свое покрывало и отбросила его в сторону. Она стояла перед мальчиком нагая, улыбалась, глядела на него и ждала чего-то. Глаза ее были радостны и пьяны. Было в них ожидание радости невозможной.

На ее теле струился серебряный, матовый свет луны, тихий, неживой. В этом свете тело ее казалось совсем белым и бледным казалось ее румяное днем лицо.

Лев Находка стоял молча. Жуткий страх томил его. Точно смерть была в его душе, сладкая, и страшная, и желанная более жизни.

Но желания слишком земные воскресали в нем. Изнемогая от сладкого и жуткого томления, он поднял глаза. Знойным соблазном встало перед ним обнаженное Марусино тело. Протягивая руки, он пошел к Марусе, шепча:

— Маруся, милая, люблю, люблю!

Маруся вскрикнула, метнулась в сторону, подняла свое покрывало, закуталась им. Прячась за старым кленом, она говорила, — и слезы слышались в ее голосе:

— О, какой ты глупый мальчишка! Глупый!

Лев Находка стал на колени и воскликнул:

— Но ведь я же сюда пришел, чтобы видеть тебя и склониться перед тобою, — только для того! Я открыл перед тобою мою грудь, — убей меня, если хочешь. Вот, я простой и смиренный, я обнажил мои ноги, — видишь, не как рыцарь, как раб, я перед тобою. Люби меня!

Она ушла еще дальше и голосом в ночной тишине при луне слишком звучным говорила ему:

— Что ты сделал, глупый мальчик? Зачем ты погубил минуту радости и счастия, внезапно упавшую между нами? Ресницы твои были опущены, и сквозь них золотой сон перед тобою мерцал, — мое нестыдливое тело, — но ты поднял на меня глаза и увидел перед собою только голую девушку, бесстыдную, скверную. Уйди, уйди отсюда!

Лев Находка заплакал. Он упал на песок, влажный и хрупкий, выл от горя и от страсти, корчился на песке, протягивая к Марусе руки, и повторял:

— Полюби меня, или я умру здесь, у ног твоих.

Раздались вблизи чьи-то чужие, торопливые шаги. Послышался голос Анны Осиповны:

— Маруся, что ты тут делаешь? Иди домой. А ты, милый мальчик, о чем так горько плачешь? Кто тебя обидел?

Маруся пошла к дому. Она проходила так близко от мальчика, что он, приподнявшись, схватился за край ее покрывала. Маруся придержала покрывало руками, вырвала его из ослабевших рук Льва Находки и быстро убежала.

Лев Находка стоял на коленях, закрывая руками наклоненное лицо. По лицу его катились быстрые, обидные, неудержимые слезы. Все тело его дрожало от рыданий.

Анна Осиповна подошла к нему. Подняла его, посадила на скамейку, ласкала и утешала. Спрашивала:

— Что, обидела она тебя, озорница-то моя? Уж она такая и есть капризуля. Всем попусту головы кружит. А ты не тужи, не сокрушайся, — не одна тебе моя Маруся на свете.

Все тише, все ласковее говорила мальчику нежные слова. Он сначала слушал не слушал, потом вытер слезы, засмеялся и прильнул к ее плечу.

Анна Осиповна ласково обняла его и повела куда-то, шепча ему нежные слова.

И утешен был страстный мальчик.

Глава сорок шестая

Евгений ездил к Караковым все чаще и чаще. Принимали его ласково и спокойно, как и всех. А он был, как в чаду. Вел себя, как влюбленный, робкий мальчик, и с каждым разом все сильнее очаровывался Марусею.

Скоро Варвара Кирилловна с радостью заметила, что с письменного стола у Евгения исчез Шанин портрет. Она рассказала об этом Нагольскому. Он самодовольно усмехнулся и сказал:

— Ну вот, видите, я вам говорил, что Маруся заставит его забыть эту простушку.

И уже не было у Евгения прежнего угрюмого, нервного настроения. Евгений дома был, как прежде, весел, разговорчив, остроумен, мил, охотно разговаривал с Нагольским и придумывал разные развлечения для Марии.

Все это радовало Варвару Кирилловну. И особенно приятно ей было то, что Рябовых здесь не было.

«С Марусею, — думала она, — дело ничем не кончится. Евгений скоро увидит, что это — верченая и легкомысленная девушка. Но хорошо то, что он забывает о Шаньке. А потом приедут Рябовы, и Евгений вернется к Кате».

Но дело зашло дальше, чем хотелось Варваре Кирилловне. Евгений все чаще и чаще говорил дома о Марусе, — сначала с притворным равнодушием, потом с нескрываемым восторгом. Наконец он объявил матери, что решился свататься к Марусе. Он был уверен, что Маруся влюблена в него и только ждет его признания.

Маруся Каракова, при всем ее богатстве, не казалась Варваре Кирилловне приличною для Евгения партиею. Это было совсем другое общество, другие интересы, тогда как Рябовы всегда старались вращаться в том же кругу, к которому считали себя принадлежащими Хмаровы. У Караковых — деньги и независимость; у Рябовых — деньги и связи. С независимостью Варвара Кирилловна не знала, что делать, а пользоваться связями было для нее делом привычным.

Но все-таки теперь Варвара Кирилловна не решалась слишком упорно противоречить Евгению. Самым важным казалось ей то, чтобы он забыл Шаню. Остальное устроится, думала она.

Поспорила с Евгением осторожно и сказала:

— Делай, как знаешь. Но я бы советовала тебе хорошенько подумать, прежде чем делать такой важный шаг.

В один прекрасный августовский день Евгений поехал к Марусе свататься. Он был полон радужных надежд. И даже раскошелился на подарки. Он повез с собою целый пакет вещей; долго выбирал их в Крутогорске, заботясь, чтобы все это было недорогое, но приличное и со вкусом. Пришлось все-таки истратить так много, что Евгений думал об этом расходе с тоскою. Он утешал себя только тем соображением, что у Маруси миллионы. Вещи, которые он собирался ей дарить, казались ему семенами, обещающими богатый всход.

Маруся хорошо знала об отношениях Евгения к Кате Рябовой и к Шане, — и по Шаниным рассказам, и по доходившим до нее слухам и сплетням. Она давно привыкла к тому, что в нее все влюбляются. Поэтому уже ей не льстило нисколько то, что в сердце еще и этого совершенно неинтересного ей молодого человека она одержала еще одну ненужную ей победу над двумя соперницами. Да и вообще тщеславные чувства были чужды Марусину сердцу.

Поэтому сегодня, сразу же догадавшись по торжественно-глупому виду Евгения, что он приехал с серьезными намерениями, Маруся почувствовала досаду и скуку. Но она улыбалась так же весело, и синие глаза ее были так же опьянены радостью, когда она благодарила Евгения за подарки.

Евгений, оставшись с Марусею наедине, начал:

— Марья Константиновна, позвольте мне поговорить с вами откровенно.

Маруся перебила его.

— Пойдемте в сад, Евгений Модестович, — сказала она.

Решительно встала и быстро пошла через террасу в сад. Она привела Евгения к той круглой клумбе, у которой уже многие говорили ей о своей любви. Цветы позднего лета, оранжевые, желтые, лиловые, багряные покачивались легко и благоухали нежно и устало.

Маруся села на скамейку перед клумбою и сказала Евгению:

— Простите, что я перебила вас там, в гостиной. Но мне кажется, что вот здесь, перед этою круглою клумбою, более подходящее место для откровенного разговора.

Чувствуя себя почему-то сбитым с толку, Евгений говорил, смущаясь и глядя по сторонам:

— Я хочу вам сказать... я для того приехал сегодня... вы... я... вы произвели на меня... произвели такое впечатление, такое сильное... такое светлое... Марья Константиновна, я вас люблю.

Маруся смотрела на него и улыбалась так же радостно, как всегда. Потом она отвела глаза и, глядя на яркие цветы позднего лета, вздохнула и сказала:

— Все то же. Вот, знаете, для чего я привела вас сюда? Первый раз это было случайно, что именно вот здесь мне сделали признание в любви. Это было довольно поэтично. Казалось поэтичным, но оказалось просто, как bonjour. Мне казалось потом, что все на свете как-то уж очень связано одно с другим. Если бы не было этой клумбы и этого сада, может быть, не было бы и тех слов. Цветы внушают людям что-то, не правда ли? — и цветы, и вообще предметы. Не правда ли?

— Да, конечно, — смущенно сказал Евгений. — Это очень поэтично, то, что вы говорите.

Маруся быстро глянула на него, засмеялась тихонько и продолжала:

— Так вот потом уж я сама приводила сюда всех, кто желал сказать мне, что я прекрасна, что я достойна любви. Я делала это для удобства сравнения. Ну вот, я и вас выслушала, Евгений Модестович.

Евгений боязливо спросил:

— Что же вы мне скажете? Вы смеетесь, я кажусь вам смешным?

— О нет, — возразила Маруся. — Правда, я — очень веселая, но это во мне самой. Смешон? Нет, нет, это не то слово...

Она опять посмотрела на Евгения и смотрела на него так, что ему стало жутко, словно он закачался на качелях, переносящих его то к радостной надежде, то к мрачному отчаянию. Маруся смотрела и улыбалась. И сказала:

— Не считая случайных увлечений, я для вас третья.

Евгений горячо воскликнул:

— Я никого так не любил, как вас!

С опьяненною радостью Марусиных синих глаз слилось выражение сладостно-упоенной, нежной задумчивости. И тихо говорила Маруся:

— Катя Рябова — миленькая барышня. У нее — забавное смазливое личико и беленькие, остренькие зубки. А вот кого Шанечка полюбит, тому клад в руки дается, бесценный дар. Разве этого вы не знали?

— Марья Константиновна, я вас люблю! — воскликнул Евгений.

Маруся встала. Глаза ее потемнели. Она сказала:

— Любить вас я не могу. А если вы хотите, чтобы я вас уважала, вернитесь к Шане. Себя за сегодняшний разговор не упрекайте и не презирайте, — при мне все теряют голову, в меня все влюбляются. Не понимаю сама почему, — я — самая обыкновенная, дебелая девчина.

Она быстро отошла от Евгения.

Он растерянно сидел на скамейке. У него было красное, злое лицо, и он тупо смотрел вслед за Марусею.

В тот же день вечером, через час после того, как Евгений вернулся домой, он получил от Маруси письмо и пакет. В пакете были его сегодняшние подарки. Маруся писала:

Евгений Модестович,

я не смею удерживать у себя те милые вещицы, которые вы предназначали вашей невесте. Отдайте их вашей избраннице. Они так милы, что могут одинаково понравиться и той и другой.

Мария Каракова

Евгений с яростью разорвал письмо. Он поспешно ушел из дому, забрался в самый далекий угол парка и долго ходил там, по тропинке над высоким берегом озера. Ярость душила его. Он колотил палкою по корявым стволам старых деревьев и злобно восклицал:

— Этакая хамка! Мужицкая кровь! Хамье проклятое! Хамка развратная!

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Глава сорок седьмая

Все Шанино лето прошло беспокойно: от отца к матери, от матери к отцу. Обоим мешала, надоедала, обоих сердила своими проказами и дерзкими выходками. У пьянствовавших учителей познакомилась с тремя административно-сосланными, на которых почти весь город смотрел с боязливым удивлением. Когда отец узнал об этом, это его жестоко обеспокоило. Но что было делать? Дочка явно отбилась от рук.

И у отца, и у матери все чаще являлась мысль: «Гораздо спокойнее было, когда Шанька жила в Крутогорске».

Мать, сама влюбленная, все более понимала Шанино томление и все более сочувствовала ей. А отец сурово думал: «Что с Шанькою ни делай, все равно, добра не ждать. Уж пусть лучше в Крутогорске беснуется, чем здесь. Все меньше здешние звонить о ней станут, а то скоро здесь прохода от кумушек не будет. А там она, может быть, и сумеет окрутить своего голубчика, — уж очень девка настойчива».

И вот к осени наконец добилась Шаня того, что ее опять отпустили к дяде Жглову в Крутогорск.

Мать нагрузила Шаню целыми ворохами деревенских гостинцев, денег щедро дала ей из своих и, прощаясь, поплакала.

А отец, прощаясь с Шанею, подарил ей револьвер, браунинг, с запасом пуль и патронов.

Сказал:

— Вот тебе, на случай, коли попугать кого-нибудь захочешь, в дороге ли, дома ли. Знаешь, говорится: «Козла бойся спереди, лошади —

сзади, а лихого человека — со всех сторон». А лихих-то на свете больше, чем добрых.

И удивил, и обрадовал Шаню этот чудной подарок, — красивая стальная игрушка, совсем на вид не страшная, которую так удобно при себе носить, которую легко спрятать в сумочке вместе с биноклем.

Залюбовалась Шаня, — очень хорош! — а на глаза навернулись слезы. И что-то в душе ясно сказало, что эта игрушка может понадобиться.

Шаня поцеловала отца нежно. Шепнула тихо:

— Спасибо, милый папочка! Угадал, что мне надобно.

Отец смотрел на нее сумрачно и говорил странные слова:

— Станешь стрелять, так дула к себе не поворачивай.

Шаня засмеялась. Сказала весело:

— Не так глупа, чтобы стреляться. Этого никогда не сделаю.

— Да ты что думаешь? — сказал отец. — Себя убить не штука. Смерть-то, — она сладкая. А вот ты другого убей, попробуй.

И слова его звучали как суровое, настойчивое внушение.

С тех пор Шаня никогда не расставалась с этим револьвером. Нарочно для него в юбках карманы шила, — сама вшивала, — портнихи не любят карманы шить. А ночью прятала его к себе под подушку. Порою спросонок сунет руку под подушку, ощупает холодноватое гладкое дуло и улыбнется успокоенно, — здесь мой друг, чего же мне бояться!

В трудные минуты жизни вспомнит о нем Шаня и думает: «Стоит только захотеть, и ничего не будет. Что же томиться тоскою, и чего стоит эта жизнь, которую так легко обратить в ничто?

Из ничего сотворенная, даром мне данная, легкая, как ветром взвеваемая пыль, жизнь моя, только немного над тобою поплачу и отброшу легко».

Уезжая из Сарыни, на выезде из города, у кустарников близ ручья, где цвел колосовидными метелками светло-пурпуровый плакун, увидала Шаня цыганку. Шаня остановила ямщика, подозвала цыганку.

Смуглая красавица, улыбкою показывая белые, как у зверя, сильные зубы, подошла к экипажу. Красные лохмотья шевелились на ней, как живые.

— Погадай мне, — сказала Шаня.

Цыганка смотрела на ее руку, покачивала головою, смеялась и говорила:

— Счастливая будешь, милая барышня, до смерти счастливая. Богатая будешь, деньги без счету давать будешь.

Шаня засмеялась и дала цыганке золотую монетку.

Шаня возвращалась в Крутогорск веселая. В душе ее торжествовала радость, — добилась-таки своего.

Опять, как в прошлый год, на пристань приехала Юлия. Встретила Шаню радостно, — будет с кем поболтать и пошептаться о провизоре. Но теперь уже не одна Юлия встречала Шаню, — было много молодых друзей, и самая милая из них, Манугина. Потащили Шаню в буфет, вина выпили. Было шумно и весело.

А когда подъезжали с Юлиею к дому, вдруг стало как-то неловко Шанечке. Она спросила:

— Ну что, дядя не ворчал, как узнал, что я опять к нему еду?

Юлия покраснела. Сказала неопределенно:

— Ну ведь ты его сама знаешь. У нас все по-прежнему. Вон и Гнус из окошка смотрит. Все злится, ни за кем еще пока не ухаживал. Пожалуй, опять станет к тебе липнуть.

Дядя Жглов встретил Шаню очень хмуро. Он ворчал сердито:

— Прилетела птица с пестрыми перьями.

Юлия приехала домой радостная, но угрюмость отца заставляла ее сжиматься и трепетать.

А Шаня весело смеялась. Говорила беззаботно:

— Я — веселая птица. Вот петь буду, тебя забавить, дядя.

— Сорока, вот ты какая птица! — сурово сказал дядя.

— Ну что ж! — беспечно возражала Шаня. — Сорока так сорока.

Дядя Жглов говорил угрюмо:

— Опять скандалы заводить будешь! Только смотри, уж теперь я не буду на твои проделки сквозь пальцы смотреть. Я тебе хвост пришпилю.

Шаня говорила бойко:

— Сперва соли на хвост насыпь, коли я — сорока. Иначе не поймаешь. Мы, сороки-белобоки, увертливы.

— Дерзкая девчонка! — ворчал дядя. — Соли насыплю, плохо будет.

Он сердито ушел, хлопнув дверью. Шаня вздохнула. Сказала вполголоса:

— Странные люди — наши старшие! Не могут без того, чтобы теснить да преследовать.

Юлия в ужасе, как бы отец не услышал Шаниных слов, заговорила о другом.

Но даже и самая дядина суровость усиливала Шанину готовность отдаться милому. В душе ее кипело ликующее желание наперекор всему взять свое счастие, над старческою ворчливою угрюмостью вознести ликующую радость любви!

Евгений был в это время в состоянии чрезвычайного возбуждения. Это было как раз в те дни, когда Маруся Каракова, распалив его страстность, отказала ему. Весь мир перед Евгением в эти дни догорающего лета был чрезмерно-ярок и нестерпимо-зноен, все чувства его были болезненно обострены, — и вот от одного из товарищей, приехавших к нему на день из Крутогорска, он узнал о том, что Шаня приехала.

Евгений пришел в несказанный восторг. Теперь ему стало ясно, что ведь он любит только Шаню, и всегда любил ее, и всегда будет любить. История с Марусею теперь показалась ему каким-то смешным фарсом, и он дивился на себя, как мог он хотя бы на одну только минуту принять этот фарс за что-то настоящее.

В том состоянии яростного восторга, в котором находился теперь Евгений, ему все казалось простым и возможным. Он решился немедленно ехать в город и идти прямо к Шане на дом.

Состояние влюбленности — блаженное состояние!

Но, когда уже Евгений был в городе, суровое лицо Жглова вдруг слишком ясно представилось ему, внезапная робость зашевелилась

в душе, — и вместо того, чтобы прямо с вокзала нанять извозчика к дому Жглова, он поехал на свою городскую квартиру. Он думал: «Переночую, а там видно будет».

Швейцар передал ему полученное вчера по почте письмо от Шани. Несколько быстро набросанных строчек, — и сердце его забилось от радости.

Милый, дорогой, золотой Женечка!

Я здесь и каждый день от трех до пяти буду сидеть в Летнем саду у старого фонтана и ждать тебя, мой ненаглядный, единственный.

Твоя Шанька

Евгений посмотрел на часы. Было уже пять минут шестого. Но он все-таки поехал в Летний сад и там, почти у входа, встретил Шаню с Юлиею. Шаня радостно заговорила:

— Женечка, вот видишь, я говорила, что вырвусь оттуда. Видишь, вот я и здесь.

Евгений жал ее руки, смотрел в ее глаза, радостно смеялся. Весь мир перед ним окрасился огнями страсти. Все окрест предметы выявляли свои оранжевые и золотые цвета. Красные ягодки бузины казались дивными райскими плодами. Юлия, которая прежде казалась ему смешною и неловкою, теперь оказалась очень привлекательною и симпатичною девушкою.

Шаня смотрела на Евгения с удивлением и с восторгом. Евгений был неузнаваем. Глаза его блестели, улыбки были детски-веселы. Он чаровал Шаню блеском и игрою энергии. Заражал ее своею влюбленностью, и поэтому Шане казалось, что никогда еще она так его не любила, как в этот устало-солнечный день.

Вся похоть поднялась, и играла в нем, и стала радостною и непорочною, и так нежен и мил был Евгений, точно цвела в нем первозданная радость.

Первое свидание было весьма непродолжительно. Шаня торопилась домой. Да и что за радость, — встреча на улице! Но и в эти несколько минут Евгений успел, то торжественно, то нежно, десятки раз повторить свое обещание жениться на Шане.

Условились по-прежнему встречаться в какой-нибудь гостинице.

В первый же вечер, когда они сошлись в отдельном кабинете дорогого, уютного ресторана, Шаня почувствовала, что больше не может держаться в этом состоянии постоянно обороняемой от милого недоступности, как в прошлом году.

Евгений был очень остроумен в тот день. С его языка то и дело срывались веселые шутки. Все движения его были быстры и живы. Напряженная энергия страсти пронизывала все его существо.

Шаня и сама все более распалялась.

Вино, цветы, — ах, разве эти бессильные сами по себе отравы бросают в объятия милого!

Сладко было сбросить одежды, обрадоваться наготе своей, и обрадовать его, и прильнуть, и отдаться. И потом, еще в неизведанном дотоле блаженстве взаимности, ощутить радость новой влюбленности.

Сочетались ярость страсти и нежная влюбленность, и так остро почувствовала Шанина душа это сочетание, этот голову кружащий пожар!

Потом, когда усталая нежность приникла к ним, отрадно было говорить нежные, озабоченно-ласковые слова и чувствовать, как сливается душа с душою.

Когда уже они собирались уходить и Шаня, стоя перед зеркалом, пришпиливала шляпу, она сказала:

— Теперь у нас все должно быть общее.

Трусливо-благоразумный буржуа проснулся в душе Евгения.

— Да, конечно, — пробормотал он, — конечно, я не отказываюсь, но только...

Шанечке стало стыдно, что она словно напрашивается на что-то. И пришлось ей объяснять свои слова. Она сказала:

— Мои деньги должны теперь принадлежать тебе.

Евгений слегка покраснел, не то от радости, не то от смущения, и сказал:

— Полно, Шанечка, мне не надо. Мне своих денег хватит.

— Нет, пойми, — убеждающим и простодушным тоном говорила Шаня, — ты мне отдаешься, я — тебе, но разве я только твоя игрушка?

— Ты — мое божество! — восторженно сказал Евгений.

— Прежде всего, я — твоя жена, — говорила Шаня, — и должна тебе помогать.

Слово «жена» показалось Евгению слишком прозаичным, напоминающим о каких-то обязанностях. Ему приятнее было бы услышать более поэтическое название «любовница». Но он сказал:

— Конечно, мы будем помогать друг другу.

— Перед тобою блестящая карьера, — говорила Шаня.

— Конечно, — уверенно сказал Евгений.

— Глупо теперь тебе в чем-нибудь нуждаться, — говорила Шаня, — отказывать себе в чем бы то ни было. Это только расстроит твое здоровье, подорвет твою энергию, помешает успеху, — ведь я же сама тогда многое потеряю.

Евгений слушал и самодовольно улыбался.

Глава сорок восьмая

Началось счастливое время, безоглядно-счастливое для Шани, гордо-счастливое для Евгения.

В эти первые дни Евгений гордился и победою над Шанею, и чувством самостоятельности от родных, и тем, что у него такие высокие и благородные чувства, и тем, что пылкая Шаня ему подчиняется. Он чувствовал себя главою будущей семьи.

Но скоро гордое счастие его было омрачено возобновлением домашних сцен. Едва Хмаровы переехали в город, как они узнали, что Шаня вернулась.

Мать Нагольского встретила Шаню на улице. Сейчас же отправилась к Хмаровым. Даже сыну ничего не успела рассказать, — поторопилась, чтобы успеть раньше других принести Хмаровым эту неприятную новость.

Евгения дома не было. В гостиной сидели Варвара Кирилловна, Мария и Аполлинарий Григорьевич.

Едва успев поздороваться, Нагольская, вульгарная, грубая дама в слишком пестрой шляпе, поспешила возвестить:

— Шанька-то ваша, вашего Евгения душенька, опять в Крутогорске. Иду я сейчас по улице, и вдруг прямо мне навстречу идет какая-то цаца расфуфыренная. Смотрю, да это Шанька! И такой у нее счастливый вид, точно она двести тысяч выиграла.

Варвара Кирилловна и Мария замерли от ужаса. Они смотрели с трепетною надеждою на Аполлинария Григорьевича. Он усмехался самоуверенно и хитро и покручивал длинный ус.

— Разведем! — уверенно сказал он.

Даже слишком уверенно для того, чтобы это было убедительно.

— Вы только не волнуйтесь, Варвара Кирилловна, — продолжал он, — и не вмешивайтесь. Я беру это на себя.

Варвара Кирилловна говорила с ужасом:

— Вы бы посмотрели, какие у нее глаза. Это — колдунья.

Аполлинарий Григорьевич засмеялся.

— С Лысой горы? Уж нет ли у нее хвоста? — шутливо говорил он.

— Она его гипнотизирует, — говорила Мария. — Он такой впечатлительный, и у него такой мягкий характер.

Нагольская с грубым пафосом восклицала:

— Сколько мы видим жизней, разбитых из-за таких тварей!

Однажды Аполлинарий Григорьевич, оставшись наедине с Евгением, сказал ему:

— Евгений, познакомь меня с твоею невестою, — с Шанечкою Самсоновою.

Евгений с удивлением посмотрел на Аполлинария Григорьевича. Так удивился и так испугался этому неожиданному желанию, что даже слегка побледнел. Аполлинарий Григорьевич продолжал:

— Ведь если ты твердо решился жениться на ней, то надо же понемногу познакомить ее со всею нашею семьею.

— Я знаю, ты будешь ее отговаривать и смущать, — сказал Евгений.

— Вовсе нет, и не думаю, — возразил Аполлинарий Григорьевич. — Я бы к тебе не обратился, если бы у меня были такие мысли. Ведь я мог бы познакомиться с нею и без твоей помощи. За кого же ты меня

принимаешь? Совершенно не понимаю, почему бы тебе ее со мною не познакомить.

Начиная сдаваться, Евгений спросил:

— Да, но где же я ее с тобою познакомлю? К нам ее привезти нельзя, а к тебе, — но ведь тетушка, может быть, примет ее неласково.

— Зачем же к нам! — сказал Аполлинарий Григорьевич. — Мы к ней отправимся. Ведь ты же бываешь у них в доме?

Евгений жестоко смутился, покраснел. Растерянно говорил:

— Нет, я там не бываю. Ты, дядя, не знаешь, — этот ее дядя, нотариус Жглов, это какой-то антик, совершенно дикое существо. У них никто не бывает. Он даже и жениха своей собственной дочери к себе не пускает.

Аполлинарий Григорьевич усмехнулся. Сказал:

— Так ты его побаиваешься? Ну ладно, я и сам познакомлюсь. Меня пустят. И бояться мне нечего.

— Я тоже не боюсь, — с достоинством отвечал Евгений, — но я не хочу нарываться на дерзости и не хочу подводить Шаню под неприятности. Этот дикий человек способен прибить ее.

— Ну, — сказал Аполлинарий Григорьевич, — твоя Шанечка в обиду себя не даст. Только я не понимаю, — раз что ты не бываешь у них в доме, где же ты встречаешься с нею?

Евгений, досадливо и смущенно поеживаясь, говорил:

— Ну мало ли где можно встречаться!

На другой же день Аполлинарий Григорьевич отправился в дом Жглова, знакомиться с Шанею.

Дядя Жглов, по обыкновению, был в конторе.

Шаня была очень удивлена и смущена, когда прочла переданную ей визитную карточку Аполлинария Григорьевича.

С любопытством и с веселою злостью вышла она к нему в гостиную.

Высокий, стройный, белоусый господин в превосходно сидящем черном сюртуке, с цилиндром в обтянутой черною перчаткою левой руке, любезно улыбаясь, подошел к Шане.

— Простите мое нетерпение познакомиться с вами, Александра Степановна, — сказал он. — Я слышал от Евгения о вас так много трогательного и хорошего, что не мог отказать себе в этом удовольствии.

Шаня была в недоумении. Любезность и теплый тон Аполлинария Григорьевича почти подкупали ее, но дрожавшая под густыми, пушистыми усами усмешка опять дразнила ту веселую злость, с которою Шаня готовилась встретить это неожиданное нападение, — ведь она была уверена, что этот человек пришел не с доброю целью.

С любезным и непринужденным видом светской дамы Шаня пригласила его сесть и сказала:

— Вы, конечно, пришли ко мне по поручению Варвары Кирилловны.

Как дикий зверек, почуявший врага, Шаня готова была ринуться в схватку, и ноздри ее раздувались.

Аполлинарий Григорьевич весело подумал: «Ого! кошечка готова показать свои коготки!»

Он любезно засмеялся, непринужденно помахал рукою и сказал:

— Ничего подобного! Терпеть не могу вмешиваться в чужие дела! Я достаточно жил в свете, чтобы знать, что такое вмешательство ни к чему доброму не приводит. И теперь я к вам пришел от себя. Знаете, как говорят мальчики, когда их спрашивают: «Ты от кого пришел?» — «От себя». Вот так и я от себя пришел.

Он опять посмеялся, и Шаня невольно улыбнулась. Но сказала:

— Я знаю, вы все против меня.

Аполлинарий Григорьевич ответил ей с серьезным и значительным видом:

— Уже из того, что я к вам пришел, вы видите, что это не совсем так.

И, спеша перевести разговор на менее щекотливую тему, продолжал:

— Моя добрая приятельница, Ирина Алексеевна Манугина, очень хвалит ваше прилежание и ваш тонкий вкус. Надо вам сказать, что я принадлежу к числу горячих поклонников прекрасного таланта Ирины Алексеевны и очень высоко ставлю ее как человека — отзывчивая, в высшей степени добрая и благородная натура. Если можно посещать наш драматический театр и испытывать там мо-

менты высокого художественного наслаждения, то это лишь потому, что там играет Манугина.

Шаня покраснела от радости, слыша похвалы Манугиной.

Разговор перешел на театр, искусство, литературу. В легком, свободном разговоре незаметно пролетело полчаса.

Аполлинарий Григорьевич, прощаясь, сказал:

— Надеюсь, что вы позволите мне иногда заглядывать к вам?

— Пожалуйста, буду очень рада, — сказала Шаня. — Дядя будет очень жалеть, что вы его не застали. Он очень занят в эти часы своею конторою.

Проводила гостя Шанечка и потом долго не знала, хорошо ли она сделала, что была с ним так любезна. Она рассеянно отвечала на расспросы любопытной Юлии.

Аполлинарий Григорьевич прямо от Шани поехал к Варваре Кирилловне, — успокаивать ее.

— Ну вот, я ее видел, — сказал он, входя в гостиную, — видел своими глазами эту пресловутую Шаню.

Варвара Кирилловна и Мария уставились на него любопытными глазами и принялись расспрашивать. Рассказав о своем посещении, Аполлинарий Григорьевич сказал:

— Не бойтесь, — не опасна эта Шанечка. Она не сумеет овладеть им окончательно. До свадьбы дело не дойдет.

— Ну не слишком надейтесь, — недоверчиво сказала Варвара Кирилловна.

Аполлинарий Григорьевич уверенно говорил, с самодовольною миною покручивая седой ус:

— Уверяю вас. Она его сама от себя отвадит. В ней есть довольно прелести, чтобы его любезною быть, но женою... Нет, она совсем не нашего круга.

Варвара Кирилловна вздохнула и сказала:

— Ох, плохое утешение! Бывали примеры, на горничных женились. Я боюсь, что ваш визит только поощрит эту особу, и она теперь еще смелее будет добиваться своего.

Аполлинарий Григорьевич усмехнулся.

— Тем хуже будет для нее самой, — сказал он. — Надо только открыть Евгению глаза на все ее прелести. Когда перед нами есть враг, то надо не пренебрегать им, а хорошенько узнать его и действовать против него его же собственным оружием. Действовать напролом, — это значит только раздражать Евгения. «Где силой взять нельзя, там надобна уловка». И мы с вами условимся вот в чем, — я буду стоять в разговорах с ним за эту девицу, — понимаете? Чтобы с наихудшей стороны подчеркнуть все ее мещанство и невоспитанность. И уж вы не удивляйтесь тому, что я буду ее хвалить: «Не поздоровится от этаких похвал».

Варвара Кирилловна недоверчиво покачивала головою. Но Мария сразу приняла сторону Аполлинария Григорьевича. Она говорила:

— Конечно же, мама, так гораздо благоразумнее. Таким способом гораздо легче открыть Евгению глаза на все ее отрицательные стороны. А чем больше с ним спорить, тем больше он будет находить в ней одно только хорошее.

Глава сорок девятая

Гнус опять сумел получить точные сведения о Шане и, улучивши момент, опять отправился доносить Жглову. На этот раз он сказал Жглову, что отношения между Шанею и Евгением зашли слишком далеко.

Жглов пришел в такую ярость, что бросился на Гнуса с кулаками. Гнус опрометью выбежал из кабинета. Жглов выскочил было за ним в коридор, но вовремя остановился, вернулся к себе и с такою силою захлопнул за собою дверь, что стекла в окнах задребезжали.

Дядя Жглов вернулся домой мрачнее ночи. Позвал к себе Юлию и долго допрашивал ее.

Юлия ничего не знала. Только посинела от ужаса и так задрожала, когда отец подошел к ней, что ему даже стало ее жалко.

— Дура! — сказал Жглов. — Мало тебе от меня за провизора достается, так еще в чужом пиру похмелье терпишь. Позови сюда Шаньку.

Шаня пришла и с первого же слова созналась во всем. Сказала спокойно:

— Врать и запираться не стану. Что сделала, то сделала.

Жглов был взбешен. Сжимая кулаки и задыхаясь от бессильной злости, он бешено кричал:

— Что же мне с тобой делать, негодная!

Шаня молча пожала плечьми. Дядя Жглов кричал:

— Да на что же ты надеешься?

— Он женится, — спокойно сказала Шаня.

— Дура! Идиотка! — кричал дядя Жглов, стуча кулаками по столу.

— Какая есть, — спокойно отвечала Шаня.

Дядя Жглов бешено кричал:

— Как я об этом отцу скажу?

Шаня ответила спокойно:

— Моя вина, я и в ответе.

Шанино спокойствие поражало дядю Жглова. Он кричал:

— Что ты стоишь, как каменная, как идол какой-то! Стыда и совести у тебя нет. Другая бы от такого стыда слезами изошла, прощенья бы просила, в ногах бы валялась.

Шаня печально улыбнулась. Сказала:

— Стыдиться мне нечего, я никому зла не сделала и ни перед кем в этом не виновата. А и виновата, так я сама и отвечу. Бог накажет или помилует, а у людей просить прощенья мне не приходится.

— Ага, вот ты как поговариваешь! — злобно сказал дядя Жглов. — Ну, посмотрим, что родители скажут, а пока я свои меры приму. Пошла вон! — крикнул он на Шаню.

Шаня вышла от него по-видимому спокойная. Но слова дяди Жглова о своих мерах наводили на нее страх. Она строила десятки догадок о том, что это за меры, и одна догадка была неприятнее и страшнее другой.

«Пусть со мною делает, что хочет, — боязливо думала она, — только бы Евгения оставил в покое».

Меры, которыми дядя Жглов пригрозил Шане, состояли в том, что он решил переговорить с Евгением и предъявить ему некоторые требо-

вания. Он ничего не сказал об этом Шане, но в тот же вечер послал Евгению письмо, написанное на большом листе плотной почтовой бумаги с напечатанным в левом верхнем углу адресом нотариуса Жглова.

Милостивый государь,
Евгений Модестович,

имея необходимую надобность переговорить лично с Вами по неотложному и крайне важному для Вас делу, покорнейше прошу Вас пожаловать в мою контору завтра, в среду, от 7 до 8 часов вечера, или прошу Вас сообщить мне, когда я могу посетить Вас с вышеуказанною целью.

Готовый к услугам,

П Жглов

Евгений сначала решил не идти и на письмо не отвечать. Тон письма и особенно содержание его показались ему необычайно дерзкими. Он свирепо разорвал письмо и бросил его в корзину под своим письменным столом.

Потом Евгения взяло раздумье. Если не идти и ничего не отвечать, то Жглов может и сам прийти, и притом в самое неудобное время. А если его не принять, то он может обратиться к Варваре Кирилловне. Тогда будут неприятные разговоры, сцены, «молебны».

Евгений сообразил, что уж лучше идти. В назначенный день он пошел к Жглову, хотя и с большою неохотою.

Дорогою томили Евгения тоскливые думы о предстоящем разговоре. Осенний дождь, унылый ветер, слякоть и полутьма, пропитанная матовыми излияниями зыбкого, но все же мертвого света от уличных электрических фонарей, — все это наводило на Евгения тоску.

Было без четверти восемь, когда Евгений вошел в дом дяди Жглова. В скучной, чопорной обстановке конторы тоска Евгения усилилась. Пока ходили докладывать о нем, он так упал духом, что уже подумывал, как бы улизнуть.

Жглов пригласил Евгения в свой деловой кабинет и прямо начал, сурово сдвинув брови:

— Мне намно говорить с вами о моей племяннице.

Евгений был так смущен, что даже это «намно» вместо «надобно» только слабо позабавило его.

Жглов был мрачнее обычного. Весь он был похож на большую рассерженную обезьяну. Взоры у него были суровы, слова грубы, и речь шла прямо к делу.

— Как же вы так, молодой человек, — говорил он, — подсыпались к молодой девушке из хорошего дома и обольстили ее. На что же это похоже!

Евгений сказал нерешительно и конфузливо:

— Я непременно женюсь на Шане, как только окончу курс. Непременно женюсь, даю вам честное слово.

Жглов спросил сурово:

— Что же мешает вам сделать это теперь? Согрешили, так и покройте ваш грех.

— Теперь никак невозможно, — лепетал Евгений.

— Почему же-с вы теперь не можете? — свирепо спросил Жглов.

— Но я должен кончить курс в специальном учебном заведении, — отвечал Евгений, — а туда женатых не принимают. А недоучкой что же я буду? и что я стану делать? Учителем в гимназии мне быть совсем неинтересно.

Жглов недоверчиво усмехнулся и угрюмо сказал:

— Вы можете выхлопотать разрешение жениться. Теперь есть и женатые студенты. Скоро женатых гимназистов увидим. Да и как же иначе, коли учатся молодые люди нескончаемое время. Подайте прошение ректору, он разрешит.

— Это очень трудно, — нерешительно сказал Евгений.

— Мне думается такого рода дело, — говорил Жглов, — что с вашими связями это ничего не стоит. Да и почему трудно? Другим же разрешают.

— Я женюсь, как только буду самостоятельным, — сказал Евгений. — Моя мать против этого брака, и пока я живу в семье, не могу же я ссориться со своими.

— Уйдите из семьи, — посоветовал Жглов. — Все равно с женою в мамашиной квартире тесно жить. Да и Шаня вряд ли этого захочет.

— Но на что же мне жить? — спросил Евгений. — У меня ограниченные средства. Не могу же я заниматься уроками, отбивать хлеб от бедняков, которым жрать нечего.

— Моя племянница имеет свой капитал, — сказал Жглов. — Скромно жить, так на обоих хватит.

— Я не хочу жить на женин счет, — говорил Евгений, — да и Шаня привыкла ни в чем себе не отказывать, так что ее денег нам и не хватит. Одни ее наряды, шляпки и перчатки чего стоят!

— Хорошо-с, а если будет ребенок? — спросил Жглов.

— Ребенка можно после узаконить, — отвечал Евгений.

— Когда после? — свирепо спросил Жглов.

Смущенно улыбаясь, Евгений отвечал:

— Когда мы повенчаемся. Нынче это можно. Это все равно. Вы сами знаете, что такой закон есть.

— А если вы умрете до того времени? — спросил Жглов. — Конечно, не дай Бог, но все же может случиться, все мы под Богом ходим.

— Нет, зачем же умирать! — сконфуженно лепетал Евгений. — Я постараюсь... Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь гимнастикой.

— Так-с. Ну-с, так вы напишите мне обязательство, — решительно сказал Жглов.

Евгений в ужасе посмотрел на него и пролепетал:

— Какое?

— Я смотрю на это дело под таким углом, — говорил Жглов, — что если вы твердо решили жениться на Шане, то подтвердите это письменно.

— Я, конечно, готов, — смущенно бормотал Евгений, — но я не понимаю, почему вы мне не верите. Я не человек с улицы, я — дворянин. Я не могу сделать ничего, противного чести и дворянскому достоинству.

Но, как Евгений ни хорохорился, пришлось-таки ему под диктовку дяди Жглова написать это неприятное для него обязательство.

После выдачи обязательства Евгений вернулся домой такой растерянный, что Аполлинарий Григорьевич, только что приехавший к ним с женою провести вечер, сразу догадался, что что-то произошло. Он сказал Евгению:

— Пойдем к тебе, покурим.

И, оставшись наедине с Евгением, принялся его расспрашивать. Евгений мало-помалу рассказал весь разговор со Жгловым, рассказал и о выдаче обязательства.

Аполлинарий Григорьевич посвистал и сказал насмешливо:

— Налетел, Женечка!

Евгений говорил брюзгливо:

— Собственно говоря, все люди — свиньи, эгоисты... Ни у кого нет бескорыстия... Я неразрывно связан с Шанею.

— Ну, не так уж неразрывно, — сказал Аполлинарий Григорьевич. — Это обязательство не имеет законной силы.

Евгений говорил кисло:

— Шаня, конечно, прелестная женщина.

— Допустим, — иронически сказал Аполлинарий Григорьевич.

— Я обязан жениться на ней... нравственно обязан, — говорил Евгений.

— Ну, в этих делах нет обязанностей, — возразил Аполлинарий Григорьевич.

Сердце Евгения хотело обрадоваться этой разрешаемой ему свободе от обязательства. Но Евгений вспомнил угрюмую, внушительную фигуру Жглова, и холодок страха пробежал по его спине. Он уныло сказал:

— Собственно говоря, мы все падаем с облаков в грязь.

— Будто? — насмешливо спросил Аполлинарий Григорьевич.

Милое Шанино лицо вдруг вспомнилось Евгению. Ну какая ж беда, если и заставят на ней жениться! Он воскликнул:

— Нет, что я говорю! Я — свинья!

— Какие крайности! — пожимая плечами, сказал Аполлинарий Григорьевич.

Евгений говорил восторженно:

— Я безумно люблю ее, ничто в мире не в силах разлучить меня с нею.

Аполлинарий Григорьевич засмеялся и сказал:

— Кажется, ее дядя не очень верит в прочность твоих чувств. Находит, что с бумагою-то вернее.

Евгений опять смутился.

Глава пятидесятая

На другой день в номере гостиницы Шаня ждала Евгения.

Он вошел злой. Еле поздоровался. Шаня спросила с удивлением:

— Что с тобою, Женечка?

— Что со мною? — со сдержанною злостью переспросил Евгений. — Вы не знаете? Невинность какая!

— Право, не знаю, — с недоумением говорила Шаня.

Евгений повернулся к ней с исказившимся от бешенства лицом и закричал:

— Твой дядя вздумал заступаться за тебя. Что же, я — разбойник, по-вашему?

И посыпались на Шанечку гневные упреки. Взволнованный, красный, Евгений ходил по комнате, рассказывал о выдаче обязательства и выкрикивал гневные слова.

— Что я, враг тебе, что ли! — говорил он. — Обращаться со мною, как с каким-нибудь плутоватым писарьком, — это черт знает что такое.

Шаня плакала и говорила:

— Женечка, что ты говоришь! Ты разрываешь мое сердце! Ведь я же ничего этого не знала. Неужели ты можешь винить меня в этом деле!

Евгений, все более разгораясь, кричал:

— Твой дядя воображает, что у всех честь на аршин можно мерить. Но я не торгаш.

— Но ведь мой дядя не знает тебя, — сказала Шаня.

— Не знает! Должен знать, — кричал Евгений, стуча кулаком по столу. — Я — Хмаров. Хмаровы своею честью никогда не торговали. Мне кажется, пора бы тебе это знать.

Евгений говорил теперь искренно. Слова о чести его всегда обольщали. Он бы рад был всегда и во всем быть рыцарем. Вот жаль только, что силенок для этого у него было маловато.

Шаня вернулась домой, чувствуя в себе бешеную злость. Не пыталась даже и сдерживать ее. Осыпала упреками Юлию:

— Во всем отцу подчиняешься. Ты старше меня, а держишь себя, как маленькая девочка, которая боится старших. Какая-то божья коровка! Он привык считать себя полновластным властелином и делать что угодно.

Юлия засмеялась невесело и сказала:

— Попробуй-ка я против него хоть слово сказать, так он мне себя покажет. Тебе хорошо, у тебя свой капитал есть, а я, как говорится, чей хлеб кушаю, того и слушаю.

Когда дядя Жглов вечером вернулся из конторы, Шаня бурно накинулась на него с упреками. Не думая о последствиях, она говорила ему запальчиво:

— Я вас прошу не вмешиваться в мои отношения к Евгению.

Дядя Жглов с суровою насмешливостью сказал:

— Слушаю-с. Еще что прикажешь, племянница?

Шаня, сразу же слегка ошеломленная его насмешливым тоном, говорила так же горячо, но уже не так уверенно:

— Евгений — благороднейший человек.

— Что и говорить. Благородства через край, — с угрюмою и холодною злостью отвечал дядя Жглов. — Наблудил, да и в кусты. К венцу за шиворот тащить придется.

Шаня, багрово раскрасневшаяся, кричала:

— Нельзя всех мерить на свой аршин. У него дворянская честь.

Дядя Жглов посмотрел на Шаню с презрительным сожалением и сказал:

— Ну дай тебе Бог быть дворянкой.

— И буду, — упрямо тряхнув головою, сказала Шаня.

И в это время у нее был заносчивый и жалкий вид упрямой девочки, которая не хочет признаться, что сердце ее ноет от страха предстоящих измен и бед.

Дядя Жглов угрюмо глянул на нее и сказал с досадою:

— Эх, племянница, кнут по тебе плачет!

Шаня сказала презрительно:

— Мужицкого грубого обращения довольно натерпелась.

— Ну, подожди, — говорил дядя Жглов, — узнаешь и дворянскую честь. Покаешься, да поздно будет.

— Нет, уж не воображайте, моего покаяния не увидите, — все так же заносчиво сказала Шаня.

— Как знать! — угрюмо говорил дядя Жглов. — Только уж ты, мой друг, меня извини, — я тебя больше не могу держать. У меня дочь — невеста.

Шаня покраснела от стыда, что ее гонят, и сказала притворно-спокойно:

— Я и сама у вас не хочу жить.

Дядя Жглов презрительно засмеялся и сказал:

— И отлично. Живи одна. Твоих денег тебе за глаза хватит, если ты не поторопишься с дружком промотать их по трактирам или не передаешь ему помаленьку все деньги до последней копеечки.

Шаня запальчиво крикнула:

— Я вас прошу не подозревать его в разных низостях!

Дядя Жглов спокойно возразил:

— Я про тебя говорю, а не про него. Да попомни, — как только твои денежки выйдут, так дружка твоего и след простынет.

— Не беспокойтесь, никуда он от меня не уйдет, — уверенно сказала Шаня.

Выражение подавленной жалости мелькнуло на суровом лице Жглова. Он сказал:

— Уйдет, а кто тебя возьмет потом? Ведь это ужасно! Ты бы то подумала, что для девушки невинность — такой ценный капитал!

Шаня горячо возражала:

— Вот теперь только я поняла, что значит счастье, что такое — жизнь! Я не жила до сих пор, а только была на свете. А теперь смысл жизни открылся для меня. У меня есть теперь, для чего жить, есть, о чем молиться.

На другой день Шаня отправилась искать квартиру. Она ездила по городу одна. Юлии отец запретил идти с нею, а Евгений сам отказался, сказал, что некогда. Ему не хотелось открыто, днем, показываться с Шанею на городских улицах.

Не поверила Шаня, что ему некогда, но просить не стала, — была так взволнована и счастлива, что все неприятное тонуло в этом чувстве.

После долгих поисков Шаня нашла наконец квартиру, которая ей понравилась, — на окраине города, посреди просторного сада на берегу речки, маленький деревянный домик, три комнаты, передняя, кухня, людская внизу и две комнаты в мезонине. Других квартирантов не было, и только во дворе во флигельке у ворот на улицу жил пожилой дворник с женою.

Шаня торопилась переехать. С утра она отправлялась в магазины, покупала мебель и разные вещи, выбирала обои, раза по два в день заезжала на свою квартиру посмотреть, как там красят, оклеивают, моют, вешают гардины и портьеры.

Наконец квартира была готова. Шаня наняла горничную и кухарку, перевезла от дяди Жглова свои чемоданы и картонки и принялась окончательно устраивать свою новую квартиру.

Шаня была в большом восторге от того, что у нее первый раз своя собственная квартира, — уют, красивые, светлые обои, цветы, в саду беседка, качели, аллейки веселых кленов, березок и боярышника, несколько груш, рябин, за садом огород. И опять пахнет не городскою пылью и не асфальтами тротуаров, а вечно милою землею и осенними умильными листьями. А если пройти через огород, открыть калитку, по шаткому мостику перейти через речку, — да ее и вброд легко перейти, — и входишь в пригородный бор, задумчивый и чистый.

А когда Евгений первый раз пришел к Шане, то ему все не понравилось. Он придирчиво порицал все то, что считал признаком мещанства, в обстановке Шаниной квартиры. Он ворчал:

— Придумала, где нанять! Какая-то трущоба! Ни один порядочный человек в таких местах жить не станет.

— А мне нравится, — говорила Шаня, — много простора и света, и тихо.

— Ход со двора, — ворчал Евгений.

— Двор чистый, — возражала Шаня.

Все-таки Евгений стал приводить к Шане своих товарищей. Шане эти молодые люди не нравились. Они были очень развязны, смотрели на Шаню неприятно-ласковыми глазами и говорили ей преувеличенные комплименты.

Юлия ходила к Шане часто. Привела и своего провизора. Оказалось, что он похож на музыканта и обладает блистательными зубами, нежною душою и роскошною шевелюрою.

Стали приходить к Шане на эту квартиру многие люди: студенты, курсистки, актеры, рабочие, сотрудники газет, музыканты, адвокаты, врачи, — все больше молодежь.

И Аполлинарий Григорьевич посетил Шаню на новоселье. Он принес ей конфекты и цветы. Вел себя очень просто и дружески. Шаня была совсем очарована им.

Аполлинарий Григорьевич льстил Шане:

— Молодец барышня! Люблю таких! Что долго думать, — ломи напролом!

Шаня весело смеялась.

Аполлинарий Григорьевич расхвалил Шане ее квартиру. Так искренно говорил, что она верила. Он даже надавал ей разных советов в расчете, что Шаня перещеголяет в мещанстве себя самое. Советовал ей положить плетеные матики на пол, завести канареечку, купить и поставить на окна бальзамины, герани, латании, фуксии и другие растения, которые он считал мещанскими, как будто бы и невинные Божьи цветики делятся по сословиям. Красные занавесочки советовал повесить к окнам. Говорил:

— Отчего же у вас нет полога у кровати?

— Да он мне не нужен, — отвечала Шаня.

Аполлинарий Григорьевич настаивал:

— У кровати должен быть полог, и непременно ситцевый, яркого цвета, с крупными розами.

— Зачем же так ярко? — спросила Шаня.

— Люблю яркие цвета, — говорил Аполлинарий Григорьевич. — Ну их, эти линялые тона!

Он прочел стихи Полонского. С особенным чувством продекламировал:

> Полинял яркий полога цвет,
> Я больная брожу и не еду к родным,
> Побранить меня некому, — милого нет...

Шане стихи понравились, — сентиментальные стихи она всегда выискивала, и это стихотворение ей было издавна памятно. А советам она не верила и только из вежливости не спорила. Только раз сказала:

— Это Евгению не понравится.

Впрочем, не приписывала этих советов злому умыслу. Уже привыкла видеть, что хороший вкус — большая редкость.

Кое-какими фразами и словечками, бросаемыми вскользь, Аполлинарий Григорьевич наводил на Шаню грусть. Он говорил:

— Мать горюет. Глупая баба, да что поделаешь, — мать!

— Да о чем же ей горевать? — спрашивала Шаня. — Ведь я — не прилипчивая болезнь, что меня бояться надобно.

Аполлинарий Григорьевич пожимал плечьми и говорил:

— Да, вот поговорите с нею! Она никогда не примет в свою семью девушку не из нашего круга. Дворянская спесь, глупость, — что делать!

Он заводил разговор о другом и вдруг среди разговора вставлял какую-нибудь странную фразу. Он сказал:

— Характер у Евгения непостоянный. Сегодня ему одно нравится, завтра другое. За Катею ухаживал, а теперь и говорить с нею не хочет.

И Аполлинарий Григорьевич смотрел на Шаню внимательно, с соболезнующим, значительным выражением.

— Однако сколько лет меня любит! — возражала Шаня.

Аполлинарий Григорьевич промолчал, опять завел речь о другом и вдруг принялся расхваливать Евгения:

— Золотое сердце! Благородная душа. Он так горячо любит мать. Ни за что не захочет ее огорчить.

Все это бросалось как будто бы вскользь, с грустным видом.

Глава пятьдесят первая

Аполлинарий Григорьевич сказал Евгению:

— Был я у твоей Шанечки на новоселье.

И принялся посмеиваться над мещанскими подробностями Шанина жилища.

Евгений говорил, волнуясь:

— Я ее перевоспитаю. Вот вы увидите, дядя, из Шани выйдет вполне приличная дама. Конечно, я не могу скрывать от себя, что это трудно.

— Не легко, — согласился Аполлинарий Григорьевич.

— Но согласитесь, дядя, — почти просительным тоном говорил Евгений, — у Шани преобладают хорошие задатки.

— И я то же говорю, — опять поддакивал Аполлинарий Григорьевич.

— Это, право, золото, хотя еще и необработанное, — продолжал Евгений.

И Аполлинарий Григорьевич вторил ему:

— Вот, именно, настоящее слово, золото. Самородок. Одно имя чего стоит! Необычайно оригинально!

Ус его шевелился иронически. Но Евгений не замечал насмешки и продолжал разглагольствовать:

— Если вставить Шаню в настоящую, достойную ее оправу, — да она затмит всех наших барынь. Она дьявольски умна, почти как мужчина.

Аполлинарий Григорьевич глянул на Евгения пытливо, усмехнулся и спросил:

— Послушай, Евгений, да ты уважаешь ли ее?

— Я ее люблю! — резко и неожиданно для себя громко крикнул Евгений.

— Любят только любовниц, — насмешливо сказал Аполлинарий Григорьевич.

Евгений сказал внушительно:

— Она — моя невеста!

Аполлинарий Григорьевич пожал плечьми и сказал снисходительно-уступающим голосом:

— Невеста, если хочешь. Но невеста — будущая жена, а жену надо не только любить, но и уважать. Уважать в ней носительницу своего имени, особу, к которой и ты сам, и общество предъявляет очень высокие требования. Скажи откровенно, ты уважаешь ее?

Евгений тихо сказал:

— Шаня — еще дитя. Кто же уважает детей!

— Но и к детям, — возражал Аполлинарий Григорьевич, — мы относимся сообразно их общественному положению. Маленькая крестьяночка может быть очень мила, я не спорю, — если ты захочешь ее приласкать, ты погладишь ее по головке, хотя в интересах опрятности лучше этого не делать. Малютка-принцесса — такой же ребенок, капризничает и шалит, но ты уважаешь ее высокий сан. Ты счастлив, если она даст тебе поцеловать ручку. Кухаркину сыну ты кричишь: «Васька, балбес, не смей это делать, уши надеру!» Сорванцу гимназисту, Сереже Рябову, ты в соответствующем случае скажешь: «Сережа, перестаньте дурачиться: пошалили, да и будет». Ты его уважаешь, хоть он и мальчишка, шалун, грубиян и дурак. Уважаешь потому, что он сын богатого, влиятельного в городе человека. А умника Васю ты не уважаешь, не потому, что он — мальчишка и шалун, а потому, что он — кухаркин сын. Он — тот сверчок, который должен знать свой шесток. Так-то, Женечка, не мешало бы и всякому сверчку знать свое место.

Евгений досадливо и неопределенно мычал.

У Хмаровых обедали кое-кто из родных и близких знакомых: Нагольские, Аполлинарий Григорьевич с женою и сыном, Леснов. Опять,

досадуя Евгения, зашел разговор о Шаниной квартире. Аполлинарий Григорьевич подсмеивался над мещанскою обстановкою Шанина дома. Говорил:

— Очень стильно!

— Воображаю! — восклицала Софья Яковлевна.

Аполлинарий Григорьевич продолжал:

— Строго выдержано в стиле мещанской квартирки. Совершенно художественный вкус. Все до последних мелочей.

И как будто бы сочувствовал, — и слышна сразу насмешка. Евгению было досадно, — но приходилось молча сносить, чтобы не стать в глупое, смешное положение. Да и что скажешь? Аполлинарий Григорьевич сам спорил со всеми за Евгения.

Евгений бесился и не знал, что ему говорить.

Мария злорадствовала. Алексей хихикал, дразнил. Нагольский нагло смеялся. Юлия Аполлинариевна делала преувеличенно-глупое лицо и спрашивала:

— Но у нее на лестнице есть швейцар?

Положение Евгения было бы нестерпимо. Но, по приятному светскому обыкновению, разговор не должен был долго держаться на одном предмете, — надобно было легко и приятно поговорить о множестве предметов.

Аполлинарий Григорьевич неутомимо работал в пользу семьи. Изыскивая разные способы, чтобы поссорить Евгения и Шаню, он придумал посылать им анонимные письма. В них он писал то ему о ней, то ей о нем разные гадости.

Шаня, конечно, не верила этим письмам. Если иногда и верила, то не хотела верить и старалась забыть или найти Евгению какие-нибудь оправдания.

А Евгений письмам верил. Он думал: «Если отдалась мне, могла отдаться и другому».

Если иногда Евгений и не верил этим письмам, то все же хотел им верить. Ему приятно было ставить Шаню ниже себя. Иногда он принимался мечтать, что выследит Шаню и уличит ее. И тогда в душе его

были смешанные чувства, — не то радость, что избавится от Шани, не то печаль, что потеряет ее.

Шли дни за днями. Дни. Был радостен труд устроения своей квартиры. Помогали советами Манугина и Леснов, которые заходили часто.

Манугина просила Леснова заняться Шанею посерьезнее. Леснов пришел к Шане. Побеседовал. Нащупал уровень ее знаний. Посоветовал ей, что читать. Потом, заметив, что она читает с толком, стал систематически руководить ее чтением.

Леснов давал Шане много советов об ее обстановке. И ему она верила. Купила с ним несколько гравюр.

Но так много было того, что омрачало!

Пришлось Шане писать домой о том, что она уже не у дяди живет: пришлось объяснять. Да отец и сам узнал, — сплетни, анонимные письма.

Стали приходить к Шане гневные, грозные письма от отца и от матери. Бессильный гнев! Но все же больно ранят суровые слова.

Совсем неожиданно для Шани приехал к ней однажды вечером дядя Жглов. Шаня встретила его с шумною радостью, с преувеличенною веселостью, чтобы скрыть свое смущение. Она боялась, не от отца ли он пришел. Осторожно выведывала.

Узнавши, что дядя Жглов не от отца, а навестил ее сам, Шаня успокоилась.

Дядя Жглов пришел с подарками на новоселье. В первые дни он хотел было сделать вид, что забыл о Шанином существовании. Но потом передумал. Стало жалко и неловко бросить Шаню.

«В случае чего, — думал он, — куда же она пойдет? К чужим людям?»

Дядя Жглов хмурился и слегка упрекал Шаню. Давал ей кое-какие советы. Шаня слушала и не спорила.

Жглову было жалко Шаню, и он не верил ее напускной веселости. Думал: «Погибнет девчонка!»

Чем дольше он сидел у веселой Шани, тем все более усиливалось это странное чувство жалости к племяннице, которую он, сообразно поняти-

ям своей среды и своего времени, считал опозоренною навсегда.

С того дня дядя Жглов стал приходить к Шане время от времени.

Аполлинарий Григорьевич также продолжал бывать у Шани. Он был с Шанею так ласков и нежен, что Евгений даже начал ревновать к нему Шаню. Евгений иногда думал, что Аполлинарий Григорьевич для того и отговаривает его от женитьбы на Шане, чтобы сделать ее своею любовницею.

Аполлинарий Григорьевич всегда приходил к Шане с подарками, — приносил цветы, конфеты, красивые безделушки.

Шаня любовалась подарками и грустно думала: «А Женечка-то мой не раскошелится».

Она старалась не показывать этих подарков Евгению, чтобы не обижать его.

Овладевши Шанею, Евгений скоро начал остывать к ней. Бурные Шанины ласки, страстные, но простые, скоро ему приелись. Утомленный юношеским развратом, он капризно требовал от нее более пикантных забав и обучал ее всяким извращенностям. Шаня готова была делать все, что он хотел, — только бы он не мучил ее нытьем, упреками, недовольным видом.

Евгения злило, что Шанина любовь и любовь его к ней занимают в его жизни все большее место. Скучно, и мешает учиться, делать карьеру. Он уставал от этой любви, такой притязательной, требующей всей души, всей жизни. Его усталость все чаще выражалась в припадках раздражения.

Бывали дни, когда все раздражало его в Шане. Вот Шаня запела песню Кольцова. Потом народную песенку.

Евгений злился. Говорил:

— Спой лучше из оперы что-нибудь.

Шаня засмеялась, сказала шутливо:

— Из оперы «Заткни уши, беги вон»?

Евгений осыпал ее целым потоком бранных слов.

Вот Шаня гадала на картах. Евгений застал ее за этим занятием. Ему были противны трепаные карты, которым Шаня очень верила. Он отнял их и бросил в печку. Кричал:

— Глупое, пошлое, дикое мещанство! Тунику напялила, а ведешь себя, как сарафанница, как просвирня! Тебе бы не сандалии носить, а лапти.

Шаня истерично хохотала. Она спрашивала сквозь смех и слезы:

— А ты, Женечка, думаешь, что афинские или александрийские дамы не гадали? Да и жены цезарей верили гаданиям.

— Ты говоришь глупости, — кричал Евгений. — Тогда не было такой науки, как теперь. А после Дарвина и Менделеева верить в карты постыдно так же, как постыдно верить во вмешательство сверхъестественных сил. Бактерии сильнее черта, пойми. С профессорами водишься, а все дурой осталась.

Мещанские Шанины знакомства также раздражали Евгения. Все чаще Евгений раздражался и обижал Шаню. А она все кротче переносила обиды от него.

Иногда ссоры прекращались тем, что Евгений эффектно уходил. Тогда Шаня трепетно ждала его. Писала ему смиренные, умоляющие письма, признавала себя во всем виноватою.

Когда после этого Евгений приходил, Шаня радостно и униженно встречала его, — смех, объятия, поцелуи рук.

А он, как ни злился, приходил каждый день, точно за шиворот хватала его и тащила грубая похоть и ласково манили хорошенькие денежки. Тратить Шанины деньги было приятнее, чем проценты с оставленного отцом капитала: те деньги оставались в семье.

Мало-помалу Шаня отдавала Евгению больше и больше денег. Он что дальше, то все больше жил на ее деньги. И жил, и роскошествовал, и кутил, посещал театры, скачки, бега, клубы, — все на ее счет. Это его не стесняло. Он не задумывался об этом.

Глава пятьдесят вторая

На Шаню стали находить сомнения: а что, если Евгений не повенчается с нею?

Быть брошенною любовницею! От одной мысли об этом Шане становилось нестерпимо стыдно. Память подбирала примеры.

А зачем Шане нужно было венчание? Почему манила ее мистика брака, венца, нового имени?

«Буду его женою! Люблю только одного! Верю ему!» — так сладки, сладки были Шане эти надежды.

Быть в цепях брака — ей казалось величайшим счастием. Жизнь свободная, достойная молодой ее красоты, прельщающей многих, блистательная, сладкая доля гетеры в эти все еще наивные Шанины дни еще ужасала ее. Мысль, что Евгений бросит ее, заставляла Шаню трепетать и биться в слезах перед иконами.

Но вот приходил Евгений, Шаня бросалась к нему навстречу и страстно восклицала:

— Ты — мой! Навсегда мой! Я не уступлю тебя ни другой женщине, ни делу, ни жизни, ни смерти! Не уступлю! Ты — мой, а я — твоя! О, это — не пустые слова! Мы принадлежим друг другу на всю жизнь. Мы должны жить вместе и умереть вместе.

Евгений слушал ее с принужденною улыбкою и думал: «Надо ее отучить от этой риторики дурного тона».

Он говорил насмешливо:

— Все это прекрасно, но я хочу есть и пить и рассчитывал, что ты меня накормишь и напоишь. Ресторанчики поднадоели, а у тебя готовят, надо признаться, превкусно, хоть иногда и тяжеловато.

Шаня краснела, вздыхала и принималась кормить Евгения. Когда он насытится и ляжет на диван, мурлыкая и жмурясь от приятной сытости и легкого хмеля, Шаня становилась перед ним на колени и молила его:

— Люби меня, Евгений, люби меня! Ты — мое божество, я — твоя раба, люби меня!

— Я тебя люблю, — вяло говорил Евгений. — О чем же ты просишь? Ты ломишься в открытую дверь.

Шаня слегка вздрагивала от этих рассудительных слов и говорила страстно:

— Моя любовь наполнила весь мир, зажгла все светила. Она не может возрасти, и ее самое погасание еще озарит блаженством все земные жизни. И в ответ на этот всемирный огонь один зов, одно только требование: люби меня!

— Все это очень мило, — говорил Евгений, — хотя немножко слишком высоко. Должно быть, ты начиталась каких-нибудь выспренных поэтов. Но не могу же я все любить да любить. Мне и некогда, наконец. Надобно учиться.

Шаня говорила с кротким упреком:

— Я сгораю, а ты только учишься. Люби меня, — и я дам тебе полноту знания.

Потом, прижимаясь к нему, она чувствовала, что отдается могучему потоку, движущему системы звезд, и ей казалось, что ее любовь охватывает все миры, вмещает в себя все чары, все обаяния, всю власть и потому непреодолима.

Когда же ночью она ощупывала под подушкою холодное дуло револьвера, эта уверенность в несокрушимости любви сладко убаюкивала ее, и она шептала:

— Сильнее смерти.

Просыпаясь, она думала иногда об Евгении: «Да ведь он маленький и ничтожный!»

Как темное обольщение кошмара, вспоминалось ей грубое сравнение Леснова, — и Евгений представлялся ей малюсеньким насекомым, ползающим по ее груди. Она гнала от себя этот гадкий образ, — и тогда Евгений представлялся ей золотисто-желтою пчелою, а она в поле расцветала красивым синим аконитом: пчела к ней льнула, и в ее медоносное сердце вонзалось пчелиное жало с жуткою болью.

Шаня вставала с постели при свете крохотной лампады, молилась на коленях и плакала. И потом думала долго, и горьки были ее мысли. Казалось ей, что так и должно быть, что в план мировой трагедии вкралась роковая премирная ошибка, и потому мечта о солнечно-ясном герое все не оправдана: бедное сердце, отравленное высокою мечтою, должно вечно творить прекрасных кумиров из слишком низменного материала.

Шаня становилась опять на колени перед иконою и говорила:

— Икона творит чудеса, — о, кусок дерева! То, что создано человеком, что овеяно его верою в чудеса. А я от живой иконы

захотела чудес, — от человека, созданного всемогущею силою, овеянного тайною всемирного устремления. И чудеса будут, будут, будут!

У Шани сидел дядя Жглов. Он пил чай с абрикосовым вареньем и хмуро поучал Шаню, как жить на свете, как ладить с людьми и как делать земляничную наливку. Шаня внимательно по-видимому слушала. А сама думала о своем: как любить, как побеждать любовью, как из человека творить себе кумир.

Пришел Евгений и, как только увидел дядю Жглова, так сейчас же нахмурился и погрузился в дурное настроение. Он первый раз встретил Жглова у Шани.

Встреча была натянутая. Евгений и дядя Жглов говорили друг другу колкости.

Скоро дядя Жглов ушел, и Евгений дал волю своему раздражению. Он злобно говорил:

— Я не хочу, чтобы ты его принимала!

Шаня, зараженная его злостью, сердито сказала:

— Ну уж это ах, оставьте!

Она сама почувствовала, что слова ее звучат вульгарно, и от этого еще больше рассердилась. Евгений закричал:

— Я тебе запрещаю!

Шаня сказала презрительно:

— Вот еще новости! По какому это праву?

— Как по какому праву! — кричал Евгений. — Ты этого не знаешь? Я отказался от надежд на блестящую карьеру, — мне тебя довольно. Если бы я женился на Кате, то ее родственники живо бы меня вытащили. Ты должна это ценить.

Шаня, чувствуя, как все сильнее вскипает в ее сердце злость, спросила:

— Ну и ценю, так что же из того?

Евгений сказал внушительно:

— И потому я решительно запрещаю тебе принимать у себя этого господина, который позволил себе такой поступок со мною.

Шаня кричала:

— Ты не можешь мне этого запрещать. Я тебе не раба. Я принимаю, кого хочу, и буду принимать. Буду, буду, буду!

Ее неистовые крики казались Евгению нахальными. Раздражали мучительно. Хотелось за горло ее схватить. Евгений покраснел, глаза его сделались жесткими и колючими, и он вдруг ударил Шаню по щеке.

Шаня тихонько вскрикнула, заплакала, замолчала и отошла в сторону, закрывая лицо. Опираясь на невысокий шкапик, она стояла и плакала.

Евгений сразу очнулся и почувствовал острую жалость и раскаяние. Он робко подошел к Шане. Говорил тихо:

— Шанечка, милая, прости. Ну пусть он ходит. Только бы лучше мне с ним не встречаться.

Когда Евгений уходил, они попрощались нежно и смущенно.

Шаня вспоминала об этой пощечине без зла. Почти рада была ей. Думала: «Он ревнует, не хочет никому меня уступить. Ревнует даже к дяде, — значит, любит сильно».

С каким-то странным, жутким сладострастием вспоминала Шаня эту пощечину. Ее томил стыд сладострастных мечтаний.

Захотелось Шане испытать, хочет ли Евгений, чтобы она стала его женою. Наивное придумала она средство. А потом и сама увлеклась им.

Шаня просила Евгения:

— Закажи мне визитные карточки с твоею фамилиею, Александра Степановна Хмарова.

Евгений хмуро сказал:

— Ну, вот каприз! Зачем тебе это понадобилось теперь? Никто этого не делает, не носит до свадьбы фамилии мужа. Разве это можно?

— Да почему же нельзя? — спросила Шаня.

— Это и законом запрещается, — говорил Евгений.

Шаня умоляла неотступно. Наконец Евгений сказал:

— Хорошо, закажу.

Через несколько дней он пришел и подал Шане картонную коробочку. Сказал, смущенно улыбаясь:

— Ну вот, я заказал.

Шаня покраснела от радости. Руки ее задрожали. Она быстро открыла коробку и прочла верхнюю карточку: «Александра Степановна Самсонова».

Шаня багрово покраснела, заплакала и бросила карточки в лицо Евгению.

Евгений пытался уговаривать ее:

— Ведь все равно нельзя. Ведь только одни недоразумения будут, если ты будешь называться Хмаровою.

Шаня опять принялась упрашивать:

— Женечка, да ты только потешь меня. Ты мне поверь, — я не буду трогать их до свадьбы.

Напоминание о свадьбе всегда бывало мучительным для Евгения. Говорило о чем-то обязательном, о цепях какого-то долга. Он хмуро отказал.

Шаня просила на коленях. Плакала. Угрожала. Добилась-таки своего: Евгений заказал ей карточки со своею фамилиею.

Когда он принес Шане эти карточки, Шаня была в восторге, кружилась, прыгала, хлопала в ладоши, по-детски веселилась, вся раскраснелась, смеялась. Глаза ее блестели. Она унизительно прислуживала Евгению в тот вечер.

Евгений несколько раз повторял ей:

— Только ты, пожалуйста, не раздавай их своим знакомым. Положи их в комод и не трогай, пока мы не повенчаемся.

— Конечно, Женечка, — говорила Шаня, — конечно, я их употреблять не буду. Это только мне самой для себя, чтобы знать, что вот ты-то меня признаешь.

Но обещать легче, чем исполнять обещанное. Шане так хотелось уверить всех, что она будет женою Хмарова. Поэтому она показывала кое-кому из знакомых эти карточки и говорила:

— Это он мне заказал.

Шаня показала эти карточки и Манугиной. Но Манугина ее разбранила и пристыдила.

— Зачем это тебе? — спрашивала она, строго глядя на Шаню. — Какая ты глупая и суетная девочка!

Шаня покраснела и заплакала.

А все-таки она не могла устоять против искушения показывать всем новые визитные карточки. То оставит где-нибудь карточку, то в магазине, заказывая прислать что-нибудь на квартиру, даст ее. Чтобы оправдать себя перед самою собою, смешивала их с прежними своими и потом пользовалась ими как будто нечаянно.

Глава пятьдесят третья

Скучная канитель постоянных домашних разговоров о Шане, упреков, насмешек, советов скоро утомила Евгения. Он придумал сказать дома, что расстается с Шанею. Вышло это почти случайно. После одной ссоры с Шанею он вернулся домой разъяренный и в порыве откровенности ляпнул:

— У нас с Шанею все кончено. Она мне надоела.

Дома обрадовались очень. Варвара Кирилловна поехала к Софье Яковлевне поделиться своею радостью, Аполлинарий Григорьевич самодовольно покрутил ус и сказал:

— Ну вот видите, я же вам говорил!

На другой же день Евгений отправился к Шане, но дома еще довольно долго поддерживал эту ложь, из самолюбия и чтобы выиграть время. Чтобы не было сцен.

Дома ему верили; хотели верить. Верили, потому что знали его тряпичность и были уверены, что он не сможет долгое время устоять против домашних внушений. Да и не жалели об этом свойстве его натуры. Видели в этом признак хорошей породы и изысканного воспитания. Думали, что только мужики бывают слишком энергичны.

Поторопились устроить примирение с Рябовыми. Рябовы знали о связи Евгения с Шанею больше, чем Хмаровы, но делали вид, что верят всему, что Хмаровы им говорят. Катя готова была ждать хоть десять лет того момента, когда Евгений вернется к ней, и родители уже перестали с нею спорить. Евгений был с Катею ласков, и ее надежды на его любовь ожили.

Но скоро Хмаровы узнали, что Евгений продолжает бывать у Шани. Кратковременная радость опять сменилась унынием. Тогда Мария решилась принести жертву. Она поехала к Шане, просить Шаню отказаться от Евгения.

Удивилась Шаня неожиданному посещению, но и виду не показала, что удивлена. Приняла Марию чрезвычайно любезно.

Сначала Мария упрашивала Шаню кротко. Говорила:

— Это будет с вашей стороны такой великодушный, благородный поступок, если вы откажетесь от Евгения. От этого зависит вся его будущность, вся его карьера. Если вы действительно его любите, то вы покажете этим, что заботитесь о его счастии.

И Шаня, в тон ей, говорила любезно, но решительно.

— Я уверена, — сказала она, — что Евгений будет счастлив со мною. Он такой благородный, такой чистый человек, что не может думать только о карьере. И у него такие блестящие способности, что он выдвинется и без помощи жениных капиталов.

Мало-помалу разговор принял резкий характер.

— Поверьте, мы лучше вас знаем его, — говорила Мария.

— Не думаю, — возражала Шаня. — Я его люблю, а у любви зоркие глаза.

— У него не такая натура, чтобы он мог с вами ужиться, — сказала Мария с презрительным ударением на слове «вами».

Шаня говорила уже с раздражением:

— О, не беспокойтесь! Уживемся как-нибудь или разойдемся, когда сами захотим этого, а не по чужому приказу.

Мария ушла ни с чем, раскрасневшись от досады.

Когда Шаня в тот же вечер рассказала об этом посещении Евгению, он очень обеспокоился. Тревожно, почти злобно спросил:

— Ты наговорила ей дерзостей?

Шаня покраснела и засмеялась.

— Я — не девчонка, — сказала она, — а твоя сестра — не классная дама, чтобы я говорила ей дерзости. Разговор весь вела она, а я только отвечала ей. Из моих гостей никто еще не жаловался на мою нелюбезность.

Меж тем Шане приходилось все больше терпеть от двусмысленности ее положения. То товарищи Евгения позволяли себе неуважительные выходки в ее квартире. Эти «опроборенные картавцы», как называет таких Игорь Северянин, приставали к ней с комплиментами и пошлыми намеками.

Однажды все эти приставания вывели Шаню из терпения. Охваченная внезапною вспышкою гнева, она раскричалась на них и попросила их удалиться. Когда они попытались объясняться, она ушла и заперлась в своей спальне. Сконфуженные нахалы ушли, ворча, а Евгений сделал Шане безобразную сцену.

То какая-нибудь гусыня из чиновниц обольет Шаню при встрече презрением. То горничная надерзит, какая-нибудь простая, грубоватая Куша.

Эта Куша, узнав о том, какие отношения существуют между Шанею и Евгением, прониклась презрением к Шане. Она все небрежнее исполняла свои обязанности. В один тяжелый для Шани день Шаня сделала ей резкий выговор. Куша отвечала дерзко. Начала даже кричать:

— Да что такое! Стану я подражать всякой содержанке! Я — честная девушка.

Шаня побледнела. Точно острою болью пронизала ее обида. Сказала спокойно, почти ласково:

— Уходи, Куша. Больше я не стану тебя держать.

— Да за что же? — пытаясь сохранить независимый тон, спрашивала Куша. — Кажется, я ничего, все делаю исправно, а что правду сказала...

— Ну, живо собирайся, — сухо сказала Шаня.

— Да и уйду, — растерянно говорила Куша. — Что ж такое!

Но скоро она опомнилась. Принялась просить прощения:

— Барышня, да я не со зла. Простите меня, глупую. Сдуру, как с дубу.

Повалилась Шане в ноги. Заплакала. Но Шаня была непреклонна. Повторяла спокойно:

— Нет, голубушка, уходи.

Куша уходила со слезами. Опять, прощаясь, в ноги кланялась.

Шаня почувствовала, что она беременна. С такою нежною и стыдливою радостью сказала это Евгению. Он нахмурился. Сказал бесцеремонно:

— Ну, это меня не радует.

Шаня покраснела. Она говорила:

— Женечка, да ты ничего не бойся. Ребенок тебя ни в чем не стеснит. Я буду о нем сама заботиться и от тебя ничего не потребую.

Но Евгений был недоволен и хмур. Думал с досадою, что Шаня могла бы устранить своевременно эту беременность.

Приближалось время ехать Евгению в столицу, в институт. Варвара Кирилловна постоянно разговаривала теперь со своими гостями о поступлении Евгения в институт.

— Я так боюсь... Женечка так самолюбив... Туда такой наплыв, все эти жиды, эти разночинцы. По своему прилежанию, это — быки. У них не нервы, а канаты. И я не понимаю, к чему их всюду пускают!

И Евгений все чаще мечтал об институте, о карьере, о кушах, которые он будет хватать, когда получит место.

Он говорил Шане:

— Дома у меня все неприятности. Скупятся дать приличную сумму на поездку и на жизнь в Петербурге.

Евгений не стеснялся злословить перед Шанею свою мать, жаловался на ее расточительность и на ее скупость. Про свой капитал он никогда не говорил Шане.

И как-то уже почти без слов решилось, что Шаня будет давать Евгению деньги на жизнь в столице в эти четыре года. Он окончит там курс, тогда они и повенчаются.

Шаня мечтала о том, что она поедет вместе с Евгением в столицу. Но в это время становилась все заметнее Шанина беременность. Евгений говорил:

— Ехать теперь тебе невозможно. Об этом и думать нечего. Ты теперь должна заботиться о своем будущем ребенке, а в дороге ты можешь и ему, и себе повредить.

Везти с собою беременную подругу ему было стыдно, и потому он говорил эти лицемерные слова.

Шане было страшно отпустить Евгения одного. Возрастал томительный страх потерять Евгения. Евгений с трудом настоял, чтобы Шаня ехала не вместе с ним, а позже. Он говорил ей:

— Родишь здесь, потом с ребенком приедешь. А я пока там устроюсь.

Усталая покорность овладела Шанею. Она вся ушла в мечту о ребенке.

Накануне отъезда Евгений последний раз пришел к Шане. Он очень заботился о том, чтобы Шаня завтра не ехала на вокзал. Там она встретилась бы с Рябовыми и со многими другими, кто мог прийти провожать его, и вышла бы большая неловкость. Евгений говорил Шане:

— Тебе, Шанечка, вредно. Подумай о ребенке. Ведь он не только твой. Он и мой немножко.

На всякий случай Евгений обманул Шаню: он уезжал с утренним поездом, а сказал, что едет с вечерним.

Простились трогательно и нежно.

Шаня осталась одна. Последние дни беременности были тяжелы, хотя ее и навещали и ласкали друзья, Манугина, Каракова, Леснов. А перед самыми родами приехала мать.

Родился мальчик. Он был маленький и слабый. Врач утешал:

— Первый ребенок часто бывает послабее.

Обрадовала весть из Петербурга, что Евгений принят в институт.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Глава пятьдесят четвертая

Быстро и тягостно пронеслись над Шанею те четыре года, которые она прожила с Евгением в столице. Как кошмар зимнего утра, от которого не можешь, да и не хочешь проснуться.

Шаня приехала в столицу позднею осенью с ребенком. Она кормила ребенка сама. Ребенок радовал ее, и ей весело было находить в нем черты свои и черты Евгения, еще такие неопределенные и нежные.

Евгений жил тогда в двух комнатах, которые он снимал у какой-то накрашенной и моложавой дамы. Шане эта дама не понравилась, — показалось, что она бросает на Евгения нежные взгляды. Шаня уговаривала Евгения поселиться вместе с нею. Евгений долго отказывался, говорил:

— Это неудобно, Шанечка. Ко мне товарищи ходят, курят, шумят, ребенка будут будить и пугать. Да и детские пеленки, детский крик, — как ты хочешь, это не располагает к умственной работе.

— О ребенке не думай, — говорила Шаня. — Ребенок будет в стороне и тебе не помешает.

Шаня скоро нашла квартиру на одной из тихих улиц вблизи того института, куда поступил Евгений. Когда Евгений первый раз пришел к Шане, его приятно удивило, что все здесь, от парадной лестницы с бравым швейцаром, с зеркалами и с растениями и до последней мелочи в обстановке квартиры, было совершенно таким, как в квартирах тех его петербургских знакомых, которые принадлежали к хорошему обществу и которых он поэтому охотно посещал. Квартира была

небольшая, но, по понятиям Евгения, вполне приличная. Уже знала Шаня вкусы Евгения и так и устроила квартиру, хотя ей самой многое здесь не нравилось. Только свои покои Шаня убрала по-своему, вспоминая милые наставления Манугиной.

Так обставленная, квартира очаровала Евгения. Поэтому, когда Шаня стала опять уговаривать Евгения переехать к ней, он уже отнекивался слабо и через несколько дней поселился у нее.

Первые месяцы прошли, как нежная идиллия. Евгений и Шаня жили открыто, как муж и жена, но всякий, кто всматривался в них внимательно, удивлялся, как они могли сойтись, столь несхожи были они друг с другом.

Шаня была добрая, ласковая, щедрая, но любили ее не за одну щедрость. Всех очаровывала ее радостная бойкость и приветливость. Шаня всегда находила для всякого, чем помочь и приветить, хоть ласковым словом.

А Евгений в это время был угрюм, всем недоволен, вечно зол. Он смотрел на людей, как на вещи, себя ставил выше всех, а перед сильными заискивал. Не то что Шаня. В подвале швейцара, в своей гостиной, в чужом доме, — Шаня была всем равна, в сношениях со всеми одинакова.

В Крутогорске у Хмаровых днем сидели Рябовы, Нагольские и несколько дам, кислых, сладких и кисло-сладких. Как всегда в этом обществе, разговор скользил между пошлыми суждениями о новостях города и света и не менее пошлыми сплетнями, пересыпанными легким злословием. Зашел разговор об Евгении. Варвара Кирилловна распустила, по обыкновению, павлиний хвост.

— Мой Женечка так талантлив, так прилежен. Он мог бы поступить прямо в институт, с его способностями это ничего не стоило бы. Но он не хочет быть узким специалистом. Он хочет быть широко просвещенным человеком. У него прямо государственный ум. Про него товарищи уже давно говорят: «Евгений Хмаров — будущий министр». Сам Шершавер ему говорил: «Когда вы, Хмаров, будете министром...»

Дамы улыбались кисло, сладко и кисло-сладко и таили нелестные мысли о Евгении и об его матери. Самая кислая дама рассказывала, что кто-то часто встречает в столице Евгения вместе с какою-то молодою дамою. Было Хмаровым очень неловко, что разговор об этом зашел при Рябовых. А для кислых, сладких и кисло-сладких дам в этом-то и была вся прелесть рассказа, и они усиленно делали невинные лица и простосердечно смотрели на Хмаровых и на Рябовых. Варвара Кирилловна принялась выпутываться из неловкого положения.

— У Женечки слабы глаза, а он так много занимается.

— Работяга, — сказал Нагольский. — Он и здесь был такой.

— Он взял для себя лектрису, — продолжала Варвара Кирилловна, — и пишет, что это очень облегчило его занятия.

Самая кислая дама улыбнулась ласково и сказала:

— Говорят, что знакомое лицо. Будто бы кто-то из здешних.

Варвара Кирилловна говорила:

— Знакомая мещаночка одна. Она очень нуждается, и потому главным образом Женя и взял ее. У него золотое сердце. Приходится платить недешево, — но что поделаешь! Нынче так трудно приобрести диплом. В сравнении с тою карьерою, которая открывается перед Евгением, чего же стоят все эти затраты!

Самая кислая дама улыбнулась вдвое ласковее, отчего стала вчетверо кислее, и сказала Варваре Кирилловне:

— Не опасна ли эта... лектриса? Может быть, смазливенькая?

Варвара Кирилловна, маскируя замешательство легкою улыбкою, сказала:

— Да, он писал, что недурненькая. Я сама даже и не видела. Знаете, с каким-нибудь уродом заниматься — небольшое удовольствие. Все ж таки приятнее видеть перед собою физиономию, не наводящую уныния.

— И вы не боитесь? — спросила кислая дама. — Не вышло бы чего серьезного! В этом возрасте так легко увлекаются. Когда молодой человек далеко от семьи...

Варвара Кирилловна сказала с веселою уверенностью:

— О нет, я не боюсь. Знаете, надо молодежи перебеситься.

Мать Нагольского улыбалась язвительно и злобно, Катина мать удрученно вздыхала, а самая кислая дама, словно не замечая общего замешательства, тянула свое:

— Да, конечно, но...

Варвара Кирилловна быстро перебила ее:

— Нет, вы не говорите, — это полирует, так сказать. Дает молодому человеку опытность, ловкость, привычку к дамскому обществу, а это так важно в свете. Вы знаете, через нас, женщин, так много делается.

— Но Евгений Модестович, кажется, не из застенчивых, — сказала самая кислая дама. — Он такой ловкий, светский молодой человек. Даром, что будущий министр.

— Я уверена в Женечке, он не зарвется, — возразила Варвара Кирилловна и поспешила заговорить о другом.

Но уже дамы разных степеней окисления были довольны произведенным впечатлением.

Когда гости ушли, Варвара Кирилловна, волнуясь, говорила Марии:

— Такая бестактность! Говорить об этом при Рябовых! Я готова была сквозь землю провалиться.

— Это она с намерением, — сообразила Мария. — Думает, что ее сын очарует Катю. Но она совершенно напрасно это воображает. Катя думает только об Евгении.

— Дело не в Кате, — досадливо говорила Варвара Кирилловна. — Катя глупа и влюблена, и Бог с нею. А вот на ее родителей все это производит самое ужасное впечатление.

Зимою была свадьба Марии. А денег у Хмаровых было мало. Варвара Кирилловна просила Евгения помочь. Он заложил часть своих процентных бумаг и послал домой шесть тысяч.

Евгений жил здесь очень нерасчетливо. Много денег тратил на рестораны, на лихачей и автомобили, на вино и фрукты, на духи и сигары, на одежду, — вообще, не стеснял себя в расходах, тратил, как человек с хорошими средствами.

Деньги на расходы давала Шаня, исполняя свое обещание, данное еще в Крутогорске. Процентов с ее капитала не хватало на все эти

траты. Приходилось выпрашивать деньги у отца, у матери, у дяди Жглова, у которого хранился Шанин капитал в ренте. Дядя Жглов посылал ей только проценты. Ему было досадно, что уже нельзя, как в прежние годы, на отрезанные купоны покупать каждые три месяца рублей на триста, а то и на четыреста ренты и прикладывать их к Шанину капиталу, так что Шанин капитал, дойдя до тридцати восьми с чем-то тысяч, расти перестал.

Шаня рассчитывала, что в эти годы, пока будет учиться в столице Евгений, она будет тратить на него не только проценты, но и часть капитала. Года на четыре ее денег весьма хватило бы. Но дядя Жглов решился во что бы то ни стало оберегать Шанино наследство и не давать ей растрачивать его. Когда Шаня требовала от дяди Жглова, чтобы он выслал ей часть капитала, он присылал ей свои деньги, в подарок, и вместе с ними ворчливые письма. Отец и мать тоже посылали ей деньги и тоже писали неприятные письма. Поэтому Шаня кроме своих денег частенько получала от родных рублей по двести, по триста. Но уже на третий день Шаня оставалась без копейки и нуждалась в самом необходимом. А Евгений опять просил денег.

Шаня смущенно говорила:

— Ах, Женя, у меня нет ни копейки!

Евгений хмурился и досадливо говорил:

— Надо поменьше транжирить! Заложи пока свои бриллианты.

Так мало-помалу Шаня отнесла в ломбард все свои ценные вещи, — браслеты, кольца, ожерелья, серьги. То выкупит, то опять заложит. Она радостно делала это, — угодить бы только Женечке своему. Чем же еще ей было радовать сердце?

Было краткое время иной радости, — о ребенке.

Но это счастие, — быть нежною матерью, — отнял Бог у Шани. Умер ее маленький.

Смерть ребенка страшно и навсегда поразила Шаню. Слабенький был мальчик, не прожил и году.

Навсегда в Шаниной памяти остался странный детский трупик, — серьезный лобик, пожелтевшее лицо, потемневшие сомкнутые глаза, сложенные ручки. Побледнел и сомкнулся навеки милый

ротик, который уже научился говорить «мама». Не засмеется, не заплачет.

Шаня над холодным трупиком сидела и плакала.

Этому нежному ангелу предстояло обратиться в комок грязи. Зачем?

Шаня еще спрашивала. Она еще не знала, что жизнь дается даром, что она ничего не стоит и что тот, кто ценит ее, или ошибается, или обманывает. «Земля еси, и в землю отыдеши».

Надобно было хоронить ребенка. Повезли на кладбище.

Весеннее солнце весело светило на красивый гробик. Погода была так хороша, Евгений чувствовал себя прекрасно.

Обряд не утешал Шанина сердца, — Шанино горе было обвеяно холодом, равнодушием Евгения. Слова его были пусты и холодны, и видно было, что он даже рад этой смерти.

Он старался скрыть свою радость. Утешал Шаню. И все вокруг было так ясно, так вешне-весело, так жестоко-утешительно, что Шанино сердце замирало от ужаса под этою разлитою вкруг нее лаской. Смеется тот, кто утешает!

Когда они вышли за ограду кладбища, Евгений сказал:

— Все к лучшему, Шанечка, в этом лучшем из миров. Не надо много печалиться.

Шаня посмотрела на него тупо и ничего не сказала.

Вернулись с кладбища, и квартира показалась Шане страшно опустелою. На всем лежала скорбь, о которой не станет говорить много тот, кто испытал ее хоть однажды. А Евгений похаживал по квартире так бодро, словно и не случилось здесь ничего, словно ни один предмет здесь не напоминал ему маленького, ушедшего невозвратно.

Шаня всмотрелась в Евгения. Догадалась: «Он рад! Ребенок его только стеснял!»

Ей было больно и страшно. А Евгений улыбался и кощунствовал:

— Ангелом стал. Это — хорошая карьера. Вот для взрослых такая карьера уже недоступна.

Шаня плакала и упрекала Евгения. Он разозлился, раскричался. Произошла тягостная сцена.

Глава пятьдесят пятая

Евгений постепенно охладевал к Шане. Дома он тяготился Шанею, в людях стеснялся быть с нею. Не знал, как ее назвать, — женою не хотелось, а называть сожительницею или любовницею неловко, да и не смел, боялся Шани. Поэтому он старался быть с нею поменьше. Вспышки его чувства становились все реже и слабее и все более принимали характер только животной страсти.

Евгений перед Шанею усиленно лгал. Он притворялся любящим ее по-прежнему страстно, не потому, что любил и жалел Шаню, а только потому, что трусил и хотел отсрочить неизбежную сцену разлуки.

Друзьям своим, изысканным студентам, преданным спорту, Евгений постоянно жаловался, что Шаня мешает ему заниматься, что ее скандалы убивают его.

— У нас Бедлам, — говорил он.

Друзья советовали ему:

— А ты бы ее прогнал.

Евгений отвечал с необычайно важным видом:

— Ну, знаете, я все-таки немножко привык к ней. Как-то жалко ее отпустить. Пусть живет, Бог с нею.

И вот жила Шаня четыре года, колеблясь между отчаянием и надеждою. Ходила в церкви, выбирая те, что подальше от центра города и где людей поменьше, и молилась за себя и за Евгения с такою же страстностью, как и раньше.

В первое время Шаню очень поражало, что Евгений ухаживал за случайными женщинами. Потом она понемногу привыкла. А если Евгению казалось, что Шаня засматривается на другого, он ревновал ее. Смешанное чувство собственника и мужчины заставляло его дорожить обладанием Шанею. Вся гордость его возмущалась при мысли, что Шаня может разлюбить его и уйти с другим.

Когда Шаня ему говорила:

— Ты меня разлюбил!

Он отвечал:

— Что за вздор! Зачем ты это говоришь? Пожалей мои нервы, — они у меня не из стали, я не в амбаре вырос.

— Если ты меня не любишь, отпусти меня, — говорила Шаня.

Евгений тогда упрекал ее в распутных мыслях, кричал:

— Ты завела себе любовника!

Если Шаня уходила куда-нибудь и опаздывала домой, Евгений встречал ее ревнивою бранью. Допрашивал, где она была. Старался поймать ее на словах и уличить.

Приревновал ее к молодому художнику, которому Шаня заказала портрет, чтобы подарить Евгению. Но в то же время, побуждаемый утомленною страстностью, настаивал на том, чтобы на портрете Шаня была изображена обнаженная. Злился на то, что художник видит нагое Шанино тело.

— Так пусть он пишет меня в костюме, — говорила Шаня.

Евгений злился еще больше и говорил:

— Дело не в том, как он тебя напишет, а в том, что ты улыбаешься ему развратно и делаешь ему глазки.

Шаня улыбалась невесело и говорила:

— Моя улыбка не для него, а для тебя. Он — художник, он привык, для него я — не предмет страсти, а только натура. Колорит и рисунок, — вот только в этой области его интерес.

— Ну да, — угрюмо говорил Евгений, — знаем мы этих художников!

— Пойми, — говорила Шаня, — в теле нет ничего интимного. Тело — маска. Соблазняет одежда. Если бы ее мы не носили, тело не соблазняло бы нас.

— Доморощенная философия! — язвительно говорил Евгений.

Все время, пока продолжалась работа над портретом, Евгений изводил Шаню упреками и бранью. Потом приревновал ее к Берлетти, известному в то время балетному учителю танцев. Шаня ходила к нему три раза в неделю. Он был доволен ее успехами. Когда Шаня с веселою гордостью рассказала об этом Евгению, тот позеленел от злости и зашипел:

— Знаю я, чем он доволен. И ему глазки делаешь.

Шаня хохотала долго, неудержимо.

— Женечка! — говорила она среди приступов смеха, — да ведь ему семьдесят лет!

Вялая страстность, изнуренная мальчишескими глупостями и юным развратом, тянула Евгения к Шаниным ласкам; развращенное воображение хотело частых, ежедневных ласк, а юношеских сил уже не было. И вот желания возбуждались мучительством. Евгений заставлял Шаню делать ненужное, унизительное, придирался к ней, выдумывал ей разные наказания, и все это веселило и разжигало его.

И уже скоро перестала удивляться Шаня, когда вечером Евгений вдруг звал ее к себе в кабинет, где он сидел за своими книгами и чертежами, и приказывал ей:

— Возьми тряпку, Шаня, смети пыль сверху со шкапов.

В первое время Шаня отвечала:

— Это Катя может сделать завтра утром.

— Нет, — капризно говорил Евгений, — мне надо, чтобы сейчас не было пыли. Мне туда чертежи положить надо.

— Так я позову Катю, — говорила Шаня.

Евгений начинал кричать:

— Делай, что тебе велят. Катя мне помешает, она развлечет мое внимание. И тебе полезны усиленные движения, — к тебе не идет полнота.

Шаня приходила с пыльною тряпкою и с метелкою, взбегала по складной лесенке и усердно сметала пыль. А Евгений покрикивал:

— Хорошенько, хорошенько подмети. Да ты уж не сухую ли тряпку взяла? Дура, и этого сделать не умеешь, только пыль поднимаешь.

— Тряпка влажная, — кротко говорила Шаня.

Иногда Евгений говорил:

— Шаня, ты толстеешь, займись гимнастикой. Разденься, я буду командовать.

Шаня покорно снимала одежды, а Евгений принимался командовать. Иногда доводил ее до такого изнеможения, что она принималась плакать.

— Раскисла, неженка! — сердито говорил Евгений. — В античном мире девушки не уступали юношам в силе и выносливости, а ты плачешь от простой гимнастики. Ну отдыхай, полежи на диване.

Он подходил к Шане, возбужденный ее слезами, покорностью и наготою, и ласкал ее.

Иногда он говорил ей:

— Шанька, мой пол в моем кабинете; тебе полезно усиленное движение, а то ты разжиреешь.

А где там жиреть! Давно уже подтачивалось Шанино здоровье всеми волнениями и страхами, в которых ей приходилось жить. Притом Шаня усердно занималась танцами.

Моет Шаня пол, а Евгений стоит в стороне и любуется игрою сильных мускулов под смуглою кожею обнаженных Шаниных рук и ног.

Покорность Шанина радовала Евгения, но еще больше радовался он, когда мог обвинить ее в неловкости, небрежности, лености, — когда она не точно исполнит приказание, которое он даст ей, уходя из дому, — когда в квартире или в его кабинете окажется какой-нибудь непорядок, — словом, когда можно придраться к Шане, разозлиться на нее и приняться ее мучить.

Иногда Евгений схватывал Шаню за горло и сжимал, пока лицо не посинеет. Иногда щипал ее до синяков. Иногда бил ее, заставлял стоять на коленях. Иногда царапал ей лицо, из ревности, чтобы другие не влюблялись. Иногда говорил ей:

— Смотри, как бы я тебя серной кислотой не облил. Тогда я посмотрю, как твои поклонники станут за тобою ухаживать.

Шаня все это терпела кротко. А иногда вдруг вспыхнет, заплачет, закричит. Тогда начиналась крикливая, вульгарная ссора. И такие ссоры становились все чаще.

Иногда Евгений говорил:

— Ты не имеешь на меня никаких прав.

— А права моей любви? — возражала Шаня.

— Это еще что за права? — презрительно спрашивал Евгений.

Шаня плакала и говорила:

— Я отдала тебе лучшие годы моей молодости.

— Трогательно! — насмешливо говорил Евгений. — Думаю, что и ты эти годы не в могиле лежала, а тоже жила, и довольно шибко.

Шаня горько улыбалась и говорила:

— Жила! Нечего говорить!

— Чего ж тебе еще не хватало? — спрашивал Евгений.

— Ах, да ведь я только тобою жила! — восклицала Шаня.

Евгений делал сердитое лицо и злобно говорил:

— То есть считала своею обязанностью делать мне сцены, мешала мне работать, компрометировала на каждом шагу.

— Прогони меня, — отвечала Шаня. — А я все-таки буду любить тебя до гроба, если ты и прогонишь меня.

Хмаров отвечал язвительно:

— Любовь до гроба! Да, твоя любовь доведет меня до гроба. Из-за твоих скандалов мои нервы пришли в совершенно невозможное состояние.

— Я умру раньше, — говорила Шаня. — Что для меня счастие? О чем я мечтаю? Жить вместе и умереть вместе.

Евгений презрительно фыркал.

— Подумаешь! Мы не должны быть такими эгоистами, — наставительно говорил он. — У меня есть святые обязанности перед семьею.

Шаня восклицала в ужасе:

— Женя, опомнись! Какие обязанности? Разве твои родные в чем-нибудь нуждаются? Если ты меня бросишь, что же со мною будет?

Евгений пожимал плечами и говорил:

— Но и обо мне ты должна подумать!

Шаня обнимала его, заглядывала в неласковые глаза и страстно говорила:

— Да ведь я тебе всю мою жизнь отдала! Да ведь и ты любишь меня! Скажи, ведь любишь?

— Люблю, конечно, но нельзя же так, — отвечал Евгений. — Ты должна бы оценить мои жертвы тебе.

— Какие? — спрашивала Шаня.

— Для тебя я пренебрег своей карьерой.

И, вспомнив о карьере, Евгений приходил в раж. Он кричал:

— Ты испортила всю мою карьеру!

Шаня улыбалась печально и спрашивала:

— Неужели испортила?

— Если бы я женился на барышне хорошей семьи, — с раздражением говорил Евгений, — это помогло бы мне стать в свете на свое место.

Шаня отходила от Евгения, бледнела от внезапной злости и досадливо говорила:

— Какое же твое место? К чему ты сам стремишься в свете? Будешь инженером, станешь деньги хапать, как Нагольский. Послом тебя все равно не сделают.

Хмаров зеленел от злости. Кричал:

— Послом! С моими связями я мог бы министром сделаться. Да с такою бабищею, как ты, куда я могу попасть? Разве ты сумела бы принять порядочных людей?

— Думаю, что сумею, — уверенно говорила Шаня. — Всяких людей у себя видела, и никто про меня тебе не скажет, что я нелюбезная, неловкая, глупая, смешная. Я читала, училась, знакомилась и с людьми, и с их делами, и нет на свете человека, с которым я не могла бы говорить о том, что его интересует.

Евгений мерял ее презрительным взглядом, смеялся и говорил:

— Да и всегда на тебя станут смотреть как на неравную, как ты ни рассыпайся в любезностях. Я знаю, что ты — хитрая, всякому стараешься угодить. Но все-таки ты всегда будешь меня связывать.

— Чем же это? — спрашивала Шаня.

— Ты думаешь, — говорил Евгений, — что будешь называться Хмаровой, так и все замазано в твоем прошлом? Хмарова, рожденная Самсонова! — насмешливо говорил он. — Очень звучно! Графиня Кондратьева тебя спросит: «Вы — родственница графа Самсонова?» Что же ты ей ответишь? Скажешь: «Нет, мой отец гвоздями торгует»?

— Нелепая дворянская спесь! — говорила Шаня. — А вот князь Фюрстенберг пиво варит, а с кайзером дружен.

— Это твой хороший знакомый? — язвительно спрашивал Евгений. — Товарищ детских игр?

Шаня бледнела и тихо говорила:

— Захочу, княгинею буду. Только презираю я все это, что ты так ценишь. Я себя ставлю выше, выше!

Случалось даже, что Евгений упрекал Шаню потерянною добродетелью.

— Добродетель девичья — капитал, — говорил он с видом наставника.

Шаня отвечала презрительно:

— Какую пошлость ты говоришь! Зачем ты любишь говорить пошлости? Ты сам себя унижаешь, когда говоришь такие слова.

Евгений злился. Он уходил к себе и принимался мечтать на ту тему, что Шанька замучит его до смерти, что он — несчастный человек.

Глава пятьдесят шестая

О, тщета мира! Все жертвы напрасны, не принята ни одна, не услышана вновь настойчивая мольба о чуде.

Или и в самом деле нет связной жизни, нет единого мирового устремления? Или всегда любовь, поднявшаяся до звезд, бессильно падает на землю? И нам всем на земле надобно жить только мгновениями? И бедной Шане надобно быть рабою или гетерою?

Все слаще и настойчивее возникала в Шаниной душе мечта о сладком уделе гетеры. Шаню стал интересовать своеобразный быт женщин, из любви сделавших ремесло. Она принялась усердно читать книги на эту тему, расспрашивать знакомых. Так много отвратительного, страшного, жуткого! Как в змеином логовище должна чувствовать себя женщина в этих притонах. Но какое опьянение! И какое жуткое торжество — побеждая собою, заклинать змей!

Шаня уговорила двух знакомых журналистов, чтобы они свели ее с одною из таких женщин.

Журналисты сначала посмеялись, потом принялись за дело серьезно. Несколько дней подыскивали женщину, с которою было бы удобно познакомить Шаню. Наконец нашли.

И вот в отдельном кабинете ресторана однажды зимним вечером сошлись Шаня, два журналиста и Марья Ивановна, девица с Невского проспекта. Ужинали. Вино пили, но, по заранее высказанному Шанею желанию, немного.

Марья Ивановна вела себя скромно. Присутствие нарядной дамы не стесняло ее, но она вела себя так, словно хотела показать, что может быть и в приличном обществе.

В конце ужина Шаня отозвала Марью Ивановну в сторону от мужчин. Оба журналиста тотчас же оживленно занялись своим разговором, стараясь показать, что они не хотят мешать беседе женщин.

Две женщины сели рядом на диван поодаль от стола. Одна из них, девица с Невского, была в скромном серовато-синем платье, скромно тупила серые, равнодушные глаза и была похожа на учительницу. Другая глядела любопытно и привычно-весело и, в своем черном, полузакрытом, с кружевами, вечернем платье, казалась легкомысленною дамою веселых ночей. Она спрашивала настойчиво и смело, девица с Невского отвечала робко и скромно, короткими фразами.

Марья Ивановна рассказала Шане свою историю. Все та же, знакомая по книгам и по рассказам, история бедной маленькой жизни.

— Молоденькая была, ничего не понимала, — равнодушным голосом говорила Марья Ивановна. — Дома бедность, — мать по стиркам ходила, — я у модистки училась. Известно, по глупости, повеселиться хотелось. Влюбилась сдуру. Ну, он воспользовался и бросил.

Обманутая любовь, домашний ад. Бежала топиться, — вытащили. Потом пошла на улицу. Все так просто. Но что же, что под этою простотою, этого еще не могла понять Шаня. Что чувствует теперь эта женщина? Или уже у нее душа мертвая, безнадежно-спокойная?

Прощаясь с Марьею Ивановною, Шаня поцеловала ее нежно. Девица не удивилась и не обрадовалась. Шаня спросила:

— Если я вас попрошу ко мне прийти, вы придете?

Марья Ивановна потупилась, усмехнулась, глянула куда-то в сторону и сказала:

— Что ж, я могу, если вас не стеснит.

Шаня записала адрес Марьи Ивановны.

Дома, вспоминая часто этот вечер, думала Шаня: «Как все это просто! Уйти бы и мне в эту жизнь!»

Несколько раз звала к себе Марью Ивановну. С жутким любопытством расспрашивала ее о всех подробностях ремесла. И у Марьи Ивановны была несколько раз, в ее комнате от хозяев. Присматривалась и все чаще думала: «Уйти бы и мне в такую жизнь! Заклинать змей, играть сердцами, чаровать и царить!»

Но Евгений не отпускал. Он хотел Шаниных ласк и боялся Шани, а в глубине души был совершенно холоден к самой Шане. Живое отношение к ней выветрилось, и была она ему как манекен для удовольствий и непотребств.

Однажды Шаня показала ему свой револьвер и сказала:

— Евгений, ты доведешь меня до того, что я убью и тебя, и себя.

Евгений позеленел от страха и с тех пор до трепета боялся ее револьвера. Он пытался даже похитить его, да не удалось: Шаня теперь всегда прятала его так, чтобы Евгений не знал, где он лежит, или носила его с собою.

Евгений так боялся Шани, что даже упросил мать писать ему письма в двух списках: настоящее письмо — на швейцара в институт, а второе — на квартиру, чтобы можно было его показать Шане.

Варвара Кирилловна исполняла это охотно и коварно. В тех письмах, о которых она знала, что Шаня их не прочтет, она уговаривала Евгения бросить Шаню.

Однажды в мирную минуту после ласк Шаня спросила Евгения:

— Женечка, я не понимаю вот чего, — ты так много учишься, так хорошо идешь, а между тем постоянно говоришь, что для меня жертвуешь карьерою. Как же так?

Евгений сказал самодовольно:

— Да, раз что я люблю тебя, то я готов пожертвовать из-за тебя моею карьерою. Я не спрашиваю тебя, готова ли ты принести мне хоть маленькую жертву, — я тебе жертвую, и жертвую не малым.

Шаня внимательно посмотрела на него и спросила:

— Но разве я мешаю твоей карьере?

Евгений, с неудовольствием отвертываясь от Шанина внимательного взора, сказал:

— Чтобы делать карьеру, нужны связи. По щучьему веленью ничего не делается. Жизнь — не сказка, да и я не похож на Иванушку-дурачка, которому в рот жареные рябчики летели.

— Ну, кроме связей еще что надо? — спросила Шаня.

Небрежный, сухой тон Евгения уже рождал в ее душе привычную злость.

— Надо иметь приличный дом, — с тупым видом человека, повторяющего привычные пошлости, говорил Евгений.

Шаня воскликнула, бледнея:

— Очень надо!

— Надо, — продолжал Евгений, — чтобы вокруг имени не пахло скандалом или чем-нибудь вроде Воспитательного дома.

Шаня с ужасом посмотрела на него.

— Что ты говоришь! Ведь ты знаешь!

Евгений смутился, чувствуя, что сказал глупость. Он говорил:

— Ну я знаю, да ведь другие могут и не знать, куда ты дела своего первенца. Подумают, пожалуй, что ты его придушила.

Шаня заплакала. Евгений досадливо морщился и говорил:

— Ну, ну, я шучу. Из-за всякого пустяка слезные потоки распускаешь. Уж и пошутить нельзя!

Шаня вскочила и, вдруг зажегшись злобою, закричала:

— Такими вещами только подлецы шутят!

— А, черт тебя дери! — крикнул Евгений.

Хлопнул дверью и ушел.

Вечером Евгений сидел в дорогом ресторане со знакомым адвокатом, который бывал у них в доме, и с двумя молоденькими актрисами. На столе стояла ваза со льдом, и из нее торчало горлышко уже не первой бутылки вина дорогого, но вульгарного, шампанского одной из новых, шикарных, знаменитых в кабаках марок. В бумажнике Евгения лежали две сторублевки, выпрошенные вчера у Шани.

Молоденькая актриса с мило подкрашенными губками, белокурая жеманница с тонким личиком задумчивой ярославки, спросила:

— Отчего Шанечка не приехала? Нам без нее скучно.

— Она не совсем здорова, — сказал Евгений.

— Что же с нею? — спрашивала жеманница. — Бедная Шанечка, я к ней завтра заеду, — можно к ней?

— Ничего опасного, — с возрастающею злостью говорил Евгений. — Капризы, злость, — и больше ничего.

— О, Шанечка и капризы, это несовместимо, — покачивая головою в пестрой маленькой шляпе, сказала подруга жеманницы, тоненькая, высокая девица.

Евгений злобно говорил:

— Вы ее не знаете. Это — ужасная женщина.

— Такая милая? — с удивлением спросил адвокат.

Он был немного влюблен в Шаню. Потому и ходил к ним в дом, хотя Евгений ему не нравился.

Евгений с ожесточением говорил:

— Она ловка и умна, как черт. Сущий черт! Вы только ее послушайте, она вам сумеет наговорить. Так искусно подтасует и сгруппирует факты, что сам дьявол не разберет, где ложь, где правда. Замечательное искусство! Послушать ее, так выходит, что я ее обижаю.

— Вы сегодня в дурном настроении, — сказала подруга жеманницы.

А жеманница смеялась тихонько, показывая белые зубки, и говорила весело:

— А вот мы ее завтра накажем хорошенько, чтобы она не капризничала.

Евгений спохватился, что наговорил лишнего. Он замолчал сконфуженно и принялся разливать искрящееся, холодное вино. Досадливо думал он, что у Шани слишком много подруг и что она с ними, должно быть, очень откровенна и рассказывает им разные подробности их житья. Эта жеманница, думал он, потому и заговорила о наказании для Шани, что Шаня ей рассказала о его строгостях.

А у Шани в этот вечер сидела еще одна ее здешняя приятельница, молодая художница Альма Раузер. Шаня жаловалась ей на свою судьбу, на Евгения. Сама презирала себя за эти жалобы, но не могла удержаться от них.

Альма, белокурая молодая девушка, высокая и стройная, с решительным выражением лица и с очень точными, уверенными манерами, говорила Шане с обычною своею резкостью:

— Что вы, Шанечка, с ним путаетесь? Нашли сокровище!

Альма очень любила употреблять энергичные русские выражения.

— Я его люблю, — отвечала Шаня.

— Не говоря худого слова, вышвырните его за дверь, — говорила Альма. — По крайней мере, будет скучать по вас до тех пор, пока не найдет другой богатой жертвы для эксплуатации.

— А я? Как же я буду жить? — спрашивала Шаня.

Альма пожала плечами и решительно сказала:

— Как другие живут.

Шаня задумалась. Она тихо говорила, словно сама с собою, не глядя на свою гостью:

— Скажи он прямо, что разлюбил меня, я бы его оставила. Не пережить бы мне горя, — но оставила бы.

— Вы еще полюбите другого, — сказала Альма, чтобы утешить Шаню. — Вы такая очаровательная, в вас так влюбляются.

Шаня улыбнулась и покачала головою.

— Нет, — сказала она, — кроме него я никого не полюблю. А доживать жизнь без любви, — нет, об этом страшно и подумать.

— А я бы на вашем месте отослала ему все его подарки, — сказала Альма, — и прервала бы с ним все сношения.

Шаня загадочно засмеялась. Потом побледнела и сказала со злостью:

— Нет, милая Альма, это мне трудно сделать.

— Кстати, покажите же, дорогая, мне хоть один его подарок, — сказала Альма.

Любопытно было ей видеть, какой вкус этого человека, странного дикаря, который заставляет плакать и жаловаться милую Шаню. Должно быть, и в подарках его отражается мелкая, вульгарная душа.

Шаня, краснея, сказала:

— Они, видите ли, у меня заложены. Давно из дома денег не присылали, так я заложила пока. На днях пришлют, выкуплю.

На самом же деле Евгений ничего ей не дарил, как и прежде.

Альма поверила Шане, но от этого ее мнение о Хмарове не стало лучше. Она сказала серьезно:

— Шанечка, да вы бы хоть у меня заняли. У меня не Бог весть какие капиталы, но все-таки я могла бы вам дать на несколько дней кое-что.

Когда Альма ушла, Шаня подумала: «Какая я глупая! Показать бы ей браслет какой-нибудь и еще что-нибудь свое, пусть бы думала, что это — Женины подарки».

Потом из первых же полученных ею денег Шаня купила себе подарки, будто бы от Евгения. Она долго ходила по лавочкам старьевщиков, накупила милых вещиц, фигурок, ларчиков, колец. Поставила у себя и любовалась. Обманывая себя, мечтала: «Вот Женечка мне сколько надарил! Ходил, выбирал, обо мне думал».

Глава пятьдесят седьмая

К концу второй зимы, проведенной в Петербурге, Шаня почувствовала себя очень плохо. Постоянные волнения и ссоры, домашние сцены, частые ночные кутежи с Евгением, его извращенности и жестокие прихоти — все это медленно, но верно подтачивало Шанино здоровье. Болела грудь, трудно дышалось, Шаня чувствовала себя очень слабою; всякое усилие утомляло ее: настроения были мрачные. Шане казалось, что она скоро умрет, и при мысли о смерти ей становилось страшно.

Иногда, выйдя на улицу, Шаня вдруг останавливалась. Голова ее кружилась, и ноги подкашивались. Шаня прислонялась спиною к стене и растерянно смотрела перед собою. Тогда все предметы перед ее глазами как бы трепетали, и весь мир казался ей истончившимся и колеблемым. Шаня улыбалась бледною улыбкою, и думала: «Ка-

кой легкий и зыблемый мир! Точно занавес, который легко отдернуть, — и так легко за ним навеки скрыться, уйти в области, земле неведомые».

Шаня иногда спрашивала Евгения:

— Женечка, что ты будешь делать, когда я умру? Женишься на Кате Рябовой, а ко мне и на могилу никогда не придешь?

Евгений не любил печальных разговоров. Шанина смерть казалась ему теперь, до получения им инженерского диплома, неуместною, преждевременною, направленною против его личных интересов, — казалось, что эта смерть грубо нарушит налаженный на студенческие годы строй его жизни. Он говорил с досадою:

— Ах, Шаня, не расстраивай меня, пожалуйста. И без того забот много. Мне надо учиться, надо, чтобы настроение было бодрое. Не могу же я заниматься серьезно, если у меня голова будет набита черт знает чем!

Шаня смотрела на Евгения жалобно и грустно и тихо говорила:

— Но я больна, Женечка. Я чувствую, что скоро умру.

На ее глаза навертывались слезы. Она испытывала щемящую сердце жалость к своей молодой и прекрасной жизни, к своей жалко погибающей мечте о солнечно-ясном герое и о достойной жизни с ним.

Евгений досадливо хмурился и говорил:

— Ну лечись. Нельзя же из-за всякой маленькой простуды подымать историю. И это все надо говорить доктору, а не мне. Ведь не могу же я тебе лекарства прописывать.

— Будь со мною ласковее, Женечка, — говорила Шаня. — Когда ты со мною ласков, я чувствую себя лучше, точно воздуху больше вкруг меня становится. А твоя холодность убивает меня. Если ты будешь со мною ласков, мне и умирать не страшно будет.

Быть ласковым с больною женщиною для Евгения было трудно, почти противно. Но все-таки он делал над собою усилие, гладил Шаню по волосам, улыбался ей и целовал ее руки. А сам спешил уйти из дому. С гордостью вспоминал он свою не награжденную пылкими ласками ласковость и думал: «Сама неосторожна, а на мне это отражается. Во всем сказывается разница проис-

хождения и воспитания: я знаю свой организм, его потребности, и берегусь, — а она живет бессознательно, как плохо дрессированный зверек».

Шаня к весне совсем расхворалась. Побледнела, похудела, часто кашляла. Врач прописывал лекарства и говорил, что надобно поскорее уехать на юг. Но Шаня и думать не хотела об отъезде, пока не окончится учебный год Евгения.

Болезненное Шанино лицо и вся ее изменившаяся вдруг фигура возбуждали в Евгении приливы жалости и любви. Ее упорный кашель досадовал его днем, а ночью мешал заснуть. Он говорил Шане:

— Вредно так много кашлять. Надо удерживаться. Ты дышать не умеешь. Занимайся гимнастикою для укрепления легких.

Шаня стала такая смирная, совсем не похожая на прежнюю своевольную Шаньку. Закашляется — и боязливо посматривает, не обеспокоить бы Евгения. Она пыталась удерживаться от кашля, да ничего из этого не выходило, — только сильнее потом были приступы долго сдержанного кашля.

Евгений и теперь умудрился приревновать Шаню к лечившему ее врачу. Доктор медицины Преториус, человек лет под пятьдесят, был плотный, веселый, краснолицый здоровяк. Евгению казалось, что он не столько выслушивает Шанины легкие, сколько любуется ее грудью и спиною.

Наконец Преториус стал настойчиво говорить, что необходимо полечиться климатом, что оставаться дольше в этом городе опасно. Так как Шаня не обращала никакого внимания на все настойчивые советы немедленно выехать из Петербурга, то врач поговорил об этом с Евгением. Решительно сказал:

— Немедленно увезите ее отсюда, иначе я не ручаюсь за последствия.

Евгений понял, что это серьезно, что о Шане приходится позаботиться. Заботиться о другом человеке! Уже не быть в центре! Это казалось Евгению унизительным и досадным. Но что же делать! Почему-то принято заботиться о больных, и те же Рябовы осудили

бы его, если бы он бросил теперь больную Шаню. Евгений решился ехать с Шанею за границу, взял отпуск из своего института, выправил заграничные паспорты, купил билеты, дорожные вещи, нанял опытную фельдшерицу и все это сделал быстро и точно, со свойственною ему деловою аккуратностью.

Настроения Евгения двоились: то преобладало желание Шаниной смерти, чтобы освободиться, — то брало верх желание, чтобы она выздоровела; иногда казалось ему, что тогда он будет любить ее попрежнему. В самой думе об освобождении была двойственность: Шанина смерть развяжет ему руки, но зато уйдут Шанины деньги. Он даже подумывал о том, как бы намекнуть Шане, чтобы она составила завещание в его пользу.

Но Шаня предупредила его и с помощью своих здешних друзей написала завещание. Когда Евгений узнал об этом, он почувствовал прилив нежности к Шане. Быть при Шане до самой ее смерти показалось ему тогда очень приличным и красивым. И уже он мечтал, как с крепом на рукаве и с томною бледностью лица он приедет в Крутогорск и скажет Кате:

— Она умерла. В ней были темные, порочные чары, но она умерла, и да будет память о ней светлою. Я люблю вас не так, как любил ее, — я люблю вас чистою, святою любовью, тою любовью, которой достойна ваша светлая, чистая душа, любовью настоящею и вечною.

Катя заплачет и скажет:

— Я простила ее, когда узнала, что она страдает. Я прощаю ее от всего сердца, потому что она любила вас, хотя и порочною любовью, любила, как умела. А вас, Евгений, я всегда любила и всегда верила, что вы любите меня, хотя и запутались в сетях этой несчастной, порочной особы.

Евгений написал домой, что Шаня опасно заболела, что у нее открылась сильная чахотка и что он везет ее в Швейцарию. Дома были уверены, что Шаня скоро умрет. И уже стали находить в ней хорошие стороны. Говорили:

— Все-таки она так любила Евгения.

— И, в конце концов, она стоила ему не особенно дорого.

— И даже была полезна по хозяйству.

— Да, и все-таки это лучше, чем случайные встречи с этими ужасными женщинами.

— Только бы он не заразился от нее.

— Надо ему написать, чтобы он был очень осторожен.

— Да, пусть держится подальше. Ведь с ними едет сиделка. Евгений может только иногда заходить к ней.

Лето Евгений и Шаня провели в Швейцарии. Знакомых вблизи не было, никто не напоминал о богатой невесте, о карьере. Потому Евгений был спокоен. Он обходился с Шанею ласково, и они почти никогда не ссорились. Шаня отдыхала. Здоровье ее поправлялось, и ее настроения опять становились бодрыми и светлыми.

Но скоро эта сладостная идиллия, воскрешавшая Шаню, надоела Евгению. Природа Швейцарии казалась ему пресною, вся жизнь грубою и мещанскою. Чем веселее становилась Шаня, тем скучнее было Евгению. И он уже был рад, что настало время ехать в Петербург.

Хмаровы со дня на день ждали вести о Шаниной смерти. Они были страшно поражены, когда Евгений написал им, что Шаня здорова и что они возвращаются в Россию вместе.

Аполлинарий Григорьевич один не растерялся. Он продолжал утешать Варвару Кирилловну. Говорил ей уверенно:

— Да вы не волнуйтесь. По всему видно, что Евгений ее бросит. Правда, затянулось это у них, — но тем вернее можно сказать, что Евгений в конце концов ее бросит. Уж если до сих пор он с нею не повенчался, то очевидно, что и потом этого не сделает. А пока пусть она живет с ним.

Варвара Кирилловна, пожимая плечами, подымая глаза к небу, спрашивала с ужасом:

— Как можно этого желать!

— И очень следует, — говорил Аполлинарий Григорьевич. — Первое дело, — она ему окончательно надоест.

— И окончательно замучит, — возражала Варвара Кирилловна. — У них постоянно бывали скандалы невероятные.

Аполлинарий Григорьевич с усмешкою отвечал:

— Ну, кто кого еще замучит! Евгений — совсем не такая смирная овечка. Второе я вам скажу, Шанька и сама, может быть, отвяжется, когда увидит его ненависть. Ведь и он может ей надоесть.

— Это — особа наглая и навязчивая. Она не отстанет, — сказала Варвара Кирилловна. — Она ведь его никуда от себя не отпускает.

Аполлинарий Григорьевич невозмутимо продолжал:

— Третий аргумент вам приведу тот, что время идет да идет, а время лучший врачеватель всяких зол.

— Плохое утешение! — воскликнула Варвара Кирилловна. — Сколько горя и смуты уже внесла она в нашу семью!

— Наконец, — сказал Аполлинарий Григорьевич, — возьмите то, что она ему пока все-таки полезна: белье зачинить и вообще по хозяйству. С нею он все-таки живет в удобной обстановке, питается доброкачественною пищею.

Варвара Кирилловна прикладывала платок к глазам и говорила плаксивым голосом:

— Вы уж очень холодно это разбираете. Поймите, у меня все сердце выболело.

Но все же рассуждения Аполлинария Григорьевича утешали ее.

Глава пятьдесят восьмая

Чем ближе время было к окончанию курса Евгением, тем хуже становились отношения между ним и Шанею. Весь четвертый год их жизни в Петербурге прошел в постоянных, резких ссорах, и уже всем тем, кто их близко знал, становилось ясно, что дело кончится печально.

Однажды Евгений грубо сказал Шане:

— Ты — мещанка. Ты не о любви думаешь, а только о том, чтобы повенчаться со мною, стать дворянкою. Одной моей любви тебе мало.

Шаня грустно говорила Евгению:

— Твоя любовь не дала мне ничего, кроме горя и позора.

Евгений отвечал мрачно:

— Ну а твоя что мне дала?

— Да? Тоже ничего? — горько спрашивала Шаня.

— Да что же? Скажи! — презрительно и злобно говорил Евгений.

Шаня вздохнула, промолвила тихо:

— Ах, Женя, Женя!

Заплакала. Евгений грубо крикнул:

— Ну, надоела эта слезливость! Нельзя ли без слез?

— Без слез? — спросила Шаня, стараясь удержать свои слезы. — Ну что же, можно и без слез.

Она почувствовала, как ее сердце упало в темную мглу безнадежности, и слезы вдруг высохли. Побледнела очень и смотрела на Евгения жутко и неподвижно.

Евгений ежился под ее взорами, бегал по комнате и грубо кричал:

— Пожалуйста, без трагедии! Эти мещанские трагедии никому не интересны.

Шаня грустно улыбнулась. Говорила:

— Какая трагедия! С бедною Шанькой! Только вот что я тебе скажу: ведь я не отняла у тебя так много, как ты у меня отнял. Если ты меня бросишь, кто возьмет меня женою?

В этих Шаниных словах Евгению почудился намек на то, что Шаня теперь готова была бы выйти замуж и за другого. Он обрадовался и живо сказал:

— Ну, женихи найдутся. Было бы корыто, а черти будут.

— Женихи! И это ты мне говоришь! — горестно сказала Шаня.

— Ну, ну, пожалуйста, без ломанья и без сцен! — с тою же грубостью говорил Евгений. — В тебя все влюбляются, и ты всем делаешь глазки. Думаю, что тебе нетрудно будет сделать выбор.

— И как я отдамся кому-нибудь? — сказала Шаня. — Подумай, на что ты меня толкаешь. Переходить из рук в руки... Но во мне сохранились честь и честность. Понимаешь ли ты это?

Евгений махнул рукою, цинично засмеялся и сказал:

— Знаю я людскую честность! До первого случая. А уж ваша женская честь... Мне же отдалась.

— Евгений, не кощунствуй, — сказала Шаня.

Она строго посмотрела на Евгения. Ему стало страшно и жутко, и он поторопился уйти из дому.

В начале зимы приехала в Петербург Варвара Кирилловна. Она сочла своевременным решительно повлиять на Евгения. Близко уже было окончание курса, и надобно было вытеснить Шаню. Катя становилась нетерпелива. Варвара Кирилловна рассудила, что надобно увезти Евгения на Святки или и раньше домой и добиться, чтобы он сделал формальное предложение Кате.

Варвара Кирилловна поселилась в их квартире. Шане пришлось потесниться и перебраться в тесную комнату окнами во двор. С Шанею Варвара Кирилловна была очень холодна, почти груба. Разговаривала с нею не как с хозяйкою дома, а как с наемною экономкою.

Варвара Кирилловна несколько раз уединялась с Евгением в его кабинете и уговаривала Евгения бросить Шаню и ехать домой. Горничная Катя подслушала один из таких разговоров и передала его Шане. Шаня не могла устоять против искушения выслушать Катин пересказ и только потом притворилась недовольною и сказала наставительно:

— Я вас об этом не спрашиваю, Катя, и вы напрасно подслушиваете. Это очень нехорошо. Занимайтесь своим делом, а чужими не интересуйтесь.

Катя усмехнулась хитро и сказала:

— Да ведь вас жалея, барышня. Вы к ним всей душой, а они к вам всей спиной. Жалко вас, барышня, — вы такая добрая ко всем и жалостливая, а с вами так хотят поступить.

Когда Евгений ушел куда-то из дому, Варвара Кирилловна позвала к себе Шаню и строго сказала ей:

— Александра, мне просто больно смотреть на Женечку. Что ты сделала с ним? У него очень нехороший вид.

Шаня посмотрела на нее мрачными глазами и упрямо сказала:

— У Жени очень хороший вид.

— Что это значит, Александра? — с удвоенною строгостью спросила Варвара Кирилловна. — Ты, кажется, собираешься грубить мне. Ну, не советую.

— Извините, — сказала Шаня, — я — здесь хозяйка, из моих гостей никто не жаловался на мою грубость. И вам грубить я не собираюсь. А только я вам вот что скажу: вы хотите, чтобы Евгений уехал с вами домой. Но это от меня зависит. Если я захочу, то Женя не домой поедет, а выйдет из института, и мы с ним поедем за границу.

Варвара Кирилловна говорила Шане:

— Пойми, Александра, что он будет несчастлив с тобою. Пойми же наконец, что ты ему не пара! Какое ты можешь дать ему счастье, подумай сама!

— Что говорить о счастье! — возражала Шаня. — Я жить без Евгения не могу, как не могу жить без воздуха.

Варвара Кирилловна смотрела на нее злыми глазами и говорила:

— Постыдилась бы! Ты погубишь всю его карьеру.

— Что вы мне говорите об его карьере, об его счастье! — воскликнула Шаня. — Кому нужно счастье! Все это сладкая ненужность. Я жить без него не могу, а вы говорите о счастье да о карьере!

— Да пойми же, что перед ним вся жизнь, и ты ее хочешь загубить! — кричала Варвара Кирилловна.

— Да и передо мною жизнь! — отвечала Шаня. — Только вся моя жизнь в нем! Легионы ангелов не оторвут меня от Евгения.

Варвара Кирилловна долго уговаривала Евгения теперь же оставить Шаню. Наконец Евгений однажды вечером вошел в Шанину комнату и прямо, с решительным видом, словно бросаясь в холодную воду, сказал ей:

— Шаня, я не могу на тебе жениться. Нам надо расстаться. Я не могу из-за тебя ссориться с матерью и портить карьеру.

Шаня сначала страшно испугалась. Прижимаясь в угол своего диванчика, смотрела на Евгения потерявшими весь блеск глазами и тихо говорила:

— Да что ты, Женечка! Не пугай меня, милый.

Потом бешеная злость бессилия охватила Шаню. Она чувствовала растерянность и недоумение. Жестокие слова разрыва жгли ее.

— Ты разбил мое сердце и мою честь в мелкие дребезги, — сказала она.

Евгений сказал насмешливо:

— Вот как! Должно быть, уж очень хрупкие были вещицы.

— Нет, — отчаянно закричала Шаня, — ты от меня не уйдешь! Я тебя убью. Каторга для меня ничуть не страшна! Лучше быть на вечном страдании.

Евгений позеленел от страха и от злости. Глаза его сузились и засверкали. Он сказал дрожащим голосом:

— Хорошо, я женюсь на тебе, но помни, помни, я всю жизнь тебе отравлю, я замучу тебя.

— Хоть убей. Сама не уйду, — громко рыдая, говорила Шаня.

В это время Манугина приехала в Петербург. Ее друзья хлопотали о том, чтобы поместить ее на казенную сцену. Ее известность в провинции была в это время уже очень велика, а казенный театр ведь для того и содержится на государственный счет, чтобы давать возможность отечественным талантам, актерам и писателям одинаково, развертывать широко свои силы. К тому же в это время образцовая сцена как раз испытывала недостаток в первоклассной молодой актрисе на сильно-драматические роли. Казалось, что Манугина имеет все шансы занять подобающее ей место в этом театре. Но у нее были с кем-то здесь старые неприятные отношения, и это почему-то очень тормозило дело.

Манугина несколько раз навестила Шаню. Шаня постоянно писала ей, откровенно и подробно, о своих делах, так что Манугина была хорошо знакома со всем, что делалось с Шанею. Манугина говорила с Шанею, как ласковая мать. Пожалела ее, поплакала с нею, попыталась ее утешить.

— Убью его! — сказала Шаня.

Манугина говорила, лаская Шаню:

— Что ты, Шанечка милая! Разве можно иметь такие мысли! Нельзя отнять у человека жизнь. Нам никто не дал права на это.

Шаня страстно возражала:

— А он отнял же у меня всю мою жизнь! Да и почему нельзя умерщвлять? Жизнь так случайна, и каждому человеку она дается совершенно даром, без всяких его трудов и заслуг.

— Конец жизни может определить только тот, кто дал жизнь, — говорила Манугина. — Жизнь — такая тайна, что еще никто не разрешал ее. Зачем она дана? Как должна протечь? Это такие вопросы, что нет страдания, нет мук, дающих право человеку прервать эту тайну.

Шаня покачала головою.

— Не верю, не верю, — сказала она. — Верила, молилась, все жертвы принесла, как язычница, серьги, кольца и запястья положила я на алтарь моего бога и сама легла под нож милого жреца, — кровь лила, как слезы, и слезы, как воду, — а теперь не верю и ничего не жду. Ах, в каторге лучше, в унижении подневольном. Уж там не скажут мне люди, как здесь: «Дура, зачем терпишь?» Скажут: «Кого любила, того и убила. Обманул, да насмеяться не успел. Она хоть на каторге, да живет, а ее злодей в могиле гниет». И порой пожалеют.

— В таком же положении, как ты, Шаня, находятся тысячи женщин, — сказала Манугина, — и что же? многие примиряются, живут.

— Живут! Но как? Что это за жизнь!

— Плохо живут, что говорить! Иные утешаются, иные тоскуют, иные развратничают, иные убивают себя. Много загубленных жизней. Терпи, Шанечка, как другие терпят.

— Терпела. Больше не могу.

— Надейся, Шанечка, — говорила Манугина. — Верь. Еще вся жизнь перед тобою.

— Жить с разбитым сердцем!

— Попытайся, сделай усилие над собою. Собери все свое мужество. Раны живого тела заживают. Пока жив человек, никогда еще надежда не потеряна.

— Поймите, что я живу только им. Без него я — мертвый человек. Я всю себя в него вложила.

Манугина сказала с удивлением:

— Да ведь он ничтожество перед тобою! Почему же ты за него так держишься, за этого ничтожного человека?

Шаня помолчала. Сказала тихо:

— Знаю. Давно уже я его поняла. Хмаровское отродье, а яблоко недалеко от яблони падает. Знаю, а все-таки люблю и не могу без него. Да ведь и Бог не может жить без человека.

Манугина покачала головою и сказала:

— Стоит горевать о таком ничтожестве! Тебе, Шанечка, следовало оставить его гораздо раньше.

— Когда же раньше? При Аракчееве, что ли? — спросила Шаня.

Манугина с удивлением посмотрела на Шаню. Сказала:

— Тебя тогда и на свете не было.

Шаня засмеялась горько. Сказала:

— Во все времена была бедная, глупая Шанька, влюбленная в героя, венчающая его славою. А герой Шанькин всегда был маленький и ничтожный, — глупая, глупая Шанька!

— Вот, ты уже это видишь!

— Да ведь он все еще меня любит. Он только слабый, его соблазняют деньги, связи, карьера, — но ведь есть же в нем душа. В решительную минуту вспыхнет в нем искра Божья.

— Как же, надейся!

— Да, я до последней минуты буду надеяться. Я умру, если умрет моя надежда.

— Смотри на это как на ошибку и брось его, — решительно сказала Манугина.

— Да что же у меня останется после такой ошибки? — спросила Шаня.

— Ты сама, ты, человек, венец создания, сокровище великих достижений и мост к будущему, еще более великому.

— Но что же мне с собою делать? Куда деться? Замуж идти? Да разве я могу полюбить кого-нибудь?

— Займись каким-нибудь делом.

— Делом? Каким? Кормить голодных? Вот Каракова пробовала, — в участок потащили. И для всякого дела нужны силы, энергия, здоровые нервы, — а я всю себя вложила в него, и у меня ничего не осталось. Только изнеможение, печаль, отвращение.

Шаня упала перед Манугиною на колени и говорила, рыдая и ломая руки:

— Верите ли, душу он мою истерзал.

Глава пятьдесят девятая

Всю ночь ругались, все трое, бешено, злобно, крикливо.

Швейцар Федот тревожно прислушивался к шуму, раздававшемуся на всю лестницу из Шаниной квартиры. Жильцы соседних квартир просыпались от этого шума, — стучали им в пол, в потолок. Тогда на короткое время шум стихал. Потом опять разгорался. Была квартира подобна замкнутой норе, где грызутся дикие звери. Долго слышались звуки возни, крики, визги. Что-то тяжелое волочилось по полу. Раздавался стук мебелью, хлопанье дверьми.

Швейцар не спал и прислушивался. Его дети плакали. Жена ворчала. Горничная из квартиры под Шаниною несколько раз приходила к швейцару:

— Уйми ты этих оглашенных, барыня сердится, спать не дают. Хоть бы днем грызлись, а то и ночью покою не дают.

Приходили и другие. Федот советовался с женою:

— Пойти разве до греха?

Жена упрашивала:

— Сходи, Федотушка.

Федот пошел было, но, вспомнив повелительные манеры Варвары Кирилловны и ее разговоры о знакомстве с разными важными лицами, нерешительно потоптался у дверей и спустился обратно, бормоча:

— Наше ли дело? Еще влетит.

Стало на короткое время потише. Но под утро опять послышались отчаянные вопли: Евгений и Варвара Кирилловна вдвоем напали на Шаню и принялись ее колотить, а Шаня кое-как отбивалась и отчаянно кричала.

Тогда собрались у дверей Шаниной квартиры швейцар, его жена, дворники, прислуга от соседей. Долго звонились в квартиру. Горничная Катя, смущенная и заплаканная, наконец открыла дверь. Шумная толпа ввалилась в гостиную, где в это время опять вспыхнула затихшая было при звонке драка.

Шаня визжала и барахталась на полу, растрепанная, избитая, полуодетая, босая. Лицо у нее было в синяках, в крови. Шаня защищалась от Евгения. Он стоял над нею, выкрикивал бранные слова и размахивал линейкою. Он был в испачканном студенческом сюртуке; все пуговицы были оторваны во время возни. Варвара Кирилловна держала Шаню за руки и свирепо кричала:

— Молчать, хамка! Молчать!

Увидевши вошедших чужих людей, Евгений, побледневший, запыхавшийся, закричал странно-визгливо:

— Полицию, полицию позовите!

Шаня быстро вскочила с пола и убежала к себе, — одеться и привести себя в порядок. Вслед за нею ушла к себе Варвара Кирилловна, растрепанная и красная.

Евгений показывал всем свои исцарапанные руки и говорил взволнованно:

— Вот, вот, посмотрите! Это — фурия. Она с ножом на нас бросалась, она чуть нас не зарезала.

Среди пришедших слышался неопределенный ропот. Пожилая женщина с суровым лицом, стоя в дверях, говорила негромко:

— Хорошая барышня, простая, добрая. Видно, кровно ее обидели. Зайца мучь, и тот укусит.

Молодой любопытный чиновник осторожно ходил по квартире. Его бледное золотушное лицо заглядывало то в одну дверь, то в другую.

Шаня меж тем наскоро надела первое попавшееся под руку платье и вышла. Она сказала швейцару:

— Послушайте, Федот, зачем вы привели сюда всех этих людей?

Евгений повернулся к Шане и закричал визгливым, плачущим голосом:

— Вон! Сейчас же убирайся вон!

Обращаясь к швейцару, он неистово кричал:

— Ведите ее вон, сейчас же!

Шаня засмеялась.

— Квартира моя, она только записана на имя Евгения Хмарова, да и то недавно.

Евгений бешено кричал:

— Нет, это моя квартира!

— Да ведь я за нее плачу, — отвечала Шаня.

Она уже была как-то странно спокойна.

— Никто тебя не просит! — кричал Евгений.

Он настойчиво требовал:

— Позовите полицию, — пусть ее выселят из моей квартиры.

— Полиция не может, — сказал швейцар, — надо к мировому.

— Нет, я к градоначальнику пойду, — закричал Евгений. — У меня есть связи, знакомства, я не первый встречный, я — Хмаров, тебя из Петербурга вышлют.

— Хорошо, я уйду, — говорила Шаня, — но возвратите мне мои вещи.

— Какие вещи? — кричал Евгений.

— Да здесь почти все вещи — мои, — сказала Шаня.

Вдруг распахнулась дверь и величественно вошла Варвара Кирилловна. Она сказала:

— Евгений, поедем к градоначальнику. А эти люди пусть уйдут. Швейцар, пусть эти люди уйдут. Катя, проводи.

Евгений пошел переодеваться. Квартира мало-помалу опустела. Скоро Евгений и Варвара Кирилловна куда-то уехали. Шаня ушла к себе, легла на диван и заснула. Спала до тех пор, пока не вошла к ней Катя.

— Барышня, — тихо сказала Катя, — барыня и барин вернулись, и с ними полицейский какой-то. Просят вас выйти.

Шаня молча поднялась, пригладила волосы, надела черные туфли на невысоких каблуках, поглядела на себя в зеркало, подпудрила свои

синяки и пошла в гостиную. Лицо ее было сумрачно и как-то странно равнодушно. Ее знобило, она взяла черный вязаный платок и накинула его на плечи.

В гостиной сидел полицейский пристав. Шаня молча кивнула ему головою, села у окна, спиною к свету, и закуталась в платок.

— Извините, сударыня, — сказал пристав Шане, — вот господин Хмаров желает, чтобы вы оставили их квартиру.

Шаня спокойно отвечала:

— За квартиру я все время платила. Сначала она была на мое имя снята, потом уж второй контракт на его имя сделали.

— Никто ее не просит платить, — дрожащим голосом сказал Евгений.

— Мы сами будем платить, — важно сказала Варвара Кирилловна.

— Да хорошо, что спорить, — тихо говорила Шаня. — Вот найду другую квартиру и перееду. Только здесь многие вещи мои.

— Вам угодно указать ваши вещи? — спросил пристав. — Мы можем составить опись ваших вещей и выделить их.

Начали делить обстановку и все имущество. Из-за каждой вещи поднимались бесконечные споры. Варвара Кирилловна мелочно и скупо отстаивала каждую вещь, уверяя, что она куплена на деньги Евгения. Шаня чаще уступала и только спорила яростно из-за вещей, дорогих ей по воспоминанию.

Когда опись была составлена, позвали дворника и все Шанины вещи сложили в кухне. Варвара Кирилловна потребовала, чтобы Шаня ходила по черному ходу. Парадный ход оставлен был Хмаровым.

Пристав собрался уже уходить. Варвара Кирилловна остановила его и сказала:

— У нее визитные карточки с фамилиею моего сына. Она выдает себя за его жену. Потрудитесь отобрать.

Пристав посмотрел на Шаню строго и спросил:

— Где же они? Потрудитесь показать.

— Хорошо, сейчас я принесу, — спокойно сказала Шаня.

Она пошла в свою комнату. Варвара Кирилловна двинулась за нею. Шаня оглянулась на нее и холодно сказала:

— Ведь я вам сказала, что сейчас вынесу.

Варвара Кирилловна остановилась. Шаня вошла к себе. Вынула из письменного стола пачку заказанных в Крутогорске карточек и из них штуки две сунула себе за ворот. Варвара Кирилловна меж тем подкралась к ее дверям и подсматривала.

Шаня вернулась в гостиную и молча подала карточки приставу. Вслед за нею вошла таившаяся в коридоре Варвара Кирилловна и закричала:

— Она сунула себе за лиф несколько карточек. Отберите, пожалуйста, и эти.

Шаня опасливо запахнула на груди платок. Пристав глянул на ее бледное, испуганное лицо. Ему стало жаль Шаню. Он сказал:

— Вам показалось, сударыня.

Варвара Кирилловна закричала на Шаню:

— Отдай, Александра! Сейчас же отдай! Я тебе приказываю отдать! Я тебе запрещаю оставлять у себя имя моего сына!

Шаня молча стояла, прижавшись к косяку двери, придерживая обеими руками платок. В свете недавно зажженных ламп странно и жалко синели и желтели на ее лице пятна, следы недавних побоев. Варвара Кирилловна, выкрикивая бранные слова, бросилась на Шаню отнимать карточки. Схватила Шаню за ворот.

Пристав остановил ее.

— Сударыня, так нельзя. Они отдали карточки, больше у них ничего не осталось. Раз что они отдали добровольно, у нас нет основания не верить их заявлению.

Дня за два до этого скандала был срок месячного платежа за квартиру. Поэтому утром, когда все еще были дома, пришел старший дворник. Как всегда, Катя сказала Шане:

— Старший дворник с контрактом пришел, спрашивает, можно ли получить.

Шаня сказала было привычное:

— Пусть войдет.

И уже взялась за ключ ящика в письменном столе, где лежали ее деньги, но вспомнила: «Да ведь меня из этой квартиры гонят».

И сказала Шаня:

— Катя, скажите барину. Пусть они платят.

Катя отправилась в столовую. Там сидели Евгений и Варвара Кирилловна и чинно совершали обряд своего первого завтрака. Варвара Кирилловна пила кофе со сливками и ела нарезанный тонкими ломтиками и поджаренный с тертым сыром белый хлеб. Евгений пил чай и ел с сепиком мед, — привык к нему в Швейцарии. Катя сказала:

— Барин, старший дворник пришел. За квартиру требует.

Евгений визгливо закричал:

— Что ты ко мне лезешь! Ведь ты знаешь, что она за квартиру платит!

— Барышня к вам послали, — говорила Катя.

— Какая нахалка! — воскликнула Варвара Кирилловна.

— Вот еще! — пожимая плечьми, говорил Евгений. — Она ведь нанимала эту берлогу, пусть она и платит. У меня сейчас нет денег. Пусть она платит, — ведь она здесь жила.

— Конечно, — поддакивала Варвара Кирилловна, — раз что она здесь жила, то, понятно, что она обязана и платить.

Катя, ухмыляясь, вышла из комнаты. Отправилась к Шане.

— Барышня, барин говорит о квартире, чтобы вы за нее платили, а они не хотят, и у них сейчас денег нет.

Шаня захохотала. Закричала:

— Ах, я, я плачу. Да, я плачу. Я за все плачу. Если им есть нечего, — я плачу. За все я плачу.

Крик ее перешел в истерический вопль. В столовой услышали его. Переглядывались, пожимали плечами и говорили:

— Опять скандалит!

— Хамка!

Евгений сказал злобно:

— Если она не замолчит, я пойду и заткну ей глотку.

Катя побежала за водою. Шаня посмотрела на рыжебородого дворника, который ухмылялся на пороге, и сделала над собою усилие, чтобы удержаться от крика и от слез. Она вынула из ящика сумочку и достала из нее свой кошелек.

Дворник сказал дипломатично:

— Мы бы разве сами пошли! А все дело потому, что управляющий требует, так как нам никак тоже невозможно. Вишь ты ведь дело-то какое! Вы, барышня, плюньте, ну его, — лучше найдете. Что в нем хорошего? Одно слово — шантрапа!

Шаня истерически хохотала, повторяя:

— Шантрапа!

Дворник, ухмыляясь, говорил:

— Известно, шантрапа. Да и что вам, барышня, в нем? Вишь он лядащий да неладный какой!

Шаня хохотала неудержимо. Из глаз ее полились слезы. Она отвернулась к окну.

Дворник говорил, ухмыляясь:

— Так-то лучше, барышня. Лучше смеяться, чем плакать.

Катя в это время вошла со стаканом воды. Она сердито сказала дворнику:

— А ты бы лучше помолчал.

Дворник сообразил, что барышня не в себе. Он смущенно сказал:

— Да я что ж...

— Барышню зря расстраиваешь, — говорила Катя. — Знай свое дело, таскай дрова, а здесь тебя не спрашивают.

Она принялась поить Шаню водою, с неловкою ласковостью поглаживая ее по спине.

Глава шестидесятая

Варвара Кирилловна скоро уехала в Крутогорск, Здешняя сырая зима вредна ее здоровью. И она не может дышать одним воздухом с этою авантюристкою, на которую нет управы. Притом же Варвара Кирилловна была уверена, что уж теперь Евгений бросит Шаню.

Но едва она уехала, как Евгения опять потянуло к Шане. По капризу истощенной чувственности, воспоминание о побоях, которыми в ту

ночь он и его мать осыпали Шаню, чрезвычайно волновало его и вызывало ряды эротических мечтаний. Да и денег у него в эти дни было мало, и несколько раз приходилось отказываться от ресторанных привычных удовольствий. Недавние бурные скандалы расшевелили его скучающую вялость, и потому теперь опять бодрые, легкомысленные настроения владели Евгением.

«Не к проституткам же мне идти», — думал он.

И вот однажды поздно вечером, когда Шаня уже лежала в постели, Евгений постучался в ее дверь, напевая двусмысленную шансонетку.

На другой день Шаня опять поселилась в своих прежних комнатах. Несколько дней, — до первой ссоры, — прошли мирно и любовно.

На Святки Шаня и Евгений вместе уехали в Крутогорск. Евгений к матери, Шаня — к дяде Жглову.

В это время Евгений подвергся окончательной и успешной обработке со стороны своих родных. И мать, и Аполлинарий Григорьевич, и Софья Яковлевна твердили Евгению:

— Подумай, Женечка, если ты женишься на этой ужасной Шаньке, какая это будет семейная жизнь! Ужас, ужас!

— Дети у вас будут самые несчастные!

— Еще бы, можно представить! Как она станет их воспитывать!

— Они унаследуют ее ужасные манеры, ее невозможный характер.

— Твоя жизнь будет совершенно отравлена.

Евгений, досадливо отмахиваясь рукою, сказал:

— Ах, мама, все это я сам теперь очень хорошо вижу.

— Что ж тебя держит? — спрашивала его Варвара Кирилловна.

— Но неужели вы до сих пор не знаете, что это за женщина? — с ужасом говорил Евгений. — Она способна убить, зарезать, отравить.

— Поэтому и надо от нее отделаться, — решила Софья Яковлевна. — И как можно скорее.

— И, наконец, мне ее жаль, — говорил Евгений, рисуясь своими благородными чувствами. — Я ее не люблю, но все-таки она оказала

мне кое-какие услуги. И она мне ничего не стоит. Это что-нибудь да значит. А жениться теперь на Кате все же неудобно, — надо подождать до конца курса.

— Да, это условие Рябовых, — сказала Варвара Кирилловна.

— А ведь не могу же я жить монахом!

Для этих людей эти гнусные слова были неопровержимым аргументом.

Евгений в Крутогорске очень усердно ухаживал за Катею Рябовою. Катя была от этого на седьмом небе.

Приятелям своим здешним Евгений говорил:

— Шанька губит мою жизнь. Она — роковая женщина. Я ее любил безумно. Но она невозможна как жена. Не знаю, как от нее отделаться. Она способна убить. Я не боюсь смерти, но жить под постоянною угрозою невыносимо.

И он принимался перечислять Шанины пороки, видимо, с большим удовольствием: ревнует, сама изменяет, психопатка, несколько раз хотела его убить, делала на него политические доносы, неприлично себя ведет. Евгений уверял, что Шаня невоспитана, необразована, глупа.

— Что же вас привязывает к ней? — спрашивали его.

Он делал значительное лицо и говорил:

— Роковое сцепление обстоятельств.

О своих чувствах он рассказывал плоским жаргоном бульварных романов.

Шаня в Крутогорске жила у дяди Жглова. Ее мать тоже приехала в Крутогорск.

Дяде Жглову и Юлии, — которая уже была замужем за своим провизором, — Шаня говорила, что скоро ее свадьба. Но вяло и скучно говорила она это, сама ничему не веря.

А с матерью останется одна, — и жалуется матери на свою судьбу. Тихонько говорит, как причитает. Плачет.

Марья Николаевна говорила ей:

— Такая уж наша судьба. Вот и меня отец твой бросил, — а было времечко, на руках носил.

— Ну, что тужить! — скажет Шаня притворно-бодро. — Еще попируем.

Но больно сердце гложет тоска о том, что вся жизнерадостность ее погублена. И на лице Шанином — смертная бледность, и в глазах — задумчивость. А Шанино бледное лицо прекрасно, — ужасная и восхитительная красота!

Хмаровы, по совету Аполлинария Григорьевича, нашли для Шани жениха. Это был пошлый красавец, мелкий чиновничек из мещанской здешней семьи, Василий Егорович Огаркин. У его матери был маленький дом на той улице, где Шаня жила, когда ушла от дяди. И еще в тот год Огаркины познакомились с Шанею. И еще тогда молодой Василий Огаркин заглядывался на Шаню и старался, как умел, оказывать ей добрососедские услуги.

Теперь Василий Огаркин легко согласился быть женихом Шани, хотя и поторговался с Аполлинарием Григорьевичем, почтительно, однако твердо. Нагольский обещал Огаркину протекцию и выгодное место, если он женится на Шане. И Аполлинарий Григорьевич уверял Огаркина:

— Шаня влюблена в вас. Только скромничает. Да и стыдится. Другого раньше любила. А вы ее простите. Только уж вы меня не выдавайте.

Самодовольно ломаясь, Огаркин говорил:

— Что же, простить, — это мы с полным нашим удовольствием. Я тоже могу понимать. Особенно ежели будет соответственно дано.

— Приданое будет, как условлено, не беспокойтесь, — сказал Аполлинарий Григорьевич.

— Я Александру Степановну давно знаю, — говорил Огаркин, — и очень даже люблю. Я готов к сумасшедшим услугам, но у меня также есть своя честь, и, кроме того, получая маленькое жалованье, вы сами понимаете.

Огаркин и мать сидели в кухне у обеденного стола и разговаривали полушепотом.

— Протекция, это раз, — говорила Огаркина. — Второе — деньги. Опять же красавица. И бывалая, — принять гостей и все такое. Так дом поставит, что нам все завидовать будут.

— Одна только неприятность, что невеста с изъянцем, — сказал Огаркин.

— А ты, Васенька, на это не смотри, — отвечала мать. — Оттого она еще покорнее станет. Как только она нос поднимет, так ты ей и напомни, — я, мол, твой грех венцом покрыл, так ты это помни. Такую, скажи, не всякий тоже возьмет, так ты, скажи, мужа почитать должна.

— Конечно, — говорил Огаркин, — мне надо же наконец жениться, ну да здесь большую роль также и физия играет.

— Да уж парочка вас будет, что и говорить! — сказала мать.

— Только еще и то мне, маменька, не нравится, что ее Шанею кличут, — сказал Огаркин. — Как-то по-мужицки, на грубый фасон.

— А ты, Васенька, — говорила ему мать, — зови ее по-благородному, Сашет или Александрин.

— Нет, — спорил Огаркин, — Александрин — очень длинно, а Сашет — точно мужчина. Лучше я буду ее звать Шурочка или Шуреночка.

— Для домашнего обихода это хорошо, — согласилась Огаркина, — а при людях, если не хочешь Сашет, говори ей Сашенька.

И вот Огаркин начал ухаживать за Шанею. Он приходил в дом Жглова каждый день. Жглов смотрел на него сурово и спрашивал Шаню:

— Чего это к тебе эта корявая облизуля повадилась шлендать?

— Не знаю, дядя, — говорила Шаня. — Я его давно знаю, еще когда на Сусальной жила. Он тогда совсем был мальчишка, меня в лес провожал, услужливый был паренек.

— По лицу дурак, — решил Жглов.

— Да, незамысловатый, — согласилась Шаня.

Огаркину надобно было торопиться, чтобы успеть очаровать своими прелестями Шаню, пока еще она не собралась ехать в Петербург за Евгением.

Пока Шаня еще не знала о замыслах Огаркина, он ей был забавен и развлекал ее своими разговорами и воспоминаниями о милых для Шани днях. Шаня была с Огаркиным слегка ласкова, слегка насмешлива.

Огаркин все более влюблялся в Шаню и становился храбрее. Любезности его становились навязчивыми. И тогда он стал ей противен. Шаня довольно жестоко издевалась над Огаркиным, высмеивала его ухаживания, его слова и мнения.

Однажды вечером мать Огаркина пришла к Шане. Болтовня глупой старухи утомляла Шаню, и Шаня слушала ее довольно невнимательно. Не хотелось Шане долго сидеть с этою неприятною женщиною. Но Огаркина напрашивалась на угощение. Пришлось накормить ее ужином.

Выпив стаканчика два красного вина, старуха раскраснелась, расхрабрилась и принялась сватать Шане своего сына. Говорила с Шанею ласково, нагло и противно. Шаня послушала ее и вдруг принялась хохотать.

— Что же это вы так развеселились, Александра Степановна? — сердито спросила Огаркина.

— Вы меня извините, — сказала Шаня, — я думала, вы шутите. Мы с вашим сыном и знакомы-то мало, и у меня с ним ничего общего нет, никаких интересов общих.

— Что же это, вы, значит, отказываетесь? — с удивлением спрашивала Огаркина. — Тогда и приваживать молодого человека нечего было.

— Бог с вами, что вы говорите! — возразила Шаня. — Кто же его приваживал?

Огаркина, язвительно поджимая губы, говорила:

— Вам бы, милая, ценить надо. Ведь мой сын все венцом прикрыть соглашается и напоминать не стал бы, — мы — люди благородные.

Шаня пылко ответила:

— Нечего мне прикрывать. Пусть все знают, какова я. Я сама себя не ниже других ставлю.

— Вот уже это вы напрасно, — сердито сказала Огаркина, злобно засмеялась и ушла.

Вернувшись домой, злая старуха подняла шум, затеяла ссору. То бранила Шаню грубыми словами, то пилила сына, зачем не сумел. Василий сидел мрачный и молчал. Потом взял шапку, молча оделся и вышел. Всю ночь пьянствовал с приятелями, на другой день спал у одного из своих друзей, а к вечеру, бледный и злой, взял нож, сунул его за голенище и пошел к Шане.

Только что кончили обедать. Дядя Жглов ушел по делам, мать прилегла отдохнуть, Шаня стояла в гостиной у окна и смотрела на улицу, — и в это время вошел Огаркин. Шаня посмотрела на него с удивлением. Он тихо говорил:

— Простите, Александра Степановна, что я к вам осмелился заявиться, но так как окончательно нет моих сил. Неужели вы пренебрегаете моею любовью?

Шаня молчала. Огаркин подошел поближе. От него пахло водкою. Он полез за голенище, доставать нож. Шептал:

— Зарежу! Никому не доставайся.

Выхватил нож, взмахнул им, — да взглянул на Шанино лицо, — и рука опустилась бессильная. Радостно и светло было Шанино лицо. Шаня сказала тихо, голосом звучным в вечерней тишине:

— Ну что ж, зарежь, обрадуешь. Сама бы зарезалась, да греха боюсь.

Огаркин зарыдал, зашатался и, не подбирая выпавшего из рук ножа, пошел из комнаты. На пороге он остановился, поклонился Шане очень низко и с большим чувством сказал:

— Прощай, Сашет моей души! Шуреночка моего сердца, прощай!

И эту ночь он пьянствовал свирепо, а утром вернулся домой, принялся буянить и колотить посуду, оттрепал братишек и сестренок и надавал колотушек матери. Мать при помощи младших сыновей скрутила Василия веревками. Его бросили в чулан, а когда он протрезвился, мать долго пилила его, злобно и крикливо. Сначала он молчал, потом начал ругаться. Тогда его опять скрутили, повалили на пол, и мать принялась пороть его. Он ревел, мать ругалась, братья и сестры вторили ей.

А на другой день Огаркина и Василий опять мирно сидели в кухне и беседовали полушепотом. Василий говорил:

— Счастье в руки ей плыло. А теперь хоть сама приди ко мне, так я и смотреть на нее не стану.

— Ты, Васенька, о ней не тужи, — говорила ему мать, — ты — человек молодой, красивый, ты себе невесту найдешь честную. Я так полагаю, что надо тебе приволокнуться за Дашенькою Поскочиной.

— У нее, маменька, глаза скорострельные, — говорил Василий, — и язычок больно боек.

— Да ведь не бесприданница, — говорила мать, — и изъянцев нет.

Глава шестьдесят первая

Вернувшись из Крутогорска в Петербург, Евгений объявил Шане, что будет жить отдельно. Он говорил:

— Мне надо усиленно заниматься к экзаменам. Ты мне мешаешь. Мне совершенно необходимо в этом году окончить курс, и потому я должен жить один.

Шаня покорно и тупо подчинилась. Что ж, ведь теперь уже недолго ждать, — весна придет, Евгений кончит свое учение и тогда все решится.

Квартиру сдали, обстановку продали. Евгений поселился опять у какой-то старой немки, снял у нее две с пошлым шиком обставленные комнаты, которые очень ему понравились. А Шаня переехала в меблированный дом «Альгамбра», большой, мрачный, неуютный, на одной из шумных улиц. Взяла небольшую комнату в пятом этаже. Первый раз в жизни жила так высоко, и с непривычки было жутко, — а вдруг пожар.

Шаня жила здесь скромно, редко куда выходила, разве только к Евгению или с Евгением. Но ее строгая, почти суровая красота и ее всегда изысканно-простые, дорогие одежды привлекали к ней любопытные взоры. Целый десяток праздных молодых и пожилых постояльцев «Альгамбры» пытался за нею ухаживать. Безуспешно.

Принялся было ухаживать за Шанею и управляющий в «Альгамбре», галантный, пронырливый, противно-чистый, Ксаверий Лукич Едличка, выходец из Чехии. В качестве выходца из Европы он считал себя выше любого русского и потому думал, что его ухаживание должно необычайно льстить. Но все его любезности Шаня едва замечала.

Едличка пользовался всяким случаем, чтобы зайти к Шане. Так как он способен был без конца слушать Шанины рассказы о Евгении, то Шаня охотно принимала его. Посадит, велит подать чаю и фруктов, а сама ходит по комнате, тихо шелестя складками светлой туники, и говорит, говорит. Скоро Едличка знал всю Шанину жизнь, всю историю ее любви.

Он сидел, слушал, усердно соображал что-то, пощипывал реденькую бородку цвета светлой пакли, покачивал головою и смотрел на Шаню влюбленными глазами. Чем он больше узнавал, тем увереннее становилась его надежда на то, что Шаня оценит его скромность и другие достоинства и увидит, насколько он лучше ее капризного жениха.

Шаня говорила Едличке:

— Скоро наша свадьба с Евгением. Потом подем на Урал. Его назначают на постройку железной дороги.

Хотя Едличка больше слушал, чем говорил, но все-таки ему как-то раз удалось, когда на Шаню напал молчаливый стих, рассказать ей историю своей жизни. Ему казалось, что из этого рассказа она поймет, какой он превосходный, энергичный и честный человек.

Шаня выслушала его внимательно и участливо, но сейчас же и забыла думать о преодоленных Едличкою на жизненном пути трудностях. Его рассказ был для Шани как убаюкивающее журчание ручья: журчит — хорошо, молчит — не потеря. А участливые слова — только привычка с детства.

Пришла вторая на одной неделе денежная повестка на крупную сумму, от Марьи Николаевны. Едличка принес ее, уже засвидетельствованную, к Шане. Спросил:

— Куда это вы, Александра Степановна, так быстро деньги деваете? Живете вы скромно.

— Все жениху, — отвечала Шаня. — Мне самой немного надо.

— Да ему-то уж вы очень много даете, — говорил расчетливый Едличка. — Балуете вы его. Вы бы ему до свадьбы поменьше давали.

— Расходы, — отвечала Шаня. — Нельзя же, надобно. Вчера мы были с ним в «Аквариуме», там оставили много. А на днях он сильно проигрался на бегах. Но ведь он мог бы и выиграть много, не правда ли?

— Надо экономию соблюдать, — говорил Едличка.

Шаня улыбалась, вспоминала, что и Евгений говорил ей о бережливости, и отвечала чеху:

— Это — пустяки. Я прожила с Евгением за несколько лет не один десяток тысяч.

Едличка с ужасом всплескивал руками, качал головою, причмокивал и говорил:

— Ай, ай, ай! Вот-то расточительность! Да над вами бы опеку надо учредить.

Шаня смеялась почти весело и говорила:

— Да и еще проживем не меньше. Надеюсь, что и больше.

Едличка покручивал свои тонкие усики и думал тоскливо: «Вот бы мне все это! Я бы тратил все это с толком».

Он был молод и красив, хотя и пошловатою красивостью завитого парикмахера, у него были сбережения, и знакомые барышни считали его хорошим женихом. Но теперь он на них и смотреть не хотел.

Шаня сидела одна в своей комнате в «Альгамбре». Был скучный полузимний вечер, как может быть скучен только вечер в гостинице, когда остаешься один и знаешь, что никто не придет, и самому идти некуда, и делать нечего.

На дворе была оттепель. За окном слышалось редкое падение по железу тяжелых капель. Слабо доносилось снизу, с мокрой, грязноснежной мостовой, хлюпанье копыт и влажный гул колес.

Шаня только что вернулась домой и теперь сидела перед тихо тлеющим камином, грея озябшие, промокшие ноги. Глаза ее блестели. Где-то очень близко таилась, порою входя в кровь и щекоча кожу, маленькая, юркая лихорадочка, коварно-ласковая. Шаня ходила к Евгению и не застала его. Ревниво думала, — где он? что делает?

Тоска ее томила и горькие мысли. Пойти бы куда-нибудь, — да нет, скучно! Там, где играет веселая музыка, где в бокалах искрится легкое вино, как сядет она и с кем туда придет? Правда, Едличка проводил бы и слушал бы ее длинный рассказ. И не один Едличка. Стоит ей только слово сказать. Да нет, скучно!

Сама не замечая, что говорит вслух, Шаня шептала:

— Нечем жить. Нечем жить. Без него мне нечем жить.

Бледная, тихая, сидела Шанечка, смотрела на образ, перед которым она молилась когда-то, — и не было молитвы, ни на устах, ни в сердце.

Вспомнила Шаня старые слова — и улыбнулась горько. Шептала:

— Господи, я ли Тебя забыла, Ты ли меня забыл?

И не молилась. Обратить свои мысли, как прежде, к солнечно-ясному герою — не было сил.

Порыв отчаяния словно подхватил Шаню, — и она заметалась в комнате, тихонько плача и причитая что-то, как обиженное дитя.

И вдруг, — стук в дверь.

Евгений! Какая радость! До боли в груди.

Вошел, — в бороде и на усах капли внешней влаги, в глазах беспокойная, лживая ласковость. Говорит нежные слова, Шанины руки целует.

Злая мысль остро зажглась в Шанином уме: «Должно быть, ему денег надобно. Пришел просить, потому и ласков».

Шаня достала вино, фрукты, велела подать чай. Она спросила робко, словно не смея спросить:

— Почему же тебя, Женечка, не было дома? Ведь ты сам назначил этот час. Я к тебе пришла сегодня и не застала.

— Когда? — спросил Евгений, притворяясь удивленным.

— Да только с полчаса как вернулась, — отвечала Шаня. — Вот сижу, греюсь.

— Ты спутала, Шанечка, — небрежно лгал Евгений, — я про вчера говорил, а не сегодня. А вчера я тебя весь вечер ждал.

— Отчего же ты не позвонил по телефону? — спросила Шаня. — Я бы к тебе сейчас же прилетела.

— Да вот не догадался, — говорил Евгений. — Да я, признаться, подзубривал кое-что, увлекся, совсем не заметил, как время прошло.

И глаза его были лживы. А правда была в том, что ему не хотелось, чтобы Шаня часто приходила к нему. Не хотелось, чтобы его квартирная хозяйка видела в Шане близкого к нему человека.

Шаня притихла. Так часто в последнее время она становилась очень тиха. Съеживалась, как бездомная кошка, больная, бессильно наблюдающая недоступную добычу. Зорко всматривалась в Евгения.

Ему становилось жутко. Он спросил:

— Что ты так смотришь, Шаня? Разве ты мне не веришь?

— Смотрю, ненаглядный мой, как ты красив, — кротко и грустно сказала Шаня.

У Евгения больно защемило сердце. Он подумал: «Не отправить ли к черту ту слащавую дуру?»

Но скоро опять Шанина нежность и даже самый ее вид зажгли в нем злобу и упорство. Хотелось крикнуть, ударить ее. Но он вспомнил, что пришел за деньгами, и опять стал с Шанею ласков и нежен. Просидел целый вечер и унес полтораста рублей.

Евгений весною кончал свой курс практических наук и уже предвкушал свое будущее торжество, — стать строителем, жениться на богатой Кате Рябовой, за которою дают миллион, иметь много денег, жить красиво и широко. Он думал: «Роман с Шанею затянулся, поднадоел, — пора его кончать».

Вся забота Евгения была теперь направлена к тому, чтобы закончить этот роман по возможности без громкого скандала. Обстоятельства, казалось, ему благоприятствовали.

В мае назначена была поездка на практические занятия в Финляндию. Можно было уехать туда без Шани. Но на эту поездку Евгению нужны были деньги. Не жить же ему там анахоретом! А где взять денег? Опять закладывать процентные бумаги не хотелось, — уж очень невыгодно платить проценты, вместо того, чтобы получать их.

Евгений решился снова просить денег у Шани. Было неловко, но он утешал себя мыслью: «Последний раз у нее беру. Потом свои будут деньги и Катины. А Шане этот долг я отдам из первого же заработка».

Те деньги, которые Шаня тратила на него раньше, Евгений не считал и отдавать их Шане не собирался. Он думал: «Те деньги мы вместе проживали. Она вовлекала меня в расходы, которых я сам и не сделал бы».

Евгений уже несколько дней уговаривал Шаню ехать одной за границу, пока он будет в Финляндии. Шаня пока ничего ему не отвечала на все его подходы, и ему казалось иногда, что она догадывается об его тайных мыслях. Расчет же у него был очень прост: пока Шаня будет купаться где-нибудь на берегах Бретани (там есть очень живописные деревушки!), — он успеет проехать в Крутогорск и обвенчаться с Катею Рябовою. С этою же целью Евгений, в разговорах с Шанею, вдвое увеличивал срок своих практических занятий в Финляндии.

Глава шестьдесят вторая

Однажды в милый майский день, когда Петербург дышит такою очаровательно-нежною, болезненно-хрупкою красотою, Евгений пришел к Шане чем-то очень озабоченный. Уже был назначен на этой неделе отъезд в Финляндию, и потому необходимо было сегодня сделать сразу два дела: уговорить Шаню, чтобы она взяла заграничный паспорт, и занять у нее денег.

Денег Шаня, конечно, даст, как и раньше давала, — но вот как сказать ей прямо, чтобы она уезжала подальше? Евгений боялся

гневной Шаниной вспышки. Долго он делал разные намеки и подходы.

— У тебя что-то есть, Женя, — наконец сказала Шаня, — скажи прямо.

Евгений вспыхнул и, закуривая папиросу дрожащими пальцами, сказал:

— Да, Шанечка, нам надо поговорить с тобою спокойно и серьезно. Ты, пожалуйста, не сердись и не волнуйся, — будем беседовать мирно.

Шаня усмехнулась и сказала тихо:

— Говори. Я спокойна.

Евгений, опасливо поглядывая на нее, говорил:

— Ты сама видишь, Шаня, что наши отношения в последнее время сделались совершенно ненормальными.

— Да, — сказала Шаня, — ненормальны, потому что не освящены. Плоски очень, реалистичны. Мистики в них нет. Что я для тебя? Ни жена, ни невеста. И все мои слова что тебе?

— Погоди, — перебил ее Евгений, — все это будет, об этом мы уж не раз говорили, и ты должна мне верить. А теперь дело в том только, что нервы у нас у обоих расшатаны. Нам надо освежиться, успокоиться.

— Освежиться, успокоиться, — повторила Шаня и засмеялась. — Разве ты не знаешь, что отрада и покой любви — только в таинстве брака, только в искреннем союзе любви и верности вечной?

Евгений досадливо поморщился и сказал:

— Все это — философия. Я не спорю, все это верно, но не в этом дело, и об этом теперь совсем не время говорить.

— Почему же не время! — отвечала Шаня. — Если в душе человека звучат мистические голоса, то как же не говорить об этом? Если не говорить о тайне нашего бытия, то о чем же еще говорить? Какие вопросы решать?

Евгений понял Шанин вопрос как вопрос среди обычных вопросов и отвечал:

— Нам надо практически решить, что же нам теперь делать.

— Ну что ж! — сказала Шаня, — все будет так, как ты хочешь. Скажи же мне, чего ты хочешь?

— Вот видишь, — смущенно говорил Евгений, — я нахожу, что нам обоим полезно будет месяца два-три не встречаться. Если наша любовь сильна, то эта короткая разлука только поможет, так сказать... Ну, ты понимаешь, это будет как последнее испытание нашей любви. И тогда мы повенчаемся.

Эти нескладные слова прозвучали фальшиво и жалко. Глаза Евгения бегали суетливо по комнате, не останавливаясь на предметах, словно отыскивали какую-то прореху между ними. Он помолчал и хотел сказать еще что-то, но Шаня остановила его повелительным движением руки. Она тихо сказала:

— Хорошо.

И подошла к открытому окну. Глубоко внизу проносились экипажи, гремя колесами по радостно-гулкой после зимы мостовой, и торопливо шли люди, каждый со своею заботою, со своим маленьким счастием или горем. Здесь, вверху, в окне пятого этажа, было тихо и светло, пустынно и безрадостно.

Еще тише сказала Шаня:

— Любить — страдать. Не любить — не жить. Пламенное кольцо!

Когда Шанина смуглая рука, вздрагивая, легла на белую деревянную раму и тонкие Шанины пальцы трепетно коснулись нагретого дыханием внешней жизни стекла, Шаня почувствовала, что протекающие по улицам потоки живой жизни манят ее так же сильно, как манит пустая бездна зияющего перед нею окна. Сбежать ли по лестнице к людям, — из окна ли вниз головою на камни броситься, — или упасть на колени, уронить голову на подоконник и плакать, плакать, тоскуя безнадежно?

Нет, Шаня улыбнулась, подняла глаза к безоблачному, вешне-успокоенному небу, и какой-то стремительно-жуткий вихрь закружился в ее душе: «Верю, — не верю, — умираю, — хочу жить, — люблю, — ненавижу, — так тяжело, — и так радостно! Что же будет со мною? Что Ты хочешь, то и будет! Мирами движешь и сердцами, а я покорная перед Тобою! В змеиное логовище пошлешь меня, — и туда пойду, и змей заклинать стану».

Шаня обратилась к Евгению и говорила спокойно, почти радостно:

— Ты хочешь, чтобы я поехала за границу? Хорошо, я поеду. Куда же ты хочешь, чтобы я поехала? Или все равно?

Евгений радостно говорил:

— Поезжай в Бретань. Там можно очень спокойно провести несколько недель. Там встречаются очаровательные деревушки. И совсем просто. Можешь даже, сколько хочешь, босиком ходить, как в своем саду в Сарыни. И купанье там превосходное. Это не то, что у нас в Териоках, — не море, а лужа. Там — настоящей океан, приливы, отливы, крабы, скалы, закаты, ну, и все такое, очень живописно.

Шаня сказала:

— С тобою мне и в Териоках было бы хорошо. Но я поеду в Бретань, если ты хочешь. Куда ты меня пошлешь, туда я и поеду.

И послышалось вдруг Шане, что кто-то засмеялся за ее спиною, — темный призрак, готовый разрушить действительность, — и насмешливо шепнул:

— Никуда не поедешь.

Шаня глянула в темный угол. Зыбкое воображение метнуло в ее глаза осклабленную улыбку и реденькую козлиную бородку, как у Едлички, — да нет, никого чужого здесь не было. Только воображение. Сердце замирает, голова кружится, в душе истома и страх, — вот и мерещатся голоса и лица.

— Осенью, — говорил Евгений, — если наши чувства не изменятся, мы повенчаемся.

Голос его странно дребезжал и был чем-то похож на козлиный тенорок Едлички. И уже по одному этому распустившемуся, вялому голосу, было слышно, что он обманывает.

Шаня улыбалась, стоя у окна. И опять в душе ее запела жуткая песня качелей:

— Сбежать по лестнице к людям, — броситься из окна вниз головою, — заплакать, завыть от тоски, — улыбаясь, отдаться небесной отраде.

А Евгений, радуясь тому, что разговор прошел так гладко, и тому, что Шаня на все согласна, говорил:

— Через три дня, значит, в четверг, я еду в Финляндию. Накануне, в среду, мы с тобою позавтракаем где-нибудь вдвоем, — хочешь?

Шаня посмотрела прямо в его глаза. Голова ее опять слегка закружилась, — ей показалось, что вся душа Евгения, лживая, ничтожная, лежит перед нею, распластанная, как на операционном столе. Эта голая, бесстыдная, бездушная душа, душа цивилизованного зверя, корчилась перед нею, гримасничала и визжала:

— Ты — дура. Я тебя обманываю. Я женюсь на Кате, а ты иди куда хочешь. Ты мне больше не нужна, — пошла прочь!

Шаня отвернулась. В глазах ее потемнело. В душе смешались ужас и отвращение.

Мечта о солнечно-ясном герое, вот как ты погибаешь!

Едва доходили до сознания гнусные отвратные слова, — Евгений денег просил. Говорил фальшивым, дребезжащим тенорком:

— Из дому не прислали, а надо на поездку. Так уж я на тебя надеюсь, что ты меня выручишь, милая Шанечка.

— Хорошо, — сказала Шаня, — только сейчас у меня нет. Дам в среду, когда будем завтракать. Мои деньги должны прийти завтра.

Она всматривалась в Евгения и видела, — еще чего-то хочет Евгений. Блудливые огоньки колыхались в его бегающих глазах.

«Но ведь я же его люблю!» — подумала Шаня.

Она приникла к нему в сладостной истоме.

Глава шестьдесят третья

В среду около двух часов дня Евгений заехал за Шанею. Ночью накануне он прокутил почти все свои деньги. Он был в дорогом ресторане с товарищами и с веселящими дамами.

Один из товарищей Евгения, гладкий молодой человек с лицом легавой собаки, спросил его:

— А что же с тобою Шани твоей давно не видно? Может быть, нездорова?

Евгений сделал скучающее лицо.

— Надоела, — с гримасою сказал он. — Психопатка какая-то. Совершенно изломанная психология. И нестерпимые претензии. Впрочем, я нашел ей жениха.

— Наилучший выход, — похвалил легавый молодой человек.

Как всегда расцветая от похвалы, Евгений продолжал:

— Умоляет дать ей завтра последнее свидание. Сентименты! Ничего не поделаешь, поскучаю. Конечно, придется дать ей приданое. Ну что ж, у этого сорта людей деньги всемогущи.

— Это тебе влетит в копеечку, — сказал лягавый.

— Да и не в одну, — отвечал Евгений хвастливо. — Но я надеюсь, что мать Россия возместит убытки.

Оба захохотали. Евгений дурашливо запел:

Матросея, матросея,
Матросейская земля

Легавый говорил с видом глубокомысленного политика:

— А кажется, матушка Россия здоровьем слаба стала, как будто рассыпаться начинает.

— Да и развалится, — равнодушно сказал Евгений. — Пожила достаточно, пора и честь знать. А без нас, инженеров, нигде не обойдутся.

После беспутной ночи Евгений плохо выспался, но все же чувствовал себя очень веселым и бодрым. Даже истома и вялость были ему сегодня приятны, потому что казались удобными: Шаня примет это за печаль при разлуке с нею, и тем легче будет ему обмануть ее.

В кармане его было пусто, но он не стеснялся везти Шаню в ресторан, — на лихача осталось, а по счету заплатит Шаня. У подъезда ресторана он лихо выбросил лихачу последнюю бумажку, и у него осталось мелочью два рубля.

Когда Евгений и Шаня остались одни в отдельном кабинете, почти с первого слова Евгений спросил:

— Ну что же, Шанечка, пришли наконец твои деньги?

— Пришли, но об этом после, — сказала Шаня.

Евгений поморщился.

— Однако мне...

— После, после, — досадливо перебила его Шаня. — А теперь chantons, buvons, aimons *.

Евгений пожал плечами и со злостью сказал:

— Как ты скверно выговариваешь!

Пришел лакей с карточкою вин и кушаний.

Евгений выбирал кушанья и вина для завтрака, те, что подороже. Шаня, смеясь, сказала ему по-французски:

— Может быть, у меня и денег не хватит.

Евгений строго взглянул на нее и сказал презрительно:

— Странные шутки! Я не привык жрать кое-как, по-свински.

Кончили завтрак. Лакей подал счет. Евгений вопросительно глянул на Шаню. Она сказала:

— Я заплачу.

Заплатила и сказала лакею:

— Еще с час побудем здесь.

Лакей ушел. И когда дверь за ним закрылась, у Шани томно и странно закружилась голова и сердце упало.

А у Евгения, от выпитого вина и вкусного завтрака, голова закружилась приятно. Он развалился на диване и, лениво потягиваясь, самодовольно сказал:

— А в сущности, жизнь — превеселая штука.

— Для кого как! — возразила Шаня.

Она засмеялась. Смеялась долго и звонко. Смех ее звучал механически и обидно. А рука в это время ощупывала затаившийся в кармане револьвер.

— Что ты? — с удивлением спросил Евгений. — Русская манера — скалить зубы ни с того ни с сего.

— Мне весело, — сказала Шаня.

* Поем, пьем и любим *(фр)*

Она перестала смеяться и холодными глазами смотрела на Евгения. Он мычал что-то. Был почти обижен. В другое время он рассердился бы и ушел. Но были нужны деньги, и он ждал.

Шаня вздохнула, улыбнулась и сказала:

— Что ж удивительного, что мне весело в твоем милом обществе!

Евгений расцвел самодовольною улыбкою. Шаня говорила:

— Ну вот, я принесла деньги. Сколько? Пятьсот довольно?

— Спасибо, милая Шанечка, — радостно сказал Евгений.

Шаня вынула из сумочки и передала Евгению пять бумажек. Евгений с удовольствием пересчитал их и положил в бумажник. Потом потянулся к Шане, и привычные ожидания Шаниной сладкой ласки заиграли в нем.

Но Шаня отстранилась от него и отошла к окну. Евгений посмотрел на нее с удивлением и с досадою. Сказал:

— Шаня, мне сегодня некогда. Не капризничай. Поди ко мне, я тебя приласкаю. Ведь мы теперь не так скоро увидимся.

Шаня спросила сухим, деловым тоном:

— Итак, твоя свадьба с Катею Рябовою уже окончательно решена?

Евгений вздрогнул от неожиданности. Забормотал:

— Не совсем... Вовсе нет... Знаешь ли...

— Я, друг мой, все знаю, — так же сухо говорила Шаня.

— Да, но... что же ты знаешь? — растерянно спросил Евгений.

Шаня сказала строго:

— Евгений, не хитри и не обманывай. Довольно лжи. Я знаю, ты меня окончательно бросаешь.

И она взглянула прямо ему в глаза. Евгений был смущен. Глаза его бегали. Дрожащими руками он сунул бумажник в карман сюртука, и при этом у него был такой вид, словно он боялся, что Шаня отнимет у него только что подаренные деньги.

— Бросаешь? — повторила Шаня.

Евгений залепетал:

— Нет, зачем же? Но пойми, что чем же мы будем жить? Не могу же я существовать на эти твои гроши. Чтобы сделать карьеру, я должен сразу поставить себя как следует.

Шаня заплакала. Упала на диван. Ломала руки. Такая маленькая, слабая и жалкая стала, что Евгений вдруг почувствовал себя мужчиною и молодцом. Заговорил смело, почти укоряющим голосом. И что дальше, то смелее.

— Не могу же я допустить, чтобы какой-нибудь выскочка Нагольский смотрел на меня, на Хмарова, свысока! Я, право, отказываюсь тебя понимать, Шаня. Сама же ты призналась, что ты мне в жены не годишься, что нам лучше расстаться, — и вдруг...

Шаня, плача, сказала:

— Ах, Женя, я все свое прошлое хороню. Не так-то это легко!

— Право, я думаю, ты меня уже не можешь любить, — говорил Евгений. — Я даже и не стою такой любви. Я ведь не о заоблачных идеалах думаю, а о пользах и нуждах моего дорогого отечества и о нашей высокой руководящей роли. Мы должны вести страну вперед, к славе и величию, и в то же время охранять священные традиции. А ты — мечтательница, фантазерка. Мы с тобою совершенно разные люди. И вот ты сама это увидишь. Я уверен, что осенью, после того, как мы три месяца проживем друг без друга, ты сама возвратишь мне свободу. Притом же это, видишь ли, единственный способ поправить наши дела.

Шаня села на диван. Вытерла слезы. Потянулась, точно просыпаясь. Заговорила тихо:

— Ты будешь счастлив. У тебя будет семья, дети, видное общественное положение, большие деньги, почет.

Евгений самодовольно улыбнулся. Сказал:

— Ну, ну, моя милая Шанечка, я тебя никогда не забуду.

Шаня встала, вся охваченная бешенством. Глядя прямо в глаза Евгения, она сказала тихо и злобно:

— За убийство такого негодяя, как ты, знакомые с уважением пожмут мне руку.

Легкое настроение и радостный хмель мигом соскочили с Евгения. Он спустил ноги на пол и с трусливою злостью смотрел на Шаню. Уже ему вдруг нетерпеливо захотелось, чтобы это свидание поскоре окончилось. Как-то уныло смотрели на него стены этой комнаты, и ему захотелось на простор. Он почувствовал бы дикую радость, если б увидел, что

Шаня внезапно умерла. И в душе его заскулила жалость к самому себе: «Я — и должен страдать из-за психопатки!»

Шаня страшно побледнела. Губы ее задрожали. Глаза ее загорелись диким блеском, — таким диким, что Евгению стало жутко и страшно. Но он попытался сохранить достоинство и делал вид, что ему ничуть не страшно.

— Ну, нельзя ли потише, — сказал он строго.

Шаня молчала. Дрожащими руками она хваталась за платье и старалась нащупать карман. Евгений струсил. Побледнел, залепетал:

— Ну, зачем так трагически принимать!

Сгибаясь, он пытался прокрасться к выходу. Но Шаня стала перед ним и сказала:

— Если нельзя нам жить вместе, умрем вместе.

Она вынула револьвер. Евгений нелепо и трусливо замахал руками. Закричал визгливо:

— Ну что ты! Уж я... ведь это еще не решено... я лучше женюсь на тебе.

Шаня ярко вспыхнула. Вот кого она любила! Даже умереть не умеет! Даже бороться не смеет, не бросается на нее, чтобы вырвать оружие из ее рук!

— О, подлый! — крикнула она.

Подняла револьвер. Евгений закричал:

— Караул!

Метнулся к дверям, но Шаня раньше его была у двери, и дуло револьвера глянуло в его глаза.

Евгений присел на корточки, побледнел, задрожал, завизжал тонко и пронзительно. Нижняя челюсть его отвисла. Весь он ослаб, осел мешком...

Шаня вздрогнула. Выронила револьвер.

— О, какой гадкий! — с отвращением сказала она.

Евгений метнулся к револьверу, распластавшись по полу, и сгреб его обеими руками. Но Шаня толкнула Евгения кончиком ботинки, нагнулась, вырвала из его вялых от ужаса рук револьвер и поспешно вышла.

— Барину дурно, — сказала она лакею.

На улицу выбежала, как на вольный воздух из склепа.

Солнечно-ясный герой, превратившийся в гадину, остался там, позади. И только отвращение, истома смертная, отвращение!

Шаня оперлась на решетку канала, бледная, и смеялась, глядя на его зеленоватые воды. Голова ее кружилась, ей было томно и тошно, и казалось ей, что она умирает от нестерпимо острого отвращения. Вдруг она почувствовала странную слабость, все в глазах ее позеленело и потемнело, она медленно опустилась на плиты тротуара и тихо упала на жесткие камни, головою на согнутую в локте руку.

Конец

КНИГА ПРЕВРАЩЕНИЙ

Рассказы

Задор

I

Была война с турками, и было брожение в умах, даже подростки много говорили и волновались. Товарищи Вани Багрецова, гимназисты четвертого класса, на переменах больше толковали о политике, чем о своих школьных интересных делах и делишках. Ваня кипел и горячился и в гимназии, заодно с товарищами, и дома в бесконечных и ожесточенных спорах с бабушкою.

Однажды Ваня вернулся из гимназии под впечатлением новых слухов, весь насквозь пропитанный негодованием. Он вознамерился наказать бабушке немало горьких истин. О, конечно, он никогда не трогал бы ее, — старая, где ей понять! — но в последнее время бабушка слишком злобно нападала на молодежь и даже позволяла себе лживые утверждения, которых Ваня не мог оставлять без ответа.

Не нравились и бабушке, и матери Ванины новые взгляды и его знакомства. Правда, товарищи заходили к нему редко; но тем было хуже. У Вани притом уже давно была привычка по вечерам гулять, и уходил он всегда один; прежде на это не обращали внимания, а теперь его совершенно, впрочем, невинные прогулки по городским улицам начинали казаться подозрительными и опасными. Их еще пока не запрещали, — не было очевидного повода, — но и не поощряли: косились и ворчали каждый раз.

В воинственном настроении вошел Ваня в столовую, стараясь придать себе независимый вид, но внутренне волнуясь в ожидании пред-

стоящей схватки. Его бойкие серые глаза, немного близорукие, смотрели с задором и сердито.

Бабушка, высокая и худощавая старуха с быстрыми движениями и очень прямым станом, была уже «готова», как Ваня тотчас же подумал, взглянув на нее. Она энергично шагала по комнатам и не обращала ни малейшего внимания на заигрывания серого, сытого кота Коташки, который, таясь за ножкою стула, ждал, когда бабушка пройдет, и бросался на подол ее платья. Бабушкины темно-карие глаза метали молнии, и черные крылья ее кружевной наколки трепетали и развевались. Ваня сообразил, что это сердятся, зачем он опоздал: случилась необходимость зайти из гимназии кое-куда по самонужнейшему делу, и это заняло лишние полчаса.

Бабушка так и набросилась на вошедшего Ваню.

— А, передовой человек, милости просим, здравствуйте! — восклицала она, иронически раскланиваясь.

Ваня счел долгом обидеться за неуважительное обращение со словами, выражающими почтенное понятие.

— Лучше быть передовым человеком, чем задовым, — немедленно же и с достоинством отрезал он.

— Прекрасно! — с сердитым смехом воскликнула бабушка. — Очень прилично! Что же, это я, по-вашему, задовой человек? Как это мило! Продолжайте.

— Что ж мне продолжать! — запальчиво отвечал Ваня. — Если вы считаете, что постыдно быть передовым, значит, вы сами хотите быть задовым человеком.

— Хорошо, хорошо, — говорила бабушка, принимаясь расхаживать по комнате. — На дерзости вы все мастера, а еще материно молоко на губах не обсохло. Недоучки желтогубые, туда же суются учить всех!

Ваня жестоко покраснел; он не выносил намеков на свои годы.

— Возраст здесь ни при чем, — заявил он решительным голосом и с вызывающим видом посмотрел на бабушку.

— Нет, при чем, при чем! — закричала бабушка, приходя в сильное раздражение и опять наступая на Ваню, — вы сперва научитесь хлеб зарабатывать, а потом уж пофыркивайте.

— Г-м, да, вот что! — пробормотал Ваня, делая чрезвычайно саркастическое лицо. —

В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.

Ваня имел пристрастие к литературным цитатам, заимствованное им у бабушки; но старуха эти цитаты всегда толковала по-своему. Она сердито говорила, расхаживая из угла в угол:

— Да, мы, старики, не должны своего суждения иметь; так, по-вашему, должно быть, выходит. Только вы, господа недоучки, можете обо всех судить и рядить сплеча, — как же, министры какие, подумаешь!

— Да я совсем не то говорю, вы меня не так поняли, — пробовал оправдаться Ваня.

Но бабушка волновалась и кипела.

— Где уж мне, старой дуре, понимать таких умников! У вас ведь все по-своему, по новому: что мое, то мое, а что твое, то тоже мое, — так ведь у вас говорится. Прекрасные правила!

— Это вот вы все по-своему перевертываете, — с досадою возражал Ваня. — Никто таких глупостей не говорил, и социалисты вовсе не того желают.

— Социалисты! — презрительно протянула бабушка и посмотрела на Ваню прищуренными глазами. — Перевешать бы их всех, этих социалистов, да и друзей их заодно, от Петербурга до Москвы на всех деревьях по десяти на каждое.

— Бодливой корове Бог рог не дает! — тихо молвил Ваня дрожащим от негодования голосом.

— Нет, уж лучше ты, батюшка, — опять накинулась бабушка на Ваню, — завиральные идеи брось, а то с ними далеко уйдешь. Незнайка-то себе лежит на печи, а знайка по Владимирке бежит, вот оно что.

Ваня усмехнулся.

«Ведь как все пословицы и примеры коверкает на свой лад», — подумал он и не мог удержаться, чтобы не заметить:

— Завиральные идеи — совсем не в таком смысле у Грибоедова сказано.

— Ну уж я стара стала учиться по-вашему, — с раздражением говорила бабушка, вставляя папиросу в деревянный мундштук и закуривая ее. — Мы попросту учились. В наше время сходок не было и уши выше лба не росли. В наше время мальчишки писем не получали Бог весть от кого да на сходки не бегали. Вот заберут на сходке-то вас всех, недоучек желтогубых, да и засадят. То-то будет радость родителям! Ну да ведь нынче родители — что!

Бабушка скрыла огорченное лицо в густых клубах табачного дыма.

— Какие там сходки! — угрюмо сказал Ваня. — Отчего же нельзя от товарищей получать письма?

— Нынче о родителях вот как рассуждают, — продолжала бабушка, не удостаивая его ответом, — я, мол, не виноват, что ты меня родила; а если бы я тебя родила, то я бы твоя мать была. Вот вы как нынче рассуждаете.

II

Ваня призадумался о своем и перестал спорить. Вчера он, точно, получил письмо. Вопрос: прочли его или нет? Еще в гимназии сегодня утром он вспомнил, что имел неосторожность забыть это письмо дома. Теперь он еще не успел удостовериться, лежит ли оно на месте. Спрятано оно довольно хорошо, но, может быть, искали и нашли. Положим, если бы прочли его, то поняли бы, что дело идет вовсе не о сходке. А и то может быть, что прочесть — прочли, а поняли по-своему, уж очень нелепо и навыворот, «по своей всегдашней глупости», как мысленно выражался теперь Ваня.

Конечно, он раньше не замечал за матерью и бабушкою «таких подлостей» (опять его мысленные слова), подсматриванья за ним и шаренья в его бумагах, но все-таки сердце его было непокойно. Кто их знает, очень уж они нынче с чего-то кипятятся; притом же как ни оправдывай содержание письма относительно затеянной будто бы где-

то сходки, а все же он счел бы большою неприятностью, если бы это письмо стало им известно.

Замолчала и бабушка и ходила по комнате, распуская за собою дымовые струи и презрительно посматривая на мальчика.

Ваня подошел к окну и тупо глядел на улицу. Темнело быстро. Он, впрочем, и не старался рассмотреть что-нибудь; торопливая побежка немногочисленных прохожих на противоположном тротуаре теперь нисколько не занимала его.

Воинственный пыл его сменился жуткою тоскою. Сердце ныло в его груди, хотелось плакать: он чувствовал себя одиноким, непонятым. Гордое сознание своей правоты, — что в нем! от него становилось еще хуже: оно вливало в его тоску отраву безнадежности. Если бы он был неправ, это было бы гораздо лучше! Тогда он решился бы исправиться и теперь надеялся бы, что все забудется, обойдется, «перемелется — мука будет». Но он твердо знает, что прав. Он борется с закоренелыми предрассудками своих домашних. Эта борьба страшно трудна и тягостна его кроткому сердцу, которое так жаждет любви и ласки, и только не умеет, гордое, ласкаться к людям, и даже стыдится чувствительности.

Пришла Ванина мать, робкая пожилая женщина в сереньком платье, зажгли огонь, сели у окна в ожидании обеда и тихо разговаривали. Потом скоро мать снова ушла.

III

Подали наконец и обед, а Ваня все стоял у своего окна и хмуро глядел на улицу. Гременье стула, который кто-то двигал по полу, заставило его обернуться. Бабушка тащила к столу тяжелый стул, на котором обыкновенно обедала и который сегодня стоял у стены. Гримаса усилия на ее лице смешивалась с выражением крайнего негодования и самой исступленной злости. Матери еще не было в комнате. Ваня не успел оказать бабушке услугу, и она сама тащила свой стул.

«Вот до чего я доведена!» — так и кричала каждая черточка ее лица; каждая складка черного платья содрогалась от негодования.

Ваня бросился на помощь, но слишком поздно, — стул уже был водворен на место, и Ваня за свое запоздалое усердие получил только толчок по плечу спинкою стула, когда он, тяжко брякнув задними ножками, грузно уставился перед столом. Совершенно уничтоженный, Ваня сел на свое место. Мать, — она только что вошла, — поглядела на Ваню маленькими серыми глазами, как на преступника, с укоризною и с ужасом. Потом она приняла кроткий вид, вздохнула и принялась разливать суп. Бабушка не глядела на Ваню и грозно молчала.

— Мог бы, я думаю, стул подать бабушке, — заговорила мать, подавая Ване тарелку.

— Где уж нам с тобой ждать, Варенька! — злобно возражала бабушка. — Скоро он нас бить станет.

— Что это будет, что будет! — вздохнула мать, и ее серенькое и маленькое лицо стало озабоченным.

— Да, к хорошему мы идем!

Бабушка молча съела свой суп и потом опять сердито заговорила, обращаясь к Ване:

— И чего они хотят? Нет, вы скажите мне, чего им нужно?

— Все знают, что нужно, — буркнул Ваня.

Ему вообще не очень-то нравился этот вопрос, потому что он и сам не совсем еще ясно понимал кое-что. Например, он очень страдал от того, что не читал еще Писарева. Поэтому перед некоторыми товарищами ему приходилось пасовать. А на днях так он и совсем срезался: оказалось, что есть еще Чернышевский, а такого он даже имени не слышал, и знающие товарищи его пристыдили, — как же можно не знать!

— Вот как, все знают, только мы, старые дуры, не знаем! — насмешливо сказала бабушка.

— Надо, чтоб никого не обижали, — объяснил Ваня.

Бабушка продолжала допрашивать Ваню:

— Ну отчего же они не выйдут прямо да и не скажут: вот чего мы хотим? Зачем же они подпольно действуют, коли они такие хорошие?

— Если они откроются, их и повесят, и ничего не будет, — волнуясь и краснея, говорил Ваня.

— Ну, так и ты тоже хочешь с ними? — заговорила мать с отчаянием в голосе. — Тоже в подпольные записался? Для того и на сходки к ним бегаешь?

— Ни на какие сходки я не хожу, с чего вы это взяли! — ворчливо говорил Ваня, с презрением посматривая на макароны, которые были принесены после супа и теперь лежали на его тарелке.

«Опять эти слизкие сосульки», — досадливо думал он и, не разрезывая, захватил целую макарону губами и стал всасывать ее в рот.

Бабушка этого не любила, но теперь почти не заметила. Она закричала:

— Как ни на какие сходки не ходишь! А вчера вечером где изволил быть? А сегодня после гимназии?

— У больного товарища!

«Тебе-то что за дело», — кончил Ваня мысленно.

«Назло» им, хотя макароны были достаточно посолены, он подвинул к себе солонку, запустил туда пальцы и бросил щепотку соли на свои макароны. Тотчас же он подумал: «И так гадость, а теперь как я буду их глотать?»

Такого неприличия бабушка уже не могла вынести.

— Постыдись! Точно Иуда Христопродавец! — укоризненно воскликнула она.

— Хорошо вы Евангелие читали! — возразил Ваня.

— Что такое? — внушительно переспросила бабушка.

А мать только вздохнула удрученно и покачала своею серенькою головою.

Помолчали. Ване бы не следовало возобновлять спора, но он не утерпел и опять начал спорить:

— Там вовсе не про Иуду говорится, что хлеб в солонку обмакнул.

— Ну извините, от старости забывать стала.

— Вот вы забыли, что прежде сами Трепова ругали, а теперь, как в него Засулич выстрелила, так вы его и хвалить стали.

Бабушка вскипятилась.

— Когда я его ругала? — гневно спрашивала она.

Ваня продолжал запальчиво:

— Да вы и всех ругали, и за то, что от помещиков крестьян отняли, и за новые суды, и за все.

— Да, — злорадно сказала бабушка, — вот вам новые суды и отличились.

— Ну так вот, — с заносчивостью уличающего говорил Ваня, — вы и ругали прежде правительство, а теперь-то вам чего же волноваться?

— Ты врешь, дерзкий мальчишка! — запальчиво крикнула бабушка, устремляя на Ваню сверкающий взор.

— Нет, я не вру! — резко ответил Ваня.

— Что ж, я, по-твоему, вру?

— Не я вру! — отрезал Ваня и тотчас же сообразил, что этого не следовало говорить.

Да он, кажется, и не хотел ничего такого сказать; просто хотел повторить: я не вру, да впопыхах не то вышло.

— Покорно благодарю! — с ироническим поклоном сказала бабушка и мрачно принялась за свой кофе.

Ваня молчал. Мать вдруг вся покраснела, задрожала и сказала взволнованным голосом:

— Нет, уж это тебе так не сойдет. Наговорил дерзостей, обругал всех да гоголем сидишь. Проси у бабушки прощенья!

Ваня упрямо молчал. Помолчала и мать.

— Слышишь ты, что я говорю? — спросила она, постукивая по скатерти кусочком сахару. — Сейчас же проси прощенья, говорят тебе!

— Никаких дерзостей я не говорил.

— Ну хорошо, — сейчас же я тебя высеку.

В стакане на поверхности кофе Ваня увидел свое мгновенно покрасневшее до синевы лицо. Он чувствовал, как у него краснеют уши, шея и даже плечи. Это было совсем ново. Так с ним давно не говорили. Ваня имел определенный взгляд на «подобные проявления родительского деспотизма относительно детей». Себя к детям он не причислял, — но тем, конечно, возмутительнее угроза!

— Вы докажете этим только вашу дикость, — проговорил он трепещущими губами.

Сливочник сочувственно вздрагивал в Ваниной руке, но Ваня успел-таки выловить, почти машинально, кусок пенки.

— Так только в старину, при крепостном праве, поступали, а теперь это пора оставить.

— Ну вот, ты поругаешься еще, подожди немного, — быстрым говорком ответила мать, постукивая ложечкою по блюдечку.

В досаде и в смущении отвернулся Ваня к стене и с трудом глотал кофе. Пенка пристала к стеклу, но он забыл о ней и не заботился смыть ее кофейною волною, чтобы заодно отправить в рот.

— Глядит на стену, — узоры какие на ней нашел! — со злым смехом проговорила бабушка.

— Это уж у него злобная привычка такая, — объяснила мать, — мы недостойны, чтобы он глядел на нас.

Ваня поставил стакан на стол, — пенка так и осталась, облипши на краю стекла. По обыкновению, он подошел поблагодарить обеих. Ему не дали сделать обычных поцелуев, и он должен был поблагодарить так, — «всухомятку», — пронеслось в его голове.

— Вперед чтобы писем не было и чтоб по вечерам Бог знает куда не шляться, — решительно приказала бабушка.

— Я не шляюсь, я хожу гулять, а письма получаю от товарищей и пишу им же, — дрожащим голосом отвечал Ваня.

— И никаких писем не надо!

— Нет, надо!

— Слышишь, чтоб не было писем!

— Нет, будут!

— Будут, будут? это почему? — крикнула бабушка.

— Потому, что я так хочу!

Бабушка злобно захохотала.

«Ишь ломается!» — подумал Ваня.

Мать закричала обиженным голосом:

— Да как ты смеешь так разговаривать! Нет, видно, одно осталось: сечь и сечь. Марш в свою комнату и жди там.

IV

Ваня стремительно выбежал из столовой и бросился в свою комнату. Сердце спешило биться.

«Пульс-то, пожалуй, теперь сто двадцать будет», — почему-то подумал Ваня, подбегая к своему столу.

Поспешно выдвинул он ящик. Перочинный ножик в белой костяной оправе бросился в глаза, хоть и лежал в стороне, полуприкрытый бумагами. Он не помнил отчетливо, зачем ему нужен ножик, но знал, что именно это нужно. Ваня взял его с чувством горестного недоумения. Жалкая улыбка пробежала по его пересохшим губам. Он торопился. Дрожащими, неловкими от волнения, жаркими пальцами оттянул он и выпрямил лезвие.

«Недавно наточено», — подумал Ваня.

Лезвие блеснуло. Ваня быстро подошел к зеркалу, висевшему рядом с окном. Неверный сумеречный свет падал из окна прямо на Ванино лицо, а зеркало было в тени. На Ваню из темного зеркала глянуло словно чужое, злобное лицо с перекосившимся ртом. Ваня поднял ножик и приставил его концом к горлу с левой стороны.

«Как только войдут», — подумал Ваня и прислушался. Но пока еще никто не шел, и Ваня глядел в зеркало со злобою и отчаянием. В эти минуты ни одно отрадное воспоминание не мелькнуло в голове. Обрывки злых и страшных мыслей сплетались в нелепые вереницы, и с каждым ударом торопливого сердца ударялось в голову, как молот, безусловно-повелительное представление о том, что он неизбежно сделает, когда войдут. Поднявши нож правою рукою, Ваня левою расстегнул пуговицы и обдернул курточку и рубашку книзу. Шея, белая и тонкая, с синеватыми жилками, обнажилась; Ваня поднял голову и слегка провел ножом по тому месту, где будет разрез.

«Так! — сказал он себе и поставил нож на прежнее место. — Надо сразу, с силой, глубоко ткнуть и сейчас же, как можно сильнее, дернуть вправо», — сообразил он и опять прислушался.

Все еще было тихо.

Он передал нож в левую руку, а правою, сжатою в кулак, — как и раньше, когда в ней был нож, — быстро и сильно сделал то движение, которое надо будет сделать тогда с ножом.

«Так! — еще раз сказал он про себя. — Только надо отнести руку подальше, — и он еще раз повторил то же движение с большим размахом. — Надо бы шведский, — острее, сильнее, да уж некогда искать, — да и все равно!»

V

В соседней комнате раздались шаги. Нож мгновенно очутился на своем месте, в правой руке, сжатой в кулак, против назначенного ему места. Ваня стоял, напряженно закинув голову назад и немного вправо. Полные ненавистью и отчаянием, глядели на него из зеркала полуприкрытые злые глаза безумного мальчика, который сделает то, чего назвать не хочет Ваня да, может быть, не умеет.

«Но отчего же не идут?»

Там, рядом, сейчас ходили, теперь ушли. Часы начали бить. Где-то зашумели стулом. Слышен разговор, — далекий, одни только звуки.

Ваня опустил нож, повернулся к двери, постоял немного, потом пошел тихонько, сжимая нож в руке и придерживая другою расстегнутый ворот, осторожно отворил свою дверь и остановился на пороге. Было темно; в следующей комнате, столовой, куда дверь была закрыта, горел огонь: он выдавал себя в узкую щель внизу двери. Осторожно, на цыпочках, Ваня подошел к этой двери. Говорили о нем.

— И где у него письмо это спрятано? — озабоченно рассуждала мать.

«Ага, не нашли», — радостно подумал Ваня.

— Следить за ним, следить хорошенько надо, — авторитетно говорила бабушка.

«Много выследишь, гриб старый», — подумал Ваня, застегивая курточку.

— Право, высечь бы хорошенько, — стал бы шелковым, — отчаянным голосом сказала мать.

— Нет, Варенька, нельзя, — возразила бабушка. — Вот у них дух какой! Ему внушат товарищи, что это он за правду пострадал, а нас в газетах пропечатают. Да и что с ним потом поделаешь: ожесточится, совсем от рук отобьется, подожжет, пожалуй, или убьет нас, старух.

Мать заплакала.

— Господи, Господи, за что такое наказание! Вот дети, — расти их, заботься, а вот благодарность: одно горе.

— Что делать, Варенька, надо терпеть да следить хорошенько. Постращать можно, — авось будет бояться.

VI

Ваня тихо ушел к себе. Ему вдруг стало стыдно, что он подслушивает.

«Ну так что ж! — тотчас же оправдался он перед собою, — зачем же они точно заговорщики! Однако струсили! Эх, бабы!»

Ваня презрительно улыбнулся и швырнул нож на прежнее место.

«Да и я дурака свалял».

Ваня зажег лампу и подошел к зеркалу. Оттуда мальчик с раскрасневшимся и застыдившимся лицом печально улыбнулся ему, высунул язык и сказал:

— Иди, — учи уроки.

«И стоило за нож хвататься! — думал Ваня, разбирая тетради. — Если бы и так, что за беда? Многие хорошие люди терпели безвинно. Разве оттого, что меня прибьют какие-то обскуранты, я могу лишить общество своей полезной силы? Надо шире смотреть на вещи. Страдать за убеждения — не постыдно. Это для них было бы стыдно. И зачем у них такие мысли? Все эта старая ворона расстраивает маму: подожгу, убью. Это уж подло так думать. Лучше бы уж высекли. И за что? Что я им сделал? Нет, вперед не буду горячиться с ними. Буду молчать, — и презирать их отсталость».

Успокоив себя такими рассуждениями, Ваня решил заняться уроками, открыл тетрадь, взял перо, потом вдруг бросил его на стол, подбежал к своей кровати и, уткнув голову в подушку, совершенно неожиданно для себя горько заплакал, всхлипывая, как мальчик.

«За что? за что? Что я им сделал?» — в тоске повторял он.

Глупый мальчуган не мог еще понять, что он сделал тем, которые тоже томились, глядя на его задор и неожиданную грубость.

Соединяющий души

Гармонов по своей крайней молодости еще не знал меры вещей и посещений, и приходил не вовремя, и не умел уйти вовремя. Наконец он почувствовал, что до одурения надоел Сонпольеву. Спохватился, что отвлек Сонпольева от работы. Вспомнил, что все время Сонпольев был с ним принужденно вежлив, а иногда прорывался резкими словечками.

Гармонов мучительно покраснел, словно под смуглою кожею его худощавых щек разлилось внезапное пламя. Нерешительно приподнялся было. Опять сел, заметив, что Сонпольев хочет сказать что-то. Сонпольев досадливо сказал, продолжая разговор:

— Надел маску! Что вы хотите этим сказать?

Гармонов пробормотал смущенно:

— Притворяется. Конечно, иногда приходится.

Давая волю своему раздражению, Сонпольев говорил, не дослушав Гармонова:

— Что вы в этом понимаете! Что вы знаете о масках! Нет маски без соответствующей души. Нельзя надеть на лицо маску, не сочетав своей души с ее душою. Иначе маска свалится.

Сонпольев замолчал и хмуро глядел перед собою. Не смотрел на Гармонова. Опять чувствовал к нему ту же, с первого знакомства возникшую, странную ненависть. Постоянно старался скрыть эту ненависть под личиною большой ласковости, — усердно звал Гармонова к себе, хвалил всем его стихи, — и время от времени беспричинно говорил Гармонову злые, грубые слова, от которых застенчивый юноша краснел и сжимался. Ненадолго становилось жалко, а потом опять начинал ненавидеть его медлительность, считал его скрытным и хитрым.

Гармонов встал. Простился. Ушел. Сонпольев остался один. Было досадно, что помешали работать. Теперь уже не было того рабочего

настроения. Мучила какая-то темная злоба. Незначительный, по-видимому, юноша Гармонов, — что в нем в такой степени может вызывать раздражение? Большой рот, длинное лицо, очень смуглое, — медлительные движения, тягучий голос, — за всем этим чувствовалась какая-то двусмысленность и недоговоренность.

Сонпольев в досаде прошелся по кабинету. Остановился перед стеною. Заговорил.

В наши дни много есть людей, которые ведут долгие разговоры со стеною, — собеседник воистину интересный! И верный.

Сонпольев говорил:

— Так ненавидеть, так мучительно ненавидеть можно только то, что очень к нам близко. Но в чем же тайна этой дьявольской близости? Какой демон и какими нечистыми чарами связал наши души? Столь несходные души! Мою, человека деятельной жизни, клонящейся к успокоению, и его душу, душу этого большеротого юнца, хитрого, как заговорщик, и медлительного, как трус. И почему в его характере такое странное наблюдается несоответствие с его наружностью? Кто выкрал из этого молокососа самую необходимую, самую лучшую часть его души?

Говорил тихо. Почти бормотал. Потом громко, досадуя, крикнул:

— Кто же сделал это? Человек или враг человека?

И услышал странный ответ:

— Я.

Кто-то крикнул это слово резким, высоким голосом. Точно ржавая сталь прозвенела резко, но тускло. Сонпольев нервно дрогнул. Огляделся. Никого не было в комнате.

Он сел в кресло, хмуро смотрел на стол, заваленный книгами и бумагами, и ждал. Ждал чего-то. Стало жутко ожидание. Сказал громко:

— Ну что же ты прячешься? Уж начал говорить, так явись. Скажи, что ты хочешь сказать. Что тебе надо сказать?

Прислушался. Так напряжены были нервы. Казалось, малейший шум потряс бы, как труба архангела.

И вдруг смех. Резкий, ржаво-металлический. Точно раскручивалась пружина заводной игрушки, и дрожала, и звенела в тихом без-

молвии вечера. Сонпольев схватился ладонями за виски. Облокотился на стол. Прислушался. Смех затихал с механическою ровностью. Было ясно слышно, что он исходит откуда-то близко, как будто даже со стола.

Сонпольев ждал. Напряженными глазами смотрел на бронзовую чернильницу. Спросил насмешливо:

— Чернильная нежить, не твой ли это смех?

Резкий голос, не похожий на темный говор призраков. Отвечал с такою же насмешливостью:

— Нет, ты ошибаешься, и довольно неостроумно. Я — не чернильный. Разве ты не знаешь липкого голоса чернильных нежитей? Ты — плохой наблюдатель.

И опять смех, — опять зазвенела, раскручиваясь, ржавая пружина.

Сонпольев сказал:

— Не знаю, кто ты, — и как я могу это знать! Ведь я тебя не вижу. Только думаю, что и ты — такой же, как и вся ваша братия: вы около нас постоянно, и все вы шныряете и наводите на нас тоску и иные злые чары, а на глаза нам не смеете показаться.

Пружинный голос ответил:

— Я-то затем и пришел, чтобы с тобою поговорить. Уж очень люблю я говорить с такими, как ты, — с половинными.

Замолк, — и уже Сонпольев ждал смеха. Подумал: «Должно быть, он каждую свою фразу заливает этим гнусным хохотом».

И не ошибся. Странный посетитель в самом деле усвоил такую манеру разговора: поговорит несколько и зальется ржаво-резким смехом. Казалось, что словами он заводит свою пружинку и уже потом непременно должен расхохотать ее.

И пока звучал, механически правильно затихая, смех, из-за чернильницы выдвинулся гость.

Он был маленький, — весь, с головою и с ногами, ростом с безыменный палец. Серо-стального цвета. Из-за малых размеров и быстрых движений не понять было, тело ли это тускло поблескивает или гладко пригнанная к телу одежда. Но, во всяком случае, что-то гладкое, словно нарочно упрощенное. Туловище в виде тонкого бочонка,

в поясе пошире, в плечах и в тазу поуже. Руки и ноги равной длины и толщины и одинаково ловкие и гибкие, — казалось, что руки слишком длинны и толсты, а ноги несоразмерно коротки и тонки. Шея короткая. Лицо с ноготок. Ноги широко расставлены. Внизу туловища виднелось что-то вроде хвоста или толстой шишки. Такие же наросты были с боков, под локтями. Движения быстрые, ловкие, уверенные.

Уродец уселся на бронзовую перекладину чернильницы, сбросив ногою тростниковую вставку пера, чтобы поместиться поудобнее. Затих.

Сонпольев рассматривал его лицо. Худое, серое, гладкое. Маленькие, ярко блестящие глаза. Большой рот. Оттопыренные уши, островатые сверху.

Сидел, уцепившись за перекладину руками, как обезьяна. Сонпольев спросил:

— Любезный гость, что же ты мне скажешь?

И в ответ зазвучал механически-ровный, неприятно-резкий, словно ржавый, голосок:

— Человек с одною головою и с одною душою, вспомни свое прошлое, — свое первоначальное прошлое тех древних дней, когда ты и он жили в одном теле.

И снова смех, сверлящий слух, резкий, звонкий.

Пока еще смех звучал, гость механически-ловко перекувырнулся, стал на руки, — и Сонпольев увидел, что утолщенный предмет на месте хвоста был второю головою. Она ничем не отличалась, по-видимому, от первой. Малость ли размеров была тому причиною, или и в самом деле обе головы ничем не отличались, — только Сонпольев не нашел никакой разницы. Руки вывернулись, как на шарнирах, и стали совсем как ноги, и первая голова потускнела и спряталась между этими руками-ногами; то, что раньше казалось ногами, так же механически повернулось и двигалось, как настоящие руки.

С удивлением смотрел Сонпольев на своего странного гостя. Гость кривлялся и плясал. И когда наконец затих, постепенно смолкая, его смех, вторая голова заговорила:

— Сколько у тебя душ, сколько сознаний, знаешь ли ты это? Ты гордишься дивною дифференциациею твоих органов, — вот, думаешь

ты, каждый член моего тела исполняет свои, строго определенные, функции. Но, глупый человек, скажи мне, чем ты сохраняешь память о своих прежних переживаниях? В той же голове теснится весь твой и прижизненный, и дожизненный опыт. Ты мудришь и хитришь над и под порогом своего жалкого сознания, — но беда твоя в том, что у тебя только одна голова.

Гость залился опять своим ржаво-звонким хохотом, — и на этот раз хохотал особенно долго. Хохотал и в то же время плясал. Кувыркался. Становился кверху одним боком, на одну руку и одну ногу, — если еще можно было так различать его четыре конечности, — и они опять механически вывертывались, и тогда обнаруживалось, что наросты на его боках — тоже головы. И каждая в свой черед говорила и хохотала. Гримасничала. Дразнила.

Сонпольев крикнул в бешенстве:

— Замолчи!

Гость плясал, кричал и хохотал.

Сонпольев думал: «Схватить бы его, раздавить. Или ударом тяжелого пресса размозжить на месте злую гадину».

А гость все хохотал и кривлялся.

«Взять его руками нельзя, — думал Сонпольев, — он, может быть, прожжет или опалит руку. Не разрезать ли его ножом?»

Он открыл перочинный нож. Быстро направил нож острием в середину туловища гостя.

Четырехголовое чудовище собралось в комочек, замахало всеми четырьмя лапами и залилось пронзительным хохотом. Сонпольев бросил нож на стол. Крикнул:

— Злая гадина! Чего ты от меня хочешь?

Гость вскочил на островерхую крышку чернильницы, стал там на одной ноге, вытянул руки вверх и закричал пронзительно и гнусаво:

— Человек с одною головою, вспомни свое далекое прошлое, когда ты и он были в одном теле. И когда вы вместе пошли на опасное дело. Вспомни пляску, пляску в страшный час.

Стало вдруг темно. Хохот звучал, хриплый и гнусный. Голова кружилась...

Из мрака медленно выдвигались легкие колонны, невысокий потолок. Тускло горели светочи. Красные в сладком воздухе зыблились их огненные языки. Переливно пела флейта. В легкой пляске мерно двигались ноги, — прекрасные юношеские ноги.

И чудилось Сонпольеву, что он молод и силен, что он пляшет вокруг пиршественного стола. На него глядит обрюзглое, наглое, пьяное лицо, — пирующий хохочет, — ему весело, ему нравится пляска полуобнаженных юношей. Чудится Сонпольеву, — бешеная злоба душит его и мешает ему исполнить замысел. И он в быстрой пляске проносится мимо пирующего, и руки его дрожат. Багровый туман ненависти застилает его глаза.

Но в то же время пробуждается его вторая душа, хитрая, ласковая, кошачья душа. Юноша улыбается торжествующему, и снова в плавной пляске проносится мимо него ласковый, нежный отрок. Пирующий хохочет. Нагие ноги юноши и его обнаженный торс веселят хозяина пира.

И снова ненависть, застилающая глаза багровым туманом, сотрясающая руки злою дрожью. И снова хитрая улыбка ласкового юноши.

Кто-то злобно шепчет:

— Долго ли мы будем кружиться напрасно? Пора. Пора. Кончай же!

Усилие дружных воль. Две души сливаются в одну. Ненависть и хитрость. Легкое, плавное движение, — сильный удар, — легкие ноги уже уносят юношу в быстрой и красивой пляске. Хриплый крик. Смятение. Все смешалось...

И снова темно.

И очнулся Сонпольев: тот же уродец пляшет на столе, и кривляется, и хохочет.

Сонпольев спросил:

— Что же это?

Гость сказал:

— В этом юноше две обитали души, и одна из них теперь твоя, душа пламенных чувств и страстных желаний, вечно несытая, дрожащая душа.

И задрожал сверлящий уши смех. И заплясал уродец. Сонпольев крикнул:

— Стой, плясун! Ты, кажется, хочешь сказать, что вторая душа того древнего юноши живет в тщедушном теле этого ненавистного, смуглого мальчишки?

Гость перестал смеяться и прокричал:

— Человек, ты наконец понял то, что я хочу тебе открыть. Теперь, может быть, ты догадаешься, зачем я пришел к тебе и кто я.

Сонпольев переждал резкое дрожание смеха и ответил своему гостю:

— Ты — соединяющий души. Но отчего же ты не сделал этого при нашем рождении?

Урод зашипел, съежился, завертелся, потом приостановился, выбросил кверху одну из своих боковых голов и прокричал:

— Мы это поправим. Если ты хочешь. Хочешь?

— Хочу, — быстро ответил Сонпольев.

— Позови его к себе под Новый год и позови меня. А чтобы позвать меня, возьми этот волосок.

Уродец быстро перебежал к лампе, положил на ее плоскую подставку черный, тонкий, короткий волос и продолжал:

— И зажги его. И я приду. Но знай, что после того ни ты, ни он не сохраните своего отдельного бытия. И уйдет отсюда только один, который совместит обе души, но не ты и не он.

И вдруг исчез. Еще звучал, терзая слух, его резкий, ржавый хохот, — но уже никого не видел перед собою Сонпольев. Только черный на плоском подножии лампы волос напоминал о госте.

Сонпольев взял волос и спрятал его в своем бумажнике.

Уже к полуночи клонился последний в году день.

У Сонпольева сидел опять Гармонов. Говорили тихо, как бы сдерживая голоса. И было жутко. Сонпольев спросил:

— Вы не досадуете, что я пригласил вас на эту одинокую беседу?

Смуглый юноша широко улыбнулся, и от этого зубы его казались слишком белыми. Он говорил что-то медлительное, скучное, что-то

такое внешнее, что Сонпольеву не хотелось слушать. Сонпольев спросил, вне всякой связи с предыдущим разговором:

— Вы помните ваше прежнее существование?

— Очень смутно, — ответил Гармонов.

Было видно, что он не понял вопроса и думает, что Сонпольев спрашивает о детских годах.

Сонпольев досадливо нахмурился. Начал объяснять, что он хотел сказать. Чувствовал, что это выходит запутанно и длинно. И от этого еще больше досадовал.

Но Гармонов понял. Обрадовался. Покраснел слегка. Сказал живее обыкновенного:

— Да, да, мне иногда кажется, что я раньше жил. Такое странное ощущение. И как будто та жизнь была полнее, смелее, свободнее. Как будто бы смел делать то, на что теперь не дерзаешь.

— И вам кажется, не правда ли, — с волнением спросил Сонпольев, — что вы как будто что-то потеряли? Как будто бы вам теперь недостает самой значительной части вашего существа?

— Да, да, — сказал Гармонов, — вот именно такое впечатление.

— И вы хотели бы восстановить эту недостающую часть? — продолжал спрашивать Сонпольев. — Опять, как прежде, быть цельным и смелым, опять, как в старину, совмещать в одном теле, легком, юношески свободном, всю полноту жизни и дивное соединение и тождество противоречий нашей человеческой природы. Быть более чем цельным, — слушать в груди своей биение как бы удвоенного сердца, быть таким и иным, быть соединяющим в себе враждующие души и из пламенной борьбы великих в себе противоречий выносить мужество и твердость великого подвига.

— Да, да, — сказал Гармонов, — я тоже иногда мечтаю об этом.

Сонпольев боялся глядеть на неуверенное, смущенное лицо смуглого юноши. Он смутно боялся, что это лицо будет его расхолаживать. Он торопился.

И уже близка стала ночь. Сонпольев тихо сказал:

— Вот в моих руках есть средство достигнуть этого. Хотите ли вы этого достигнуть?

— Хочу, — нерешительно сказал Гармонов.

Сонпольев поднял глаза. Решительно и настойчиво смотрел на Гармонова, как бы требуя от него чего-то настоятельно необходимого. Неотступно смотрел прямо в черные юношеские глаза, которые, конечно, должны были быть пламенными, но на самом деле были только коварными, холодными глазами маленького человека с половинчатою душою.

И казалось Сонпольеву, что под его пламенным и неотступным взором глаза Гармонова зажигаются восторгом и жгучею злобою. Смуглое лицо юноши стало вдруг значительным и строгим.

— Хотите? — еще раз спросил Сонпольев.

Гармонов решительно и быстро сказал:

— Хочу.

И словно чей-то чужой, резкий, звонкий голос произнес:

— Человек маленький и лукавый, совершивший, однако, подвиг великого мужества в одном из древних переживаний, — совершивший подвиг, ибо сочетал свою лукавую душу с пламенною душою негодующего, — скажи в этот великий и единственный час, твердо ли решился ты соединить свою душу с тою, иною душою.

И еще быстрее и решительнее ответил Гармонов:

— Хочу.

Сонпольев прислушивался к резкому голосу вопрошающего. Он узнал его. И не ошибся: «хочу» Гармонова уже тонуло в ржаво-металлическом хохоте того дивного посетителя.

И когда хохот затих, Сонпольев сказал:

— Но знайте, что вы для этого должны отказаться от соблазна и радости отдельного бытия. Вот я совершу чародейство, — и оба мы погибнем, и освободим наши души или сольем их в одну, и уже не будет ни меня, ни тебя, — будет один, пламенный в замысле, холодный в исполнении. Надлежит нам уйти обоим, чтобы дать место ему, в котором мы оба таинственно сольемся. Друг мой, решились ли вы на это страшное дело? Страшное, великое дело?

Гармонов улыбался странно и неопределенно. Но пламенный взор Сонпольева погасил его улыбку, и юноша, голосом неживым, туск-

лым, как бы покоряясь непреодолимому, роковому повелению, произнес:

— Я решился. Я хочу. Я не боюсь.

Дрожащими пальцами вынул Сонпольев из бумажника чародейный волос. Зажег свечку. За нею таился четырехголовый посетитель. Он был сегодня серый и зыбкий и маячил, как тень от зыблемой пламенной стихии, ласкавшей сожигающими объятиями белое тело покорной свечи.

Гармонов широко раскрытыми глазами, не отрываясь, следил за движениями Сонпольева. Сонпольев поднес волос к огню свечи. Слегка закрутился волосок, зарделся, вспыхнул. Горел очень медленно, с тихим ритмическим потрескиванием, похожим на смех ночного гостя.

И сам дивный уродец, кривляясь и прыгая, выдвинулся из-за свечи. Он стал посредине стола, смотрел то на волосок, то на юношу, что-то шептал, отрывистое и невнятное, и после каждого слова заливался тихим смехом, похожим на потрескивание горящего волоска.

Слова чудного гостя были простые, но страшные. Сначала они шли мимо сознания Сонпольева, — так был Сонпольев взволнован и поглощен горением чародейного волоска, что с простыми, знакомыми словами урода не соединял никакой мысли. Вдруг ему стало страшно. Вслушался. Насмешливо звучали простые, страшно простые слова:

— Душа маленькая, коротенькая, душа боязливая.

В страхе поднял Сонпольев глаза на Гармонова. Смуглый юноша сидел, странно скорчившись. Лицо его было бледно. Капельки пота выступали на лбу. Жалкая, принужденная улыбка кривила его губы. Когда он увидел, что Сонпольев смотрит на него, он скорчился еще больше и как бы против воли зашептал голосом прерывающимся и глухим:

— Мне страшно. Мне больно. Не надо этого.

И вдруг изогнулся, как кошка, хитрая, робкая, злая, метнулся вперед и, нелепо и уродливо вытянув слишком красные губы, дунул на догоравший волосок. Пламя на волоске поднялось узкою струйкою, дрогнуло, погасло. Синий дымок заструился в тихом воздухе. Резкий хохот ночного гостя сверлил слух.

Звенели гнусные слова:

— Не удалось, не удалось!

Гармонов сел. Виновато и хитро улыбался. Сонпольев смотрел на него невидящими глазами.

В соседней комнате послышался бой часов. И на каждый удар соединяющий души урод отвечал хриплым криком:

— Не удалось!

И пружинно-резким хохотом. И кружился, и кривлялся, и казалось, что он тает в желтом озарении неживой, электрической лампы.

Когда двенадцатый удар, последний голос уходящего года, замолк, и замолк гнусный крик:

— Не удалось!

И замолк гнусный хохот исчезающего урода, — Гармонов поднялся, словно радуясь избавлению от роковой беды, и сказал:

— С Новым годом.

Ничего не вышло

Сидели мы вечерком на балконе дачки Ивана Степаныча Молодилова, попивали чаек с ромом и слушали хозяина. В карты не играли. Недурно было бы перекинуться на чистом воздухе, под березками, да уж такая компания подобралась, что никакой игры не вышло. Хозяин наш был говорун, вот мы его и слушали, а он рассказывал нам разные случаи, покручивая свои длинные сивые усы да сверкая черными, еще зоркими глазами. Он говорил:

— Я — человек русский, я там разных этаких экивоков не понимаю, а по-моему, — задумал дело и делай, а на попятный двор ни-ни!

— Само собой, — подтвердил плотный сангвиник Сабельников, — хватай быка прямо за рога!

— Именно так, за рога. Да вот я вам расскажу несколько случаев из моей жизни, так вы сами увидите, как мы умели обделывать делишки.

Иван Степаныч призадумался, вытер лысую голову красным платком и стал рассказывать:

— Было это в эпоху невинного отрочества. Славное было времечко! Пороли как сидорову корову, а все-таки не без приятности бывало.

— Воображаю! — проворчал желчный Ежевикин.

Хозяин строго взглянул на него и продолжал:

— Учился я в Кипрейском кадетском корпусе. Знаменитое было заведение, на всю Россию славилось. Ну и точно, там были мастера своего дела: и директор, да и прочее начальство. И никак ты к ним не приспособишься, — по глазам, шельмецы, видят, чуть что не так, ну и сейчас, известное дело...

— Законное возмездие? — подсказал, подмигивая хозяину, Сабельников.

— Вот именно. Кормили при этом так, что вспомнить не хочется. Но больше всего насолил нам один из учителей, — и не из важных, молоденький: ядовитый был такой, что не приведи Господи. Вызубришь ему урок на совесть, а нет-таки, собьет, хоть ты что хочешь! И залепит нуль. Так он аппетитно нуль закручивал, точно рюмку водки выпьет.

— Скотина! — проворчал Ежевикин.

— А чем он больше всего донимал, — продолжал Молодилов, — так это своею тихостью: говорит, каналья, ласково, голоса никогда не возвысит, а после его урока, глядишь, пятерых, не то десятерых из нас выдерут. Ну мы терпели, терпели, да и решили взбунтоваться. Признаться сказать, зачинщиком-то был я. Ну-с, мы и порешили на следующем же уроке двери приперечь поплотнее и его, протоканалью, избить на славу. Все как следует приготовили, даже репетичку сделали, и ждем. Наступил назначенный час. Сидим мы, можете себе представить, бледные, решительные, на дверь уставились, стало так тихо, как еще никогда не бывало. И вот в коридоре, слышим мы, идет он, — его походочка, легонькая такая. Мы все, поверите ли, дрожим, у всех кулаки сжаты, — вы понимаете, у всех накипело. Вошел он, — фертик этакий, улыбается, сам маленький, фрачок аккуратненький, — мы все в ту же минуту вскочили на ноги, как один человек.

Иван Степаныч остановился и обвел нас гневным взглядом.

— Что ж дальше? — нетерпеливо закричали мы.

— Ну-с, и представьте себе, — воскликнул Иван Степаныч, подымаясь с кресла и выпрямляясь во весь свой богатырский рост, — вскочили мы...

— Ну, ну, — торопил рассказчика любопытный юнец Лабазников, не в меру суетливый.

Иван Степаныч сердито взглянул на него и с ожесточением сказал:

— Ну и ничего не вышло. Струсили, мерзавцы!

И Молодилов ударил кулаком по деревянной балюстраде балкона, сердито сплюнул в сад и уселся поудобнее в свое кресло. Мы переглянулись — и расхохотались.

II

— А то еще вот что было, — рассказывал Иван Степаныч. — Прослужил я несколько лет и надумал жениться. Ну, я долго думать не люблю, — задумано — сделано. Я и под старость такой, а тогда и тем паче, — кровь-то молодая, горячая, сами знаете.

— Как не знать! — весело сказал Сабельников.

— Стояли мы с полком в городе Бедренце, — пустой городишка, никакой в нем значительности нет. Не знаю, может быть, теперь там что, а тогда совсем было захолустье. Но, однако, невест было достаточно. Вот выбрал я себе одну барышню, Леночку Ручейникову: и сама девица была во всех статьях авантажна, да и прилагательным Бог не обидел.

— Это — главное? — спросил Ежевикин.

— Само собой! а то как же! Ну, я такой человек, — ухаживать там, канителиться, — это не по моей части, — я по-русски, по-простецки решился действовать. Примундирился, припарадился, да и поехал делать предложение. Приехал это я к ним и думаю сам с собой, с кого тут начать, с папеньки да маменьки или с девицы. Ба! — думаю, — ведь мне не с папенькой да маменькой жить, а с девицей, с нее, значит, и начинать надо. Правильно ли я говорю?

— Совершенно правильно, — единогласно одобрили мы.

— Подхожу я к девице и без всяких затейливых фигур прямо ей так-таки и брякнул: осчастливьте, сударыня, будьте моей женою. Ну и что же, представьте, — ничего не вышло! Оказалось, что она уже помолвлена с каким-то штафиркой.

Мы засмеялись.

— Смейтесь, смейтесь, — с неудовольствием сказал Иван Степаныч, — а я зато отделался без всяких этаких финтиклюшек, бильедушек да рандевушек. Скоро и хорошо.

III

— А то еще такой казус был. Был уже я в отставке и проживал в городе Жабрице, — уездный городишко не из важных. Одолели нас купцы, за все дерут втридорога, конкуренции никакой. А слышим мы, в других местах потребительные общества заводятся. Собрались мы, потолковали. Только я вижу, дело тянут, а я мямлить не люблю, я живо, по-русски. Выписал я из Питера штуки три уставов этих самых, подобрал человек пять таких же незеваек, как я сам, засели мы за работу, уставчик склеили и пригласили других сообща обсудить. Ну само собой, на новинку многие пошли, собралось под сотню желающих всякого звания людей. Было у нас заседаний пять, устав рассмотрели досконально, переписали набело, подписались и послали куда надо.

— А много ли вас осталось на последнем-то заседании? — спросил Ежевикин.

— Осталось нас не очень много, а все-таки подписали устав тридцать два человека с росчерком.

— Это как — с росчерком? — полюбопытствовал Сабельников, улыбаясь сочными губами.

— А это был у нас чиновник акцизный, он так расписывался всегда, — сперва росчерк фигуристый, а потом фамилию влепит, да так, что сам черт не разберет, где начало, где конец. Мастак был на это. Ну вот, сделал он росчерк, а сам струсил. Нет, говорит, я подожду,

мне, говорит, неудобно, я, говорит, все же по бандерольной части; как бы за это сверху не влетело. Так один росчерк и остался. Ну ничего, мы отправили, — вышло вроде того, что это верхний залихватски расчеркнулся. Нас долго не томили, — прошло годика два с небольшим, устав мы получили обратно, и пишут нам: так-то и так-то надо изменить, сообразно с местными условиями. Мы снова собрались, изменили, что велено, переписали, подписали и послали.

— А сколько было вас тогда? — спросил Ежевикин.

— Было нас весьма достаточное число: двадцать три человека, — из старых девять да новых четырнадцать.

— Недурно! — воскликнул Ежевикин.

— Ну что же такое! Кто умер, кого перевели, кому некогда было. Вот послали мы и ждем.

Дождались, — через три года прислали нам устав, уже совсем утвержденный. Мы ликуем. Соорудили выпивку такую, что потом в неделю еле очухались, а там и собрались. Привалило тридцать девять человек да еще сомнительных сотни полторы, посмотреть. А после, говорят, и мы примкнем. Выбрали распорядителей, казначея. И вижу я, попал в казначеи такой господин, которому я носового платка не доверил бы. Как это вам понравится? Но я молчу, — выбран законно, воля большинства, — тут нечего растабарывать. Однако думаю себе: нет, такому господину я поостерегусь свои деньги, свой пай давать. Ну и представьте себе, из всего этого нашего общества...

— Ничего не вышло, — перебил Ежевикин.

— Именно так. Удалось этому господину собрать три пая, да и те он в тот же вечер пропил, — а другие уж не давали денег. Распорядители было туда, сюда, — давайте, говорят, господа, другого казначея выберем. Но только все отмахиваются: в своем-то, мол, кармане денежки целее будут авось.

— А вы, Иван Степаныч? — спросил Сабельников.

— А уж я отстранился. Если они не знают, кого выбирать, то и наплевать. Помилуйте, я для них трудился, распинался, хлопотал, а они выбирают не меня, а какого-то, извините за выражение, прохвоста! Сами и виноваты, — без меня у них ничего не вышло.

Превращения

I

С книгою и с книжкою

Помню, — нас, детей, нисколько не удивляло двойственное поведение старика, Ивана Петровича. Мы уже применились и знали, как быть, когда дедушка с книгою и когда он с книжкою.

Случалось, в праздничный вечер, уже когда мы наиграемся вдоволь и уже из маленьких кое-кто готов раскапризничаться, приходил к нам дедушка Иван Петрович с громадною книжищею в толстом переплете с тяжелыми застежками. На дедушке был надет черный длинный сюртук, черный галстук, — а сам дедушка был сухой и строгий.

Дедушка вынимал из футляра серебряные очки, надевал их медленно и важно, — словно это был знак особого достоинства, — раскрывал свою книжищу на столе в столовой и громко говорил:

— Дети, успокойтесь! Послушайте!

Тогда мы, дети, собирались и чинно рассаживались вокруг стола. Важные и простодушные рассказы читал нам дедушка, исполненные непонятного смысла и высокой поучительности. Мы слушали, иногда дремали — и отходили ко сну с утихомиренными душами.

Иногда приходил к нам Иван Петрович днем в праздник, одетый в летний серенький пиджачок, с сереньким или пестрым галстучком на шее. В руке он держал маленькую книжку, без переплета, с поотрепавшимися у страниц краями. Дедушка улыбался, — все морщинки на его лице дрожали от сдержанного смеха.

С шумными криками мы, дети, окружали старичка, — и то-то было смеху и радости! Веселые историйки, забавные игры, замысловатые загадки, — чего-чего не было в маленькой книжечке!

Быстро пролетал час, другой, — Иван Петрович уходил, радостная, благодарная толпа ребят провожала его, любовно поглядывая на

его доброе, морщинистое, но румяное лицо, в его живые, веселые, совсем еще молодые глаза.

И долго потом вспоминалась детям книжечка.

II

Учитель и конторщик

Андрей Никитич Шагалов, учитель сельской школы, молодой человек степенный и добродетельный, хотя и холостой, одевался всегда чистенько, прилично званию и положению. Держал себя с достоинством. Любил бывать у батюшки, законоучителя его школы, — и ни разу не ссорился с ним. Нередко заходил к местному земскому фельдшеру, уряднику, волостному писарю и старшине. Каждому оказывал должное почтение и на свою долю получал достаточно такового же. Не гнушался и простыми мужичками, но запанибрата с ними не держался.

В гостях Андрей Никитич вел себя тонко, говорил о том, что могло занимать хозяина, иногда легонечко спорил, но всегда приятно и сдержанно, и никогда не доводил спора до резких пререканий. Если собеседник упрямо говорил что-нибудь такое, с чем никак нельзя было согласиться, Андрей Никитич умел шуточкою или иным ловким оборотом переменить предмет беседы.

Случалось Андрею Никитичу бывать и у местного помещика, отставного действительного статского советника Палицына. И там Андрей Никитич поддерживал себя на должной высоте, приходил в крахмалах, здоровался за руку, был умеренно почтителен и долго не засиживался.

— Заходите, Андрей Никитич, — говорил ему, пожимая на прощанье руку, господин Палицын.

Андрей Никитич вежливо благодарил.

— Покорно благодарю, Владимир Алексеевич, — говорил он, — сочту непременным долгом.

Приятно осклаблялся, уходил и по дороге домой весело помахивал тонкою тросточкою, как человек, довольный судьбою.

Кончались по весне занятия в школе. На лето помещик нанимал лишнего приказчика. Приглашали всегда Андрея Никитича.

Уже он надевал не крахмалы, а чистую вышитую рубашку под пиджак, высокие сапоги и являлся в контору. Барину докладывали. Немного, — но и не мало, — погодя, звали учителя в кабинет.

Шагалов входил, кланялся низенько, останавливался у порога и легонечко покашливал в руку из скромности. И уже он не осклаблялся, как бывало зимой. Барин слегка кивал ему головою и не вставал с кресла у письменного стола.

— Э... ну что ж, — говорил он с растяжкою, — нам того... долго разговаривать нечего, — э... по-прошлогоднему?

— Так точно, ваше превосходительство, — отвечал Шагалов, и звук его голоса, и вся его фигура олицетворяли почтительность.

— Так уж ты, Андрей, старайся, — увереннее и быстрее говорил барин, — а ежели я... э... сгоряча скажу что-нибудь... э... лишнее, так уж ты, того, не взыщи.

— Помилуйте, ваше превосходительство, уж это само собой, как же-с иначе, — почтительно говорил Шагалов.

— Ну да, я знаю, ты это понимаешь, — продолжал барин, — со своим приказчиком я не могу нежности разговаривать. Э... там зимой, мы и на «вы», и за руку, и все такое, а теперь мне... э... приказчик нужен, дело делать, а не... э... миндальничать.

— Уж я это понимаю, ваше превосходительство, — уверял Шагалов, — уже вы меня знаете, останетесь довольны, не извольте беспокоиться.

Так начиналась летняя служба учителя Шагалова. Барин говорил ему «ты», называл Андреем, а иногда, под горячую руку, ругал скотиною и грозил заехать в морду.

Зато платил хорошо, — и не затягивал, — семьдесят пять рублей в лето — деньги!

III

С учеником и с гостем

Инспектор гимназии кончал обед.

Звонок.

— Несет нелегкая кого-то спозаранок, — сердито проворчал инспектор.

В прихожей открыли дверь.

— Да это не гость, — сказала жена, заглядывая со своего места в полутемную прихожую, — гимназист пришел какой-то.

— Гимназист Буров, — доложила горничная.

— Проводите в кабинет, пусть подождет, — недовольным голосом сказал инспектор.

Он нарочно затянул обед.

«Не вовремя приходят, — досадливо думал он, — есть гимназия, я не каторжный».

— Надо вовремя, — сказал он, входя в кабинет. — Нельзя же во всякое время дня и ночи.

Буров, мальчик лет тринадцати, вскочил со стула, ловко шаркнул и навытяжку стал у дверей тесного кабинета. Инспектор сел в кресло, потянулся, строго оглядел гимназиста с ног до головы и сердито сказал:

— Пояс на боку.

Буров покраснел, передвинул у пояса пряжку прямо наперед и снова опустил руки.

— И что вы вахлаком стоите! Одно плечо выше, носки вместе, — тихо говорил инспектор, преувеличивая недостатки в стоянии мальчика.

Буров старательно поправился. Инспектор вздохнул, еще раз потянулся и спросил с сухою, служебною вежливостью:

— Чем могу служить?

Но тотчас же сказал желчно:

— Разве вы не могли в гимназии!

— Извините, Петр Иваныч, — сказал Буров, — я не знал, мама...

Инспектор перебил его.

— Чем могу служить? — резко спросил он.

Буров быстро и отчетливо сказал тоном служебного доклада, как маленький, но уже отлично вымуштрованный чиновник:

— На воскресенье и два праздника позвольте мне, Петр Иваныч, уехать с мамой в имение и не быть в гимназии в церкви.

— К классному наставнику надо, — сердито сказал инспектор, — порядка не знаете. Вы бы еще разлетелись к директору!

— Разрешите вы, Петр Иваныч, — просил Буров, — все равно к Николаю Алексеевичу далеко, а мы сегодня хотим уехать.

— Можете, — сухо сказал инспектор. — Больше ничего не надо?

Буров шаркнул ногою, поблагодарил, перестал вытягиваться, — даже руку на пояс положил, — и сказал совсем другим, домашним тоном:

— Мама велела просить вас, Петр Иваныч, приехать к нам на эти дни погостить.

Инспектор улыбнулся.

— Ну уж это дело частное, — сказал он, — садитесь, Сережа, гостем будете.

Мальчик опять шаркнул, сел на кушетку, рядом с инспектором, локоть положил на валик, ноги поместил поудобнее.

— Скажите вашей маме, — начал было инспектор.

Сережа перебил его:

— И Анну Владимировну с детьми мама просит.

— Ну, — сказал инспектор, — уж это надо у них спросить, пойдемте.

Он взял Сережу за плечи и повел его к жене.

IV

В сапогах и босиком

Петя Горнилов, дьячков сын, обучался в городском училище. Много шалил, но учился бойко, — шустрый паренек. Держался развязно. Учителю на улице кланялся почтительно, но с достоин-

ством, и здоровался за руку, так как учитель водил знакомство с его отцом.

В классе Петя учителю не очень-то уступал, — не давал ему себя слишком притеснять. Если за шалости Петю посылали в угол или ставили на колени, — он становился неохотно, долго оправдывался, спорил, даже, случалось, дерзил.

О себе думал Петя высоко. Читал он книжки — и старался выбирать те, что для взрослых. Хотел учиться дальше и выучиться настолько, чтобы получать хорошее жалованье, больше, чем отец, и жить лучше отца, например, как учителя живут.

Настала весна, и уже снег стаял. Утром, в неучебный день, Петя собрался удить рыбу. Он вышел из дому босой. Так он будет часто ходить, — все лето и осенью долго, пока тепло.

На улице Петя встретил учителя. Петя к сторонке, — покраснел, отошел подальше, чтобы не здороваться с учителем за руку, снял шапку, поклонился издали. Теперь, когда Петя идет босиком, он думает про себя, что еще он простой мальчишка, которому еще далеко до хорошего жалованья. Поэтому, босой, Петя скромный да смирный, особенно вначале, пока еще ноги не загорелые.

Завтра в классе, пошли его учитель в угол хоть ни за что, Петя пойдет послушно, чувствуя в душе почтение к учителю, к его господскому положению, к его казенному жалованью и к его форменной одежде.

V

С подчиненным и с начальником

Начальник спросил столоначальника:

— Ну, что у вас?

Замерший в почтительном склонении столоначальник робко сказал:

— Я должен доложить вашему превосходительству, что приказание, которое изволили отдать ваше превосходительство, относитель-

но сношения с губернским правлением, не могло быть исполнено по неимению у нас достаточных...

— Это у вас обычная история, — резко прервал начальник, — надо заблаговременно. Но, пожалуйста, сократите, — я должен ехать, меня вызывают. Есть еще у вас какие-нибудь дела?

— Не особенно важные, ваше превосходительство, — если позволите, можно отложить.

— У вас, кажется, все дела не особенно важные. Ну-с, до свиданья.

Протянул два пальца, — для почтительного пожатия, — подчиненному, взглянул еще раз на часы и торопливо проследовал мимо склонявшихся перед ним чиновников к подъезду.

В карете начальник чувствовал легкое волнение. Сейчас он предстанет и скажет:

— Осмелюсь доложить вашему высокопревосходительству...

А его высокопревосходительство скажет:

— В вашем департаменте, почтеннейший Павел Павлович, всегда неблагополучно. Опять вы меня подвели. Так нельзя-с.

Начальник ответит:

— Извините великодушно, ваше высокопревосходительство, но я уже неоднократно имел честь вам докладывать...

— Ну да, знаю, — сердито прервет «особа», — вы всегда хотите быть правы. Кстати, вы сколько лет изволите быть в чине?

— Семь лет, ваше высокопревосходительство, — трепетными губами ответит начальник.

— Да-с, — задумчиво скажет его высокопревосходительство, — так что при отставке можно и в тайные. Да-с...

Его высокопревосходительство помолчит, пожует губами, вздохнет и скажет:

— Я просил вас, Павел Павлович, пожаловать, собственно, вот по какому делу...

Так мечтает горестно начальник, сидя в карете, и сердце его сжимается тоскливо.

Призывающий Зверя

I

Было тихо, спокойно, не радостно и не грустно. Горела электрическая лампа. Стены казались несокрушимыми. Окно скрывалось за тяжелыми, темно-зелеными, в тон обоям на стенах, только гораздо темнее их, занавесками. Обе двери, — и большая, в боковой стене, и маленькая, в глубине кабинета, против окна, — были крепко закрыты. И там, за ними, было темно и пусто, — и в широком коридоре, и в скучной, просторной и холодной зале, где тосковали разлученные с родиною грустные растения.

Гуров лежал на диване. В руках была книга. Читал. Часто отрывался от чтения. Думал, мечтал, — все о том же. Все о них.

Они были около него. Это он уже давно замечал. Таились. Неотступно стояли близко. Шелестели тихохонько. Но долго не являлись его глазам. А на днях, когда Гуров проснулся вялый, тоскующий, бледный и лениво повернул выключатель электрической лампы, чтобы прогнать дикий мрак зимнего раннего утра, — он вдруг увидел одного из них.

Маленький, серенький, зыбкий, легкий, мелькнул вдоль изголовья, пролепетал что-то — и скрылся.

И потом, то утром, то к вечеру, пробегали перед Гуровым маленькие, зыбкие, — домашние нежити.

И уже сегодня он ждал их уверенно.

Временами начинала слегка болеть голова. Временами становилось вдруг холодно или вдруг жарко. Тогда выбегала из угла длинная, тонкая Лихорадка с некрасивым, желтым лицом, с костлявыми, сухими руками, ложилась рядом, и обнимала, и принималась целовать и смеяться. И эти быстрые поцелуи ласковой, хитрой Лихорадки, и эти медленные приступы легкой головной боли были приятны.

Слабость разливалась во всем теле. И усталость. Но и она была приятна. Казалось, что все буйство жизни отошло далече. Люди ста-

ли далеки, не любопытны, не нужны совсем. Хотелось быть с этими тихими, здешними, с нежитями.

Гуров уже несколько дней не выходил. Замкнулся дома. И к себе никого не пускал. Сидел один. Думал о них. Ждал их.

II

Странно и неожиданно прервалось томное ожидание. Стукнула далекая дверь, и в зале за дверью Гуров услышал неторопливые шаги. Кто-то шел там, приближаясь, ступая уверенно и легко.

Гуров повернул голову к двери. Повеял холод. Перед ним стоял мальчик дикого, странного вида. В полотняном плаще. Полуобнаженный. С голыми ногами. Очень смуглый. Загорелый весь. Черные, вьющиеся волосы. Черные, яркие глаза. Дивно правильное, прекрасное лицо. Столь прекрасное, что было страшно смотреть на его красоту. Не доброе, не злое.

Гуров не удивился. Какое-то властительное чувство захватило его. Было слышно, как притаились, попрятались домашние нежити.

И сказал отрок:

— Аристомах! Или забыл ты свое обещание? так ли поступают доблестные люди? Ты ушел от меня, когда я был в смертной опасности, ты обещал мне то, чего, видно, не захотел исполнить. Я так долго искал тебя! И вот нахожу тебя пребывающим в праздности, утопающим в роскоши.

Гуров смотрел в недоумении на отрока, полуобнаженного, прекрасного, и смутные воспоминания пробуждались в его душе. Что-то давно погребенное восставало неясным очерком и томило память, не находящую разгадки странного явления, разгадки, которая казалась, однако, столь близкою и родною.

И где незыблемость стен? Что-то происходило вокруг, — какая-то свершалась перемена. Но Гуров, поглощенный тщетными усилиями вспомнить что-то, и близкое, и ускользающее из цепких объятий древней памяти, еще не успел осознать уже чувствуемой им перемены. Он спросил дивного отрока:

— Милый мальчик, скажи мне ясно и просто, без лишних упреков, что я тебе обещал и когда я оставил тебя в минуту смертной опасности? Я же клянусь тебе всем святым, что моя честь никогда не позволила бы мне такого черного поступка, как тот, в котором ты меня почему-то упрекаешь.

Отрок покачал головою. Звучным голосом, подобным мелодичному рокоту струн, он сказал:

— Аристомах, ты всегда был искусен в словесных упражнениях и столь же искусен в делах, требующих отваги и осторожности. Если я сказал, что ты оставил меня в минуту смертной опасности, то это я сказал не в упрек, и я не понимаю, зачем ты говоришь о твоей чести. Замышленное нами дело трудно и опасно, но кто же нас слышит теперь, перед кем ты мог бы хитросплетенными словами и притворным забвением того, что свершилось сегодня утром, перед солнечным восходом, доказать, что ты не давал никакого мне обещания?

Свет электрической лампы становился тусклым. Потолок казался темным и высоким. Пахло травою, — ее забытое название было когда-то нежно и радостно. Веяло прохладою. Гуров встал. Спросил:

— Какое же дело мы с тобою замыслили? Милый мальчик, я ничего не отрицаю, — я только не знаю, о чем ты говоришь. Я не помню.

Казалось Гурову, что отрок смотрит на него и не на него. Как будто здесь есть кто-то другой, такой же дивный и нездешний, как этот странный пришлец, — и как будто дивное тело этого другого отчасти совпадает с телом Гурова. Как бы чья-то древняя душа навлекалась на Гурова и облекала его давно утраченною свежестью вешних восприятий.

Темнело вокруг, становилось свежее и прохладнее в воздухе, — в душе воздвигалась радость и легкость первоначального существования. Яркие загорались в черном небе звезды. Говорил отрок:

— Мы должны были убить Зверя. Вот, это я тебе говорю под многоокими взорами всевидящего неба, если ты сам смутился от страха. И как не быть страху! Великое, страшное затеяли мы дело, чтобы славою увенчались в далеких поколениях наши имена.

Тихо, однозвучно и робко журчал в ночной тишине ручей. Не видно его было, но отрадно чувствовалась его утешительная близость и свежесть. Под широкою сенью дерева стояли они и продолжали разговор, начатый некогда. И спросил Гуров:

— Зачем же ты говоришь, что я оставил тебя в минуту смертельной опасности? Кто я такой, чтобы устрашиться и бежать!

Отрок засмеялся. Как музыка звучал его смех, и мелодичны были звуки его ответа, звуки, пронизанные сладким смехом:

— Аристомах, как искусно притворяешься ты забывшим все! Не понимаю, для чего ты это делаешь, и делаешь с таким великим мастерством, что даже сам взводишь на себя упреки, о которых я и не думал. Ты оставил меня в минуту смертной опасности потому, что так же ведь и надо было, и ты не мог помочь мне иначе, как покинув меня в эту минуту. Или ты станешь упорствовать в своем отрицании и тогда, когда я напомню тебе слово оракула?

Гуров сразу вспомнил. Точно яркий свет пролился в темную область забытого. И в диком восторге, громко и радостно воскликнул он:

— Один убьет Зверя!

Отрок смеялся. И спросил Аристомах:

— Ты убил Зверя, Тимарид?

— Чем? — воскликнул Тимарид. — Как ни сильны мои руки, но я не тот, кто мог бы убить Зверя ударом кулака. Мы были неосторожны, Аристомах, и безоружны. Мы играли на прибрежном песке. И Зверь напал на нас внезапно и на меня наложил свою тяжкую лапу. Мне надлежало принести мою жизнь в сладостную жертву славе и высокому подвигу, а тебе — докончить наше дело. И, пока Зверь терзал бы мое тело, беззащитное и не защищающееся, ты мог бы успеть, быстроногий Аристомах, принести свое копье и умертвить пьяного от крови Зверя. Но Зверь не принял моей жертвы. Я лежал перед ним, спокойный и неподвижный, глядя прямо в его налитые кровью глаза. Он держал на моем плече тяжкую свою лапу, дышал горячо и неровно и тихо ворчал. Потом широким, жарким языком лизнул мое лицо и отошел.

— Где же он? — спросил Аристомах.

Странно спокойным и странно, в тихой неподвижности влажного воздуха, звучным голосом ответил Тимарид:

— Он шел за мною. Не знаю, как долго мне надо было пройти, пока я нашел тебя. Он шел за мною. Я приманивал его запахом моей крови. Не знаю, почему он до сих пор не тронул меня. Но вот я приманил его к тебе. Достань же оружие, которое так искусно ты спрятал, и убей Зверя, а я в свою очередь уйду от тебя и оставлю тебя одного в минуту смертельной опасности, с глазу на глаз с разъяренным Зверем. Будь счастлив, Аристомах!

И, сказав это, Тимарид бросился бежать. В темноте недолго мелькал его белый плащ. И вот уже он скрылся. И в тот же миг раздалось страшное рыкание Зверя и послышалась его тяжкая поступь. Раздвигая кусты, показалась в темноте громадная, уродливая голова Зверя, сверкнули багровым огнем два огромные, пламенные глаза. И на темном молчании ночных дерев, темный и свирепый, приблизился Зверь к Аристомаху.

Ужас наполнил сердце Аристомаха.

«Где же копье?» — краткая мелькнула в голове его мысль.

И в ту же минуту, быстрое почувствовав на лице своем веяние ночного свежего воздуха, догадался Аристомах, что он бежит от Зверя. Тяжелые прыжки Зверя и его прерывистое рыкание раздавались все ближе и ближе за Аристомахом. И уже когда Зверь настигал его, громкий вопль рассек ночную тишину. И возопил Аристомах, и, вспоминая древние и страшные слова, громко произнес заклятие стен.

И, заклятые, вокруг него воздвиглись стены...

III

Заклятые, незыблемо и светло стояли стены. Неживой отражался на них свет мертвой электрической лампы. Все обставшее Гурова было обычно и просто.

Опять легкая приходила Лихорадка, и целовала желтыми, сухими губами, и ласкала сухими, костлявыми руками, рассыпающими жар

и холод. Та же была книга, маленькая, скудная, с белыми страницами, на столике около дивана, на котором по-прежнему спокойно лежал Гуров, нежась в объятиях ласковой Лихорадки, осыпаемый ее быстрыми поцелуями. И опять около него маленькие смеялись и шелестели домашние нежити.

Гуров сказал громко и равнодушно:

— Заклятие стен.

И остановился. Но в чем же это заклятие? Забыл слова. Или их и не было?

Маленькие нежити, зыбкие, серенькие, плясали вокруг маленькой книги с мертвенно-белыми страницами и шелестинными голосочками повторяли:

— Наши стены крепки. Мы в стенах. Не придет к нам цепкий внешний страх.

Посреди их стоял один, такой же маленький, но не похожий на них. Он был весь черный. Одежда его струилась дымно-пламенными складками. Глаза исторгали яркие молнии. Становилось вдруг страшно и потом опять радостно. И спросил Гуров:

— Кто ты?

Черный гость ответил:

— Я — Призывающий Зверя. На берегу лесного ручья оставил ты, в давно минувшем переживании твоем, растерзанное тело Тимарида. Зверь насытился прекрасным телом твоего друга, — он сожрал плоть, которая должна вместить полноту земного счастия; дивное совершенство человеческого, — и более чем человеческого, — образа погибло, чтобы на миг насытить голодного и всегда ненасытного Зверя. И кровь, дивная кровь, божественное вино счастия и веселости, вино блаженств более чем человеческих, — где эта дивная кровь? Увы! — жаждущий, вечно жаждущий Зверь мгновенно упился ею и снова жаждет. Растерзанное Зверем тело Тимарида оставил ты на берегу лесного ручья, — ты забыл обещание, данное тобою твоему доблестному другу, и слова древнего оракула не отогнали страха от твоего сердца. И ты думаешь, что ты спасся, что Зверь не найдет тебя?

Жестоко звучали его слова. Пока он говорил, прекратилась понемногу пляска домашних нежитей, — остановились маленькие, серенькие нежити и слушали Призывающего Зверя. И сказал Гуров:

— Что мне до Зверя! Я заклял навеки мои стены, — и Зверь не проникнет ко мне, в мою ограду.

Серенькие обрадовались, и зазвенели, засмеялись, и уже готовились начать снова свою веселую пляску, и уже взялись за руки, и опять стали в кружок, — но Призывающий Зверя заговорил снова, и резки и суровы были звуки его голоса. И он сказал:

— Но вот я здесь. Я здесь, потому что я нашел тебя. Я здесь, потому что умерло заклятие стен. Я здесь, потому что Тимарид ждет и неустанно вопрошает. Слышишь нежный смех доблестного и доверчивого отрока? Слышишь грозное рыкание Зверя?

За стеною раздавалось, приближаясь, грозное рыкание Зверя.

— За стеною рычит Зверь, за незыблемою стеною! — в ужасе воскликнул Гуров. — Стены мои закляты навеки, и ограда их нерушима.

И сказал Черный, — и повелительно было выражение его слов:

— Говорю тебе, человек, умерло заклятие стен. И если хочешь спасти себя заклятием стен, — ну что же, скажи это заклятие.

Острый озноб вдруг пронизал все тело Гурова. Заклятие! Но забыты слова древнего заклятия. Да и не все ли равно! Умерло, умерло древнее заклятие.

И все предстоящее говорило с неотразимою убедительностью, что умерло древнее заклятие стен, — потому что и стены, и светы, и тени, — все стало мертвым и зыблемым. Призывающий Зверя говорил страшные слова. И кружилась, и болела голова у Гурова, и томила своими жаркими поцелуями неотступно ласкающая Лихорадка. Страшные слова звучали, почти не доходя до сознания, — а Призывающий Зверя становился все больше и больше, — и зноем веяло от него, и страхом. Глаза его метали огонь, — и когда он стал уже такой высокий, что заслонил свет ламп, — вдруг черный плащ упал с его плеч. И узнал его Гуров, — это был отрок Тимарид.

— Ты убьешь Зверя? — спросил Тимарид звонким голосом. — Я призвал его, привел его к тебе, разрушил заклятие стен. Коварный

дар враждебного божества; древнее заклятие стен обращало в ничто мою жертву, заслоняло от тебя твой подвиг. Но умерло древнее заклятие стен, — возьми же скорее свой меч, убей Зверя. Я был только отроком, — я стал Призывающим Зверя. Моею кровью я напоил Зверя, и он жаждет снова, и моею плотью я напитал его, и он опять голоден, ненасытный, жестокий Зверь. К тебе я призвал его, и ты, во исполнение обещания, убей Зверя. Или умри.

Исчез. Страшное рыкание потрясло стены. Холодною повеяло сыростью.

Стена, прямо против того места, где лежал Гуров, разверзлась, и вышел свирепый, громадный, уродливый Зверь. Со свирепым рычанием подошел он к Гурову, тяжелую на его грудь положил лапу. Прямо в сердце вонзились беспощадные когти. Страшная боль пронизала тело. Сверкая кровавыми глазами, Зверь наклонился к Гурову и, с треском дробя зубами его кости, стал пожирать его трепещущее сердце.

За рекою Мейрур

I

Две недели, проведенные мною и братом моим Сином в великолепной столице, пышной и порочной, промелькнули, как быстрый, смутный сон. Все дивило и поражало взоры жителей страны, удаленной не одним только расстоянием, но и нравами, от ухищрений и соблазнов этого гордого, царственного, торжественного города. Но слишком поздно понял я, что не только дивен и славен шумный, многолюдный и обширный город, но и страшен он для не искушенного опытом долгой жизни юного сердца. И сам я испытал соблазн и огорчение, ни с чем не сравнимое. Но не брать бы мне с собою молодого моего брата!

Друг наш Сарру, у которого мы остановились, хотел отплатить нам за гостеприимство наше во время его странствования в нашей земле. Он неотлучно был с нами, забыв все свои дела, и единственною заботою его было то, чтобы показать нам все достойное внимания в этом

дивном и великом городе. Тогда как другие хозяева часто тяготятся гостями и ждут с нетерпением разлуки, наш добрый друг жалел лишь о том, что мы не можем прожить в его доме долго, чтобы пройти весь годовой цикл торжеств, праздников и жертвоприношений.

Храмы божеств милостивых и свирепых, священные рощи таинственных духов, мрачные башни успокоения, благоуханные сады любострастных наслаждений, приюты расточаемых за деньги ласк, базары с неисчислимыми богатствами роскошных тканей, ковров, оружия, драгоценных камней, благовоний и мастей, забавных птиц и обезьян, отроков и рабынь всех оттенков кожи, от самого нежного розового до самого черного цвета, кофейни и приюты для курений, от которых человек восхищается в невиданные на земле области, и много еще иного, о чем и не упомню, показывал нам Сарру. Но речь веду не о множестве виденного. Одно было нам искушение, и оно привело нас и всю страну нашу к величайшим несчастиям.

И не посещать бы мне этого города! Или, по крайней мере, не брать бы мне с собою моего юного брата. Едва вышедший из отроческого нежного возраста, как мог он преодолеть искушение, которое и для меня было столь тягостным испытанием!

Однажды утром друг наш Сарру сказал нам:

— Сегодня я покажу вам царский зверинец, — в этом месяце сады зверинца доступны для обозрения не только нам, но и чужеземцам.

Брат мой Син шумными изъявлениями восторга радовал нашего друга. Я же смутился, ибо в ту ночь видел во сне зловещее предзнаменование: зверя непомерной силы и свирепости, рыкание которого было подобно голосу того, кто обитает в чащах за рекою Мейрур. И не идти бы мне в проклятый зверинец! Но не захотел я огорчать любезного нашего хозяина.

II

В саду, который казался нескончаемым, в клетках разной величины и разной формы, сделанных из различных металлов и разнообразного дерева, увидели мы прежде всего чудесное многообразие птиц.

Тут были и громадные птицы с сильными крыльями и хищно изогнутым клювом, которым они могли бы захватить и унести самого тучного барана, и птицы, лишенные почти совсем крыльев, но зато одаренные перьями удивительно красивой окраски, напоминавшими самоцветные камни в песке реки Мейрур, которыми, играя, забавляются наши дети; птицы, голос которых был так приятен, что пение их можно было слушать без конца с великим восхищением; птицы столь малой величины, что они казались красивыми стрекозами; были и такие птицы, которые умели говорить на языке той страны, хотя и не очень хорошо, но все-таки достаточно внятно и громко.

В громадных водовместилищах видели мы великое множество рыб и других речных и морских чудовищ. Далее были помещены громадные, страшные змеи. Они с такою яростью разевали свои ужасные пасти, высовывая страшные жала, что невольный трепет обнимал всякого. Взгляд свирепых гадин производил такое впечатление, что неосторожный, посмотревший прямо в змеиные очи, лишался способности двигаться; надо было, чтобы кто-нибудь другой увел его от страшного, хотя и безопасного места, — ибо эти гады не только были заключены в клетки с тонко извитыми решетками, но и были обезврежены: у них были вырваны зубы, в которых хранился пагубный яд.

Далее увидели мы неисчислимое множество клеток со зверями хищными и травоядными, — верблюды с одним и двумя горбами, носороги, бегемоты, невиданные звери с ужасными когтями и чудовища с носами, похожими на змей.

Мой юный брат Син восторгался всем, что он видел. Я же, от множества собранных в одно место чудовищ, из которых многие оглашали воздух противными и страшными звуками, все более и более смущался, и тягостные предчувствия все сильнее томили меня. Друг наш Сарру сказал нам:

— Сейчас вы увидите зверя, поистине царственного.

Но не успел еще Сарру произнести имя зверя, как свершилось дивное явление, повергнувшее меня в неизъяснимый трепет и заставившее меня в ужасе упасть лицом на землю. Над многообразием зве-

риных криков и людских веселых голосов раздалось внезапно грозное рыкание, — голос обитающего в чаще за рекою Мейрур.

Рыкание, которое в тишине наших ночей наводило ужас на сердца наши и означало, что обитающий в лесу, алкая новой жертвы, рыщет у околицы нашего селения, — это рыкание раздалось в зверинце великого царя. Повергнувшись на землю, ждал я, кого из присутствующих изберет он для своей трапезы, и таинственным ужасом было полно мое сердце. Мысленно прощался я с жизнью, — никогда в такой близости ко мне не слышал я грозного этого рыкания.

Когда я и брат мой Син лежали, распростертые в прахе и ждали, вдруг услышали мы громкий, заглушивший даже грозное рыкание, хохот множества людей. Друг наш Сарру, смеясь, как все, старался поднять нас с земли.

— Не бойтесь, — говорил он нам, — этот зверь, точно, страшен, если встретить его на воле. Но он посажен в прочную клетку и не уйдет из нее, хотя бы и еще сильнее был он. Мастер, строитель клетки, знает свое дело. Да и может ли грозить кому-нибудь опасность в том месте, где бывает сам великий царь, забавляясь заключенными в зверинце чудовищами?

Не поднимая лица, я отвечал другу нашему Сарру:

— Сердце мое не знает страха, и не дрожало оно в минуты смертной опасности. Но я слышал грозное рыкание и жду дивного и страшного явления. Обитающий в лесу за рекою Мейрур алчет жертвы, — и человеку надлежит лежать во прахе и ждать, кого возьмет свирепый для своей трапезы.

Смеясь по-прежнему, говорил Сарру:

— Это рычит зверь, посаженный в клетку, совершенно безопасный. Вот, смотри, и малые дети теснятся у клетки зверя и не боятся его, потому что решетка клетки несокрушима. Зверь получит только ту пищу, которую дадут ему приставники зверинца.

Долго не верил я другу нашему и долго лежал в пыли перед клеткою, потому что рыкания продолжались, такие же грозные и свирепые, как и те, которые ужасали меня по ночам, когда я просыпался в моем шатре и слышал приближающегося к селению и требующего жертвы.

Но брат мой Син тихо сказал мне наконец:

— Я осмелился взглянуть на клетку. Рыкание исходит от зверя, заключенного там.

И тогда я не знал, что думать и как мне быть. Коварный ли демон имеет в этом нечестивом городе такую власть, что осмеливается гнусным своим рычанием подражать грозному голосу? Но могут ли быть демоны столь дерзкие и столь сильные? Обитающий ли за рекою Мейрур таится в шкуре зверя, плененного и безопасного, смеется над жалкими в их ослеплении людьми и выбирает себе между ними жертву? Но может ли великий и грозный снизойти до того, чтобы прятаться в шкуре плененного зверя? Или презренный демон этого нечестивого города, лживый, коварный, покровительствующий хитрым, дерзновенным замыслам, измыслил неведомые чары?

Но не грозит ли неисчислимыми бедствиями для меня и брата моего Сина то, что мы осмеливаемся длить нечестивый восторг развратных жителей этого проклятого города и лежать, хотя и в смиренном положении, перед отвратительною клеткою, в которой совершается что-то, нам совершенно непонятное и, может быть, даже и совсем недоступное слабому человеческому разуму, но, несомненно, оскорбительное для заветов нашей благословенной родины?

Рыдая, лежал я во прахе, меж тем как нечестивцы издевались над нами, и не знал, что делать. И брат мой Син сказал мне:

— Уйдем отсюда.

Я не знал, можно ли уйти, пока он рычит над нами. И как подняться? И как увидеть того, в глаза которого еще никто из нас не смотрел? Если точно он здесь в клетке, то как уйти от него и как оставить его в унижении и позоре? Но что мы можем сделать? Оставаясь здесь и слушая насмешки и над нами, и над ним, не совершали ли мы сами гнуснейшего из человеческих грехов? И хотя в первую минуту мысль уйти от грозно рыкающего показалась мне преступною, но скоро я понял, что нам не остается ничего иного.

Но прежде, чем подняться и уходить, я тщательно закрыл плащом лицо моего брата Сина, думая, что, если кому-нибудь из нас надо погибнуть, встретив разъяренный взор, то пусть лучше погиб-

ну я, насладившийся долготою дней, а не брат мой, еще не испытавший сладчайших в скоротечной жизни радостей и утешений. Притом же юношеское легкомыслие могло заставить его снова поднять взор на клетку, — он мог подумать, что если первый взгляд его остался неотмщенным, то столь же счастлив будет он и второй раз. Я же, опытом долгой жизни умудренный, знал уже хорошо, что искушать судьбу безумно.

Ни на что более не глядя, вышли мы из зверинца, провожаемые грубыми насмешками толпы, безумной в своем нечестии. Поистине, грозной кары достойны не только люди, обитающие в этом проклятом городе, но и самые стены, столь хитро воздвигнутые и суетно увенчанные гордыми башнями.

III

В тот же день мы поспешно навьючили верблюдов и еще до солнечного заката покинули ужасный город.

Во время долгого, трудного пути много было у меня и у брата моего Сина досуга обдумать то, что случилось с нами в зверинце великого царя. Но никак не мог я понять значения того дивного явления, которое было нам.

Не надлежало ли толковать его как знамение, предвещающее нечто или ужасное, или благоприятное? Но согласно ли с истинным знанием, завещанным нам нашими предками, думать, что сильнейшее в мире является не само для себя, а только для того, чтобы в мире деяний человеческих быть неким вещим знаком? И кто мы такие, чтобы обитающий за рекою Мейрур приходил к нам без воли и могущества пожрать наши распростертые перед ним тела? Притом же никогда не слышали мы, даже и от старейших из старцев наших, чтобы он являлся предзнаменовать и пророчествовать о делах наших, — всегда приходил он, грозно рыкая, чтобы пожрать того из нас, на кого падал его выбор.

Долго шли мы с братом в пустынных местах, направляясь к родным селениям, и ничего не говорили друг с другом. По угрюмому молчанию брата моего понимал я, что и он думает о дивном явлении.

Наконец, уже когда до нашего дома оставалось не более трех дней пути, сказал брат мой Син:

— Когда поверглись мы на землю и лежали долго, а чужие люди издевались над нами, я наконец решился поднять голову. И ясно увидел я разверстую пасть зверя. Клянусь, не было в этом ошибки, — рыкание исходило из пасти зверя. Дикого зверя, пойманного людьми и посаженного в клетку.

Я сказал брату моему Сину:

— Об этих грозных явлениях надлежит молчать. Такова мудрость, которой научили нас предки. В мире есть много непонятного, — и как ни страшно то, что случилось с нами, мы должны с покорностью преклоняться перед волею приходящего к нам.

Син долго молчал. Когда день клонился к вечеру и уже солнце было низко, Син сказал мне:

— Это и было то самое рыкание, которое раздавалось у нашей околицы, когда он приходил за жертвою. Тот, которому мы поклонялись с таким смирением, с такою покорностью, тот, который пожирал без счета нежных дев и веселых детей, он оказался диким зверем с глазами зелеными, как у кошки, с желтою шкурою, испещренною черными пятнами. И его можно изловить и посадить в клетку.

Я ужаснулся и запретил брату моему Сину говорить такие нечестивые слова. Но Син, охваченный неистовством, исходящим от коварного духа, вечно враждующего с обитающим за рекою Мейрур, сказал мне с яростью:

— Я видел, что он — дикий зверь. И я не хочу, чтобы мы и впредь приносили ему такие бесчисленные, дорогие жертвы. Разве мы не можем построить такой для него клетки, которая была бы ему достойным вместилищем? И пусть он живет там мирно, не разоряя наших селений, не внося ужаса и горя в наши семьи, питаясь нашими добровольными приношениями. Я не так безумен, чтобы говорить, что можно жить без него, — но разве он не может питаться мясом баранов и быков? Зачем надо было, чтобы он пожрал в цвете лет твою невесту, прелестнейшую из девушек нашего села? Зачем надо было, чтобы столь многие оплакивали

своих детей, когда он превосходно мог бы насытиться от наших стад?

Объятый ужасом, тщетно запрещал я моему брату, тщетно даже я нещадно бичевал его, — его язык продолжал извергать злые и нечестивые слова.

И возвратились мы домой.

IV

Скоро между молодыми людьми начались тайные совещания, — брат мой Син собирал юношей нашего селения и прельщал их своими безумными рассуждениями. Увы! и сам я принужден был на прямо обращенные ко мне вопросы подтвердить, что и в самом деле в царском зверинце слышали мы, я и брат мой Син, грозное рыкание и что оно исходило из той самой клетки, где заключен был дикий зверь, плененный хитрыми и сильными охотниками, безопасный в крепко слаженном убежище.

Правда, я не уставал объяснять сомневающимся, что обитающий за рекою Мейрур не мог быть там в клетке и что исходившее из клетки рыкание было одним из тех неизъяснимых явлений, которые не могут быть постигнуты слабым человеческим разумом и о которых лучше всего хранить молчание. Но меня мало слушали и более верили злому внушению легкомысленного Сина, уверявшего, что обитающий за рекою Мейрур — зверь и что его надо посадить в клетку.

Все жители нашей страны разделились на две враждующие между собою стороны. Одни, соблюдая предания старины и заветы мудрых предков наших, сохранили веру в того, кто обитает в непроходимых чащах, недостижимый для людей, кто по ночам выходит из чащи к той или другой деревне и громким рыканием требует жертвы, — веру в то, что его пребывание в чащах близ селений наших благодетельно для нас, спасает нас от многих бедствий и дает нам счастие и удачу в охоте и других трудах наших. Другие же с нелепою запальчивостью и настойчивостью, пренебрегая мудрыми речами хранителей отеческого предания, твердили бессмысленную сказку, что тот, которому мы

доныне поклонялись, которому мы неисчислимые приносили жертвы, только зверь, таящийся в лесу.

Были многие смуты и раздоры, сопровождаемые даже драками и убийствами, — брат стал на брата и сын на отца, и во всех семьях нарушен был сладостный мир, и стали распри.

V

Наконец в сердце мудрого Белезиса вошла мысль, лукавая, но прельстившая многих, особенно из тех, которые любят примирять и выбирать во всем средние пути. Так говорил мудрый Белезис:

— Отцы наши преподали нам учение о поклонении обитающему в чаще и требующему человеческих жертв. Учение предков не должно быть нарушаемо и отвергаемо. Весь строй нашей жизни придет в совершенное замешательство, если из сердец наших исчезнет страх перед тем, огненный взор которого пронизывает непроглядную темноту наших ночей. И если мы, старцы и учители народные, в опыте долгой жизни нашей найдем достаточно научения к тому, чтобы и без него вести достойный предков наших образ жизни, то буйные и своевольные юноши наши, отринув мысль о нем, истребив в себе трепет перед таинственным существом, без сомнения, впадут в самый неистовый разврат.

Старейшины и учители народные громкими хвалами приветствовали мудрые слова. Найдя доступ в сердца лучших людей, мудрый Белезис продолжал говорить так, чтобы угодить и легкомысленным юношам. Так говорил он:

— С другой стороны, мы не можем сомневаться и в правдивости нашего общего друга Мелеха, и в правде повествований юного Сина. Так, в зверинце великого царя видели они дивно изукрашенное помещение, которое они называют клеткою, но которое, по их описанию, столь великолепно, что достойно, без сомнения, быть чертогом обитающего за рекою Мейрур. И слышали они голос, исходящий из этого чудесного чертога. А юный друг наш Син с отвагою, свойственною юношескому возрасту, осмелился даже бросить взор на существо,

которое рычало в чертоге в то время, как Мелех и Син воздавали ему поклонение, а распутные жители великого города глупым смехом своим свидетельствовали о глубине своего невежества. И видел Син, что рыкающее существо во всем подобно зверю. Так говорят они, и почему бы нам и не верить их рассказу? И почему бы обитающему за рекою Мейрур не иметь и звериного облика? Пожирающий тела наших юношей чего требует от нас? Не знаем ли мы, что он хочет пить живую кровь и есть живую плоть? Когда он берет отрока или деву, он не жарит, не коптит и не солит свою пищу, а пожирает ее живьем, — но откуда мы знаем, что он хочет непременно человеческого мяса? И если мы создадим ему помещение, столь же изукрашенное, как и то, в котором был заключен зверь великого царя, то не примет ли он благосклонно нашего труда? Может быть, поселившись в созданном нами чертоге, он пожелает изменить закон питания своего и будет довольствоваться живыми телятами и ягнятами.

Юноши и девы шумными изъявлениями восторга приветствовали коварную речь мудрого Белезиса.

— Создадим ему чертог! — восклицали они.

Более легкомысленные из них даже осмеливались говорить так:

— Построим поскорее клетку для зверя и загоним его туда. Довольно ему обжираться телами прекраснейших и сильнейших между нами.

Воистину, это были глупые юноши, — они думали, что жизнь есть величайшее благо.

Напрасно старцы, оставшиеся верными вере предков, обличали нечестие замысла хитрого Белезиса и корили его в том, что он на склоне своей жизни замыслил такое страшное дело. И из старцев многие, любящие своих детей более, чем бы надлежало, присоединились к нему, — и постройка чертога была решена.

VI

Пока строилось здание, называемое чертогом, но которое было, конечно, клеткою для зверя, некоторые из юношей задумали выйти на

обитающего за рекою Мейрур со стрелами и копьями. Конечно, они были казнены.

И еще случилось событие, которое повергло в великое смущение всех благочестивых и всем легкомысленным прибавило смелости.

Юноша Закир, один из храбрейших и искуснейших охотников, однажды пошел в лес и долго не возвращался. И уже мы считали его погибшим, и уже девы пели сладкогласные песни, прославляя отважного Закира.

Но вот через неделю на рассвете Закир вернулся, обессилевший от потери крови, покрытый страшными язвами, но пылающий радостью и отвагою. С неохотою и уклончиво говорил он старейшинам о том, где он был и что с ним случилось, но мы все заметили, что юноши и девы собирались около него в местах уединенных и слушали его рассказы. И скоро по селению нашему разнесся слух, что Закир встретил обитающего за рекою Мейрур и сражался с ним.

Дерзкий мятеж не мог быть терпим. Искусные подслушиватели, пылая ревностью и желанием снискать благосклонность старейшин, вызнали, о чем говорят юноши и девы, сходясь в уединенных местах, и что они скрывают от старейшин. Тогда Закира взяли и подвергнули пыткам, чтобы выведать от него, что с ним случилось.

Не стерпев жестоких мучений, Закир покаялся в своем грехе. Он говорил так, и мы все внимали ему в ужасе:

— Ночь была тиха и безлунна, когда я подходил к той чаще, что простирается на три дня пути за рекою Мейрур. Кинжал мой был остро наточен, и стрелы отравлены, ибо я твердо решился выследить и умертвить чудовище. Внезапно так близко от меня, как близко останавливается дева, любуясь на юношу, которого вожделеет, так близко, как близко падает первый камень из руки мальчика, начинающего учиться метанию камней, так близко от меня раздалось рыкание. Движимый силою привычки, вкоренившейся с детских лет, я повергся на землю и ждал. И тяжкая близко слышна была мне поступь и треск сухих ветвей под его стопами. Я ждал. Но холодная ящерица скользнула по моей ноге, и ее прикосновение напомнило мне все, что я слышал о зверинце великого царя и о чертоге зверя. И уже когда его ды-

хание горячо и бурно проносилось над моею шеею, я вскочил на ноги и схватился за мой кинжал. Не знаю, был ли передо мною он, или это было иное существо из породы демонов или диких зверей, — но я видел перед собою зверя, громадного, зеленоглазого, свирепого. Пасть его, разверстая, готовая растерзать меня, страшила огромными, острыми, белыми зубами. Воистину, кто бы он ни был, демон, бог или зверь, это было существо дивное и грозное. И не знаю, как случилось, что я снова не повергся на землю. Какая-то сила, более могущественная, чем мое бедное сознание, принудила меня встретить зверя очи в очи и принять грозный вызов рока. И я решил вступить в бой с этим чудовищем, кто бы он ни был. Зверь присел, как кошка, готовящаяся к прыжку, и снова ужасное рыкание огласило лес, наполняя меня неизъяснимым ужасом. Но я зорко следил за движениями зверя, и когда он кинулся на меня, я проворно увернулся и спрятался за деревом. Зверь готовился повторить прыжок. Казалось, что неудача досадует и стыдит его, и он прилег и затаился, хитрый, осторожный, злой. Поспешно изготовил я стрелу, и отравленная медь ее с тонким звоном метнулась навстречу зверю в одно время с его вторым прыжком. В тот же миг тяжелое, громадное навалилось на меня чудовище. Его когти вонзились в мое тело, но я, преодолевая боль и страх, успел ударить его кинжалом. Не помню, что было потом. Когда я очнулся, ночь приходила к концу. Я лежал окровавленный, слабый. С трудом приподняв голову, я увидел кровавый след, уходящий в глубину леса. Я понял, что раненый мною зверь оставил меня, что он ушел — издыхать, может быть, а может быть, залечивать раны прикладыванием растущих на лесных прогалинах целебных трав.

Долго рассуждали старейшины о преступлении Закира. Наконец хитрый Белезис произнес разумное слово, и все приняли его с многими хвалами. Так говорил Белезис:

— Подождем, когда услышим у околицы нашей рыкание исцеленного дивными травами. Его голос уличит дерзкого, рыкание обитающего за рекою Мейрур покажет его победу над смертию, и тогда мы выведем безумного Закира, обнаженного и связанного, и предадим в жертву тому, кого он столь тяжко оскорбил, возжаждав его смерти.

Радовались юноши и девы. Они говорили:

— Издох зверь и не придет рычать у нашей околицы.

Цветами венчали они отважного, прекрасного Закира, и плясали вокруг него, и славословили его пением красносложенных гимнов и восходящими выше облаков звуками флейт и тимпанов.

Но непродолжительна была их радость. Не прошло и недели, как близ нашего селения снова послышалось грозное рыкание.

И вывели Закира, как было решено на суде старейшин, связанного и обнаженного, к чаще. На другой день нашли недалеко от того места кости безумного Закира. Юноши и девы плакали неутешно и неизгладимую в сердцах своих запечатлели память о Закире, а мудрые старцы проклинали дерзкого.

VII

Но вот готов был изукрашенный чертог. Мы поставили чертог на берегу реки Мейрур, на то место, где любил по ночам ходить он, ожидая жертвы. В клетку посадили мы для него как приятную и последнюю ему человеческую жертву юную, прекрасную Ханнаи, совлекши с нее одежду, чтобы не утруждать его когтей разрыванием мертвой ткани.

Недолго ждали мы. Он пришел за добычею. Мы вышли навстречу ему с пением торжественных гимнов. Сладостно томились наши души. Нам предстояло наконец в первый раз увидеть его лицом к лицу и воздать ему поклонение не во тьме и тайне, как прежде, а при ярком озарении смоляных факелов.

Праздничные одежды надели мы на себя, дорогими благоуханиями умастили тела и волосы наши, венками из душистых трав и прекрасных цветов увенчали мы наши головы. Никто из нас не взял с собою оружия, — так строго повелели старейшины наши, чтобы не оскорбить его видом вооружения, которое так легкомысленно было поднято на него. Радостные, спокойные и мирные, шли мы и пели священные гимны. И все ближе и ближе было его рыкание. И вот наконец багровый свет факелов упал на его лик.

Мы стали вкруг изготовленного чертога, стали так, чтобы свободный и широкий открыт был ему путь в чертог. Но он не пожелал исполнить смиренных молений наших. По воле своей пожелал он выбрать себе жертву. Бросился он на толпу отроков и дев, быстрый и свирепый, и поверг на землю дочь мою Лотту.

Когда он с жадным ворчанием терзал милое тело дочери моей Лотты и, визжа и мяукая от наслаждения, пил горячую кровь из ее трепетного горла, отверзлись внезапно глаза мои, и понял я, что тот, кому мы поклонялись, кому приносили мы неисчислимые жертвы, жестокий и свирепый, жаждущий горячей крови и алчущий живой, расцветающей плоти, есть воистину зверь, дикий и безумный, сильный только нашим бессилием, грозный только нашим перед ним трепетным страхом.

И все мы увидели звериное тело, желтое, с безобразными черными пятнами, и возопили все: и юноши, и девы, и старцы:

— Воистину, дикому и злому поклонялись мы зверю. И ныне видим мы своими глазами, кто обитает в чаще за рекою Мейрур, и видим, что тела отроков и дев наших и великого охотника за зверем Закира пожраны свирепым, несмыслящим зверем.

А зверь снова бросился в толпу юношей и терзал новую жертву. Что могли мы сделать? Без оружия вышли мы — и встретили зверя. И мы бежали. Зверь гнался за нами и страшными ударами когтистых лап терзал и крушил многие тела, выбирая самых юных, ибо у лесного зверя тонкое для пищи своей чутье.

В этот день довольно насытился зверь жаркою кровью и нежными телами отроков наших и дев. Мы укрылись в наших шалашах и оплакивали многих погибших. И оружие готовили мы, и жажда отмщения жгла наши сердца.

VIII

Длились дни. Хитрый зверь таился и нападал внезапно, — и много погибло храбрых и юных. Было и среди нас немало таких, кото-

рые сохранили верность зверю, — и они заманивали, а то и силою увлекали в чащу тех, кто слишком громко и смело говорил против зверя и прислужников его. Иные находили выгоду в том, чтобы зверь по-прежнему почитался, ибо гаданиями своими они обольщали многих и уверяли, что он милостив к ним и к тем, за кого они молят. И много погибло неосторожных и отважных, но немало было истреблено и приверженцев жестокого.

Иные из старейшин говорили так, — и слова их дышали глубокою мудростью:

— Безумные, к чему вы стремитесь? чего вы хотите? Подумайте, что будет, если вы его убьете! Как можем мы жить без него? Отвергнуть все заветы предков легко, — но на чем же будет основан строй вашей жизни?

Увы! Этого мы не знали, об этом мы даже не хотели думать. Лишь бы избавиться от жестокого зверя!

И вот однажды утром радостные крики пронеслись по селению. Дети и юноши бежали по улицам селения и кричали:

— Зверь смертельно ранен! Зверь издыхает!

И девы свирельными голосами своими восклицали, ударяя ладонь о ладонь и пляша на стогнах селения:

— Издыхает, издыхает зверь!

И трубные звуки, и тимпаны, и флейты оглашали распутья окрестных дорог, — и далече раздавались радостные крики:

— Проклятый, проклятый зверь издыхает!

А на берегу реки Мейрур лежал зверь, пораженный отравленною стрелою. Корчась в предсмертных муках, рычал издыхающий зверь. Зеленые глаза его горели бессильною яростью, и ужасные когти рыли землю, а трава вокруг поверженного зверя орошалась его нечистою кровью.

И приспешники зверя плакали, таясь в своих шалашах.

А мы в тот день ликовали.

Мы не думали о том, как мы будем жить.

Мы не думали о том, кто придет на берег реки Мейрур и поработит нас иною и злейшею властью.

Отрок Лин

Исполнив с большим успехом повеление усмирить непокорных жителей мятежного селения, отказавшихся приносить жертвы и совершать благочестивые поклонения перед изображением божественного императора, отряд римской конницы возвращался в лагерь. Много пролито было крови, много истреблено нечестивцев, — и утомленные воины с нетерпением ждали наступления того отрадного часа, когда они вернутся в свои палатки, когда они там без помехи насладятся прекрасными телами взятых ими в мятежном селении жен и дочерей нечестивых безумцев.

Эти женщины и девы уже вкусили сладостное, но утомительное насилие поспешных ласк у околицы разрушенного и сожженного селения, возле изуродованных трупов их отцов и мужей, возле измученных тел их матерей, окровавленных ударами палок и бичей. Они, эти женщины и девы, тем более желанны были солдатам, чем непокорнее были они сами и чем вынужденнее были их объятия. Теперь лежали они, крепко связанные, в тяжелых телегах, которые увлекались сильными лошадьми по большой дороге прямо к лагерю.

Сами же всадники избрали путь окольный, ибо до сведения старшего центуриона дошло, что некоторые из мятежников успели скрыться и бежали по этому направлению. И хотя уже покрыты кровью и иззубрены были мечи и притупились копья от удалой работы ревностных к славе и достоинству императора воинов, — но меч римского воина никогда не бывает сыт телами поверженных врагов и вечно жаждет новой и новой горячей крови человеческой.

Был знойный день и самый жаркий час дня, вскоре после полудня. Небо сверкало безоблачное и беспощадно яркое. Огненно-мглистый небесный Дракон, дрожа от всемирной безумной ярости, изливал из пламенной пасти на безмолвную и унылую равнину потоки знойного гнева. Иссохшая трава приникла к жаждущей и ждущей тщетно влаги земле, и тосковала вместе с нею, и томилась, и никла, и задыхалась от пыли.

Из-под лошадиных копыт дымно вздымалась и еле движимым облаком в недвижном воздухе стояла и колыхалась серая пыль. И пыль садилась на доспехи утомленных всадников, и они тускло и багрово мерцали. И сквозь облако серой, неподвижной пыли все окрест являлось взорам утомленных воинов зловещим, мрачным, печальным.

Сжигаемая яростным Драконом, покорная, бессильная лежала земля под тяжкими копытами, окованными железом. Под тяжелыми, железно-окованными копытами гудела, дрожала пустынная, пыльная дорога.

Только изредка встречались бедные селения с жалкими лачугами, — но, томимый тяжким зноем, забыл старший центурион свое намерение обшарить всю дорогу и, мерно качаясь на седле, угрюмо думал о том, что кончится когда-нибудь этот зной, и долгий путь придет к концу, и уведут боевого коня, и возьмут шлем и щит, и под широким полотном походной палатки будет прохлада и тихий свет ночной лампады, и опять заплачет нагая рабыня, и заплачет свирельным голосом, жалуясь и причитая на чужом и смешном языке, и заплачет, но будет целовать. И он ее заласкает, заласкает до смерти, — чтобы не плакала, не причитала, не жаловалась, не говорила свирельным голосом об убитых, о милых ей, о поверженных врагах великого Цезаря.

Юный воин сказал центуриону:

— Вон там, направо, близ дороги, я вижу толпу. Прикажи нам, Марцелл, и мы помчимся на этих людей, и разгоним их, и быстрым движением коней наших разбудим усыпленный тяжким зноем ветер, и он отвеет пыльную истому от тебя и от нас.

Центурион внимательно посмотрел в ту сторону, куда указывал ему юный воин. Зорки были глаза старого центуриона.

— Нет, Люцилий, — сказал он, улыбаясь, — эта толпа — толпа детей, которые играют при дороге. Не стоит разгонять их. Пусть мальчишки смотрят на могучих коней наших и на отважных всадников, и с ранних лет запечатлевают в сердцах своих преклонение перед величием римского войска и перед славою нашего непобедимого и божественного Цезаря.

Юный Люцилий не смел возражать центуриону. Но омрачилось лицо его. Недовольный отъехал он к своему месту и тихо сказал своему другу, такому же, как он сам, юноше:

— Эти дети, может быть, отродье той же мятежной сволочи, и я бы с радостью искрошил их в куски. Наш центурион от старости стал слишком чувствителен и утратил свойственную доблестному воину суровую решимость.

Но и друг Люцилия ответил ему с приметным неудовольствием:

— Зачем же нам сражаться с детьми? Какая в этом слава? Довольно с нас битв с теми, которые могут защищать себя.

Тогда, краснея от досады, замолк юный и запальчивый Люцилий.

Воины приближались к играющим детям. Остановились дети при дороге и смотрели на воинов, дивясь их могучим коням, их блистающим доспехам и их мужественным, загорелым лицам. Дивились, шептались, глядели широко раскрытыми глазами.

Только один из детей, прекрасный отрок Лин, смотрел на воинов сумрачно, и черные глаза его сверкали огнем святого гнева. И когда отряд всадников поравнялся с детьми, отрок Лин громко и гневно воскликнул:

— Убийцы!

И, угрожая, поднял и протянул руки к центуриону. Сумрачно глядел на него старый центурион, не расслышал, что кричит мальчишка, и проехал мимо.

Испуганные дети окружили Лина, и запрещали ему кричать, и шептали:

— Бежим, бежим скорее, а то они всех нас убьют.

И девочки уже заплакали. Но прекрасный отрок Лин безбоязненно ступил вперед и громко крикнул:

— Палачи! Мучители невинных!

И снова, угрожая, поднялась сжатая в кулак маленькая, бессильная рука отрока Лина. Сверкая гневными, черными очами, весь дрожа, задыхаясь от гнева, Лин кричал все громче и громче:

— Палачи! Палачи! Чем смоете вы с рук ваших кровь убитых вами!

Девочки подняли вопль, заглушая крики отрока Лина, и мальчики схватили его за руки и повлекли прочь от дороги. Но Лин вырывался из их рук, сжигаемый святым гневом, и выкрикивал проклятия воинам великого императора.

Всадники остановились. Юнейшие из них громко восклицали:

— Это — отродье крамольников. Мятежным духом заражены их сердца. Надо их всех истребить. Нет места под небом тому, кто осмелился оскорбить римского воина.

И старые воины говорили центуриону:

— Дерзость этих негодяев достойна жестокого наказания. Марцелл, прикажи нам догнать и перебить их всех. Надо уничтожить крамольное племя прежде, чем они вырастут и будут в силах восстать и причинить великий вред божественному Цезарю и миродержавному Риму.

И центурион сказал:

— Догоните их, убейте тех, кто кричал, а остальных накажите так, чтобы они помнили до конца своих дней, что значит оскорбить римского воина.

И все воины, свернув с пыльной дороги, помчались вслед за убегающими детьми.

Видя погоню, отрок Лин крикнул товарищам своим:

— Оставьте меня. Меня вы не спасете, а если будете бежать, то все погибнете под мечами этого нечестивого и безжалостного воинства. Я пойду к ним навстречу, и пусть они меня убьют одного, — я и не хочу жить в этом презренном мире, где совершаются такие жестокие дела.

Остановился Лин, и не могли увлечь его далее обессилевшие от бега и от испуга товарищи его. Стояли они и громко плакали, а всадники быстро окружили их тесным кругом.

Засверкали на солнце вынутые из ножен мечи, и зыбкие улыбки Дракона побежали, безжалостные, злые, по стальным клинкам. Задрожали дети и с громким плачем, прижимаясь друг к другу, сбились в тесную кучу.

Дракон, торопящий к убийтву, распаляющий жаркую солдатскую кровь, багровым дымом ярости застилающий воспаленные глаза вои-

нов, уже радовался с высот злому земному делу, уже готов был беспощадными лучами змеиных своих очей облобызать невинную детскую кровь и гнойным зноем злобы залить изрубленные жестокими и широкими мечами беззащитные тела. Но смело выступил из толпы отрок Лин и подошел к центуриону. И сказал громко:

— Старик, это я назвал тебя и твоих воинов убийцами и палачами, это я проклинал тебя и всех, кто с тобою, это я призывал гнев праведного божества на ваши нечестивые головы. Смотри, вот они, эти дети, плачут и дрожат от страха. Они боятся, что проклятые воины твои по твоему безбожному повелению убьют всех нас и убьют нас, и отцов, и матерей наших. Убей одного меня, — потому что эти покорны тебе и пославшему тебя. Убей только меня, если ты не насытился еще убийствами. Я же не боюсь тебя, я ненавижу твою ярость, я презираю твой меч и твою неправую власть, я не хочу жить на той земле, которую топчут кони твоего неистового воинства. Еще руки мои слабы, и я еще так мал ростом, что не достану до твоего горла, чтобы задушить тебя, — убей же меня, убей меня скорее.

С великим удивлением слушал его центурион. И сказал:

— Нет, змееныш, не будет по-твоему, — ты умрешь не один.

И приказал своим воинам:

— Убивайте их всех. Нельзя оставить в живых это змеиное отродье, — потому что слова дерзкого мальчишки запали в их мятежные души. Убивайте их всех без пощады, больших и малых, и даже едва только научившихся лепетать.

Бросились воины на детей и рубили их беспощадными мечами. Содрогнулась от детского вопля угрюмая долина и пыльная дорога, — и ответным застонали стоном мглистые дали, — свирельно-нежным эхом застонали и замолкли. И, раздувая горячие ноздри, нюхали кони дымную кровь и железно-окованными копытами медленно и тяжко топтали детские трупы.

Потом воины вернулись на дорогу, смеясь радостно и жестоко. Торопились к своему лагерю. Весело разговаривали и радовались.

Но длился, длился пыльный, тяжкий путь в тоскующей под гневными пламенными очами Дракона долине. Багровый стал склоняться

Дракон, но не было окрест прохлады, и, завороженный тишиною и страхом, спал ветер.

Багровый лик знойного Дракона, склоняясь, глядел в зоркие очи старого центуриона, — и улыбался небесный Змей тихою и страшною улыбкою. И от того, что было тихо, и знойно, и багряно, и был тяжко ровен шаг мерно-звонких коней, стало тоскливо и страшно старому центуриону.

И такая мерная, и такая звонкая была тяжкая конская поступь, и такая тонкая, и такая серая была недвижная, безнадежная пыль, и казалось, что не будет конца истоме и страху пустынного пути. И гулким отзвучным гудением на каждый шаг усталого коня откликалась пустынная даль.

И гулкие стоны рождались в пустынной дали.

Гудела земля под копытами.

Кто-то бежал. Догонял.

Темный голос, подобный голосу отрока, убитого воинами, кричал что-то.

Центурион оглянулся на своих воинов. Покрытые пылью лица были искажены не только усталостью. Смутный страх изображался в грубых чертах загорелых солдатских лиц.

Сухие губы юного Люцилия трепетно двигались, шепча тревожно:

— Поскорее бы добраться до лагеря.

Взглянул пристально старый центурион в усталое лицо Люцилия и тихо спросил молодого воина:

— Что с тобою, Люцилий?

И так же тихо ответил ему Люцилий:

— Страшно мне.

И, стыдясь своего страха и своей слабости, сказал погромче:

— Жарко очень.

И опять, не одолев страха, зашептал тихо:

— Проклятый мальчишка гонится за нами. Заколдован он нечистыми чарами ночных колдуний, и не сумели мы зарубить его так, чтобы он не встал.

Центурион внимательно осмотрел окрестность. Ни близко, ни далеко никого не было видно. И сказал центурион юному Люцилию:

— Разве ты потерял амулет, данный тебе старым жрецом заморского бога? Говорят, что у кого есть такой амулет, против того бессильны чары полуночных и полуденных колдуний.

Люцилий ответил, дрожа от страха:

— Амулет на мне, но он жжет мою грудь. Подземные боги уже приблизились к нам, и я слышу их темный ропот.

Тяжким гулом стонала долина. Старый центурион, благочестивою речью думая победить свой страх, сказал Люцилию:

— Подземные боги благодарят нас, — мы сегодня довольно для них поработали. Темен и невнятен голос подземных богов, и страшен он в знойном молчании пустыни, но не в преодолении ли страха честь доблестного воина!

Но опять сказал юный Люцилий:

— Страшно мне. Я слышу голос настигающего нас отрока.

Тогда в знойном безмолвии долины свирельно-звонкий голос возгласил:

— Проклятие, проклятие убийцам!

Дрогнули воины, и быстро помчались кони. Неведомый голос, подобный голосу отрока Лина, звучал так близко, так ясно:

— Убийцы! Убийцы невинных! Вам нет прощения, нет пощады.

И быстро мчались погоняемые воинами кони. Но гнев зажег сердце старого центуриона. И он крикнул, задерживая бег испуганного коня и обращаясь к всадникам:

— Или мы не воины великого, божественного императора? От кого мы бежим? Проклятый мальчишка, недобитый нами или оживленный нечистыми чарами злых колдунов, собирающих кровь для ночных волхвований, продолжает возносить хулы против непобедимого воинства. Но оружию римскому надлежит превозмочь не только вражью силу, но и темные чары.

Устыдились воины. Остановили коней. Прислушались. Догонял их кто-то, возглашающий и вопиющий, и в мглистой тишине мрачно вечереющей долины явственно слышался детский крик:

— Убийцы!

Всадники повернули коней в ту сторону, откуда доносились к ним крики. И увидели они отрока Лина, бегущего к ним в окровавленной,

изорванной одежде. Кровь струилась по его лицу и по его рукам, поднятым к воинам в угрожающем движении, как будто бы отрок хотел схватить каждого из них и повергнуть к своим окровавленным, запыленным стопам.

Дикою злобою наполнились сердца воинов. Обнажив мечи, разъярив коней быстрыми уколами заостренных стремен, они ринулись стремительно на отрока, и рубили его мечами, и топтали, и насытили над его прахом ярость свою, и потом соскочили с коней, и на куски изорвали тело отрока, и разметали его по дороге и окрест.

Отерев мечи придорожною травою, воины сели на коней и помчались дальше, спеша к лагерю. Но снова тяжкий стон огласил мрачную в лучах склоняющегося Дракона долину, — и снова рыдающий свирельный голос вознес те же беспощадные слова. И повторялся в ушах воинов звонкий вопль:

— Убийцы!

Тогда, томимые ужасом и злобою, воины опять повернули коней, — и опять бежал к ним отрок Лин в окровавленной одежде и простирал к ним свои залитые кровью, угрожающие руки. И воины снова изрубили его, затоптали, и разрезали мечами его тело, и разбросали, и помчались.

Но опять и опять настигал воинов отрок Лин.

И уже забыли воины, в какой стороне их лагерь, и в ярости бесконечного убийства, среди воплей несмолкаемого укора метались они по долине и кружили вокруг того места, где убиты были отрок Лин и другие дети.

Весь остаток дня багряно пламенеющий и дымно издыхающий Дракон смотрел ярым, беспощадным взором на ужас и безумие вечного убийства и нескончаемого укора.

И вечер отгорел, и была ночь, и звезды мерцали, непорочные, невинные, далекие.

А в долине, где злое свершилось дело, метались воины и нескончаемым воплем томил их отрок Лин. И метались воины, и убивали, и не могли убить.

Перед восходом солнца, гонимые ужасом, преследуемые вечными стонами отрока Лина, примчались они к морскому берегу. И вспенились волны под бешеным бегом коней.

Так погибли все всадники и с ними центурион Марцелл.

А там, на далеком поле, у дороги, где убиты были всадниками отрок Лин и другие дети, лежали тела их, окровавленные и непогребенные. Ночью, трусливо и осторожно, пришли к поверженным телам волки и насытились невинными и сладкими телами детей.

Милый паж

I

В некоторой благословенной и цветущей стране, на высоких берегах у прекрасной реки, текущей с увенчанных вечным снегом южных гор к великому Северному морю, лежали обширные земли, подвластные могучему владельцу. На самой высокой скале, неприступный и господствующий над всеми окрестными путями, гордо стоял графский замок.

Уже граф был в преклонном возрасте, уже он схоронил шестерых жен, молодых и прекрасных, но бесплодных. Древний род его пресекся бы с его смертью, но судьбе угодно было восстановить, хотя и странным способом, блеск и долгоденствие во многих землях прославленного рода.

Граф был богат. Походы в земли неверных и многочисленные набеги на зарубежных близких врагов, в которых любил он в годы юности и зрелого мужества принимать участие, обогатили его многими изящными и дорогими вещами, — тканями, оружием, всякою утварью и одеждами, — и графский замок был украшен на диво пышно.

Из походов на восток вынес граф пристрастие к роскоши и красоте, к сладким винам, к ароматичным куреньям и пропитанным пряностями мясам. Ласкать красавиц любил граф и любил, чтобы взоры

его ласкала красота изукрашенных стен и сводов, тонко чеканенных сосудов на пирах и роскошных одежд на красавцах и красавицах. Только прекрасные лицом, стройные телом и ласковые в обращении отроки с приветливыми взорами удостоивались высокой чести попасть в число пажей к веселому и мудрому старому графу.

Много мужественных оруженосцев, красивых пажей и усердных слуг было у графа, и все они любили своего господина, и служили ему преданно и верно, как подобает добрым слугам, душою, и телом, и всею крепостью сил. Верные вассалы, и жены их, и дети их исправно несли милостивому графу установленные оброки и дани. Три жирные капеллана прилежно отмаливали каждое утро графские грехи, — так как и деяния знатных господ подчинены отчасти божеским и человеческим законам.

II

В окрестной стране цвело тогда много прекрасных и юных благородных девиц, а потому старый граф, решившийся снова, как для продления рода, так и для своего собственного удовольствия, вступить в брак, невдолге избрал себе по сердцу своему в этом прелестном цветнике достойную его высоких доблестей и славного имени супругу. То была нежная и скромная Эдвига, дочь одного из соседних баронов, девица, блистающая красотою и разумом и обученная не только всяким приличным знатной даме рукоделиям, но даже и грамоте.

Эдвига была веселого нрава, любила невинные забавы и застольные шутки, и когда старый граф ввел ее к себе женою, в его древнем замке началось еще более роскошное и веселое житье. Ибо старый граф полюбил нежную Эдвигу сильнее, чем прежних жен, и весьма заботился о том, чтобы доставить ей много удовольствий и радостей. Но так как уже телесные силы графа были в упадке, то графиня Эдвига скоро начала втайне скучать, и лукавые помышления вошли в ее сердце. Всему же ведь свету известно, что женщины изменчивы и коварны и что женская верность требует тщательного присмотра.

Эдвигины взоры стали почасту и подолгу блуждать по лицам пажей, словно нежная Эдвига искала себе утешителя. И наконец на одном из пажей остановились желания прекрасной госпожи, при чем следует сказать, что и взыскательный к красоте граф одобрил бы графинин выбор, если бы знал и если бы мог позволить ей измену.

Черноокий, смуглый, тонкий и ловкий паж Адельстан затмевал красотою всех окрестных юношей, подобно тому, как ясно сияющая луна затмевает свет близких к ней звезд. Уже на верхней губе его пробивался пушок, столь радующий сердце отрока, который готов почувствовать себя мужем. Черные глаза его блистали из-под длинных ресниц, как в черную ночь разожженные ярко факелы, — и, осененные длинными ресницами, ярко пылали его смуглые щеки, так пылали, что ни одна из окрестных красавиц не могла глядеть на них, не мечтая о том, чтобы осыпать их поцелуями. И так как уже многие из них целовали его, лукавые, говоря, что еще он ребенок, то он приобрел привычку к любезному обхождению и уверенность в своем превосходстве над другими юношами. И потому он так прямо и гордо держался и так высоко поднимал свою голову, как будто бы он был королевич, — а ведь отец его был только бедный и незнатный рыцарь. Притом Адельстан умел играть на лютне и, обладая приятным и сильным голосом, знал много романсов, в которых воспевались красавицы, а также и разных других песен.

Адельстан смотрел на графиню почтительно и нежно, но улыбался иногда так дерзко, что графиня краснела и замирала, и в улыбке прекрасного пажа открывалось ей обещание радостного рая.

Когда однажды граф уехал на несколько дней, графиня пожелала, чтобы Адельстан остался при ней в замке.

— Я этого хочу, — сказала она графу, — потому что он самый скромный из пажей, и у него глаза такие же, как у вас. Глядя на него, я буду вспоминать вас и не стану так скучать в разлуке с вами.

Граф исполнил желание своей супруги. Он и сам любил Адельстана и знал, что Адельстан — отрок верный ему во всем и до конца.

III

На высокой башне замка, глядя вслед уезжающему графу и махая в знак прощального привета своим белым платком, прекрасная Эдвига тихо сказала Адельстану:

— Милый паж, эта ночь наша. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, когда ночная темнота упадет на землю и покроет сладостным покровом и отдыхающих от трудов, и ожидающих отрадных лобзаний.

Адельстан отвечал Эдвиге:

— Милостивая графиня, сладки лобзания уст твоих, но ты принадлежишь моему и твоему господину, и если откроется наша измена, то могущественный граф сократит список моих и твоих прегрешений вместе со счетом наших дней и с длиною наших тел.

— Граф ничего не узнает, — сказала веселая Эдвига, — а мы проведем вместе несколько сладких ночей.

— Милостивая госпожа, — сказал Адельстан, — я дал обещание верно служить моему возлюбленному господину, и я боюсь, что изменою погублю свою душу, а потому лучше ты не соблазняй меня.

— Грех мы успеем замолить, — сказала Эдвига, — но ты, может быть, любишь другую, красивее меня?

— Милостивая графиня, — отвечал Адельстан, — я люблю только тебя и моего господина, а на свете нет, конечно, ни в благородном, ни в простом сословии жены или девы прелестнее тебя, и с тобою лишь одна рожденная из морской пены богиня Венус могла бы сравниться красотою, но не превзойти тебя.

Эдвига засмеялась лукаво и спросила:

— Милый паж, изведал ли ты радости любви? Восходил ли ты на ложе к женам или к девам?

Адельстан из скромности потупил взоры и ответил Эдвиге так:

— Нет, милостивая госпожа, на ложе к женам и к девам я не восходил.

И на это Эдвига сказала:

— Милый паж, как же ты отказываешься от того, чего не знаешь? Приди ко мне, и ты увидишь, что игра столь нежная не может обре-

менить совесть. Я обнажу перед тобою свое тело, я положу тебя на свое ложе, я научу тебя всем приятным забавам любви.

И Адельстан не знал, что ответить. В блистающих глазах его загорался тусклый огонь желания, и багряная краска стыда покрыла его смуглые щеки, отчего он сделался еще желаннее для юной Эдвиги.

Но напрасно в эту ночь прелестная Эдвига ожидала Адельстана, — открыв двери в свою опочивальню, удалив своих служанок, лежала она, знойная от желаний, и нетерпеливыми взорами пронзала ночную темноту. Каждое легкое шуршание тканей и каждый звук, столь обычный в ночной тишине, возникающий по неведомой причине, — ибо ночью совершается многое, чего мы не можем знать, — каждый звук нежной Эдвиге казался шорохом крадущихся ног Адельстана.

И много раз Эдвига поспешала к дверям, чтобы ласково встретить и ободрить робко медлящего отрока, — и каждый раз напрасно.

IV

Утомленная бессонною ночью, распаленная неисполненными желаниями, на другой день позвала Эдвига в свои покои Адельстана, осыпала его жестокими упреками, била его по щекам, царапала и щипала его.

Покорно перетерпев ее неистовство, хотя и пролив при этом немало слез, Адельстан сказал ей:

— Милостивая госпожа, я должен пребыть верен моему господину, ты же задумала гнусное и непотребное дело. Если мы сотворим по твоему мерзкому желанию, погибнем мы оба лютою смертию от руки палача, и проклятые демоны утащат наши души прямо в ад, в неугасающий огонь, в кипящую вечно смолу.

— Милый паж, — сказала графиня, — да разве за нас некому помолиться? И на то ли оставил тебя граф со мною, чтобы ты оказывал неповиновение госпоже? Вот и сам ты, глупый мальчик, не насладился и меня тяжкими в эту ночь измучил муками, и еще устала я, нано-

ся тебе заслуженные тобою удары. Не могу я больше выносить такие муки и труды, — приди ко мне в эту ночь, а если не придешь, то завтра я подвергну тебя жестоким истязаниям.

Ничего не ответил Адельстан.

Но и в эту ночь Эдвига напрасно ожидала его.

V

На другое утро ходила она по замку усталая, злая, и ничто в роскошном замке не веселило ее взоров. Вдруг услышала она где-то близко звуки лютни, нежный голос и смех и быстро пошла, сверкая гневными взорами, туда, где раздавались звуки, веселость которых была столь несогласна с ее тоскою, что причиняла ее сердцу новые, горчайшие муки.

На дворе собрались пажи; Адельстан пел им веселые, забавные песни, как будто уже он и забыл о мольбах и угрозах своей госпожи. Пажи слушали его, смеялись и хвалили песни и певца.

Еще сильнее разгорелась графинина страсть. Все раздражало ее: пленительные звуки его голоса, нежная красота его и его стройные, нагие ноги: пажи не ждали, что госпожа придет к ним, и не успели обуться, — увлек их своим пением милый паж Адельстан. Эдвига согнала со своего лица внешние признаки гнева, — знатные господа изощрились в искусстве скрывать свои чувства и затемнять зеркало своей души обманчивыми выражениями благосклонности, — подошла к пажам и сказала:

— Плачу я и тоскую в разлуке с возлюбленным господином моим. Скучно мне, — чем я утешусь, когда господин мой далече? Смех ваш неприятен для меня, слезы ваши были бы мне милее.

Веселый, синеокий Генрих, младший из пажей, а потому и самый смелый в обращении с госпожою, отвечал Эдвиге:

— Милостивая госпожа, господин наш скоро вернется, плакать нам и тебе не о чем, ты лучше послушай вместе с нами, как складно да звонко поет Адельстан, и утешься.

— Нет, — отвечала Эдвига, — песни ваши мне скучны. Разве только песнями вашими должны вы служить графу и мне? До смеха ли только и до веселья ли на пиру простирается ваша верность?

— Милостивая госпожа, — сказал синеокий Генрих, — наша верность господину и тебе до последней капли крови и до последнего нашего вздоха.

Засмеялась Эдвига и сказала:

— Вот вы и утешьте меня пролитием вашей крови.

Острым своим кинжалом Эдвига несколько раз уколола выше колен обнаженные Адельстановы ноги, — и после каждого укола слизывала с острого и блестящего лезвия своим лукавым языком сладкие капли Адельстановой крови. И весело было графине Эдвиге смотреть на Адельстановы окровавленные ноги.

Но и в эту ночь не пришел Адельстан к Эдвиге, — а наутро возвратился домой старый граф.

VI

Изнывала графиня Эдвига от страсти, и верность пажа удивляла ее тем более, что она видела, как Адельстан бросает на нее пламенные взоры, полные вожделения. Она замечала, что Адельстан, прислуживая за столом, старается прикоснуться до ее нежной руки или хотя до ее платья. Прикосновения Адельстана были ей радостны, но и горьки, ибо еще сильнее распаляли ее желания.

Шли недели и месяцы, не было детей у графини. Она тосковала, томилась и уже словно увядала.

— Пресвятая Дева Мария, — молилась она, — какая моя жизнь! Старый муж ласкает меня, но ненавистны мне его ласки, а тот, кого я люблю, не смеет войти в радость госпожи своей.

Уже и граф приметил ее томления, и уже ревность вошла в его сердце. Он заметил страстные взоры графини и пажа, которые скрещивались перед ним, как два кинжала в равном и медлительном бою.

Старый граф одинаково боялся и того, что Эдвига согрешит с пажом, и того, что Адельстан забудет долг верности.

VII

Невдали от графского замка, в месте уединенном и диком, в овраге среди дремучего леса, стояла темная хижина, жилье старого чародея.

Злобились на чародея попы и грозились сжечь его живого, — ибо нечестивое дело — чары делать и колдовать. Уже и посылали за ним не однажды воинов и стражей городских, взять его на суд, но темными волхвованиями отвращал чародей опасность, затемняя взоры ищущих, сбивая их с дороги, насылая на них бури и лесные нестерпимые страхи. Да и могущественному графу не угодно было, чтобы чародея до времени сожгли, — ибо поблизости еще не было другого, чары же всегда могли пригодиться. Но чародей, зная, что жизнь его рано или поздно все же пресечена будет огнем, усердно собирал деньги и время от времени отдавал их своей дочери, которая была замужем за пивоваром и жила в ближнем городе, не причастная наваждениям, в мире с церковью, которой приносила ежегодно немалые дары.

Однажды ночью графиня надела бедные и грубые одежды, закрыла свое лицо плащом и пошла к чародею босая, чтобы смирением заслужить себе милость таинственной силы, а также и для того, чтобы вернее скрыть свое высокое звание. Но на поясе у нее висел тяжелый кошелек с золотом.

Веял бурный и холодный ветер прямо в лицо трепещущей Эдвиге, яростно рвал ее одежды и затруднял ее шаги. Потоки дождя стремительно низвергались с омраченного неба. С треском и грохотом падали порою поперек дороги громадные деревья, сокрушенные беснованием свирепой бури.

Вся измокшая, дрожащая от страха и холода, с ногами, исцарапанными, испачканными в мокрой глине, пришла молодая, прекрасная Эдвига в мрачное логовище чародея. Неприветливы были закоптелые от дыма волхвований стены хижины, и, наводя жуткий на Эдвигу страх, сверкали зеленые глаза громадного кота.

Старик, длинный, тощий, седобородый, с пронзительным взором, спросил Эдвигу:

— Для чего, милостивая госпожа, ты пришла в такую страшную и не для одной тебя ночь в это отверженное место, оставив гордый замок и теплое ложе и не убоявшись бешенства разъяренной бури?

— Я не госпожа, — сказала Эдвига, — я простая женщина. Я принесла тебе мое тяжкое горе, чтобы ты своими проклятыми чарами обратил его в радость, за что я заплачу тебе так много, как только могу.

— Милостивая госпожа, — ответил чародей, — ночь темна, буря воет, — но давно сияли для меня следы твоих прелестных ног, и слышал я шорох твоих шагов уже от самых ворот старого замка. Ибо, хотя эта хижина бедна убранством, обитают в ней великие волшебства и неодолимые чары, и незримые вам, не посвященным в тайну, но усердные слуги неустанно охраняют все пути к ней. Скажи мне, милостивая госпожа, чего ты от меня желаешь.

Засмеялась лукавая Эдвига и сказала:

— Вижу я, что бесполезно мне от тебя скрываться, но, может быть, и желания мои ты сам знаешь, так что и говорить их не надо.

Страшная улыбка, похожая на то, как бы мертвец улыбнулся, искривила иссохшие синие чародеевы губы, и он сказал:

— Милостивая госпожа, не довольно хотеть; не любит моя наука немого очарования. Если хочешь, скажи, чего хочешь, — если не хочешь, иди с миром, я же могу тебе дать только то, чего ты попросишь у меня словами, ибо иначе я мог бы дать тебе слишком много. Темны и многочисленны желания человеческие, самому человеку они неведомы все, — мои же слуги видят глубоко, в самых тайных изгибах души, и, не оградись только от их усердия пределами слов, они задушат чрезмерностью исполнения.

Тогда поведала ему трепещущая от стыда и страха Эдвига свое горе и свои желания, отдала ему свое золото и, падши к его ногам, с громкими рыданиями молила его о помощи.

Чародей выслушал ее до конца, взвесил на руке ее тяжелый и многоценный дар и сказал:

— Могучие духи заключены в этом мешке, и если бы ты умела им повелевать, не пришла бы ты ко мне. Но встань, — все будет, как ты хочешь, — имей терпение, я это сделаю. Иди с миром.

VIII

В ту же ночь, немного позже, и граф постучался в двери чародеевой хижины. Низким поклоном приветствовал его чародей. Граф сказал ему:

— Становлюсь я стар, еще наследника у меня нет, и хотя уже больше года живет у меня молодая жена, но она все еще ходит праздная. И другое мое горе, — возлюбленная жена моя с вожделением смотрит на моего милого пажа, и он на нее также. Еще не было между ними греха, но боюсь, что будет.

Выслушал его чародей и сказал:

— Милостивый господин, все будет, как вы хотите, если вы поступите по слову моему. Она — ваша супруга, но и он — ваш слуга. И не должен ли он служить вам душою, и телом, и всею крепостью сил своих?

И затем долго говорил чародей со старым графом и необычайные наставления дал ему, — и радостен вышел граф из хижины, и весел вернулся домой верхом на своем верном коне.

IX

На заре призвал граф к себе Эдвигу и Адельстана и велел пажу затворить крепко двери. Адельстан, исполнив повеление господина, стал перед ним и сказал смело:

— Милостивый граф, если хотите, судите меня, — я был вам верен.

Эдвига трепетала и, бледная, молчала.

Старый граф сказал им:

— Не бойтесь. Мне и роду моему вы оба послужите, как умеете. Сегодня ночью, когда выла буря, наводя ужас и на храбрых, слышал я вещие и мудрые слова; вы же сделаете мудрое и славное дело, во исполнение вещих сказаний...

Красотою подобная рожденной из морской пены богине, хотя и багроволицая от стыда, стояла перед своим господином Эдвига. Молча смотрел на нее граф, и радостью обладания трепетало его сердце.

Адельстан же не смел поднять на графиню взора, но не мог и отвести в сторону глаз...

Омраченные и стыдящиеся, вышли Эдвига и Адельстан от графа, но радость любви все же ликовала в их сердцах.

Сначала оба они были счастливы. Но скоро и Эдвигу, и Адельстана утомили ласки по чужой воле, ибо любви ненавистно всякое принуждение, — и утомили даже до взаимной ненависти. И оба они стали помышлять о том, как бы избавиться им от сладких, но тягостных оков любви, повелеваемой господином.

«Убью графиню!» — думал Адельстан.

«Убью пажа!» — думала Эдвига.

И однажды, когда она одевалась, а он по ее зову подошел к ней и склонился к ее ногам, чтобы обуть ее, она вонзила ему в сердце узкий и острый кинжал. Адельстан упал, захрипел и тут же умер.

Тело его вынесли, по графскому повелению повесили голое во рву замка и рядом с ним повесили собаку, чтобы думали вассалы, что смертию наказан паж Адельстан за некий дерзновенный поступок.

Графиня же понесла. И скоро она родила сына, наследника славного и могущественного графского рода.

Голодный блеск

Сергей Матвеевич Мошкин пообедал сегодня очень хорошо, — сравнительно, конечно, — как ему, сельскому учителю, лишившемуся места и уже с год околачивающемуся по чужим лестницам в поисках работы, и не к лицу было бы. А все-таки голодный блеск сохранялся в его глазах, грустных и черных, и придавал его худощавому, смуглому лицу выражение какой-то неожиданной значительности.

Мошкин истратил на обед последнюю трехрублевку, и теперь в его карманах бренчало только несколько медяков, да в кошельке лежал истертый пятиалтынный. Пировал он на радостях. Хотя и знал, что глупо радоваться, и рано, и нечему. Но так наискался работы и так прожился, что и призрак надежды радовал.

На днях Мошкин поместил в «Новом времени» объявление. Он рекламировал себя как педагога, владеющего пером, — на том основании, что корреспондировал в местную приволжскую газету. За это он и слетел с места: доискались, кто писал злые корреспонденции в «левую» газету; земский начальник обратил внимание инспектора народных училищ, а инспектор, конечно, не потерпел.

— Нам таких не надо, — сказал ему инспектор при личном объяснении.

Мошкин спросил:

— А каких же вам надо?

Но инспектор, не отвечая на неуместный вопрос, сухо сказал:

— Прощайте, до свиданья. Надеюсь увидеться на том свете...

Дальше в своем объявлении Мошкин заявляет, что хочет быть секретарем, постоянным сотрудником газеты, репетитором, воспитателем, сопровождать на Кавказ или в Крым, быть полезным в доме и т.п. Уверял, что не имеет претензий и что не стесняется расстоянием.

Ждал. Пришла одна открытка. Странно, что с нею у него вдруг связались какие-то надежды.

Это было утром. Мошкин пил чай. Вошла сама хозяйка. Сверкнула черными змеиными глазками и сказала язвительно:

— Корреспонденция Сергею Матвеевичу господину Мошкину.

И, пока он читал, гладила свои черные над желтым треугольником лба волосы и шипела:

— Ничем письма получать, платил бы деньги за стол, за комнату. Письмом сыт не будешь, а ты в люди походи, поищи, не бароньсяна испанский фасон.

Читал: «Будьте любезны пожаловать для переговоров от 6 до 7 вечера, 6 рота, д. 78, кв. 57».

Без подписи.

Злобно глянул Мошкин на хозяйку. Она стояла у двери, прямая, широкая, с опущенными руками, спокойная, как кукла, и холодно-злая, и прямо на него смотрела неподвижными, наводящими жуть глазами.

Мошкин крикнул:

— Баста!

Стукнул кулаком по столу. Встал. Заходил по комнате взад-вперед. И все твердил:

— Баста!

Хозяйка тихо и злобно спрашивала:

— Платить-то будешь, корреспондент казанский и астраханский? а? сознательная твоя харя?

Мошкин остановился перед нею, протянул к ней пустую ладонь и сказал:

— Все, что имею.

Умолчал о последней трехрублевке. Хозяйка шипела:

— Я тебе не гусарская офицерша, мне деньги надобны. Дрова семь целковых, откуда я возьму? Сам себя не прокормишь, — заведи платящую воздахторшу. Ты — молодой человек со способностями, и наружность у тебя достаточно восхитительная. Какая ни есть дура найдется. А мне разве возможно? Куда не вертыхнись, деньги вынь да положь. Дунь — руб, плюнь — руб, поколей — полтораста.

Мошкин приостановился. Сказал:

— Не беспокойтесь, Прасковья Петровна, сегодня вечером получаю место и рассчитаюсь.

И опять принялся ходить, шлепая туфлями.

Еще долго хозяйка шипела, торча у двери. Наконец ушла, крикнув:

— У меня стальная грудь! Другая бы иная на моем месте давно бы глаза под лоб закатила, сказала бы: живите без меня, околачивайтесь, как знаете, а я вам не крепостная.

Ушла, и в его памяти осталась ее странная фигура, прямая, с опущенными руками, с желтым широким треугольником лба под черными гладко примасленными волосами, с усеченным узким треугольником затасканной желтой юбки, с крохотным треугольником красного нюхающего носа. Три треугольника.

Весь день Мошкин был голоден, весел и зол. Ходил без цели по улицам. Засматривался на девушек, и все они казались ему милыми, веселыми и доступными, — доступными для богатых. Останавли-

вался перед окнами магазинов, где выставлены дорогие вещи. Все острее становился голодный блеск в глазах.

Купил газету. Прочел ее на скамейке в сквере, где смеялись и бегали дети, где модничали няньки, где пахло пылью и чахлыми деревьями, — и запах улицы и сада неприятно смешивался и напоминал запах гуттаперчи. В газете поразил Мошкина рассказ об исступленном, голодающем безумце, который в музее изрезал картину знаменитого художника.

— Вот это я понимаю!

Мошкин зашагал по аллее. Повторял:

— Вот это я понимаю!

И потом, ходя по улицам, смотря на великолепные громады богатых домов, на выставленную роскошь магазинов, на элегантные наряды прогуливающихся господ и дам, на быстропроносящиеся экипажи, на всю эту красоту и утешительность жизни, доступные для всякого, у кого есть деньги, и недоступные для него, — рассматривая, наблюдая, завидуя, испытывал все более определяющееся чувство разрушительной ненависти. И повторялись в уме все те же слова:

— Вот это я понимаю!

Подошел к толстому, ленивому и важному швейцару. Крикнул:

— Вот это я понимаю!

Швейцар молча и презрительно покосился на него. Мошкин радостно захихикал. Сказал:

— Молодцы анархисты!

— Проваливай! — сердито крикнул швейцар. — Не проедайся.

Мошкин отошел. Вдруг стало страшно. Городовой стоял близко. Так резко выделялись его белые перчатки. Досадливо думал Мошкин: «Вот бы вам бомбу сюда».

Швейцар сердито сплюнул вслед ему и отвернулся.

Мошкин долго ходил. В шестом часу зашел в ресторан среднего разбора. Сел к столу близ окна. Выпил водки, закусил анчоусами. Взял обед в семьдесят пять копеек. Пил «Шабли во льду». После обеда выпил ликеру. Слегка охмелел. Под звуки органа кру-

жилась голова. Сдачи не взял. Ушел, слегка пошатываясь и почтительно провожаемый швейцаром, — и швейцару сунул в руку двугривенный.

Посмотрел на свои никелированные часы, — был седьмой в начале. Пора. Как бы не опоздать! Не наняли бы другого! Стремительно пошагал в Измайловский полк.

Очень мешали:

разрытые мостовые;

оголтелые, вечно сонные извозчики на переходах через улицу;

прохожие, в особенности мужики и дамы;

встречные или не сторонились вовсе, или сторонились чаще влево, чем вправо, — а те, кого приходилось обгонять, зачем-то шатались по тротуару, и не угадать было сразу, с какой стороны обгонять их;

нищие, — они и к нему приставали, —

и самый механизм хождения.

Так трудно одолевать пространство и время, когда торопишься! Земля точно присасывает к себе, каждый шаг покупаешь усилием и усталостью. До боли и ломоты в икрах. От этого возрастала злоба и усиливался голодный блеск в глазах.

Мошкин думал: «Тарарахнуть бы все это к черту! Ко всем чертям!»

Наконец добрался.

Вот рота, а вот и дом № 78. Дом четырехэтажный, обшарпанный; два подъезда, мрачные с виду; посередине — разинутая пасть ворот. Посмотрел таблички над подъездами, — первые номера, а № 57 нет. Никого не видно. У ворот белая пуговка, и над нею на медяшке заросшая грязью надпись «к дворнику».

Нажал пуговку и вошел в пасть, поискать табличку жильцов. Но прежде, чем достиг таблицы, уже навстречу ему шел дворник, очень внушительного вида и с черною бородою.

— А где квартира пятьдесят семь?

Мошкин спрашивал с небрежною манерою, заимствованною от того земского начальника, из-за которого «слетел» с места. Знал уже по

опыту, что с дворниками надо говорить так-то и нельзя говорить вот так-то. Скитания по чужим подворотням и лестницам тоже придают человеку известный лоск.

Дворник спросил несколько подозрительно:

— А вам кого?

С простодушною небрежностью, растягивая слова, Мошкин отвечал:

— А я и сам не знаю. Я по объявлению. Получил письмо, а кто пишет, не написано. Только адрес написали. Кто же там живет, в номере пятьдесят семь?

— Госпожа Энгельгардова, — сказал дворник.

— Энгельгардт? — переспросил Мошкин.

Дворник повторил:

— Энгельгардова.

Мошкин усмехнулся.

— Русификация?

— Елена Петровна, — отвечал дворник.

— Чертова перечница? — почему-то спросил Мошкин.

Дворник ухмыльнулся.

— Нет-с, молодая барышня. По парадному пожалуйте, из ворот направо.

— Да там над дверями табличка, только первые номера, — сказал Мошкин.

Дворник говорил:

— Нет, там и пятьдесят семь. В самом низу.

Мошкин спрашивал:

— А чем она занимается? Есть у них какое-нибудь заведение? Школа? или редакция?

Нет; оказалось, у госпожи Энгельгардовой не было ни школы, ни редакции.

— Живут своим капиталом, — пояснил дворник.

В квартире госпожи Энгельгардовой горничная очень деревенского вида провела его в гостиную направо от темной передней и просила подождать.

Ждал. Скучал и томился. Рассматривал вещи. Было нагорожено много мебели, — кресла, столы, стулья, ширмы, экраны, этажерки, столбики, на них бюсты, лампы, безделушки, на стенах зеркала, картины, литографии, часы, на окнах занавеси, цветы. От всего этого было тесно, душно, темно. Мошкин шагал в тесноте по коврам. Со злобою смотрел на картины, на статуи.

«Тарарахнуть бы все это к черту! Ко всем чертям!» — думал Мошкин.

Но, когда хозяйка вдруг вошла, он спрятал свой голодный блеск, опустил глаза.

Она была молодая, румяная, высокая и, кажется, красивая. Шагала быстро и решительно, как хозяйка в деревне, и при этом неловко помахивала сильными, красивыми, белыми, голыми выше локтя руками.

Подошла. Подала руку, — полувысоко, — хочешь, пожми, хочешь, поцелуй. Поцеловал. Нарочно, — со злости и для штуки. Быстро, громко чмокнул и зубом царапнул, — аж дрогнула. Но ничего не сказала. Пошагала к дивану. Залезла за стол, засела на диван, а ему показала на кресло. Сел. Спросила:

— Это ваше объявление было вчера?

Буркнул:

— Мое.

Подумал и сказал повежливее:

— Мое-с.

И стало досадно. И опять подумал:

«Тарарахнуть бы».

Говорила, — спрашивала, что он может, где он учился, где работал. Так осторожненько подходила, точно боялась раньше времени проговориться и надавать больше.

Оказалось, что хочет издавать журнал. Какой? еще не решила. Какой-нибудь. Маленький. Ведет переговоры о покупке одного издания. О направлении журнала умолчала.

Он ей может понадобиться для конторы. Но так как в объявлении сказано — педагог, то она думала, что он учил в гимназии.

Впрочем, если он может вести конторские книги...

Принимать подписку...

Вести переписку по делам конторы и редакции...

Получать деньги с почты...

Заделывать номера в бандероли...

Сдавать их на почту...

Держать корректуру...

Еще что-то...

И еще что-то...

Барышня говорила с полчаса. Довольно бестолково перечисляла разные обязанности.

— Для этих дел надо несколько человек, — сурово сказал Мошкин.

Барышня досадливо покраснела. По ее лицу пробежали жадные гримаски. Она сказала:

— Журнал маленький. Специальный. Для такого маленького предприятия если взять несколько, то им нечего будет делать.

Усмехнулся. Согласился.

— Пожалуй, что и так. У вас не соскучишься.

Спросил:

— А сколько времени я у вас буду занят ежедневно?

— Ну часов с девяти утра, — это не поздно? — часов до семи вечера, — это не рано? Иногда, если спешная работа, можно и попозже посидеть или прийти в праздник, — ведь вы свободны?

— Сколько же вы думаете платить?

— Рублей восемнадцать в месяц вам будет достаточно?

Подумал. Засмеялся.

— Мало-с.

— Больше двадцати двух не могу.

— Хорошо-с.

И с внезапным порывом злости встал, сунул руку в карман, вытащил оттуда ключ от своей квартиры и тихо, но решительно сказал:

— Руки вверх!

— Ах! — произнесла барышня и немедленно же подняла руки.

Она сидела на диване, очень бледная. Дрожала. Она была большая и сильная. А он — маленький и тощий.

Рукава ее одежды отвисли к плечам, и две протянутые вверх белые, голые руки казались толстыми, как ноги акробатки, упражняющейся дома. И видно было, что у нее хватит силы долго держать руки вверх. И сквозь испуг на ее лице пробивалось выражение значительности переживаемого.

Наслаждаясь ее смущением, Мошкин произнес медленно и внушительно:

— Только двинься! Только пикни!

Подошел к картине.

— Сколько стоит?

— Двести двадцать, без рамы, — дрожащим голосом произнесла барышня.

Порылся в кармане, достал перочинный нож. Разрезал картину сверху вниз и справа налево.

— Ах! — вскрикнула барышня.

Подошел к мраморной головке.

— Что стоит?

— Триста.

Ключом отбил ухо, оббил нос, щеки пооббил. Барышня тихонько ахала. И приятно было слушать ее тихое аханье.

Порвал еще несколько картин, порезал обивку кресел, сломал несколько хрупких вещичек.

Подошел к барышне. Крикнул:

— Лезь под диван!

Исполнила.

— Лежи смирно, пока не придут. Не то бомбой тарарахну.

Ушел. Никого не встретил ни в передней, ни на лестнице.

У ворот стоял тот же дворник. Мошкин подошел к нему. Сказал:

— Что у вас барышня-то странная какая?

— А что?

— Да нехорошо себя ведет. Скандалит очень. Вы бы к ней пошли.

— Коли они не зовут, как же я могу?

— Ну как знаете.

Ушел. Голодный блеск в его глазах тускнел.

Мошкин долго ходил по улицам. Тупо и медленно вспоминал эту гостиную, и разрезанные картины, и барышню под диваном.

Тусклые воды канала манили к себе. Скользящий свет заходящего солнца делал их поверхность красивою и печальною, как музыка безумного композитора. Такие были жесткие плиты набережной, и такие пыльные камни мостовой, и такие глупые и грязные шли навстречу дети! Все было замкнуто и враждебно.

А зеленовато-золотистая вода канала манила.

И погас, погас голодный блеск в глазах.

Так звучен был мгновенный всплеск воды!

И побежали, кольцо за кольцом, матово-черные кольца, разрезая зеленовато-золотистые воды канала.

Конный стражник

I

Во втором часу ночи ранней и еще теплой осени инспектор гимназии Сергей Платонович Переяшин возвращался из гостей домой по тихим и темным улицам Ковыляк.

Необходимое примечание для позабывших географию и для учивших ее не очень подробно: Ковыляки — большой губернский город. Стоит на обоих берегах реки Пропоицы. Имеет университет. Ведет большую торговлю. Славится окороками. Не следует смешивать с другими Ковыляками, уездным городом на реке Негодяйке, в котором нет ничего примечательного, кроме острога в древнем городище, где некогда жил удельный князь.

Переяшин хорошо поужинал, немало выпил вина, играл в приятной компании и выиграл. От этого мысли его во время одинокой дороги были приятны, — для него, — и понемногу приняли несколько легкомысленное направление. Он замечтался.

Сначала мечтал о девицах: там, откуда он возвращался, их было немало. Многие из них были с ним любезны: он был холост, не стар, высок,

строен, ловок и силен. И даже имел свой капиталец, хотя и небольшой.

Потом мысли и мечтания его, по обычному для него сцеплению идей, обратились к его ученикам, гимназистам, и преимущественно к тем, которые жили во вверенном его попечению пансионе при гимназии. Теперь они, конечно, все спали, и в пансионе было тихо и полутемно. Стриженые головы на белых подушках, тихое дыхание спящих, сползающие с иных одеяла... Привычная картина, всегда будившая в Переяшине странные и жестокие волнения.

Вспоминал: были симпатичные мальчики; были и неприятные. И уже брожение с улиц заползало в гимназию, и настроение становилось неспокойным. Переяшин думал, что для успокоения мальчиков полезны были бы строгие меры. Самые строгие меры. В сущности, и многие родители были бы довольны, если бы к их мальчикам применялись самые строгие меры. Не дальше как сегодня вечером сестра одного из живущих в пансионе гимназистов говорила Переяшину:

— Валя мог бы учиться гораздо лучше. Он такой способный. Ему все так легко дается. Но он ленится. Он вовсе не думает о том, что после смерти отца нам так стало трудно жить. Я очень боюсь, что он начнет засиживаться в классах. Ему так еще долго учиться. Хоть бы секли их там у вас. Только шалят. И никого не боятся.

Переяшин отчетливо вспомнил Валю Заглядимова. Сначала — канцелярское воспоминание: в списке учеников строчка — Заглядимов Валентин. Потом топографическое: во втором классе, во втором ряду, около стены против окон. Потом — зрительное: невысокий, плотный, черноглазый мальчик, веселый и шаловливый. Но всегда вежливый. Потом — историческое: сегодня Заглядимов Валентин получил единицу.

Это не было само по себе приятно, но у Переяшина сладко защемило сердце. И вдруг сложилось и созрело странно-жестокое решение.

II

У гимназистов в спальне, — которая почему-то носила дурацкое название дортуара, словно соответственное русское слово не

годилось, — было, как и ожидал Переяшин, тихо и сонно. Все было как всегда, — все те же звуки и запахи. Из открытых форток слабо веяло внешнею прохладою, лишние лампы были погашены. В комнате для дежурного воспитателя было совсем темно и тихо. Переяшин заглянул в стеклянный верх двери в эту комнату и ничего не увидел. Подумал, припоминая: «Кто нынче дежурит? Кажется, Чечурин».

И пошел дальше, почему-то утешенный соображением, что Чечурин спит крепко и уж если залег спать и свет погасил, то не проснется до звонка, если сторож не догадается разбудить его раньше.

Валина кровать стояла недалеко от входа, в спальне младшего возраста. Валя лежал, скорчившись от холода, потому что одеяло наполовину сползало. Не догадывался проснуться и закрыться и белел в смутной полутьме перемятым комочком. Тихонько посапывал носом, уткнувшись в подушку, и лицо его имело выражение невинное и значительное, как будто снились ему небесные ангелы, играющие золотыми мячиками на изумрудно-зеленых райских полях. И невинное, и важное выражение этого лица раздражало Переяшина. Он думал: «Спит себе, как путный. Ручки на груди сложил, как ангел, а сам единицу получил, а сам, как только от него отвернешься, только о том и думает, как бы нашалить. Бровки сдвинул, хоть сейчас в живую картину ставь у ног Мадонны. А вот я тебе сейчас задам отличную живую картину».

Весь охваченный тупою злостью, Переяшин схватил мальчика за плечо и потряс его довольно неласково. Валя, сопя и вздыхая, заворочался на постели. Но все еще не мог проснуться. Переяшин повторял торопливо и тихо:

— Вставай, вставай живее, Заглядимов Валентин.

Валя попытался было опять ткнуться в подушку, — и несколько раз пришлось Переяшину брать его за плечи и раскачивать.

Вдруг Валя сообразил, что его будит инспектор. Испуганно вскочил. Хватился за одежду.

— Не надо, — хрипло шепнул Переяшин, — не надо одеваться, — повторил он погромче. — Иди так.

— Куда? — спросил Валя.

Переяшин не отвечал. Молча накинул одеяло на Валины плечи, взял его за руку и повел.

Все спали. Валя с удивлением оглядывался на Переяшина. И путался босыми ногами в складках своего одеяла. Переяшин вел его по лестницам и коридорам в свою квартиру. Смотрел, как на темном полу белели красивые Валины ноги.

III

Через полчаса Валя возвращался на свою постель. У него было хмурое и красное лицо и заплаканные глаза. Он уткнулся носом в подушку, всхлипнул, потом засмеялся потихоньку, потом вдруг заснул.

Утром ему казалось, что он видел во сне, как Переяшин привел его в свой кабинет и выпорол ремнем. Было, — во сне, — больно и стыдно, и потом смешно. Валя рассказал своему другу, Шуре Скворцову, какой смешной видел сон. Смеялись оба. Валя вспоминал подробности. Смеялись. Шурка выдумывал подробности. Опять смеялись. Вдруг Шурка спросил:

— А отчего же у тебя кожа на этом месте стала полосатая?

— Врешь? — спросил Валя.

— Ей-Богу, не вру. Посмотрись в зеркало. А вот тут на боку два синяка. Точно от пряжки.

Стали серьезны. Внимательно исследовали. Удивлялись и смеялись.

— Должно быть, он тебя и вправду выпорол, — сказал Шурка.

Валя опять спросил сомневающимся голосом:

— Врешь?

Шурка засмеялся. Сказал:

— Мне-то с чего врать? Ведь не меня. Да разве ты сам не помнишь, во сне это было или наяву?

Валя подумал.

— Заспал, — сказал он неуверенно. — Я крепко сплю. Может быть, и в самом деле выпорол. За единицу. А я об ней и думать-то позабыл.

Шурка сказал со смехом:

— Так вот вспомни. Ты к нему самому сходи спроси.

— Ну да, выдумаешь! — сказал Валя.

И тоже засмеялся.

— Право, — настаивал Шурка. — А то сестру пошли.

— Ты знаешь что? — сказал Валя смущенно. — Ты афиши-то не расклеивай об этом.

Но Шурка засмеялся еще веселее. Кричал:

— А вот и расклею! Что за секрет?

IV

В тот же день «афиши были расклеены». В маленьких классах смеялись. Приставали к Вале.

— Правда? — спрашивали его. — Переяшка тебя выпорол? Больно? Чем порол? Где порол? Сам порол?

— Ерунда! — сердито возражал Валя. — И ничего не выпорол. Просто это мне во сне приснилось. А пороть-то я еще и не дамся никому.

Не верили. Смеялись. Говорили:

— А откуда у тебя синяки на этом самом месте?

— Просто я о кровать ушибся, — объяснил Валя.

Но уже этому совсем не верили и смеялись.

В средних классах отнеслись к слуху безразлично. Ведь это же у маленьких. Иные даже говорили:

— Маленьких пороть — разлюбезное дело. Им еще не стыдно, а вперед бояться будут. Вот нас — нельзя.

В старших классах негодовали. Шумели, кричали, спорили, — о способах выражения протеста. Позвали к себе Валю. Долго и основательно расспрашивали его. Осмотрели его тело, сосчитали красные полоски и синие пятна от ушибов.

Когда Валя вернулся в «занятную» своего возраста, то лицо у него было тоже, как ночью, красное, но уже не смущенное, а гордое. Он посматривал на товарищей свысока. Одного надоедалу отшил презрительным окриком:

— Ну ты, нестеганый! Туда же!

И тот отошел сконфуженный. Проворчал только:

— Заважничал! Во сне-то всякий сумеет.

Шурке Валя шепнул по секрету:

— Старший возраст письмо в газету пишут. Ловко расписали все дело. Пропечатают нас с инспектором. Скандал будет грандиозный. Инспектор с места слетит, а директору большая неприятность будет.

Шурка слушал, замирая от сладкого ужаса и делал большие глаза. Валя посмотрел на него опасливо и сказал:

— Только ты не болтай по своей привычке. Это не такое дело, чтобы рассказывать. Это такое дело, что тут надо молчать да и молчать.

— Ей-Богу, никому не скажу, — уверял Шурка. — Разве же я сам не понимаю? Слава Богу, не маленький!

Но уже утром все знали, и в младших, и в средних классах. И все ходили, как заговорщики, и настроение было важное и торжественное. Мальчишки посматривали на учителей с лукавым простодушием и делали такой вид, точно они ничего не знают, да и знать-то нечего. Старшие были мрачны и важны.

V

Прогуливаясь в городском саду после обеда, Переяшин встретил Валину сестру. Почему-то почувствовал себя неловко. Она улыбалась ему приветливо. Сказала:

— Большое вам спасибо. Мы все очень вам благодарны.

— За что? — с деланным недоумением спросил ее Переяшин.

— Мы все, — повторила она, пожимая его руку, — вам очень благодарны за то, что вы наказали Валю. Его давно следовало высечь.

— Ну что вы! — сказал Переяшин. — Я и не думал его сечь. Это ему приснилось.

Валина сестра улыбнулась. На ее щеках запрыгали умильные ямочки, и Переяшин вспомнил стихи своего вновь любимого современного поэта (у него каждый год был новый любимый поэт, из самых молодых, чувствительных и фривольных):

Посреди ее ланит
Ямочки отверсты;
Там шалун Эрот сидит,
Сложа нежны персты.

И, пока ямочки прыгали на румяных и полных щеках одетой в полутраур барышни, ее глаза приняли лукавое и понимающее выражение, и она сказала, горячо пожимая опять теплыми и тонкими пальцами сильную руку Переяшина:

— Ах да, конечно, для него полезно видеть такие сны! Авось теперь будет учиться получше, чтобы опять не приснилось что-нибудь еще более неприятное.

Поговорив еще немного о разных других вещах, барышня простилась. А Переяшин отправился домой, сдержанно усмехаясь. И уже думал, что Валя, наверное, скоро опять получит плохую отметку или нашалит, и тогда опять можно будет посечь его. И сказать, что опять видел во сне. «Привычка к нехорошим снам».

Только уже надо будет не ремень взять, а припасти настоящие розги. Так будет гораздо лучше. И сладко размечтался Переяшин о том, как будет сечь мальчика, как его белая кожа станет покрываться полосами и краснеть. Что ж делать! — если нет своих мальчиков, так хоть чужих постегать. Переяшину всегда хотелось иметь своих детей. Да как-то так случилось, что не женился...

VI

Однако мечтам Переяшина не суждено было осуществиться. В местной газете «Ковыляцкие вопли» появилось письмо в редакцию, подписанное так: «Сознательные гимназисты старших курсов второй Ковыляцкой гимназии». В этом письме рассказывалось, что инспектор гимназии Переятин (опечатка, не замеченная корректором) подверг телесному наказанию гимназиста второго класса Ваню З. (было набрано «Валю», но корректор исправил, не веря, что может быть и такое имя). «Прискорбный инцидент» был рас-

сказан довольно подробно и красноречиво. Выражалось энергичное негодование.

Город заговорил об этой истории. Переяшин стал популярным. Уличные мальчишки кричали ему издали:

— Дяденька, выдери этого мальчишку, — чего он ко мне пристает?

Через день в той же газете было напечатано опровержение от «начальства» гимназии: по тщательном расследовании оказалось, что во второй Ковыляцкой гимназии ничего подобного не было; никакого Ивана З. во втором классе этой гимназии нет, а есть Валентин З., который воспитывается в гимназическом пансионе на казенный счет и отличается замеченною еще его домашними наклонностью фантазировать, что, по всей вероятности, и было причиною возникновения невероятного слуха. Инспектор гимназии — превосходный педагог и относится к воспитанникам гуманно (газета напечатала «туманно»).

Это казенное опровержение мало кого убедило. Особенно неудачным оказалось упоминание о казенном счете. Говорили:

— На казенный счет учится, значит, бедный мальчик; родители не посмеют жаловаться. Этим и пользуются, чтобы обижать ребенка безнаказанно.

Еще через день «Ковыляцкие вопли» сообщили, что их сотрудник был в гимназии, произвел дознание, и факт сечения гимназиста инспектором подтвердился. И уже тогда скандал принял серьезные размеры. В местном клубе возник вопрос об исключении из числа членов не только Переяшина, но даже и директора гимназии. Вопрос вызвал страстные прения. Остался нерешенным. Из-за него между двумя старшинами произошло маленькое столкновение («форменная драка» — уверяли некоторые очевидцы). Впрочем, их в тот же день помирили.

VII

В гимназию приехал попечитель учебного округа, — явление редкое. Ему некогда было разъезжать по училищам: все время уходило на канцелярскую работу.

«Из-за меня», — думал Валя, видя, какой переполох происходит в гимназии.

Валю позвали в директорский кабинет. Ни директора, ни инспектора там не было. Попечитель один сидел в кресле у письменного стола и смотрел на вошедшего в кабинет Валю с видом человека, не привыкшего разговаривать с детьми. На Валю наводили страх его угрюмые глаза, растрепанные полуседые волосы и тучное тело.

Попечитель сказал, притворяясь ласковым:

— Ну-с, молодой человек, рассказывайте, что тут с вами было. Я слышал, что вы распускаете слух, будто бы вас здесь высекли. Так как же? Может быть, и в самом деле был такой грех?

Валя исподлобья смотрел на синий вицмундир тучного, старого, важного человека, на его серебряную звезду, выглядывающую скромным углом из-за лацкана, — и молчал. Попечитель повторил:

— Ну-с? Да ты не стесняйся, — никто не услышит. Кто тебя высек?

Валя покраснел.

— Никто, — тихо сказал он.

— Никто? — тоном вопроса повторил попечитель, и на его желтом, морщинистом лице заиграла довольная улыбка. — Так что же вы болтаете? — спросил он с привычным выражением начальнической строгости.

Валя тоненьким дискантом, робея и стыдясь своей робости, объяснял:

— Я во сне видел. Я так и говорил, что во сне. Это они сами придумали.

— А письмо в газету кто писал? — быстро и строго спросил попечитель.

— Не знаю, — сказал Валя.

— Так, — недоверчиво сказал попечитель.

Помолчал, посмотрел на Валю внимательно и с любопытством и отрывисто приказал:

— Иди.

Валя вышел, и навстречу ему вошли директор, инспектор и еще кто-то, — мундирные педагоги. И, пока еще дверь была открыта, Валя слушал сухой и уверенный голос попечителя:

— Как и следовало ожидать, газетные писатели подняли шум из ничего. Он говорит...

И дверь закрылась. Валю окружили. И вдруг он сообразил, что пропустил такой удобный и, может быть, единственный случай. Стало досадно на себя самого. И товарищи дразнили и укоряли Валю.

А дома бранили, зачем проболтался о сне. Боялись, как бы Валя в отместку за эту неприятную для начальства историю не вылетел из пансиона.

И опять было опровержение, на этот раз от учебного округа. Газета опять возражала. Печатала, пользуясь этим случаем, целый ряд статей и писем в редакцию, — и все это были вещи, неприятные учебному ведомству. В городе кто верил газете, кто не верил, кто думал, что так мальчишке и надо.

Унять бы газету, — да тогда были не такие времена.

VIII

События между тем шли быстро и бурно. Волнения на окраинах города. Собрания, митинги. Забастовки. Казаки. Уличные процессии. Избиения. Красные флаги, — и багряная кровь многих.

Бастовали и гимназисты. Устраивали химическую обструкцию. Переяшину задали кошачий концерт. В его квартире побили стекла.

Уже и попечитель был недоволен Переяшиным. Вызывал его. Было неприятное объяснение. Переяшин понял, что им собираются пожертвовать. Попечитель намекнул, что лучше бы перевестись в другой город. И злость томила Переяшина. Уже все гимназисты казались ему врагами. Было неприятно встречаться с ними на улице. Вообще неприятно стало выходить: популярность не радовала Переяшина.

Был морозный, ясный день. Переяшин стоял у окна своей казенной квартиры в гимназии и с тупою злобою смотрел на площадь. Зрелище народной демонстрации было противно ему. Веяли красные флаги. Весело звучали молодые голоса, и сквозь двойные рамы отчетливо

слышались смелые слова песен. Шли толпа за толпою, — пестрое смешение лохмотьев и нарядов, молодых и старых лиц. Вот мелькнули знакомые лица, гимназисты.

«Даже и не скрываются, негодяи», — злобно думал Переяшин.

Вдруг все смешалось, дрогнуло, побежало. Вопли ужаса пронеслись в толпе. Переяшин с радостным волнением торопливо подошел к угловому окну. Он увидел, как по улице мчался прямо на толпу отряд казаков. Смотрел с жадным любопытством.

Свалка. Мелькание нагаек. Лошади теснились в толпу. Визг, вопли. Клочья одежды. Бегство. Давка. Чьи-то полуобнажившиеся от быстрых ударов окровавленные спины...

Переяшин радостно смеялся, взвизгивая и топочась за своим безопасным окном.

IX

Через полчаса Переяшин вышел на площадь. Было пусто. Только патрули медленно кружили по площади и по улицам, да кое-где виднелись конные жандармы и казаки. У подъезда гимназии сидел на красивой лошади казак. Лошадь под ним стояла спокойно и сторожко, словно прислушиваясь к чему-то. У казака было странно равнодушное, красное лицо.

— Поработали, казачки? — заискивающим голосом спросил Переяшин.

Казак молча глянул на него равнодушными глазами. Отвернулся. Презрительно сплюнул. Переяшин вытащил кошелек. Порылся в нем, — и казак стал внимателен. И уже веселая улыбка заиграла на его молодом, простоватом лице.

Переяшин достал серебряный рубль. Сказал казаку:

— Вот, казачок, возьми целковый на обновление плетки. Твоя-то поотрепалась об этих мерзавцев, — так ты новую купи да лупи их хорошенько.

Казак слушал, радостно улыбаясь.

Слушал не один казак. Площадь была не так пуста, как Переяшину казалось.

X

В тот же день в городе уже говорили, что Переяшин дал рубль казаку на подновление плети. Передавали просьбу Переяшина «лупить хорошенько». Возмущались. «Ковыляцкие вопли» поместили по этому поводу язвительный фельетон. Положение Переяшина стало невозможным. При встречах на улицах от него отвертывались. Ему не подавали руки. Из клуба его исключили уже без споров. Попечитель решил убрать его из Ковыляк в другой город. Пригласил сначала для объяснений и чтобы предупредить.

С таким же скучающим и угрюмым лицом смотрел попечитель на вошедшего к нему Переяшина, как раньше смотрел на Валю. Холодно и сухо объявил Переяшину, что здесь его не оставит.

— Я — патриот, — хриплым голосом сказал Переяшин, покачиваясь на стуле.

Попечитель с досадою и отвращением смотрел на Переяшина, и уже видно было, что Переяшин пьян. Он бормотал:

— Я ему дал, движимый... побуждаемый... так как он есть страж и, значит, опора.

— Не будем вдаваться в подробности, — осторожно сказал попечитель. — Вы, в сущности, ничего не потеряете, а в нравственном отношении даже выиграете. Мы дадим вам такое же место.

— Не желаю, — возразил Переяшин. — Я намерен постоять за порядок.

Попечитель усмехнулся. Сказал:

— Это уже решено.

Переяшин вытащил из бокового кармана сложенный вчетверо лист бумаги.

— Вот, — сказал он, — прошение. Вчистую выхожу. Поступаю в конные стражники. Я уже ходил наниматься. И уже у меня есть вся амуниция. И нагаечка.

На лице попечителя изображался ужас...

XI

Прошло несколько дней. С городского кладбища расходилась толпа молодежи. Везде за углами было много казаков и конных стражников. В числе стражников гарцевал и Переяшин.

Из уважения к его чину ему дали самую хорошую, какая только нашлась в Ковыляках, лошадь. И вся амуниция на нем красовалась новенькая и чистенькая, и особенно хороша была нагайка. Так приятно было сжимать ее в руке и помахивать ею. И потому лицо у него было красное и веселое. Сегодня для обновления формы он и сам выпил изрядно, и своих новых сослуживцев хорошо угостил. Нарочно стал на самом видном месте и ругался:

— Молокососы! Бунтовать вздумали! Пороть вас хорошенько! Вешать вас!

Пересыпал свои слова площадною руганью. Его вид и его слова возбуждали в толпе смех и презрение. Несколько комков грязного снега шлепнулись в его лицо. Он заругался еще неистовее.

Кто-то бросил камень. Попал ему в руку. Переяшин взвизгнул, пришпорил коня, взмахнул нагайкою и ринулся в толпу.

За ним и другие.

Перина

Наборщик Демьян Степаныч Проходимцев и его жена Наталья Петровна ужинали. Они только на прошлой неделе повенчались и теперь устраивали свое хозяйство. Наталья Петровна говорила:

— Я удивляюсь на мамашу, что они, будучи при таких деньгах, не только не пускают их в оборот, но даже не положат в банк, а держат их под собою. Хоть бы вы им посоветовали, Демьян Степаныч.

— Это я могу, — ответил Проходимцев, тощий черноволосый человек с очень серьезным лицом, — я им разъясню их невежество. Но я не понимаю того, Наталья Петровна, что вы говорите, что ма-

менька свой капитал под собой содержат. В каких, собственно, смыслах это следует понимать?

Наталья Петровна оглянулась вокруг опасливо и, понизив голос, хотя слушать было некому, сказала:

— Это, собственно, Демьян Степаныч, секрет, но, как говорится, что муж да жена — одна сатана, то и, надеясь на вашу скромность, что вы никому не расскажете, я вам открою, что маменька держат свои капиталы в перине, на которой они спят.

Проходимцев ничего не ответил. Уже когда прошло много времени и уже Наталья Петровна начала стлать постель, он все еще думал. Наконец сказал:

— Мнение мое об этом предмете такое, что надо маменьку пригласить к нам на постоянное пребывание, а то их там при их одиночестве всякий может ограбить и даже лишить возможности жизни.

— Маменька к нам не поедут, — сказала Наталья Петровна, — они очень берегут свою перину и не решатся ее перевозить.

Но Проходимцев, как бы не слушая, продолжал:

— И даже я так полагаю, что надо маменьку пригласить сегодня же, а то нонче ночью их могут ограбить и порешить, а это нам с вами будет неприятно и даже невыгодно. А что маменька откажутся, это я и сам знаю, но только я их приглашу так, что и с отказом они к нам переедут. Согласитесь сами, Наталья Петровна, что нам надобно не согласие маменькино, а маменькина перина.

И с этими словами Проходимцев аккуратно оделся, сказал жене:

— До приятного со мною свиданья.

И ушел. Жена равнодушно посмотрела за ним, зевнула и села у окна, сложа руки, ждать мужа.

Проходимцев, пройдя улицы две, постучался в окошко маленького одноэтажного домика. Взлохмаченная голова высунулась в окно, и хриплый тенорок проговорил:

— Я, Проходимцев, друг любезный, что так поздно?

— Господину Раскосову почтение, — ответил Проходимцев, — и прошу выйти на улицу по важному и неотложному делу.

— Немедленно? — с некоторым удивлением спросил господин Раскосов.

Проходимцев отвечал:

— Немедленно, и даже сию секунду.

Господин Раскосов зевнул, подумал, скрылся и скоро вышел из ворот. Это был рослый, дюжий молодец с пухлым рябым лицом и светлою трепаною бородкою лопатой. Он был одет в синюю блузу и пиджак.

— Друг ты мне или нет? — спросил Проходимцев.

Раскосов воскликнул:

— Демьян, мне ли не поверишь!

— И сверх того рубль целковый заработать желаешь? — продолжал Проходимцев.

Раскосов просиял и воскликнул:

— Это очень даже можно. Руб целковый — монета уважительная. Это я могу.

— Нонче ночью мне надо важное дело сделать, — объяснил Проходимцев, — тещу к себе домой водворить желаю, а как она своего согласия не даст, то я намереваюсь переселить ее к любезной дочери, а моей законной жене, на жительство скорым манером. Но как для такого дела нужен товарищ, то я и приглашаю господина Раскосова.

— А в полицию не возьмут? — осведомился Раскосов.

Проходимцев покачал головою.

— Возлагаю надежду на крепость рук и скорость ног.

И приятели отправились, соблюдая молчание.

III

Было тихо и тепло; в садах за изгородями пахло свежо и нежно, луна подымалась на востоке, за домами звучно и скоро лепетала река у плотины, — город спал.

Тещин дом стоял у выгона, второй от конца улицы. Проходимцев и Раскосов остановились под окнами. Проходимцев рассудительно сказал:

— Теперь главное затруднение состоит в том, как попасть, никого не обеспокоив.

Потрогал рамы, — все окна заперты, толкнул калитку, — задвинута. Постоял, подумал и полез через забор. За ним Раскосов.

В будке у ворот яростно залаяла собака, но узнала Проходимцева и успокоилась, — свой. Проходимцев подошел к дому, заглянул в кухню.

— Марфушка спит, — сказал он, — надо ее вызвать.

И принялся громко мяукать и скрести пальцами стекло окна. Кто-то зашевелился за окном. Проходимцев спрятался за угол, Раскосов последовал его примеру.

Окно открылось. Марфа, молодая девица, в одной рубашке, высунулась в окно и сказала, зевая:

— Машка подлая, чего ты скребешься?

Проходимцев выглянул из-за угла.

— Марфуше наше почтение, — сказал он.

За ним высунулся и Раскосов. Марфа вздрогнула.

— О, леший, испугал! — крикнула она. — Что вам тут надо, полуночники?

Свежо и молодо во влажной темноте ночной прозвучал ее голос.

— Мы к вам по делу, прекрасная девица Марфа, — сказал Проходимцев. — Потому как ваша барыня, а наша любезнейшая маменька желает переехать к нам на жительство, но опасается огласки, чтобы соседи не помешали, а кроме того, у нашей маменьки причуды, как у малого ребенка, то маменька нам нонче и говорят: не хочу я к вам ни пешом идти, ни конью ехать, а несите вы меня, как Ольга премудрая Игоревых послов, на моей собственной трехспальной перине. Вот мы и пожаловали, а вы, Марфа прекрасная, извольте отворить нам двери.

Марфа засмеялась.

— Придумаете тоже, — сказала она, — нашли дуру! Так я вам и отворила.

— Известное дело, нашли, — отвечал Проходимцев, — известное дело, отворишь, — семьдесят пять копеек получить желаешь?

— Обманете? — живо спросила Марфа.

Проходимцев вынул кошелек, отсчитал семьдесят пять копеек, подал Марфе и укоризненно сказал:

— У нас деньги верные, как в казначействе. Мы не затем, чтобы обманывать.

Марфа сосчитала деньги.

— Да мне что ж, — сказала она, — я, пожалуй, и отворю. Мне-то что же!

Она отошла от окна и, звучно-тяжело ступая, пошла к двери. Звякнул запор, с тихим скрипом раскрылась дверь, и, вся белая на ее зияющей темноте, выглянула Марфа.

Проходимцев и Раскосов вошли.

Марфа захохотала, пряча лицо в платок. Все трое отправились в спальню к старухе.

IV

Анна Прохоровна спала, свернувшись комочком на своей широкой перине. Приятели взяли перину, Раскосов в головах, Проходимцев в ногах, и понесли. Старуха проснулась. Забеспокоилась.

— Что такое? — закричала она. — Марфушка, подлая, куда меня волокут? Нешто пожар?

— Ничего, маменька, не беспокойтесь, — ответил Проходимцев, — мы с нашею супругою приглашаем вас к нам на пребывание.

Проворно, почти бегом, вынесли старуху на двор, а потом на улицу. Она кричала:

— Озорники, да что вы делаете? Пустите меня, я домой пойду.

— Никак невозможно, маменька, — говорил Проходимцев, — потому как ваш костюмчик дома остался, и, кроме того, не извольте кричать, а то соседи увидят вас в беспорядке, и вам будет зазорно.

Старуха захныкала:

— Разбойник ты, креста у тебя на вороту нет.

Но приятели не слушали и быстро мчались со своею ношею по тихим улицам безмолвного городка. Скоро принесли и положили перину со старухою на пол.

— За вашим костюмчиком, маменька, пойду, — объявил Проходимцев.

Рассчитался с Раскосовым и пошел за старухиною одеждою. Старуха плакала. Дочь говорила ей:

— Так как мы вас, маменька, очень любим, то и нет нашего желания жить с вами отдельно. Вам у нас будет, как у Христа за пазухой.

Обыск

Приятное в жизни переплетается с неприятным. Приятно быть учеником первого класса, — это создает известное положение в свете. Но и в жизни ученика первого класса случаются неприятности.

Рассвело. Заходили, заговорили. Шура проснулся, и первое его ощущение было то, что на нем что-то рвется. Это было неприятно. Что-то комкается под боком, — и потом возникло более отчетливое представление разорванной и скомканной рубашки. Под мышками разорвалось, и чувствуется, что прореха почти до самого низа.

Шуре стало досадно. Он вспомнил, что еще вчера говорил маме:

— Мама, дай мне чистую рубашку; у этой рубашки прорешка под мышками.

А мама ответила:

— Завтра еще поноси, Шурочка.

Шура поморщился, как любил это делать, когда что было не по нем, и сказал досадливо:

— Мама, да она завтра совсем разорвется. Что ж мне оборванцем ходить!

Но мама, не отрываясь от работы, — и охота ей самой все шить! — сказала недовольным голосом:

— Отстань, Шура, не до тебя, некогда мне. Моду какую завел приставать к матери! Сказано, завтра вечером переменишь. Шалил бы меньше, вот и одежда была бы целее. На тебе горит, — не напасешься.

Шура же был совсем не шалун. Он заворчал:

— Как еще поменьше шалить? Меньше нельзя. Я совсем мало шалю. Только если шалю, так уж самое-самое необходимое, без чего никак нельзя.

Так мама и не дала рубашки. Ну вот, что же вышло! Рубашка разорвалась до самого подола. Теперь ее бросить надо. Вот какая нерасчетливая мама!

Было слышно за стеною, как мама проворно ходила, торопясь выбраться из дому. Шура вспомнил, что у мамы есть хорошая практика, — такая, на которую надо ходить долго и за которую дадут много денег. Это, конечно, хорошо, — но вот сейчас мама уйдет, и Шуре придется отправляться в рваной рубашке, — и во что же она тогда обратится к вечеру?

Шура проворно вскочил, бросил одеяло на пол и побежал к маме, громко стуча по холодному полу голыми ногами. Закричал:

— Вот, мама, полюбуйся! Говорил ведь я тебе вчера, что надо мне дать другую рубашку, а ты не хотела дать, — ну вот, видишь, что с нею сделалось!

Мама сердито поглядела на Шуру. Досадливо покраснела. Заворчала:

— Еще бы ты голый выбежал! Что за срам! Никакого нет сладу с мальчишкой, до того набалован.

Схватила Шуру за плечи, повела к себе в спальню. У Шуры опасливо дрогнуло сердце. Мама говорила:

— Ведь знаешь, что я тороплюсь, а все-таки лезешь. Горе мне с тобою!

Но уж видела, что в этой рубашке нельзя оставить мальчика. Пришлось идти в комод, доставать новую рубашку, еще не надеванную, потому что те рубашки, из которых мама хотела дать сегодня, были еще в стирке, — принесут их только к вечеру.

Шура обрадовался. Очень приятно было ему надевать новое белье, — оно такое жесткое и холодное и так забавно щекочет кожу. Одеваясь, он смеялся и шалил, но маме уже совсем некогда было побыть с ним, и она торопливо ушла.

II

В училище было, как всегда, странно: весело и скучно, живо и неестественно. Весело было, когда приходили перемены между уроками, и скучно, когда был самый урок.

Предметы, которыми приходилось заниматься на уроках, были странные и совсем ненужные: Люди, которые давно умерли и ничего хорошего не сделали, но о которых надо было после стольких столетий все еще зачем-то помнить, хотя некоторых из них, может быть, и на свете никогда не бывало, — Глаголы, которые с чем-то спрягались, и Имена, которые куда-то склонялись, но для которых не находилось живого места в живой речи, — Фигуры, о которых так трудно было доказать то, чего совсем и не надо было доказывать, — и Многое Иное, столь же нелепое и чуждое. И не было одного во всем этом необходимого, — не было Связи Соотношений, не было прямого ответа на вечный вопрос: Что к Чему и Откуда.

III

Утром в зале перед молитвою к Шуре подошел Митя Крынин. Спросил:

— Ну что, принес?

Шура вспомнил, что обещал вчера принести Крынину книжку с современными песенками. Сунул руку в карман, — там книжки не было. Сказал:

— Ну, в пальто оставил. Сейчас принесу.

Побежал в шинельную. В это время сторож надавил пружинки электрических звонков, и по всему обширному и скучному зданию училища затрещали резкие голоса колокольчиков. Пора было идти на молитву, — без этого нельзя было начаться ученью.

Шура заторопился. Сунулся в карман пальто, ничего не нашел, потом вдруг увидел, что это чужое пальто, крикнул досадливо:

— Ну вот история, в чужое пальто залез!

И принялся отыскивать свое.

Рядом с ним раздался насмешливый хохот. Неприятный голос шалуна Дутикова заставил Шуру вздрогнуть от неожиданности. Дутиков, опоздавший в училище и пришедший только сейчас, кричал:

— Что, брат, по чужим карманам лазишь?

Шура проворчал сердито:

— А тебе что за дело, Дутька? Не в твой карман.

Нашел книжку и побежал в зал, где уже строились ученики к молитве, выравниваясь длинными шеренгами по росту, так что маленькие стали впереди, ближе к иконам, большие сзади, и в каждой шеренге справа были мальчики повыше, слева — пониже. Учителя считали, что молиться надо по росту и в шеренгах, иначе ничего не выйдет. Кроме того, в сторонке стали мальчики, которые навострились в церковном пении, и один из них перед каждым разом, как надо было запеть, тихонько подвывал на разные голоса, что называлось — задавать то̀н. Пели громко, быстро и безвыразительно, как в барабаны били. Дежурный ученик читал по молитвеннику те молитвы, которые полагалось не петь, а читать, — и читал так же громко, так же безвыразительно. Словом, все было как всегда.

А после молитвы случилось происшествие.

IV

У Епифанова из второго класса пропал перочинный ножик и серебряный рубль. Краснощекий бутуз, обнаружив покражу, поднял плач: ножик был красивый, в перламутровой оправе, а рубль был нужен на самые неотложные дела. Пошел жаловаться.

Начался разбор дела.

Дутиков рассказал, что видел в шинельной, как Шура Долинин шарил по карманам в чужих пальто. Шуру позвали в кабинет инспектора.

Сергей Иванович, инспектор, подозрительными глазами уставился на мальчика. Старому учителю было приятно думать, что вот он сейчас уличит воришку. Потом будет экстренное заседание педагогического совета, потом воришку исключат.

Казалось бы, во всем этом нет ничего хорошего. Но уж очень насолили шаловливые и непослушные мальчуганы старому учителю, — со злорадством сыщика смотрел он на смущенного, раскрасневшегося мальчика и медленно задавал ему вопросы:

— Зачем ты был в шинельной во время молитвы?

— До молитвы, Сергей Иванович, — тоненьким от испуга голосом пищал Шура.

— Допустим, что до молитвы, — с ирониею в тоне голоса соглашался инспектор. — Однако я спрашиваю, зачем?

Шура объяснил зачем. Инспектор продолжал:

— Допустим, что за книжкой. А в чужой карман зачем лазил?

— По ошибке, — горестно сказал Шура.

— Прискорбная ошибка, — заметил инспектор, укоризненно качая головою. — А скажи-ка ты лучше, не взял ли ты по ошибке ножик и рубль? По ошибке, а? Посмотри-ка в своих карманах.

Шура заплакал и говорил сквозь слезы:

— Я ничего не воровал.

Инспектор улыбался. Приятно довести до слез. На румяных щеках такие красивые и частые катятся детские слезы, и непременно в три ручья: из одного глаза две струйки слез, а из другого — одна.

— Если не воровал, так чего же плакать? — издевающимся тоном говорил инспектор. — Я и не говорю, что ты украл. Я предполагаю, что ты ошибся. Захватил, что в руку попало, а потом и сам забыл. Пошарь-ка в карманах.

Шура поспешно вытащил из кармана весь тот детский вздор, какому полагается быть у мальчишек, — а потом и оба кармана вывернул.

— Ничего нет, — сказал он досадливо.

Инспектор смотрел на него пытливо.

— А не завалилось ли куда-нибудь за одежду, а? В сапоги, может быть, ножик-то провалился, а?

Позвонил. Пришел сторож.

Шура плакал. И все вокруг плыло в розовом свете, в безумном обмороке унижения. Шуру повертывали, ощупывали, обыскивали. Понемножку раздевали: заставили снять сапоги и вытряхивали их; ста-

щили на всякий случай и чулки; сняли пояс, блузу, брюки. Все вытряхивали и осматривали.

И сквозь все томление стыда, сквозь обиду унизительного и ненужного обряда яркая пронизывала радость: рваная рубашка осталась дома, и под грубыми руками усердного педагога шуршала новенькая, чистенькая рубашка.

Стоял Шурка в одной рубашке и плакал. За дверью послышались шумные голоса, веселые крики.

Стукнула дверь, вошел поспешно кто-то маленький, румяный, улыбающийся. И сквозь стыд, и сквозь слезы, и сквозь радость о новой рубашке Шура услышал чей-то не то веселый, не то смущенный голос, слегка запыхавшийся от бега:

— Нашлось, Сергей Иванович. У самого Епифанова. У него дыра была в кармане, — ножик и рубль провалились в сапог. Теперь он почувствовал, что неловко, и нашел.

Тогда вдруг стали ласковы с Шурою. Гладили по голове, утешали и помогали одеваться.

V

То плакал, то смеялся. Дома опять и плакал, и смеялся. Рассказывал маме. Жаловался:

— Совсем раздели. Хорош бы я был в рваной рубашке.

Потом... что же потом? Мама ходила к инспектору. Хотела сделать ему сцену. Хотела потом на него жаловаться. Но на улице вспомнила, что мальчик освобожден от платы за учение. Сцены не вышло. Притом же инспектор принял ее очень любезно. Извинялся очень. Чего же еще?

Унизительное ощущение обыска осталось в мальчике. Так врезалось это ощущение: заподозрен в воровстве, обыскан, и стой полуголый, поворачивайся в руках усердного человека. Стыдно? Но ведь это — опыт, полезный для жизни.

И мама сказала, плача:

— Кто знает, — вырастешь, не то еще будет. У нас все бывает.

Отравленный сад

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила.
А.С. Пушкин

— Прекрасный Юноша, о чем ты задумался так глубоко? — спросила Старуха, у которой Юноша снимал комнату.

Она тихо вошла вечером в его полутемную комнату, и, еле слышно шелестя по крашеному буро-красною краскою неровному полу мягкими туфлями, приблизилась к Юноше, и стала у его плеча. Он вздрогнул от неожиданности, — уже с полчаса стоял он у единственного окна своего тесного покойчика в верхнем жилье старого дома и, не отрываясь, смотрел на открывающийся перед ним прекрасный Сад, где цвело множество растений, благоухающих нежно, сладко и странно. Отвечая Старухе, Юноша сказал:

— Нет, Старая, я ни о чем не думаю. Я стою, смотрю и жду.

Старуха укоризненно покачала седою головою, и узлы ее темного платка закачались, как два остро поднятые кверху, настороженные уха. Ее морщинистое лицо, более желтое и сухое, чем у других старых женщин, живших на той же улице, на окраине громадного Старого Города, выражало теперь озабоченность и тревогу. Старуха молвила тихо и печально:

— Жаль мне тебя, милый Юноша.

Голос ее, хотя уже и старчески хриплый, звучал такою печалью, таким искренним состраданием, и ее уже бесцветные от старости глаза глядели так скорбно, что Юноше в полумраке его покоя вдруг на одно короткое мгновение показалось, что эти внешние признаки старости — только удачно надетая личина и что за нею скрывается молодая, прекрасная Жена, еще недавно только испытавшая пронзающую сердце скорбь Матери, оплакавшей погибшего Сына.

Но прошло это странное мгновение, и Юноша улыбнулся своей чудной мечте. Он спросил:

— Почему тебе жаль меня, Старая?

Старуха стала рядом с ним, посмотрела в окно на Сад, прекрасный, и цветущий, и весь осиянный лучами заходящего солнца, и сказала:

— Мне жаль тебя, милый Юноша, потому, что я знаю, куда ты смотришь и чего ты ждешь. Мне жаль тебя и твоей матери.

Может быть, от этих слов, а может быть, от чего-нибудь иного, что-то изменилось в настроении Юноши. Сад, цветущий и благоухающий за высоким забором под его окном, вдруг показался ему почему-то странным, и темное чувство, похожее на внезапный страх, жутким замиранием остановилось у его сердца, точно рожденное пряными и томными ароматами, исходящими от ярких внизу цветов.

«Что же это?» — подумал Юноша в недоумении.

Он не захотел поддаваться томному очарованию вечерней тоски, сделал над собою усилие, улыбнулся, быстрым движением сильной руки откинул с высокого лба прядь черных волос и спросил:

— Что же нехорошего в том, на что я смотрю и чего я жду? И почем ты знаешь, чего я жду?

И в эту минуту он был веселый, смелый, прекрасный, и черные глаза его пылали, и румяные щеки его рдели, и алые, яркие губы его казались сейчас только поцелованными, и из-за них сверкали крепкие, белые зубы, веселые, злые.

Старуха говорила:

— Милый Юноша, ты смотришь на Сад и не знаешь, что это — злой Сад. Ты ожидаешь Красавицу и не знаешь, что красота ее пагубна. Два года прожил ты в моей комнате и ни разу не засматривался так, как сегодня. Видно, и твой черед настал. Пока еще не поздно, отойди от окна, не дыши дыханием коварных цветов и не жди, чтобы под окно твое пришла чаровать Красавица. Она придет, она зачарует, и ты пойдешь за нею, куда не хочешь.

Говоря так, Старуха зажгла две свечи на столе, где лежали книги, захлопнула окно и задернула у окна занавеску. С легким скрежетом провлеклись по медному пруту кольца, заколыхалось и опять спокойно легло желтое полотно занавески, — и в комнате

стало весело, уютно и спокойно. И казалось, что нет за окном Сада, и нет в мире очарований, и все просто, обычно, установлено раз навсегда.

— А и правда, — сказал Юноша, — я никогда не обращал внимания на этот Сад и сегодня только в первый раз увидел Красавицу.

— Уже увидел, — печально сказала Старуха. — Уже упало в твою душу злое семя очарования.

А Юноша говорил не то Старухе, не то рассуждая сам с собою:

— Да раньше и некогда было. Днем на лекциях в университете, вечером — за книгами или с веселыми товарищами и милыми девушками на вечеринке или в театре, где-нибудь на галерке, а то так и в партере по студенческой контрмарке, когда платной публики мало: антрепренеры нас любят, мы хлопаем усердно и кричим, вызывая актрис, пока не погасят всех огней. Летом уедешь к родителям. Так, только слышал, что рядом великолепный Сад нашего профессора, знаменитого Ботаника.

— Потому и знаменитый, что черту душу продал, — сердито сказала Старуха.

Студент рассмеялся весело.

— А все-таки, — сказал он, — мне странно, что я никогда до сегодняшнего вечера не видал его дочери, хотя и слышал много об ее дивной красоте и о том, что многие знатные юноши Старого Города и из других мест, близких и дальних, добивались ее любви, и надеялись, и обманывались, а иные даже и умирали, не стерпев ее холодности.

— Она — коварная, — сказала Старуха. — Она знает цену своим чарам и показывается не всем. Нищему студенту трудно свести с нею знакомство. Отец обучил ее многому, чего и ученые не знают, но на ваши сходки она не ходит. Она больше с богатыми, от которых можно ждать многих подарков.

— Старая, сегодня я хорошо видел ее, и мне кажется, — возражал Юноша, — что девица с таким прекрасным лицом, с такими ясными глазами, с такими грациозными манерами и одетая так красиво, не может быть коварною и корыстною и гнаться за по-

дарками. Я твердо решил, что познакомлюсь с нею. Сегодня же пойду к Ботанику.

— Ботаник тебя и на порог не пустит, — говорила Старуха. — Его слуга о тебе и докладывать не пойдет, как увидит твою поношенную одежонку.

— Что ему за дело до моей одежды! — с досадою сказал Юноша.

— Да вот разве если б ты на крылатом змее приехал, — сказала Старуха, — так, пожалуй, пустили бы, и на твои заплаты не поглядели бы.

Юноша засмеялся и воскликнул весело:

— Что ж, Старая, и крылатого змея оседлаю, коли иначе туда не попасть будет!

— Да уж от ваших забастовок добра не ждать, — ворчала Старуха. — Учились бы смирно, и все было бы хорошо. И тебе бы не было никакой печали до этой хитрой Красавицы и до ее страшного Сада.

— Что страшного в ее Саду? — спросил Юноша. — А не бастовать нам никак нельзя было: наши права и права университета нарушены, — неужели же мы смиренно подчинимся?

— Юноши должны учиться, — ворчала Старуха, — а не права разбирать. А ты, милый Юноша, прежде чем с Красавицей знакомиться, в ее Сад вглядись хорошенько из окошка, завтра утром, при свете солнца, когда все видно ясно и верно. Ты увидишь, что в этом саду нет цветов, которые здесь всем знакомы, а цветов, какие там есть, никто у нас в Городе не знает. Подумай-ка об этом хорошенько, — ведь это неспроста. Бес коварен, — не его ли это создания на пагубу людям?

— Это — растения чужестранные, — сказал Юноша, — они привезены из жарких стран, где все иначе.

Но уже Старуха не хотела больше разговаривать. Она досадливо махнула рукою и, шамая туфлями, сердито и неразборчиво бормоча неласковые слова, вышла из комнаты.

Первым побуждением Юноши было — подойти к окну, отдернуть желтое полотно занавески, и опять смотреть в очаровательный сад, и ждать. Но помешали: пришел Товарищ, шумный, нескладный молодой человек, и позвал Юношу идти в место, где

они часто собирались, чтобы говорить много, спорить, шуметь и смеяться. По дороге Товарищ, смеясь, негодуя, размахивая руками больше, чем бы следовало, рассказал Юноше о том, что происходило сегодня утром в аудиториях и в университетских коридорах, как были сорваны все лекции, как были посрамлены противники забастовки, какие прекрасные слова говорили любимые, хорошие профессоры и как смешно вели себя профессоры нелюбимые и, значит, нехорошие.

Юноша провел интересный вечер. Говорил, волнуясь, как все. Слушал искренние, горячие речи. Смотрел на товарищей, лица которых выражали и беззаботную смелость молодости, и ее пламенное негодование. Видел девушек, милых, умных, скромных, и мечтал о том, что из их веселого круга изберет себе подругу. И почти забыл о Красавице в очарованном Саду.

Вернулся домой поздно и заснул крепко.

II

Утром, когда он открыл глаза и когда взор его упал на желтое полотно занавески у окна, показалось ему, что ее желтизна окрашена багрянцем темного желания и что в ней есть какая-то странная, жуткая напряженность. Казалось, что солнце настойчиво и страстно упирает жгучие, горькие лучи в пронизанное золотым светом полотно, и зовет, и требует, и волнует. И в ответ удивительной внешней напряженности золота и багрянца огненною живостью наполнились жилы Юноши, упругою силою налились мускулы и сердце стало как родник ярых пожаров. Пронизанный сладко миллионами живящих, и горящих, и возбуждающих игол, вскочил он с постели и с ребяческим веселым хохотом, не одеваясь, принялся прыгать и плясать по комнате.

Привлеченная необычным шумом, заглянула в дверь Старая хозяйка. Покачала укоризненно головою и ворчливо сказала:

— Милый Юноша, пляшешь, и радуешься, и всех беспокоишь, а чему рад, и сам не знаешь, и не ведаешь, кто стоит под твоим окошком и что она тебе готовит.

Юноша смутился и стал тих и скромен, как раньше, что и согласно было с его характером, и соответствовало прекрасному воспитанию, полученному им дома. Он умылся старательнее обычного, оттого, может быть, что не надо было сегодня спешить на лекции, а может быть, и по иной причине, и с таким же тщанием оделся, причем долго чистил свою изрядно уже поношенную одежду: новой у него не было, так как родители его были не богаты и не могли присылать ему много денег. Потом подошел он к окну. Сердце его забилось тревожно, когда он отдернул желтое полотно занавески. Очаровательное зрелище открылось перед ним, — хотя сегодня он сразу заметил, что есть что-то странное во всем виде этого обширного, превосходно расположенного Сада. Что именно его удивляло, еще он сразу не понял и внимательно стал рассматривать Сад.

Что же было неприятного в его красоте? Отчего так больно замирало сердце Юноши? То ли, что все в очаровательном Саду было слишком правильно? Дорожки разбиты прямо, все одинаковой ширины и однообразно усыпаны ровным слоем желтого песку; растения рассажены с тщательною порядливостью; деревья подрезаны в виде шаров, конусов и цилиндров; цветы подобраны по тонам, так что сочетание их ласкало глаз, но почему-то ранило душу.

Но, рассуждая здраво, что же неприятного в том порядке, который свидетельствует, что кто-то неусыпно заботится о Саде? Нет, не в этом, конечно, была причина странного беспокойства, томившего Юношу. В чем-то другом, еще непонятном Юноше.

Одно было несомненно, что этот Сад не был похож ни на один из тех садов, которые довелось на своем веку повидать Юноше. Он видел здесь цветки громадные и слишком яркой окраски, — порою казалось, что разноцветные огни пылали среди буйной зелени, — бурые и черные стебли ползучих растений, толстые, как тропические змеи, — листья странной формы и непомерной величины, зелень которых казалась неестественно яркою. Пряные и томные ароматы легкими волнами вливались в открытое окно, вздохи вани-

ли, и ладана, и горького миндаля, сладкие и горькие, торжественные и печальные, как ликующая погребальная мистерия.

Юноша чувствовал на своем лице нежные, но бодрящие прикосновения легкого ветра. В саду же, казалось, ветер не имел силы и в изнеможении улегся на спокойно-зеленой траве и в тени под кустами странных насаждений. И оттого, что деревья и травы странного Сада были бездыханно-тихи, и не слышали тихо веющего над ними ветра, и ничем не отвечали ему, они казались неживыми. А потому лживыми, злыми, враждебными человеку.

Впрочем, одно из растений шевелилось. Но, вглядевшись, Юноша засмеялся. То, что он принял за безлистый ствол странного растения, был человек небольшого роста, тощий, в черной одежде. Он стоял перед кустом с ярко-пурпурными цветами, потом медленно пошел по дорожке, опираясь на толстую палку и приближаясь к тому окну, из которого глядел Юноша. Не столько по лицу, которое, будучи прикрыто широкими полями черной шляпы, только отчасти было видно сверху, сколько по манерам и походке, Юноша узнал Ботаника. Не желая показаться нескромным, Юноша немного отодвинулся от окна в глубину комнаты. Но вдруг увидел он, что навстречу Ботанику шла Красавица, его юная дочь.

Ее нагие руки были подняты к сложенным на голове черным косам, потому что в это время она вкалывала в волосы яркопунцовый цветок. Ее легкая, короткая туника была застегнута на плече золотою пряжкою. Ноги ее, легким потемневшие загаром, до колен открытые, были стройны, как ноги воскресшей богини. Сердце Юноши забилось, он забыл всякую осторожность и скромность, опять бросился к окну и жадно глядел на милое видение. Красавица кинула в его сторону быстрый, пламенный взгляд, — и синие из-под черных ровных бровей сверкнули очи, — и улыбнулась нежно и лукаво.

Если бывают люди счастливы, если светит им порою безумное солнце радости, сладким кружением восторга унося в запредельные страны, — то где слова, чтобы сказать об этом? И если есть на свете красота для очарований, то как описать ее?

Но вот остановилась Красавица, пристально посмотрела на Юношу и засмеялась радостно и весело, — и в несказанном кружении восторга забыл Юноша о всем, что есть на свете, стремительно наклонился из окна и закричал голосом, звонким от волнения:

— Милая! Прекрасная! Божественная! Приди ко мне! Люби меня!

Красавица подошла близко, и Юноша услышал тихо звенящий, ясный голос, каждый звук которого сладкою мукою ранил его сердце:

— Милый Юноша, знаешь ли ты цену моей любви?

— Хотя бы ценою жизни! — восклицал Юноша. — Хотя бы у темных ворот Смерти!

Зарею пылающею и смеющеюся стояла Красавица перед Юношей и простирала к нему стройные, обнаженные руки. И говорила, и веял от ее слов аромат обольстительный, томный, как вздохи нежной туберозы:

— О, милый Юноша, мудрый и страстный, ты знаешь, ты видишь, ты дождешься. Многие любили меня, многие жаждали обладать мною, прекрасные, юные, сильные, многим улыбалась я улыбкою обаятельною, как улыбка последней утешительницы, но никогда никому до тебя не говорила я сладких и страшных слов: люблю тебя. Теперь хочу и жду.

Страстью и желанием звенел ее голос. Она отвязала от пояса шелковый черный шнурок с бронзовым на нем ключом и уже взмахнула рукою, чтобы бросить ключ Юноше, но не успела. Отец уже спешил к ней, заметив еще издали, что она заговорила с незнакомым Юношей. Он грубо схватил ее за руку, отнял от нее ключ и закричал хриплым старческим голосом, противным, как тяжелое карканье старого ворона на кладбище:

— Безумная, что ты хочешь сделать? Не о чем тебе с ним говорить. Этот Юноша не из рода тех, для кого взрастили мы наш Сад, смешав соки этих растений с ядовитою смолою Анчара. Не для таких, как этот голяк, погиб наш предок, надышавшись тлетворным ароматом страшной смолы. Иди, иди домой и не смей говорить с ним.

Старик повлек дочь к дому, видневшемуся в глубине Сада. Он крепко сжимал ее руки, обе захватив одною своею рукою. Краса-

вица покорно шла за отцом и смеялась. И был ее смех ясен, звонок, сладок и жалил тысячами острых жал пламенеющее сердце Юноши.

Он еще стоял у окна, долго всматривался напряженными глазами в расчисленные и расчищенные дали очарованного Сада. Но уже Красавица больше не показывалась. Все тихо и недвижно было в дивном Саду, и бездыханными казались чудовищно яркие цветы, и от них доходил до Юноши аромат, кружащий голову, жутким томлением сжимающий сердце, аромат, напоминающий темные, стремительные, жадные вздохи ванили, цикламена, датуры и тубероз, злых, несчастных цветов, умирающих, умерщвляя, чарующих смертною тайною.

III

Юноша твердо решился проникнуть в дивный Сад, надышаться таинственными ароматами, которыми дышит Красавица, и добиться ее любви, хотя бы ценою за нее была жизнь, хотя бы путем к ней был путь смертный, путь безвозвратный. Но кто бы помог ему проникнуть в дом старого Ботаника?

Юноша ушел из дому. Долго ходил он по Городу и всех, кого знал, расспрашивал о Красавице, дочери Ботаника. Одни не могли, другие не хотели ввести его в дом старого Ботаника, и о Красавице все говорили недоброжелательно.

Товарищ ему сказал:

— Все молодые Оптиматы Города влюбляются в нее и хвалят ее изысканную и утонченную красоту. Нам же, Пролетариям, ее красота ненавистна и не нужна; ее мертвая улыбка нас раздражает, и безумие, затаившееся в синеве ее глаз, нам противно.

Девушка, вторя ему, говорила:

— Ее красота, о которой говорят так много праздные и богатые юноши, вовсе даже и не красота, на наш взгляд. Это — мертвая красивость разложения и упадка. Я думаю даже, что она румянится и белится. От нее пахнет, как от ядовитого цветка; даже дыхание у нее ароматно, и это противно.

Популярный Профессор говорил:

— Коллега Ботаник — знаменитый и ученый человек; но он не хочет подчинять свою науку высоким интересам гуманности. Его дочь, говорят, очаровательна: некоторые говорят об оригинальности ее костюмов и манер; впрочем, я не имел случая беседовать с нею более или менее обстоятельно; притом же в нашем кругу ее редко можно встретить. Думаю, однако, что ее очарования заключают в себе нечто вредное для здоровья, — до меня дошли странные слухи, за до-стоверность которых, конечно, я не ручаюсь, слухи о том, что процент смертности среди посещающих этот дом молодых аристократов выше среднего.

Аббат, с тонкою улыбкою на бритом бледном лице, сказал:

— Когда Красавица приходит ко мне в церковь, она молится слишком усердно. Можно подумать, что она замаливает тяжелые грехи. Но я надеюсь, что нам не доведется увидеть ее стоящею на паперти в шерстяной сорочке кающейся грешницы.

Мать, выславши из комнаты дочерей, сказала:

— Я не понимаю, что в ней находят привлекательного. На нее разоряются, она кокетничает, разбивает сердца юношей, отнимает женихов от невест, а сама никого не любит. Я не позволяю моим милым дочкам, Миночке, Линочке, Диночке, Ниночке, Риночке, Тиночке и Зиночке, вести с нею знакомство. Они у меня такие скромные, милые, любезные, веселые, приветливые, прилежные, такие хозяйки, такие рукодельницы. И как мне ни жаль расставаться с ними, но, так и быть, старшенькую я выдала бы замуж за такого скромного юношу, как вы.

Юноша ушел поспешно. Семь сестриц улыбались ему из окна, теснясь одна за другою. Это было зрелище милое и приятное, но сердце Юноши полно было сладкими, жуткими мечтами о Красавице.

IV

Старый Ботаник привел свою дочь в дом. Его гнев смягчился, и хотя он до самого порога не выпускал из своей руки с большими костля-

выми пальцами сложенных вместе тонких рук весело улыбающейся Красавицы, но уже он не жал их так больно и не толкал ее так грубо. Его лицо было печально. Он выпустил руки своей дочери, и она сама послушно вошла за ним в его кабинет, — огромную, мрачную комнату, стены которой были загромождены полками с множеством книг, громадных, запыленных,

Ботаник сел в обитое темною кожею кресло у своего тяжелого дубового стола. Он казался усталым. Прикрыл глаза, еще юношески блестящие, пергаментно-желтою, дрожащею рукою и укоризненно смотрел из-под руки на дочь. Красавица стала на колени у его ног, и смотрела снизу в лицо старого Ботаника, и улыбалась нежно и покорно. Она стояла прямо, с опущенными руками, и в позе ее была смиренная покорность, и в улыбке обольстительных уст было нежное упрямство. Лицо ее казалось побледневшим, и казалось, что на губах ее зыбко пламенеет безумие смеха и что в синеве ее глаз затаилось безумие тоски. Молчала и ждала, что скажет отец.

И он сказал медленно, словно с трудом находя слова:

— Милая, что же я слышал? Не ждал я от тебя этого. Зачем ты это сделала?

Красавица склонила голову и тихо сказала:

— Отец, рано или поздно это же должно совершиться.

— Рано или поздно? — спросил отец, как бы с удивлением.

И продолжал:

— Так пусть это лучше совершится поздно, чем рано.

— Я пламенею, — тихо сказала Красавица.

И улыбка на ее устах была как отблеск знойного пылания, и в глазах ее затаились синие молнии, и ее обнаженные плечи и руки были как тонкий алебастровый сосуд, наполненный расплавленным металлом. Порывисто дышала высокая грудь, и две белые волны рвались из тесных объятий ее платья, нежный цвет которого напоминал желтоватую розовость персика. Из-под складок недлинной одежды были видны трепетно лежащие на темно-зеленом бархате ковра стройные ноги.

Отец тихо покачал головою и сказал печально и строго:

— Ты, милая дочь, столь опытная и столь искусная в дивном умении чаровать, оставаясь непорочною, должна знать, что еще рано тебе отходить от меня и бросать недовершенный мой замысел.

— Но ведь этому не будет конца? — возразила Красавица. — Они приходят вновь и вновь.

— Никто не знает, — сказал Ботаник, — будет ли этому конец, и увидим ли мы завершение нашего замысла, или передадим его иным поколениям. Но мы сделаем, что можем. Вспомни, что сейчас должен прийти к тебе молодой Граф. Ты поцелуешь его и дашь ему отравленный цветок по его выбору. И он уйдет, полный сладких надежд и трепетных ожиданий, и опять совершится и над ним неизбежное.

Выражение покорности и скуки легло на лицо Красавицы. И отец сказал ей:

— Иди.

Наклонился, поцеловал ее в лоб. Красавица прильнула знойно-алыми губами к его морщинистой, желтой руке, прижалась к его сухим коленям белою, полуобнаженною грудью, вздохнула и встала. И вздох ее был как свирельный стон.

V

Через полчаса Красавица, нежно улыбаясь, говорила молодому, красивому, надменному Графу, стоя перед ним в той же одежде среди Сада, у круглой клумбы с яркими, громадными цветами, от которых исходил одуряющий аромат:

— Милый Граф, вы хотите очень многого. Желания ваши слишком пылки и слишком нетерпеливы.

Улыбка ее была нежна и лукава, и непорочно-ясные взоры ее с ласковым любованием скользили по стройной фигуре молодого Графа и по его богатому наряду, сшитому модно и красиво из самых дорогих тканей и украшенному золотом и самоцветными камнями.

— Милая очаровательница, — говорил Граф, — я знаю, что ты была холодна ко многим, искавшим твоей благосклонности. Но ко

мне ты будешь более ласкова. Я сумею добиться твоей любви. Клянусь честью, я заставлю потемнеть от страсти холодную синеву твоих глаз.

— Чем же вы, Граф, стяжаете мою любовь? — спросила Красавица.

Непроницаемо было выражение ее прекрасного лица, и ее голос не обличал того волнения, которое так легко овладевает девами, когда они слышат знойный голос внушенной ими страсти. Но самоуверенный, надменный Граф не смутился. Он говорил:

— От предков моих досталось мне немало сокровищ, и я сам, золотом и отвагою, приумножил их. Много у меня драгоценных камней, перстней, ожерелий, запястий, восточных тканей и ароматов, арабских коней, шелковых и атласных одежд, редкого оружия и другого много, чего и перечислить скоро не сумею, чего даже не сразу и вспомню. Все я рассыплю у твоих ног, очаровательница, — рубинами оплачу я твои улыбки, жемчугами твои слезы, золотом твои ароматные вздохи, алмазами твои поцелуи и ударом верного кинжала твою лукавую измену.

Красавица засмеялась. Сказала:

— Еще я не ваша, а уже вы боитесь моей измены и угрожаете мне. Ведь я могу и рассердиться на это.

Граф порывисто склонил перед Красавицею колени и осыпал поцелуями ее руки, гибкие и стройные, от нежной кожи которых подымалось легкое, жуткое благоухание.

— Прости моему безумию, очаровательная Красавица, — молил он, вдруг забывши всю свою надменность, — любовь к тебе лишает меня покоя и подсказывает мне дикие поступки и странные слова. Но что же мне делать! Я люблю тебя больше, чем мою душу, и за обладание тобою готов заплатить не только моими сокровищами, не только моею жизнью, но и тем, что дороже мне жизни и спасения души, — моею честью!

Красавица сказала очаровательно-ласково:

— Ваши слова тронули меня, милый Граф. Встаньте. Я не возьму с вас непомерной платы за мою любовь, — она не покупается и не

продается. Но кто любит, тот должен уметь и подождать. Истинная любовь всегда найдет путь к сердцу возлюбленной.

Граф поднялся. Изысканным жестом он оправил кружевные манжеты своего атласного зеленого кафтана и устремил на Красавицу долгий, восторженный взор. Глаза их встретились, и непроницаемо по-прежнему было выражение непорочно-светлых глаз Красавицы.

Охваченный смутною тревогою, которая в минуты смертной опасности охватывает даже надменных и самоуверенных, Граф отошел от Красавицы. На скамье недалеко лежал красиво изукрашенный резьбою дубовый ларец. Граф открыл его и с почтительным поклоном поднес Красавице. Солнечные лучи веселым смехом задрожали на бриллиантах и рубинах диадемы. Казалось надменному Графу, что сияние и смех падают на многоценные камни от рдеющих уст Красавицы. Но улыбка ее была такая же, как и раньше, и она любовалась подарком, как малоценным, хотя и приятным знаком внимания. Потом на миг опечалилась легко, отуманилась и сказала:

— Мои предки были рабами, а вы дарите мне диадему, от которой не отказалась бы и царица.

— Очаровательница! — воскликнул Граф, — ты достойна и еще более блистающей диадемы.

Красавица улыбнулась ему приветливо и опять опечалилась легко, отуманилась и говорила тихо:

— Доля моих предков — горячие капли крови под бичами жестоких, а мне — торжественные рубины увенчанной радости.

И совсем-совсем тихо шепнула:

— Но не забуду.

— Что же вспоминать о давно минувшем! — воскликнул Граф. — Радостны дни светлой юности, а печаль воспоминаний оставим старости.

Красавица засмеялась, отгоняя смехом грусть, мгновенную, как тучка, тающая на летнем солнце. Сказала Графу:

— За ваш прекрасный подарок, милый Граф, я дам вам сегодня один цветок по вашему выбору и один поцелуй. Только один.

Молодой Граф пришел в такой восторг и выражал его так стремительно и шумно, что Красавица повторила нежно и строго:

— Только один, не более.

И спросила Графа:

— Какой цветок хотите вы, милый Граф, получить от меня?

Граф ответил:

— Прекрасная обольстительница, что ты мне ни дашь, за все я буду тебе несказанно благодарен.

Улыбаясь, говорила Красавица:

— Все цветы, которые вы здесь видите, милый Граф, привезены издалека. Они собраны с большим трудом и даже с опасностями. Прилежным уходом отец мой улучшил их форму, и окраску, и аромат. Долго изучал он их свойства, пересаживал их, скрещивал, прививал и наконец достиг того, что из бедных, диких, некрасивых полевых и лесных цветочков образовались эти очаровательные, благоуханные цветы.

— И самый очаровательный цветок — ты, милая Красавица! — воскликнул Граф.

Красавица легко вздохнула и продолжала:

— Аромат их многие находят слишком крепким и одуряющим. И я замечаю, что вы, милый Граф, бледнеете, — мы с вами слишком долго пробыли среди этих знойных ароматов. Я-то привыкла, я с детства надышалась ими, и самая кровь моя пропитана их сладкими испарениями. А вам не следует слишком долго стоять здесь. Выбирайте скорее, какой цветок вы хотите взять от меня.

Но молодой Граф настаивал, чтобы Красавица сама выбрала ему цветок, — он ждал с нетерпением ее второго подарка, обещанного поцелуя, — первого ее поцелуя. Красавица посмотрела на цветы. Лицо ее омрачилось опять легкою тенью печали. Вдруг быстро, словно движимая чужою волею, она протянула руку, столь прекрасную в ее обнаженной стройности, и сорвала белый махровый цветок. Замедлила руку, склонила голову и наконец с выражением застенчивой нерешительности приблизилась к Графу и вложила цветок в петлицу его кафтана.

Аромат сильный и резкий пахнул в побледневшее лицо молодого Графа, и в томном бессилии закружилась его голова. Равнодушие и усталость овладели им. Едва помнил себя, едва чувствовал, как взяла его Красавица под руку и увела в дом, от ароматов дивного Сада.

В одной из комнат дома, где все было светло, бело и розово, Граф очнулся. Юношеская свежесть вернулась на его лицо, черные глаза его зажглись опять страстью, и он снова почувствовал радость жизни и буйство желаний. Но уже подстерегало его неизбежное. Рука, нагая, стройная, легла на его шею, и ароматный поцелуй Красавицы был нежен, сладок, долог. Две синие молнии ее глаз блеснули близко перед его глазами и призакрылись тихою тайною длинных ресниц. Жуткие огни сладкой боли вихрем закружились вокруг сердца молодого Графа. Он поднял руки обнять Красавицу, — но с легким криком она отшатнулась и, легкая, тихая, убежала, оставив его одного. Граф бросился было за нею. Но в дверях розовой горницы встретил его старый Ботаник. Язвительна была улыбка тонких губ, алою чертою разрезавших пергаментно-желтое лицо. Граф смутился. С несвойственным ему замешательством, чувствуя во всем теле странную слабость, простился он со старым Ботаником и ушел.

Жуткие вихри сладкой боли все быстрее кружились вокруг сердца молодого Графа, когда он ехал домой верхом на вороном арабском скакуне, еле слыша звонкий стук подков о камни. Все бледнее становилось его лицо. Вдруг глаза его сомкнулись, рука опустила поводья, и он тяжело склонился, падая с седла. Испуганный конь взвился на дыбы, сбросил седока и помчался. Графа подняли уже мертвым, с разбитою о камни головою. И не знали, отчего он умер. Дивились, — такой был искусный наездник.

VI

Настала ночь. Сладко и тревожно светила полная луна, ворожа и чаруя лучами холодными, могильно-тихими. Смутным страхом полно было

сердце Юноши, когда он подошел к своему окну. Руки его, захватив край желтой занавески, долго медлили и колебались, прежде чем он решился не спеша отвести в сторону занавеску. Медленно свиваясь, шуршало желтое полотно, и шелест его сходен был со змеиным еле слышным свистом в лесной заросли; и тихо звенели и скрежетали о медный прут медные легкие кольца.

Красавица стояла под окном, и смотрела на окно, и ждала. И сердце Юноши дрогнуло, и не мог он понять, страхом или восторгом томилось его сердце.

Черные косы Красавицы были распущены и падали на ее нагие плечи. Резкая тень лежала на земле у ее необутых ног. Освещенная сбоку луною, стояла Красавица, подобная резкому, отчетливому видению. Складки белой туники были строги и темны. Темна была синева глаз Красавицы, загадочна была ее неподвижная улыбка. На странной успокоенности ее тела и ее одежды тускло поблескивала гладкая матовая пряжка, застегнутая на плече.

Красавица заговорила тихо, и амброю, мускусом и туберозою благоухали ее слова, звенящие, как тонкие серебряные цепи у зажженного кадила.

— Милый Юноша, я люблю тебя. Повинуясь твоему призыву, я нарушила волю моего отца и пришла к тебе, чтобы сказать: бойся меня и моих чар, беги от этого Старого Города далеко, а меня оставь моей темной судьбе, меня, упоенную злым дыханием Анчара.

— О, прекрасная! — отвечал ей Юноша, — ты, которую я едва узнал и которая уже для меня дороже моей жизни и моей души, — зачем говоришь ты мне эти жестокие слова? Или ты не веришь моей любви, которая зажглась внезапно, но уже не погаснет?

— Я люблю тебя, — повторила Красавица, — и не хочу тебя погубить. Дыхание мое напитано ядом, и прекрасный Сад мой отравлен. Тебе первому я говорю это, потому что я люблю тебя. Торопись же оставить этот Город, беги от этого Сада с его тлетворною красотою, беги далеко и забудь обо мне.

Упоенный восторгом и печалью, сладчайшею всех земных радостей, Юноша воскликнул:

— Возлюбленная моя! Что же мне от тебя надо? Не одного ли мгновения жаждет моя душа! Сгореть в блаженном пламени восторга и любви и у сладчайших ног твоих умереть!

Легкий трепет пробежал по телу Красавицы, и вся она стала как ясная радость зари за белым туманом. Торжественным, широким движением подняла она свои нагие руки, и вся стремилась к Юноше, и говорила:

— О, возлюбленный мой! Так будет, как ты хочешь, и с тобою умереть мне сладко. Иди же ко мне, в мой страшный Сад, и я расскажу тебе мою темную повесть.

Опять, как утром, в руке ее блеснул бронзовый ключ на розовой ленте. Засмеялась, — резво, как мальчик, отбежала назад, мелькая на смутно-желтом песке дорожки смутною белизною стройных ног, — размахнулась быстро и ловко, — и метнула ключ в окно. Юноша протянул руки и на лету схватил ключ.

VII

Там, в отравленном Саду, под сенью таинственных растений, где неживая луна смешивала отраву своей тоски с ядовитым дыханием земных злых цветов, стояли они, Юноша и Красавица, упоенные восторгом и печалью. Они глядели в глаза друг другу, и Красавица, голосом, звенящим, как хрупкий голос клавесин, говорила:

— Мои предки были рабами, — но и рабы жаждут свободы. Повинуясь повелению господина, один из моих предков совершил утомительно-долгий путь, чтобы достигнуть пустыни, где растет Анчар. Он собрал ядовитую смолу Анчара и принес ее господину. Отравленные стрелы доставили господину немало побед. А мой предок, надышавшийся злых благоуханий, умер. Его вдова задумала отомстить злому роду победителей. Она воровала отравленные стрелы, мочила их в воде и, как многоценное вино, прятала эти настои в глубоких подвалах. Каплю настоя вливала она в бочку воды и этою водою поливала пустырь на краю Старого Города, где теперь наш дом и этот Сад. Потом брала каплю воды со дна

этой бочки, вмешивала ее в хлеб и кормила им своего сына. И стала почва этого Сада отравленною, и сыну своему привила она яд. И с того времени весь род наш, из поколения в поколение, питался ядом. И ныне в жилах наших течет пламенеющая ядом кровь, и дыхание наше ароматно, но пагубно, и кто целует нас, тот умирает. И не слабеет сила нашего яда, пока живем мы в этом отравленном Саду, пока мы дышим ароматами этих чудовищных цветов. Семена их привезены издалека, — мой дед и мой отец были везде, где можно достать злые и вредные людям растения, — и здесь, в этой издавна отравленной почве, эти злые, эти пагубные цветы раскрыли всю свою гневную силу. Благоухая так сладко, так радостно, они, коварные, и росу, падающую с неба, претворяют в гибельную отраву.

Так говорила Красавица, и радостно звенел ее голос, и лицо ее пылало великим ликованием. Кончила рассказ и засмеялась тихо и невесело. Юноша склонился перед нею и молча целовал ее руки, вдыхая томительное благоухание мирры, алоэ и мускуса, веявшее от ее тела и от ее тонкой одежды. Красавица заговорила опять:

— Приходят ко мне потомки угнетателей, потому что чарует их моя злая, моя отравленная красота. Я улыбаюсь им, обреченным смерти, и каждого из них мне жаль, а иных я почти любила, но не отдавалась никогда никому. Только одним поцелуем дарила я каждого, — поцелуи мои были невинны, как поцелуи нежной сестры. И тот, кого я целовала, умирал.

Ужасом и восторгом, одновременно двумя столь несходными страстями, томилась душа смущенного Юноши. Но любовь, побеждающая все, преодолевающая даже и томления предсмертной тоски, победила и ныне. Восторженно простирая к нежной и страшной Красавице трепетные руки, воскликнул Юноша:

— Если в поцелуе твоем смерть, о возлюбленная, дай мне упиться неисчислимостью смертей! Прильни ко мне, целуй меня, люби меня, обвей меня сладостным ароматом твоего отравленного дыхания, смерть за смертью вливай в мое тело и в мою душу, пока не разрушишь все, что было мною!

— Хочешь! Не боишься! — воскликнула Красавица.

Бледное в лучах неживой луны, лицо Красавицы стало как матовый светоч, и были трепетны и сини молнии ее печальных и радостных глаз. Движением доверчивым, нежным, страстным она прильнула к Юноше, и ее нагие руки обвились вокруг его шеи.

— Мы умрем вместе! — шептала она. — Мы умрем вместе. Весь яд моего сердца пламенеет, и огненные струи стремятся по моим жилам, и я вся как объятый великим пламенем костер.

— Я пламенею! — шептал Юноша. — Я сгораю в твоих объятиях, и мы с тобою — два пламенные костра, пылающие великим восторгом отравленной любви.

Тускнела и падала печальная, неживая луна, — и черная ночь пришла и стала на страже. Тайну любви и поцелуев, ароматных и отравленных, осенила она мраком и тишиною. И слушала согласный стук двух замирающих сердец, и в чутком молчании сторожила последние, легкие вздохи.

Так в отравленном Саду, надышавшись ароматами, которыми дышала Красавица, и упившись сладкою ее любовью, жалящею нежно и смертельно, умер прекрасный Юноша, — и на груди его умерла Красавица, сладким очарованиям ночи и любви предав свою отравленную, но благоухающую душу.

Претворившая воду в вино

Молва предшествовала Ему, Пророку и Учителю. Народ ждал чуда. Рассказы о чудесах передавались из уст в уста. Мудрые молчали. Они знали, что народ не мог жить без чуда.

Мал и беден был город, куда пришел Учитель в утро того дня, когда молодая чета праздновала свою свадьбу. Друзья и знакомые сошлись на пир. Был зван и Учитель, и Его Мать. Грустен был Учитель, и не веселил Его пиршественный шум. Печально смотрели на молодых Его очи, потому что Он знал, что дом их будет пуст.

Он знал, что дом их будет пуст...

Уста невесты дрогнули сладкою негою, когда упал на них поцелуй жениха...

Он знал, что дом их будет пуст.

Куст алых роз начал осыпаться, пламенея усталым цветом у бедного порога. И, смеясь, шептал коварный искуситель:

— Срывающий розы, бойся острых шипов!

Молодые, прекрасные, сидели новобрачные во главе стола. Земная нетерпеливая веселость горела в их темных глазах. Тихо сказала невеста Учителю, — Он сидел рядом:

— Учитель, для моей радости сотвори на свадьбе моей хорошее и не очень страшное чудо.

— У своего сердца проси чудес, — тихо ответил ей Учитель.

Не поняла Его невеста. Ждала и молящими глазами, улыбаясь невинною улыбкою счастливицы, просила о чуде. И шептала Учителю:

— Ведь мы знаем, что Ты делал чудеса для других, и даже когда был маленьким, делал их для своей забавы. Ты делал птиц из глины, и они пели слаще и звонче соловья, и потом Ты отпускал их на волю, и они улетали.

— Так, милая, — сказал ей Учитель, — мгновенно чудесное явление. Вот была глина, во тьме и молчании лежащая, — и возникла краснопоющая птица, — и уже нет ее. И твоя радость придет к тебе.

Опять ждала. И длился пир, шумны были гости и веселы, и уже все вино было выпито. Требовали вина, и не было его. Мать Учителя сказала Ему:

— У них нет вина. Они бедные люди. Нехорошо будет, если осудят их гости и скажут: вот, была свадьба, и вина не хватило.

Все взоры обратились к Учителю. Он встал и вышел тихо на двор к водоему. Омытый дождем, влажен был мощенный камнем двор. Вода в водоеме была высока. Последние, редкие капли дождя рябили ее поверхность. Дымно-тусклый свет смоляного факела делал блестяще-багровыми каменные края водоема, а вода казалась тяжелою и черною.

Учитель молчал. Из дому доносились шумные крики и буйный смех упившихся, но все еще жаждущих гостей. Распорядитель пира стоял рядом с Учителем у водоема, и там же были родители жениха и не-

сколько девушек, подруг новобрачной. Девушки, из скромности, почти совсем не пили вина: они много плясали на шумном пиру, и головы их кружились от их пляски и от чужого опьянения.

— Воды здесь много, — сказал распорядитель пира, — вина же у них нет. Но если Ты, Учитель, захочешь, эта вода обратится в вино.

— А если я не захочу захотеть? — спросил Учитель.

Омрачилось лицо у распорядителя пира, и в глазах его было такое выражение, словно он услышал странные, ненужные слова. А юные девы, подруги новобрачной, восклицали ласково звенящими голосами:

— Ты захочешь, Учитель!

— Покажи нам чудо!

— Мы еще никогда не видели чуда.

— Обрати эту воду в самое хорошее вино.

И с жадным любопытством смотрели они на Учителя и на воду и ждали нетерпеливо, захочет ли Учитель показать им чудо и удастся ли оно. И они были похожи на курсисток, ждущих эксперимента. Учитель медленно и как бы с неохотою погрузил руку в воду. Тяжело заколебалась вода, и красные отсветы от колеблющегося пламени факельного побежали по ее поверхности. Казалось, что от руки Учителя изливается сила, окрашивающая воду, претворяющая ее в вино.

Зарадовались девы и засмеялись весело. Распорядитель пира зачерпнул воду ковшом, отведал ее и сказал:

— Как была вода, так и осталась водою.

Девы смутились. Учитель спокойно сказал:

— Друг мой, вели слугам наполнить чаши этою водою и нести ее гостям. Пусть пьют.

Так и сделал распорядитель пира. Девы же не знали, что им думать, и не могли понять, удалось чудо или нет, или еще надо ждать его. Смущенные, вернулись в дом и ждали, что будет.

Сидящие за столом радостно закричали:

— Вот несут новое вино!

— Его много, — хватит пить до нового дня.

— Будем пить за новобрачных это новое вино и за Учителя.

И более трезвые тихо передавали друг другу весть, что Учитель выходил к водоему, чтобы из воды сделать вино.

Пили. Иные хвалили и думали, что это вино лучше того, которое было в начале пира. Другие говорили, что вино слишком разбавлено водою. И еще иные смеялись и говорили, что это простая вода.

Учитель сидел и молчал.

И вот одна из юных дев налила в свой кубок этой воды, подошла к Учителю и сказала:

— Учитель, скажи мне, вино это или вода.

— Смотри сама и пей, если хочешь, — ответил ей Учитель.

— Что же мои глаза! и что же я! — говорила дева. — Ангелы стоят вокруг Тебя и оберегают Тебя, а я их не вижу. Звезды, кружась в небе, поют над Тобою, а я не слышу их гимна. Силы четырех стихий стекаются к Тебе и опять из Тебя истекают дивным потоком, а я его не ощущаю. Что же я! Но скажи, и поверю.

Учитель сказал:

— Пей эту воду с невинною верою, и твое сердце, творящее чудеса, претворит ее в живое вино, крепче которого нет на свете.

Юная дева выпила чашу воды до дна, и великою радостью осветилось ее лицо. Пьяная водою, как вином, крепким и сладким, она плакала от восторга, и восклицала, хваля Учителя и Пророка, и плясала, кружась и ударяя в ладони. Упившиеся тупо смотрели на ее пляски и хлопали коекак ладонями, не успевая за быстрым темпом ее кружений.

Распорядитель пира и старые, трезвые гости не понимали, чему радуется упившаяся этою простою водою девушка, и улыбались ее слезам и ее восклицаниям. Новобрачные, выпившие немало, дремали и посматривали на тяжелый темный занавес над входом в опочивальню: он, молодой муж, уже почти ничего не видел и не слышал, она, молодая жена, была в досаде на то, что Учитель не сделал для нее чуда и на то, что юная подруга ее веселится чему-то в час, когда веселость должна принадлежать только ей.

Она не видела чуда, и дом ее будет пуст.

Учитель тихо оставил пиршество и с Матерью Своею удалился в тот дом, где Его приняли на ночь. Восторженная дева шла за Ними, и пела,

и восклицала, и плясала, и, забегая перед Учителем, падала лицом на землю и целовала Учителю ноги, и опять плясала, и смеялась, и плакала. Когда закрылась за Учителем дверь дома, восторженная дева с воплями радости выбежала из города, и всю ночь лежала на мокрой и теплой траве у ручья, и плакала от несказанной радости. Сладко и звонко пел над нею соловей, и благоухали белые и алые розы, и звезды вели над нею свой вечный хоровод под музыку высоких сфер.

Утром вернулась в свой дом, навеки обрадованная и навеки опечаленная радостью и скорбью, широкими, как небесные высокие сферы. Пророчествовала об Учителе и Пророке, смеясь и плача. Говорили о ней:

— Безумная!

Жалели. Но и завидовали, — знали, что она видела великие тайны и дивные чудеса, что перед нею открывалось небо, что с нею говорил Бог.

Алчущий и жаждущий

«Иные верили и спаслись,
иные не верили и погибли, —
ранее же всех погиб сам очарователь».

«Ночной гость».
роман леди Эвелины Варвик

За несколько переходов от города Дамаска крестоносцы разделились на несколько отрядов. Они хотели достигнуть Дамаска с разных сторон, чтобы таким образом легче и безопаснее овладеть этим богатым, крепким городом. Кроме того, разделиться на отряды, идущие отдельно, побуждало их и то обстоятельство, что громадное полчище их на одном пути терпело недостаток в съестных припасах. Было также признано необходимым исследовать во всех направлениях местность, по которой, внезапно появляясь и так же внезапно исчезая, рыскали отважные и коварные сарацины.

Благочестивый Ромуальд из Турени и с ним шесть тысяч шестьсот рыцарей, монахов и смелых горожан из той же области и из других, близ-

ких к ней, отошли далее всех других на восток. Шли долго, — дольше, чем рассчитывали, — и все еще не видели конца своего пути.

Далеко вокруг простерлась бесплодная, безводная пустыня. Под ногами крестоносцев хрустел мелкий, плотный песок, тонким серым слоем покрывающий твердую, смешанную с известью глину. Известковые и меловые скалы кое-где выставляли из-под песчаного слоя свои острые ребра. Ни травки вокруг. Безоблачное небо, яркое солнце.

Были съедены все взятые с собою запасы, была выпита вся вода, — и стали томиться люди голодом и жаждою.

— Хоть бы орла в небе подстрелить! — сказал рыцарь Гвидо, всматриваясь в пустынную синеву небес.

— Да нет в небе орлов, — сказал зоркий юноша Теобальд, — уже давно не видел я ни в небе, ни на земле окрест ничего живого.

И вдруг вскрикнул юный Теобальд:

— Смотрите, сарацин!

Далеко, еле видный среди серой пустыни, маячил на светлом коне сарацин в сером плаще. И вдруг опять вскрикнул юный Теобальд от внезапной боли: стрела пробила его горло, — Теобальд упал, корчась в предсмертных судорогах.

Сарацин исчез, скрытый грядою далеких скал.

Юный Теобальд хрипел, умирая, — и лицо его, за немногие минуты перед тем прекрасное и веселое, стало серым, как безжизненные пески окрестной мертвой пустыни.

К рестоносцы оплакивали недолго смерть юного Теобальда, — нельзя было медлить в этой скудной, зловещей пустыне, надо было искать верного пути к вожделенному Дамаску или хотя таких мест, где есть вода и пища, хотя бы и ржавая вода болот, хотя бы и скудная пища из мяса зверей и птиц, подстреленных на бегу и на лету, или из небольшой на каждого горсти риса или пшена.

Юного Теобальда зарыли в неприветливой почве чахлой пустыни, монахи торопливо отпели над ним погребальные песни, — и дальше наугад пошли благочестивый Ромуальд из Турени и бывшие с ним.

Дальше, от могилы юного Теобальда. Но куда идти? Бесследная лежала окрест пустыня, легкою покрытая по краям мглою, вся безжизненная и серая, — и ничто не возникало в ее немом просторе: ни движение, ни звук. Только порою, вдруг являясь из-за серой скалы, маячил далеко быстрый на легком коне сарацин, выпускал стрелу и скрывался так же быстро, недостижимый для рыцарских стрел, зыбкий, лукавый, как бы порожденный одним из тех злобных демонов, которые всегда обитают в пустынных местах, подстерегая неосторожных или слишком отважных путников. И каждый раз стрела сарацина, пущенная с дьявольскою меткостью, поражала насмерть кого-нибудь из бывших с благочестивым Ромуальдом из Турени.

Шли долго, изнемогая от усталости, голода и жажды. Когда останавливались где-нибудь у гряды неприветливых скал, нерадостен был отдых и не восстановлял утомленных сил.

Стали путники роптать на благочестивого Ромуальда. Говорили ему с горькою укоризною:

— Что же твое благочестие и твои воинские знания? Сутану ты носишь и доспехи воина одновременно, рыцарь и монах, книгам и ратному делу обучавшийся много, — что же все это, если завел ты нас в безводную пустыню, где скоро уже дьяволы порадуются погибели многих, подъявших подвиг освобождения великой святыни!

Уговаривал и утешал их Ромуальд, как мог, но ропот возрастал.

Когда уже совсем истомлены были голодом и жаждою, злой демон той пустыни стал мучить и дразнить их лживыми видениями. Вдруг возникали перед путниками невдалеке пальмовые рощи, и зеленая, сочная виднелась трава, и разливалась весело зыбкою, серебрящеюся на солнце полосою радостная вода, и даже казалось путникам, что слышно щебетанье птиц, снующих между зелеными пальмами. С воплями восторга, с молитвенными славословиями бежали путники к зеленеющей роще, — и вдруг исчезало очаровавшее их видение. Там, где только что радовались их очи блеску солнца в воде и радовались ряби прохладных ее струй по

ветру, опять только сухой, мелкий песок рассыпался под их ногами, взвеянный в воздух тяжестью их бега, — и легкая песочная пыль, пахнувшая горько и сухо, делала трудным их горячее дыхание и траурною пеленою печали заволакивала все окрест.

Другой раз путники увидели город. За серою мглою блестела белизна стен и позолота на возвышенных кровлях и на узких башнях, тусклою свинцовою синевою мерцала ширь полноводной реки, и медленно скользили по ней тяжелые барки и многовесельные, узкие, длинные галеры. Перед крепкими городскими стенами пестротою ярких красок переливалось суетливое торжище базара. Казалось путникам, что слышат они смутный многоголосый гул гортанного, трескучего говора сарацин, сирийцев и евреев.

— Дамаск, Дамаск! — радостно восклицали путники.

И бросались они вперед, забывая усталость, голод и жажду. А иные при этом в изнеможении падали побледневшим лицом в сухой, хрупкий песок и умирали, полные восторга, как бы уже достигнувшие вожделенного города и насладившиеся всеми его обильными утехами и радостями.

Но опять исчезало в пыльной мгле очаровавшее измученных путников явление, — и снова мрачное уныние овладевало их сердцами.

И уже изнемогали слабые, и многие отставали в пути, и были многие убиты, как из числа отстававших, так и из числа тех, которые еще шли за Ромуальдом из Турени. И умирали многие от усталости, голода и жажды.

Утром, когда багровым дымом из-за мглистых скал медленно подымалось солнце и когда еще гора небес была тускло-голубою, собрались около благочестивого Ромуальда спутники его, и было их шесть тысяч триста. Роптали и говорили ему:

— Завел нас в пустыню, где мы умираем.

— Мы голодны.

— Мы жаждем.

И говорили ему монахи:

— Все считают тебя благочестивым, но за чей же грех карает нас Господь? Вот, молились бы мы, но ослабели руки наши и не поды-

маются к небу, а память наша помутилась, разроняла по пустынным пескам слова святых молитв. В пустыню, где господствуют демоны, завел ты нас, отважный Ромуальд.

И рыцари говорили ему:

— Победитель на многих турнирах, вождь искусный, ты вел нас, куда хотел, и мы шли за тобою и верили в тебя. Но вот в пустыню завел ты нас, где господствуют демоны и сарацины. Таится враждебная сила, не смеет вступить с нами в открытый бой, — бесславно погубят нас коварные враги наши, демоны и сарацины. Что же твое искусство и твоя доблесть, благочестивый Ромуальд?

И возопило к нему все множество собравшихся:

— Накорми нас!

— Напои нас!

— Покажи нам дорогу!

Хриплы были голоса вопиющих, и бессильная была в них угроза, и жалкая, изнемогающая мольба.

Поник головою благочестивый Ромуальд из Турени и думал долго. Затихли голоса его спутников, и трепетно ждало все множество их, что скажет им вождь.

И сказал Ромуальд:

— Что же вы от меня хотите? Что же я могу? Не из этого ли песку, попираемого ногами вашими, сотворю я вам пшено?

Концом своего посоха он быстро провел по песку, и серовато-белая поднялась пыль, и покатились, шелестя сухо, легкие песчинки.

В толпе тогда раздались радостные восклицания:

— Из песку сотворил Ромуальд нам пшено!

— Посрамлены Ромуальдом демоны пустыни!

Бросились люди на пересыпающиеся под их ногами песчинки и проглатывали их, как пшено. Так обмануло их нестерпимое томление голода, и казалось им, что они насыщаются.

Другие же видели в пустыне только песок и камни и угрюмо молчали, но не унимали тех, кто принимал песок за пшено, и не спорили с ними.

И опять приступили к Ромуальду и говорили ему:

— Нас томит жажда, — как дикий коршун, раздирает она внутренности наши. Скорей дай нам воды, или погибнем мы все до одного.

И сказал Ромуальд:

— Где же я найду для вас воды? Окружают нас только голые скалы. Не ударом ли посоха по камню изведу я для вас источник воды? Но вот, видите, скала не источает воды.

И ударил по скале концом своего посоха. Тогда люди, обманувшие свой голод небывалым пшеном, закричали громко:

— Из камня извел Ромуальд ударом своего посоха источник холодной воды!

— Снова посрамлены Ромуальдом коварные демоны пустыни!

Толпясь и толкаясь, приникли к скале, сухой и серой, — и опять обманули их томления жажды, и казалось им, что они пьют воду. А другие стояли поодаль и знали, что нет воды, но не спорили с теми, кто небывалою освежал запекшиеся уста водою.

И потом обманувшие свой голод и свою жажду приступили снова к Ромуальду и говорили ему:

— Теперь мы готовы идти к Дамаску, — веди нас, указывай нам дорогу.

Опечаленный, сказал им Ромуальд:

— Я не знаю дороги. Или вы хотите, чтобы посох мой сам показывал вам путь, которого я не знаю?

Дрожащею от слабости рукою бросил он прочь от себя свой посох, а сам сел под скалою, усталые закрыв глаза.

И спутники его радостно говорили между собою:

— Посох благочестивого Ромуальда из Турени укажет нам дорогу.

— Снова посрамлены будут Ромуальдом злые демоны пустыни.

Юный рыцарь Бертран, искусный в разведывании дорог, чуткий к далеким звукам, взял Ромуальдов посох и пошел впереди путников, — тех, которые желанием чуда обманули свой голод и свою жажду. Скоро из мглистой дали сверкнули им в глаза золоченые иглы дамасских минаретов, — и под стенами этого славного города соединились они с другими отрядами крестоносцев.

А благочестивый Ромуальд из Турени и с ним три тысячи триста остались в пустыне, где господствуют демоны и сарацины. И умерли Ромуальд и с ним три тысячи триста от голода и жажды. Ночью на их трупы пришли шакалы, привлеченные запахом мертвых тел. Яркое солнце пустыни потом выбелило кости погибших. Потом демоны пустыни, вея сухими ветрами, долго играли грудою костей, — и стучала кость о кость, и песок пересыпался вокруг них и над ними.

Снегурочка

I

Просят дети:

— Снегурочка, побудь с нами.

Говорит Снегурочка:

— Хорошо. Я побуду.

Побыла с ними. Тает. Спрашивают дети:

— Снегурочка, ты таешь?

Отвечает Снегурочка:

— Таю.

Плачут дети.

— Милая, краткое время побыла ты с нами, — что же с тобою?

Тихо говорит Снегурочка:

— Позвали, — пришла. И умираю.

Плачут дети. Говорит добрый:

— И уж нет Снегурочки? Только слезы.

Злой говорит:

— Лужа на полу, — нет и не было Снегурочки.

И говорит нам тот, кто знает:

— Тает Снегурочка у наших очагов, под кровлею нашего семейного дома. Там, на высокой горе, где только чистое веет и холодное дыхание свободы, живет она, белоснежная.

Дети просятся:

— Пойдем к ней, туда, на высокую гору.

Улыбается мать и плачет.

II

Опять, опять мы были дети!

Ждали елки, праздника, радости, подарков, снега, огоньков, коньков, салазок. Ждали, сверкая глазами. Ждали.

Нас было двое: мальчик и девочка. Мальчика звали Шуркою, а девочку — Нюркою.

Шурка и Нюрка были маленькие оба, красивые, румяные, всегда веселые, — всегда, когда не плакали; а плакали они не часто, только когда уж очень надо было поплакать. Были они лицом в мать.

Хотя их мать звали просто-напросто Анною Ивановною, но она была мечтательная и нежная в душе, а по убеждениям была феминистка. Кротко и твердо верила она, что женщины не плоше мужчин способны посещать университет и ходить на службу во всякий департамент.

С дамами безыдейными Анна Ивановна не зналась. Ее подруги, феминистки, считали ее умницею; другие ее подруги, пролетарки, смотрели на нее как на кислую дурочку. Но те и другие любили ее.

Ее муж, Николай Алексеевич Кушалков, был учитель гимназии. Очень аккуратный. Верил только в то, что знал и видел. К остальному был равнодушен. Считал себя добрым, потому что никогда не подсиживал никого из сослуживцев. Отлично играл в винт.

Ученики побаивались Николая Алексеевича, потому что он был необыкновенно систематичен и последователен. Поэтому, хотя он преподавал русский язык, гимназисты называли его немчурою (немецкого учителя называли короче — немец).

Приближались святки. Дни были морозны и снежны. Шурочка и Нюрочка бегали в саду около их дома, на окраине большого города. Дорожки были расчищены, а там, где летом трава и кусты, снег лежал высокий.

Мать из окна в гостиной видела иногда из-за высокого снега только красные, пушистые шапочки на детях. Смотрела на детей, улыбалась,

любовалась их раскрасневшимися лицами, прислушивалась к звонким взрывам их смеха и думала нежно и радостно: «Какие у меня красивые, милые дети!»

Солнце, красное солнце хорошего зимнего дня светило ярко и весело, радуясь недолгому своему торжеству. Оно поднялось невысоко, — и не подняться ему выше, — стояло близко к земле и к людям и казалось ласковым, добрым и светло-задумчивым. Розовые улыбки его лежали, тихие, не слишком веселые, на снегу по земле, на пушистых от снега ветках, на заваленных мягким снегом кровлях. От этого казалось, что весь снег улыбается и радуется. И такие забавные с кровли свешивались розоватые на солнце ледяные сосульки.

Забавный мир детской игры, маленький сад, был огорожен с улицы невысоким дощатым забором. Слышались за этим забором порою шаги прохожих по захолодавшим мосткам, но дети не слушали их, — своя была у них игра.

Им было тепло, — горячая кровь грела их тела, и мама одела их заботливо, — отороченные мехом курточки, меховые рукавички, сапожки на меху, шапочки из мягкого, как пух, меха.

Бегали долго, крича, как стрижи. Но одним беганьем весел не будешь. Играть!

И придумали игру.

III

Сперва недолго поиграли в снежки. Потом вдруг сказала Нюрочка:

— А знаешь что, Шурка? Знаешь, что мы сделаем?

Шурочка спросил:

— Ну, что?

— Мы сделаем Снегурочку, — сказала Нюрка, — понимаешь, из снега. Скатаем и сделаем.

Шурочка опять спросил:

— Снежную бабу?

— Нет, нет, зачем бабу! — кричала Нюрочка, — мы сделаем маленькую девочку, такую маленькую, как моя большая кукла, знаешь,

Лизавета Степановна. Мы назовем ее Снегурочкой, и она будет играть с нами.

Шурка спросил недоверчиво:

— Будет? А как же она будет бегать?

— А мы ей ноги сделаем, — сказала Нюрка.

— Да ведь она из снега! — говорил Шурка.

— А день-то сегодня какой? — спросила Нюрка.

— Какой? — спросил Шурка.

— Сегодня сочельник, — объяснила Нюрка. — Для такого дня она вдруг побежит с нами и будет играть. Вот увидишь.

— А и правда, — сказал Шурка, — сегодня сочельник.

И вдруг поверил. Но все еще спрашивал:

— А на другой день Снегурочка останется?

Нюрка ответила решительно:

— Конечно, останется на всю зиму и будет бегать и играть с нами.

— А весной? — спросил Шурочка.

Нюрочка призадумалась. Долго смотрела на брата, приоткрыв недоуменно ротик. Вдруг засмеялась и сказала весело, — догадалась:

— Ну что ж весной! Весной Снегурочка уйдет на высокую гору и будет жить там, где вечный снег лежит, все лето будет жить там, а зимой опять к нам спустится.

И зарадовались, засмеялись веселые дети.

Шурочка радостно кричал:

— Всю зиму будем бегать с нею! И маме ее покажем. Мама будет рада?

Нюрочка сказала серьезно:

— Еще бы! Только не надо будет водить ее в дом, а то она в тепле растает.

Шурка опять спросил:

— А где же ей спать?

Он был мальчик практичный и рассудительный, весь в отца.

Нюрочка решила:

— А спать она будет в беседке.

IV

Дети принялись за дело. Притихли.

Мать даже обеспокоилась, — что такое, не слышно криков и смеха. Тревожно глянула в окно, — да нет, ничего, ребятишки снежную бабу лепят. Успокоилась. Опять села на диван, продолжала читать книжку Эллен-Кей, — очень хорошую книжку.

И уж как они только ухитрились, — уж не помогал ли им какой-нибудь добрый или злой дух, искусный в созидании тел, особенно там, где замысел жадно ищет возможности воплощения? — но Снегурочка под их быстрыми пальцами вырастала как живая. И все черты, самые тонкие, возникали точно, словно лепилась из снега живая человекоподобная душа. Нежные снежные комья лепились один к другому в сплошное нежное снежное тело.

Дочитала главу Анна Ивановна, посмотрела в окно, — посреди площадки перед окнами, где летом цвел алый шиповник, стояла почти совсем готовая маленькая снежная кукла.

«Ловкие у меня детишки, — подумала радостно Анна Ивановна, — кукла выходит у них прехорошенькая».

И ей было приятно вспомнить, что те новые приемы воспитания и обучения, которых она придерживалась, дают превосходные результаты.

«Искусство в жизни ребенка играет, несомненно, важную роль, и родители, — думала Анна Ивановна, — должны это помнить и всячески развивать детскую самодеятельность».

V

В саду Нюрка говорила Шурке:

— Как хорошо, что мы взяли самый чистый снег! Вот она какая славная выходит!

Шурочка говорил рассудительно:

— Еще бы! Ведь этот снег прямо с неба упал; он чистый.

С восторгом говорила Нюрочка:

— Ах, какая она хорошенькая!

Шурочка сказал:

— У нее мордочка похожа на твою рожицу.

Нюрочка весело засмеялась. Сказала скромно:

— На маму похожа наша Снегурочка.

— И ты похожа на маму, — сказал Шурочка.

— И ты, — сказала Нюрочка.

Шурочка принахмурился.

— Я больше на папу похож, — объявил он.

Засмеялась Нюрочка, говорит:

— Выдумал! Мы оба в маму. И Снегурочка у нас в маму.

Смотрели, любовались.

— Знаешь, — сказала Нюрочка, — уж очень она мягкая. Потряси-ка эту яблоню, — вот те ледышки-висюлечки свалятся, мы из них сделаем ей ребрышки. А из тех, что посветлей, глаза.

Сказано — сделано. Вот у Снегурочки твердые ребрышки. Вот у Снегурочки ясные глазки. А вот у Снегурочки и белое платьице. А вот у Снегурочки и белые башмачки. А вот у Снегурочки и белая шапочка.

Готова Снегурочка!

Подбежали к окну, в стекло стукнули, спрашивают:

— Мама, хороша наша Снегурочка?

Мама отвечает из форточки:

— Хороша. Только у вас руки зазябли, идите погрейтесь.

Дети засмеялись. Но мама зовет, надо идти.

— А как же Снегурочка? — спросил Шурка.

— А ей еще рано, — сказала Нюрка, — она еще постоит, подумает. Мы придем к ней вечером, позовем ее, поиграем с нею.

Побежали дети домой. Говорили маме:

— Мама, сегодня вечером у тебя будет новая дочка Снегурочка.

Смеялась мама, Анна Ивановна. Улыбался папа, Николай Алексевич: в сочельник он не ходил в гимназию; он сидел дома и читал последнюю книжку «Русского богатства».

VI

Свечерело и вызвездило. Дети опять убежали в сад. Снегурочка стояла. Улыбалась. Ждала их.

Дети подошли к ней тихо.

— Надо ее позвать! — сказал Шурочка.

Помолчали. Вдруг стали робкими.

— Поцелуй ее! — сказал Шурочка.

— Сначала ты, — сказала Нюрочка.

Шурка посмотрел на сестру сердито. Сказал:

— Вообразила, что я боюсь. А нисколечки.

Подошел к Снегурочке и поцеловал ее прямо в бледные, красивые губы.

Оттого ли, что это был сочельник, ночь святая и таинственная, — оттого ли, что крепко верили дети в то, что они сами придумали, — оттого ли, что чародейная сказка обвеяла тихий сад тайными очарованиями и влила в излепленный детскими руками мягкий и нежный снег непреклонную волю к жизни, творимой по творческой свободной и радостной воле, — но вот небывалое совершилось, исполнилось детское неразумное желание, — ожила белая Снегурочка и ответила Шурке нежным, хотя и очень холодным поцелуем.

Тихо сказал Шурка:

— Здравствуй, Снегурочка.

Ответила Снегурочка:

— Здравствуй.

Пошевелила тоненькими плечиками, вздохнула легонечко и сама подошла к Нюрке. И Нюрочка поцеловала ее прямо в губы.

— О, какая ты холодная! — сказала Нюрочка.

Снегурочка тихо улыбалась. Сказала:

— На то же я и Снегурка.

Шурочка спросил:

— Хочешь с нами играть, Снегурочка?

Снегурочка сказала спокойно:

— Ладно, давайте играть.

И побежали все трое по дорожкам сада. Играли долго. И всем трем было весело, как никогда раньше.

VII

Накрыли на стол вечером, — пить чай. Дети заигрались в саду. Мама позвала их, — не шли. Только веселые слышались в саду голоса. Тогда Николай Алексеевич сказал:

— Пойду-ка я сам, возьму да и приведу их.

— Надень пальто, — сказала Анна Ивановна.

— Ну, я в одну минуту, — сказал Николай Алексеевич, — разве только шарф.

Укутал шею шарфом, надел теплую меховую шапку, всунул ноги в глубокие калоши и вышел в сад. С крыльца крикнул:

— Ребятишки, где вы? Чай пить, живо!

С веселым смехом бежали дети по дорожке. Разбежались, промахали мимо, и было их трое.

Николай Алексеевич сошел в сад. Крикнул:

— Дети, это вы с кем играете?

Дети повернули обратно; подбежали к нему. Николай Алексеевич увидел прелестную маленькую девочку, беленькую, с легким румянцем на щеках, — и удивился ее легкому, не по сезону, костюму: юбочка легонькая и коротенькая, башмаки легкие, чулочки коротенькие, коленочки голенькие.

Николай Алексеевич спросил:

— Откуда эта девочка? Дети, ведите ее скорее домой, вы ее совсем заморозите.

Дети, перебивая друг друга, звонкими радостными голосами кричали:

— Это — Снегурочка.

— Это — наша Снегурочка, папа.

— Наша сестреночка.

— Мы ее сами сделали.

— Из снега.

— Из самого чистого снега.

— Она будет играть с нами.

— Всю зиму!

— А весной уйдет на высокую гору!

Николай Алексеевич слушал их с недоумением и досадою. Ворчал:

— Глупые фантазии.

Сказал:

— Ну, живо в комнаты. Ты совсем озябла, малюточка? Да ты откуда?

Белая девочка сказала:

— Я — Снегурка. Я из снега.

Нетерпеливо сказал Николай Алексеевич:

— Пойдемте же греться.

Взял Снегурочку за руку.

— Совсем заморозили вашу гостью, — говорил он, — и откуда вы ее взяли? Руки у нее как лед.

Повел Снегурочку.

Тихо сказала Снегурочка, упираясь:

— Мне туда нельзя.

И дети кричали:

— Папа, оставь ее здесь.

— Она переночует в беседке.

— В комнате она растает.

Но Николай Алексеевич не слушал детей. Он взял холодную Снегурочку на руки и внес в комнаты.

VIII

— Смотри-ка сюда, Нюточка! — крикнул Николай Алексеевич жене, входя в столовую, — какая-то девочка в одном платьице. Наши сорванцы совсем ее заморозили.

Анна Ивановна воскликнула:

— Боже мой! Девочка! Вся холодная. Скорее к камину.

Дети в ужасе кричали:

— Мамочка! Папочка! Что вы делаете! Снегурочка растает! Это — наша Снегурочка.

Но взрослые всегда воображают, что они все знают лучше. Посадили Снегурочку в широкое мягкое кресло перед камином, где весело и жарко пылали дрова.

Николай Алексеевич спрашивал:

— У нас есть гусиное сало?

— Нет, — сказала Анна Ивановна.

— Я схожу в аптеку, — сказал Николай Алексеевич, — надо потереть ей нос и уши, они совсем побелели от мороза. А ты, Нюточка, закутай ее пока потеплее.

Ушел. Анна Ивановна отправилась в свою спальню за теплым чем-нибудь — закутать Снегурочку.

Шурка и Нюрка стояли и растерянно глядели на Снегурочку. А Снегурочка?

Что ж, Снегурочке понравилось. Она сидела на кресле, глядела в огонь, и улыбалась, и таяла.

Нюрка кричала:

— Снегурочка, Снегурочка! Спрыгни с кресла, мы отворим тебе двери, беги скорее на мороз!

Тихонько говорила Снегурочка:

— Я таю. Уже не могу я уйти отсюда, я вся истаяла, я умираю.

Текли потоки воды по полу. В глубоком кресле, быстро тая, оседала маленьким снежным комочком белая, нежная Снегурочка. И где ее ручки? растаяли. И где ее ножки? растаяли. Слабый, еще раз раздался нежный голос:

— Я умираю!

И уже только груда тающего снега лежала на кресле.

IX

Заплакали ребятишки, — громкий подняли вой.

Пришла Анна Ивановна с теплым одеялом. Спросила:

— Где же девочка?

Плача, говорили дети:

— Растаяла наша Снегурочка.

Вернулся Николай Алексеевич с гусиным салом. Спросил:

— Где же девочка?

Плача, говорили дети:

— Растаяла.

Сердито говорил Николай Алексеевич:

— Зачем вы ее отпустили!

Уверяли дети:

— Она сама растаяла.

Большие и малые смотрели на остатки талого снега и на потоки воды, и не понимали друг друга, и упрекали друг друга:

— Зачем посадил к огню Снегурочку?

— Зачем отпустили девочку, не согревши?

— Злой папа, погубил нашу Снегурочку!

— Глупые дети, что вы говорите нелепые сказки!

— Растаяла Снегурочка!

— Снегу-то сколько натащили!

Плакали маленькие, а большие то сердились, то смеялись.

И не было Снегурочки.

КНИГА СТРЕМЛЕНИЙ

Рассказы

Белая березка

I

— Миленькая моя! Беленькая моя!

На белую березку залюбовался, сидит на скамеечке в своем саду, шепчет, — сам маленький, тоненький, бледный мальчик-подросток. В светлой коломянковой блузе. Слегка согнулся. Руки, чуть-чуть загорелые, на колени положил, — и лежат они, дремлют.

Подошла сзади тихохонько девочка и вдруг засмеялась, звонко так, — на румяном лице смех разливается, и в карих глазах нет ничего иного, кроме того, что на лице. Присела на скамейке рядом с братом, сказала:

— На березку смотрит, сам о Любочке сладко мечтает. Дурак ты, Сережка! У нее — жених.

Сережа смотрел на сестру с выражением неопределенным, смутным, — словно прислушивался к тому, что она говорит, и не совсем понимал ее слова. Вздохнул. Протянул тихонько:

— Придумала тоже! Что мне Любка твоя! Очень мне интересно! Приблизительно в пять раз красивее самой грациозной из болотных жаб.

С громким смехом отвечала девочка:

— Фу, дурак! Разве о барышнях так можно?

Сережа спокойно посмотрел на нее и сказал:

— Ты, Зинка, ничего не понимаешь, а ругаться научилась. Если ты меня еще раз дураком назовешь, я тебя опять в воду окуну.

Хмурясь полусердито, полупритворно, возразила Зина:

— Кто кого еще окунет!

Встала, тряхнула черными косичками и отошла. Небрежно бросила брату:

— И разговаривать с тобою не желаю.

Когда она совсем ушла и уже не стало слышно по дорожкам жалобного скрипа песчинок под ее каблучками, Сережа подошел к березке, прижался к ней ласково и поцеловал ее тонкую, розовато-белую кору. Легкое трепетание пробежало по тонкому телу березы, зашелестели веселые, невинные листочки нарядного деревца, и туманящий голову запах, сладкий запах северной белой березы, нежно обвеял мальчика. Сережа тихо обнял ствол березы и прижался порозовевшею щекою к легко щекочущим кожу лица гладким пластинкам ее коры.

II

Была ночь, северная, легкая, прозрачная, призрачная ночь. Старшие сидели в саду. Никуда не пошли, — устали за день. И смеялись. Шум их голосов неприятен был Сереже. Он ушел в свою тесную каморку наверху, сел у окна, глядел на розоватое, странное, милое небо, такое пустое и такое значительное, и ждал. Когда уйдут.

Дождался. Все затихло. Мальчик спустился в сад и подошел к своей березке.

Дача стояла на высоком берегу. Внизу шумела река, переливаясь по камням. Все шумела, тихо, упрямо, однозвучно. Шумела, плескалась. Туманом прикрылась и журчала, шурша о камни, о берег.

Тоненькая, тоненькая, как хворостинка, с зеленоватым легким телом и с зелеными светлыми глазами, поднялась из воды русалка. Сквозь тонкое ее тело предметы слабо просвечивали, и глаза ее смотрели любопытно и странно, — неживые, не наши очи нежити, зачем-то таящейся около.

И тонкая, с зеленовато-белым телом, березка тихонько вздрагивала и лепетала что-то своими клейкими, сладко-душистыми листочками. Лепетала, шептала. Вздрагивала.

Из-за кустов пробиралась нездешняя, звала:

— Ко мне иди лучше. Со мною веселее. Она молчит. Я тебе сказок наскажу.

Сережа сказал сердито:

— Пошла! Нужны мне твои сказки! Сказки Гауфа читала? Нет? И Афанасьева не знаешь? То-то! Уходи.

Стеклянным, тонким, звонким засмеялась смехом. Засмеялась, ушла, легкая, прозрачная, призрачная. Где-то в камышах долго лепетала что-то быстрое, неразборчивое. Не то смеялась, не то плакала, — и жаловалась, и смеялась. Русалочий смех — тонкие слезы. Русалочий смех. Лепет воды по каменьям.

И о чем лепечет? И о чем смеется? И на что жалуется?

III

Жарко было каждый день. Еще начало лета, и еще зеленая трава, и свеженькая листва у березки, а уже торопит, торопит знойное лето.

Надо что-то сделать, поскорее, пока не пожелтели клейкие листочки на белой березоньке. Белая, кудрявая, милая березка!

Сережа на скамеечку под березкою лег, — и стоит над ним березка, стоит, качается по ветру, тихохонько свежими листочками шелестит. Так весело и так томно.

А вот подошла кузина Лиза, веселая, румянощекая, черноглазая, черноволосая красавица, недавно овдовевшая, но уже опять веселая, обворожительная по-прежнему. Подошла, стала над Сережею, запахла противными, сильными, нескладными духами, так не идущими к зеленому саду и к нежно-пахучим, клейким листочкам на веточках у белой березки, — и принялась дразнить Сережу. Такая уж у нее привычка.

Позвала тихонько и даже ласково, как будто с умильными пришла к нему словами:

— Сереженька!

А сама таит, хитрая, злые усмешечки, лукавые насмешечки.

Сережа отвечает сердито:

— Ну чего тебе?

Уже он предчувствует, что не с добром Лиза пришла. И когда же с добром приходит она, румяная и дебелая?

«Бабища!» — сердито бранится про себя Сережа.

Нахмурился сердито, лег на живот и ногами болтает преувеличенно развязно.

Ласково спрашивает Лиза:

— Милый! лежишь, встать не можешь?

— Что такое? — не понимая, но уже досадуя, спрашивает Сережа.

И спрашивает Лиза:

— Лежишь под березкою, о Любочке мечтаешь, что же ты к ней не пойдешь?

Сережа ворчит:

— Глупости!

— Может быть, у тебя животик разболелся? — опять спрашивает Лиза.

И тихонько смеется.

— Глупые глупости, — сердито отвечает Сережа.

— Ты Любочкиною помадою объелся? — очень ласково спрашивает Лиза.

Гладит его по голове рукою мягкою и нежною, но слишком сильною.

Сережа кричит сердито:

— Какие глупые глупости! У Любочки и помады нет, она не помадится.

— А ты откуда знаешь? — спрашивает Лиза и смеется. — Ты у нее шарил? Но это нехорошо! И стянул ленточку на память. Где она?

Полезла в Сережин карман.

— Не в кармане ли носишь?

Сережа вскакивает и проворно убегает. Отбежав на приличное расстояние, он останавливается и звенящим от обиды голосом кричит:

— Вдова очень нахальная!

Лиза смеется весело и уходит к большим, таким же грубым и злым, как и она. Для нее было только маленькое развлечение, и о нем сейчас же успела она забыть, — а Сереже она испортила весь день.

Весь день настойчиво вспоминалась противная Любочкина помада, которой и не было никогда у Любочки, но от которой все-таки у Сережи весь день был скверный вкус на языке, точно он и в самом деле объелся этою небывалою помадою.

Все очарования, и высокие, и низкие, из одной и той же темной восходят области, из зыбкой мглы небытия.

IV

Опять ночь. Влажная, тихая, говорящая миллионами молчаний, роями неисчислимых тишин. Ночь.

Стали так спокойно все деревья саду и заслушались. Заслушались. Замечтались.

И она одна шептала им. Прошептала тихонько и тоже замолчала...

Слушали, что тихо говорил им задумчивый, бледный мальчик.

Тихий, теплый туман надвигался с полей, — постоять, помолчать, послушать, помечтать. В белом и тихом забыться молчании.

Тихим шепотом говорил Сережа:

— Люблю тебя, милая, белая березка. Только тебя люблю.

Голос, тихий и печальный, как легкий вздох, как сладкий звон свирели, спросил:

— За что?

И отвечая, говорил Сережа:

— Люблю тебя за то, что ты — весенняя, что ты молчишь, не смеешься, не дразнишь. За то, что ты выросла мне на радость. На сладкую вешнюю радость.

Печальным шепотом спросила тихая, таящаяся:

— Только на радость?

— Не знаю, — говорил Сережа. — Ты выросла, стоишь и молчишь. И ничего не хочешь, и никого не ждешь, никого не зовешь. Не хочешь — и хочешь. И хочешь так сладко и так верно. И что ты хочешь, то и сбудется. Веточки раскрылись, в простор потянулись, листочками покрылись. Вся белая, вся тихая, березонька моя милая. Ты меня приласкаешь, ты меня поцелуешь, ты мне на радость.

— На радость, а не на муку? — печально спросила опять близкая, таящаяся.

— И если на муку, — тихо говорил Сережа, — пусть и так. Вот приникну к тебе, вот будет мне и тебе сладко и нежно.

— Сладко и нежно, — шепнула березка так тихо, так ласково. — Ты хочешь? ты можешь? — тихо шептала она.

Прильнул к ней Сережа. Обнял руками ее тонкий ствол, прижался головой к ее нежной коре, замер в сладком восторге.

Желания томили, и была тоска и печаль. Кто-то плакал так близко и так грустно, — прозрачный и хрупкий звенел плач ревнивой русалки с зеленою пеною кос, и из-за зеленых ресниц, затаившихся в ее очах, падали холодные слезы.

Сад был весь полон туманною вешнею печалью. Бессильны были белые пришлецы из влажных долин, потерявшие свои древние личины и новых ликов еще не нашедшие. В бесформенный туман сливаясь, стояли они, и томились, и вздыхали холодными вздохами ночной бессильной тоски.

Неживой и печальный лик поднялся, — но бессильно было и его очарование.

Безнадежность и любовь...

Колыхался холодный туман, и неживою тоскою томились деревья в саду над рекою, в тумане, под луною холодною, ворожащею, но бессильною.

Две жизни сплелись, и трепетали, и пылали пламенем любви и восторга, — и вкушали они горькую безнадежность ласк.

Такие же две безнадежно далекие одна от другой, как и всякие две души в их жизненном союзе, — вот соединили они свои трепеты и свои устремления, отдали друг другу все, что было у той и у другой, — и изнемогали обе в бессильном дрожании двух тонких, трепетных, холодеющих тел.

Таящаяся, не показывающая никогда своего земного лица людям подошла близко и ждала, веяло от нее на них очарованием, сильнейшим всех очарований и восторгов жизни.

И спросила она:

— Дитя неразумное, чего же ты хочешь?

Истекая сладким соком, шептала белая березка:

— Только мгновения! Темен быт, и тяжки оковы существования, — о, дай мне только одно пламенное мгновение.

Мгновенною молниею восторга вспыхнуло тонкое тело белой березки. И с воплем безумного счастья упали на землю, умирая, два тонкие, два трепетно-холодеющие тела.

Сон утешающий

I

Сережа умирал.

Была Страстная неделя. В доме, как всегда, готовились к празднику, радостному для детей и приятному для взрослых, — красили яйца кошенилью, распускали в кипятке шафран для кулича, месили творог и сметану для пасхи. Пахло ванилью и кардамоном.

Паркет был натерт с мастикою, пыль и грязь отовсюду были заботливо убраны, окна вымыты. Прислуга сбилась с ног. Барышни, Сережины сестры, мечтали о приятных поцелуях и морщились при мысли о том, что придется целоваться и с противными.

А Сережа лежал в своей комнате, просторной, нарочно пустынной, чтобы мебель не отнимала воздуха, в комнате, где слащаво пахло салолом, и умирал.

Ему было только пятнадцать лет. Он был умный и веселый. В семье его любили. Начиналась весна. Близок был праздник Светлого воскресения. Сережины сестры хотели радости и боялись думать о смерти.

И то, что Сережа умирал, так не вязалось с предпраздничною суетою, что хотелось всем обмануть себя и думать, что он вдруг для такого праздника почувствует себя лучше.

Давно прихварывал. Решили увезти куда-нибудь. Но как-то промедлили, не сумели выбрать быстро, куда именно везти. И вдруг, неизвестно почему, процесс в легких пошел так быстро и Сережа так

ослабел, что везти его стало невозможно: дорога будет утомительна, и теплый климат все равно уже не спасет.

Молодой доктор говорил растерявшемуся Сережину отцу:

— Не более месяца.

Старый доктор сказал равнодушно и устало:

— Да, или недель шесть.

Сережин отец суетливо провожал их. Лицо у него было красное и сконфуженное, и движения неловкие. То, что Сережа должен умереть, как-то не вмещалось в его сознание. И мысли его были медленны и тупы.

Перед зеркалом над камином в столовой остановился и зачем-то смотрел долго на свое лицо, поправлял сползающий набок галстук, черный на белой манишке, и приглаживал дрожащими пальцами начинающие седеть усы.

Как-то неловко, точно виноватый, подошел он к столу, где его жена вынимала из теплой воды миндалины, с которых разбухшая сваливалась кожура. Засунув руки в карман коротенького домашнего пиджака, он постоял за ее спиною, и вдруг, по каким-то едва уловимым признакам, — по ее непривычной сутуловатости, по легкому, как от заглушаемого усилием воли телесного тайного страдания, вздрагиванию ее покрасневшей щеки, по неловкости ее всегда проворных прежде пальцев, — он понял, что она все знает.

Его поразило больно, что она не плачет, не бьется головою в мягких подушках постели, а сидит здесь, с младшими мальчиками, по-видимому спокойная, но так жестоко страдающая. И мальчики, помогая матери, болтают и смеются беспечно.

Острое ощущение ее одинокого страдания вдруг пронизало его неожиданно яркою болью. Как-то странно и нелепо сопя, он пошел быстрыми, мелкими шагами от жены, рассыпая на скользкий паркет дробный, сухой стук своих башмаков с невысокими каблуками. Серенький, маленький, бежал он по гулкому коридору в свой кабинет, — броситься на диван, лицом к его высокой спинке, метаться по его темно-зеленой коже, томиться и вздыхать.

Услышав за спиною дробный стук его шагов, жена его покраснела еще сильнее, и что-то билось и дрожало в ее лице. Но она сидела

прямая и спокойная. Кончила с миндалем. Вытерла полотенцем мягкие, белые руки. Неторопливо пошла в его кабинет.

И там они сидели рядом, и плакали оба, и не знали никакого себе утешения, и тосковали...

II

Была Великая суббота. Сережа заснул. И увидел сон, странный, но утешительный.

Был знойный день. Перед Сережиными глазами простерлась долина, выжженная ярким блистанием солнца. Сережа сидел на пороге бедной хаты. Широкие листья двух пальм бросали сквозную тень на его загорелые ноги и на белую ткань грубой его одежды.

Сережа чувствовал себя маленьким, как десять лет тому назад, и очень радостным. Маленькое тело, едва прикрытое бедною тканью, было легким, как тело ангела, рожденного на земле. Все веселило, — земля, такая плотная и горячая под голыми ногами, — воздух, такой знойный, но легкий, — небо, такое синее, высокое, но и такое близкое, словно оно начиналось здесь, на земле, — быстрые полеты птиц, — визги ребятишек около соседних хат, — гортанный, совсем неожиданно-новый голос матери у колодца, где и другие стояли женщины, в белых одеждах, смуглые, босые, весело-разговорчивые, как и его мать.

Вот она возвращается домой. На ее плече длинный, узкогорлый кувшин. Высоко поднялась, придерживая его, смуглая, обнаженная рука. Яркими зорями пылают ее щеки; ярким пурпуром приоткрытые улыбаются уста, на смуглом лице ее черные под широкою тенью длинных ресниц сияют и радуются на ребенка глаза. Гордая ликует мать о своем сыне, — и он тянется к ней радостно и смеется.

В его руке игрушка, сделанная им самим из красной глины, размоченной в ручье, — птица, глиняная, но совсем как живая.

Дивный маленький ваятель лепил ее из косной глины, — и пальцы его были живы и быстры, и глина хотела ожить, и дивно изваянное из

глины птичье тело трепетало в жарких детских пальчиках напряжением воли, творящей жизнь.

Мать проходила мимо, торопясь освободиться от своей ноши. Улыбаясь, не сгибая стройной шеи, не склоняя головы, она косила на сына смеющийся радостно взор знойно-черных глаз.

Мальчик протянул левую руку к матери, схватил кончик ее загорелой стопы и закричал:

— Смотри, мама!

Слабо удивился было чуждому звуку своих слов на ином наречии, но сейчас же забыл, что говорит на чужом языке, и перестал дивиться тому, что понимает эти гортанные слова.

Мать засмеялась и остановилась. Спросила:

— Ну что, сынок?

Мальчик поднял руку с глиняною птицею и весело говорил:

— Вот, мама, птица, я сам ее сделал, и она поет как живая.

Он приложил к губам хвост глиняной птицы, где было отверстие для свистульки, дунул в него, — и из глиняного клюва птички вырвался легкий свист. Ослабляя и усиливая дыхание, мальчик дул в свою глиняную свистульку, рождая в ней переливные, звонкие звуки.

Мать смеялась и говорила:

— Сынок-то у меня какой искусный! Какую птичку сделал! Смотри за нею, держи ее крепче, как бы она у тебя не улетела.

И ушла себе в хату, занялась своим делом. А мальчик на пороге задумчиво смотрел на свою птичку, тонкими пальчиками гладя ее перья. Спросил ее тихо:

— Хочешь лететь?

И всколыхнулись крылышки у птички.

Опять спросил птичку мальчик:

— Хочешь лететь?

И забилось сердце в груди у птички.

В третий раз спросил мальчик:

— Хочешь лететь?

И затрепетало все птичье легкое тельце, поднялись перья, и забились крылышки, — защебетала птичка, поворачивая головку вправо и влево.

Мальчик раскрыл руку. Полетела птичка. И слышен был в яркой синеве воздушной ее радостный щебет. Все дальше. Все тише.

Все выше знойное солнце. Все душнее неподвижный воздух.

III

Сережа проснулся, весь облитый липким потом.

Мучительная боль в груди, и дышать тяжело, — но где же ты, милая птичка? Та, которую я создал?

Вот она за окном щебечет, трепещет крылышками и улетает.

Моя птичка!

А кто же я?

Приподнялся Сережа и опять упал на подушку. Бредит, шепчет:

— А кто же я?

Мать наклонилась над ним, — не видит ее Сережа. Не видит стен своей комнаты, — опять отошло обставшее его сегодня.

IV

Он на горе один.

Широкие простерлись перед ним просторы, осиянные знойным полуднем. Изношенная бедна его одежда, усталые ноги его покрыты дорожною пылью, и серая в короткой, золотистой бороде его пыль.

Спутники его остались далеко внизу, в тени олив, и спят, усталые.

А вокруг него все ярче свет, и все торжественнее сияние широких небес. Прозрачно рея в воздухе и небесную прохладу неся в широко взвеваемых складках своих одежд, два светозарные мужа предстали и беседуют с ним. И спрашивает он:

— А кто же я?

— Не бойся, — говорят ему светозарные мужи, — ты в третий день воскреснешь.

И уже пламенно-белы его одежды, и уже огненный нимб над его головою, и огнем вся в теле пламенеет его кровь, и несказанный восторг исторгает из его груди громкий вопль.

V

Очнулся. Сбежались на его крик, испуганные стоят у его постели.

Тонкая струйка крови течет из его рта, выливаясь из левого края побледневших губ. Лицо его мертвенно-бело, глаза испуганно смотрят выше милых своих, собравшихся у его смертного ложа, — широкие глаза, неподвижный ужас.

Черная, безглазая, только страшными, белыми сверкая зубами, подходит к нему неумолимая, вея вечным холодом и вечною тьмою. Она громадная, она весь выпила Сережин воздух и, как черная туча, колыша тяжелые складки своих одежд, стремится она прямо на Сережу.

Но слышен голос светозарного мужа, подобный грому:

— В третий день воскреснешь.

И за черною мантиею мертвой гостьи загораются золотые молнии воскресного дня, радуя Сережины очи. Сережино бледное лицо озаряется радостью золотых молний, и в глазах его тихий восторг. Он шепчет, задыхаясь:

— В третий день воскресну.

И умирает...

VI

В третий день его хоронили.

Иван Иванович

I

Иван Иванович Завидонский, чиновник очень усердный, служил постоянно в столице, где родился и вырос.

Родители его давно умерли. Близких родственников у него не было. С дальними виделся он редко и неохотно. Друзей и приятелей посто-

янных он себе не завел. Перевалило уже ему за тридцать пять лет, а он все еще жил холостяком. Снимал комнату у хозяйки, — нынче здесь, а на следующий год в другом месте.

Жизнь Ивана Ивановича проходила скучно и однообразно. Видя это, его случайные приятели порою говорили ему за откровенною бутылкою вина или за бесцеремонною парою пива где-нибудь в шумном, тесном ресторанчике, облюбованном служащими в разных казенных и частных учреждениях, — чиновниками, бухгалтерами, приказчиками:

— Хороший ты человек, Иван Иванович, а живешь не по-людски. Не живешь, а киснешь, точно мертвый.

Иван Иванович в недоумении спрашивал:

— Почему?

Бледное лицо его наклонялось над не слишком чистою скатертью, и мутные от водки глаза вопросительно обводили собеседников.

Те смеялись, и один из них говорил:

— А потому, Иван Иванович, что ты не женишься.

Иван Иванович спорил:

— А что хорошего жениться? То ли дело холостая жизнь. Что хочу, то и делаю; куда хочу, туда и пойду.

Приятели говорили:

— Зато у тебя неуютно, неряшливо.

Иван Иванович возражал:

— А мне и так хорошо. Главное — свобода.

Но, говоря так, Иван Иванович все-таки чувствовал, что жизни его чего-то не хватает. Как-то сухо, неприветливо протекала она, и порою сам себе казался он мертвым.

Хотелось бы воскреснуть. Да как воскреснешь?

II

Затягивает Ивана Ивановича однообразным своим ходом скучная машина жизни. Встанет он не рано. Голова тяжелая. Мысли неприятные. Надобно идти на службу.

Встает, собирается. Платье чищено кое-как. На белье не хватает пуговок. То там то сям прорехи.

Самовара пока дозвонишься. Посуда сборная. Скатерть в пятнах. Пьет Иван Иванович, а в комнате еще ночной беспорядок.

На службе работа спустя рукава, скучная, неинтересная, медленная. Больше напоказ. А нет вблизи начальника, — говорят, курят. Рассказывают анекдоты, конечно, неприличные, но зато веселые. Коекак досиживают — и разбегаются.

Обед в ресторане. Водка. Разговоры со случайными соседями о случайных предметах. Чаще всего о внешней политике. Если обедает с сослуживцами, то говорят о своих департаментских интересах, о строгостях нового министра, о наградных, о перемещениях и повышениях ожидаемых и чаемых.

Потом — пустыня вечера, которую надобно чем-нибудь наполнить.

В гости, — карты, флирт, вино, болтовня.

В театр, — фарс, оперетка.

Потом опять ресторан. Попойка.

Случайные женщины, крикливые и жадные. С ними поездки в какие-то притоны, то шикарные и дорогие, то попроще и подешевле. Но всегда одинаково противные и насквозь гнусные.

Напряженная, шумная веселость, а на дне души — липкая, тусклая, вечная скука. И никуда от нее не уйти.

Зато Иван Иванович везде бывает на премьерах, открытиях, чтениях, слушает и смотрит всех приезжих знаменитостей, интересуется борьбою, слегка играет на тотализаторе, записан членом двух клубов. В игре довольно счастлив.

Только дома у него грязно. Ни принять кого, ни угостить.

III

Наконец, когда жалованье Ивану Ивановичу прибавили, нанял он квартиру в четыре комнаты и завел обстановку. Квартира на Петербургской стороне, но близ линии трамвая. Комнаты маленькие, обстановка не Бог весть какая, но для холостяка чего же больше? Живет!

На полу в кабинете Иван Иванович ковер разостлал. На стену в гостиной повесить купил гравюр и фотографий и заказал к ним красивые рамочки, — все вроде тех гравюр, фотографий и рамок, которые видел он у своих семейных знакомых. Провел электрическое освещение.

В кабинете на столе Иван Иванович телефон поставил. Как же, нельзя без телефона! У всех есть. Чуть что, сейчас позвонишь, соединят, спросишь:

— Это дирекция итальянской оперы?

— Да.

— Билеты на «Таису» есть?

— Сколько угодно.

Или к знакомым:

— Петр Петрович дома?

— Его нет. А кто говорит?

— Это я говорю, Завидонский.

— А, Иван Иванович, здравствуйте. Узнаете по голосу?

— Как же! Здравствуйте, Анна Алексеевна. Вечером собираетесь в оперу?

— Нет, сегодня мы дома. Приходите. Свободны?

— О да, благодарю очень. С большим удовольствием.

— Кстати, я еще кое к кому позвоню.

Вот и позвали. Вот вечер и наполнен.

IV

А все-таки скука! В квартире пусто и холодно. Скучно, что о всех мелочах надобно самому распорядиться.

Кухарка, правда, попалась хорошая и готовит отлично, так что и пригласить порою кое-кого можно. Но когда его спрашивают:

— А сколько у вас выходит на хозяйство?

И он говорит цифру, то дамы смеются. Спрашивают насмешливо:

— Это на одного?

Барышни смотрят с сожалением на Ивана Ивановича, но ничего не говорят. Или заводят нарочно разговор о другом, чтобы вывести Ивана Ивановича из неловкого положения.

И догадывается Иван Иванович, что кухарка обкрадывает его беззастенчиво. Но как же быть? Не ходить же ему самому за мясом, за рыбою, за дичью?

Горничная тоже попалась ему очень приличная, красивая, видная, знающая свое дело. Но она, очевидно, рассчитывает на что-то. Она иногда подходит к Ивану Ивановичу ближе, чем надо, а то вдруг вспыхивает и убегает слишком быстро. Порою у нее расстегнется невзначай кофточка, обнажая кусочек белой, высокой груди. Порою, перемывая чайную посуду, руки откроет слишком высоко и так зайдет за чем-нибудь в кабинет к Ивану Ивановичу.

Порою ночью встанет и бродит по комнатам босая. Иван Иванович выглянет из двери, досадливо спросит:

— Что вы, Наташа?

Она улыбается, смотрит на Ивана Ивановича долго и не спеша говорит:

— Простите, барин. Кошка мяучит где-то. Хочу ее на кухню выгнать, чтобы вам спать не мешала.

Постоит еще немного, играя глазами, потом вздохнет и уходит, белея в темном коридоре из-под серого платка низом рубашки и мягко ступающими ногами.

Все это возбуждает Ивана Ивановича. Но он не хочет заводить связи с горничною. Чувствует, что это опасно, липко; потому ведет себя очень осторожно, — как бы не въехать!

V

Все чаще и чаще повторяют Ивану Ивановичу знакомые и случайные, сегодняшние приятели:

— Женитесь, Иван Иванович, воскреснете.

Все чаще и чаще повторяет себе Иван Иванович:

— Женюсь, — воскресну.

Не легко было Ивану Ивановичу решиться на это. Привычки холостой жизни были ему сладки, страшила неизвестность.

Но счастье подстерегает человека на всех путях его. Как ни бежит от него человек, оно-таки раскидывает над ним, как мальчик над бабочкою, свою радужную сетку, и ловит упрямого, и сажает его в коллекцию счастливых.

И особенно если это человек зрелого возраста, но еще без единого седого волоска, на хорошем счету у своего начальства, первый кандидат на должность начальника отделения, да и сам кое с какими средствами.

VI

И вот, нашлась барышня, Марья Ивановна Краснолесская, генеральская дочка, — и она очаровала Ивана Ивановича. И сама очарована была его прекрасными достоинствами и восхитительною внешностью.

Нет никакой надобности рассказывать подробно о том, как Иван Иванович и Марья Ивановна познакомились на танцевальном вечере у одного директора департамента, какое они произвели впечатление друг на друга, как родители Марьи Ивановны покровительствовали их зарождающейся любви, как они хлопотали о быстрейшей карьере Ивана Ивановича, как некто влюбленный и коварный строил козни и был посрамлен, и о многом еще интересном. Все это давно уж рассказано в старых романах. Значительны только последние страницы романа; в них говорится о том, чем дело кончится и на чем сердце успокоится.

Когда Марья Ивановна услышала трепетное признание и роковой вопрос, она, краснея очень и улыбаясь смущенно, но не колеблясь ничуть и не раздумывая ни минуты, сказала:

— Да. Поговорите с мамашею.

Иван Иванович, за мгновение до этого еще томившийся неизвестностью и страхом отказа, вдруг просиял. Целуя руки своей невесты, он воскликнул:

— Марья Ивановна, теперь я воскрес!

Но он ошибался. Какое же это воскресение, когда человек еще холост! По-настоящему воскрес Иван Иванович только тогда, когда обвенчался с Марьею Ивановною.

VII

И точно, — теперь жизнь Ивана Ивановича ровна и спокойна. В квартире его уютно и светло. Слышны милые голоса Марусиных подруг.

Женины родственники любят Ивана Ивановича, стараются делать ему маленькие и большие приятности.

Кухарка, обсчитывавшая Ивана Ивановича, уличена и уволена. На ее место взята другая. Она готовит не хуже, а красть не может, потому что Марья Ивановна строго и внимательно контролирует ее счета.

Горничная осталась та же. Но уже она знает свое место и не имеет никаких претензий на благосклонность Ивана Ивановича.

Хорошо теперь живется Ивану Ивановичу! Уже он не засиживается по кабачкам и по ресторанам. Когда сослуживцы соблазняют его закатиться куда-нибудь, он говорит:

— Извините, сегодня я не могу. Сегодня мы с Марусею едем к ее бабушке.

— Ну завтра.

— Простите, и завтра не могу. У нас ужинают завтра Марусины папа и мама.

— Ну послезавтра.

— Послезавтра пожалуй. Только, знаете ли, иногда хочется и дома посидеть, отдохнуть.

Лицо у Ивана Ивановича румяное и веселое. Глаза его поблескивают. Брюшко приятно округляется. Жизнь его наполнена и успокоена. Уж он не кажется сам себе мертвым, как некогда прежде.

Иван Иванович счастлив, Иван Иванович воскрес.

Путь в Еммаус

I

На Страстной неделе в семье Синегоровых, как в прошлый год, как и всегда, было предпраздничное оживление. Особенно веселы были младшие члены семьи, гимназист Володя, двенадцатилетний мальчик, и десятилетняя Леночка.

Интересно очень было им участвовать в раскрашивании яиц разноцветными шелковыми тряпочками, обрывочками лент и переводными картинками. Да и традиционная в их семье кошениль распускала в горячей воде свою красную кровь так забавно. Также очень приятно было попробовать пасху, — она сладкая и вкусная, и хотя еще сырая, еще не была под прессом, а прямо из горшка, зачерпнутая деревянною большою ложкою, но тем, конечно, интереснее.

Мама озабочена была подарками для родных и для прислуги, — чтобы все остались довольны и чтобы не потратиться слишком. Отец шелестел кредитными бумажками и досадливо морщился. Ворчал:

— Ох уж эти мне праздники! Вот где они у меня сидят, — говорил он, потирая свой красный под седыми волосами затылок. — Я очень рад, что заговорили о сокращении праздников. Что там Никон вологодский ни пиши, а сократить положительно необходимо.

Гимназист Володя деловито возражал:

— Ну уж Пасху-то нам не сократят. Уж этот праздник во всяком случае останется.

Александр Галактионович Синегоров сердито говорил, с невольною завистью глядя на беззаботно-румяное лицо и на мальчишески лукавую улыбку своего сынишки:

— Нет, я бы вот именно этот-то праздник первым делом сократил. Ни в какой другой день так много денег не выходит.

Его жена, Екатерина Константиновна, останавливала его:

— Саша, побойся Бога! При детях, что ты говоришь! И совсем на тебя не похоже, — вовсе ты не такой скупой. И ты сам прежде всегда так любил этот праздник.

II

В это время вошла в комнату Нина Александровна, старшая дочь Синегоровых, бледная, высокая, черноглазая девушка. Вслушавшись в разговор, она усмехнулась невесело и сказала тихо:

— Да, я в этом совершенно согласна с папою. Какой же нам праздник! Какая же у нас Пасха! Кому же мы скажем «Христос воскрес»! Кого же мы с любовью обнимем!

Екатерина Константиновна с ужасом воскликнула:

— Ниночка, Ниночка, что ты говоришь! Как же это спрашивать кому! Ну конечно, своим родным, друзьям, знакомым.

Тихо и печально говорила Нина:

— Ах, мама милая! что же родным, знакомым! Ведь это всемирный праздник, для всех. В церкви были, причащались, при этом всем врагам своим должны были простить, всем, всем, кто причинил нам зло. А я как же? Вот жениха моего казнили, и теперь уже в сердце моем нет злобы, и я простила. И судья, и палач, — Бог с ними! Но как открою мои объятия, как поцелую?

Мама сказала строго:

— Нина, Христос все-таки воскрес, и если бы ты веровала, то нашла бы утешение.

Нина улыбнулась. Она знала, что ни мать, и никто другой не могут сказать ей утешающих слов, которых бы и она сама не знала. И она молча ушла к себе.

III

Древняя, мудрая вера, не оправданная разумом, но торжествующая над ним, что же ты меня не утешаешь?

Вот, друга моего умертвили, и он шел на смерть, на позорную казнь, полный гордыми надеждами, как и до него многие в веках шли умирать в надежде воскресения. Но в сердце моем темное уныние и тоска, и одна ли я тоскую бессильно?

Старые, детские воспоминания пробуждались в бездейственно-тоскующем уме. Вдруг захотелось прочитать страницу из Евангелия.

Нина нашла маленькую книжку. Открыла Евангелие от Луки. Прочла рассказ о явлении Христа двум ученикам по дороге из Иерусалима в Еммаус, — простодушный и трогательный рассказ.

«Не горело ли в нас сердце наше?»

Нина закрыла книгу. Сладким и смутным томимая беспокойством, надела весеннюю шляпу, демисезонное пальто и вышла на улицу.

IV

Была Великая суббота, и уже вечерело.

Два молодые человека, очень сильно напомаженные, чрезмерно завитые, вышли из парикмахерской, и им было весело. Дворники развешивали на проволоках от одного фонарного столба до другого разноцветные шкалики для иллюминации. Хихикали молоденькие швейки, пробегая торопливо. Извозчики были уже пьяны и красны.

Молодой телеграфист провожал куда-то двух барышень, которым было холодно в их нарядных платьицах. Он их уверял:

— В нашей церкви гораздо лучше, как можно сравнивать, помилуйте!

Барышни говорили что-то, обе вместе, но ветер относил их слова, и Нина их не расслышала.

И все было как-то обычно празднично. Заведенный исстари праздник приготовлялись справлять люди, праздник среди праздников, — и день, которому должно было быть праздником из праздников, торжеством из торжеств, будет, конечно, только табельным днем, одною из неизбежных принадлежностей скучного быта.

Но разве сердце мое не горит во мне?

V

Вот на перекрестке двух шумных улиц подходит к Нине кто-то, как будто бы знакомый ей. Но туман лежит на ее памяти, и на глазах ее — незримая, но тяжелая пелена. И воля ее окована унынием и тоскою,

и даже не хочется ей припоминать, где видела она своего неожиданного спутника.

В нем нет ничего особенного, что выделяло бы его из числа многих знаемых, — обычная городская одежда, интеллигентное лицо. Только глубокий взор черных глаз так пытлив, что кажется Нине, — в самую глубину души ее смотрит он. И сердце ее горит.

Тихо спрашивает он Нину:

— О чем вы так задумались? Отчего вы так печальны?

И говорит ему Нина:

— Что же вас удивляет моя печаль! Неужели вы не знаете, что происходит у нас в эти годы?

Он спрашивает:

— Что же происходит?

Говорит ему Нина долго, и жалуется, и плачет. Точно с собою говорит. Глаза ее смотрят в израненную красными огнями тьму шумных улиц. Сердце ее трепещет и горит.

Когда Нина замолчала, он говорит ей тихо, но с такою силою в голосе, как имеющий власть:

— Разве это не малодушие? Так надлежит прийти в мир нашей правде, так, — в страданиях, нестерпимых для слабого, в подвигах, превышающих меру человеческих сил. Или приятного и легкого вы ожидали, когда внимали словам наставников и мудрецов ваших? И разве не научили они вас той истине, что нет силы на земле, которая могла бы отвратить роковой ход событий, предсказанный в мудрых книгах?

И говорил, цитируя слова мудрых книг и поясняя их. И сердце ее горело в ней.

Несмело спросила она:

— А он? жених мой возлюбленный, которого казнили? Где он?

И услышала кроткий голос:

— Он с тобою.

Подняла удивленный взор на своего спутника и услышала опять:

— Я с тобою всегда, невеста моя милая, — утешься! Или ты меня не узнала, — меня, приходящего в тайне?

Радостно взволнованная, спросила Нина:

— Но кто же ты?

И уже не было никого возле Нины. В суетливой толпе, в смутной и тревожной полутьме шумных улиц исчез ее спутник. Только студент с черною коротенькою бородкою оглянулся, усмехаясь, на Нину, услышав ее восторженное восклицание, и прошел равнодушно, попыхивая папироскою.

Но в сердце у Нины была радость, и черные глаза ее горели восторгом. Он с нею, он всегда с нею. В ее сердце, в ее мыслях, в ее поступках, везде он, возлюбленный ее, с нею! Не надо бояться и унывать, надо верить и делать то, что и он делал, любить то же, что и он любил, — с ним делить печали поражений и радости побед. С ним, всегда с ним!

VI

Нина возвращалась домой, под веселый звон колоколов пасхальных, и вся пламенела восторгом, и плакала от счастия и от сладостной печали. И светлым праздничным огням, и ветру, веющему вешними утехами, шептала счастливые, безумные шептала слова:

— О, я счастливая! И я была на пути в мой Еммаус, и на моем омраченном пути со мною беседовал Он, пришедший ко мне в тишине и в тайне, и в моем Еммаусе я, счастливая, счастливая невеста, обрела Его!

Старый дом

Памяти Михаила Чеботаревского

I

Дом был старый, большой, деревянный, одноэтажный, с мезонином. Стоял он в деревне, в одиннадцати верстах от станции железной

дороги и в полусотне верст от уездного города. Вокруг этого дома дремотно-зеленеющий сад раскинулся и просторы бесконечно-плоских, нескончаемо-скучных полей.

Когда-то этот дом был выкрашен в лиловый цвет и уже давно полинял. Его крыша, когда-то красная, стала темно-бурою. Но столбы террасы были еще совсем крепки, и беседки в саду целы, и Афродита в кустах. А пруд ряскою затянуло.

Казалось, что старый дом полон воспоминаниями: стоит, дремлет, вспоминает, опечалится порою, когда грустные нахлынут вдруг вереницы воспоминаний.

В этом старом доме все было по-прежнему, как в те дни, когда вся семья была летом вместе, когда еще Боря был жив.

Теперь в усадьбе жили только женщины: бабушка Борина, Елена Кирилловна Водоленская, — Борина мать, Софья Александровна Озорева, — и Борина сестра, Наталья Васильевна. И старуха-бабушка, и мать, и молоденькая девушка казались очень спокойными, порою веселыми. Жили они уже второй год в старом доме и ждали младшего в семье, Бориса. Того самого Бориса, которого уже нет в живых.

Они почти не говорили о нем друг с другом, но мыслями, воспоминаниями, мечтами о нем наполнены были их дни. Порою в ровную ткань этих дум и грез вплетались черные нити печали и падали тяжелые, горькие зерна слез.

Когда злое солнце стояло в притине, — когда грустная луна ворожила, — когда заря холодом поутру розовым веяла, — когда на закате заря смехом кровавым полыхала, — в четыре темпа был размах качелей от заревой радости к притинной высокой печали. На тех качелях стремительно качаясь, они все трое переживали попеременно симпатию и антипатию предметов и времен.

Заревая радость, — раз, — яркая дневная печаль, — два, — заревая радость, — три, — белая ночная тоска, — четыре! Качели, подвешенные высоко, выше, выше тех качелей, на которых качался, кончался он.

II

По заре бледно-розовой, когда влажные никнут ветки на березках, весело-зеленых, стройно-белых, в саду перед окнами, за песочною площадкою, за круглою куртиною, — по заре бледно-розовой, когда с речки от купаленки повеет прохладою, — первая из трех просыпается Наташа.

Как весело проснуться на заре бледно-розовой! Откинуть полог, кисейно-легкий, сквозной, — на локоток опереться, повернуться набок, — и глянуть в окошко черными, широкими, жуткими глазами.

За окошком небо видно, низкое над далекими белыми березками. На небе заря бледно-алая, веселая, горит матовым огнем сквозь транспарант простертого над землею покрова. В ее тихом, бледно-радостном разгорании есть такое напряжение юных страстей и полусознанных желаний, такое напряжение, такое счастие и такая печаль! Улыбчивая сквозь росу легких, утренних слез над белыми ландышами, над синими фиалками широких полей!

Да о чем же слезы! К чему же ночная тоска!

Вот, за окном привешенная, качается ветка отгоняющего всякое зло аира. Повесила ее бабушка, и няня снимать не велит, старая. Зеленея, качается ветка аира, улыбается сухою зеленою улыбкою.

Улыбается Наташа тихою розовою улыбкою.

Земля просыпается в утренней свежей бодрости. Доносятся до Наташи голоса пробудившейся жизни. Вот, гомозясь в упруго-влажных ветках, чирикают шумливо проворные птицы. Вот за окном слышен издалека переливно-долгий звук рожка. Вот близко-близко, по песочной дорожке под окошком, звуки чьих-то тяжело и твердо ступающих ног. Слышно веселое ржание жеребенка и протяжное мычание недовольных чем-то коров.

III

Наташа встает, улыбается чему-то, подходит поспешно к окну. Ее «окно высоко над землею», в мезонине, широкое, в три просвета. Наташа не задергивает его на ночь занавесками, чтобы не застить от

засыпающих глаз прохладного мерцания звезд и ворожащего лика луны.

Весело Наташе открыть окно, распахнуть его сильною рукою. В горящее сном лицо нежная веет от речки утренняя прохлада. За березками сада и за его кустарниками видны широкие поля, такие милые с детства. На полях пологие пригорки, полосатые пашни, зеленые рощицы, отдельные кустики.

Вьется речка прихотливо брошенными на зеленое извивами. Еще колышутся над нею белые клочки изорванной к утру туманной фаты. Речка видна кое-где, а чаще закрыта изгибами невысокого берега, но далеко-далеко означила она свой извилистый путь купами верб, темно-зеленых на светло-зеленой траве.

Наташа проворно умылась, — и было приятно лить на плечи и на шею холодную воду. Потом по-детски прилежно молилась, ставши на колени перед темным в сумрачном углу образом, не на коврик, а прямо на пол, — так угоднее Богу.

Повторила ежедневную свою молитву:

— Господи, сотвори чудо!

И приникла лицом к полу.

Встала. Потом проворно надела легкое светленькое платьице с широкими лямками на плечах, с прямоугольным вырезом на груди и кожаный пояс, перетянутый сзади широкою пряжкою. Наскоро заплела и сложила кое-как вокруг головы тяжелые черные косы. С размаху всунула в них роговые гребенки и шпильки, какие нашлись под руками. Набросила на плечи серый вязаный платок, такой приятно-мягкий, и торопилась выйти на террасу старого дома.

Ступеньки неширокой внутренней лестницы из мезонина вниз тихо скрипели под легкими Наташиными ногами. Жесткое ощущение дощатого холодного пола под теплыми ногами было забавно-веселым.

Когда Наташа спустилась вниз и шла по коридору и по столовой, она ступала тихохонько, чтобы ни мать, ни бабушка не слышали, и не проснулись бы, и не встали. И на лице было милое выражение веселой озабоченности, и складка меж бровей. Как сложилась в те дни, так и осталась складочка.

Еще задернуты были занавески в столовой. Комната казалась сумрачною и печальною. Скорее хотелось пробежать по ней, мимо широко раздвинутого стола. Не было охоты остановиться у буфета, что-нибудь взять, съесть.

Скорее, скорее! На волю, на воздух, к улыбкам беззаботной зари, позабывшей все свои докучные вчера.

IV

На террасе было светло, свежо. Светлая Наташина одежда вдруг загоралась бледно-розовыми заревыми улыбками. Веселый холодок набегал из сада. Ласкаясь, лобзал он Наташины ноги.

Опершись розовыми, тонкими локтями обнаженных рук о широкий парапет террасы, Наташа садилась на легкий плетеный стул. Она принималась смотреть в ту сторону, где виднелась из-за кустов калитка в садовой изгороди и за нею часть серой дороги, безмолвной, но, по заре бледно-розовой, такой счастливо-успокоенной.

Наташа смотрела долго, пристально, немигающим, жутким взором черных глаз. Какая-то жилка дрожала в левом углу рта. Едва заметно вздрагивало левое веко. Все определеннее намечалась резкая вертикальная складочка меж бровей. Подобно напряжению трепетно и ало полыхающей зари было напряженное внимание слишком пристальных, слишком неподвижных глаз.

Если бы всмотреться долго в сидящую так на заре утренней Наташу, то показалось бы, что не видит она того, на что смотрит, и что на что-то иное, что не здесь, устремлен ее слишком далекий взор.

Словно хочет увидеть того, кого нет, — того, кого ждет, — того, кто придет, — придет сегодня. Если свершится чудо. А как же без чуда!

V

А перед Наташею серая и докучная влеклась повседневная обычность. Предметы все те же, все на тех же местах. И те же, как вчера, как завтра, как всегда, люди. Вечные приснолюди.

Стремительно и тупо шел мужик, гулко стуча о глину дороги подкованными подошвами тяжелых сапог. Верткая баба проходила, мягко шурша по росистой траве придорожной мельканием высоко приоткрытых загорелых ног. Пугливо озираясь на старый дом, пробегали темные от загара, милые, чумазые, белоголовые ребятишки.

Мимо да мимо. Никто не останавливался у калитки. Никто и не видел молодой девушки из-за точеного столбика террасы.

Шиповник цвел у ограды. Он ронял первые бледно-розовые лепестки на розоватую желтизну песочной дорожки, лепестки, райски-невинные и в самом падении своем.

В саду благоухали сладко, страстно и наивно розы. У самой террасы возносили они к озарениям с неба свои напряженно-алые улыбки, ароматную нестыдливость своих мечтаний и желаний, невинных, как все было невинно в первозданном раю, невинных, как невинны на земле только благоухания роз.

На куртине пестрым ковром раскинулись белые табаки и алые маки. За куртиною в зелени белел мрамор Афродиты как вечное пророчество красоты среди зеленой, влажной, благоуханной, звучной жизни этого мгновенного дня. Тихо сама себе сказала Наташа:

— Он, должно быть, переменился очень. И не узнаешь, поди, как вернется.

Тихо, сама себе отвечая, сказала Наташа:

— Но я бы его узнала сразу по голосу и по глазам.

И точно, вслушиваясь, услышала его голос, звучный, глубокий. И точно, всматриваясь, увидела его черные глаза, — пламенный, властный, юношески-дерзкий взор. И еще вслушивалась во что-то, всматривалась в далекое. Слегка пригнулась, склонила к чему-то тихому чуткое ухо, неподвижный и жуткий приковала к чему-то взор. Словно застыла в напряжении, несколько диком.

Розовая улыбка разгорающейся зари несмело играла на побледневшем Наташином лице.

VI

Кто-то крикнул вдали, длинно и гулко.

Наташа вздрогнула. Встрепенулась. Вздохнула. Встала. По шатким, широким ступенькам спустилась в сад, на песчаную площадку. Хрустели песчинки под ногами. Легкие, тонкие на мелком сером песке отпечатлевались следы узких маленьких ног.

Наташа подошла к белому мрамору.

Долго всматривалась она в безмятежно-прекрасное лицо богини, все еще далекой от нашей скучной, чахлой жизни, и в ее вечно юное тело, нестыдливо обнаженное, неложную сулящее радость освобождения. Розы алели у строгого пьедестала. Они примешивали очарование своих недолгих алых благоуханий к очарованию вечной красоты в этом нежно розовеющем мраморе.

Тихо, тихо сказала Афродите Наташа:

— Если он придет сегодня, я вложу в петлицу его тужурки самую алую, самую милую розу. Он смуглый, и глаза у него черные, — о, самую алую из твоих роз!

Улыбалась вечная, придерживая дивными руками края ниспадающего на колени тихими складками покрова, и говорила беззвучно, но внятно:

— Да.

Вечное «да» всякому сказыванию жизни, улыбка вечной иронии, улыбка прекраснейшей из богинь и самой страшной из них.

И опять сказала Наташа:

— И сплету себе венок из алых роз, и косы распущу, мои черные, мои длинные косы, и венок надену, и буду плясать, и кружиться, и смеяться, и петь. Чтобы утешить его, чтобы обрадовать его.

И опять говорила ей вечная:

— Да.

Сказала Наташа:

— Ты его помнишь. Ты его узнаешь. Вы, боги, все помните. Только мы, люди, забываем. Чтобы разрушать и творить, — себя и вас.

И в молчании белого мрамора вечное, внятное было «да». Ответ, всегда утешающий. Да.

Вздохнула Наташа и от мрамора отвела глаза.

Заря разгоралась, и весь радостный сад улыбался переливами заревого, вечно юного, вечно торжественного смеха.

VII

Потом Наташа тихо шла к садовой калитке. Там она опять долго смотрела на дорогу. Так напряженно держалась она за верх калитки, точно готовая вот-вот распахнуть ее перед тем, кто придет, перед тем, кого ждут.

Вздымая серую дорожную пыль, предрассветный влажный ветер тихо веял в Наташино лицо и шептал ей в уши что-то настойчивое, злое, вещее. Точно завидовал ее ожиданию, ее напряженному покою.

Ветер, всюду веющий, ты все знаешь, ты хочешь, ты встаешь, и падаешь, и влечешься в нескончаемые дали. Печалью и радостью вея, влечешься ты к недостигаемым далям.

Ветер, всюду веющий, залетал ли ты в те страны, где он? Весточку от него принес ли? принесешь ли?

Хоть бы вздох один принес ты от него или к нему, хоть бы легкий, бледный призрак слова!

От передрассветного ветра краснеет лицо, глаза краснеют, румяные губы морщатся, на черных глазах слезы выступают и гнется тонкий стан, — оттого, что веет ветер, прохладный, пустынный, безучастный, мудрый ветер. Веет, как веяние невозвратного, быстролетного времени. Веет, жалит, печалит, и не жалеет, и уносится прочь.

Уносится прочь и, бессильная, падает серовато-розовая по заре, но все же тусклая, бледная дорожная пыль. Спутала все свои следы, забыла прошедших над нею, — и лежит, по заре слабо розовея.

Ноет сердце от сладкой печали ожидания.

Говорит кто-то близкий, тихо говорит на ухо Наташе:

— Он приедет. Он на дороге. Встретила бы.

VIII

Наташа открыла калитку и быстро пошла по дороге, в ту сторону, где за одиннадцать верст от старого дома стоит железнодорожная станция. Дойдет Наташа до пригорка над рекою, за полторы версты от дома, остановится и будет смотреть.

С этого пригорка видна вся дорога. Откуда-то снизу, с поля, слышен резкий крик кулика. Пряно и влажно пахнет трава.

Восходит солнце. Вдруг все становится белым, ярким, ясным. Радостная смеется широкая даль. Утренний ветер на пригорке сильнее, крепче и слаще. Кажется, что забыл он пустынную свою грусть.

Трава такая мокрая от росы. Так нежно приникает она к ногам. По ней яркие, многоцветные переливаются рассыпанными алмазами слезинки росы.

Красное солнце с торжественною медленностью поднимается над синею мглою горизонта. В красном, ярком горении солнца затаилось предчувствие тихой грусти.

Наташа опускает взор к орошенным травам. Цветочки милые! Узнает Наташа цветок верности, лазоревый барвинок.

Но что это! Тут же близко, напоминанием о смерти, черная белена. Ну что же! Она везде. Утешайте, утешайте, лазоревые цветочки!

— Ни одного из вас не сорву и не из вас, лазоревые, венок сплету.

Ждет, стоит, смотрит.

Показался бы по дороге, увидала бы, узнала бы его еще издали. Но нет, — никого нет. Дорога пустынна, и немы влажные просторы.

IX

Постояла Наташа, подождала, пошла назад. Ноги ее тонули в мокрых травах. Стебли высоких трав путались около тонких ног и шуршали, зеленые, о край светлого платья. Наташины руки были опущены, покорные, прикрытые серым вязаным платком, стройные, с розовыми локтями, руки. А глаза уже утратили напряженность выражения, и перебегали рассеянные взгляды с предмета на предмет.

Сколько раз ходили по этой дороге, все вместе, и сестренки, и Боря! Было весело и шумно. О чем ни говорили! Как спорили! Какие гордые гимны пели! Теперь одна, и Боря все не возвращается.

Не знает, что его ждут. Не знает, как его ждут. Ничего не знает. И не узнает?

В Наташином сердце просыпается предчувствие горьких воспоминаний. В темноте усталой памяти уже с тяжелым шорохом шевелится злая змея.

Медленно и скучно Наташа возвращается домой. Глаза ее дремотны, и блуждают тоскливо, и никнут утомленные взоры. Трава кажется ей неприятно-сырою, ветер надоедливым, ногам ее мокро, и край тонкого платья отяжелел от сырости. Новый свет нового дня, ярко-солнечного, сияющего переливами смеющихся рос, птичьих гамов и людских голосов, для Наташи по-старому назойливо ярок.

Ах, не всходить бы новому дню! Не звать бы к недостижимому!

Все слышнее робкий шепот беспощадных воспоминаний. Тяжелый груз неодолимой тоски наваливается аспидно-серою горою на сердце. Горло сжимается томительно-жестким предчувствием слез.

Чем ближе к дому, тем торопливее становится Наташин шаг. Все скорее, скорее, под ускоряющийся стук тоскующего сердца бежит Наташа по сухим глинам дороги, по мокрым травам придорожной, протоптанной пешеходами тропинки, по влажно-хрупким песчинкам садовых дорожек, еще хранящим ее предрассветные, нежные следочки. Бежит Наташа по теплым доскам еще не метенного пола, с пылью и соринками. И уже не старается ступать легко и неслышно. Наталкивается на удивленную, зевающую Глашу. Взбегает стремительно и шумно наверх, к себе, и бросается в постель. С головою укутывается в одеяло. Засыпает.

X

Борина бабушка, Елена Кирилловна, спит внизу. Она старая, и не спится ей утром; но за всю жизнь она никогда не вставала рано, а пото-

му и теперь просыпается только немного позже, чем Наташа. Долго лежит Елена Кирилловна, прямая, худенькая, неподвижная, словно влипнув затылком в подушки, и ждет, когда придет горничная с чашкою кофе, — она издавна привыкла пить кофе в постели.

У Елены Кирилловны худое, желтое лицо, все в разбегающихся морщинках, а глаза еще блестящие и волосы еще черные, особенно днем, когда уже она их смажет черным фиксатуаром.

Горничная Глаша обыкновенно запаздывает. Утром ей сладко спится: с вечера она любит уходить к деревне на мост. Там скрипит гармоника и по праздникам поют и пляшут, бывают веселые молодые люди и бойкие девицы из деревни, — словом, весело.

Елена Кирилловна звонит несколько раз. Наконец безответность тишины за дверью начинает сердить ее. Она досадливо ворочается, ворчит. Напряженно сгибая в локте сухую, желтую руку, долго и с усилием нажимает костлявым пальцем на белую пуговку электрического звонка, лежащего на круглом столике возле ее изголовья.

Тогда наконец Глаша слышит над собою продолжительный, дребезжащий звон. Она соскакивает с постели. Суетливо мечется по своей тесной каморке под лестницею в мезонин. Ищет что-то. Набрасывает на себя юбку. Бежит к старой барыне и на бегу кое-как оправляет рассыпающиеся космы перепутанных волос.

Лицо у Глаши сердитое и сонное. Еще недоспанный сон шатает ее. Пока она добежит до дверей барыниной спальни, утренняя прохлада немного освежает ее. Когда Глаша входит к барыне, у нее уже не такое смятое лицо.

На Глаше розовая юбка и белая рубашка. В полусумраке занавешенных окон ее загорелые руки и стремительные ноги кажутся тоже белыми. Вся она, молодая, крепкая, грубая и внезапная, вдруг вырастает перед постелью старой барыни, слегка всколыхнув тяжелою поступью барынину металлическую грузную кровать с никелированными столбиками и шариками и круглый столик, на котором слегка звякнет стакан о флакон.

XI

Елена Кирилловна встречает Глашу все тем же изо дня в день негодующим восклицанием:

— Глаша, когда же мне будет кофе? Я звоню, звоню, никто не идет. Ты, мать моя, спишь как убитая.

Глаша делает притворно-удивленное и притворно-испуганное лицо. Поправляет, невольно позевывая, старенький стертый коврик у кровати. Придвигает мягкие, стоптанные туфли. Говорит тем усиленно-ласковым, почтительным тоном, который так нравится в прислугах старым барыням:

— Простите, барыня, сию минуту все будет. Господи, да как вы сегодня рано проснулись, барыня! Не поспалось вам, барыня, штой-то ли?

Елена Кирилловна говорит:

— В мои годы уж какой сон! Дай ты мне кофейку поскорее, Глашенька, да и вставать я уж стану.

Уже она говорит спокойно, хотя и звучат в ее голосе капризные ноты.

Глаша отвечает усердно-радостным голосом:

— Сию секундочку, барыня. Я живым духом.

И повертывается уходить.

Но Елена Кирилловна останавливает ее гневным окриком:

— Глаша, куда ты? Ничего не помнишь, сколько раз ни говори! Занавески открой.

Глаша проворно отдергивает темно-зеленые занавески у двух окон в барыниной спальне и вылетает из комнаты. Она невысокая и тоненькая, и по ее лицу видно, что она читает книжки, но звук ее быстрых ног отчетлив и тяжек, точно бежит кто-то большой, сильный, тяжелый, умеющий делать все, кроме легкого. Барыня ворчит, сердито глядя за нею:

— Боже мой! как она топает! Ни пола, ни пяток своих не жалеет!

XII

Но вот звуки Глашина бега затихают в гулкой тишине длинного коридора. Барыня лежит, ждет и думает. Она опять прямая, неподвиж-

ная, вся закрытая одеялом, такая желтая и тихая. Кажется, что вся жизнь ее сосредоточилась в ярком блеске зорких глаз.

Солнце, еще невысокое, неярко и розово освещает стену перед барыниными глазами. Светло в спальне и тихо. Пляшут в воздухе быстрые пылинки. Блестят стекла развешанных на стене фотографических портретов и узкие золоченые полоски их черных рамок.

Елена Кирилловна смотрит на портреты. Ее по-молодому блестящие и все еще зоркие глаза отчетливо различают милые лица. Многих уже нет на свете.

Борин портрет — большой, в широкой темной раме. Совсем еще юношеское лицо, лицо семнадцатилетнего мальчика. Смуглый. Черноглазый. На губе уже усики, довольно густые. Губы, упрямо сжатые. Во всем складе лица выражение настойчивой воли.

Елена Кирилловна долго смотрит на портрет и вспоминает Борю. Изо всех своих внуков больше она любила его. И вот вспоминает.

Она помнит, какой он был. Каким-то он теперь стал?

Вот Боря вернется. Бабушка обрадуется, насмотрится на него. Скоро ли?

Думает успокоенно старая женщина: «Теперь уж увидимся скоро».

Кто-то пробежал под окошком. Чей-то послышался звонкий крик.

Елена Кирилловна повернулась на постели. Смотрит в окно.

Белые акации под окном, зелено и радостно шелестя, улыбаются по-детски наивно и весело. За ними сплошная купа зеленолиственных широких крон, березки теснятся да липки. Ветки совсем близко тянутся к окошку. Упругий их шелест напоминает что-то Елене Кирилловне.

Вот так бы крикнул под окошком Боря. Он любил этот сад. И любил белые цветы акации. И полевые любил цветочки собирать. И ей приносил. Особенно васильки ему всегда нравились.

XIII

Наконец Глаша принесла кофе. Поставила на круглый стол около кровати серебряный поднос. Над фарфоровою широкою синею с золотом чашкою дымится легкий пар, слегка синеватый.

Елена Кирилловна подбирается всем своим худеньким тельцем повыше, к подушкам, и усаживается в постели, прямая, сухонькая, тоненькая, в белой ночной кофточке. Суетливо поправляет дрожащими руками затянувшиеся за ночь завязки белого гофрированного чепчика.

Глаша заботливо и ловко подсовывает под ее спину подушки, сложив их высокою, мягкою, такою уютною горкою.

Звенит хрупким смехом серебряная ложечка в сухих старухиных руках, размешивая в чашке сахар. Потом из маленького молочника льется густою струею молоко, и падает слегка желтоватыми хлопьями тяжелая жирная пенка.

А Глаша, повертевшись еще немного в сторонке, поглядевшись украдкою, мимоходом, в барынино зеркало, уходит.

Елена Кирилловна, не торопясь, принимается пить кофе. Она ломает пополам сладкий, обсыпанный сахаром сухарик, бросает половинку в кофе и долго держит его там. Потом, уже когда он совсем размякнет и пропитается кофеем, она осторожно вынимает его ложечкою.

Зубы у Елены Кирилловны еще совсем крепкие. Она этим очень гордится, но все-таки в последнее время она гораздо больше любит есть то, что помягче. Она жует измокший сухарик. На ее лице выражается удовольствие. Маленькие зоркие глаза весело поблескивают.

Когда кофе выпит, Елена Кирилловна ложится еще полежать. Дремлет с полчаса, вытянувшись на спине под одеялом. Потом опять звонит и ждет.

XIV

Приходит Глаша. Уже она причесалась и надела розовую кофточку. Оттого она кажется еще более тоненькою, чем первый раз. Но так как теперь она вовсе не торопится, то шаги ее кажутся еще более тяжелыми.

Глаша подходит к барыниной кровати. Молча откидывает одеяло. Помогает Елене Кирилловне сесть на постели, ловко поддерживая ее

под локоть. Потом, опустившись на колени, натягивает ей на ноги длинные черные чулки и надевает ей мягкие серенькие туфли.

Елена Кирилловна держится за Глашино плечо слабыми, вздрагивающими нервно и неровно руками. Она завидует Глашиной молодости, силе и наивной простоте. Будируя втихомолку против своей барской, но все же несладкой судьбы, Елена Кирилловна думает уныло, что охотно пожертвовала бы всем своим комфортом и согласилась бы стать такою же, как и эта Глаша, простою девушкою, служанкою, с грубою кожею на руках и с покрасневшими от утренней сырой свежести стопами необутых ног, только бы ей молодость, веселость, беззаботность и счастье, доступное на земле нашей только неразумным.

Брюзжит часто на судьбу старая, — а сама ни от одной барской привычечки не могла бы отказаться!

Глаша говорит:

— Готово, барыня.

Елена Кирилловна встает. Говорит:

— Теперь капот мне, Глаша.

Но Глаша уже и сама знает, что надо подать. Надевает на Елену Кирилловну белый фланелевый капот. Проворно застегивает его.

Елена Кирилловна говорит:

— Ну иди, Глашенька. Ужо я позвоню, если что понадобится.

XV

Глаша уходит. Бежит на заднее крыльцо.

Там она второй раз моется из подвешенной к столбикам крыльца на веревочке глиняной кувыркалки, — давеча только наскоро ополоснула лицо и руки похолодевшею за ночь водою. Брызжет воду далеко на зеленую траву двора, на лиловато-серые доски крыльца и на свои ноги, порозовелые от свежести ранней, утренней и от нежных прикосновений росистых трав на огороде. Смеется сама с собою, — так, оттого, что вокруг нее светло, не жарко, весело, — оттого, что она молодая, здоровая девушка, — оттого, что утренняя свежесть бодрыми холодками пробегает по всему крепкому, быстрому телу, — оттого, наконец, что

недалеко от нее на деревне живет бойкий, как она, красивый молодчик, который на нее заглядывается и который ей нравится.

Правда, за него мать бранит ее, — молодой человек беден.

А Глаше-то что ж? Недаром сложилась поговорочка: «Пусть бы хлеба ни куска, был бы парень без уска».

Смеется Глаша весело и звонко.

Из окна кухни Степанида кричит ей:

— Глаш, а Глаш! что ты ржешь?

Глаша смеется, не отвечает и уходит.

Степанида высовывает из окна простодушное, румяное лицо. Спрашивает:

— Чегой-то она?

Никто ей не отвечает. Некому отвечать. На дворе пусто. Только где-то за сараями слышны лениво переговаривающиеся голоса работников.

XVI

Меж тем Елена Кирилловна в своей спальне, кряхтя, опускается на колени перед образом. Она молится долго. Добросовестно перечитывает все молитвы, какие знает. Сухие, малинового цвета губы шевелятся. На лице строгое, сосредоточенное выражение. Все морщинки тоже кажутся строгими, усталыми, равнодушными.

Молитвенных слов много. Все они святы, воздушны, возвышенны или трогательны. Но то, о чем в них говорится, от частого повторения как-то словно закостенело, стало обычным и простым, только привычные выжимает на глаза слезинки старческого умиления и не имеет никакого отношения к тому тайному трепету невозможных надежд, которым в последнее время пронизано сердце старой женщины.

Уста ее прилежно шепчут все те же каждый день мольбы о прощении грехов вольных и невольных, сотворенных словом, или делом, или помышлением, — мольбы об очищении душ наших от всякой скверны, — и опять слова о беззакониях наших, о лукавых наших деяниях, о нечестии нечестивых, о всеобщем нашем недостоинстве, о мирских злых вещах и о дьявольском поспешении, — об окаянной

душе и окаянном теле и о страстной жизни, — все только об этом всеобщем зле и об этой всемирной порочности. Точно сложены эти молитвы для титанов, созданных переустроить вселенную, но из постыдной лености делающих это важное дело спустя рукава.

И ни слова о своем, личном, задушевном.

Шепчут старые, иссохшие уста о милосердии, о щедротах, о человеколюбии, об истинном свете, — обо всех этих верховных благах, изливаемых извне на все творение. И ни слова о чуде, жадно и трепетно чаемом.

Да и разве чудо не нарушило бы молимого установленными словами заученных из детства молитв тихого и безмолвного жития?

Да, воистину, подъемлет бунт всякий, кто дерзновенно молит о чуде.

Но вот и слова о находящихся в темницах и в заточениях, мольба об их освобождении, об их избавлении.

Вот, наконец, это о Боре.

Свободу и избавление...

Но дальше, все дальше бежит молитвенная речь, о чужих, о далеких, о всеобщем; только на миг, только слегка остановилась на своем, на родном, на чаемом.

Потом об усопших, — о тех, других, давно оплаканных, почти позабытых, оживающих в слове только в часы этих общих, по всему душевному миру быстро скользящих молений.

Окончены молитвы. Елена Кирилловна с минуту медлит. Словно еще что-то забыто необходимое.

Что же еще? Или это и все?

«Все», — говорит кто-то тихий, равнодушный и непреклонный.

Тогда Елена Кирилловна поднимается с колен. Подходит к окну. Душа ее спокойна и равнодушна. Молитва не оставила в ней молитвенного настроения, а только на краткое время вынула из утомленной души всякое конкретное, особенное, будничное переживание.

XVII

Елена Кирилловна смотрит в окно. Она словно опять возвращается из какого-то темного, отвлеченного мира к ярким, красоч-

ным, многозвучным впечатлениям грубой, веселой, немножко милой жизни.

На небе высоко, среди светлой, светлой синевы, медленно тая, плыли белые с розовым легкие тучки. Казалось, что у них сквозь холодные, белые тела просвечивает пламенная, алая, как раскаленный ярко уголь, душа, и пламенея, сжигая белые тела туч, сгорает и сама, и тает, и тонет в холодном, высоком, голубом. Солнце, еще не видное из-за левого угла дома, уже обливало весь сад теплою и радостною волною веселья, смеха и света, в которой купались суетливые стайки птиц.

Елена Кирилловна думает: «Ну что ж, одеваться пора».

И звонит.

Скоро на звонок является Глаша. Елена Кирилловна одевается.

Наконец она готова. Бросает на себя последний взгляд в зеркало, — все ли в порядке.

Волосы у Елены Кирилловны причесаны тщательно, волосок к волоску, и слегка приглажены черным фиксатуаром. От этого они блестят и кажутся склеенными. При каждом движении Елены Кирилловны по ним против света передвигается вправо и влево узкая серебристая ниточка, — световой рефлекс на изгибе заглаженной прически. На лице немножко, чуть-чуть, пудры.

Платье на Елене Кирилловне всегда какого-нибудь светлого цвета, если не совсем белое, и самого простого покроя. Мягкая, мелкая плойка широкого воротника скрывает шею и подбородок. Туфли уже заменены легкими летними башмаками без каблуков.

XVIII

Елена Кирилловна выходит в столовую. Смотрит, как накрывают на стол к утреннему раннему завтраку. Всегда заметит какой-нибудь беспорядок. Сама переставит с места на место что-нибудь на столе.

Потом она идет в переднюю, пустую и просторную, с запертою дверью, на крыльцо переднего фасада. Проходит коридором в сени и на заднее крыльцо. Стоит на высоком крыльце, щурится от солнца и смотрит, что делается на дворе. Маленькая, совсем прямая, как молодень-

кая институтка, сухонькая, с желтым морщинистым лицом, на котором изображается строгая хозяйственная внимательность, — стоит, смотрит и молчит, никому здесь ни для чего не нужная. Никто не обращает на нее никакого внимания.

Елена Кирилловна говорит:

— Здравствуй, Степанида!

Степанида, дебелая румяная молодка в ярко-красной юбке, из-под которой виден белый подол рубахи и загорелые толстые ноги, возится на дворе у крыльца с самоваром и старательно раздувает его. На ее голове зеленый платочек порядливо подтыкан, закрывая сложенные косы словно повойником.

Пузатые бока самовара красно горят на солнце. Над его напрасно изогнутою трубкою клубится в мреющем воздухе синий дым, от которого резко, едко и слащаво пахнет можжевельником и смолою.

На привет старой барыни Степанида поворачивает к ней широкоскулое озабоченно-веселое лицо с крохотными изюминками темнокарих глаз и певучим, ласковым голосом протяжно говорит:

— Здравствуйте, матушка барыня, с добрым утречком вас! Рано сегодня встать изволили, матушка барыня. Теплынь-то какая стоит, милость-то Божья!

Слова ее точно медовые, и точно на эти медвяные слова летит с густым жужжанием ранняя мохнатая пчела, золотясь трепетно в прозрачном жидком золоте утреннего еще не злого солнца. Но Степанида уже замолкла и опять возится со своим самоваром, — и пчела разочарованно улетает, медленно затихая за изгородью огорода.

Елена Кирилловна морщится от резкого смолистого запаха и говорит:

— Что это, как можжевельником сильно пахнет! Ты бы, Степанида, отошла, а то у тебя голова закружится.

Степанида, не оборачиваясь, отвечает лениво и равнодушно:

— Ништо, барыня. Мы привычны. От него дух легкий, от можжевельника-то.

Сквозь синий, кудрявый дым можжевельника ее сладкий голос кажется приторным, горьким. В горле у Елены Кирилловны начинает

першить. Ее голова слегка томно кружится. Елена Кирилловна торопится уйти и спускается с крыльца, в свой обычный утренний путь.

XIX

В это время выбегает за нею Глаша. Она преувеличенно-громко топочет по гулко-сбегающим ступенькам быстрым мельканием крепких ног, розовеющих словно крылатыми стопами из-под взвеваемой ее бегом розовой юбки, и звонко кричит озабоченно-радостным голосом:

— Барыня, чтой-то вы пошли без ничего! Еще вам солнцем напечет. Вот, извольте вашу шляпку.

Соломенная шляпа, желтая, с темно-лиловою лентою, в Глашиных руках мелькает, как странная, порхающая низко птица.

Елена Кирилловна надевает шляпу и говорит Глаше:

— Что ты растрепою бегаешь! Приоделась бы, — знаешь, кого мы ждем.

Глаша молчит, и на ее лице появляется жалостливое выражение. Она долго смотрит за уходящею барынею, покачивает головою, потом улыбается и идет домой.

Степанида громким полушепотом спрашивает ее:

— Что, все внучка ждет?

Глаша отвечает жалостливо:

— Да уж и не говори! Просто смотреть-то на них жалость берет, столько времени изводятся.

А Елена Кирилловна идет по двору, в огород, мимо служб и людских на скотный двор и потом в поле. Вдоль садовой ограды она выходит на дорогу.

Там, недалеко от сада, под тенью старой развесистой липы стоит скамейка, — когда-то покрашенная в зеленый цвет доска на двух столбиках. Отсюда видна дорога, и речка, и сад, и дом.

Елена Кирилловна садится на скамейку. Смотрит на дорогу. Сидит тихо, маленькая, худенькая, прямая. Ждет долго. Потом начинает дремать.

Сквозь тонкую дрему порою улыбнется вдруг милое смуглое лицо и зовет тихонько родной голос:

— Бабуся!

Она встрепенется, откроет глаза. Нет никого. Но она ждет. Верит и ждет.

XX

Воздух земной жизни легок. Дорога светла и тиха. Ветер легкий и отрадный веет мимо, мимо. Солнце греет старые кости, сквозь платье лаская худенькую спину. Все вокруг ликует в зеленом, золотом и голубом. Листва берез, ив и лип медленно шелестит, зелено и влажно. В полях медвяно пахнет клевер.

Ах как легок, ах как сладок воздух земной нашей жизни!

Как ты прекрасна, моя земля, изумрудная, сапфирная, золотая! Кто из рожденных на тебе захотел бы умереть? захотел бы закрыть глаза на твои тихие прелести и на твои великолепные просторы? Кто из почивающих в тебе, мать земля сырая, не захотел бы встать, не захотел бы вернуться к твоим очарованиям и усладам? И пламенеющего жаждою жизни кто, жестокий, прогонит в смертную сень?

По дороге, где он ходил, он опять пройдет. По земле, еще его следы хранящей, он опять пройдет. Боря, милый бабушкин Боря, вернется.

Вот, пролетая, пчела золотая жужжит. Говорит золотая, что Боря вернется в тишину старого дома, отведает душистого меда, — сладкого дара мудрых пчел, жужжащих под солнцем земной, милой жизни. И пчелиного ярого воска свечу затеплит бабушка радостно перед иконою Приснодевы, — дар мудрых пчел, жужжащих в золоте дневных лучей, — дар человеку и дар Богу.

Вот проходят по дороге деревенские женщины и девушки с обветренными румяными лицами. Кланяются старой барыне и жалостливо смотрят на нее. Елена Кирилловна улыбается им и говорит привычно-ласковым голосом:

— Здравствуйте, милые!

Они проходят. Их крикливые голоса замирают вдали, и забывает о них Елена Кирилловна. Они опять пройдут здесь еще сегодня, когда настанет их час. Пройдут. Вернутся. По дороге, где косно лежат их пыльные, скучные следы, пройдут они опять.

XXI

Елена Кирилловна очнулась вдруг от своей полудремы. Обвела недоумевающим взором все, предстоящее здесь ей.

Все было ясно, светло, беззаботно — и беспощадно. Неуклонное, все выше поднималось на гору небес торжественное светило. Уже видно было, что оно злое, мудрое, яркое, равнодушное к земной тягостной печали и к сладким радостям земным. И смех его высок, безрадостен и беспечален.

Все, как и раньше, было зеленое, голубое и золотое, многотонно и ярко окрашено, словно для светлого праздника все окрест предметы в природе показали истинный цвет своей души. Но уже легкая пыль на безмолвной дороге потеряла розовые заревые оттенки и вздымалась теперь по ветру серою, скучною фатою. Когда же утихал ветер и пыль никла не вдруг, то словно серая змея безглазая влеклась тучным призрачным чревом и, обессилев, падала, распластывалась и издыхала.

Скучною стала вся обычность. Эта липкая скука ясных повторений начинала томить Елену Кирилловну серым предчувствием тоски, горьких слез, отчаянных молений, безнадежности.

XXII

Из калитки в сад показалась Глаша. Весело глянула она по дороге в обе стороны. Замедляя шаги, чинно подошла к Елене Кирилловне.

Глаша теперь уже была обыкновенная, дневная, скучная. Уже нечему было в ней завидовать. И уже одета она по-дневному. На голове у нее косы сложены, как у барышни, и заколоты тремя прозрачно-рыжими гребенками. Кофточка светлая, — по белому розо-

вые полоски и лиловые цветочки, — с короткими рукавами до локтя. Прямая синяя юбка. Белый передник.

Елена Кирилловна спросила:

— Ну что, Глашенька? Сонюшка-то вышла?

Глаша ответила почтительно:

— Софья Александровна встают. Сейчас выйдут. Приказали спросить, можно на террасе накрывать?

— Да, да, на террасе. А что Наташенька? — спрашивала Елена Кирилловна, тревожно глядя на Глашу.

— Барышня спят, — отвечала Глаша. — Сегодня опять утром бегали гулять прямо с постели, ничего даже не покушавши. Юбочка вся в росе. Как бы не простудились. Теперь спят. Хоть бы вы им сказали.

Елена Кирилловна говорит неопределенно:

— Ну, ну. Пойду уж я. Иди себе, Глашенька.

Глаша уходит. Елена Кирилловна медленно поднимается со скамейки, точно жалея расстаться с тем местом, где в легкой дреме пригрезился ей Боря. Медленно идет она к дому.

Возле калитки она останавливается и еще смотрит недолго на дорогу, в ту сторону, где станция.

Телега гулко тарахтит по укатанной дороге. Мужик еле держит вожжи и покачивается сонно. Чалая лошаденка машет хвостом и головою. Беловолосый мальчуган, свесив с края телеги коричневые ножонки в широких синих штанишках, таращит васильковые светлые глазенки на собаку. А собака, тощая, злая, бежит и хрипло лает.

Елена Кирилловна вздыхает, — Бори все еще нет, — и уходит в сад.

На террасе мелькает светлая Глашина кофточка. Звенит посуда. Слышен ворчливый говор старой Бориной няньки.

XXIII

Позже всех, когда уже солнце на небе высоко и греет жарко, просыпается Борина мать, Софья Александровна. Сквозь легкие свет-

лые занавески, которыми задернуты у нее на ночь окна, уже ясным светом облита вся ее спальня.

Софья Александровна просыпается вдруг, точно разбуженная толчком каким-то или чьим-то зовом. Правою рукою она порывисто и сильно отбрасывает легкое белое одеяло. Быстро садится на постели, согнувши колени, и охватывает их руками. Потом с минуту смотрит прямо перед собою, в какое-то пустое место среди легкого узора светло-зеленых обоев.

Глаза у Софьи Александровны черные, широко открытые, с черными пламенниками, затаившимися в бездонной глубине жуткого взора. Лицо бледное, продолговатое, с ровною матовою кожею, совсем свежее, почти без морщин. Губы ярко пылают.

Софья Александровна смотрит, словно пораженная каким-то ужасным внезапным видением. Покачивается вперед и назад.

Потом она порывисто, одним прыжком, соскакивает с постели. Бежит к умывальнику, — белый мрамор и красное дерево. Моется быстро, точно торопится куда-то. Бежит к окну. Отдергивает занавески. Смотрит тревожно, какая погода, не ходят ли в небе тучи, из которых пойдет дождь, и тогда будет грязно по дороге, где поедет, возвращаясь домой, Боря.

Небо тревожно-радостное. Березки шелестят хрупким шелестом. Воробьи воровато и торопливо чирикают. Все зелено, ярко, страстно, во всем дышит напряжение надежд и ожиданий. Голоса слышны, — перекликаются звонко и весело и смеются. Бежит кто-то смешливый, — торопится жить.

По бледным щекам Софьи Александровны быстрые льются слезы. Грудь порывисто дышит под белым полотном легкой сорочки.

XXIV

Софья Александровна идет к образу. Досадливо отшвырнула ногою положенный там нарочно с вечера Глашею бархатный коврик. Бросилась перед образом на колени. Колени мягко стукнули о пол.

Софья Александровна быстро крестится, кланяется в землю и страстно шепчет:

— Господи, Ты же знаешь, Ты все знаешь, Ты все можешь, сделай это, Господи, сделай, верни его к нам, верни его матери, верни сегодня.

Мольба горяча, и пламенна, и не похожа на молитву. Слова бессвязны, падают часто, как мелкие, дробные слезы. К обнаженным ногам приникает тусклый холод крашеного пола. Дрожит и трепещет на полу жаркое тело плачущей женщины. Голова ее бьется о пол, разметывая черные косы.

Молится она не долго. Потоки слез точно омыли душу. Вдруг стало радостно и спокойно.

Так же порывисто Софья Александровна встает и звонит. Садится на край постели. Измятым носовым платком вытирает мокрые слезами щеки. Беззвучно смеется. Кончик ее ноги нетерпливо постукивает по коврику перед кроватью. Глаза блуждают по комнате и, кажется, не видят предметов.

Глаша только что принялась одеваться и уже завязывала сзади на тонкой талии узкие, белые тесемочки передника. Резкий, нетерпеливый звонок заставляет ее вздрогнуть. Она бежит к барыне, захвативши с собою почищенные утром башмаки и юбки.

Софья Александровна отрывисто говорит:

— Глаша, скорее, одеваться!

И нетерпеливо смотрит, как Глаша освобождается от своей ноши.

Торопливо совершается обычный обряд. Софья Александровна одевается сама. Глаша только застегивает ей башмаки и крючки платья сзади.

Скоро Софья Александровна совсем готова. Рассеянно и коротко глядится она в зеркало.

Ее бледное лицо кажется еще молодым и красивым. Она тонкая, как и ее мать, и невысокая. На ней белое, узкое платье с широкими, короткими рукавами. Прическа греческим узлом, перетянута двойным обхватом красной ленты. На маленьких, стройных, с высоким подъемом ногах цветные шелковые чулки, белые башмаки, на них серебряные пряжки.

XXV

Софья Александровна быстро идет в столовую. Там на столе стоит белый кувшин с парным молоком. Она сама наливает себе стакан молока. Стоя выпивает его и съедает кусочек черного хлеба.

В то же время она заказывает обед. Все такие выбирает блюда, которые любит Боря. Напоминает, что Боря любит, чтобы вот это было сделано так-то, и не любит вот того-то.

Степанида слушает ее уныло и плачущим голосом повторяет:

— Да уж знаю! Да уж что там! Не первый раз.

Что-то спрашивает Глаша. О чем-то многословно толкует дряхлая няня. Машинально, торопливо отвечает им Софья Александровна. И кажется, что она прислушивается, не гремит ли дальний колокольчик, не стучат ли по дороге колеса. Торопится уйти. И уже не слушает, что еще ей говорят. Уходит.

Идет в Борин кабинет. Там все по-старому и все прибрано. Когда Боря вернется, то найдет все на месте.

Софья Александровна заботливо и торопливо обходит комнату. Она смотрит, все ли на месте: стерта ли пыль, положен ли коврик перед кроватью, налиты ли чернила в чернильницу. Сама переменяет воду в вазе с васильками. Если что не в порядке, досадливо плачет, звонит и горько упрекает Глашу.

У Глаши тогда становится испуганное, жалостливое лицо. Она смиренно просит прощения.

Софья Александровна выговаривает ей:

— Как это ты так, Глаша! Ведь ты знаешь, мы ждем его с минуты на минуту. Вдруг он войдет, и такой беспорядок.

Глаша говорит смиренно:

— Простите, барыня. Уж вы себя не расстраивайте, я живым духом.

Выходит и роняет на белый передник две-три слезинки жалости.

XXVI

А Софья Александровна уже идет торопливо в сад. Ни на что не глядя, ни белой Афродиты не видя, ни ее алых роз, идет в ту беседку,

высоко над углом забора, из которой видна дорога. Над беседкою кровелька в четыре ската зеленеет железная, от солнца, а от любопытных глаз суровое полотно занавесок с красною обшивочкою.

Софья Александровна смотрит на дорогу жадными черными глазами. Ждет нетерпеливо, прислушиваясь к быстрому, неровному стуку сердца, — ждет, вот покажется Боря.

Ветер веет ей в лицо и задевает его краем занавески, — но лицо у нее бледное, и глаза у нее сухие. Солнце жарко целует ее тонкие руки, но они лежат неподвижно на широком лиловато-сером парапете беседки. Ярко, зелено и многоцветно все в полях, — но ее глаза прикованы к серой пыльной змее, разлегшейся на просторе полей.

Если так ждут, неужели Боря не придет?

Но его нет. И напрасно пронзают жадные взоры пустынный простор, — Бори нет.

Все напряженнее, все неотступнее прикован к дороге ее безумно-тоскующий взор, — но Бори нет.

Все только то же, что вчера, что всегда. Мирно, безмятежно, — беспощадно.

XXVII

Был час первого, раннего завтрака. Сидели все трое на террасе у накрытого стола. Был поставлен и четвертый прибор, и стоял четвертый стул, на всякий случай, — может быть, Боря подъедет к завтраку.

Солнце было уже высоко. День становился зноен. Алые розы у пьедестала богини благоухали все жарче. Еще яснее и безмятежнее улыбалась мраморно-белая Афродита, вечным движением роняя дивные складки одежды. В ярком сверкании солнца песок на дорожках казался желтовато-белым. Тени от деревьев были резки и черны. Казалось, что от них исходит земляной, сочный, теплый запах.

Женщины сидели так, что каждой из трех видна была за раскрытыми занавесками террасы и за кустами неширокой и недлинной аллеи садовая калитка и за нею часть дороги, — и видели они всякого прохожего и проезжего.

Но в этот час дня почти никто не проходил и не проезжал мимо старого дома.

За столом служа, Глаша надевала на круто сложенные косы свежевыглаженный чепчик с подкрахмаленными бантами и с плоеною сквозною оборочкою. Забавно мелькал этот снежно-белый чепчик над свежею загорелостью Глашина лица.

В саду под террасою на скамеечке, на открытом месте сидела старенькая Борина нянька, в темно-лиловой кофточке, черном платье и темно-синем платке. Она грела на жарком солнце старые косточки, прислушивалась к разговору на террасе, ворчала что-то, а то дремала.

Она ширококостая, полная. Лицо у нее круглое, приятное, и даже сквозь мелкую сеть морщин видно, что когда-то было красивое. Глаза еще ясные. Волосы седые, гладко причесанные. На лице и во всей фигуре застывшее выражение унылого добродушия.

XXVIII

Как всегда, ели, и пили, и разговаривали весело и дружно. Иногда говорили сразу двое. Если бы послушать из сада, то казалось бы, что на террасе сидит большое общество.

В разговоре часто слышится Борино имя:

— Как бы не забыть, Боря любит...

— Может быть, Боря привезет...

— Что-то Бори еще не видно...

— Я думаю, Боря приедет с вечерним...

— Надо спросить Борю, читал ли он...

— Может быть, Боря это знает...

А внизу под террасою старая нянька всякий раз, как только услышит Борино имя, крестится и шепчет:

— Упокой, Господи, душу раба Твоего Бориса.

Сначала шепчет тихо, потом все громче и громче.

Наконец сидящие за столом на террасе женщины слышат эти слова. Тогда они вздрагивают и тревожно переглядываются. На их лицах

изображается смутный страх. Но они сейчас же опять начинают разговаривать еще громче и смеются еще веселее. Говорят без перерыва и за шумом их голосов и смеха не слышат пока нянькина бормотания в зеленеющем весело саду.

Но упадут случайно голоса после того, как названо милое имя, — и опять слышатся тихие, страшные слова:

— Упокой, Господи...

За завтраком сидят долго, больше говорят, чем едят. Тревожно посматривают на калитку. Кажется, что им страшно встать из-за стола и куда-нибудь идти, пока нет еще с ними Бори.

XXIX

К концу завтрака приходит почта. За нею каждый день ездит на станцию четырнадцатилетний паренек Гриша верхом на гнедой, смирной лошадке. Он бойко скачет мимо калитки, подымает облака серой пыли и отчаянно болтает в воздухе локтями. При этом его пыльные ноги колотятся пятками в бока его кобылки, а на ремне через плечо болтается черная сумка.

Гриша оставляет лошадку на дворе, а сам с кожаною сумкою идет через сад и чему-то широко ухмыляется. Поднимаясь по ступенькам террасы, он объявляет громко и радостно:

— Почту привез!

Он веселый, загорелый, потный. От него пахнет солнцем, землею, пылью и дегтем. Пясти рук и стопы ног у него крупные, как у взрослого. Губы мягкие и пухлые, как у добродушного жеребенка. У косого ворота его рубахи не хватает пуговок, видна сквозь ворот полоска загорелой груди да серый кусочек гайтана.

Софья Александровна порывисто поднимается с своего места. Отбирает от Гриши сумку. Быстро опрокидывает ее на стол. На белую скатерть сыплется груда бандеролей. Все три женщины склоняются над столом и ищут писем. Но письма бывают редко.

Наташа хмуро смотрит на ухмыляющегося паренька. Спрашивает:

— Писем нет, Гриша?

Гриша переступает по ступеньке лестницы большими ногами, кирпично-красными от солнца, ухмыляется и отвечает всегда одними и теми же словами:

— Письма еще пишут, барышня.

Софья Александровна говорит нетерпеливо:

— Ну иди, Гриша.

Гриша уходит. Женщины принимаются читать газеты.

Софья Александровна берет «Речь». Читает ее быстро. Часто говорит то, что остановило в газете ее внимание.

Наташа раскрывает «Слово». Читает молча, медленно и внимательно.

Елена Кирилловна берет «Русские ведомости». Неспешно разрывает бандероль. Раскрывает на столе весь лист. Читает, быстро бегая глазами по строчкам.

XXX

Няня, кряхтя, медленно поднимается по ступенькам. Софья Александровна отрывается на минуту от газеты и смотрит на старуху испуганно. Наташа нервно вздрагивает и отвертывается. Елена Кирилловна читает спокойно, не глядя на няньку.

Нянька вздыхает, садится на скамейку у входа и спрашивает монотонно, — один и тот же вопрос каждый день:

— Казненных-то нынче сколько пропечатано? Повешено-то сколько?

Софья Александровна роняет газету, вскакивает и, вся бледная, смотрит на старую. Все ее тело дрожит мелкою дрожью. Елена Кирилловна складывает газету, отодвигает ее и смотрит прямо перед собою остановившимися глазами. Наташа встает, повертывается внезапно побледневшим лицом к старухе и говорит каким-то не своим, деревянным голосом:

— В Екатеринославе — семь, в Москве — один.

Или другие города и другие цифры, — то, что принесли свежие газетные листы. То, что они приносят нам каждый день.

Нянька поднимается со скамейки и крестится истово. Говорит:

— Упокой, Господи, души рабов Твоих! И сотвори им вечную память.

Тогда Софья Александровна вскрикивает отчаянно:

— Боря, Боря, Боря мой!

Лицо ее так бледно, что кажется, как будто бы ни одной кровинки не осталось под матовою, эластичною кожею. Судорожным движением сжимая руки, она с ужасом смотрит на Елену Кирилловну и на дочь. Елена Кирилловна отводит глаза в сторону и, глядя на старую няньку, качает укоризненно головою. Голова ее трясется, как и у старенькой няньки, а на глазах проступают, как ранние росинки вечером, скупые слезы.

Наташа упрямо смотрит на мать и говорит побледневшими, трясущимися губами:

— Мама, успокойся.

Вдруг голос ее опять становится холодным и деревянным, — и точно кто-то чужой и злой заставляет ее медленно, отчетливо произносить все те же каждый день слова:

— Ведь ты же знаешь, мама, что Борю повесили еще в прошлом году!

Смотрит на мать неподвижным, жутким взором слишком черных глаз и повторяет:

— Ты же это знаешь, мама!

Глаза у Софьи Александровны широко открыты, сухи, в них ужас, и глубокие пламенники в их слишком черной глубине горят безумно. Она повторяет беззвучно, глядя прямо в Наташины глаза:

— Повесили!

Садится на свое место, смотрит жуткими глазами на белую Афродиту и на алые розы у ее ног и молчит. У нее белое лицо и алые губы, лицо неподвижное, и губы крепко сжатые, в немигающем взоре ее черных глаз затаилось безумие.

Перед изваянием вечной красоты, перед благоуханием мгновенно-торжественных роз она каменеет образом вечной скорби неутешной матери.

XXXI

Елена Кирилловна тихо уходит по боковой узкой лесенке в сад. Садится на дальнюю скамейку. Смотрит на затянутую зеленою ряскою гладь пруда и плачет.

Наташа поднимается к себе в мезонин. Открывает книгу. Старается читать. Не читается Наташе. Она откладывает книгу и смотрит в окно, и глаза ее мертвы.

Над старым домом все выше и выше поднимается беспощадно-ясный Дракон. Радостным смеющимся кольцом веселого простора замыкает, как в пламенный круг, омраченную тоскою тишину старого дома. Меткие мечет лучи, как острые, оперенные стрелы, и дрожит от вечного, неистощимого гнева.

В старом доме тихо и тоскливо. Никого не ждут, никто не придет. Боря умер. Беспощадное колесо времени не знает поворота назад.

Так ясно, так светло свершается течение дня! Слитный белый свет говорит, что не на что надеяться.

XXXII

Наташа сидит в своей комнате у открытого окна. Книга лежит на подоконнике. Не хочется читать.

Каждая строка в книге напоминает о нем, о нескончаемых разговорах, о жарких спорах. О том, что было. О том, чего нет.

Воспоминания все ярче и наконец достигают ясности и полноты видения, представшего, чтобы очаровать душу.

Меркнет в небе ярый Дракон, — затмился свинцовою тучею. Меркнет и память о нем. Кажется, что в небе ходит холодная, ясная, безмятежно-тихая луна. Лик ее бледен, но не от печали. Лучи ее чаруют заснувшую землю и недостижимо-высокое небо.

Лунные чары в полях, в отуманенных долах. Матовым светом мерцают на спящих травах тихие, прохладные росы.

В их призрачном мерцании воскресает то, что погибло, — былая нежность и любовь, бросающая на подвиги сверх меры человеческих

сил. К устам опять восходят давно уже не петые, гордые гимны и обеты подвига и верности.

И что же из того, что подстерегает подстрекающий злой взор и с пылкими речами юности смешалась речь предателя! Горения любви дерзающей не угасят и воды холодных океанов, не отравят все земные лукавые отравы.

Очарованный лунною тайною лес чуток, мглисто-темен и молчалив. Непонятны и недоступны людям его медленные, неуклонные переживания и тайна его скованных желаний.

В его лунную тишину принесли люди буйство юной жизни, говора и смеха, — но, очарованные лунною тайною, вдруг примолкли и призадумались.

Полянка в лесу, завороженная зеленым, холодным лунным мерцанием, кажется белою. Обступившие полянку по краям тени деревьев такие неверные, и мглистые, и таинственно-тихие.

Луна медленно, словно крадучись, поднимается все выше по бледно-лазурному склону небес. Круглая, холодная, вся обернувшись в тонкую пелену молочно-белого тумана, она раздвигает своим бесстрастным ликом туманно-тихие вершины заснувших деревьев и смотрит на поляну немигающим любопытным взором белых глаз.

Матовая россыпь тихой росы на холодных травах поляны тает, — выпивает ее жадно белый ночной туман. Воздух сладок и томен. На край полянки выступает несколько тоненьких, стройных, белоствольных березок, сонно застывших, невинных, как девственные причастницы в зеленых с белым платьицах.

XXXIII

Под тонкими березками на поляне расположились несколько девушек, юношей, подростков. Кто сидит на пенечке срубленного дерева, на поваленном грозою стволе старой березы, кто улегся на разостланном по траве пальто, а кто к стволику березки прислонился спиною. Мигает одинокий, слабый огонек папироски и скоро гаснет.

В светлом, грезовом тумане все кажется белым, призрачным, сказочно-очаровательным. И, кажется, березки на поляне и луна на небе ждут чего-то.

Здесь Наташа. Подруга Наташина, московская курсистка, с остренькою беленькою мордочкою хорошенького, веселенького зверька. Боря и его товарищ, — два мальчика, оба худенькие и почему-то похожие один на другого, в полотняных курточках, с неживыми лицами нестеровских отроков, с горящими кругами темных глаз.

И еще один, высокий, плотный, в темной блузе. Он смотрит самоуверенно и кажется самым знающим, опытным и бывалым.

Его обступили подростки и девушки и упрашивают. Простодушно-радостные, нетерпеливые звенят голоса:

— Спойте, спойте нам «Интернационал».

Боря, мальчик с бледным, нахмуренным лбом, с иссиня-черными кругами около глаз, смотрит ему в глаза и упрашивает усерднее всех.

Высокий, плечистый Михаил Львович смотрит исподлобья и упрямо отказывается, не хочет петь.

— Не могу, — говорит он угрюмо. — Я сегодня что-то не в голосе.

Боря и Наташа настаивают.

Михаил Львович машет рукою и так же угрюмо говорит:

— Да ну, уж ладно.

Все рады.

Михаил Львович становится на колени. Над туманно-белою поляною, над белолицыми мальчиками, над белым туманом поднимаются к луне, тихо в небе ворожащей, слова гордого, страстного гимна: «Восстань, проклятьем заклейменный!»

Михаил Львович поет. Глаза его упрямо смотрят в землю, на холодные травы, белые в жутком свете полной, ясной луны. Точно он не хочет или не может посмотреть прямо в глаза этим девочкам и мальчикам, в эти доверчивые, чистые глаза.

А вокруг него столпились, — так близко, близко к нему приникли невинно-дышащие молодые девушки, мальчики стоят около него на

траве на коленях, наивно смотрят ему прямо в рот и тихонько подпевают. Растет, ширится гордая, отважная мелодия. Торжественным пророчеством звучат вещие слова:

В Интернасионале
Объединится род людской.

XXXIV

Михаил Львович допел до конца. Была минута молчания. Потом растроганные, взволнованные голоса, — все вместе зазвучали, колыша влажную лесную тишину.

Ясные девичьи глаза смотрят, не отрываясь, на угрюмо-склоненное лицо Михаила Львовича. Звонкий девичий голосок молит настойчиво и нежно:

— Еще пропойте, пожалуйста, милый. Повторите еще раз. Я запомню слова. Я хочу выучить их наизусть.

Наташа подходит и говорит тихо:

— Мы все выучим эти слова и будем петь их каждый день, как молитву. С верою будем петь.

Михаил Львович наконец поднимает глаза. Маленькие, блестящие, умные. Теперь они строго и пытливо уставились на вдруг смутившуюся от этого змеиного взора Наташу.

Михаил Львович говорит ей угрюмо:

— Ну, петь-то в лесу, втихомолку, не большая нужна храбрость. Всякий сумеет.

Наташа багряно вспыхивает. В глазах ее зажигаются черные огни недетской решительности. Она говорит слегка вздрагивающим голосом:

— Мы выучим слова и споем их там, где это будет надо. Боже мой, да разве одни у нас слова, только слова! Мы готовы на дело.

Боря повторяет за нею:

— Мы готовы. Мы исполним все, что надо. И, если понадобится, умрем.

Михаил Львович говорит со спокойною уверенностью:

— Ну я знаю.

В глазах его, упрямо прикованных к земле, горит тусклый огонек.

XXXV

Минута молчания. И опять звенит тоненький голосок. Говорит тоненькая, как березка, девушка с остреньким, веселеньким личиком:

— Боже мой! какая сила! какой пафос!

Михаил Львович неторопливо поворачивает к ней лицо. Угрюмо улыбается и молчит.

Девушка заломила на коленях руки. Ее поза удивительно красива. Лицо ее вдруг становится значительным, дышит усердною мольбою и пламенною решительностью. Она горячо восклицает:

— Давайте петь все хором! Все! Михаил Львович нас поучит. Правда, Михаил Львович? Поучите?

Михаил Львович с угрюмою важностью соглашается:

— Ладно.

Он обводит тесный круг восторженных детей тусклым, тяжелым взором. Он один сидит спиною к поляне и чарующей в небе луне. Его лицо кажется темным и оттого еще более значительным. Все, что исходит от него, носит теперь печать особой угрюмой торжественности.

А лица детей в лунном свете белы. Одежды их лунно-светлы. Голоса их лунно-прозрачны. В их простодушной доверчивости есть нечто обреченное.

Тоненькая девушка, волнуясь, восклицает:

— Ну, начинаем!

Михаил Львович торжественным, тяжелым движением поднимает руку и начинает: «Восстань, проклятьем заклейменный!»

Девушки и мальчики благоговейно поют, сливая свои звонкие, чистые голоса с гудящим низко голосом Михаила Львовича. Жарким восторгом восстания и освобождения пылают их юные голоса. Выше, выше, выше белых туманов и темного леса, к облакам серебристым,

к мерцающим тихо звездам, к луне ворожащей восходят призывные звуки гимна.

И белоствольные кудрявые березки, и молочно-белая застывшая в холодном небе луна, и белая, серебрящаяся, примятая детскими коленками трава, — все тихо, все молчит и слушает чутко. Все окрест чутко и торжественно слушает, как эти дети, светлые, облитые прозрачным серебром холодного лунного мерцания, склонив на траву колени, подняв к пустынно-ясному небу горящие темными кругами на бледных лицах глаза, поют, повторяя слова вслед за высоким, слишком полным молодым человеком, лицо которого темно и взоры упрямо прикованы к земле. Повторяют:

В Интернасионале
Объединится род людской!

Чужестранное, нерусским звуком взятое слово звучит, как высокое, святое наименование обетованной земли. Новой земли под новыми небесами. Земли, в которую верят, земли, без благочестивой мечты о которой и жить нельзя.

Когда замолк гимн, от земли до небес простерлось молчание, святое и торжественное. Как в храме нового, неведомого культа, в таинственный миг жертвоприношения.

XXXVI

Михаил Львович первый нарушает тишину. Он говорит медленно, ни на кого не глядя, устремив тяжелый взор поверх детских бледных лиц, за пламенный круг их взоров:

— Друзья, вы знаете, какое теперь время. Каждый из нас может понадобиться. Если кого-нибудь из нас пошлют, то, надеюсь, никто из нас не будет дрожать за свою драгоценную жизнь; никто не разжалобится мыслью о маменькином горе.

Дети восклицают:

— Никто! никто! Только бы послали!

И Наташа думает гордо: «Что же горе одной матери в сравнении со страданиями целого народа!»

На мгновение встает в памяти матово-бледное лицо матери и ее слишком черные, вещие глаза. Острая боль мгновенно пронзает сердце. Но что ж! ведь это только один миг слабости. Гордая воля победит это малое страдание об одной близкой великою любовью ко многим далеким, но тяжко страдающим.

Что же горе одной матери! Пусть Ниобея вечно плачет о детях своих, умерщвленных жгучими, отравленными стрелами высокого Дракона, пусть Рахиль никогда не утешится, — что же горе бедной матери! Безоблачен Аполлонов лик, светел Аполлонов сон.

Но больно, больно! Меркнет милая мечта, словно темный лик рокового человека, запевавшего гордый гимн, затмил ворожащую в небе луну и на самое сердце бросил угрюмую тень.

И нет луны, и нет ночи, и нет белой полянки в тумане в лесу. Снова ясный день перед Наташею, и она у окна, и перед нею книга, и старый дом молчит опять тоскливо. Рассеялась туча, снова небо ясно, — брызнули пламенные стрелы злого Дракона, снова о торжестве своем говорит победитель!

Навстречу тоске беспощадной! Жаль, жги, мучь, проклятый Дракон! Торжествуй, победитель! О, скоро и ты склонишься к закату и обольешь опять полнеба жаркою кровью, умирая на закате!

XXXVII

Наташа надевает соломенную желтую шляпу и идет в поле. Земля горяча, небо сине, воздух зноен, ветер спит, нивы желты, травы зеленеют. И опять, утопая в ярком зное, Наташа будит в себе сладкую истому воспоминаний, радующих забвением этого темного дня.

Идет, — и перед нею, как и тогда, то же раскинулось колеблемое жарким ветром золотое, жаркое поле. Воскрес давно пережитый, душный, знойный полдень.

Воскрес...

То было в дни, когда еще Наташа так любила это милое светило. земное, наше солнце, источник жизни и радости, вечный, неутомимый зов к трудам и подвигам, к подвигам свыше сил человека.

О, предательская речь искусителя Змия! Дурманит, и манит, и сказочною страною кажет бедную землю нашу. Зачем?

Зыбкое опять перед Наташею стелется море застывших от жары колосьев и синеньких, миленьких цветочков, застенчиво склонивших перед беспощадным Драконом свои сладко-затуманенные знойными грезами головки.

Наташа и ее брат Борис идут вдвоем. Межа тесна. Это их радует почему-то. Не потому ли, что межу обступили золотые волны ржи?

Такая высокая рожь! Из-за ее колосьев едва виднеется вправо зеленая кровля старого дома, и полукруглое окно в мезонине, и слева маленькие деревенские избы, серенькие, мохнатые.

Наташа и Борис идут друг за другом. Колышутся вокруг них шуршащие сухо стебли ржи, колышутся васильки синеглазые. Колышутся во ржи два тоненькие, хрупкие силуэта.

Наташа идет впереди. Борис отстал. Наташа оглядывается.

Мальчик, смуглый, тоненький, с горящими кругами глаз, в полотняной курточке, рвет синие цветочки. И уже большой сноп их едва держится в его руках.

XXXVIII

Наташа смеется и говорит брату:

— Довольно, милый, довольно. Я их не смогу и в руках держать.

Весело отвечает Борис:

— Удержишь, ничего!

Наташа протягивает свою загорелую руку и берет от него цветы. Она тоненькая, и сноп синеньких васильков раскинулся на ее груди, совсем закрыл ее, — такая тоненькая с этим громадным снопом в руках!

Весело спрашивает Борис:

— Ну что, тяжело?

Наташа смеется. Лицо ее светится благодарною радостью и веселою, детскою решительностью. Говорит:

— Уж донесу эти-то, но и довольно.

Борис говорит упрямо:

— Я хочу нарвать тебе как можно больше. Ведь мы, может быть, не скоро увидимся.

Голос его при этих словах печально вздрагивает.

Наташа говорит задумчиво:

— Может быть, никогда.

Их лица становятся печальны и озабочены.

Борис, хмурясь, смотрит в сторону и спрашивает:

— Наташа, ты с ним едешь?

Наташа знает, что Борис спрашивает ее о Михаиле Львовиче, — о том человеке, который теперь посылает ее на опасное дело, который потом пошлет и Бориса на безумно-дерзкий подвиг. Что ж! Безумство храбрых!

И Наташа отвечает:

— Нет, одна. Он только потом проводит меня до места.

Борис смотрит на Наташу грустными, завидующими глазами и осторожно спрашивает:

— Страшно, Наташа?

Наташа улыбается. Такая гордость в ее улыбке! Говорит спокойно:

— Нет, Борис. Радостно.

Борис видит, что лицо ее радостно и глаза, черные, пламенные, веселы. Он смотрит на нее, и ее спокойствие сообщается и ему, — спокойная уверенность в себе и в деле.

Безумство храбрых!

Дети идут дальше. Борис опять рвет васильки. Наташа мечтает о чем-то, — сорвала колосок, задумчиво жует зернышко.

XXXIX

Длится жаркий, знойный день. Неумолимый равнодушно глядит на детей Дракон. Он мечет без устали свои острые, багровые стрелы на смуглолицего отрока с пламенными кругами глаз и на девушку, стройную, тоненькую, черноглазую. Жгучие стрелы его метки и злы, и свет его беспощадно ровен, — но она идет, и в глазах ее надежда, и в глазах ее решительность, и в черных глазах ее горит огонь, на котором пламенеет душа к подвигу свыше сил человека.

Наташа вдруг останавливается в конце межи у пыльной дороги. С нежным любованием смотрит на Бориса. Словно хочет она запомнить покрепче все эти милые черты родного смуглого лица, — излом густых бровей, упрямую сжатость румяных губ, твердый очерк подбородка, строгий профиль.

Вздыхает Наташа легонько. И говорит Борису нежно и весело:

— Довольно, милый. А то меня с таким ворохом, пожалуй, и в вагон не впустят. Скажут, сдавайте в багаж.

Смеются оба беззаботно. А Борис все-таки не может оторваться от васильков. Говорит:

— Еще, еще только немножко. Я хочу, чтобы у тебя букет был гигантский.

Шутит Наташа:

— Тебе бы все гигантское!

Но уже не смеется. Знает, как это в нем глубоко и значительно.

Борис смотрит на нее и отвечает, повторяя любимую, задушевную свою мысль:

— Да, это правда, я люблю все такое огромное, чрезмерное. Во всем, во всем! Если бы мы всегда поступали так! Так отдавались бы всецело! О, как иначе сложилась бы тогда вся жизнь!

Наташа задумчиво повторяет:

— Чрезмерно, свыше сил человека, расточать, расточать жизнь. Только бы не скупость, только бы не дрожать над своим, — лучше умереть, всю жизнь собрать в один узелок и бросить!

— Да, да! — говорит Борис, и глаза его, черные как ночь, пылают далекою грозою. — Не жалеть жизней, расточать их, расточать без конца, только так можно достигнуть высокой нашей цели!

Перешли через дорогу, опять идут тихо по узкой меже, и одежды их белы среди золотых волн. Наташа протягивает тонкую руку, — шуршат сухо колосья, и тяжелые в загорелую руку падают зерна спелой ржи.

Реют над детьми багровые стрелы неумолимого Дракона.

Дети идут, обреченные оба. Доверчиво идут, и не знают они, что посылающий их — предатель и что цена их крови ничтожна.

XL

Что же это шуршит вокруг так хрупко? Сегодняшняя рожь. А где же васильки и Борис? Васильки во ржи, синеокие, а Борис повешен.

— А я? — в странном, тяжелом недоумении спрашивает сама себя Наташа.

Озирается кругом, как разбуженная.

— Как же я?

Сама себе отвечает:

— А я уцелела. Меня счастливый случай спас.

Так тяжело Наташе думать об этом. Как можно пережить!

— Лучше бы я погибла!

Так просто это вышло. Наташу поставили третьим номером, у самого вокзала, на случай неудачи первого и второго. Но справился первый, хотя и сам погиб от взрыва.

Второй, услышавши невдалеке от себя взрыв, совсем растерялся. Бросился спасаться. Сел на извозчика. Доехал до реки. Нанял лодку. На середине реки бросил бомбу в реку. Лодочник догадался, что дело неладно. Да и увидели с казенного парохода и с берега. «Второго» взяли, судили и повесили.

Наташа ничем не выдала себя. Ушла спокойно, не торопясь, со своею опасною ношею, никем не замеченная. Вмешалась в общий поток прохожих, озабоченных каждый своим делом. Сдала бомбу, куда было назначено.

Через несколько дней она уехала домой. За нею не следили.

Наташа ждала другого поручения.

И вдруг как-то отошла от этого дела, потому что погибла вера в него.

Это случилось еще до того, как Борю повесили. Разрешилось окончательно в те кошмарные дни, когда неожиданно и быстро была оборвана его жизнь.

Ужасные дни.

Но нет, не надо о них думать, не надо их вспоминать. Вспоминая, казнишь себя.

Лучше будить память о другом, безоблачном, прошлом.

XLI

Волшебное зеркало памяти, в тебе отражено так много! Мелькают милые картины.

Цветы, за которыми они сами ухаживали. Грядка, над которою возились так любовно. Свежий, томный, вечерний дух левкоя. Влажный по заре от росы куст жасмина, от которого пахнет так сладко, так нежно, что хочется плакать, как плачет росою трава по заре золотой!

Площадка в саду. Столб, гигантские шаги. Как быстро, как высоко взлетали они с Борисом!

Милые детскому сердцу праздники. Сочельник, — елка со свечами на зеленых веточках, с разноцветным блеском золотых орехов, красных, зеленых, голубых подвесок, фольги, белого ватного снега; подарки, всегда неожиданно-радостные. Днем, — снег настоящий, хрупкий, блестящий, как соль; мороз щиплет щеки, солнце красно, рукавички пушисты, шапочки белы и мягки, салазки мчатся с горки, — ух!

А вот наступает Пасха. Торжественная ночь. Заутреня. Радостное пение. Огоньки свеч, огоньки без конца. Пахнет куличами. Разноцветно расписанные яички. Поцелуи со всеми. Все рады.

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

А дорогие сердцу покойники мертвы. Нет. Милые, наивные воспоминания не перебьют рокового круга, воскрешения тех же смутных, отрывочных, страшных воспоминаний. Неудержимо влечется мечта к страшным, последним минутам.

XLII

Жили в столице зимою. Борис учился в последнем классе гимназии. На Святках уехал в другой город. Сказал, к родственникам.

Наташа догадалась было. Но он не сказал правды.

— Право, ничего, — отвечал он на все ее расспросы. — Никто меня не посылает. Сам еду. К тете Любе.

Да Наташа и не настаивала.

И вот несколько дней не было от него писем. Но дома не беспокоились. Борис не любил писать. Думали, что веселится и некогда.

Был вечер в начале января. Мать и бабушка были в гостях, Наташа осталась дома. Сказала, голова болит.

— Полежу на диване. Пройдет.

А настоящая была причина, — не хотелось ехать в этот скучный дом к чопорным светским родственникам.

Прислуга тоже отпросилась в гости. Наташа осталась в квартире одна. Легла у себя на диване. Взяла новую, интересную книжку. Читает.

После нескольких дней праздничного веселья и всякой иной суеты Наташа чувствует себя славно. Уютно, спокойно, легко. Занавески на окнах непроницаемо-плотны. Лампа горит весело и ровно, под бисерною бахромою абажура скрывая от глаз ярко-раскаленные, молочно-белые перегибы своих тонких в стеклянной груше ниточек. Вся небольшая комната тонет в светлой зелено-розовой тени.

Страница за страницею, — ровные строки, ровная речь, — утомляют наконец Наташино внимание. Наташа дремлет. И засыпает. Раскрытая книга с мягким шумом падает на ковер и в неровной измятости страниц забывает, где была раскрыта.

XLIII

Вдруг звонок. Наташа встрепенулась.

Наши? Нет. Звонок прозвенел так неуверенно, так робко. Казалось, что это во сне услышала звонок, не наяву, или кто-то маленький и проказливый шалит несмелою рукою.

Или послышалось?

Так дремлется. Лень встать. Пусть звонят.

Но вот и второй звонок, настойчивее, громче. Наташа вскакивает и бежит в переднюю, оправляя на бегу смявшуюся на валике дивана прическу.

Двери не открывает, вспомнив, что она в квартире одна, и спрашивает:

— Кто там?

Из-за двери слышится негромкий, сиплый голос, словно простуженный, — почтальонский голос:

— Телеграмма.

Забилось сердце боязливо. Так страшно всегда получать телеграммы. Не торопятся только хорошие вести, — злые спешат.

Наташа вложила в узкое железное ложе плоский конец дверной цепочки. Приоткрыла дверь, смотрит. Посыльный с телеграфа, — башлык, бляха на фуражке, заледенелые, обвислые усы, высокий, сутулый, тощий. Сует телеграмму. Просит:

— Расписочку, барышня.

В Наташиной руке дрожит крохотный сверточек серовато-белой бумаги. Наташино сердце вдруг упало, захолонуло. Наташа говорит бессвязно:

— Что там? Боже мой! Расписку?

Бежит к столу. Руки дрожат. Едва вывела фамилию «Озорева» на серой бумаге, по которой скребет и царапает перо.

— Возьмите, вот расписка.

Сунула через цепочку в руки посыльного расписку и на чай. Захлопнула за ним дверь. Бежит к лампе. Что такое?

Разорвала сбоку ленточку, читает. Страшные слова. Такие простые и такие непонятные. Потому что о Борисе.

«Борис стрелял... Арестован вместе с товарищами. Завтра военный суд. Грозит смертная казнь».

XLIV

Наташа перечитывает телеграмму. Быстрый ужас, странно похожий на стыд, мгновенно сжимает ее сердце. Она слышит тяжелое стучание крови в своих висках. Точно давит что-то со всех сторон, и тяжело дышать, и словно железные воздвиглись отовсюду вокруг нее стены и все сдвигаются, — торопливые, бледные, карандашом брошенные на серую бумагу строчки.

Вот медленно, одна за другою, втесняются в Наташино тусклое сознание мысли, тяжелые, злые, беспощадные.

Тупо думает Наташа о том, как сказать об этом маме. Замечает, что дрожат руки. Вспоминает номер телефона Ларевых, где теперь должна быть мама.

Вдруг снова ужас, как лихорадочный озноб, потрясает ее всю с ног до головы. В голове яркая сумятица мыслей.

Нет, это ошибка! Этого не может быть! Безумная, жестокая ошибка! Чья-то бессмысленная, грубая шутка.

Борис, наш милый мальчик, с такими правдивыми глазами, — его повесят! Он захрипит, задыхаясь, качаясь в петле. Тугою острою болью сожмется детская нежная шея, побагровеет смуглое лицо, и, весь в пене, изо рта выползет распухший язык, и широко раскрытые глаза отразят ужас жестокого умирания.

Нет, нет, этого не может быть! Это ошибка! Но кто же так злобно ошибается?

И где же Борис?

Холодное сознание говорит, что это так, что нет никакой ошибки. Слова ясны, адрес верен, — да, да! Ведь этого и надо было ждать. Вот это же и есть то расточение жизни, о котором он мечтал, — о котором мечтали они оба.

— Люблю все безмерное. Расточать жизнь, — только так достигнем высокой нашей цели.

Ноги дрожат. Все тело точно опустелое. Наташа садится на диван.

Господи, что же это? Как же сказать об этом ужасе маме?

Или скрыть? Самой сделать, что можно? Да нет, что она может сделать одна!

Надо сказать. Скорее, скорее. Нельзя медлить ни минуты. Может быть, еще можно спасти Бориса, ехать, просить.

Что же она сидит! Надо действовать, скорее.

XLV

Наташа бросилась к телефону. Как долго не отвечает станция!

Наконец соединили. Слышна музыка, шум голосов.

Веселый знакомый голос спрашивает:

— Кто у телефона?

— Это я, Наташа Озорева.

— А, здравствуй, Наташа, — болтает звонко Маруся Ларева. — Как жаль, что ты не пришла. У нас превесело.

— Здравствуй, милая Маруся. Мама у вас?

— Да, да, у нас. Позвать ее?

— Нет, нет, ради Бога. Скажите ей кто-нибудь осторожнее...

— Что-нибудь случилось?

— Маруся, у нас страшное несчастие. Нашего Бориса арестовали.

— Боже мой! Да за что же?

— Не знаю. Военный суд. Я в отчаянии. Такой ужас! Ради Бога, не испугайте сразу маму. Пусть она едет домой, скорее, пожалуйста.

— Ах, Боже мой, какое горе!

— Маруся, милая, ради Бога, скорее.

— Сейчас я скажу своей маме. Подожди, Наташа, не отходи от телефона.

Стоит Наташа с телефонною трубкою, прижатою к уху, ждет. Слышит шум шагов. Кто-то запел.

Опять тот же голос, взволнованный очень:

— Наташа, ты слушаешь? Твоя мама сама хочет с тобою говорить.

Наташа дрожит от страха. Мама, Боже мой! Переспрашивает:

— Что? сама хочет говорить?

— Да, да. Я передаю трубку твоей маме.

XLVI

Слышен голос Софьи Александровны, весь разорванный страшным беспокойством:

— Наташа, это ты? Ради Бога, что случилось?

Наташа отвечает:

— Да, мама, это я. Пришла телеграмма. Мама, ты не бойся, это, должно быть, какое-то недоразумение.

Слышен упавший голос:

— Прочти мне сейчас телеграмму.

— Сейчас принесу, — говорит Наташа.

Принесла телеграмму, прочла.

— Что? военный суд?

— Да, военный.

— Завтра?

— Да, да, завтра.

— Казнят его?

— Мама, ради Бога, не волнуйся. Может быть, можно что сделать.

— Мы туда едем. Наташа, собирайся. Сейчас мы с мамою вернемся домой и выедем с первым поездом.

Отбой.

Наташа одна. Мечется по пустой квартире. Собирает что-то, роняя вещи в чуткой тишине. Возится с чемоданами, с подушками.

Да, надо посмотреть, когда поезд. Половина первого. Ну, еще успеем на ночной.

Звонок, испугавший еще больше того, первого. Это приехали мама и бабушка, обезумевшие от бледного ужаса.

XLVII

Бессонная, томительная ночь в вагоне. Стук колес, скрежещущий, мерный. Остановки. Так все медленно! Такая тоска! О, скорее, скорее!

Или желать лучше, чтобы застыло время? чтобы окоченели его распростертые над миром мохнатые крылья? чтобы немигающим навеки остановился его совиный взор на том мгновении, когда еще не сказано страшного слова?

Приехали наконец днем. На вокзале, унылом и грязном, их встретил Наташин двоюродный брат, молодой присяжный поверенный. По его бледному, растерянному лицу поняли, догадались, что все кончено.

Говорит много, но бессвязно. Утешает надеждами, в которые сам не верит.

Суд уже был, рано утром. Борис и оба его товарища, — все такая же зеленая молодежь, — приговорены к смертной казни через пове-

шение. Кассационная жалоба не будет допущена. Вся надежда на местного генерала. Он, в сущности, не злой человек. Может быть, удастся вымолить у него облегчение участи, — каторгу без срока.

Бедные матери, о чем они молят!

XLVIII

Поехали к генералу Софья Александровна и Наташа. Долго ждали в пустынном, тихом зале, где блестел лощеный паркет, висели портреты в золотых рамах и гулки были осторожные шаги мужчин в мундирах, выходивших время от времени из огромной белой двери.

Наконец приняли. Генерал любезно выслушал и решительно отказал. Встал, звякая шпорами, вытянулся во весь рост, — стройный, высокий, с грудью, увешанною орденами, с седыми волосами, красным лицом, черными бровями и широким носом.

Напрасны унизительные мольбы.

Мама, бледная, гордая мама стояла на коленях перед генералом, целовала, плача горько, его руки, в ногах валялась, — напрасно. Холодный ответ:

— Простите, сударыня, не нахожу возможным. Понимаю вашу скорбь, вполне сочувствую вашему горю, но что же я могу? Кто же в этом виноват? На мне лежит тяжелая ответственность перед престолом и отечеством. Долг службы, — ничего не могу. Пеняйте сами на себя, — вырастили.

Что же слезы бедной матери! Бейся на холодном паркете головою о черный блеск его сапог или уйди гордо и молча, — все равно, он ничего не может. Твои слезы и мольбы его не тронут, твои проклятия его не оскорбят. Он — добрый человек, он — любящий отец семейства, но его прямая солдатская душа не трепещет перед словом «смерть». На войне он дерзко бросал свою жизнь навстречу смертным опасностям, — что же ему смерть крамольника?

— Но ведь он совсем мальчик!

— Нет, сударыня, это не детская шалость. Простите.

Уходит. Мерно звякают шпоры. Паркет смутно отражает высокую, стройную фигуру.

— Генерал, сжальтесь!

Холодная, белая дверь захлопнулась. Тихий, любезный говор молодого офицера. Поднимает, помогает уйти.

XLIX

Дали свидание. Несколько минут промчались в сумятице вопросов, ответов, объятий, слез.

Борис почти ничего не говорил.

— Ты, мама, не плачь. Я не боюсь. Ну они иначе не могут. Кормят здесь недурно. Кланяйтесь родным. А ты, Наташа, береги маму. С нашей семьи довольно. Ну, прощайте.

Какой-то был равнодушный и далекий. Казалось, что думал о чем-то ином, о чем не говорят никому. И звучали его слова, как внешние, так, для разговора.

Ночью перед рассветом Бориса повесили. Казнили его в тюремной ограде. Неведомо где зарыли.

Мать молила на другой день:

— Покажите мне хоть могилу!

— Какая ж могила! В гроб положили, в землю зарыли, насыпь с землею сравняли, — известно, как казненных хоронят.

— Хоть скажите, как умер.

— Что ж, молодцом. Спокойно, серьезно. А вот от священника отказался. И креста не целовал.

Так и вернулись домой. Туман тоски навис над ними. А под ним безумная зажглась надежда, — нет, Боря не умер, Боря вернется.

L

Мысль о том, что Бориса повесили, не могла войти в круг будничных, привычных мыслей. Только в зенитный солнечный час да еще в лунную полночь она острым кинжалом врезывалась вдруг в раз-

буженное сознание. И опять пронзала душу острою, нестерпимою болью, и опять по заре с тупым туманом тусклой тоски уходила прочь. И опять возникала безумная уверенность.

Нет, Боря вернется. Вот звякнет звонок, откроют дверь.

— А, Боря! Где ты пропадал?

Как мы его расцелуем! Новостей сколько!

— Где пропадал, там нету. Пропадал и нашелся, как блудный сын.

Сколько радости будет!

А старенькая нянька плачет неутешно. Причитает:

— Борюшка, Борюшка, ненаглядненький мой! Я ему говорю: я, Борюшка, в богадельню пойду. А он мне: не хочу, говорит, нянечка, не пущу тебя в богадельню, я тебя, говорит, возьму к себе, старенькая, дай мне только вырасти, живи, говорит, у меня. Борюшка, да что же это!

Утром пошла старая няня в переднюю. Видит, — чье это серое пальто на вешалке? Борино, гимназическое. Разве он сегодня не пошел в гимназию?

Идет в столовую, шамая мягкими туфлями.

— Наташенька, да что это, Борюшка дома? Смотрю, пальто на вешалке. Или болен?

— Нянечка! — восклицает Наташа.

И с испугом смотрит на мать.

Вспомнила старенькая няня. Плачет. Трясется седая голова в черной повязке. Причитает старая:

— Пошла, смотрю, пальто на вешалке. Борюшкино пальто, в гимназию ходил Борюшка, думаю, с чего дома? не праздник. Борюшка, — нет Борюшки моего!

Все громче вопли. Упала старая, бьется на полу.

— Боречка, Боречка, родненький! Господи, меня бы, старую, прибрал вместо него. На что мне жизнь! Брожу, ни себе, ни людям радости.

Наташа бледные шепчет слова:

— Нянечка, милая, успокойся.

— Успокой меня ты, Господи! Господи, чуяло, чуяло мое сердце. Сны все снились нехорошие. Сбылись черные сны! Боречка, родной!

Бьется, плачет старая. Наташа просит мать:

— Мамочка, ради Бога, вели убрать с вешалки Борино пальто.

Софья Александровна смотрит на нее пламенно-черными глазами и говорит угрюмо:

— Зачем? Пусть висит. Вдруг оно ему понадобится.

О ненавистные воспоминания! Пока царит на небе злой Дракон, никуда не уйдешь от них.

Наташа мечется, не находит себе места. В лес пойдет, — о Борисе думает, о том, что он повешен. К реке пойдет, — о Борисе думает, о том, что его нет. Вернется домой, — и стены старого дома о Борисе напоминают, о том, что он не вернется.

Бледною тенью ходит по аллеям сада мать, выбирая места, где гуще тень. Сидит на скамеечке бабушка, прямая, как молоденькая институтка, и дочитывает газеты. Все то же каждый день.

LI

Но вот уже вечереет. Солнце низко и багрово. Оно смотрит людям прямо в глаза, словно, издыхая, о жалости молит. От речки веет прохладою и смехом белых русалок.

Развеваются весело подолы рубашек у мальчишек, бегающих шумною толпою, и пузырями надуваются их рукава. Где-то вдали пиликает хриплая гармоника, и песня льется развеселая. В поле громко скрипит коростель, и скрип его похож на зычный генеральский храп.

Старый дом опять расправляет и раскидывает далеко свои смятые грубым днем темные тени. Окна его загораются заревою алою радостью.

Томно пахнут в далеких аллеях левкои. Розы по заре еще розовее и благоуханнее. Вечная, розовея нагим мрамором дивного тела, снова улыбается Афродита, роняя одежды движением, пленительным, как прежде.

И опять все, как прежде, к милым, безумным надеждам устремлено. Изнеможенная в пылании дня, тоскою ясного дня измученная душа истощила всю свою волю к страданиям и падает из железных объятий тоски на темную, милую землю былой жизни, вновь орошенную мечтательно-прохладною росою.

И опять, как по заре утром, ждут своего Бориса три женщины в старом доме, на краткое время счастливые в своем безумии.

Ждут и говорят о нем, пока из-за деревьев темного леса не поднимет своего вечно-опечаленного лика холодная луна. Мертвая луна над белым саваном тумана.

Тогда они опять, все трое, вспоминают о том, что Боря повешен, и сходятся к затянутому ряскою пруду плакать о нем.

LII

Прежде всех выходит из дому Наташа. На ней белое платье и черный плащ. Ее черные волосы прикрыты легким черным платком. В ее слишком черных глазах затаились глубокие пламенники. Она стоит, обратив к луне бледное лицо. Ждет остальных двух.

Елена Кирилловна и Софья Александровна приходят вместе.

Елена Кирилловна выходит из дому раньше, но Софья Александровна бежит за нею и уже у самого пруда ее догоняет. На них черные плащи, черные платки на головах и черные башмаки.

Наташа говорит:

— В ночь перед казнью он не спал. Луна, такая же ясная, как теперь, смотрела в узкое окно его камеры. На полу его камеры она печально чертила зеленый ромб, пересеченный вдоль и поперек узкими черными чертами. Борис ходил по камере, глядел то на луну, то на зеленый ромб и думал. Я бы хотела знать, о чем он думал в эту ночь?

Так спокойно звучит ее вопрос. Как о чужом.

Софья Александровна порывисто ломает руки и говорит, и голос ее трепетен и напоен тоскою:

— Что можно думать в такие минуты! Вот луна светит, давно уже мертвая. Пять шагов от двери до окна, четыре шага поперек. Мысль прыгает лихорадочно с предмета на предмет. О том, что завтра утром казнь, стараешься не думать. Упрямо гонишь эту мысль. А она стоит, не отходит, давит душу тяжким, уродливым кошмаром. Тоска томит неодолимая. Но не надо, чтобы мои тюремщики и все эти чи-

новники, которые придут, заметили мою тоску. Буду спокоен. Такая тоска, — завыл бы, к бледной луне поднимая бледное лицо!

Елена Кирилловна шепчет тихо:

— Страшно, Сонюшка.

В ее голосе слезы, — простодушные, старухины, бабушкины слезы.

LIII

Софья Александровна, не слушая, продолжает:

— Зачем-то надо, чтобы я шел на казнь смело и решительно. Но не все ли равно? Казнят за оградою, в темной ночи. Умру ли я смело? буду ли малодушно рыдать, молить пощады, отбиваться от палача, — не все ли равно? Никто не узнает, как я умер. Перед лицом моей смерти я один. Зачем же терпеть мне эту дикую тоску? Завою, зарыдаю, всю тюрьму переполошу моим отчаянным воплем и город разбужу, свободный, но так же скованный, как и моя тюрьма, — чтобы не один я томился, чтобы и другие приобщились к моему предсмертному томлению, к последнему ужасу моему. Но нет, не надо. Моя судьба, — умру один.

Наташа встает, дрожит, сжимает своею рукою холодную руку матери и говорит:

— Мама, мама, это ужасно, если один. Не надо, чтобы он чувствовал себя одиноким. Будем с ним.

Елена Кирилловна шепчет:

— Да, Сонюшка, это страшно, если один. В такие минуты!

— Мы с ним, — настойчиво повторяет Наташа. — Мы уже с ним.

На губах Софьи Александровны улыбка, подобная той, которою умирающий встречает свое последнее утешение. Софья Александровна говорит:

— Последнее утешение, мысль, что я не один. Они со мною. Эти стены призрачны, эта тюрьма — воздвигнутая людьми ложь. Не ложно и не призрачно страдание мое, и в тоске моей я соединен с ними. Бедное утешение! Все-таки я, вот этот я, особенный, сам для себя родившийся Борис, я умираю.

— Я умираю, — повторяет Наташа.

Ее голос темен и звучит отчаянием. И все трое молчат недолго, объятые очарованием трогательных слов.

LIV

Опять говорит Софья Александровна. Голос ее кажется спокойным и звучит неторопливо, мерно:

— Нет никакого утешения для умирающего. Тоска его неодолима. Холодная луна мучительно томит его. Из его горла рвется стон, подобный дикому вою плененного зверя.

Тоскливо говорит Наташа:

— Но он не один, не один. Мы же с ним в его тоске.

Ее глаза, — они чернее черной ночи, — поднимаются к неживой в небесах луне, и зеленая чародейка отражается в них, и томно мучит.

Софья Александровна улыбается, — и улыбка ее мертва, — и голосом неутолимого горя говорит опять медленно и тихо:

— Мы с ним только в его безнадежности, в его жалкой безутешности, в его темном одиночестве. Один, один, он был задушен рукою наемного палача, задушен за страшною оградою, которой нам не разрушить. И мертвая луна томила его, как она и нас томит. Искушала она его безумною жаждою диких воплей, звериного, предсмертного воя. А мы теперь, в этот час, под этою луною, разве мы не томимся тою же безумною жаждою, — бежать, бежать далеко от людей, и стонать, и рыдать, и метаться от невыносимой тоски!

Она встает порывисто и идет, ломая прекрасные белые руки. Идет быстро, почти бежит, словно гонимая чужою бешеною волею. Наташа идет за нею неторопливою, но быстрою, отчетливо-мертвою походкою автомата. А за ними торопится, роняя скупые слезинки на черный плащ, Елена Кирилловна.

Луна внимательно и равнодушно смотрит на их поспешное шествие через сад, через поле, в тот лес, на ту тихую полянку, где когда-то дети пели гордый гимн, где когда-то к безумным подвигам

звал их тот, кто собирался продать их за сходную цену, — юная кровь за золото.

В полях росисты травы. Над речкою бел туман. В небе луна ясна и холодна. Так везде тихо, точно в мертвом лунном свете потонули все земные шорохи и шумы.

LV

Вот и поляна. Наташа, помнишь? Как дружно пели!

«Восстань, проклятьем заклейменный».

Наташа, споешь? Не страшно?

— Спою, — кому-то тихо отвечает Наташа.

Поет тихонько, почти про себя. Слушает мать, и бабушка слушает, а березкам, и травам, и ясной луне какое дело до людских песен?

В Интернасионале
Объединится род людской[1]

Замолкла. Тихо в лесу. Луна ждет. Туман задумчив. Березки чутки. Небо ясно.

Ах, вся эта жизнь для кого? Кто зовет? Кто отзовется? Или все это — мертвая игра?

Громким воплем зовет мать:

— Боря, Боря!

Заливаясь слезами, отвечает Елена Кирилловна:

— Боря не придет. Его нет.

Наташа протягивает руки к неживой луне и кричит:

— Бориса повесили!

Они все трое становятся рядом, смотрят на луну и плачут. Все громче и отчаяннее звучат их рыдания. Их стенящие вопли переходят наконец в протяжный, дикий вой, слышный далеча окрест.

Собака у избушки лесника настораживается. Дрожит всем худым телом, подняла ухо, взъерошила редкую шерсть. Встала, вытянулась на сухих лапах. Острая морда с оскаленными зубами поднята к му-

чительной луне. Глаза горят тоскливыми огнями. Собака воет, вторя далекому плачу женщин в лесу.

Люди спят.

Золотая лестница

I

Со времени смерти матери Леонид не мог и не хотел утешиться. Над ним тяготела неотступная печаль, такая несвойственная его возрасту, — ему только на днях исполнилось пятнадцать лет. Прошло уже несколько месяцев с того дня, когда по талому снегу истлевающей зимы погребальная колесница двигалась медленно от большой лестницы старого прадедовского дома по старой березовой аллее, сопровождаемая толпою родных, друзей и знакомых, колесница черная с белым, матовая и страшная, увозя бездыханное в тесном гробу тело его милой мамы, — и все еще, как первый день смертной скорби, смутен и грустен был Леонид, и ничему не улыбнулся, и не обрадовался ни разу ничему. Ничему!

Каждый день рано утром спускался он в сад по каменной широкой лестнице и садился на скамье, поставленной на ее нижней площадке. Смотрел на эту высокую серую лестницу, по которой так медленно и печально несли тогда черные люди белый гроб, — смотрел, вспоминал, мечтал о чем-то грустном. Когда было необходимо заняться чем-нибудь, он с тоскою и неохотою оставлял свое любимое место и потом опять торопился к подножию высокой лестницы.

В полугоре стоял старый, большой дом, — он теперь, вместе со всем этим имением, принадлежал Леониду. Каменная, длинная лестница вела от него вниз, к аллее старых берез и к весело зеленеющему саду. Из серого камня были вытесаны столбики ее перил, и она лежала на горе, холодная и печальная. Там, наверху, где была терраса у входа в дом, еще не кончалась она, загибала на левую сторону дома и поднималась снаружи к высокой башне, с которой далекие видны были

окрестные просторы. В сравнении с домом лестница казалась слишком большою, и каменная, холодная печаль ее, казалось, тяготела над обоими жильями старого дома и восходила к высокой башне, небесам открывая, безмолвным и высоким, свои высокие, холодные томления, свои тусклые, вечные вздохи.

Когда багряная на радостном небе играла вечерняя заря, недолгою радостью алели холодные, каменные ступени — и бессильно погасали опять.

Но ясны ли были небеса над лестницею и над башнею, омрачались ли они печалью темных туч, — Леониду всегда казалось, что невидимые вестники печали нисходят к нему по каменному холоду ступеней. И у них крылья остры, длинны и черны, и в глазах у них пламенная тьма, и в нежных руках у них до краев наполненные слезницы. Взоры их упадали глубоко в душу Леониду, — и не улыбался он дню и солнцу, и не радовался веселью и смеху, закипавшим в просторах старого сада.

Напрасно благоухали и пестрели перед Леонидом цветы, оберегаемые заботливостью опытного, искусного садовника, — напрасно небеса над Леонидом голубели в высокой ясности безоблачного дня, — напрасно звенели над ним быстрые вскрики легкокрылых птиц и забавно-радостные их щебетания, — напрасно приходили к Леониду говорить с ним, утешать его и забавить его многочисленные родственницы, — сестры, тети, — и подруги их, и улыбались ему карминно-алою прелестью беззаботных улыбок, — напрасно! Леонида не радовало ничто, и ничто не вызывало на его уста улыбки.

II

Сестра его Елена говорила ему:

— Мы все любили маму...

И темно-карие глаза ее становились влажными.

— Мы все не можем забыть ее...

И легкою печалью омрачалось ее милое лицо, — милое лицо чистой сердцем семнадцатилетней девушки.

— Но разве мама, наша милая мама, была бы довольна, если бы видела, что мы тоскуем и плачем без конца?

И отвечал ей Леонид:

— Когда я закрою глаза, мне представляется, что по этим ступеням идут ко мне из нашего дома один за другим вестники печали. Подходят ко мне один за другим, и я вижу острый излом черных крыльев и слышу, — каждый говорит мне горькое слово. И в словах их — укор неправедной жизни и хвала утешающей смерти. И проходят. Когда я прихожу сюда ночью, я опять вижу их на холодных ступенях, под холодною луною, — и одежды их смутно белеют, и очи их темны, и речи их горьки, — ах, горьки, но и радостны, радостны радостью, смертельно жалящею мое сердце!

И говорила ему Елена:

— Они говорят неправду. Что ж из того, что они приходят к тебе из нашего старого дома! Ты не должен им верить. Они злые послы злого духа, и обманчивы их скорбные взоры, и печальные речи их — ложь. Разве ты не знаешь, что уже давно обличена неправда их злых, коварных внушений?

— Кем обличена? когда? — грустно спрашивал Леонид.

Прислушивался к ее ответу и надеялся услышать что-то несомненное, что победило бы его тоску. Но не мог поверить тому, что говорила, отвечая ему, Елена.

Говорила:

— Разве ты забыл сладчайшее имя Того, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и победить смерть?

И отвечал ей Леонид:

— Он родился, и мы Его убили. Он рождается, и мы Его убиваем. Ах, знаю, — явлены были чудеса и слава, но нам-то что! Коснеем во тьме жизни нелепой и безобразной. И как же не поверить мне милым вестникам нескончаемой скорби, нисходящим ко мне по холоду этой серой лестницы!

Молчали долго. И спросила Елена:

— Разве мы только убиваем? Страдая, творим и, творческим подвигом радуя, радуемся.

— Не знаю радости, — говорил Леонид. — Тяжелые камни на моей душе.

— Я сниму их, — говорила Елена.

— Не хочу, — отвечал Леонид. — Горька печаль моя, но путь мой прав, и не к жизни ведет он. Умру от печали, здесь, у этих серых плит, здесь, у ног непрерывно нисходящих вестников скорби.

И вот выражение непреклонной воли легло на Еленино прекрасное лицо, и черные брови ее упрямо сдвинулись, и темные глаза ее с угрозою поднялись к старому дому и к серым ступеням, по которым нисходили незримые. Она сказала:

— Нет, так не будет! Если даже и правы они, злые и безрадостные, то все же воля моя преобразит мир скорби в светлый мир восторга. Зачарую вестью радости серые ступени этой тяжелой лестницы, и золотую на ее месте ты увидишь лестницу, и по этой золотой лестнице низведу к тебе радостных вестниц, легкую вереницу вестниц обрадованных и радующих. Тогда ты, Леонид, поверишь ли им и мне? Тогда утешишься ли? Тогда благословишь ли легкий, сладкий воздух земного, милого бытия?

— Да, — тихо отвечал Леонид, — тогда поверю, и утешусь, и благословлю. Но нет, Елена, — эта лестница такая высокая, такая тяжелая, такая холодная, — как же ей быть золотою лестницею! По ее ли жестким ступеням пройдут нежные ноги тихо радующихся дев?

Ничего не сказала ему на это Елена. Ушла. И оставила его одного с его печалью. К сестрам и подругам ушла, и говорила с ними о чем-то долго, и уговаривала их, склоняя к чему-то.

III

Приходили к Леониду и другие и, утешая, говорили с ним. Сестрица Лиза, влюбленная красавица, готова была без конца говорить о своем женихе. И вдруг, перебивая сама себя, говорила:

— Милый Леонид, поверь мне, — жизнь так хороша, так сладко жить! Только ты один наводишь на всех нас уныние. Перестань тужить и печалиться. Будь как все добрые люди.

Леонид отвечал ей спокойно:

— Ты счастливая и веселая, иди к таким же веселым и счастливым, а меня оставь.

Она легонько вздыхала и уходила.

IV

Приходила Анна Петровна, фельдшерица. Она садилась рядом с Леонидом, тонкая, прямая, улыбалась сухими, тонкими губами большого рта, закуривала папироску и говорила:

— Очень вредно скучать так долго. Это может скверно отразиться на вашем здоровье, Леонид.

Леонид мельком взглядывал на туго сложенный на затылке узел черных волос Анны Петровны и молчал. Анна Петровна продолжала:

— Необходимо принять меры. Лучше всего обратиться к врачу. Но и до прибытия врача можно кое-что предпринять. Гимнастика, игры, купанье, — все это может изменить ваше настроение в хорошую сторону. Вы сегодня купались, Леонид?

— Нет еще, — отвечал Леонид.

— Я бы советовала вам сейчас же выкупаться.

Она вытаскивала длинными, тонкими пальцами из-за черного с узкою пряжкою пояса свои маленькие часики, смотрела внимательно на их матово-белый циферблат, задумывалась на минуту и говорила:

— Да, теперь как раз самое удобное время. Идите же, Леонид, не пропускайте удобного времени, когда еще солнце не очень высоко.

— Хорошо, — говорил Леонид.

Он шел купаться. Неширокая и неглубокая, тихая река огибала длинною лукою сад старого дома. Даль полей зеленела за нею, тихая, грустная, тая в своем молчании далекие голоса.

Леонид входил в прохладу вод и плыл к противоположному берегу и обратно. Отраден был глубинный холод вод, и не о жизни говорил он Леониду. О смерти холодной, спокойной, утешающей, уводящей от злых томлений под очами безумно пламенеющего в пустыне высоких небес Дракона.

Леонид неторопливо одевался. По влажному песку берега, по теплым травам лужаек, по мелкому сухому песку аллей проходил он тихо, и земля приникала к его нагим стопам, родная, милая земля, та, в которой спит его мама, и влажная росою трава обвивалась нежно вокруг его открытых до колен ног.

Милая земля, не из тебя ли возникла вся жизнь земная? Но, приникая к стопам тоскующего отрока, не о жизни напоминаешь ты, к утешительному зовешь ты успокоению в тишине и во тьме твоей глубины.

V

Леонид возвращался к скамейке у подножия серой лестницы. К ногам его льнул холод каменных ступеней, и смеялся кто-то незримый, повторяя:

— Где же золотая лестница?

Легкое облачко табачного дыма синело, расплываясь в теплом утреннем летнем воздухе, — как дым ладана, синело дымное облачко. Анна Петровна курила, сидя на скамейке и, улыбаясь навстречу Леониду, смотрела на его покрытые росою ранних трав ноги.

— Вот так-то лучше, — говорила она. — Теперь займитесь-ка гимнастикой. После купанья это очень полезно. Ну-с, сделаемте вот что.

Она хмурила брови, и все ее сухое лицо выражало строгую деловую озабоченность; задумывалась на минутку и наконец называла какое-нибудь гимнастическое упражнение. Леонид послушно исполнял ее команду и проделывал одно за другим несколько упражнений. Телу было удобно двигаться в легкой, короткой летней одежде, грудь легко дышала под тонким белым полотном, — но лицо его оставалось спокойным и нерадостным, и улыбки не цвели на нем, и потому со стороны странно было смотреть на этот урок гимнастики в саду, на песчаной площадке у подножия высокой серой лестницы, ведущей в старый дом и выше, на его башню.

Но Анна Петровна была довольна. Она серьезно отсчитывала темп движений:

— Раз! Два! Три! Четыре!

Когда, по ее мнению, было довольно, она вместо «четыре» говорила:

— Стой!

И придумывала новое упражнение. В промежутках между двумя движениями приговаривала:

— Главное, дышите свободно и глубоко. Нормальное дыхание — очень важное условие хорошего самочувствия.

Леонид смотрел на ее серьезное лицо, на ее худощавые смуглые щеки с выдающимися монгольскими скулами и думал, что она вся механическая, как кукла, заряженная чужими словами, и что она сама по себе никогда ничего не думает и ничего в мире ни разу по-своему не почувствовала. И он думал, что уж если надо жить на этой земле, то хорошо быть вот таким «организмом».

И Анна Петровна говорила:

— Человеческий организм для своего правильного развития требует известных условий, которые более или менее точно установлены наукою. Ну-с, вольных упражнений достаточно. Теперь мы займемся бегом. Я бегу, вы меня догоняете. Вы помните, надеюсь, как следует держать туловище при беге? Главное, дышите свободно и глубоко.

Анна Петровна бросала докуренную папироску, вставала, оправляла скучные складки своей строгой лиловой юбки и, хлопая в ладоши, мерно считала:

— Раз! Два! Три!

Со словом «три» она срывалась с места и мчалась по березовой аллее, прижимая локти к бокам и отводя плечи назад, чтобы грудь дышала свободнее. Но лицо ее оставалось озабоченным, и тонкие губы ее слабо и неверно улыбались, точно по заказу.

Леонид бежал за нею не тихо и не скоро, не догоняя ее и не отставая. Движения высоко открытых ног его были легки и красивы, и руки его двигались, как у бегущего юного полубога, но лицо его оставалось печальным, и улыбки не было на его алых, на его нежных губах. И сердце билось в его груди и сжималось томлением тоски и печали,

и ритмичный бег его был точно бег увлекаемого в стремительное кружение последнего, смертного пути. Лиловое на зеленых радостях листвы и трав веяние строгой юбки было перед ним как веемый незримо цвет безнадежной печали, влекущей стремительно в смертный путь.

Добежав до речного берега, Анна Петровна останавливалась и говорила:

— Вы, Леонид, опять не могли догнать меня. Положим, я хорошо бегаю. Но я довольна. И я надеюсь, что сегодняшние упражнения благоприятно отразятся на общем состоянии вашего организма, а следовательно, и на вашем настроении.

Леонид благодарил Анну Петровну и уходил на свою скамейку, к подножию вечно-серой лестницы. Глядя на ее высокие, строгие ступени и на строгий очерк ее тяжелых перил, он думал с безнадежною грустью: «Умру от печали, а ты никогда не будешь золотою лестницею, и не сойдут ко мне очаровательные вестницы восторга, уносящего душу и побеждающего тоску и смерть».

Закрывал глаза, и проходили перед ним вестники печали. И одежды их были белы, и крылья их были черны и остры, и горькие с их строгих уст падали слова.

VI

Вот раздавались снова чьи-то робкие голоса, — девичьи голоса звучали смущенно и весело.

Леонид открывал глаза. Перед ним стояли поповны, румяные, смущенно-веселые девушки, Алевтина, Антонина, Валентина и Зинаида. Они подталкивали одна другую, перешептывались, и наконец старшая, Алевтина, говорила Леониду:

— Составьте нам, Леонид, компанию в саду вашем погулять.

— Мне гулять не хочется, — отвечал Леонид.

— А посидеть здесь с вами можно, дозволите, Леонид? — спрашивала Антонина.

— Пожалуйста, посидите, — отвечал Леонид спокойно и невесело.

Сестры усаживались рядышком. Их светлые платьица при этом почему-то шумели, точно слегка подкрахмаленные. Они хихикали, переглядывались, и разговор заводила уже третья, по порядку.

— Мне очень нравится ваш сад, — говорила Валентина.

И младшая, Зинаида, говорила за нею:

— Очень красивая лестница, а сверху, с башни, удивительно восхитительный вид на всю окрестность.

— Я не понимаю, — говорила Алевтина, — как можно скучать, когда имеешь такой шикарный дом с такою упоительною лестницею и такую великолепную башню с таким отличным видом.

Антонина говорила:

— Сделайте нам такое большое удовольствие, поднимемся с вами на башню полюбоваться видами окрестности.

— Пойдемте, — равнодушно говорил Леонид.

Поповны радостно устремлялись вверх, а за ними шел Леонид. О, скучное восхождение по серому камню ступеней! и каменный холод у ног, и жесткие под ногами камни!

На каждой из трех площадок до верху и на террасе у входа в дом поповны останавливались, восхищались и ахали.

И наконец на башне. Поповны замирали от восторга.

Ах, милые земные дали! Вы зеленеете и цветете, и вольный проносится над вами ветер, взвевая сизые пыльные вихри, — но вся ваша цветущая радость отравлена истомою смерти!

И нет радости Леониду, и нет улыбки на его губах. Поповны сходят с башни и глядят на его печальное лицо. Они добрые, и хочется им развлечь Леонида и обрадовать, но не знают они утешающих слов, и вздыхают, и уходят.

VII

Иногда приходит к Леониду здешняя сельская учительница, Марья Николаевна, молодая девушка.

У нее очень умное лицо, мягкие, как у лошадки, губы, и кроткие серые глаза. Она постоянно таскает с собою какую-нибудь тонень-

кую, но умную книжку и пользуется всякою свободною минуткою, чтобы почитать. Она говорит:

— Нехорошо, что вы ничем серьезно не займетесь, Леонид.

— Я учусь не плохо, — отвечает ей Леонид.

— Я это знаю, — говорит Марья Николаевна, — но я посоветовала бы вам заняться самостоятельным чтением. Есть очень умные и очень полезные книги.

Она говорит долго и умно.

Леонид смотрит на ее лицо и думает, что ее мягкие губы и ее кроткие глаза не идут к умному выражению ее лица и что потому она вся нескладная. Миленькая, недурная, стройненькая, ничего себе к лицу причесана, ничего себе к лицу одета, хотя и скромненько, — а все-таки нескладная какая-то. И что она лепечет о книжках, — ах, глупая! Что скажут книги ему, тоскующему на диком холоде серой каменной лестницы?

Много жило в доме молодых девушек и молодых женщин, — много приходило в дом молодых к ним подруг, — и все они заводили с Леонидом добрые, утешающие речи, — и ни одна из них не умела утешить его.

VIII

Собрала Елена своих молодых родственниц и подруг и сказала им:

— Всем нам жаль нашего милого Леонида, который не хочет утешиться. Он настойчиво возвращается на скамью на нижней площадке большой лестницы и смотрит на ее серые, холодные ступени. Ему кажется, что по лестнице спускаются незримые вестники печали; нескончаемою вереницею проходят они перед ним и говорят ему горькие слова, — хулят жизнь и славят смерть. Но мы изгоним злых вестников. Во имя Того, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и победить смерть, мы изгоним их. Серую лестницу печали мы преобразим в золотую лестницу красоты и восторга.

— Как же это сделать? — спросили ее сестры и подруги.

И рассказала им Елена свой замысел. Некоторые из них, — правда, немногие, — согласились сразу, другие же спорили и от-

казывались. Им казалось неловко и стыдно исполнить то, о чем говорила Елена. Они боялись, что их осудят соседи и что на них рассердятся их родители. Спорили и уговаривали их остальные долго, — несколько дней прошло в этих совещаниях, — и наконец все согласились. И было много их, молодых женщин и девушек, родственниц Леонида и подруг их; когда Елена сосчитала всех, готовых прийти к Леониду вестницами восторга, то число их было двадцать семь.

IX

Знойный день опять склонялся к падению, и было тихо окрест безмолвного старого дома. Тени берез, как утомленные долгою дорогою путницы, легли устало на нижние ступени серой лестницы. Леонид сидел на своем обычном месте. Он знал, что скоро солнце, падающее к закату, станет в просвет березовой аллеи и короткою нежноалою надеждою затеплятся серые ступени, чтобы через несколько минут опять охолодеть и окаменеть в тусклой, серой своей безнадежности. С настойчивою печалью говорили ему тихо скользящие мимо вестники скорби:

— Обманами радости и смеха прельщает жизнь, — не верь ее прельщениям.

— Многообразны пути пленительных заблуждений и соблазнов, но правый путь один.

— Смертный путь.

— Смеется жизнь над теми, кто мечтает оправдать ее.

— Только в смерти истина, только смерти принадлежит правая победа.

И проходили один за другим.

X

Но вот пришла Елена. Она сказала Леониду, — и голос ее слегка вздрагивал от волнения:

— Пройдут краткие минуты, и по золотой лестнице пройдут вестницы восторга, хвалящие милую жизнь. И ты обрадуешься им, Леонид?

— Да, — сказал Леонид, — если бы они пришли! Но вот все передо мною тусклая обычность, и холод серого камня, и взвеянная на ступени ветром серая пыль.

— Жди, — сказала Елена.

Она медленно поднялась по ступеням, и долго следил Леонид за мельканием ее легко розовеющего на солнце белого платья.

Она скрылась в дверях старого дома. И никого не было в саду, и все окрест томилось странною тишиною. Где-то на востоке за деревьями чутко замолкнувшего сада было лиловое, свинцовое предчувствие грозы.

Отодвинулись от серых ступеней тени берез, и тихий свет упал к ногам Леонида. Тогда вдруг среди спускавшихся по лестнице вестников печали произошло странное смятение, и на лицах их отразился чрезвычайный испуг. С резкими воплями, подобными крикам встревоженных птиц, они распростерли в воздухе тихо алеющего вечера свои острые, черные крылья и быстрою, длинною вереницею устремились к небесам. В пронизанной вечернею алостью и зеленоватою янтарностью голубизне высот они стали как сливающиеся в одну тучу облака, и голоса их были тогда подобны отголоскам далекого грома.

Удивился Леонид и поднял глаза к высокой башне своего старого дома. Чудное зрелище представилось его глазам.

XI

Вереница радостных жен и дев спускалась неторопливо с высокой башни по ступеням лестницы. В лучах зари вечереющей невинною алостью радовались, золотясь, ожившие вдруг под нежными, обнаженными стопами милых вестниц ступени. Легкие туники облекали стройные тела радостно идущих и смеющихся вестниц, — и цвета их туник были как переливы струящихся алых огней и пламенеющих розово, янтарно и зелено зорь. Милые плечи их радовались поцелуям

ветра и солнца, и обнаженные руки их ликовали, алея алостью смеющейся зари, и веселы были их высоко открытые в легком, легком движении ноги. И под радостно нагими стопами вестниц, радостно смеющихся, преобразились холодные ступени, — и золотая стала перед глазами Леонида лестница, лестница красоты, радости и восторга.

Елена шла впереди своих сестер и подруг. Когда она достигла середины лестницы, она движением легким и радостным сбросила свою тунику на озаренные ступени золотой лестницы, — и остальные девы и жены одна за другою уронили свои туники. Золотая лестница покрылась радостною многоцветностью тканей, — и нагие вестницы ликующею вереницею приближались к Леониду, предавая лобзаниям напоенного зарею воздуха светлую, легкую обрадованность своих тел.

— Милые вестницы, — говорил Леонид, простирая к ним руки, — о, милые вестницы радости!

Проходили веселые, легкие, мимо Леонида, и целовали его, и говорили ему слова утешения и радости.

— Творя красоту, радуемся, — говорила Елена, — и скорбь нашу преображаем в легкую радость.

— Жаждем любви, и любим, и радуемся, — говорила Елизавета.

— Как радостно дышать милым воздухом земли! — говорила Анна. — Как радостно отдавать свое тело сурово-нежным лобзаниям стихий!

— Какая милая, родная земля под нашими ногами! — говорила Алевтина.

— Какие веселые открывает земля перед нами дали, бесконечные дали! — говорила Антонина.

— Какие сладкие ароматы у цветов! — говорила Валентина. — Какою радостью дышат земные травы!

— Какая радость — восходить высоко, высоко, любоваться небом и звездами! — говорила Зинаида.

— Так много радостей на земле! — говорила Мария, — и радостен труд, и мудрые утешительны книги.

И все двадцать семь жен и дев, радостные и нагие, прошли перед Леонидом, хваля жизнь и ликуя о ней.

И потом окружили его, закружились в легком беге, увлекли его в радостное, легкое кружение восторга и на влажной вечернею росою траве завели веселый, буйный хоровод.

А в высоте над ними громыхали тяжелые тучи, и быстро темнело небо, и было смятение, и гнев, и голоса разъяренных вестников печали. И грому, и блистанию молний, и голосам бурь, и потокам холодного ливня отвечали буйные, ликующие голоса неразумного земного восторга.

О себе радовалась ликующая юность, преображая обычное земное в необычайность прекрасного и восторгающего душу.

Красногубая гостья

I

Хочу ныне рассказать о том, как спасен был в наши дни некто, хотя и мало достойный, но все-таки брат наш, спасен от злых чар ночного волхвования словами непорочного Отрока. Темной вражьей силе дана бывает власть на дни и часы, — но побеждает всегда Тот, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и развенчать смерть.

II

Эта зима была для Николая Аркадьевича Варгольского тяжелая и томная.

Он все больше и больше отдалялся от всех своих друзей, родственников и знакомых. Все охотнее просиживал он короткие темные дни и длинные черные вечера в унылом великолепии своего старого особняка и ограничивался только недолгими прогулками по всегда тщательно выметенным аллеям тенистого небольшого сада при его доме.

Николай Аркадьевич даже не принимал почти никого, кроме своей недавней знакомой Лидии Ротштейн, бледнолицей, прекрасной молодой девушки, с жутко-громадными глазами и чрезмерно яркими губами.

Прежде Николай Аркадьевич любил все прелести веселой, рассеянной жизни. Он любил светское общество, зрелище, музыку, спорт. Бывал везде, где бывают обыкновенно все. Живо интересовался всем тем, чем все в его кругу интересуются, чем принято интересоваться. Был он молод, независим, богат, в меру окружен и в меру одинок и свободен, весел, счастлив и здоров.

А теперь вдруг все это странно и нелепо изменилось. Многокрасочная прелесть жизни потеряла свою над ним власть. Забылась пестрота впечатлений и ощущений разнообразной, веселой жизни. Ни к чему не тянуло. Ничего не хотелось.

Все, что прежде перед его глазами стояло ярко и живо, теперь заслонилось бледным, жутко-прекрасным лицом его красногубой гостьи.

И только хотелось ему смотреть в бездонную глубину этих странных, точно неживых, точно навеки завороженных тишиною и тайною, зеленоватых глаз. И только хотелось ему видеть эту безумно-алую на бледном лице улыбку, видеть этот большой, прямо разрезанный рот с такими яркими губами, точно сейчас только разрезан этот рот и еще словно свежею дымится он кровью. И только хотелось ему все слушать да слушать тихие, злые слова, неторопливо падающие с этих странных и очаровательных уст.

Такое все стало скучное, что вне этих стен! Такою докучною, ненужною казалась ему вся эта жизнь, внешняя, шумная, которою он жил до сих пор.

Вялая леность разливалась в его теле, прежде таком бодром и радостном. Голова стала часто болеть и томно кружиться, полная глухих, безумных шумов и звонов. Лицо его бледнело, точно яркие губы Лидии Ротштейн выпивали всю его жизнь.

III

С чего это началось? Теперь это как-то смутно и неохотно припоминалось ему.

Познакомились где-то, в сумеречном, холодном свете осеннего вечера. Кажется, говорили что-то незначительное. Николай Аркадьевич был чем-то в тот день занят и увлечен. Она была бледна, малоразговорчива и неинтересна. Поговорили с минуту, не больше. Разошлись, — и Николай Аркадьевич забыл о ней, как забывают всегда о случайных, ненужных встречах.

IV

Прошло несколько дней. Николай Аркадьевич кончал свой завтрак. Ему сказали, что его желает видеть госпожа Лидия Ротштейн.

Николай Аркадьевич слегка удивился. Это имя не сказало ему ничего. Забыл совсем. Досадливо поморщился. Спросил лакея:

— Кто такая? Просительница? Так дома нет.

Молодой, красивый лакей Виктор, тщательно подражавший своему барину в манерах и модах, усмехнулся такою же ленивою и самоуверенною, как и у Николая Аркадьевича, улыбкою бритых, холеных губ и сказал с такою же, как и у барина, растяжечкою:

— Не похожи на просительницу. Скорее будут из стилизованных барышень. Где-нибудь на пляже вы изволили с ними познакомиться.

Уже весело улыбаясь, спросил Николай Аркадьевич:

— Ну почему же непременно на пляже?

Виктор отвечал:

— Да так-с мне по всему сдается. По общему впечатлению. Первое впечатление почти никогда не обманывает. Притом же из городских словно бы такой не припомню.

Николай Аркадьевич спросил, продолжая соображать, кто бы такая могла быть эта стилизованная барышня Ротштейн:

— А какая она из себя?

Виктор принялся рассказывать:

— Туалет черный, парижский, в стиле танагр, очень изящный и дорогой. Духи необыкновенные. Лицо чрезвычайно бледное. Волосы черные, причесаны, как у Клео де Мерод. Губы до невозмож-

ности алого цвета, так что даже удивительно смотреть. Притом же невозможно предположить, чтобы употреблена была губная помада.

— А, вот это кто!

Николай Аркадьевич вспомнил. Оживился очень. Сказал почти радостно:

— Хорошо. Сейчас я к ней выйду. Проводите ее в зеленую гостиную и попросите подождать минутку.

Он наскоро кончил свой завтрак. Прошел в ту комнату, где ожидала его гостья.

V

Лидия Ротштейн стояла у окна. Смотрела на великолепные переливы осенней, багряно-желтой, словно опаленной листвы. Стройная, длинная, вся в изысканно-черном, она стояла так тихо и спокойно, как неживая. Казалось, что грудь ее не дышит, что ни одна складка ее строгого платья не шевельнется.

Очерк ее лица сбоку был строг и тонок. Лицо было так же спокойно, безжизненно, как и ее застывшее в неподвижности тело. Только на бледном лице чрезмерная алость губ была живою.

С жестокою нежностью чему-то улыбались эти губы и трепетно радовались чему-то. Заслышав отчетливый звук легких шагов Николая Аркадьевича по холодному паркету этой строго-красивой гостиной, в которой преобладал зеленоватый камень малахит, Лидия Ротштейн повернулась лицом к Варгольскому.

С нежною жестокостью чему-то улыбались ее чрезмерно алые губы, ее губы прекрасного вампира, и трепетно радовались чему-то. Радость их была злая и победительная.

Взором, неотразимо берущим душу в нерасторжимый плен, она смотрела прямо в глубину глаз Николая Аркадьевича. И было в нем странное смущение и непривычная ему неуверенность, когда он услышал ее первые слова, сказанные золотозвенящим голосом.

VI

Она говорила:

— Я к вам пришла, потому что это необходимо. Для меня и для вас необходимо. Вернее, неизбежно. Пути наши встретились. Мы должны покорно принять то, что неотвратимо должно случиться с нами.

Николай Аркадьевич с привычною, почти машинальною любезностью пригласил ее сесть.

Привычный скептицизм человека светского и очень городского подсказывал ему, что его красноустая гостья — просто экзальтированная особа и что слова ее высокопарны и нелепы. Но в душе своей он чувствовал неодолимое обаяние, наводимое на него холодным мерцанием ее слишком спокойных, зеленоватых глаз. И не было в душе его того спокойствия, которое до того времени было ее постоянным и естественным состоянием во всяких обстоятельствах его жизни, хотя бы самых экстравагантных.

Лидия Ротштейн села в подставленное ей Николаем Аркадьевичем кресло. Медленно снимая перчатки, она медленным взором обводила комнату, — ее стены с малахитовыми колоннами, — ее потолок, расписанный каким-то лукаво-мудрым художником конца позапрошлого столетия, — ее старинную мебель, все эти очаровательные вещи, соединившие в себе прелесть умной старины и слегка развращенного, изысканного вкуса той далекой эпохи напудренных париков, жеманной любезности и холодной жестокости, эпохи, созданием которой был старый дом Варгольских.

VII

Тихо говорила Лидия Ротштейн:

— Как очаровательно все это, что вас здесь окружает! Этот дом имеет, конечно, свои легенды. По ночам, быть может, здесь иногда ходят призраки ваших предков.

Николай Аркадьевич отвечал:

— Да, в детстве я слышал кое-что об этом. Но мне самому не доводилось видеть здесь призраки. Люди нашего века скептически настроены. Призраки боятся показываться нам, слишком живым и слишком насмешливым.

Лидия спросила:

— Чего же им бояться?

Николай Аркадьевич отвечал, стараясь придерживаться тона легкой шутки:

— Электрический свет вреден для них, а наша улыбка для них смертельна.

Тихо повторила Лидия:

— Электрический свет! Самые страшные для людей призраки — это те, которые приходят днем. Днем, как я пришла. Не кажется ли вам и в самом деле, что я похожа на такой призрак, приходящий днем? Я так бледна.

Николай Аркадьевич сказал:

— Это к вам идет. Вы очаровательны.

Ему хотелось быть слегка насмешливым. Но его слова против его воли звучали нежно, как слова любви.

Лидия говорила:

— Может быть, и я пройду перед вами, как один из призраков вашего старого дома, и исчезну, изгнанная вашею скептическою улыбкою, как те призраки, которых вы уже изгнали отсюда. Если изгнали. Впрочем, Бог с ними, с этими призраками. Я могу пробыть с вами сегодня только недолгое время, а мне надо многое сказать вам. Или, может быть, вы не захотите меня выслушать?

— Пожалуйста, я весь к вашим услугам, — сказал Николай Аркадьевич.

VIII

Лидия помолчала немного и продолжала:

— Меня зовут Лидиею, но мне больше нравится, когда меня называют Лилит. Так назвал меня мечтательный юноша, один из тех, кого

я любила. Он умер. Умер, как все, кого я любила. Любовь моя смертельна, — и мне хорошо, потому что любовь моя и смерть моя радостнее жизни и слаще яда.

Николай Аркадьевич заметил:

— Если яд сладок.

Он старался легко и шутливо улыбаться, но чувствовал, что улыбка его бледна и бессильна.

С холодною, почти безжизненною настойчивостью повторила Лидия:

— Слаще яда. Во мне душа Лилит, лунная, холодная душа первой эдемской девы, первой жены Адама. Земное, дневное, грубое солнце мне, бледной Лилит, ненавистно. Не люблю я дневной жизни и безобразных ее достижений. К холодным успокоениям зову я тех, кого полюбила. К восторгам безмерной и невозможной любви зову я их. Пеленою мечтаний, которые слаще ароматнейших из земных благоуханных отрав, я застилаю безобразный, дикий мир дневного бытия. Многоцветною яркою пеленою застилаю я этот тусклый мир перед глазами возлюбленных моих. Крепки объятия мои, и сладостны мои лобзания. И у того, кого я полюблю, я прошу в награду за безмерность и невозможность моих утешений только малого дара, скудного дара. Только каплю его жаркой крови для моих холодеющих вен, только каплю крови — прошу я у того, кого полюбила.

Очарованием великой печали и тоски безмерной звучали золотые звоны ее отравленных странным и страшным желанием речей. В холодной глубине ее глаз разгоралось холодное, зеленое пламя, — и мерцание этого пламени чаровало и обезволивало Николая Аркадьевича. Он сидел, и молчал, и слушал тихие, золотом звенящие слова своей зеленоокой, красногубой гостьи.

IX

И она говорила:

— Только одну каплю крови. Моими устами приникну я к телу возлюбленного моего. Моими жаждущими вечно устами я, как вставший из могилы вампир, вопьюсь в это милое, горячее место между горлом

и плечом, между горлом, где трепещет дыхание жизни, и белым склоном плеча, где напряженная дремлет сила жизни. Вопьюсь, вопьюсь в сладостную плоть возлюбленного моего и выпью каплю его жаркой крови. Одну каплю, — ну, может быть, две, три или даже четыре. Ах, возлюбленный мой не считает! Возлюбленному моему и всей своей крови не жалко, — только бы оживить меня, холодную, жарким трепетом своей жизни, — только бы я не ушла от него, не исчезла, подобная бледному, безжизненному призраку, исчезающему при раннем крике петуха.

Стараясь улыбнуться, Николай Аркадьевич сказал:

— Все это, что вы говорите, конечно, очень интересно и оригинально, — но я не понимаю, какое отношение я имею ко всему этому.

Но он сейчас же почувствовал всю ненужность и неправду своего жалкого ответа. И потому, по мере того как он говорил, голос его становился глуше и слабее, и последние слова он сказал совсем тихо, почти прошептал.

X

Лилит встала. Подошла к нему. В движениях ее не было той порывистой страстности, с какою земные женщины произносят свои признания.

Стоя перед Варгольским и глядя прямо в его глаза холодным взором жутких глаз, в которых разгорался зеленый, мертвый огонь, она сказала:

— Я люблю тебя. Тебя избрала я, возлюбленный мой.

Подчиняясь золотым звонам ее голоса, он встал со своего места. И стояли они друг против друга, — она, бледноликая, зеленоокая, с чрезмерно яркими, как у вампира, устами, и вся холодная, как неживая, лунная Лилит, — и он, зачарованный и словно всю свою утративший волю.

Лилит сказала:

— Люби меня, возлюбленный мой. Больше и сильнее, чем любил ты дневную свою жизнь, люби меня, лунную, холодную твою Лилит.

Упала минута молчания. Казалось тогда, что не было сказано ни одного слова.

И вот спросила его Лилит:

— Возлюбленный мой, любишь ли ты меня? Любишь ли?

Варгольский тихо ответил ей:

— Люблю.

И чувствовал, как душа его тонет в зеленой прозрачности ее тихих глаз.

И опять спросила его Лилит:

— Возлюбленный мой, любишь ли ты меня сильнее, чем все очарования и прелести дневной жизни, меня, твою лунную, твою холодную Лилит?

Отвечал ей Варгольский, — и холод великого успокоения был в звуке его тихих слов:

— Моя лунная, моя холодная Лилит, я люблю тебя сильнее, чем все очарования дневной жизни. И уже отрекаюсь от них, и отвергаю их все за один твой холодный поцелуй.

Радостно улыбнулась Лилит, но радостно-холодная улыбка ее была коварная и злая. И спросила Лилит:

— Отдашь ли ты мне каплю твоей многоценной крови?

Чувствуя, как в душе его возникают и сплетаются в дивном борении ужас и восторг, Варгольский сказал, простирая к ней руки:

— Отдам тебе, моя Лилит, всю мою кровь, потому что люблю тебя безмерно и навсегда.

И она прильнула к его устам поцелуем долгим и томным. Темное и томное самозабвение осенило Варгольского, и того, что было с ним потом, он никогда не мог отчетливо вспомнить.

XI

С того дня Лидия Ротштейн приходила к Николаю Аркадьевичу в неопределенные сроки, то чаще, то реже, почти всегда неожиданно, в разное время, то днем, то вечером, то позднею ночью. Она как-то ухитрялась всегда заставать его дома. А потом это стало и нетрудно, когда он почти совсем прекратил сношения с людьми.

Всегда эти свидания с Лилит были окутаны в сознании Варгольского густою пеленою странного, почти досадного ему забвения. Одно знал он

несомненно, — как ни крепки были объятия Лилит, как ни безумно дики были ее поцелуи, все же их связь оставалась чуждою грубых земных достижений, и ни разу не отдалась ему эта странная, красноустая гостья с неживыми глазами и с апокрифическим именем.

Когда она приникала к его плечу, легкая острая боль пронизывала все тело Варгольского, — и тогда становилось ему сладко и томно. В теле чередовались жуткие ощущения зноя и холода, точно била его лихорадка.

Знойные, жадные губы Лилит, только одни живые в холоде ее тела, впивались в его кожу. Поцелуй их был подобен холодному бешенству укуса. И казалось ему тогда, что кровь его точится капля за каплею.

XII

Лилит исчезала незаметно.

Долго после ее ухода Варгольский лежал, погруженный в томное бессилие, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, не мечтая ни о чем. Даже о Лилит не мечтал и не вспоминал он тогда. Самые черты ее лица припоминались ему неясно и неопределенно.

Иногда он думал о ней потом, когда проходило то оцепенение, в которое погружали его ее ласки. Он думал иногда, что она не человек, а вампир, сосущий его кровь, что она его погубит, что надо ему оградиться от нее. Но эти короткие, вялые мысли не зажигали его обессилевшей воли. Ему было все равно.

Иногда он спрашивал себя, любит ли он Лилит. Но, прислушиваясь внимательно к темным голосам своей души, он не находил в них ответа на этот вопрос. И было в нем равнодушие, холодное и спокойное. Любит не любит, — не все ли равно!

XIII

Лакей Николая Аркадьевича, Виктор, был женат. Однажды, незадолго до Святок, он пришел к Николаю Аркадьевичу не в урочное время и сказал ему:

— Жена моя, Наталья Ивановна, разрешившись на днях от бремени, просит вас, Николай Аркадьевич, сделать нам большую честь и удостоить быть восприемником от купели нашего первого сына, новорожденного младенца Николая.

Виктор старался держаться своего всегдашнего спокойного, солидного тона, но при последних словах, вспомнив со всею остротою новизны, что он уже отец, покраснел от радости и гордости и засмеялся с неожиданным, почти деревенским, простосердечием. Но, впрочем, тотчас же сдержался и опять стал вести себя чинно и степенно. Сказал со всегдашним своим достоинством:

— И я со своей стороны осмеливаюсь присоединиться к просьбе моей жены. Сочтем за великую для себя честь и будем чрезвычайно рады.

Николай Аркадьевич поздравил счастливого отца. Согласился немедленно, — не потому, что хотел согласиться, а просто потому, что вялое равнодушие давно уже угнездилось в нем.

И странное дело, — это обстоятельство, такое, по-видимому, незначительное в его жизни, с какою-то неожиданною силою внесло резкую перемену в его отношение к Лилит.

Первый же раз, когда он увидел младенца Николая, которого ему надо было назвать своим крестником, он почувствовал нежное умиление к этому слабо попискивающему, красному, сморщенному комочку мяса, завернутому в мягкие, нарядные пеленки. Глаза малютки еще не умели останавливаться на здешних предметах, — но земная, вновь сотворенная из темного земного томления душа, радостно мерцая в них, трепетала жаждою новой жизни.

Николаю Аркадьевичу вспомнились зеленые, жуткие пламенники неживых глаз его белолицей гостьи с чрезмерно-красными губами. Сердце его вдруг сжалось ужасом и страстною тоскою по шумной, радостной, многоцветной, многообразной жизни.

XIV

Когда после веселого обряда крестин, в котором он принял недолгое участие, он вернулся к себе в мерцающую тишину высо-

ких покоев, он опять почувствовал себя слабым и равнодушным ко всему.

Там, у Виктора, ему напомнили, что сегодня сочельник.

Где же он встретит праздник? Как его проведет? Уже давно, больше месяца, он упрямо не принимал никого и сам ни у кого не был.

Над холодным его равнодушием возникали то тихо поблескивающие глазенки его крестника, то слабый его писк. И напоминали ему Младенца в яслях, и звезду над дивным вертепом, и волхвов, принесших дары. Все, что было забыто, что было отвеяно холодным дыханием рассеянной, светской жизни, припомнилось опять и опять томило душу сладким предчувствием восторга.

Варгольский взял книгу, которую не открывал уже много лет. Прочитал трогательные, простые и мудрые рассказы о рождении и детстве Того, Кто пришел к нам, чтобы нашу бедную земную, дневную жизнь оправдать и обрадовать, Кто родился для того, чтобы развенчать и победить смерть.

Трепетна была душа, и слезы подступали к глазам.

Злые обольщения его коварной гостьи вдруг вспомнились Варгольскому. Как мог он поддаться их лживому обаянию! Когда цветут на земле милые, невинные улыбки, когда смеются и радуются милые, невинные детские глаза!

Но ведь она, лунная, неживая, лживая Лилит, опять придет. И опять зачарует обаянием смертной тишины!

Кто же поможет? Кто спасет?

Книга бессильно выпала из рук Николая Аркадьевича. Молитва не рождалась в его обессилевшей душе.

И как бы он стал молиться? Кому и о чем?

Как молиться, если она, лунная, холодная Лилит, уже здесь, за дверью?

XV

Вот чувствует он, что она стоит там, за дверью, в странной нерешительности и медлит, колеблясь на страшном ему и ей пороге.

Лицо ее бледно, как всегда. В глазах ее холодное пламя. Губы ее цветут страшною яркостью, как яростные губы упившегося жаркою кровью выходца из темной могилы, губы вампира.

Но вот Лилит преодолела страх, в первый раз остановивший ее у этого порога. Быстрым, как никогда раньше, движением она распахнула высокую дверь и вошла. От ее черного платья повеяло страшным ароматом туберозы, веянием благоуханного, холодного тления.

Лилит сказала:

— Возлюбленный мой, вот я опять с тобою. Встречай меня, люби меня, целуй меня, — подари мне еще одну каплю твоей многоценной крови.

Николай Аркадьевич протянул к ней руки угрожающим и запрещающим движением. Он сделал над собою страшное усилие, чтобы сказать:

— Уйди, Лилит, уйди. Я не люблю тебя, Лилит. Уйди навсегда.

Лилит смеялась. Был страшен и жалок трепет ее чрезмерно алых губ, обреченных томиться вечною жаждою. И говорила она:

— Милый мой, возлюбленный мой, ты болен. Кто говорит твоими устами? Ты говоришь то, чего не думаешь, чего не хочешь сказать. Но я возьму тебя в мои объятия, я, твоя лунная Лилит. Я опять прижму тебя к моей груди, которая так успокоенно дышит. Я опять прильну к твоему плечу моими алыми, моими жаждущими устами, я, твоя лунная, твоя холодная Лилит.

Медленно приближалась к нему Лилит. Было неотразимо очарование ее смеющихся алых губ. И был слышен золотой звон ее слов:

— Целованием последним прильну я к тебе сегодня. Я навеки уведу тебя от лживых очарований жизни. В моих объятиях ты найдешь ныне блаженный покой вечного самозабвения.

И приближалась медленно, неотразимо. Как судьба. Как смерть.

XVI

Уже когда ее протянутые руки почти касались его плеч, вот, между ними дивный затеплился тихо свет. Отрок в белом хитоне стал между ними. От Его головы струился дивный свет, как бы излучае-

мый Его кудрявыми волосами. Очи Его были благостны и строги, и лик Его прекрасен.

Отрок поднял руку, повелительно отстранил Лилит и сказал ей:

— Бедная, заклятая душа, вечно жаждущая, холодная, лунная Лилит, уйди. Еще не настали времена, не исполнились сроки, — уйди, Лилит, уйди. Еще нет мира между тобою и детьми Евы, — уйди, Лилит, уйди. Исчезни, Лилит, уйди отсюда навсегда.

Легкий стон был слышен и свирельно-тихий плач. Бледная в сумраке полуосвещенного покоя, медленно тая, тихо исчезла Лилит.

Краткие прошли минуты, — и уже не было здесь дивного Отрока, и все было как всегда, обыкновенно, просто, на месте. Как будто бы только легкою грезою в полусне было злое явление Лилит, и как будто и не приходил дивный Отрок.

Только ликующая радость звенела и пела в душе измученного, усталого человека. Она говорила ему, что никогда не вернется к нему бледноликая, холодная, лунная Лилит, злая чаровница с чрезмерною алостью безумно жаждущих губ. Никогда!

Путь в Дамаск

I

От буйного распутства неистовой жизни к тихому союзу любви и смерти, — милый путь в Дамаск...

Вечером весеннего тихого дня, когда на весело-шумных улицах громыхали дрожки, когда свирепые оборванцы и увядшие женщины продавали наивные ландыши, Клавдия Андреевна Кружинина вышла от доктора, красная и дрожащая от стыда и отчаяния, совершенно подавленная тем, что ей, молодой девушке, пришлось услышать. Казалось ей, что все, и дожидающиеся в гостиной больные, и горничная в передней смотрят на нее с насмешкою, жалящею сердце змеиными укусами.

Кто же возьмет ее, такую некрасивую и совсем неинтересную, застенчивую, неловкую, теряющуюся всегда при мужчинах?

Уже давно зеркало приводило ее в отчаяние, — противное правдивое стекло, отражающее беспощадно только то, что есть, — лицо, не только некрасивое, но и лишенное всякого очарования. Некрасивость лица не скрашивалась даже несколькими отдельными приятными и милыми чертами. Глаза, живо отражающие всякое движение, глубокие и умные, — умильные ямочки на щеках и на подбородке, — густые волны черных как осенняя ночь волос, — все эти разрозненные прекрасности печально дисгармонировали с общим серым тоном лица и всей неграциозной фигуры.

Кто же ее возьмет? Кто назовет ее женою?

С беспощадною откровенностью циника, каким сделала его профессия, доктор бросил ей беспощадные слова.

Клавдия Андреевна сконфуженно лепетала:

— Но, доктор, как же это? Разве это от меня зависит? У меня нет жениха.

Доктор пожал плечами.

— С природою не заспоришь, — равнодушно сказал он, — никакое лекарство вам не поможет.

II

В том состоянии растерянности и стыда, когда дрожат и подкашиваются ноги и не знаешь, что делать, Клавдия Андреевна шла по улицам. Знакомые перекрестки и переходы привели ее в квартиру в четвертом этаже, со двора. Там жила ее подруга, Наталья Ильинична Опричина, девица волоокая, полногрудая, энергичная, славный человек и отличный товарищ.

Клавдия Андреевна все ей рассказала. Если бы прошло хоть сколько-нибудь времени, хоть один только день, тогда, может быть, стало бы стыдно даже и подруге сказать об этом. Но теперь вышло как-то само собою. Тем более, что Опричина сразу, по несчастному, опрокинутому лицу Клавдии Андреевны поняла, что случилось неожиданное

что-то и очень неприятное, — и стала расспрашивать. Клавдия Андреевна села, улыбнулась растерянно и стыдливо и принялась рассказывать, подробно и добросовестно, как твердо заученный урок.

Рассказала и заплакала. Опричина ходила по комнате шагами грузными, от которых легонько позвякивали на столе стеклышки подсвечников, — и думала.

— По-моему, — сказала она, — плакать тут нечего, а надо действовать. У тебя нет никого на примете?

Клавдия Андреевна жалобным голосом призналась:

— Нет никого.

Опричина говорила:

— Они скверные, все эти наши мужчины, и это возмутительно и несправедливо, что за всякою смазливою рожицею ухаживают охотно, будь она глупа, как набитый осел, а на некрасивых никто не хочет смотреть.

Она внезапно остановилась и подошла к Клавдии Андреевне с таким видом, точно вдруг придумала что-то очень удачное и остроумное.

— Знаешь, я тебе могу помочь. У меня как раз есть подходящий... Ну, одним словом, это — один мой очень хороший знакомый. Он любит иметь дело с невинными девушками. Я тебе это устрою.

III

Через несколько дней Клавдия Андреевна сидела в отдельном кабинете дорогого ресторана с изысканно одетым господином лет сорока с чем-то. Разговор плохо вязался. Был сервирован легкий, но дорогой ужин, — были устрицы, шампанское. Клавдия Андреевна была смущена, но храбро старалась скрыть это. Сергей Григорьевич Ташев, ее собеседник, говорил комплименты ее уму, остроумию, образованности.

— Давно уже я не проводил такого приятного вечера. Вы — самая умная из всех женщин, которых я знаю в Петербурге.

Клавдия Андреевна смотрела на его подозрительно-черные волосы, на его слишком прямой стан, на неприятный очерк прямо разре-

занного рта с коротко подстриженными над ним черными, жесткими усами. Чувствовала она, что все это говорится потому, что невозможно похвалить ее наружность и все-таки необходимо говорить приятные, сближающие слова.

Иногда вдруг казалось ей все это сном, выдумкою. Она — некрасивая, сутуловатая, в своем вечном черном, убого прикрашенном ради «случая» голубым галстучком, платье, никогда не посещавшая ресторанов, не знавшая, как держать себя, как открыть электричество и управиться с артишоками. И эта странно-чуждая комната с красными раздражающими обоями, с традиционными зеркалами, с пианино в углу и с бархатною гранатовою портьерою, за которою укрывается еще что-то, — что? умывальник? постель? И элегантный господин с крупными, точно миндалины, желто-белыми зубами, с тщательным пробором над помятым лицом, со складками вокруг рта и глаз, и его чрезмерно, на ее взгляд, изысканный костюм, и удивительный темно-гранатовый пластрон на батистовой сорочке.

Что свело их здесь? Почему они с ним, такие чужие, далекие, вчера еще незнакомые, сидят здесь одни, вдвоем, отделенные тяжелыми гранатовыми портьерами от улицы, от города, от всего внешнего, всегдашнего, привычного?

Эта пряно-странная обстановка действовала на Клавдию Андреевну как кружащее голову наваждение. Белые нарциссы и багряные гвоздики в хрустальной чаше среди стола благоухали в нагретом воздухе. Вино, играющее так приятно, благодарно согревающее и поднимающее, золотое, радостное, в высоких шарообразных рюмках.

Забыла всю нелепицу спутанной связи событий и зачем сюда пришла, забыла, потеряла память об этом, уронила ее в золотые слезы в рюмках, — и сидела радостная, отвечала, говорила, даже засмеялась на смешной рассказ о знакомом профессоре.

Ташев говорил, заканчивая анекдот:

— Не знаю, как могут интеллигентные люди посещать подобные места. Я, например, могу похвастаться, если уж на то пошло, что ни разу не обладал женщиной без любви.

Клавдия Андреевна вздрогнула, может быть, от слишком холодного вина, в котором плавали кусочки нерастаявшего льда. Ташев продолжал:

— Женщина, в которую мы влюблены, может быть некрасивою, да и что такое красота, как не условное понятие? Но она должна сохранять в себе нежные чары, обаяние вечно женственного, таинственного и безотчетного. Тонкие, неуловимые нити должны протянуться между нею и мужчиною, прежде чем их соединит то, что мы называем любовью.

Лицо его, желтовато-бледное, оживилось и окрасилось. Глаза заиграли, и неприятно-крупные зубы чаще сверкали из-под верхней, выпяченной, ярко-карминового цвета губы.

IV

Устрицы, холодные и скользкие, на большом круглом блюде. Клавдия Андреевна робко свернула себе на тарелку две штуки и в замешательстве выжидала, пока ее собеседник тоже вооружится ножом и покажет ей, что делать с этим невиданным ею блюдом.

— С лимоном или так? — спросил он, услужливо протягивая ей хрустальную тарелочку с желтыми кружками и золоченою вилочкою.

Вдруг она почувствовала, что краснеет, от корней волос до плеч, как краснеют, сознавая безвыходность положения. Он, должно быть, понял, взял нож, ловко раскрыл им створку и быстро опрокинул в рот скользкий комок.

Клавдия Андреевна почувствовала к нему благодарность и даже нечто вроде расположения. Он избавил ее от первых мучительных минут. Но что будет дальше?

Было жутко и любопытно и все время как во сне, как в тумане. Потом снова вино, золотистые бокалы, золотые ломтики ананаса на хрустальной тарелке и снова, тусклые сквозь туман, разговоры о красоте, о женщинах, о любви.

— Что такое красота, — никто из нас не знает, но только стремится познать. И притом ведь не в этом дело.

Ты сегодня совсем не красива,
Но особенно как-то мила, —

продекламировал Ташев, любивший щегольнуть знанием новых поэтов, иностранной литературы, бывавший на всех первых представлениях и парадных спектаклях. Как только он успевал! Студентам читать лекции, председательствовать на всевозможных ученых и полуученых собраниях, ездить в заграничные командировки, писать книгу.

V

Рядом в большом кабинете шло настоящее веселье. Слышались звуки матчиша, кек-уока, отрывки цыганских и опереточных мотивов. Разбитый истерический голос порою пытался вытянуть на высоких нотах:

Я поцелуями покрою... —

но каждый раз срывался на одном и том же месте и горестно взвизгивал:

— Не могу, не могу!

Кто-то на что-то жаловался уже совсем пьяным голосом, кого-то утешали, кто-то звучно целовался, стараясь заглушить поцелуи взрывами хохота. Шалая, пестрая и пьяная, должно быть, была компания!

Ташев сказал, наливая вино в бокал Клавдии Андреевны:

— Вот как люди веселятся, а мы с вами еще и первой бутылки шампанского не роспили. Я пью за женщин интересных, умных, с такими прекрасными глазами, как у моей очаровательной собеседницы.

И неожиданным движением, быстро наклонившись, поцеловал у Клавдии Андреевны руку.

Неожиданность смутила, но не поразила ее. Ведь этого она и ждала, к этому и готовилась, подымаясь еще два часа тому назад с бьющим-

ся сердцем по обитой ковром под бронзою прутьев лестнице первоклассного ресторана. И у нее так редко целовали руку! От этого поцелуя, беглого и неожиданного, трепетно сияющая протянулась нить от него к ней, нить невидимая, но значительная.

Он пододвинулся к ней, так что на узком диванчике уже не было между ними места, положил свою руку, желтоватую, с темными, резко выделяющимися волосами, на ее небольшую смуглую пясть и говорил уже интимным тоном, которому старался придать оттенок задушевности:

— Единственный недостаток наших эмансипированных женщин, — это то, что они все же, несмотря на свободу мысли, не хотят такой же свободы для тела. По-моему, гармоническое развитие личности должно соединять в себе и то и другое.

Клавдия Андреевна смотрела на смуглое чужое лицо, слушала эти пыльные слова, знакомые по романам, и как-то переставала чувствовать странность своего положения и своей близости к этому совсем ей чужому, второй раз в жизни виденному ею человеку. Равнодушие, тупое и безразличное, овладело ею.

«Все равно, все равно», — мелькало в ее утомленной отуманенной голове.

Жизнь, такая серая, такая безжалостная, не сегодня-завтра все равно придавит. И перед Клавдиею Андреевною мелькнула унылая полоса безрадостных годов, молодость, проходящая без увлечений, в докучных заботах о заработке, в мелких огорчениях и в тщетных попытках полюбить, найти «человека», — друга, мужа.

VI

Пьяный гул рядом ей вдруг напомнил, как в прошлом году на Масленице она ехала в вагоне третьего класса ночью, вызванная телеграммою в Калугу, где застрелился младший ее брат, студент. На соседней с нею полке рядом в вагоне примостилась пьяная развеселая пара, мастеровой с гармоникою и женщина, может быть, проститутка, его подруга на эту ночь.

Всю эту ужасную ночь Клавдия Андреевна, точно в тяжком чаду, оцепенев, не сомкнула глаз, и всю ночь взвизгивала гармоника, лихо гаркал мастеровой и орала пьяные песни пьяная проститутка.

Клавдия Андреевна ехала к себе, в семью. Эта семья собиралась только тогда, когда с кем-нибудь из членов ее случалось несчастье, — смерть, ссылка, проводы на войну. Теперь готовились хоронить младшего брата. Так, в эти печальные мгновения жизни, собирались они все, некрасивые, неудачники, каждый со своею отравою в душе, молча толпились возле гроба или возле поезда, не знали и не умели сказать ничего утешительного друг другу. Толпою химер, серых и унылых, стояли они, обмениваясь тусклыми взглядами и серыми словами.

В эту истомную ночь она позабыла обо всем этом и в тупом оцепенении слушала пьяный визг, брань, поцелуи, визгливую гармонику. Не все ли равно, — казалось и тогда, — не сегодня-завтра жизнь придушит, не все ли равно?

Повернулась на жесткой скамейке и вдруг закашлялась от чада махорки. За невысокой стенкою хрипло смеялась проститутка.

— Дохает кто-то, барышня, кажись, — раздался ее противно-простуженный голос.

Тощий парень с зеленым лицом и колючим взором серых глаз высунулся на минуту из-за перегородки. Уколол взором Клавдию Андреевну, и вдруг лицо его стало презрительно-скучным. Отвернулся.

Из-за перегородки слышался его пьяный, наглый голос:

— Морда отпетая, дохает туда же, не как красавица.

— Мордолизация! — хрипло взвизгнула проститутка.

Острое жало обиды прокололо насквозь бедное сердце тоскующей девушки.

VII

Вспомнила теперь эту ночь и эту обиду, и опять стыдною болью заныло сердце. Такою болью, что словно разлилась боль по всему

телу, по всему вдруг закрасневшемуся телу, и вдруг ударила по нерву болевшего на днях зуба, — который собиралась, да так и не успела запломбировать.

Ташев участливо глянул на ее вдруг исказившееся болью лицо.

— Что с вами? — спросил он, нагибаясь к ней и обдавая ее легким ароматом вина.

— Зуб разболелся, — сказала она.

И брызнули жалкие, мелкие слезы. Невольно. Лепетала:

— Ничего. Это сейчас пройдет.

Что-то говорил Ташев, — едва слышала сквозь багровый туман, кружащий голову, едва понимала, что слышала.

— Возьмите воды, пополощите зубы.

Едва сознавала, что, повинуясь ему, идет куда-то и он поддерживает ее ласково и бережно под локоть левой руки. Перед самыми глазами заколебались багрово-тяжелые складки портьеры.

— Здесь есть вода. Позвольте, я вам помогу.

Откинул тяжелые складки. Повернул выключатель, — и вдруг неярким светом электрической лампочки в потолке озарился тесный альков, — серый мрамор умывальника с медными, красивыми кранами и громоздкая, нагло громадная кровать.

Так стыдно было стоять около этой кровати. Налил ей воды. Взяла ее в рот, на больной зуб. Боль утихла. Клавдия Андреевна лепетала несвязно:

— Благодарю вас. Мне легче. Прошло.

Повернулась, — уйти из алькова. Навстречу ей — улыбка и блестящие, неприятно-крупные зубы.

— Подождите, успокойтесь, не торопитесь, — говорил Ташев.

Слегка задыхался, и глаза его блестели лукавыми и страстными огоньками. Клавдия Андреевна почувствовала на своей талье прикосновение его жаркой руки.

Он шептал:

— Вы устали. Прилягте. Отдохните. Это вас лучше всего успокоит.

Совсем близко наклонился к ней. Ласковыми, но настойчивыми движениями подвигал ее к мягким успокоениям слишком нарядной кровати.

Стыдливый ужас вдруг охватил ее. Диким порывом оттолкнула Ташева и бросилась из алькова, вся красная, вся трепетная.

Схватилась за шляпку. Ташев растерянно повторял:

— Клавдия Андреевна, да что же это? Да что с вами? Да вы успокойтесь. Я же, право, не понимаю. Кажется, я...

Дрожащими руками, не попадая куда надо, Клавдия Андреевна пыталась приколоть шляпку. Шпилька выпала из ее дрожащих рук, и на паркете звякнула и заблестела ее крупная, стеклянно-синяя головка.

Ташев, бормоча что-то, и видимо сердясь, подходил к Клавдии Андреевне. Она испуганно взвизгнула, схватила свою легкую накидку и бросилась вон из кабинета. Слышала за собою обрывки восклицаний Ташева:

— Я не понимаю! Это Бог знает что! Зачем же!

Ресторанные лакеи с удивлением смотрели на стремительно бегущую мимо них барышню.

VIII

Клавдия Андреевна быстро шла, почти бежала, по шумным городским улицам. Привычною дорогою добежала до того дома, где живет Опричина, и уже поднялась до половины лестницы, и вдруг так же стремительно повернула обратно, и опять очутилась на улице.

То шла, то останавливалась. Поправила свалившуюся шляпку, заколов ее единственною оставшеюся шпилькою. Села в первый попавшийся трамвай и сидела там, тупо, без мыслей, красная, несчастная на вид, пока все не стали выходить и кто-то в темноте не сказал скучным, злым голосом:

— Приехали. Дальше не пойдет.

Вышла. Осмотрелась.

Городская окраина. Маленькие серые домишки. Сбитые плиты узкого тротуара. Чахлая, но весело зеленеющая и сквозь вечернюю мглу травка меж камней в мостовой.

Пошла наудачу. Шла усталая, тихая, безмолвная. Ночь была кругом, и тишина, и полутемно, и печаль на земле, и пустынная синева над землею.

Казалось, что плачет кто-то, забытый и ненужный. Влажный вешний воздух был тих и печален. Пахло водою. Свирельный в ночной тишине доносился откуда-то неиздалека стон.

IX

Вдруг Клавдия Андреевна различила, что это — звуки скрипки. Играл кто-то, точно плакала скрипка над милым, успокоенным прахом. Клавдия Андреевна пошла по тому направлению, откуда к ней доносились эти звуки.

Вот, — бедный, тихий дом, весь темный. Калитка. Со двора доносился тонкий плач тоскующей скрипки.

Клавдия Андреевна вошла во двор. Слабый свет виднелся сквозь занавеску окна в глубине двора. По шатким доскам узких мостков Клавдия Андреевна подошла к окну. Стояла и слушала долго у открытого окна.

На высокой, долгой, стенящей ноте замерли свирельные вопли. Слышно было, как с тихим стуком легла скрипка на стол, и слышны были быстрые, неровные шаги взад и вперед.

Что это было, легкий ли ветер отдернул край занавески, сама ли Клавдия Андреевна слегка отвела ее кончиками вздрагивающих пальцев, — но она увидела музыканта.

Это был молодой человек в студенческой тужурке, с нервным, бледным, измученным лицом, с густыми, вьющимися круто и упрямо волосами, торчащими спутанною копною над крутизною упрямо выпуклого лба, с порывистыми движениями и с угловатым, резким жестом сухих рук, быстро ерошащих волосы. Студент ходил, метался по комнате, — и в движениях его была тоска, и в лице его дрожало томление тягостное до смерти.

Бездонно-черный взор его глаз остановился на минуту на лице Клавдии Андреевны, — но было ясно, что студент не увидел ее, ночной,

случайной, неведомо как сюда пришедшей девушки. И в бездонно-черном взоре его глаз таилось томление, безумное, последнее томление человека.

X

Во всей обстановке бедной комнаты, заурядного логовища для одинокого от хозяев, было что-то неуловимо значительное. Какой-то внезапный, странный, тоскливый беспорядок места, где есть умирающие.

На столе, среди книг и всякого обычного скарба, между коробкою папирос и недопитым стаканом чая, лежала слишком прямо положенная и, видимо, только что написанная записка. Ящик в столе был слегка выдвинут, и это почему-то особенно бросалось в глаза, словно в этом было что-то значительное.

А может быть, так показалось Клавдии Андреевне потому, что едва она увидела этот слегка выдвинутый ящик, как уже студент подошел к нему и, неловко сутулясь, стал шарить в нем.

Клавдия Андреевна с жадным любопытством ждала, что он вынет из ящика. Настойчиво, как злое внушение, вместе с тяжелым стучанием крови в ее висках, повторялось одно, улично-обычное слово:

— Револьвер, револьвер.

И оправдалось злое внушение, злое предчувствие. Студент отошел от стола, и в его руке Клавдия Андреевна увидела стальной блеск маленького, изящного, как детская игрушка, оружия.

Резким жестом свободной руки студент взъерошил свои упрямые кудри и поднял револьвер к виску.

Глаза у него расширились. Рука странно колебалась в воздухе, устанавливая дуло револьвера на удобное положение.

Потом опустил руку, глянул в дуло револьвера, еще раз размашисто взъерошил волосы, крикнул отрывисто и громко:

— Баста!

И решительным движением взмахнул револьвером к голове.

Внезапный женский вопль заставил его дрогнуть. Всмотрелся.

XI

Порывистым движением обеих рук раздернув занавеску, Клавдия Андреевна отчаянно крикнула:

— Милый, милый! Зачем? Не надо!

Студент увидел, что незнакомая, некрасивая девушка лезет к нему в окно, неловко цепляясь руками за раму, задевая за что-то платьем, — неловкая, с кое-как сидящею на растрепанных волосах шляпкою, с лицом красным, взволнованным, несчастным, облитым слезами, искаженным рыдающими гримасами.

Лезет, такая смешная, забавная, заплаканная, и повторяет слезливо и жалобно:

— Миленький, не надо, не надо!

Студент сунул револьвер в ящик стола, бросился к окну и, бормоча что-то несвязное, помог нежданной гостье перелезть подоконник.

Полная возбуждениями последних дней, она бросилась к нему, обняла его и, плача, повторяла без конца:

— Милый, хороший, не надо, — живи, люби меня, живи, я тоже несчастная.

— Извините, — сказал студент, — вы успокойтесь. Может быть, чаю?

Клавдия Андреевна засмеялась, все еще плача. Говорила:

— Не надо, не надо, ничего не надо. И этой игрушки не надо. Вот, если вы дошли до того, что уже нечем жить, — душевно нечем, — то вот, и я тоже, и если мы захотим, разве нельзя, разве так уж совсем нельзя сотворить жизнь по нашей воле, и жизнь, и любовь, и смерть? Вот послушайте.

Рассказывала ему о себе долго, сбивчиво, подробно, откровенно по-детски. Все рассказала. И опять вернулась к обидам, жгущим сердце уколами тысячи пчелиных жал. Смеясь и плача, говорила:

— Он говорит, — морда, дохает туда же, — это что я закашлялась от его махорки. А она говорит, — мордолизация. И оба смеются. Морда! Ну и пусть, и пусть!

Студент взъерошил свои лохмы, резким, привычным жестом вскинув руки как-то слишком вверх, и сказал утешающим голосом:

— Ну, это наплевать. Я тоже морда порядочная.

И вдруг засмеялись оба. И не было уже смертного томления в его глазах и в ее душе. Он подошел к ней близко, и обнял ее порывисто, и поцеловал звучно, весело и молодо в ее радостно дрогнувшие губы. Сказал:

— Эту ерунду к черту!

И сердито захлопнул ящик стола.

И она целовала его, и повторяла:

— Милый, милый мой! Люби меня, люби меня, целуй меня, — будем жить вместе и умрем вместе.

Легче вдвоем.
Если не сможем идти,
Вместе умрем на пути,
Вместе умрем.

Так, убежав от буйного неистовства неправой жизни, пришли они к вожделенному Дамаску, в союз любви, сильной, как смерть, и смерти, сладостной, как любовь.

Благополучный Иуда

I

Дела инженера Генриха Зонненберга были теперь в очень сложном и деликатном положении. Вся его судьба висела на волоске. Очень обширные, смелые предприятия, начатые Генрихом Зонненбергом, оказывались такой природы и такого свойства, для которых готовится, по выражению некрасовской поэмы о современниках, «в результате миллион или коническая пуля». Широта,

быть может, гениальная, его замыслов граничила с преступностью дерзкой воли.

В настоящий момент вся судьба и предприятий Генриха Зонненберга, и самой его жизни зависела от того, какое слово напишет на одном, уже изготовленном, но еще не пущенном в ход, докладе одно весьма влиятельное, высокопоставленное лицо.

Может быть, оно начертает на полях ослепительно-белой и умопомрачительно-аккуратно написанной на ремингтоне официальной бумаги быстрыми и отрывочными движениями своего остро отточенного карандаша вожделенные буквы «со св. ст. не н. пр.», что обозначает «со своей стороны не нахожу препятствий». Тогда Генрих Зонненберг вздохнет свободно. В карманы его польются чужие миллионы. Безумно дорогая вилла на Ривьере, которую он уже присмотрел, будет принадлежать ему.

Но может случиться и совсем иначе. Быть может, на пергаментно-желтом лице старого сановника мелькнет презрительно-суровая усмешка, в его маленьких, еще по-молодому ярких глазах затеплятся злые огоньки, и маленькая сухая рука, энергично сжимая карандаш, бросит на бумагу крупные, страшные буквы «откл.» — что будет обозначать «отклонить».

Тогда наступит полный крах. Будут предъявлены ко взысканию какие-то нелепые векселя. Потом делами Генриха Зонненберга заинтересуются прокуроры и судебные следователи. Эти люди одержимы маниею видеть признаки преступления там, где есть только ловкие и смелые, хотя и рискованные, конечно, комбинации. На неделикатном языке юристов заговорят о подлогах, мошенничествах, растратах, вовлечениях в невыгодные сделки и еще Бог весть о чем.

Деньги иссякнут. Зизи выгонит Зонненберга. Милая графиня Мими не только изгонит его из своего сердца, но и не станет узнавать его при встречах на улицах или в собраниях.

Но нет, до этого, конечно, не дойдет. Генрих Зонненберг не из тех, кто терпит унижения. В ящике его письменного стола лежит револьвер. На случай же внезапного ареста он носит при себе, в хо-

рошо скрытом хранилище, две-три капли быстро и верно действующего яда.

Дерзкая решимость покончить с собою наполняет душу Генриха Зонненберга незаконным подобием храбрости. Но его красивое, смуглое лицо нравящегося женщинам брюнета становится часто мечтательным, и глаза вдруг начинают глядеть рассеянно.

II

Генрих Зонненберг сидел со своими приятелями в общей зале одного дорогого кабачка. На столе перед ними в вазе со льдом стояла бутылка шампанского, уже не первая.

На эстраде выкрикивала что-то безголосая певичка в кургузом платье нелепого золотого цвета. Она показывала публике свои толстые икры, обтянутые ярко-голубыми чулками, и порою свою голую набеленную спину. Никто ее не слушал. Почти никто и не смотрел на нее.

Приятели подшучивали над рассеянностью и мечтательностью Генриха Зонненберга. Говорили:

— Наш Генрих влюблен опять.

— И ревнует.

— Нет, он не ревнив. Он боится сцены ревности.

— Вернее, сцен: будет ревновать Зизи и еще другая.

— А кто другая?

— О, это его секрет.

Генрих Зонненберг улыбался лениво и кое-как отшучивался. Его любовные приключения были общеизвестны, — кроме, конечно, его отношений к графине Мими, о которых не знал никто.

Подшучивали. Не знали настоящей причины. Генрих Зонненберг вел свои дела так, что еще никто не догадывался о их настоящем положении. А если бы они знали!

Генрих Зонненберг даже вздрогнул слегка, когда ему пришла в голову мысль о том, какие злорадные лица были бы у этих его милых друзей, если бы они знали хотя только часть истины.

III

Чтобы перевести разговор на другие темы, Генрих Зонненберг спросил вполголоса одного из своих собутыльников, Сержа Котелянского, который знал всех в городе, почти со всеми был хорош или, по крайней мере, знаком и был вхож в неисчислимое количество домов:

— Кто это?

И показал легким, едва заметным движением головы на пробиравшегося между рядами столиков к оставленному для него месту близ эстрады очень моложавого господина, элегантно одетого и как-то странно красивого.

Красота его лица была несомненна, но было в ней что-то противное и даже как будто позорное. Цвет его лица был чрезмерно нежен, бел и румян. Золотистые волосы его вились так круто, словно были завиты. Глаза его глядели томно и нагло, и маслянистый блеск их казался неприличным. Черты лица его были чрезвычайно правильны, и античный профиль его отличался изысканною строгостью очертаний. Рыжеватая, коротко подстриженная бородка нарушала чистоту этих строгих линий, но зато она как бы подчеркивала лукавый, порочный характер этого противоречивого лица. В сладкой упитанности его тела было что-то бесстыдное и притом волнующее.

Серж Котелянский поклонился новому посетителю с очень почтительным выражением. Тот ответил ему дружеским кивком и любезною улыбкою. Потом сел к своему столику. Там уже его ждали две сильно накрашенные наглые женщины и потертый, но бойкий господин во фраке.

Серж Котелянский сказал Генриху Зонненбергу:

— Вот! Неужели ты его не знаешь?

Генрих Зонненберг с легкою улыбкою отвечал:

— Правда, не знаю.

Серж Котелянский сказал внушительно:

— Ну, я тебе скажу, это — человек, которого надо знать.

Генрих Зонненберг возразил недоверчиво:

— Вот как! Даже надо!

Серж Котелянский настаивал оживленно:

— Да, да, именно надо. У него связи и влияние прямо-таки удивительные. Это — Иуда Искариот.

Генрих Зонненберг жадно всматривался в знаменитого человека. Серж Котелянский рассказывал с обычною своею развязанностью:

— Я как-то его спрашиваю, знаешь, во время откровенной болтовни: Послушай, говорю, Иуда, с чего ты взял себе такой странный и страшный псевдоним? Разве, говорю, ты не мог бы подписывать своих статеек более благозвучным именем? Да ведь ты, говорю, наконец, даже вовсе и не Иуда.

Генрих Зонненберг спросил:

— А как его настоящее имя?

Серж Котелянский ответил:

— Его зовут Иосиф Аристархович Эдельвейс. Не правда ли, звучное имя?

С легкою усмешкою сказал Генрих Зонненберг:

— Слишком звучное.

Серж Котелянский возразил:

— Ну, вовсе не слишком. Да не в том дело. А можете вы себе вообразить, что он мне ответил?

— А что? — спросил Генрих Зонненберг.

Серж Котелянский рассказывал:

— Представьте себе, — это прямо бесподобно, — он мне говорит: я и есть Иуда Искариот. Я его спрашиваю, — тот самый? А он мне самым спокойным тоном говорит: да, тот самый. И совершенно серьезно.

Генрих Зонненберг предположил:

— Он шутил, может быть?

Один из друзей сказал:

— Или ты, Серж, шутишь.

Серж Котелянский обидчиво сказал:

— Ну вот, с чего мне врать! Потом я узнал, что это у него нечто вроде мании, — воображать, что он — второй раз родившийся Иуда.

IV

Генрих Зонненберг задумался. Потом сказал таким тоном, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно:

— Да, с ним не мешает быть знакомым. Это именно тот, кто нужен.

Друзья стали подшучивать над Генрихом Зонненбергом. Говорили, что Иуда Искариот, пожалуй, и не возьмется за устройство любовных дел.

Генрих Зонненберг, не смущаясь, возразил спокойно:

— Мое дело, может быть, его заинтересует. Я сумею его заинтересовать. Серж, ты можешь меня с ним познакомить?

Серж Котелянский слегка покраснел от гордости и сказал:

— Ну конечно. Мы с ним очень хороши.

Генрих Зонненберг сказал:

— И если можно, сегодня же.

— Можно и сегодня. Только...

Серж Котелянский сделал серьезное лицо и продолжал:

— Я должен тебе вот что сказать, если ты хочешь чего-нибудь через него добиться. Это все знают, что он умеет провести всякое дело. Черт его знает, как он это делает. Но чтобы воспользоваться его услугами, надо выполнить одно, несколько, как бы тебе сказать... ну скажем, щекотливое условие.

Генрих Зонненберг нетерпеливо спросил:

— А именно?

Серж Котелянский нагнулся к самому его уху и зашептал:

— Надо совершить маленькую нескромность, — выдать ему чей-нибудь секрет, принести какое-нибудь важное секретное письмо, ну или что-нибудь в этом же роде. Понимаешь? На это, понятно, не всякий пойдет, потому что не у всякого есть что-нибудь такое, чем можно кого-нибудь выдать, — но он не брезгает и маленькими секретами, интрижками какими-нибудь.

Потом, отодвинувшись от Генриха Зонненберга, уже обыкновенным тоном, — потому что в общей зале ресторана неудобно и не-

практично секретничать так долго, чтобы все обратили внимание, — Серж Котелянский сказал:

— Не правда ли, это черт знает что такое! Но, может быть, он таким способом именно и приобретает способность влиять.

Генрих Зонненберг спокойно ответил:

— Весьма возможно.

Серж Котелянский сказал наставительно:

— Так вот видишь, если хочешь иметь с ним дела, так его надо заинтересовывать, а это не так то легко, не правда ли?

Генрих Зонненберг холодно усмехнулся и спокойно сказал:

— Я его заинтересую.

Серж Котелянский посмотрел на Генриха Зонненберга с уважением.

V

В тот же вечер знакомство состоялось. «С места в карьер» Генрих Зонненберг стал делать Иуде Искариоту кое-какие «авансы». Иуда Искариот относился к этому благосклонно.

Иуда Искариот со всеми всегда был любезен и мил. Теперь он чувствовал, как опытный психолог, что Генриху Зонненбергу что-то от него нужно, что ценою крупной услуги будет и достаточно крупное предательство.

На другой вечер Генрих Зонненберг опять встретился с Иудою Искариотом в другом таком же увеселительном заведении. Угостил Иуду Искариота ужином, и этот ужин вскочил ему в копеечку.

Во время ужина Генрих Зонненберг улучил минуту шепнуть Иуде Искариоту, что у него есть к нему интересное дело. Подчеркнул выражением слово «интересное». Прибавил для большей ясности:

— И еще мне хочется принести вам кое-что. Надеюсь, что это вам будет хоть немножко интересно.

Иуда Искариот переспросил:

— Нечто интимное?

Генрих Зонненберг ответил:

— Да, весьма интимное.

Иуда Искариот засмеялся весело. Генрих Зонненберг невольно вздрогнул от какого-то жуткого, противного чувства. Иуда Искариот не обратил, по-видимому, на это никакого внимания.

Иуда Искариот привык к тому, что его собеседники иногда не могли скрыть по отношению к нему своего брезгливого чувства. Он находил это очень глупым, но не обижался. Ему было все равно, что о нем думают люди. Сам же он считал их подлыми и на все способными.

Иуда Искариот назначил Генриху Зонненбергу день и час для свидания.

VI

Этот час настал. Генрих Зонненберг приехал к Иуде Искариоту. В кармане сюртука Генриха Зонненберга лежали пачка писем графини Мими и пачка бумаг, украденных ею по его просьбе из кабинета ее мужа.

Подъезжая к подъезду двухэтажного белого особняка, очень красивой архитектуры, где жил Иуда Искариот, Генрих Зонненберг подумал: «Предатели живут недурно!»

Да, Искариот жил превосходно. Но описывать обстановку его палат не стоит. Все вещи были дорогие, и все было устроено с большим вкусом приглашенными для этого дела за большие деньги мастерами. Но слишком чувствовалось, что все это куплено за деньги. Ни на чем не было отпечатка живой души, того соответствия с характером хозяев и их домочадцев, которое бывает во всех настоящих жилищах человеческих, во дворцах так же, как и в нищенских лачугах.

Всю душу свою Иуда Искариот носил с собою и не расточал ее на вещи.

Был уют просторного кабинета, и сигары дымились. Мраморный Мефистофель, согнувшись в три погибели, неустанно демонстриро-

вал свою пустынно-злобную улыбку, свои тощие ребра и диковинные изломы своего голого, дьявольски-непорочного тела.

VII

Генрих Зонненберг подробно и ясно, со свойственным ему талантом убедительного, врезывающегося в память изложения, рассказал свои обстоятельства. Был откровенен. В сущности, ему теперь нечего было терять, а выиграть он мог очень много.

Иуда Искариот выслушал внимательно. Сказал, глядя прямо в глаза Генриха Зонненберга своими противно-ясными глазами:

— Возможно, что я что-нибудь и смогу для вас сделать. Но мое правило: услуга за услугу.

Генрих Зонненберг поспешно сказал:

— Я готов.

Иуда Искариот усмехнулся отвратительно-любезно, остановил Генриха Зонненберга легким движением руки, на пальце которой переливным многоцветным блеском зыбко засмеялся крупный бриллиант, и сказал:

— Услуга за услугу и откровенность за откровенность. Видите ли, я недаром принял исторически известное имя взамен моего мещански-благопристойного прозвища.

Серый пепел падал с его сигары, потому что Иуда Искариот чертил ее пламенеющим концом в безмолвном воздухе какой-то запутанный узор. Петли этого узора гипнотизировали Генриха Зонненберга, глаза его приковались к красному глазу сигары, и отвратительно звучный голос Иуды Искариота доносился до его слуха как будто издалека, но с беспощадною, бичующею ясностью.

VIII

Иуда Искариот говорил, развалясь в своем покойном кресле:

— Некоторые думают, что это — только моя странная причуда. Но я — истинный Иуда Искариот, тот самый, который когда-то

копил жалкие гроши, торговался с почтенными старцами синедриона, предал Учителя за тридцать сребренников, потом удавился. О, это очень тяжелый вид смерти! До сих пор помню резкое ощущение веревки, обвившейся вокруг моей шеи. Я тогда был наивен и глуп.

Иуда Искариот засмеялся. Говорил:

— Подумать, какие-то жалкие тридцать сребренников! Как бы то ни было, эти века, которые я томился в области, неведомой людям, не прошли для меня даром. Я вдруг почувствовал, что созрела пора более совершенных предательств. И вот я родился вторично.

Генрих Зонненберг спросил:

— Зачем?

Иуда Искариот ответил со спокойною, деловитою обстоятельностью:

— Чтобы развить великое дело предательств на рациональных основаниях. Вы, конечно, согласитесь со мною, что и история, и наблюдения над современностью учат нас этой простой истине: человечество нуждается в предателях. Предательство — не случайное преступление, совершаемое какими-то исключительными злодеями, а совершенно необходимый во многих обстоятельствах и вполне естественный акт. Только животные могут быть правдивы и верны, потому что они не одарены речью, а речь обладает способностью чрезвычайною ко лжи. Помните у Тютчева?

Генрих Зонненберг припомнил:

— «Мысль изреченная есть ложь».

— Вот именно, — сказал Иуда Искариот. — Животное только действует. Стало быть, оно обладает только одним способом выражения своей духовной жизни и потому поневоле правдиво. Человек не только действует, но и говорит. У него, следовательно, два способа выражения: одно он делает, другое он говорит. Так естественно в человеке, особенно культурном, что его слово расходится с его делом, так естественно, что он лжет, обманывает, клевещет, предает. И заметьте, чем человек культурнее, тем более ему приходится лгать. Вы согласны со мною, не правда ли?

IX

Генрих Зонненберг сказал:

— Все, что вы говорите, очень остроумно и, может быть, отчасти верно.

Иуда Искариот возразил:

— Скажите, — вполне верно, и вы будете совершенно правы. Человек не может не лгать, потому что странно было бы ему не пользоваться этим превосходным средством борьбы, — иногда даже единственным средством слабого против сильного. Припомните хотя бы ваше собственное детство. Каково-то вам было бы при некоторых неприятных обстоятельствах, если бы вы строго держались тогда прекрасного и одобряемого всеми сильными правила всегда говорить правду вашим почтенным родителям? Ведь они, конечно, и вас уверяли, что руководствуются только желанием вам добра?

Генрих Зонненберг засмеялся. Сказал:

— Да, и так влетало достаточно.

Иуда Искариот продолжал:

— Итак, иная ложь во спасение. Но, впадая в крайность, когда уже начинают ею злоупотреблять, ложь вызывает и наилучшее средство для борьбы с нею, средство такого же точно происхождения и такой же природы, предательство всех видов, начиная с невинных детских проявлений наушничества и фискальства. Опять обращаюсь к воспоминаниям из золотой невозвратной поры детства, этого святого невинного возраста. Может быть, и вам случалось иногда испытывать высокое удовлетворение, когда вам удавалось более или менее ловко подвести обидчика под чувствительное наказание?

Генрих Зонненберг сказал:

— Да, это не лишено приятности.

На лице его отразилось злорадство старых воспоминаний.

Иуда Искариот посмотрел на него с удовольствием. Сказал:

— Впрочем, эту тему можно развивать без конца. Будем кончать. Повторю вкратце: я поумнел, исправился; на пустяки, как тог-

да, не польщусь и за тридцать целковых в петлю не полезу. Да и вообще ни за что и ни за кого своей жизни не отдам. Живу только для себя, люблю только себя, верен только себе и предать готов каждого, кого только могу, но не иначе, как за весьма приличную плату. А предать я могу очень многих, потому что владею многими тайнами. Я мог бы продать даже и такие ценности, на которые пока еще нет покупателей. И потому я богат, меня уважают, жизнь моя легка и приятна, и умру я, — если, конечно, умру, — не качаясь в петле на осине и не под пулями стражников, как разбойник Варрава, а «под пленительным небом Сицилии, в благовонной древесной тени, созерцая, как солнце пурпурное погружается в море лазурное», ну и так далее, — помните?

— Как не помнить!

— Так вот, перейдем, если вам угодно, к делу. Вы ждете от меня вполне определенной услуги, а именно чтобы на докладе о вашем деле была поставлена благоприятная резолюция. Так?

Генрих Зонненберг молча наклонил голову. Иуда Искариот продолжал:

— Что же вы дадите мне за это? Конечно, вы понимаете, что денег я не беру. Я жду от вас большего и лучшего, жду того, что составляет смысл и цель всей моей жизни, поэзию моего существования, жду того, для чего я восстал из мертвых, преодолев тяготение многовекового могильного сна, — словом, жду предательства. Кого же вы мне сегодня предадите?

Генрих Зонненберг слегка побледнел, но ответил без малейшего колебания:

— Графиню Марию Картомину и ее мужа.

Иуда Искариот радостно улыбнулся и сказал:

— Признаться, я так и думал. Ваша любовница и ее чванный супруг. Хорошо. Ну-с?

Он протянул руку к Генриху Зонненбергу. Казалось, что уже он видит эти письма и эти бумаги сквозь черную ткань сюртука.

Генрих Зонненберг быстро вытащил из кармана обе пачки и подал их Иуде Искариоту. И уже после того слабо удивился этой почти мимовольной быстроте.

X

Прошла едва минута, и Генрих Зонненберг уже пожалел, что отдал письма прежде, чем гарантировал себя чем-нибудь. Почти с ненавистью смотрел он на Иуду Искариота. С ненавистью, страхом и надеждою.

Иуда Искариот читал письмо за письмом. Не видно было по его лицу, доволен ли он новым своим приобретением. Он сказал наконец очень спокойно:

— Мими вас очень любит.

Генрих Зонненберг сказал:

— Да, она для меня готова на все.

Иуда Искариот спросил с неискренним любопытством:

— Правда? И эти бумаги?

И он принялся перелистывать похищенные графинею Мими бумаги.

Генрих Зонненберг слегка смутился, но, пряча смущение под развязностью тона, сказал:

— Да, это ее рук дело.

Иуда Искариот внимательно прочитывал бумагу за бумагою. Наконец он сказал:

— Здесь есть кое-что очень ценное. Ценное, конечно, только для меня, в связи с тем, что я уже имею. Из писем графини Мими действительно интересно только одно. Остальные, впрочем, я тоже оставлю себе на всякий случай. Что касается вашего дела, я постараюсь его устроить.

Иуда Искариот улыбался. Смотрел прямо в глаза Генриху Зонненбергу своими омерзительно-ясными глазами.

Вдруг Генрих Зонненберг почувствовал, что голова его кружится, и ему показалось, что пол качается под его ногами.

Страшная мысль внезапно поразила его: «Где же ручательство в том, что Иуда Искариот исполнит свое обещание? Предать меня, как и других, что стоит предателю?»

Но, словно читая его мысли, Иуда Искариот сказал ему:

— Вы можете не сомневаться. На этот раз я, по всей вероятности, вас не обману. Едва ли мне представится расчет предать вас. Я даже рассчитываю, что вы еще будете мне полезны. Конечно, вы в моих руках, — для этого вы мне достаточно рассказали, — и продать вас я не постеснялся бы, — продали же и вы женщину, которая вас так любит, — но кто же вас купит? Итак, до приятного свидания. Вернее всего, что уже дня через три ваше дело будет решено.

Наивные встречи

I

Только Он и Она. Конечно, Он старше. Она очень молода. Но не все ли равно, сколько им лет? В его памяти неизгладимы навеки несколько мгновений, две-три встречи.

Навеки остался в памяти у Него ярко-солнечный миг морозного дня на перекрестке туманных улиц громадного северного города и встреча с Нею.

Одна в толпе равнодушно закутанных и спешащих прохожих шла Она, вся раскрасневшаяся от мороза, в легких светло-серых мехах. Ярким румянцем пылали ее щеки, и горели ее черные глаза так ярко, так юно, так весело! И губы ее, нежно-алые на морозе, улыбались, — морозу, солнцу, толпе, молодости своей и веселью. Она шла и улыбалась, счастливая, опьяненная счастьем бессознательно юным, — нет, еще не счастьем даже, а его радостным предчувствием.

Как на одесском портрете Монье лицо Елисаветы, ее прекрасное лицо было обвеяно упоением сладостно-легкой жизни, восторгом пробуждающегося бытия.

Она шла в дивном восторге мимо Него и уже почти прошла, не заметив, — и вдруг взор ее черных, радостно смеющихся глаз упал на Него. И зарадовались оба, — и весь внешний шум и свет погас

для Него, и только одно было ее лицо, раскрасневшееся на морозе, с нежно-алыми губами, обвеянное восторгом, опьяненное радостным предчувствием неведомого счастья.

Он подошел к Ней, пожал ее тонкую руку в мягкой теплой перчатке. Он и Она говорили что-то, незначительное. Не все ли равно что!

Он спросил Ее:

— Вам весело? Вы рады?

Она ответила Ему звенящим от радости голосом:

— Так хочу радости и смеха в этот день! Если бы даже горе было и слезы, я бы радовалась и смеялась.

Он тихо спросил:

— Чему?

Уж в душе его редкою и недолгою гостьею бывала радость, и усталость все чаще томила, и суровыми укорами уже была в его глазах развенчана прекрасная, но злая царица Жизнь, щедрая подательница бед.

Она смотрела на Него, широко открыв удивленные, радостные глаза. Он повторил вопрос:

— Чему бы радовались?

— Я не знаю, — сказала Она. — Я хочу радости, — разве этого мало? Мне весело. А вам? Вы не рады?

— Я рад тому, что вас встретил, — ответил Он.

Она засмеялась и сказала:

— Вы все шутите. Нет, вы серьезно скажите, — вам не хочется смеяться и радоваться?

— Мало ли что нам захочется, — сказал Он. — Вам легко, у вас нет ни забот, ни огорчений.

— Ну вот, почему нет! — воскликнула Она. — И плачешь иногда. Так что ж!

— О чем же вы последний раз плакали? — спросил Он.

Она сказала с радостным укором:

— Стоит вспоминать! Так, с мамою что-то. У нее нервы расстроены, — у нее неприятности, она так раздражительна. Ну да что, стоит ли вспоминать!

Шли, разговаривали, — Он, обрадованный только Ею, Она, вся обвеянная восторгом произвольной радости, по воле творимого ликования.

II

Прошли дни. Была весна. Другая встреча.

Поля слегка туманились. Перед забором сада было тихо. Тонкая сосенка на дороге перед калиткою сладко дремала, погруженная навеки в милую свою бессознательность. Слезы прозрачного смолистого сока застывали на ее коре, — слезы Бог весть о чем. Серела пыль на дороге, и мягки были в вечерней мгле очертания дорожных колей.

Заря вечерняя уже погасла, но весь мглистый воздух был пропитан мечтанием о тихой заре вечерней. И над ними, над двумя, в безмолвном воздухе вечернем трепетал вешнею радостью тихий лепет мечты.

Они сидели на скамейке у забора. На Нем была светло-серая одежда; под белою полоскою крахмального воротничка краснел узкий галстук; темным пятном нависла над лицом желтая соломенная шляпа.

Она была в легком белом платье. Ее стройные руки были открыты, еще не было загара на ее прекрасном лице, и белы были ее босые ноги.

Он и Она говорили о чем-то. И молчали. И прислушивались к далекому плеску речки на порожистом русле о покрытые пеною камни.

— Пора домой, — сказала Она.

— Посидите еще немного, — просил Он.

— Ну еще пять минут, — сказала Она.

Нежно глядя на ее белые босые ноги, спросил Он:

— Вам не холодно?

Слегка краснея, Она спрятала ноги под платье и сказала:

— Немножко сыро ногам еще с непривычки. Мама бранится иногда, а я ни за что не хочу надеть башмаков. Так весело ходить боси-

ком. И немножко стыдно. И это тоже весело и забавно. Такая мягкая земля под голыми ногами, такая нежная под ногами пыль.

— А песок? — спросил Он.

— С непривычки немножко больно, — сказала Она. — Так щекочет. Но я непременно хочу, чтобы привыкнуть.

— А зачем это вам? — спросил Он.

Такой городской, так привыкший к асфальтам и камням столицы.

Она улыбалась и говорила:

— Так. Так хочу. Люблю, люблю мою землю. Она темная, и нежная, и суровая. Как мать, суровая и нежная. Лелеет, ласкает, — и не балует, и мучит иногда. И все, что от нее, радостно.

Он тихо сказал:

— Да ведь от нее и смерть!

Она сказала с восторгом:

— Ах, все от нее радостно! Я такая городская, а здесь я точно нашла сама себя и от радости и счастия словно пьянею. Так тороплюсь насытиться воздухом и светом, и так радостно погружаться в холодную воду в реке, и так весело приникнуть к земле обнаженными ногами. Так хочу быть радостною и простою, как девушка дикого племени где-нибудь на острове среди далекого океана.

Она замолчала. И ясное выражение счастия было на ее лице.

Он смотрел на Нее, любовался Ею. Она откинулась на спинку скамейки, мечтательно глядела прямо перед собою, и из-под края ее платья опять стали видны положенные одна на другую легкие, тонкие стопы ее белых ног.

Он слегка дотронулся до ее рук, скрещенных на коленях и тихо спросил:

— Отчего же вы не хотели сегодня днем идти со мною гулять?

Она улыбнулась и тихо сказала:

— Так.

— А завтра пойдете? — спросил Он.

— Нет, еще не завтра, потом, — сказала Она.

— А почему не завтра? — спрашивал Он.

С милым выражением откровенности Она говорила:

— Мне еще пока стыдно, что у меня такие белые ноги. Глупые, бедные, белые ноги. И я жду, когда они хоть слегка покроются загаром. А надеть башмаки ни за что не хочу. Люблю мою землю.

И тихо повторяла Она:

— Люблю мою темную землю. Люблю. Люблю.

Радостное волнение охватило Ее. Грудь ее дышала трепетно и неровно. Легкая дрожь пробегала по ее телу. С мечтательным восторгом смотрели во мглу ее черные глаза, и нежно-алые уста повторяли сладкое слово:

— Люблю. Люблю.

Свирельно звенящим звуком трепетало это вечно радостное слово, и каждый раз оно звучало все новым волнением и все иным, все более сладостным восторгом. И уже Она словно задыхалась от восторга и сладостной печали, и свирельными стонами и вздохами перемежалось вечно ликующее слово:

— Люблю, ах, люблю!

Он подвинулся к Ней. Она доверчиво прижалась к Нему. Он смотрел на ее лицо. Оно было бледно. Из ее глаз текли слезы. Она плакала и улыбалась, — и слезы ее были слезы юного восторга и сладостной, вешней печали.

Он обнял Ее, и поцеловал ее нежную щеку, и повторял:

— Милая, милая!

И ощущал трепет ее тела, и слышал ее замирающие стоны:

— Люблю.

И тогда спросил:

— А меня ты любишь?

— Ах! — воскликнула Она.

И вся занялась радостью, и задрожала, и целовала Его нежно, повторяя:

— Люблю тебя, люблю!

И вдруг легким и быстрым движением Она освободилась из его объятий. Шепнула:

— Милый, прощай! До завтра.

С тихим скрипом калитка раскрылась и опять закрылась. И уже Она в саду. В густой тени молчаливых деревьев слабо белеет ее пла-

тье. На темном и сыром песке дорожек мелькают ее белые босые ножки. И вот Она скрылась за поворотом дороги, там, где из-за деревьев едва виден огонь лампы на террасе.

Он долго стоял у калитки. Глядел на деревья в саду, которые осеняли Ее сегодня. Глядел на дорожки, хранящие следы ее милых ног. Мечтал о чем-то. Был счастлив и печален. И счастьем, и печалью были напоены его мечты.

Потом привычным движением горожанина Он вынул из жилетного кармана часы, взглянул на них, подумал, что уже поздно, что уже пора спать, и пошел домой.

Закурил папиросу. Помахивал тросточкою.

Поля были туманны и теплы. На реке кто-то неуемно-шаловливый плескался струйками вечно бегущей воды.

Он тихо шел, о Ней мечтая. Каблуки его сапог мягко вдавливались в серую пыль проселка. Красный кончик его папироски чертил в мглистом воздухе неровный огненный путь.

Человеку в серой удобной и красивой одежде захотелось быть таким же, как Она, радостным и простодушным, — но где же взять наивности и простоты?

У природы научиться?

Но природа молчала и томилась вечным ожиданием того, кто должен прийти и кто все еще не приходит.

VIII

Прошли дни. Был день ясный и знойный. Он и Она шли в полях. Он опять в том же светло-сером костюме и в соломенной шляпе. Она в легком белом платье. У Нее на голове пестрый шелковый платочек; босые ноги слегка загорели.

И опять радостный смех на ее алых губах, и восторг в черных глазах, и щеки рдеют. И говорят о чем-то, — не все ли равно о чем!

И опять вопрос:

— Ты меня любишь?

И тот же все сладостный ответ:

— Люблю тебя, люблю.

Она смеется, — ясному небу, зеленым травам, тихо веющему Ей навстречу ветру, птичкам и тучкам, всему, всему, и говорит, — и свирельно звонок ее легкий голос:

— Люблю мою землю, и камешки, и серенькую пыль под моими ногами, и траву, и цветы полевые, кашки и ромашки.

Смеется и говорит:

— Милые кашки и ромашки, я вас люблю. А вы меня любите?

Зыбкий бежит по лугу ветер, и колышутся полевые цветочки, кивают Ей глупыми своими головками.

— Все тебя любит, — говорит Он Ей. — Ты идешь, как воздушная царица радостных стран, и земля приникла к твоим ногам и лобзает их нежно.

Она смеется, и сияет ликующею радостью, и идет среди трав и колосьев, как царица радостной страны, далекой. И зыбкий ветер целует ее ноги, и солнце, милое солнце ясного дня, рассыпает у ее ног золото своих горячих лучей.

Потом... а не все ли равно, что потом было? Была жизнь, и события случались и будут случаться. Дни за днями идут и будут идти. В докучном шуме злых дней померкнет радостное сияние простодушной мечты, и ликованию безмятежной радости положен будет предел. Но что же такое! А все в памяти неизгладимы эти наивные часы, эти радостные встречи и этот милый лепет мечты и счастия.

Счастия, творимого по воле.

Одно слово

I

Никогда с такою приятностью не вспоминается нам лето, как в самые темные зимние дни. И еще если при этом переживаешь одиночество, разлуку с любимым, томишься печалью о быстро промелькнувших, невозвратных годах молодости!

Константин Михайлович Сладимов, человек почти богатый, малозанятый и еще не старый, начинал свой декабрьский день только после полудня.

В обширной, красиво обставленной квартире Сладимова было безлюдно и тихо. Прошло уже четыре года с того дня, как жена Константина Михайловича ушла от него. Их единственного ребенка, мальчика Сергунчика, он отдал ей.

Теперь Константин Михайлович жил один, странною, нелепою жизнью обеспеченного, ничем особенно не занятого и уже начинающего стареть человека.

Проснувшись поздно утром, часто с головою, тяжелою от излишне выпитого вчера вина, Константин Михайлович еще долго лежал в постели.

Ни одного внешнего звука не доносилось к нему из-за тяжелых, бесшумно-мягких портьер и занавесей темной спальни. Тусклые, раздавленные мокрою мглою лучи серо-облачного дня не пробивались сквозь эти строгие занавеси. Только потому, что уже не хотелось ему спать, знал Константин Михайлович, что там, где-то, влечется день трудов и злости. Константин Михайлович повертывал один из бронзовых выключателей у постели, — вспыхивали тонкие, молочно-белые ниточки в стеклянной груше под потолком, и возникала необычайная опять в своей замкнутости обычность, неподвижная жизнь зеркал, бронзы, мрамора, красного дерева и пышных тканей.

Константин Михайлович не торопился вставать. Он вспоминал.

Обыкновенно вспоминались ему вчерашние встречи в театре, на улице, у знакомых, в клубе, на бегах, на скетинг-ринке. И вот перед ним проходила яркая, цепкая вереница ненужных, надоевших давно лиц, — любезно улыбающиеся дамы, — развязно-неловкие девицы, — молодые люди, облеченные в черные смокинги и фраки, те вылощенные юноши, молодость которых всегда кажется преувеличенною, — и люди пожилые с такими достойными манерами, что все они казались послами великих держав или отдыхающими министрами.

О каждом из таких людей Константин Михайлович знал какой-нибудь пакостный случай, анекдот, сплетню, по секрету рассказанное, но всем известное приключение. И хотя Константин Михайлович знал и то, что и о нем самом говорят многое, столь же пакостное, — одно бегство жены сколько дало пищи злым языкам! — он все же не мог отказать себе в удовольствии презирать этих людей его общества.

Людей из другого общества Константин Михайлович почти никогда не вспоминал, не потому, что не любил их, и не потому, что брезгливо сторонился от них, а только потому, что с детства не привык думать об этих людях иначе, как только слегка и недолго. Он совершенно искренно считал себя человеком особой, высшей расы, одним из носителей утонченной культуры.

Иногда Константину Михайловичу вспоминалась его жена Татьяна Алексеевна. Особенно часто почему-то он стал вспоминать ее в последнее время. Вместе с ее образом в душе Константина Михайловича бурно поднимались острые, смешанные чувства вновь оживающей любви, жалости, ревности и безумного гнева.

Константин Михайлович пытался покрыть эту бешеную смуту чувств холодным презрением, — но не было холода презрения в его душе, и воспоминания жгли и жалили его тем больнее, чем светлее были милые образы воспоминаний, образы нежной идиллии. Тогда Константин Михайлович звонил, — шустрый сероглазый мальчуган казачок в серенькой узкой одежде и в сереньких мягких башмаках приносил газеты, — новости, сплетни, болтовня, суета и смута наших дней...

II

Константин Михайлович, в английском синем, мягком халатике выходил поздно из своей спальни, приближался неторопливо к среднему окну своего обширного, опрятно-холодного кабинета с очень строгою обстановкою и долго смотрел на улицу.

Был декабрь, а погода в тот год стояла еще осенняя. Люди, которые всегда все знают, говорили, что это из-за той самой кометы, которая прошла мимо земли весною, рассыпаясь от дряхлости.

На серой, тусклой улице мостовая темнела, мокрая и грязная. Некрасивые дома пялили на улицу мокрые глаза темных окон, и некрасивые вывески грузно свешивались над унылыми стеклами магазинов. Хрупали о камни копыта дымящихся извозчичьих лошаденок, и, упруго дрожа на резинках, проносились дрожки с поднятыми верхами, кожа которых тускло поблескивала сквозь серую пасмурность мокрого дня.

По мокрым, скользким тротуарам шли неуклюжие, измокшие люди в тяжелых, грубых одеждах. Кувалды-барыни топырили над собою черные зонтики и тыкали ими в котелки встречных чиновников.

Через дорогу перебиралась девочка в коротком синем платьице, кутаясь в большой темно-серый платок и осторожно ставя на верхи камешков тонкие ножки в забрызганных ботинках и видных до колен черных чулках. Прямо на нее, тяжело грохоча и покачивая грязно-зеленою дугою с черными разводами, катилась телега с серыми кулями, — но девочка запрыгала поживее и перебежала под самою мордою смиренного ломовика.

Была скука разлита в сером воздухе, и серою скукою отравлены были прохожие и проезжие, да и стены тусклых домов, и плиты докучных тротуаров, и ржавое железо вывесок, — все это неподвижное и бездыханное переняло у человека его скуку и томилось, скучая, тоскуя.

Тогда опять вспоминал Константин Михайлович лето в далекой деревне, где встретился он с милою своею Таточкою, где над тяжелою запутанностью его нечистой, угарной, слишком городской жизни возникла нежная очаровательница, невинная, легкая, простодушная любовь.

В мечте снова вставали навсегда милые места: длинная аллея таких веселых, празднично-нарядных, зеленолистных и белоствольных берез; мелкие камешки на дороге и легкоозначенные на ней колеи; старый помещичий дом с просторными залами, с уютными покойчи-

ками, с укромными, темными переходами; старый, широко разросшийся сад, где были такие тенистые дорожки и такие милые скамейки и беседки; причудливо вьющаяся речонка у самого сада и к ней спускающийся глубокий овраг, заросший ломким кустарником. И милое Таточкино лицо, улыбка милая, и легкий, звонкий смех, и ручки маленькие и загорелые.

Три-четыре образа особенно часто повторялись в памяти Константина Михайловича.

Вот в зале за старым роялем сидит Таточка. По клавишам быстро бегают тонкие пальчики. И такие нежные, звенящие сладостно звуки льются в легкий сумрак предвечерний, что плакать хочется и смеяться от счастия и печали, и смотреть, смотреть на ее тонкие плечики.

Вот на реке вечереющей в лодке легкой и зыбкой они двое, — он гребет, Таточка на руле. Заслушалась его рассказов, и лодка тянет к берегу, и шуршит бортом о зеленый камыш. Смеется Таточка:

— Чуть на мель не сели!

Вот утром Таточка идет с реки по тропинке мимо рощи домой. Она только что купалась. Волосы ее влажны, лицо нежно румянится, веселыми кажутся быстро мелькающие босые ножки. Увидела идущего навстречу Константина Михайловича, застыдилась легко, прикрыла зардевшееся лицо свернутым полотенцем, убежать хотела, да передумала и, улыбаясь, подошла к нему. Такая милая, зардевшаяся, стоит перед ним и говорит веселые слова.

III

А впрочем, что же вспоминать! Ничего особенного не случилось. Все было, как у всех, — Константин Михайлович и Таточка влюбились друг в друга, потом поженились.

Родные его и ее были довольны. Все находили, что Сладимов и Таточка как нельзя лучше подходят друг к другу.

Несколько лет жили они мирно, счастливо, беспечно. Родился скоро мальчик. Больше детей у них не было.

Первая, нежная влюбленность прошла, сменилась тихою любовью. Потом как-то уж очень скоро привыкли они друг к другу. Те радостные, золотистые нимбы, которые чудились ему над головою милой и ей над головою милого, мало-помалу полиняли, а там и вовсе смылись. И все в их жизни, пока еще согласной, понемногу стало обычным, докучным и пресным.

Но Константин Михайлович остался верен своей Таточке, а вот Таточка ему изменила. Увлеклась красивым инженером, холодным и пустым фразером, и ушла с ним от Сладимова. Ушла, а сына себе выпросила, — и Константин Михайлович с нею не спорил.

С тягостным злорадством думал теперь Константин Михайлович о том, что счастия не было Таточке. Инженер скоро ее бросил, — завел более выгодную связь.

Константин Михайлович, конечно, посылал Татьяне Алексеевне денег на воспитание сына. Этих денег едва хватало. К своим родным Татьяна Алексеевна стыдилась обращаться. Константин Михайлович знал, что его Таточке живется не сладко.

«Ну и пусть!» — досадливо думал он.

Иногда приходила ему в голову мысль, что надо бы денег посылать побольше Таточке. Но он гнал от себя эту мысль.

«Пусть работает», — думал он.

И Татьяна Алексеевна работала, как умела.

В толпе торопящихся к трудам людей, снующих под окнами этой дорогой квартиры, проходила иногда, может быть, и она. Может быть, взглядывала торопливо и робко на эти окна и спешила пройти поскорее.

Иногда Константину Михайловичу хотелось узнать все еще милые черты своей Таточки в лице одной из быстро проходящих женщин; иногда что-то в походке, в манере держать зонтик напоминало ему Татьяну Алексеевну. Всматривался и убеждался, что ошибся.

Константин Михайлович отходил не спеша от окна и одевался, как всегда, тщательно. На улице же его ждал экипаж.

Спускаясь по темно-красному ковру красивой и светлой лестницы и потом проходя в широкую зеркальную дверь подъезда

мимо почтительно изгибающегося швейцара, Константин Михайлович думал почему-то, что есть в городе лестницы со двора, темные, с истертыми ступеньками, лестницы, где пахнет кухонным чадом и кошками, где за каждою обшарпанною дверью таится кто-то бледный, с усилием старающийся свести какие-то концы с какими-то концами. И его милая Таточка ходит по такой лестнице, ходит в старенькой жакетке и в старомодной шляпке и тоже думает об этих концах.

Константин Михайлович усмехался злорадно и думал: «Ничего, ходит, — привыкла!»

IV

Ходит Татьяна Алексеевна Сладимова по грязной лестнице, где пахнет кошками, — ничего, привыкла.

Но как-то часто и Татьяне Алексеевне стало припоминаться то лето и та ее любовь, первая. И полинявший нимб над головою милого зажигался снова, и новая была в нем прелесть, — заманчивая прелесть недоступности.

В серой, темной и тошной будничности, к которой Татьяна Алексеевна уже привыкла, возникали опять волнения прежней, казалось, навсегда погребенной любви. И все чаще и чаще томило ее сознание недоступности того маленького рая на земле, который она сама отвергла, сознание невозвратности былого, милого счастья.

Недоступное, невозвратное! Но так ли это? Так хочется сердцу верить! И разве есть невозможное? Разве упорная всегда воля человека уже не творит и в наши дни чудес?

Чудо из чудес, — рождение и воскресение любви, ты воле человека, тебя жаждущего, разве не подчинишься?

V

Однажды вечером, когда скучная лампа горела над белою скатертью стола и маленький румяный гимназист — второклассник Сер-

гунчик с озабоченно-скучающим лицом учил скучные на завтра уроки, Татьяна Алексеевна вздохнула и сказала негромко:

— Сергунчик!

Мальчик, хмуря брови, взглянул на мать, положил палец на необходимую ему строчку и спросил:

— А? Что, мама?

— Не написать ли нам отцу? — спросила Татьяна Алексеевна. — Может быть, он нас опять к себе возьмет.

Сергунчик оживился, а Татьяна Алексеевна уже упрекала себя, зачем сказала это мальчику. Надо было написать, не говоря Сергунчику. Ведь еще неизвестно, что ответит Константин Михайлович.

А Сергунчик болтал оживленно, забывая о своих уроках, и торопил ее:

— Пиши же, мама, скорее. А то мы не успеем на Елку переехать к папе.

Татьяна Алексеевна писала, а Сергунчик стоял, нагибаясь за ее плечом, повторял шепотом каждое слово и плакал от умиления и восторга.

Свет от лампы был холоден и тих, — белая штора на окне висела неподвижная, не живая, — от железной в углу печки слабо веяло приторным, не живым теплом, — тень от стола лежала на полу широкая, тупая и холодная, — все вокруг враждебное было и не живое. Только в лампадке перед образом мерцал живой, таинственный огонек, — но жизнь, которая была в нем, иная была, не здешняя.

Татьяна Алексеевна писала:

Милый Константин Михайлович, тяжело и грустно живется мне. Тот, с которым ушла я от вас, меня оставил, — и поняла я, что между нами никогда и не было настоящей любви. Когда прошли первые дни этого внезапного и безумного увлечения, мы оба увидели ясно, что ничто прекрасное и высокое не соединяет нас. Мы расстались, — и теперь только со стыдом и отвращением я вспоминаю угарные минуты нашего сближения.

Вот живу я с моим Сергунчиком, жизнь моя наполнена заботами о нем, работаю для него, а сама я точно не живая, — живу — не живу. Точно и нет жизни, точно только и есть заботы, что забота о каждой копейке, дума о том, как бы концы с концами свести. Но не стала бы я писать вам обо всем этом, если бы опять в душе моей не

проснулось то, что когда-то мы с вами переживали вместе так хорошо, так молодо, так искренне.

Помните ли вы то лето, навсегда для меня милое, когда вы мне сказали, что полюбили меня? Милый мой, любимый, любите ли вы меня еще хоть сколько-нибудь? Можете ли вы когда-нибудь простить мне то злое, что я вам сделала?

Если бы вы знали, как устала я в моей печальной и трудной жизни, вы, конечно, пожалели бы меня. Вот я пишу вам, я прошу вас, как просит у чужого порога голодная, озябшая на дороге нищенка, — пустите меня к себе, возьмите меня. Даже не прошу, чтобы вы меня простили теперь же, — будьте со мною неласковы и строги, очень строги, — только бы мне видеть вас иногда, быть около вас, слышать звук ваших слов, хотя бы и не мне сказанных.

Вам трудно, может быть, неприятно найти для меня слова привета, — ответьте мне хоть кратко. Хоть одно только слово напишите мне, чтобы я знала, могу ли я прийти к вам. А если и «нет» вы мне скажете, вы будете правы.

Ваша Татьяна.

Я хотела подписаться «Таточка» и почему-то не посмела. Боюсь вас, мой милый, любимый, желанный мой.

VI

Туман стоял на тусклых улицах, и не было дня; темное утро, не одолевшее мглистого тумана, сменялось сырым, дождливым, быстро темнеющим вечером. Равнодушный свет электрической лампы мертво лежал на зеленом сукне стола в кабинете Сладимова и на белой бумаге Таточкина письма.

Константин Михайлович читал и перечитывал это письмо. Радость и злоба жили в нем, любовь и ненависть одновременно.

Таточка, милая Таточка, та самая, чей смех звенел, такой чистый, в аллеях старого сада, чей взор, такой ясный, там, на озаренных лучами ясного заката просторах сладостно очаровывал его душу, Таточка опять придет к нему. Таточка, чьи тонкие ручки наполняли сумрак предвечерний звенящим благоуханием звуков, чьи легкие ножки погружались в прохладные росы утренних трав!

Жена, его обманувшая, ему изменившая, покинувшая его, замкнувшая вокруг него тяжелую черту одиночества и злорадства, — эта ненавистная женщина опять стучится в его двери.

И он пустит ее?

Коварно улыбающаяся, лживая, она опять будет с ним, на его ложе и за его столом? Властная, войдет в его жизнь госпожою, хозяйкою войдет в его дом?

Милая, придет, поцелует и будет ласкать его, как тогда, в первые дни и в первые ночи.

Будет ласкать его, как ласкала своего любовника!

Теперь униженная и робкая, она скоро поднимет голову.

Но пусть придет, пусть! И будет плакать, и просить...

Злые желания и жестокие томили Константина Михайловича. Бросить ей в лицо все слова, рожденные в тоске одиноких дней и ночей, все беспощадные слова! Унизить, измучить прекрасную, все еще милую, — тем больнее измучить, чем жальче будет мучить ее!

Или простить, забыть? И сладко будет помириться?

Она просит от него теперь только одного слова, — она получит это слово, одно слово, которого она ждет и которое все же будет неожиданным для нее.

Решительными движениями Константин Михайлович достал лист бумаги, написал одно слово, только одно, быстро заклеил конверт, написал адрес, позвонил, отдал письмо пришедшей на звонок стройной, миловидной Глаше и сказал:

— Опустите в почтовый ящик сейчас же.

VII

Пришло письмо вечером. Дрожали пальцы у Татьяны Алексеевны, когда она разрывала конверт. Сергунчик смотрел с любопытством и спрашивал:

— От отца? да? от отца?

Татьяна Алексеевна молчала. Раскрыла письмо. Вот оно, — одно слово, холодное, суровое. Только одно, но зато какое слово!

Лицо Татьяны Алексеевны багряно вспыхнуло. Как-то странно замережили очертания предметов, — сквозь слезы.

Ни одного не нашел для нее ласкового слова. Такая жестокость!

Но не сама ли она этого хотела? И в самом деле, разве надо, чтобы душа у человека была как из гуттаперчи и чтобы все шло гладко, как ни в чем не бывало?

Так ей и надо. Или не надо? Должна ли она идти к нему, должна ли она перенести это жестокое, подчиниться тому, что сказано этим одним словом?

Должна. Для себя, для Сергунчика. Или не должна? Так страшно ей стало и стыдно, — но иначе как же быть? Вот суровое одно слово, — но это слово от него, от милого, от любимого. Или и от любимого нельзя этого стерпеть?

Пусть решит Сергунчик. Ведь этого же она не для себя только захотела, а и для Сергунчика. Чтобы у него была Елка, был дом, был отец. Ну вот, пусть Сергунчик и решает.

Татьяна Алексеевна медленно сказала:

— Вот, Сергунчик, прочти, что написал отец. Прочти и скажи, что мне делать, идти к нему или уж лучше здесь остаться. Как ты скажешь, так я и сделаю.

Отдала письмо Сергунчику и смотрит на него глазами, полными слез. Прекрасные глаза, полные слез!

Как покраснел Сергунчик! Звенящим странно голосом сказал:

— Только одно слово!

И заплакал.

Ласкала своего Сергунчика Татьяна Алексеевна и спрашивала:

— Что же мне делать, Сергунчик?

И улыбалась. И уже не было печали и смуты в ее душе. Как скажет Сергунчик, так и будет. Долго плакал Сергунчик и наконец сказал:

— Что ж, мама, уж если ты захотела вернуться к папе, так пусть так и будет. Пойдем к отцу, милая мама, — и ничего не бойся, — это пройдет, и опять будет хорошо.

Татьяна Алексеевна вздохнула и сказала спокойно:

— Хорошо, Сергунчик. Завтра пойдем.

И уже не стыдилась, не боялась. Пусть будет что будет, — вернутся счастливые дни, и венцы счастия и радости засияют снова.

VIII

На другой день к вечеру Татьяна Алексеевна и Сергунчик поднимались по широкой с цветами и с зеркалами лестнице в бельэтаж, к дверям квартиры Сладимова. У Татьяны Алексеевны щеки, все еще такие нежные и прекрасные, горели от стыда, и тяжело билось в груди сердце. И Сергунчик был взволнован и тревожно посматривал на мать.

Завидя знакомую дверь, еще ярче зарделась Татьяна Алексеевна, остановилась на одной из верхних ступенек, — и уже готова была повернуться и бежать. Но уже на звонок, данный швейцаром, открылась бесшумная дверь, и на пороге показалась в белом передничке и в гофрированном чепчике Глаша, — та же горничная, которая еще при Татьяне Алексеевне была взята.

Глаша весело говорила:

— Пожалуйте, барыня! Мы все так рады были, когда барин нам сказали, что вы вернетесь. Мы все так о вас жалели.

Веселая улыбка была на Глашином лице, но казалась она Татьяне Алексеевне насмешливою. С неловкостью, разлитою во всем теле, исполосованная бичами стыда, Татьяна Алексеевна вошла в переднюю.

Все, как при ней было, стояло и теперь, здесь, и в зале, видном из передней. И было тихо там, в глубине безмолвных комнат, там, где затаилось то, что будет.

Что-то говорила Сергунчику и Глаше Татьяна Алексеевна, сама не слыша своих слов. Что-то отвечала ей Глаша.

Сергунчик нерешительно вошел в залу и с любопытством рассматривал полузабытые предметы. Ждал, когда отец к нему выйдет. Давно не видел отца!

Глаша, улыбаясь, сказала Татьяне Алексеевне:

— Пожалуйте, барыня, уже все для вас приготовлено.

И пошла в ту сторону, где и прежде были комнаты Татьяны Алексеевны. И за Глашею тихо и робко шла смущенная Таточка, — и не знала, радоваться ей или плакать.

Земной рай

I

— Хандришь?

— Хандрю.

— И все валяешься на этом диване?

— Ну и валяюсь.

Спрашивал гость, веселый молодой человек, Павел Павлович Елисейский. Отвечал хозяин, молчаливый и ленивый холостяк среднего возраста, Андрей Сергеевич Ласточкин. Гость ходил по мрачному кабинету, хозяин лежал, книга валялась на темно-зеленом ковре рядом с диваном.

У гостя блестели белые зубы (одоль), черные волосы на голове, усах стрелками и коротко постриженной бородке (ориантин) и веселые темно-карие большие глаза (атропин). У хозяина все было тускло и уныло. Только ногти были длинны и вылощены.

Елисейский сказал:

— Знаешь что? Тебя надо вытащить, а то ты совсем закиснешь.

Ласточкин хмуро усмехнулся и сказал лениво:

— Вытаскивай.

Елисейский оживленно говорил:

— Я повезу тебя в «Земной рай».

— Это что же такое? — спросил Ласточкин.

Елисейский воскликнул с удивлением:

— Да неужели ты не слышал? Да ведь об этом милом учреждении весь город говорит.

Ласточкин спокойно возразил:

— Я не слышал. Я сижу дома, газет не читаю, никого к себе не пускаю и удивляюсь, как это тебя сегодня ко мне пустили.

Елисейский махнул рукою.

— Оригинал! — сказал он примирительно. — Ну слушай, я тебе расскажу.

И он, сверкая белыми зубами, принялся с восторгом описывать «Земной рай», обширный сад за городом.

Там всякий чувствовал себя так легко и приятно, словно в раю. Были увеселения там, и музыка, и несколько театров, и все для спорта. Главная же прелесть этого сада заключалась в том, что воздух в саду был напоен какими-то неведомыми ароматами, состав которых оставался пока тайною изобретателя. Под влиянием этих ароматов посетители становились невинно-веселыми, как дети, и спадали с них тягостные узы городских условностей.

Разнеженность смутных мечтаний возникла над туманною нестройностью в душе Ласточкина. Жажда невинных радостей прельстила его. Он встал с этого постылого и в то же время милого дивана, на котором так лениво дремалось, на котором такие тоскливые и унылые рождались в его голове мысли.

Сказал гостю:

— Ну что ж, я, пожалуй, поехал бы. Только лень одеваться.

Елисейский сказал:

— Ну вот, я подожду.

Ласточкин подошел к зеркалу. Всмотрелся в свое желтое лицо. Сказал досадливо:

— А что надеть надо?

— Да просто фрак, — сказал Елисейский таким тоном, как будто фрак был для него самою простою формою одежды.

II

Через полчаса Ласточкин был готов. Вышли на улицу.

Мостовые были непривычно сухи и обнажены. Поэтому улицы стали громкими и говорить с извозчиками было трудно. Впрочем, эту обязанность взял на себя Елисейский. Ласточкин заметил только, что извозчик запросил пять рублей и согласился ехать за три.

Ласточкин спросил:

— Что ж, это очень далеко?

Елисейский молча усмехнулся. Сказал:

— Ты не беспокойся. Я такого извозчика нанял, что он живо домчит.

Ласточкин замолчал. Всю дорогу ограничивался только редкими и краткими репликами на болтовню Елисейского. А Елисейский говорил непрерывно. Ласточкин думал о своем.

Всегда возвращение весны в этом громадном северном городе, на эти великолепные граниты, приводило его в мечтательное, элегическое настроение. Смирялась в душе его та злость, которая осенью и зимою всегда томила его в шумном многолюдстве центральных улиц и популярных сборищ. Уже толпа на улицах и в ярко освещенных залах не казалась его тоскующим очам сонмищем нагальванизованных трупов.

По тротуарам людных улиц шли милые девушки и улыбались розовеющему на их румяных щеках закатному сиянию с просторно-голубых небес. Элегантные дамы в бесшумно несущихся экипажах казались царицами радостных стран; легкому трепету белых перьев на их шляпах отвечал тонкий трепет легко веемых теплым с моря ветром вуалей и лент. Черные цилиндры и черные квадратные бороды самодовольных рыцарей индустрии и биржи красиво вмешивались в блистательную пестроту гвардейских мундиров.

Там, на гулких тротуарах, где мелькали котелки, фуражки с кокардами, мягкие шляпы, была густая мешанина всякого сорта людей. Для этой публики дюжие, небритые парни охрипшими с перепоя голосами предлагали букетики невинных беленьких цветочков; спрашивали за букетик по двугривенному, уступали за пятачок два букетика.

III

Наконец Ласточкин и Елисейский выбрались из шумной городской тесноты. Долго еще ехали они тусклыми улицами заречной стороны.

Здесь все было серо и просто, но тоже очень мило. Рваные ребятишки были веселы. На окнах деревянных домишек пестрели в горшках незамысловатые комнатные растеньица.

Деревянная настилка моста упруго звучала под колесами. Была река, широкая, милая и еще по-весеннему пустынная. А за рекою, на том берегу, виднелся длинный деревянный забор, и прямо против моста в заборе массивные, вычурные ворота. Над воротами вывеска, — на белом поле зелеными крупными буквами надпись: «Земной рай».

Стояло много экипажей в стороне. Вереница экипажей подъезжала к вычурно украшенным воротам.

Елисейский сказал:

— Ну вот и приехали.

Ласточкин с тупым недоумением, согнувшись на своем месте, осматривался вокруг. Что-то ему вдруг не понравилось, а что именно, он еще не мог понять. Захотелось опять, по-зимнему, спорить. Ворчливым тоном он сказал, не глядя на Елисейского:

— Стоило такую даль тащиться!

Елисейский уверенно возразил:

— А вот войдешь, так увидишь, стоило ли.

И видно было по его спокойно-радостному лицу, что он совершенно уверен в том, что «Земной рай» очарует Ласточкина.

А Ласточкин ворчал:

— По-моему, ужасно некрасиво все это, — и эта нелепая вывеска, и этот идиотский забор, и эти глупые ворота.

Елисейский мельком глянул на него, усмехнулся и сказал:

— Об этом я не стану с тобою спорить. Снаружи это действительно не производит хорошего впечатления. Но ведь это все наскоро и пока. У них все внимание было обращено на то, что внутри, и тут им действительно удалось достигнуть...

IV

В это время извозчик повернул к седокам обросшее рыжею щетиною лицо и промолвил угрюмо:

— Барин, деньги приготовьте. Полиция гонит, потому съезд большой.

Елисейский сказал:

— Готово, готово.

И сунул извозчику трехрублевую бумажку. Когда уже вышли, Ласточкин понял вдруг, что его раздражает. Он крикнул Елисейскому:

— Прощай, черт с тобою, я не пойду!

И сердито зашагал по желтой песчаной дорожке, проложенной вдоль забора.

Елисейский, уже вставший было в хвост перед кассою брать билеты, с растерянным и удивленным видом пустился догонять его. Говорил, слегка запыхавшись от неожиданности и торопливости:

— Послушай, Андрей Сергеевич, да что с тобою? С чего это ты? Уверяю же тебя, что там все очень прилично, и если ты думаешь, что что-нибудь такое, то уверяю тебя, что все как следует и ничего шокирующего нет.

Ласточкин спросил отрывисто:

— Что стоит вход?

Елисейский говорил:

— Собственно вход пустяки, всего три рубля. Там, конечно, есть еще разные местечки, но уж это по желанию, ну и там различная плата, в зависимости от того...

Так же сурово спросил Ласточкин:

— А у кого нет трех рублей?

Елисейский сказал с некоторым даже неудовольствием:

— Ну, у кого нет! Понятно, туда всякую шантрапу не пускают. Там все очень прилично и рассчитано на самую избранную публику.

Ласточкин едко переспросил:

— Да? На избранную публику? На ту самую, которая платит бешеные деньги прославленным гастролерам, хотя ни уха ни рыла не смыслит в искусстве?

Елисейский пробормотал смущенно:

— Ну зачем же так резко! Вовсе уж мы не такие профаны.

V

Ласточкин, не слушая его, говорил:

— Земной рай! Смотри, вот перед тобою берега прекрасной реки. Воды ее сияют в лучах заката. Небеса пустынно-торжественны над нею. Деревья на ее берегах томятся сладкою грустью бессознательного счастия. Влажные травы облелеяны тишиною и тайною вешнего вечера. Вот уже меркнет заря. Уже над рекою поднимаются легкие, прозрачные предвестники тумана. Сладостною завесою забвения закутается бедный мир придуманного людьми города. Нежными вздохами счастия и печали донесутся сюда из города отголоски людской суеты. Преображенный мир предстанет перед нами, чаруя нас опять и опять мечтательным предвещанием земного рая, рая без оград и без замкнутых ворот, без платы за вход, рая, доступного для всех. Видишь, там, на траве, на росе, белые мелькают пляшущие ноги отроков и дев, и свирель стонет нежно, и прозрачно-легкий колышется смех, трепетно-звенящий в очарованном смелою волею человека воздухе свободного навеки мира. Ты хочешь, несчастный, чтобы предвещательные мои мечтания я променял на утехи твоего придуманного ароматического сада за решеткой! Оставь меня, иди туда один, забавляйся, как умеешь, а меня оставь моей задумчивой печали и легкому томлению моих мечтаний.

И расстались они, — своею дорогою пошел каждый.

Помнишь, не забудешь

I

Предпраздничная веселая, но все же всем надоевшая, шумная суета кончилась. В квартире Скоромыслиных стало наконец тихо и по-празд-ничному легко. Запахи куличей, только что испеченных, вкусные, но тяжелые, смешались с легким, как сказка, ароматом духов.

Торжественные звоны, пушечные выстрелы, легкие гулы веселых голосов и стук колес и копыт по торцам мостовой слабо доносились в тишину и уют просторного кабинета, полузаглушенные тяжелыми складками портьер.

Николай Алексеевич Скоромыслин не пошел к пасхальной заутрене. Он всегда ходил в эту ночь в церковь вместе с женою и с детьми, а сегодня ему что-то занездоровилось. И настроение было тоскливое, совсем не праздничное.

Впрочем, в последнее время это с Николаем Алексеевичем нередко случалось, такое несоответствие его настроений с тем, что чувствуют и переживают все другие. Вокруг веселые люди смеются и шутят, — а Николай Алексеевич грустен, задумчив, ему скучно, он готов говорить всем неприятные слова. И наоборот бывает, — все вокруг волнуются, негодуют, плачут, — а он спокоен, даже иногда весел. Стали даже говорить знакомые, что у Скоромыслина тяжелый характер.

Николаю Алексеевичу просто не хотелось сегодня идти в церковь; недомогание было только предлогом, чтобы не сказать коротко и просто:

— Не хочу. Поезжайте без меня.

Потому, между прочим, не хотелось идти, что будет много знакомых в той церкви, — домовой, — куда они ходят потому, что имеют кое-какие связи с людьми, причастными к тому ведомству. Если пойти, то надо будет всем знакомым улыбаться, делать беззаботное лицо и говорить что-то легкое и никому не нужное, но совершенно обязательное в эту ночь. И вообще, как всегда со знакомыми, надевать маску общепринятого образца.

Ах, эти скучные маски! Отчего нельзя всегда быть самим собою!

Самим собою можно быть только тогда, когда остаешься один, совсем один, когда знаешь, что никто не постучится в дверь, когда можешь положить трубку телефона, чтобы не услышать докучного звонка. Только тогда спокойно можно отдаться мечтам и воспоминаниям, погрузиться в ту легкую задумчивость, которая слаще всего на свете.

Вот этого утешения захотелось теперь Николаю Алексеевичу.

II

Перед заутренею жена вошла к Николаю Алексеевичу в кабинет, шурша белым шелком нового платья, поправляя холодный, матовый жемчуг на теплой белизне стройной шеи, и сказала:

— Пора нам ехать. Неудобно приходить слишком поздно. А ты, Коля, поедешь?

Николай Алексеевич встретил жену привычно-ласковою улыбкою, поцеловал ее белую, стройную руку с кольцами, сияющими многоцветным блеском камней, на длинных, тонких пальцах, от которых пахло сладко и нежно, и сказал:

— Нет, я лучше останусь дома. Подожду вас. Полежу здесь. Голова у меня все еще побаливает.

— Да, конечно, — сказала жена, — раз что ты неважно себя чувствуешь, так лучше останься дома. А то еще простудишься. На улице холодно, и ветер такой холодный. Ты много работал в последнее время, — и это не хорошо. Не надо так утомляться.

Николай Алексеевич лениво усмехнулся и вяло возразил:

— Ну где там! Какая теперь моя работа! В городе совсем нет времени заняться как следует.

— Да, — сказала жена, — уж эта городская жизнь! Но ведь ты знаешь, Коля, для детей приходится. А я и сама очень не люблю города. Я бы и зимою охотно жила в деревне.

Николай Алексеевич тоже любит повторять, что не любит города, где так много пустых развлечений, встреч и разговоров, мешающих работе, где так поздно ложатся спать и так поздно начинают день. Городские жители, отравленные милым ядом городской жизни и очень влюбленные в соблазны этой шумной жизни, любят хулить нелепость и суету жизни большого города.

— Я дам тебе хинину, — сказала жена, — это тебе отлично поможет.

Николай Алексеевич попытался возражать:

— Ну вот, зачем! Ничего мне теперь не надо. Пожалуйста, не беспокойся. Я полежу спокойно, и все пройдет.

Но жена уже не слушала его. Она исчезла за темно-синею портьерою двери, легкая, как девочка, совсем не похожая на сорокалетнюю даму, на мать пятерых детей.

Через минуту она уже вернулась и легко, шурша недлинным шлейфом по синему, затянувшему пол, сукну, пробежала через комнату. Она держала в одной руке на блюдечке с розовым рисунком на фарфоре коробочку с облатками хинина и высокую рюмку с темною мадерою, — запить горький порошок.

Веселая, нарядная в своем белом, шитом тяжелым тусклым золотом платье, с полными белыми плечами и с полными стройными руками, открытыми по локоть, все еще красивая, с пылающими от безотчетной веселости щеками и с порозовевшими раковинками тонких, маленьких ушей, полузакрытых завитыми локонами, благоухающая какими-то легкими, как сладостная райская мечта, духами, она стояла перед Николаем Алексеевичем и требовала с ласковою настойчивостью, чтобы он принял эту ненужную для него пакость.

Николай Алексеевич шутливо вздохнул и развел руками, покоряясь неизбежному. Сказал:

— Ах, милая, я все еще тебе во всем послушен.

Жена улыбалась весело, обрадованная его шуткою. Николай Алексеевич с легкою гримасою усилия проглотил облатку. Запил ее мадерою. Лег на диван и с удовольствием протянулся на его широком, упругом ложе, ощущая левою рукою холодноватую, мягкую кожу его высокой, прямой спинки с полочкою наверху, где стояло несколько фотографических портретов, и со шкапчиками по бокам.

Жена неторопливыми, ловкими движениями приятных, полуобнаженных рук поправила под головою Николая Алексеевича шитую зелеными и розовыми шелками, — венок из роз, — атласную подушку и покрыла Николая Алексеевича мягким клетчатым пледом, под которым сразу стало тепло, приятно и спокойно, и таким милым стал легкий озноб в спине.

— Ну что, Коля, теперь удобно тебе? — спросила жена.

— Очень. Спасибо, милая, — ответил Николай Алексеевич. — Уж ты не возись со мною, иди себе. Дети ждут, должно быть.

Но прежде, чем уйти, жена переставила с письменного стола на столик у дивана наполовину отпитый стакан с кисловато-сладким, зеленоватым питьем и раскрытую книгу, новый роман. Потом она простилась с Николаем Алексеевичем нежным поцелуем, сказала:

— Постарайся поспать до нашего прихода.

И ушла, легкая, веселая, благоуханная, — по сукну прошуршала шлейфом, портьеру колыхнула у двери, — ушла.

Николай Алексеевич смотрел за нею, и глаза его благодарили, и губы улыбались ласково. Лихорадка мучила и нежила его, меняя ознобы и зной. Она напоминала ему о другой, которой с ним уже нет, — и губы его улыбались и шептали:

— Помнишь, не забудешь? Милая Иринушка, не забудешь?

Были слышны недолго слабые из-за дверей отзвуки веселых голосов в зале и в передней, донесся издали стук закрытой на лестницу двери, — и стало тихо.

III

Николай Алексеевич остался один.

Он взял книгу. Пробежал несколько страниц. Но скучно было читать, и казалось неудобно держать книгу руками из-под пледа, который при этом сползал с плеч и комкался под правым боком.

Николай Алексеевич положил книгу на столик и повернул выключатель стоявшей на столике легкой лампы-качалки. Теперь кабинет был освещен только рассеянным, отраженным от лепного потолка светом двух лампочек люстры, прикрытой снизу тяжелым, темным щитом.

Николай Алексеевич закутался пледом и погрузился в смутное, приятное состояние полудремы.

Бывало, Николай Алексеевич любил мечтать о будущем. Признак юности и скованной еще силы — мечта о будущем. Мечты о будущем утешали, когда настоящее было темно.

Теперь Николай Алексеевич больше любил вспоминать былое. Старость ли надвигалась, слишком ли яркие мечты утомили душу, или милого много накопилось в былом, — к былому с каждым годом все чаще обращались мысли.

Воспоминания как мечты иногда. А иногда они как проза. Иногда в них странное сплетение прозы и мечты, милого и постылого.

Что же эти дни, о которых вспоминается так сладко и так горько? Дни, когда было молодо, бедно, трудно и радостно, — что же эти дни?

И горе в них было, и тусклость бедной, скудной жизни.

Очень трудна была жизнь, — только молодость все скрашивала и еще более, несравненно более, ее любовь. Любовь милой Иринушки, первой жены Николая Алексеевича.

Иринушкина любовь чудеса делала и на убогий мир действительности надевала для Николая Алексеевича пышный наряд царственной мечты. Милая Иринушка, явленная ему в обличии простодушной Альдонсы, преображалась перед ним торжественною Дульцинеею, прекраснейшею из прекрасных, и преображала для него мир.

Это было давно, так давно!

А теперь?

Теперь Николаю Алексеевичу идет, — и уже давно идет, — пятый десяток. И все в жизни его изменилось. Бледная, скучная бедность отошла. Жизнь полна, легка, приятна. Хорошо теперь Николаю Алексеевичу живется.

Хорошо?

Да, конечно, хорошо.

Только иногда странно как-то. Бедность и достаток, — откуда они? Зачем они так пытают человека? Зачем то немудрое, чего добивается человек, приходит так поздно?

Вот были годы, когда, едва начав свою самостоятельную трудовую жизнь, бедный учитель в уездном городишке, женился Николай Алексеевич на своей милой Иринушке. Женился потому, что любил Иринушку, потому, что она любила его. Женился, хотя оба они были бедны и одиноки.

Жена молоденькая в его доме, и свирепая в его доме бедность. Душа просит радостей и смеха, а жизнь грозит напастями и бедами, и утомляет трудами, и не дает отдыха.

Работали они оба очень много, а денег у них в доме было очень мало. Порою и совсем не было денег. И очень мало было вещей. Да и те вещи, которые были, были плохи.

Но разве деньги и вещи сильнее человека?

Город, где они жили, был скверный, маленький, ветхий городишко, обнищавший вдали от сильных людей и от больших дорог. И люди в этом городе жили жалкие, угрюмые, злые, завистливые, нищие духом люди. А те, в ком теплилась живая душа, томились там, и тосковали, и рвались убежать из этого постылого города, от этой тусклой жизни, и, если не могли убежать, умирали рано, или убивали сами себя, или спивались.

А вот теперь у Николая Алексеевича дорогая, красивая, хорошо обставленная квартира на одной из лучших улиц большого города. В этой квартире с Николаем Алексеевичем живут жена его, дети, у детей гувернантка, студент-репетитор, бонна и целый штат прислуги. В этой квартире часто бывают гости, милые, любезные, просвещенные люди; смеется и плачет рояль, кто-то поет нежные и страстные романсы; танцуют весело и оживленно; говорят обо всем, что в широком мире случается, волнуя сердца, и что в искусствах живет живою жизнью. Когда нет гостей, вечер занят театром, концертом, маскарадом, посещением знакомых, ужином в ресторане.

Николай Алексеевич работает много, но все-таки гораздо меньше, чем в те юные годы, его первые годы жизни с милою Иринушкою. Имя его довольно известно, — книги, которые пишет Николай Скоромыслин, раскупаются не плохо, — в обществе о нем иногда говорят, — газеты бранят его с достаточною свирепостью, — словом, известность несет ему свои дани.

Николаю Алексеевичу, конечно, кажется, что у него мало денег. Никому из живущих в городах не довольно того, что есть. Николай Алексеевич в этом не составляет исключения.

А все-таки получает Николай Алексеевич за иной месяц в двадцать раз больше, чем он получал за то же время в те давние годы, за иной месяц в тридцать раз больше, а то иногда и в сорок раз. Бывают и еще более удачные месяцы, но редко.

Когда Николай Алексеевич получит в сорок раз больше, чем прежде получал за месяц, то часть этих денег откладывается; если в тридцать раз, — концы с концами кое-как сводятся; если только в двадцать, тогда тратятся и те деньги, которые были отложены в удачливые месяцы. Но в конце концов денег на все хватает, — и на скромный образ жизни, и на книги и картины, и на заграничные ежегодные поездки, без которых никак нельзя обойтись, потому что все знакомые за границу ездят и много об этом говорят и потому что за границею жить легко, приятно и удобно. Приятнее, чем в России, где газеты каждый день приносят такие странные, неожиданные новости.

IV

Николай Алексеевич скучающими глазами обвел знакомые, приятно-привычные предметы своего кабинета. Все здесь было дорого, просто, прочно и красиво, в строгом скандинавском духе. Преобладал спокойный, холодный темно-синий цвет.

На громадном письменном столе были расположены в педантичном порядке бумаги, конверты, чернильницы, карандаши, перья, рамки с портретами, часы, лампа, подсвечники, вазы с цветами, бронзовые фигурки для надавливания на разрозненные бумажки и еще какие-то красивые вещицы без определенного назначения. По стенам стояли шкапы американской системы, набитые книгами в переплетах и без переплетов, и все эти книги были расставлены строго по форматам, — маленькие повыше, — и в каждом формате по алфавиту.

В углу близ окна стояла очень странная, но дорогая скульптура, — словно ножом или долотом наспех вырезанная из липового чурбана фигура неуклюжего, некрасивого, голого увальня, опираю-

щегося на палку и согнувшего для чего-то толстые, мягкие колени. Но это было не дерево, а мрамор, и непонятно было, зачем так безжалостно изуродован кусок прекрасного камня талантливым скульптором. А что скульптор был талантлив, это было несомненно при первом же взгляде на эту диковинную статую, — столько в ней было силы и незабываемой выразительности.

В таком же странном роде были и несколько висевших по стенам картин в гладких серебристо-серого цвета рамах. Краски этих картин были непомерно-ярки, а фигуры написаны были так, что долго надо было всматриваться, чтобы что-нибудь понять. И все же это были картины, отмеченные печатью несомненного таланта, сильного, яркого, необузданно-смелого, хотя, к сожалению, слишком модного. А все модное в искусстве, как и в жизни, имеет тот прискорбный недостаток, что рано или поздно выходит из моды и забывается. Иное, впрочем, воскресает в поздних поколениях; иное же забывается и погибает навсегда.

На синей скатерти круглого стола под люстрою видны были газеты, книжки новых журналов и несколько горшков с белыми гиацинтами.

Много простора, света и книг было в этой комнате, а Николаю Алексеевичу припоминалась та убогая квартиренка, которую он и его Иринушка снимали за три рубля в месяц. Ведь их было тогда только двое, — куда ж бы им была большая квартира? Да и что бы они стали делать с большою квартирою?

Иринушка даже не соглашалась взять прислугу. Жалованье и содержание прислуги составили бы слишком обременительную статью в их более чем скромном бюджете. Иринушка сама справлялась со всеми работами по хозяйству и храбро делала все то, чему ее не учили ни в гимназии, ни дома, — пищу стряпала, полы мыла.

Помнишь, милая, не забудешь? Иринушка, милая, помнишь?

Помнишь, Иринушка, этот маленький, захолустный городишко, грязный, тусклый, ленивый, сонный, этот злой город, осатанелый от лени, водки и сплетен?

Пришлось прожить в нем несколько лет. И особенно тяжело было в первый год.

Николаю Алексеевичу еще ничего было, — он был постарше. А его шестнадцатилетней Иринушке, должно быть, круто приходилось. Но она не жаловалась и всегда очень была весела. Сама смеялась и Николая Алексеевича забавила. Звонким, зыбким смехом заслоняла от него уродливый лик темной жизни. Разгоняла злые чары жизни, как умела, как могла, — смехом, песнею, пляскою.

Иринушка, милая, помнишь, не забудешь?

Помнишь, Иринушка, эту первую осень, беспросветную, холодную, мокрую, злую?

V

Серые тучи облекли все небо, и серый, холодный, скупой сеялся сквозь них свет осеннего, скудного дня. Тоска разлита была в тяжелых, мокрых тучах и в воздухе холодном и сыром, — и от земли, от этих немощеных улиц, поднималась неизбывная тоска.

Весь день шел дождь, мелкий, упрямый, маленький и злой дождичек, гнусный спутник маленькой, тусклой жизни серого захолустья. Стекла маленьких окон были от этого дождика слезливо мокры, и жидкая, липкая, черная грязь лежала на улицах, а на мостках, гнилых и грязных, пухли и зябли рябые лужицы, и мокры были давно уже голые ветки берез и осин в садах и огородах за серыми заборами.

Ветер проносился порывами, воя злобно и жалобно, сырой и холодный, и с мелкою яростью трепал эти голые ветки мокрых, растрепанных деревьев. И в тонких визгах ветра все та же слышалась безумная тоска.

По улице медленно тащилась телега с какими-то серыми кулями, колесами увязая в грязи. Пегая лошаденка тяжело ступала, звучно хлюпая в грязи ногами и тяжело дыша, вся мокрая, понурая, жалкая. И была она такая же тихая, с плачущими глазами, с растрепанными

ветром мокрыми космами седой гривы, и жалкая такая же, как бредущий по грязи рядом с телегою мокрый мужик в каком-то сером, заскорузлом кожане.

Через улицу медленно и лениво зачем-то перебирался босоногий мальчишка, высоко засучив ветхие штанишки и утопая в жидкой грязи до покрасневших голых коленок. На нем был надет рваный кафтанишко; его трепаные светлые волосенки прикрывала помятая шапка с расколотым козырьком; шею обматывал пухлый, грязно-красного цвета платок; голые худые ножонки были сини от холода и грязи. Остановившись посредине улицы, мальчишка засунул грязные пальцы в рот и пронзительно засвистал, посматривая направо и налево по улице, словно поджидая кого-то. Но никого не было, и мальчишка побрел себе дальше, по-видимому, наслаждаясь этим купаньем в грязи под дождиком.

Ворона одним глазом смотрела на него, усевшись на высоком заборе, и пронзительно каркала.

Николай Алексеевич вышел по шатким ступенькам крыльца на двор, чтобы помочь Иринушке донести ведра с водою. Брызги холодного дождя настойчиво бились в его лицо, и сырой ветер тяжело колыхал на его лбу прядку отбившихся волос.

Под мелким дождиком, по узким, брошенным через грязь на двор дощечкам, осторожно переступая мокрыми босыми ногами, тихо шла от огорода Иринушка, — через огород на речку за водою ходила. Тяжелое коромысло грузно лежало на Иринушкином плече. Два ведра с легким скрипом колыхались, плеща порою воду на покрасневшие от холода стопы Иринушкиных легких ног. Ветер трепал подол ее подобранной высоко синей юбки.

Иринушка, придерживая обеими маленькими, покрасневшими, мокрыми от дождя руками коромысло, гнулась под его тяжестью. Горячо рдели ее щеки, и выражение усилия было на ее лице. Темные, густые Иринушкины брови слегка хмурились, а ее нежные, алые губы весело улыбались ему, вышедшему ей помочь.

Помнишь, милая, не забудешь? Иринушка, помнишь?

Старое, рваное платьишко, похолодевшие маленькие руки, и эта кроткая улыбка, и покрасневшие от холода, глиною запачканные ноги.

Николай Алексеевич снял с коромысла ведра, внес их в сени, ласково Иринушку стал упрекать.

— Иринушка, Иринушка, разве же так можно! На дворе так холодно, а ты ножек не обула.

Иринушка улыбается и оправдывается:

— Такая глина липкая и вязкая, так башмаки пачкает, потом бьешься, бьешься, не отчистить. А ноги в воду опущу, сойдет глина.

— Так ведь холодно! — говорит Николай Алексеевич.

— Так что ж, что холодно! — весело отвечает Иринушка, смеется и, легкая, взбегает по шатким ступеням, нарочно громко стуча по ним ногами, чтобы согреться поскорее. — Согреюсь, — говорит она весело.

Помнишь, милая, не забудешь? Эту тесную, угрюмую квартирку, Иринушка милая, не забудешь?

Как забыть! Не забудешь. И хочешь забыть, да не забудешь.

Полусгнившее крыльцо гнулось набок. Балясины перил пообломались, упали иные, кто-то сжег их в печке.

Старая крыша дала течь. Подстилали на чердак тряпки какие-то, корыто ставили, — а все же иногда и в комнате капало с потолка.

Доски пола шатались под ногами и скрипели жалобно и противно. От окон дуло. В одном из окон разбитое пополам стекло было склеено замазкою, чтобы не вставлять нового.

— Некрасиво, Иринушка, — говорил Николай Алексеевич. — Купим новое.

— Некрасиво, да спасибо, — отвечала Иринушка.

И смеялась.

Милая Иринушка! Хоть бы раз ты его упрекнула! Хоть бы словечко укора ему или судьбе промолвила когда-нибудь! Хоть бы заплакала когда, хоть бы, плача, пожаловалась, пороптала бы хоть немножко!

Никогда, ни разу не видел Николай Алексеевич Иринушкиных слез, не слышал ее жалоб и ропота, — никогда!

VI

Был вечер. Усталые оба, они сидели у стола, при свете керосиновой лампы, прикрытой зеленым стеклянным абажуром. На вязаной белой скатерти лежала раскрытая книга. Иринушка читала вслух, Николай Алексеевич слушал.

Он смотрел на склонившуюся над книгою голову, на ровный пробор в темно-русых волосах, слушал Иринушкин ровный голос, так отчетливо произносивший слова рассказа о далеком, о чужом. Потом Николай Алексеевич переводил глаза на зеленый узор обоев, на стул с прямою спинкою, стоявший у стены, на темную этажерку в углу близ окна, на железную печь в другом углу. Бедные предметы скучного обихода с докучною ясностью метались в глаза. Николаю Алексеевичу было грустно.

Иринушка кончила читать, закрыла книгу, сказала:

— Будет на сегодня. Завтра дочитаем.

Посмотрела на Николая Алексеевича, улыбнулась и спросила:

— Коля, что ты не весел, голову повесил?

Улыбалась, и Николай Алексеевич улыбался ей в ответ, но улыбкою тоскливою, как дождь осенний за коленкоровою шторою, за мокрым окном, на улице, где темно и уныло.

Спрашивала Иринушка:

— Хочешь, Коля, я для тебя буду танцевать? Хочешь?

И танцевала, тоненькая, легонькая, едва касаясь жестких досок пола розовыми пальчиками легких босых ног, красивым жестом маленьких рук приподнимая юбочку свою синюю.

Николай Алексеевич улыбался невесело и говорил:

— Милая Иринушка, отчего ты меня никогда не упрекаешь?

Иринушка поднимала брови милым движением удивленной маленькой женщины и спрашивала:

— Коля, да за что мне тебя упрекать? Что же ты мне сделал худого?

И говорила:

— Я с тобою счастлива, милый мой Коля, милый!

И, присев к нему на колени, обнимала его жаркими, тонкими руками и целовала его нежно и долго.

Николай Алексеевич говорил:

— Милая Иринушка, не на радость ты меня полюбила. Я так беден, и тебе со мною так трудно.

— О, бедность! — беспечно говорила Иринушка.— Да разве это такая большая беда? Разве надо жить в роскошных палатах? Только надо быть веселым и сильным и хотеть счастия.

И спрашивала Иринушка Николая Алексеевича, обвив руками его шею и заглядывая в его грустные глаза своими синими, счастливыми глазами:

— Ты хочешь со мною счастия, Коля? Хочешь?

Николай Алексеевич говорил, невесело улыбаясь:

— Кто же, Иринушка, не хочет счастия! Все его хотят.

Иринушка весело говорила:

— Ну вот, и я хочу, — и уже я счастлива. Я с тобою, Коля милый, больше мне ничего и не надо.

Потом Иринушка задумывалась ненадолго и говорила:

— Надо сохранить в себе волю к жизни, — вот только это надо. Все остальное дастся.

Николай Алексеевич спрашивал:

— А ты знаешь, Иринушка, как сохранить эту волю?

Иринушка улыбалась уверенно, как озаренная высокою мудростью, и говорила:

— Знаю. Чтобы сохранить волю к жизни, надо питать ее жаждою счастия. Тогда и жизнь, и счастие будут наши.

Опять смеялась Иринушка радостно и громко и плясала по тесной комнате, и был весел на шатких досках пола легкий плеск ее быстро мелькающих из-под синей юбочки ног. И казалась она тогда легкою девою высот, сошедшею на землю, чтобы утешить тоскующего в долине бед человека.

Николай Алексеевич был утешен и силы вновь чувствовал в себе великие на труд, на достижения.

VII

Вот и прошли они, эти тяжелые годы.

Иринушка, милая, ты помнишь их? Ты их не забудешь?

Иринушка милая, где ты?

Прошли тяжелые годы. Успокоенная жизнь катится легко и мирно. У Николая Алексеевича жена, и дети, и весь удобный, обеспеченный обиход.

И жену Николай Алексеевич любит, и жена его любит. Ему кажется иногда, что он любит жену за пережитые Иринушкою тяжелые годы. И когда он думает об этом, он сам дивится, дивится тому, что он любит эту, вторую, за Иринушкин труд жизни, сохраненной жаждою счастия. Счастия, которое не Иринушке улыбнулось.

Не странно ли это! Правда ли, что за одну любит Николай Алексеевич другую?

Да и как же иначе? Нельзя любить два раза, — думает иногда Николай Алексеевич. Кого полюбил однажды, того полюбил навеки.

Но навеки полюбил он Иринушку.

Милая Иринушка, где ты?

Там, в городе постылом и ненавистном, на далеком кладбище, в тесной и темной могиле истлевая, спит Иринушка. Руки на груди сложила, синие глаза плотно сомкнула, успокоилась рано.

В первое время после Иринушкиной смерти был неутешен Николай Алексеевич. Но забудется всякое на земле горе, и всякая скорбь земная смирится.

Любит Николай Алексеевич свою вторую жену, любит нежно, и дети от нее милы ему. Но порою, в последнее время все чаще, Иринушка ему вспомнится, — и тогда эта, вторая, чужою кажется ему и далекою. И тогда вдруг все, что вокруг, становится для Николая Алексеевича чужим и ненужным. И только одного хочет сердце, — хочет невозможного, хочет вернуть невозвратное.

Иринушка, Иринушка, где ты?

Вот, кажется, подходит она тихо к его ложу, — и в глазах ее кроткий упрек, в глазах Иринушкиных, синих, как ночное небо. Покачивает головою, сказать что-то хочет и не может.

VIII

Вот и вернулись. Из церкви. В передней голоса и шум, — веселые голоса, легкий шум. За дверью быстрые шаги, легкий стук, милый голос второй жены:

— Коля, ты спишь? Мы уж вернулись. К тебе можно?

Николай Алексеевич тихо отвечает:

— Войди.

А встать ему не хочется и не хочется видеть людей, и пасмурное лицо повернуто к спинке дивана.

Шелест нарядного платья слышится, и приближаются легкие по сукну шаги, и тихий голос, говорящий веселое что-то.

Присела на диван к Николаю Алексеевичу, к его груди приникла, — веселая, радостная, все еще такая молодая, милая, — вторая жена, не Иринушка.

Иринушка, милая Иринушка, где же ты?

Милая Иринушка, помнишь, не забудешь?

Где же ты? Душа моя тебя жаждет!

Тихие слышны слова, ответом на страстные зовы:

— Христос воскрес.

И так же тихо ответил Николай Алексеевич:

— Воистину воскрес.

Он повернулся, протянул руки, обнял милую, целует. И близко, близко в его глаза глядят глаза иные, милые глаза.

Кто же это? Неужели чужая?

Иринушка, это ты?

Тихо отвечает она, прильнувшая к его груди, отдавшаяся его объятиям:

— Это — я. Разве ты не узнал меня, приходящую тайно в полуночи? Ты зовешь меня второю женою, ты любишь меня, не зная, кто я, ты называешь меня, как называли меня дома, бедным, чужим именем, Наташею. Но узнай, узнай в эту святую ночь, что я — я, что я — твоя, что я — та, которую ты не забыл, которую ты зовешь, Ирина твоя, вечная твоя спутница, вечно с тобою. Похоронил ты бедное тело ма-

ленькой твоей Иринушки, но любовь ее сильнее смерти, и душа ее жаждет счастия, и жизни хочет, и расторгает оковы тления, и во мне живет. Узнай меня, целуй меня, люби меня.

Радостно обнял Николай Алексеевич свою вторую жену, и смотрел в ее глаза, и узнавал в них Иринушкин привет, — и лобзал ее губы, и узнавал в них ласку, негу и зной Иринушкиных уст, жаждущих счастия, жизни и любви.

Николай Алексеевич повторял, плача от счастия, сладчайшего всех земных утех:

— Милая, ты помнишь? Ты не забудешь, милая?

А она ему отвечала:

— Коля, милый, у тебя совсем расстроены нервы. Я же тебе говорила, что не надо так много работать. Прими брому.



ПРИЛОЖЕНИЕ

АЛЕКСАНДР БЛОК

ТВОРЧЕСТВО ФЕДОРА СОЛОГУБА

Совсем отдельно стоят в современной литературе произведения Сологуба. У него свои приемы, свой язык, свои литературные формы. Он отличается ровностью творчества, проза его не слабее его поэзии, и в обеих областях он плодовит. Еще трудно приложить к нему мерку литературной теории. К его произведениям можно подойти со многих точек зрения. Читатель найдет здесь и нравоучение, и забаву, и «легкое» и трагическое чтение, и, наконец, просто — красивый слог и красивый стих

Романы и рассказы Сологуба большей частью раскрашены в пестрые цвета жизни. Тонко владея приемами реалистической повести, он позволяет читателю жить простыми бытовыми сценами и умными житейскими наблюдениями. Печать своеобычности лежит на всем — и на манере наблюдений, и на трактовке сюжета, и на эпическом языке, который богат, плавен и гибок. По силе выразительности он близится к гоголевскому языку В нем нет следа книжности или выдумки; малознакомые народные слова сразу стройно ложатся в раму повествования и приобретают все права привычных слов, так что даже дивишься, как мало эти слова до сих пор употреблялись.

Но разгадка своеобычности произведений Сологуба — не в одном языке. Скорее всего, она коренится в его любимом приеме; этот прием, часто повторяемый и все-таки всегда новый, — состоит в следующем: читая простые реальные сцены, начинаешь чувствовать мало-помалу, что писатель к чему-то готовится. Как будто все прочитанное недавно мы наблюдали сквозь прозрачную завесу, которая смягчала слишком жесткие черты; теперь же автор приподнимает завесу, и за нею нам открывается, всегда ненадолго, *чудовищное жизни.*

Этот хаос, исказивший гармонию, требует немедленного оформливанья, как жгучий жидкий металл, грозящий перелиться через край. Опытный мастер сейчас же направляет свои усилия на устройство этого хаоса. Задача показать читателю нечто чудовищно-нелепое, так, однако, чтобы его можно было рассматривать беспрепятственно, как животное в клетке. Животное это — человеческая пошлость, а клетка — прием стилизации, симметрии. В симметричных и стилизованных формах мы наблюдаем нечто безо́бразное и бесформенное само по себе. Оттого оно веет на нас чем-то потусторонним, ирреальным — и за ним мы видим небытие, дьявольский лик. хаос преисподней. Но это — только высшая,

обнаженная реальность, мгновение, которое вспыхивает и запечатлевается всего ярче в памяти; так точно в жизни нам всего памятнее те бешеные, огненные минуты зла ли, добра ли, — от которых кружилась и болела голова.

В «Тяжелых снах» *, после многих страниц ярких изображений уродливой жизни провинциального городка, — автор рассказывает, как герой его попадает в гостиную предводителя дворянства, отставного генерала. Наружность генерала, разговор, обстановка — все одинаково пошло; и вот атмосфера пошлости достигает точки кипения, нелепость становится острой и ужасной: генерал заставляет своих детей, «с тупыми и беспокойными глазами, с румяными и трепетными губами», — падать навзничь, грохаясь затылками о пол, чихать, плакать, плясать — все по команде. Когда унижение забитых детей принимает чудовищные размеры, герой замечает генералу:

— Да, послушание необыкновенное. Этак они по вашей команде съедят друг друга.

— Да, и съедят! — восклицает генерал. — И косточек не оставят. И будет что есть — я их не морю: упитаны, кажись, достаточно, по-русски — и гречневой, и березовой кашей, и не боятся, на воздухе много.

Разбушевавшаяся пошлость утихает, и быт входит в обычную колею. Яркое мгновение хаоса становится у Сологуба образом, залетевшим из мира преисподней, и наконец воплощается в какое-то полусущество. Перед героем другого его романа.** — инспектором гимназии Передоновым, грязным и глупым животным, «мелким бесом» — уже вертится в дорожной пыли воплощенный ужас, когда он едет на свою свадьбу. Это — и существо, и нет, если можно так выразиться — «ни два ни полтора»; если угодно — это ужас житейской пошлости и обыденщины; а если угодно — угрожающий знак страха, уныния, отчаянья, бессилия. Этот ужас Сологуб окрестил «Недотыкомкой» и так говорит о нем в стихах:

Недотыкомка серая
Предо мною всё вьется да вертится
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою

Если в прозе Сологубу чаще свойственно воплощать чудовищное жизни, то в стихах он говорит чаще о жизни прекрасной, о красоте, о тишине. Муза его — печальна или безумна. Предмет его поэзии — скорее душа, преломляющая в себе мир, а не мир, преломленный в душе. Но личная поэзия уступает место внеличной, особенно когда ее предметом становится политика. В последние годы Сологуб написал много политических стихов; иные из них слабее всего им написанного, отзывают плохой аллегорией на неглубокую тему; многие зато бесспорно принадлежат к лучшему, что дала русская революционная поэзия. Таково — большинство стихов в маленьком сборнике «Родина».

Всему творчеству Сологуба свойствен трагический юмор, который вылился с особенной яркостью в том роде произведений, который создан самим поэтом. Это —

* «Тяжелые сны» Роман 2-е издание т-ва Вольф, СПб и М , 1906
** «Мелкий бес» Роман Книгоиздательство «Шиповник», 1906

«сказочки»* — краткие, красивые стихотворения в прозе, почти всегда — с моралью в шутливом тоне. В них поэт говорит и о вечном, и о злобе дня. Это — удачный опыт сатиры, как бы легкие ядовитые стрелы с краткими надписями о том, как тоскует или радуется душа.

Июль 1907

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

РАССКАЗЫ ТАЙНОВИДЦА

Ф Сологуб Жало смерти М 1904, Книгоиздательство «Скорпион»

Книга рассказов Ф. Сологуба, русская по обаятельной прелести и живой силе языка, зачерпнутого из глубин стихии народной, русская по вещему проникновению в душу родной природы, — кажется французскою книгой по ее, новой у нас, утонченности, по мастерству ее изысканной в своей художественной простоте формы. Но важнее совершенства формы — как знамение все изощряющейся чуткости к шепоту сверхмирного — глубокое тайновидение художника К нему самому применимы слова, обращенные «знающей» Лепестиньей (Епистимией) к ее «зоркому» питомцу — Саше: «Такие уж, видно, тебе глаза Бог дал — ты ими и не хочешь, а видишь».

Это тайновидение, — совсем иное, чем, например, у Эдгара По, — лишено фантастики. В разоблачениях мира, соприсущего зримому, нет ничего ужасающего, ни чрезвычайного: напротив, он — норма, а наш мир — уклон, и лишь только этот наш «солнечный, ярый и внешний» мир перестает казаться оживленным внутренним сосуществованием того, сокрытого, он наводит на живые души тоску и ужас смерти. «Чего ужасаться? — говорит Саша о пугающем людей таинственном и неведомом. — Да вот и эта стена страшнее шишиги». Страшна неразгаданность и исчезающая призрачность земного, страшна подневольность внешнему, когда нам кажется, что «мы в борьбе с природой целой покинуты на нас самих». «Как во сне живем, — медленно говорила Дуня, глядя на близкое и бледное небо, — и ничего не знаем, что к чему. Ангелы сны видят страшные, вот и вся наша жизнь».

Мы сказали бы, что отличительная черта современной психики — horror vacui **. Этот ужас пустоты и обусловил настроение, провозгласившее банкротство той науки, которая еще недавно довлела сознанию. Отсюда открылся умам иной аспект мира, близкий к древнему анимизму; ему ответила наука становящаяся — теориями

* Кроме разбросанных по разным изданиям, собраны в отдельной книге под заглавием. «Книга сказок». Книгоиздательство «Гриф», М , 1905

** Ужас пустоты (*лат*)

всеоживления. И миросозерцание творца «избранных и строгих творений», соединенных под символом «Жало смерти», — миросозерцание существенно мифологическое.

Итак, вечный возврат вещей как бы снова приводит в мир «период мифологический». Это ли не «упадок»? Нимало: это — шаг в поступательном движении познающего духа. Независимо от вопроса об истинности метафизических прозрений, важно установить, что они одноприродны с мифом. Первое, бессознательное устремление ума к принятию форм, определяющих позднейшие философемы, воплощается в мифе; он предвосхищает слепым влечением спящие возможности сознания. Наступает пора, когда миф отрицается во имя философемы. Более зрелая эпоха снова находит миф в мире.

«Лютое солнце стояло в самом притине Оно, словно громадный свернувшийся змей, вздрагивало всеми своими тесно сжатыми кольцами». — «Глаза-то у тебя смотрят, куда не надо, видят, что негоже. Что закрыто, на то негоже смотреть. Курносая не любит, кто за ей подсматривает... Везде она, голубь мой, все она — и в травке, и в речке. Ты идешь, — и она тут же ползет, травку сломит, козявку задавит. Негоже смотреть много, не любит она».

В «Жале смерти» друг-соблазнитель заворожил Колю своими холодными и прозрачными, русалочьими глазами. В «Красоте» нечистый и недоброжелательный взор сглазил Елену. В «Утешении» Митин взгляд притянул Раечку, игравшую на окне четвертого этажа, и душа разбившейся девочки, являясь благодатною спутницей маленького мученика жизни, должна влечь его к такому же падению, манить за роковую грань, отделяющую скорбь земной страды от утешения райского.

Мифологическое миросозерцание может быть и не быть религиозным; в последнем случае оно делается чисто демоническим. Такова атмосфера, которою дышат странные души, воззванные творчеством Ф. Сологуба, странники, проходящие через мир с печатью внемирного на челе. Они проходят под лютым солнцем, в чарах полдневной тишины, в зыбком, струящемся зное «безокого» и все же так пристально глядящего на них многобожия. Но этот безликий и тысячеокий сонм *«нежитей»*, как и все облики внешнего, — только они сами: жизнь индивидуума — иллюзия единого духа. «Не все ли на этой земле равно неверно и призрачно? Ничего нет здесь истинного, только мгновенные тени населяют этот изменчивый и быстро исчезающий в безбрежном забвении мир». — «У тебя мамы нет. Все это только кажется, а на самом деле ничего нет, обман один. Подумай сам, если бы все это было в самом деле, так разве люди умирали бы? Разве можно было бы умереть? Все здесь уходит, исчезает, как привидение». Они могли бы пребыть в гармонии с своими многообразными двойниками, эти странники мира, — в чистоте и отрадной безмятежности состояния райского, и не бояться смерти, и не знать стыда и страха. Но неизбежно грехопадение земнородных. Зараза греха — жало смерти, и вышедший из первобытного рая души своей уже мертв, хотя бы еще и не умер плотию. Мир во зле лежит; но роковая сила зла — все же освободительная сила, ибо смерть вожделенна.

Душа рассказов — глубокая скорбь земного существования, обостряющаяся до последнего отчаяния. «Построить жизнь по идеалам добра и красоты! С этими людьми и с этим телом! Невозможно!.. Мы все вместе живем, и как бы одна душа томится во всем многоликом человечестве. Мир весь во мне. Но страшно, что он таков, каков он есть, — и как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что он лежит в пороке и во зле. Надо обречь его на казнь, — и себя с ним». — «Но как бы там ни было, как хорошо, что есть смерть-освободительница». — «Нет на земле подруги более верной и нежной, чем смерть. И если страшно людям имя смерти, то не знают они, что она-то и есть истинная и вечная, навеки неизменная жизнь. Иной образ бытия обещает она, — и не обманет. Уж она-то не обманет».

Смерть — дружественная сила, и пока человек не вышел из своего рая, он доверчиво взирает на нее, да и нет для него различия между нею и жизнью. оба мира глядятся друг в друга в этой промежуточной полосе, и каждый из них — жизнь. Но совершается грехопадение, и жизнь — уже смерть, и смерть — впервые смерть как сила враждебная, и человек бежит, но не убегает от неизбежной. Nolentem fata trahunt *. Трепет пред близостью ласково зовущей смерти, впервые охвативший не ведавшего дотоле страха Сашу, отмечает его вступление на путь земной, истомный и смертный. Земная стихия сказалась в нем, и он пошел прочь от смерти — в жизнь, она же — воистину смерть, тогда как смерть — дверь жизни и обетование свободы.

«Он неподвижно глядел перед собою. Лепестинья подошла сзади. Она глядела на него суровыми глазами. Тихо и сурово сказала она, качая дряхлою головою: «Что смотришь? Куда смотришь? Опять к ей засматриваешь?» И она пошла мимо, уже не глядела на Сашу, и не жалела его, и не звала. Безучастная и суровая, проходила она мимо Легкий холод обвеял Сашу. Весь дрожа, томимый таинственным страхом, он встал и пошел за Лепестиньей [Познанием], — к жизни земной пошел он, в путь истомный и смертный».

Одно детство, не знающее смерти, ни страха, ни стыда, — как бы отголосок и продолжение забытого рая земли. И лучше умереть телу, чем душе, в тот роковой миг, когда человек снова изгоняется из рая. Мистерия детства — его святости и его грехопадения — вот содержание этой книги о детях. Но разве нельзя воскреснуть и вернуться к утраченному раю младенчества? Рассказ «Обруч» изображает бессознательную попытку такого возврата, но как тускл и бессилен этот печальный отблеск райского луча в душе давно умершей!

По-видимому, художник не верит, что можно «обратиться и стать как дети». И не веря в это мистическое возрождение, не видит он возможностей опрозрачненной жизни, единого правого «как», — жизни, просвеченной светом белой Тайны, которая, преломляясь в радугах бытия, самоутверждается, единая, в раздельной многоцветности явлений и, радуясь радужному претворению своему, удерживает,

* Не желающего (идти) судьба тащит насильно (*лат.*)

и лелеет их над обрывами уничтожения, и хранит от слияния в белое безразличие. В этой книге тайновидения нет воления веры и нет надежды преображения. Она искушает дух к конечному *Нет*; но он, упорствующий, не отступит до конца от своих извечных притязаний пресуществить жизнь в умильные преломления единого всерадостного *Да*...

Лишний раз убеждаемся мы по прочтении этой книги о явной тайне в том, что лжив был реализм, затенявший тайну, что истинный реализм ее обнаруживает; что чем тоньше наблюдение, чем изощреннее внимаиие, устремленное на действительность, тем знаменательнее, символичнее действительность, тем прозрачнее отражение непреходящего в зыби мимо бегущих явлений: «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss» *.

* Все преходящее — символ (*нем.*), из трагедии Гете «Фауст»



ПРИМЕЧАНИЯ

Слаще яда

Новая жизнь. 1912. № 4—11. Роман был начат в 1894 г. Первые главы под названием «Шаня и Женя» опубликованы в газете «Биржевые ведомости»: 1897, 17—27 мая, № 133, 135—137, 140, 142 и 143. Печ. по изд.: Сологуб Ф. Собр. соч. СПб.: Сирин, 1913. Т. 15 и 16. «Приготовляя роман к этому изданию, — пишет автор, — я внимательно просмотрел его и многое в нем изменил, не в содержании, а в форме и в подробностях».

С. **67.** *...Небесный Змий... таил под розовым смехом первых лучей свой жгучий, свой сладкий яд.* — В славянской мифологии, в частности в заговорах, Огненный Змей (в античных мифах — Дракон, чудовище с чертами змея) выступает как искуситель, как волшебное существо, способное внушить женщине страсть.

С. **98.** *...как в день великого поднятия вод по гулким улицам Древнего Города медленно влекся... последний царь Атлантиды.* — Имеются в виду легенды об островной стране Атлантиде, которая после мощной геологической катастрофы погрузилась на дно Атлантического океана. Единственными источниками об истории этого государства, достигшего высот процветания, и о его трагической судьбе являются диалоги Платона «Тимей» и «Критий».

С. **123.** *Пускай она поплачет, — // Ей ничего не значит.* — Неточная цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Завещание» (1841).

Финист — Ясен Сокол — персонаж русской сказки, тайно посещающий возлюбленную в облике сокола. Финист (греч. Феникс) — сказочная птица, обладающая способностью погибать в огне и вновь возрождаться из пепла; символ вечного возрождения жизни.

С. **188.** *«Приключения Рокамболя»? или «Петербургские трущобы»?* — Названы романный сериал из 30 книг Понсона дю Террайля и роман Вс. В. Крестовского.

С. **232.** *...песенки из чулковского сборника...* — Имеется в виду «Собрание разных песен» (ч. 1—4; 1770—1774), выдающийся труд фольклориста, этнографа и писателя Михаила Дмитриевича Чулкова (1744—1792).

С. **238.** *У меня дома есть черная комната. Стены, пол, потолок — все черное.* — Очевидно, навеяно охватившим молодежь 1890-х гг. увлечением декадентством, по примеру петербургских студентов и первых поэтов-символистов Александра Михайловича Добролюбова (1876 — не ранее декабря 1943) и Владимира Васильевича Гиппиуса (1876—1941). «Вокруг Добролюбова, — вспоминает Н. Минский, — сразу создалась легенда, и он стал героем своей собственной жизни. Рассказам о нем не было конца. Говорили, что он комнату свою устроил как храм, что по ночам она превращается в искусственный рай гашиша и опиума, что там происходят языческие таинства и обряды» (*Мин Н.* [Минский Н.]. Обращенный эстет. Эскизы // Рассвет. 1905. 5 апреля. № 82). Как и у героев романа Сологуба, эти странные мистические оргии Добролюбов организовывал, по рассказу одного из участников, «в своей узенькой комнатке на Пантелеймоновской, оклеенной черными обоями, с потолком, выкрашенным в серый цвет» (*Гиппиус В.* Александр Добролюбов. В кн.: Русская литература XX века. Т. 1. М., 1916. С. 266).

С. **250.** *...улице с глупым, допотопным названием Мжейка.* — Мжейка — от слова «мжа» — дремота, дрема (В.И. Даль).

С. **268.** *Кабриолет* — двухколесный одноконный экипаж.

С. **279.** *«А философ без огурцов».* — Из басни И.А. Крылова «Огородник и Философ», в которой крестьянин «под огурцы один он взрыл с полсотни гряд», а краснобай, задумавший тоже вырастить огурцы,

Читал, выписывал, справлялся
И в книгах рылся, и в грядах, —
С утра до вечера в трудах.
Едва с одной работой сладит,
Чуть на грядах лишь что взойдет,
В журналах новость он найдет —
Все перероет, пересадит
　　На новый лад и образец.
　　Какой же вылился конец?
У Огородника взошло все и поспело:
　　Он с прибылью, и в шляпе дело;
　　　А Филосóф —
　　　Без огурцов.

С. 282. *Кому.. отдаете преферанс?* — Преферанс — здесь в значении: предпочтение (от фр. préferer — предпочитать).

На одну чету Рожера и Брадаманты — целые тьмы Пинабелей. — Имеется в виду один из основных эпизодов поэмы итальянского поэта Людовико Ариосто «Неистовый Роланд» (1516) — драматическая история любви христианской богатырши Брадаманты и сарацинского рыцаря Руджеро, ставших родоначальниками семьи герцогов д'Эсте. Брадаманта, встретив Пинабелло, принадлежащего к роду ее врагов, оказывается вместо замка Атланта, где находился Руджеро, в таинственной пещере волшебницы Мелиссы. Чародейка утешает обманутую богатыршу льстивыми предсказаниями.

С. 283. *...как на качелях качаемся, — сами, или черт нас качает.* — Образ качелей постоянно встречается в творчестве Сологуба («Чертовы качели», 1907; «Снова покачнулись томные качели...», 1920, и др.); символический смысл образа раскрыт в стихотворении «Качели» (1894):

То в тень, то в свет переносились
Со скрипом зыбкие качели.
Печали ветхой злою тенью
Моя душа полуодета,
И то стремится жадно к тленью,
То ищет радостей и света.
И покоряясь вдохновенно
Моей судьбы предначертаньям,
Переношусь попеременно
От безнадежности к желаньям.

Альдонса носит воду, а Рыцарь Печального Образа зовет ее Дульцинеею... — В романе М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1615) воображение влюбленного Рыцаря Печального Образа превратило в благородную красавицу Дульсинею Тобосскую крестьянку Альдонсу Лоренсо. «Девка ой-ой-ой, с ней не шути... — рассказывает своему сеньору оруженосец Санчо Панса. — А уж глотка, мать честная, а уж голосина!» Но для рыцаря она не деревенская простушка, от зари до зари гнущая спину на скотном дворе или в поле, а — принцесса, о которой он слагает высокопарные вирши. Этот романтический пафос великого романа вдохновил русских символистов, из них в первую очередь Сологуба, на такое же рыцарское служение Красоте. «Подвиг лирического поэта, — пишет Сологуб в очерке «Мечта Дон Кихота», — в том, чтобы сказать тусклой земной обычности сжигающее *нет*; поставить выше жизни прекрасную, хотя и пустую от земного содержания форму; силою обая-

ния и дерзновения устремить косное земное к воплощению в эту прекрасную форму. Лирический подвиг Дон Кихота в том, что Альдонса отвергнута как Альдонса и принята лишь как Дульцинея. Не мечтательная Дульцинея, а вот та самая, которую зовут Альдонсою. Для вас — смазливая, грубая девка, для меня — прекраснейшая из дам. Ибо не должно быть на земле грубой, смазливой, козлом пахнущей Альдонсы. И если кажется, что она есть, то лирическое восприятие мира требует чуда, требует преображения плоти».

С. **288.** *...мальчишка имеет вид положительно Альфонса какого-то.* — Имя героя комедии А. Дюма-сына «Мосье Альфонс» (1874) стало нарицательным прозвищем мужчин на содержании у любовниц.

Воображает себя будущим Рубинштейном... — Очевидно, имеется в виду старший из братьев — Антон Григорьевич Рубинштейн (1829—1894), знаменитый пианист, композитор, дирижер, инициатор создания Певческой академии (1858) и Петербургской консерватории (1862).

С. **324.** *...запела песню Кольцова.* — Алексей Васильевич Кольцов (1809—1842) — поэт, многие стихотворения которого положены на музыку.

С. **325.** *Сарафанница* — женщина, носящая сарафан, т.е. простую, дешевую одежду. Сарафан — старинная, исконно русская одежда, которую первыми начали носить мужчины (в виде длиннополого кафтана).

Просвирня — женщина (обычно из вдов священнослужителей), которой доверена выпечка просвир (просфор), хлебца для свершения евхаристии (причащения), одного из главных таинств христианской церкви.

С. **333.** *Эти «опроборенные картавцы», как называет таких Игорь Северянин...* — См. стихотворение «В лимузине» (1910) Игоря Северянина (1887—1941):

Да все же он, пустой, как шантеклер,
Проборчатый, офраченный картавец,
Желательный для многих кавалер,
Использованный многими красавец.

О женщина! Зови его в турне,
Бери его, пожалуй, в будуары...
Но не води его с собою на Массне;
«Письмо» Массне... Оно не для гитары!..

С. **342.** *Бедлам* (англ. bedlam, от Bethlehem — Вифлеем, город в Иудее) — психиатрическая больница им. Марии Вифлеемской в Лондоне, название которой стало синонимом сумасшедшего дома, неразберихи и шумного хаоса.

Книга превращений

Все рассказы этого цикла печ. по изд.: Сологуб Ф. Собр. соч.: В 20 т. Т. 11. Книга превращений. СПб.: Сирин, 1914.

Задор

Север. 1897. 25 мая. № 21. В комментариях к рассказу Сологуб поясняет: «Сначала он составлял главу романа «Тяжелые сны», где говорилось о детских воспоминаниях Логина».

С. **399.** *В мои лета не должно сметь // Свое суждение иметь.* — Из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Соединяющий души

Народное хозяйство. 1906. 6 января. № 21 и в сб. «Истлевающие личины». М.: Гриф, 1907.

Ничего не вышло

Петербургская жизнь (приложение к газете «Новости»). 1896. 18 августа. № 198.

Превращения

Воскресенье. 1904. 4 января. № 1.

Призывающий Зверя

Золотое руно. 1906. № 1 и в сб. «Истлевающие личины».

За рекою Мейрур

Литературно-научное приложение к газете «Наша жизнь». 1906. 18—26 февраля. № 5—8 и в сб. «Истлевающие личины» (под названием «Дикий бог»). «В настоящем издании, — комментирует Сологуб, — печатается со значительными изменениями».

Отрок Лин

Весы. 1906. № 2 и в сб. «Истлевающие личины» (под названием «Чудо отрока Лина»).

С. **453.** *Центурион* — в древнеримском войске командующий центурией, отрядом, состоящим из ста воинов.

С. **454.** *Цезарь* — в Древнем Риме титул императоров.

Милый паж

Весы. 1906. № 8. Готовя публикацию рассказа в собрании сочинений, Сологуб внес в него значительные изменения и сокращения.

Голодный блеск

Речь. 1907. 22 июля. № 171 и в сб. «Книга разлук». СПб.: Шиповник, 1908.

Конный стражник

Утро. 1907. 25 сентября. № 8.

Перина

Русская мысль. 1907. № 10.

Обыск

Новое слово. М., 1908. Кн. 3.

Отравленный сад

Бодрое слово. 1908. Октябрь. № 1 и в сб. «Книга очарований. Новеллы и легенды». СПб.: Шиповник, 1909. «Тема заимствована, — поясняет автор, — из рассказа Натаниеля Готорна «Ядовитая красота» и из стихотворения А.С. Пушкина «Анчар».

Претворившая воду в вино

Весы. 1908. № 10 и в сб. «Книга очарований».

Алчущий и жаждущий

Слово. 1908. 14 декабря. № 650 и в сб. «Книга очарований».

Снегурочка

Речь. 1908. 25 декабря. № 318. Тема заимствована из рассказа Натаниеля Готорна «Снежная кукла».

Книга стремлений

Все рассказы этого цикла печ. по изд.: Сологуб Ф. Собр. соч.: В 20 т. Т. 12. Книга стремлений. СПб.: Сирин, 1914.

Белая березка

Русская мысль. 1909. № 1.

Сон утешающий

Речь. 1909. 29 марта. № 86.

С. **551.** *Страстная неделя* — последняя предпасхальная неделя Великого поста, посвящаемая православными воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа, «страстях Господних». Каждый день Страстной недели именуется Великим.

Иван Иванович

Слово. 1909. 29 марта. № 751.

С. **559.** *Билеты на «Таису» есть?* — «Таис» (1894) — лирическая опера французского композитора Жюля Массне (1842—1912).

Путь в Еммаус

Наша газета. 1909. 29 марта. № 74.

С. **565.** *Еммаус* (Эммаус) — селение близ Иерусалима. В Евангелии от Луки (гл. 24, ст. 13 — 53) рассказывается о двух учениках Иисуса, которые на пути в Еммаус встретили таинственного странника, который оказался воскресшим Христом.

Старый дом

Земля. М. 1909. Сб. 3. В комментариях к т. 12 собр. соч. автор уточняет: «Написано вместе с Анастасиею Чеботаревскою».

С. **568.** *Афродита* — в греческой мифологии богиня любви и красоты (у римлян Венера).

С. **600.** *...с неживыми лицами нестеровских отроков...* — Имеются в виду отроки с отрешенными («неживыми») ликами на картинах Михаила Васильевича Нестерова (1862—1942) «Димитрий, царевич убиенный», «Видение отроку Варфоломею», «Юность преподобного Сергия», «Душа народа» и другие, вызвавших разноречивые суждения современников.

Золотая лестница

Речь. 1909. 25 декабря. № 354.

Красногубая гостья

Утро России. 1909. 25 декабря.

С. **642.** *...Лилит, лунная, холодная душа... первой жены Адама.* — Лилит — в иудейской демонологии злой дух, обычно женского пола. Согласно одному из преданий, Бог, сотворив Адама, сделал ему из глины жеиу и назвал ее Лилит.

Путь в Дамаск

Альманах издательства «Шиповник». СПб. 1910. Кн. 12. В комментариях к т. 12. собрания сочинений автор уточняет: «Написано вместе с Анастасиею Чеботаревскою».

С. **649.** *...милый путь в Дамаск...* — Дамаск — один из древнейших городов мира, столица Сирии. На пути в Дамаск свершилось обращение в христианство апостола Павла.

С. **654.** *Матчиш, кек-уок* — американские танцы, популярные в Европе и России начала XX в.

«Я поцелуями покрою... » — Из романса «Не уходи...» (1900) Н.В. Зубова на слова М.П. Пойгина.

Благополучный Иуда

Утро России. 1910. 18 апреля. № 126.

С. **662.** *...по выражению некрасовской поэмы о современниках, «в результате миллион или коническая пуля».* — В эпилоге поэмы Н.А. Некрасова «Современники» (1875—1876) один из ее персонажей, Зацепин, заявляет:

Я — вор! Я — рыцарь шайки той
Из всех племен, наречий, наций,
Что исповедует разбой
Под флагом честных спекуляций! <...>
Где позабудь покой и сон,
Добычу зорко карауля,
Где в результате — миллион
Или коническая пуля!

С. **663.** *...напісанной на ремингтоне...* — Ремингтон — пишущая машинка, названная именем изобретателя, американского техника Фило Ремингтона (1816—?).

С. **666.** *Иуда Искариот* — один из апостолов Иисуса Христа, его предавший.

С. **671.** *Синедрион* — при римском господстве (I в до н.э. — I в н.э.) — верховный суд Иудеи.

«Мысль изреченная есть ложь». — Из стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium» («Молчание», 1830).

Наивные встречи

Одесские новости. 1910. 18 апреля.

Одно слово

Утро России. 1910. 25 декабря. № 335.

Земной рай

Биржевые ведомости. 1911. 3 февраля. № 12155 (вечерний выпуск).

Помнишь, не забудешь

Утро России. 1911. 11 апреля. № 82.

Александр Блок

Творчество Федора Сологуба

Перевал. 1907. № 10 (август). Печ. по изд.: Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1963.

С. **719.** *...не боятся...* — неточная цитата. У Сологуба «не бабятся».

«Недотыкомка серая...» — Неточная цитата из стихотворения без названия (1899). Вторая строка у Сологуба: «Все вокруг меня вьется да вертится».

«Родине» — сборник стихотворений Сологуба. СПб., 1906. Кн. V.

Вячеслав Иванов

Рассказы тайновидца

Весы. 1904. № 8. Печ. по указанному изданию.

СОДЕРЖАНИЕ

Сологуб Ф.

С 60 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. Слаще яда: Роман. Рассказы / Сост., примеч. Т.Ф. Прокопова. — М.: НПК «Интелвак», 2001. — 736 с

ISBN 5-93264-024-3 (т. 3)

В томе представлены малоизвестные произведения Ф. Сологуба: впервые издающиеся в наши дни роман о радостях и скорбях любви «Слаще яда» (1912) и продолжающие интимно-лирическую тему рассказы двух циклов «Книга превращений» (1906—1908) и «Книга стремлений» (1909—1911) Настоящий том — из числа тех, что открывает забытые страницы наследия выдающегося мастера русской словесности, подтверждая суждение о нем Александра Блока: «В современной литературе я не знаю ничего более цельного, чем творчество Сологуба»

УДК 882 Сологуб 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1

Сологуб Федор
(Тетерников Федор Кузьмич)

Собрание сочинений
в шести томах
Том 3

Редактор *Виктория Фрадкина*
Корректор *Наталья Шипилова*
Верстка *Ирины Ануфриевой*

Подписано в печать 20 12 2000. Формат 60×84/16. Бумага офсетная № 1
Гарнитура Таймс Печать офсетная Усл.-печ. л. 42,78 Уч -изд л 40,85
Тираж 3000 экз. Заказ № 4244.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г

Издательство НПК «Интелвак»
113105, Москва, Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847. Тел 127 3846
E-mail· iv@deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета в ГИПП «Вятка»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

ISBN 5-93264-024-3

